



Г Р А Н Д    Л И Б Р И С

Марк  
АЛДАНОВ



Повесть о смерти  
Бред





Г Р А Н Д      Л И Б Р И С







Марк  
АЛДАНОВ

Повесть о смерти  
Бред



МОСКВА 1999

УДК 821.161.1-3Алданов  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44  
А45

## Серия «Гранд Либрис»

Эпиграфы к главам «Повести о смерти» переведены на русский язык автором, иноязычные выражения в тексте обеих повестей составителем.

«Повесть о смерти» печатается по публикации: «Новый журнал», Нью-Йорк, 1952—1953, №№ 28—33; главы III и V третьей части по машинописной копии с авторской правкой, хранящейся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры; главы I четвертой части и глава V пятой части по машинописной копии, хранящейся в Бахметевском архиве Колумбийского университета.

Повесть «Бред» печатается по публикации: «Новый журнал», 1954—1955, №№ 38—42, главы XII—XIII по машинописной копии с авторской правкой, хранящейся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры. Составитель выражает сердечную признательность корпорации IREX и руководству двух архивов за поддержку и помощь в работе.

По вопросам приобретения книг издательства  
«Гудьял-Пресс» обращаться по телефонам:  
(095) 306-91-20  
(095) 306-91-21  
(095) 306-91-20 (факс)

ISBN 5-8026-0024-1

© «Гудьял-Пресс», 1999 год

© Художественное оформление,  
Н.Степанов, 1999

© Составление, подготовка текста,

предисловие д.ф.н. А.А.Чернышева, 1999

## «С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО»

Великолепный рассказчик, порою взволнованный лирик, чаще язвительный остроумец. Русский язык его необыкновенно богат, напоминает скорее классиков XIX века, чем современных писателей.

О его эрудиции слагались легенды. Знал все исторические здания Европы, помнил девизы древних аристократических родов, сюжеты старых, давно забытых пьес.

Его громадная «серия» исторических повествований не имеет равных в русской литературе: она состоит из 16 романов и повестей, воплощающих главные события последних двух веков.

Алданов.

Книги этого писателя-эмигранта, современника и друга Бунина, Набокова, были переведены почти на все европейские языки и даже на бенгали, но в СССР они десятилетиями находились под запретом, пылились в спецхранах. Почти никому не было известно, что из года в год Бунин выдвигал Алданова на Нобелевскую премию.

Только с конца 1980-х годов, через много лет после смерти писателя, его произведения стали возвращаться на родину. Их цитируют политики, по роману «Ключ» поставлен фильм. В Москве вышли в свет два 6-томных собрания его сочинений, фактически это одно 12-томное — их состав почти полностью различен.

Из «серии» Алданова в эти собрания вошли не все 16 произведений, а только 14. Повести первой половины 1950-х годов, «Повесть о смерти» и «Бред», остались за их пределами. При жизни писателя они отдельными изданиями не выходили, а журнальный текст был сокращенным. Чтобы восстановить пропущенные главы, потребовалась длительная исследовательская работа.

И вот, читатель, перед вами первое полное издание «Повести о смерти» и «Бреда». Думается, для любителей русской литературы XX века выход этой книги — событие, которое трудно переоценить.

Во-первых, любителю отечественной словесности впервые представляется возможность прочесть и оценить «серию» Алда-

нова целиком, в полном объеме. А она, эта «серия», по масштабности и охвату проблем сопоставима с «Человеческой комедией» Бальзака. Во-вторых, Алданов открывается перед нами по-новому. Оказывается, почти полвека назад он уже напряженно размышлял о том, что случится с нашей страной, когда советская власть рухнет, предостерегал об опасностях, связанных с распадом СССР.

Две повести были написаны Алдановым одна за другой, но они очень разные. Одна на историческом материале, другая на современном, одна философская, другая остросюжетная. Эта несхожесть для писателя органична: в его творчестве слились русская литературная традиция с ее влечением к «проклятым вопросам», стремлением найти логику истории, смысл человеческого бытия, и западноевропейская, для которой в книге прежде всего важна изящность слога, тонкость психологических характеристик, умелое построение сюжета, развлекательность. И тем не менее повести объединены общим смыслом. Писатель обдумывает исторические судьбы России, ищет разгадку русского характера.

## 1

Первое упоминание Алданова — «задумал повесть о смерти»<sup>1</sup> находим в его письме Б.К. Зайцеву от 10 мая 1950 года. Книгу он так и озаглавил при публикации в журнале, «Повесть о смерти», а для английского перевода, так и не увидевшего свет, собирался придумать другое название.

Он еще наводил последний блеск на только что законченный роман «Живи как хочешь», параллельно работал над философским трактатом «Ульмская ночь», но новый замысел уже захватил его. 26 июля того же года сообщил И.А. Бунину, что отрывок из нового произведения послал в нью-йоркскую газету «Новое русское слово». «Живи как хочешь» — книга жизнерадостная, действие происходит в первые послевоенные годы, когда

---

<sup>1</sup> Цитаты из переписки Алданова приводятся по публикации в журнале «Октябрь». С В.В. Набоковым — 1996, № 1, с И.А. Буниным — 1996, № 3, с другими писателями русского зарубежья — 1998, № 6, с политическими деятелями — 1996, № 6.

наконец-то на землю пришел мир, герои строят далеко идущие жизненные планы, добиваются успехов и в любви, и в карьере.

В заголовке той книги было слово «живи», в заголовке новой «смерть», в ней все иначе. Послевоенное пятилетие оснований для оптимизма не прибавило. Обозначилось противостояние Востока и Запада, ветры холодной войны несли в себе реальную угрозу миру и многие считали, что дело идет к третьей мировой, атомной.

«О смерти» очень вписывается в начало 1950-х.

Уходило из жизни поколение Алданова, поколение русских эмигрантов первой волны. Алданову пошел седьмой десяток, его мучили болезни, ему предстояло в 1957 году скоропостижно умереть на чужбине.

Нравственную опору в старости Алданов ищет в интенсивной творческой работе. В послевоенные годы он исключительно плодovit. Помимо уже названных книг из-под его пера вышли романы «Истоки», «Самоубийство», новые повести, рассказы, очерки. Особым видом творчества для него стала переписка: он отправляет и получает в среднем по четыре письма в день. Среди его корреспондентов, кажется, почти все выдающиеся деятели русской диаспоры: прозаики и поэты, деятели искусств, журналисты, богачи-меценаты. О самих себе, о быте писали редко, главное место отводили мыслям о сокровенном — о России, об искусстве, о предназначении эмиграции. Писателям в изгнании приходилось тяжелее, чем, скажем, художникам или музыкантам, тиражи книг на русском языке были мизерными, гонорары, соответственно, тоже. Стимулом творчества оставалось «не могу не писать», адресовались скорее потомкам, чем современникам.

Большинство писателей, изображая дела давно минувших дней, ищет прежде всего их своеобразие, несходство с современностью. У Алданова, напротив, вчерашний день необыкновенно похож на сегодняшний, он исходит из того, что во все времена люди одинаковы. Меняется только их внешний вид, меняется антураж действия, но характеры, чувства, даже образ мыслей неизменны во все времена. Произведения о далеком прошлом у него неизменно актуальны. В «Повести о смерти» изображена революция 1848 года, но автор размышляет об общих закономерностях всех революций. Он был убежден: нет

никаких предопределенностей исторического процесса, нет поступательного развития общества, «пулемет заменил пиццаль, вот и весь прогресс с XVI века».

Однажды критик упрекнул его: зачем он постоянно рисует печальные развязки революций? Как бы в ответ он в «Повести о смерти» взял только начальный этап революции 1848 года: общество охвачено радостью, ораторы выступают на улицах. Но уже тогда было ясно: поведением вождей руководят собственная корысть, тщеславие, злоба.

В «Повести о смерти» есть такой эпизод. Один из персонажей видит во сне Чистилище. Там, помимо отделений, названных Данте (гордецов, скряг, завистников, лжецов...), есть еще одно, отделение революционеров, не достигших власти. Революционеры же, достигшие власти, читаем в повести, как и множество других людей, имевших в земной жизни большую власть, помещаются в Аду.

Жизнь Алданова была надвое расколота 1917 годом. После Октября он вынужден был отправиться в изгнание и почти сорок лет провел на чужбине. С горечью повторял: «По-настоящему жить можно только в той стране, где человек родился и провел детство. Мне это не было суждено».<sup>1</sup>

Революционный путь развития отвергал. Вместо модной когда-то формулы «революции — локомотивы истории» предлагал такую: «революции — локомотивы истории, тянущие назад». Считал, что возлагающиеся на революции надежды почти никогда не сбываются, жизненный уровень народа надолго падает, начинается полоса вооруженных конфликтов, у власти сменяют друг друга недостойные люди. Весной 1918 года в большевистском Петрограде вышла в свет и сразу же была изъята книга публицистики Алданова «Армагеддон». В ней есть такая максима: «Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос: для чего нужен Ленин? — Для торжества идеи частной собственности».

В той же книге «Армагеддон» он писал о революции 1848 года во Франции: «События развивались быстро и грозно, но развязка наводит на скорбные мысли». И в самом деле, после

---

<sup>1</sup> Письмо М.Ф. и А.Г. Погребецким от 15 июля 1950 г. Российский фонд культуры.

изображенных в «Повести о смерти» событий на смену сравнительно безобидному королю из Бурбонов Луи Филиппу пришел вдвое худший Луи Наполеон Бонапарт. Все двадцать с лишним лет его правления Франция не вылезала из войн и колониальных экспедиций. Дело закончилось позорной капитуляцией французской армии под Седаном 2 сентября 1870 года, а через два дня в стране произошла революция. Ф.И. Тютчев так подвел итог его правлению:

Народ, взложивший на тебя венец,  
Ты ложью развратил и погубил вконец.

Слово «повесть» в заголовке возвращает нас к циклу философских повестей Алданова 30-годов. В них изображены великие художники прошлого: Микеланджело в «Бельведерском торсе», Ломоносов в «Пуншевой водке», Байрон в «Могиле воина», Бетховен в «Десятой симфонии». Рядом с художниками действовали политики, а кроме того простые смертные. Алданов был убежден, что государственные деятели и полководцы как правило не выше (не умнее, не талантливее...) простых смертных, их подняли на волну славы обстоятельства, Его Величество Случай. Иное дело — крупные художники. Романтического ореола они у Алданова лишены, писатель не любил романтизма, он изображал своих героев порою смешными, мелочными, не приспособленными к окружающей действительности, порою жестокими к близким, но в творчестве, в свой звездный час они в его изображении обретают подлинное величие.

«Из эпохи Бальзака, но не о Бальзаке», — писал Алданов о своей повести. Пожалуй, был не вполне прав: точнее было сказать: «Не только о Бальзаке». Бальзак — один из главных героев, и кульминация повести — посвященные ему главы.

Бальзак привлекал Алданова и как скептик в век революционных потрясений, и как великий труженик. Но Алданов Бальзака не идеализировал, и вообще идеализировать кого бы то ни было не умел: был ироничен, слыл парадоксалистом-скептиком. Изучив литературу о Бальзаке, он пришел к убеждению, что Бальзак единственный крупный писатель, никакой идее не служивший. Свои размышления на эту тему он развивал в письме Бунину от 9 октября 1950 года, касающемся «Повести о смерти»: «И вот там есть страница о великих писателях вообще.

Кажется, ничто мне никогда не давалось так тяжело, как эта страница: я два раза вырезывал ее из рукописи и два раза клеивал опять! Там есть вопрос: есть ли великие писатели, не служившие никакой идее? Простите пошлые слова — я огрубляю. Вы понимаете, что я говорю не о том, что писателю надо быть меньшевиком или народником. Но я пришел к выводу, что Бальзак был единственным большим писателем, никакой идее не служившим. Проверял себя и проверяю. В русской литературе, конечно, Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь «служили» (самому неловко писать это слово, но Вы поймете меня не в опошляющем смысле). Однако служил ли Пушкин? Служили ли Чехов и Вы?

Я ответил себе утвердительно: да, служили. Чему именно? Какой идее? Если б такие слова не были невозможны и просто не произносимы, я ответил бы, что и Пушкин, и Чехов, и Вы служили «добру и красоте». Вязнут слова, но, по-моему, это так.

Эти строки из письма как объяснение в любви пожилого писателя давно оставленной родине, русской культуре. Он с упоением рисует картины ушедшего в прошлое быта, очень точен в деталях, и «здесь под каждой исторической картиной и под каждым историческим силуэтом вы смело можете поместить: «с подлинным верно», — так авторитетный профессор-историк А.А. Кизеветтер отозвался о его творчестве.

Порою, однако, перед историческим романистом встают почти неразрешимые задачи. Иногда свидетельства современников о каком-то событии одно другому противоречат. В историческом труде можно привести различные варианты и заявить: «Я не знаю, как было на самом деле». Романист такой возможности лишен, он рисует одну единственную картину события — и сразу же его можно упрекать в предвзятости. Алданову нужно было изобразить смерть Бальзака. Октав Мирбо через полвека после этого события опубликовал о нем сомнительные воспоминания художника Жигу. «Разоблачения» со множеством физиологических подробностей наделали немало шума. Французские «бальзакисты» разделились, одни им поверили, другие нет. Как было поступить Алданову?

Он пошел по пути не художественной прозы, а документальной. Изложил версию Мирбо и сообщил, что многие авторитетные специалисты ее не принимают, а закончил повествование



на высокой ноте: привел трогательный, не вызывающий сомнений по части достоверности рассказ Гюго о посещении им умирающего Бальзака, привел его слова на похоронах: «Это был гений». Повествование строго документальное, автор выступает как ученый-исследователь, для него вымысел в этой финальной сцене невозможен. Вместе с тем, он заканчивает повествование необычайно выразительной «сладкой», как выражались в старину, цитатой, на патетической ноте.

Но Алданов не был бы Алдановым, если бы ограничился иллюстрацией к старому романтическому тезису о бессмертии в искусстве. Он имел свой, особый взгляд на бессмертие и в концентрированном виде воплотил его в письме знаменитому предреволюционному юристу В.А. Маклакову от 27 марта 1950 года (уже работал в это время, надо думать, над «Повестью о смерти»). Маклаков поделился с ним самым сокровенным: считает свою жизнь прожитой даром. Алданов в ответе размышляет такую тему: никто после себя ничего не оставляет: «Книги или картины или ученые труды человека живут много пятьдесят лет, музыка немного дольше. Приблизительно столько же хранится память о человеке, который памяти стоил, хотя бы ни одной строчки он не написал. Затем забывают по-настоящему — как что-то, а не как звук, — и тех, и других. Есть счастливые исключения, но ведь, скажем правду, они в огромном большинстве случаев «бессмертны» мертвым бессмертием. Никто ведь, правду говоря, не читает Данте, ни Аристофана, или читают их раз в жизни, в молодости, чтобы можно было больше к ним никогда не возвращаться (Екклезиаств и «Война и мир» не в счет). Помнят имя».

В конце второй мировой войны Алданов задумывал написать киносценарий. Он обратился к русским актерам Голливуда Михаилу Чехову и Акиму Тамирову с предложением, что напишет сценарий, где будут для них роли, по «Отцу Горио» Бальзака. Из ответного письма следовало: актеры не помнят бальзаковского текста, просят прислать им краткое «экспозе», содержание. Не из этого ли эпизода, как из зерна, пророс замысел представить Бальзака как пример знаменитого писателя, чьи книги уже перестали помнить?

Есть в «Повести о смерти» глава, где даны размышления ставшего вдовцом Константина Платоновича Лейдена. Снова,

как в письме Алданова Маклакову, звучит, что надеяться остается только на «личное» бессмертие, бессмертных дел нет, к тому же ограниченное во времени, — пока живы те, кто помнит умершего. Эта глава, глава II пятой части (герой ни разу не назван по имени, только «он»), на деле воплощает кредо самого писателя. Религиозным человеком он, подобно Бунину, подобно Набокову, не был, но, обдумывая пройденный путь, приходил к выводу: никакой новой морали людям XX столетия не изобрести, лучшее, чем мы располагаем в сфере нравственности, — вечная, освященная библейскими пророками система ценностей.

За месяц до того, как Алданов сообщил Б.К. Зайцеву, что задумал новую повесть, Зайцев прислал ему свой отзыв об «Истоках», которые только что вышли в свет в Париже. Он писал: «Старосветские помещики», семейственность, жена-опора — чуть ли не единственный фундамент, на котором можно существовать... Все это я весьма «приемлю и ничтоже вопреки глаголю». И вообще прославление простого и человеческого против сальтомортале. (Как мне тоже далеки всякие спасители человечества!). Зайцев совершенно иначе подходил к гоголевским персонажам, чем Белинский, который видел в них, как и во всех помещиках, пародию на человечество и доказывал, будто их любовь смешна и нелепа. То ли под воздействием письма Зайцева, то ли самостоятельно, независимо от него, так или иначе Алданов своих киевлян Лейденов уподобляет бессмертным Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне, но акцент переносит на изображение силы любви и на высокую нравственность персонажей. Очень важен эпитафия из Островского к главе, посвященной Ольге Ивановне: «Зачем я теперь скажу про человека худо? Лучше я должен сказать про человека хорошо». Так распорядилось время: в Советском Союзе истолкование Белинским «Старосветских помещиков» было признано единственно верным, а в эмиграции появилось произведение, где жизнь провинциалов середины XIX века давала повод писателю объясниться в любви оставленной родине.

Историческая проза ищет предметы вдохновения не на улице, а в библиотеке. Проза Алданова — очень книжная, он то заново воссоздает преступление Раскольникова в романе «Начало конца», то размышляет о «Войне и мире» — утверждает, что

это одна из лучших книг, когда-либо созданных во всех литературах. У Толстого, как и у большинства исторических романистов, вымышленные персонажи превосходят в яркости реальных исторических лиц: Болконские, Безуховы, Ростовы убедительнее и Кутузова, и Наполеона. Редкая особенность Алданова: ему исторические лица удавались больше, чем вымышленные. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал о Герцене: «Главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне осознанной и развитой». Эту характеристику с полным основанием можно приложить к Алданову, тоже выдающемуся публицисту, которого вдохновляли даже не столько образы истории, сколько ее уроки. В каждом из его исторических романов есть вставные исторические очерки — портреты знаменитостей, описания крупных событий, и эти герои, события непременно чем-то напоминают нашу современность.

В «Повести о смерти» вставные очерки о Бланки, об Араго расширяют горизонты повествования, очерк о необыкновенной судьбе революционера Бланки подтверждает авторский тезис: всякая революция пожирает своих сыновей. Писатель знал, что такие очерки отчасти выпадают из художественной ткани прозы. Когда в «Истоках», чтобы ввести в действие Бакунина и Достоевского, Алданов направил к ним поочередно двух своих вымышленных героев, В.В. Набоков бросил ему за это упрек в «кариатидности» — (кариатида — статуя, поддерживающая перекрытие и выполняющая функцию опоры в архитектуре.) Отвечая ему, Алданов признал, что испытывает определенные трудности по части композиции: «В дальнейшем «кариатидности» не будет. У меня появятся еще немало знаменитых людей, но это будут иностранцы, и я к ним своих русских действующих лиц направлять не буду. Буду просто их показывать без связи с фабулой романа <...>, и пусть лучше меня ругают за отсутствие плана, чем за искусственные приемы» (письмо от 9 мая 1944 года). В «Повести о смерти» вставные очерки вновь даны писателем без связи с фабулой.

В этом случае Алданов, как мы видим, согласился с упреком Набокова в свой адрес, но в другом очень важном философском вопросе писатели расходились. Появившаяся в тех же 1950-х годах набоковская «Лолита» заканчивается утвердени-

ем, что только искусство может принести создателю бессмертие: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов...» Алданов же помнит, что и прочные пигменты искусства со временем разрушаются, для него высшая ценность, оправдывающая человеческое существование — безупречная нравственность.

Алданов с легкостью переходит от мелочей быта к вечным вопросам, сообщает множество любопытных почти никому не известных фактов из истории. Читать его лучше всего медленно. Заметил ли читатель, что из всех эпитафий — они предпосланы каждой главе — только одна взята из современного писателя? 30 декабря 1952 года Алданов обратился к Бунину с просьбой разрешить взять эпитафией к последней главе пятой части его стихотворение «Синие обои полиняли...». Бунин сразу же дал согласие. 3 января 1953 года Алданов его благодарит и замечает: «Вы там будете единственный живущий писатель, а то всё Платоны, Шиллеры, Стендалы. Отлично понимаю, что Вам это ни к чему, но мне очень, очень радостно». Ставя Бунина в один ряд с великими писателями прошлого, Алданов утверждал, что Бунин тоже классик, и эта мысль, которая стала общепринятой в наши дни, отнюдь не являлась таковой в начале 1950-х годов.

В свою очередь, Бунин был горячим поклонником «Повести о смерти». Ему запомнилась сцена, как умирал Бальзак, он отмечал, что отлично написана гадалка Роксолана. Алданов писал ему 19 ноября 1952 года: «Вы единственный человек, мнение которого мне по-настоящему важно».

«Повесть о смерти» печаталась в нью-йоркском «Новом журнале» в шести номерах в 1952—1953 гг., в каждом по одной части примерно равного объема. Два экземпляра машинописи последней редакции хранятся в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры и в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк). Когда Алданов не вмещался в отведенный ему редакцией журнала объем — около 64 страниц для каждого отрывка — он опускал отдельные главы. 6 августа 1952 года по поводу сокращений в третьей части он писал Р.Б. Гулю: «В третьем отрывке я выпускаю главы, в которых Виер посещает киевские кружки и в Верховне ведет разговор

с Бальзаком. Для журнала выпуск их можно считать выигрышным: действие идет быстрее. Выпущенные главы я заменяю рядами точек<sup>1</sup>.

Он писал и о сокращениях в последующих частях: опустил главу о Бланки, поскольку ранее она была опубликована в газете «Новое русское слово», предполагал опустить и главу об Араго, также поместить ее в газете, но в последний момент передумал, и она вошла в журнальный текст.

Писатель был твердо уверен, что повесть вскоре выйдет отдельной книгой и Издательстве имени Чехова, намеревался для этого издания дописать намеченные главы. Но жизнь распорядилась иначе. Руководство издательства, вместо того, чтобы печатать недавно опубликованную в журнале повесть, решило переиздать один из старых романов Алданова, «Ключ», к тому времени ставший библиографической редкостью. Алданов не возражал. «Повесть о смерти» так и не вышла отдельным изданием при его жизни, текст остался недописанным.

## 2

Закончив «Повесть о смерти», Алданов сразу же берется за новую, «розовую» повесть «Бред». В ней, как в «Живи как хочешь», снова изображена послевоенная современность, на этот раз действие отнесено к 1953 году, герои — преуспевшие на Западе русские эмигранты, снова в остром сюжете сплавлены элементы детектива и мелодрамы. В сокращенном виде «Бред» был напечатан в «Новом журнале» вскоре после смерти Сталина.

Удивительная особенность Алданова — в исторических своих произведениях он художник трагического мироощущения, а когда берется за современную тему, прежде всего утешитель. Лишь в воспоминаниях персонажей о прошлом, на обочине действия возникают у него зловещие тени войн, революций, кровавых диктатур. В центре же внимания мир, где все благополучно и мило, мечты сбываются, а герои, хотя и пустоваты, но привлекательны. ...Маскарад в Венеции; поздняя роковая

---

<sup>1</sup> Российский фонд культуры. См. также письмо Алданова Гулю от 27 октября 1952 г.

любовь международного авантюриста; ловушки, которые подстраивают друг для друга советские и американские разведчики в разделенном Берлине... Среди героев нагловатый янкионец, самовлюбленная красавица, два полковника, до того между собой схожих, что автор не дал им имен, обозначив их только номерами: полковник № 1, полковник № 2. Главное действующее лицо — резидент ряда разведок, о его прошлом ходят самые разные слухи вплоть до того, будто ему отроду триста лет, и он не кто иной, как воспетый Пушкиным легендарный граф Сен-Жермен.

Автор мечтал об успехе — о переводе на различные языки, о больших тиражах, об экранизации. Приспосабливался к запросам западного книжного рынка, пытался угодить массовому вкусу. В годы холодной войны положение деятелей русского искусства на Западе стало незавидным. Они оказались в изоляции, зачастую без средств к существованию. В одном из алдановских писем конца 40-х годов читаем, что в Нью-Йорке всего по 200 долларов продавались полотна Добужинского, Сомова, Левитана, Коровина, но покупателей не находилось. Не находилось желающих покупать и русские книги. «Мне пишут, что это объясняется крайней нелюбовью нынешних американцев ко всему русскому, — сообщал он Н.А. Тэффи 10 сентября 1950 года. — Алданов? Антибольшевик? Все-таки, черт с ним, пусть покупает кто-либо другой. Я на днях прочел, что в каком-то американском городке публика не позволила в театре исполнять старые русские песни».

Вплоть до окончания работы над повестью Алданов не рассказывал о ней ни одному из друзей. Очень опасался, что русская эмиграция ее разбранит. В октябре 1954 года сообщив Е.Д. Кусковой, в прошлом видной социал-демократке, что печатание отрывков начнется в ближайшем номере «Нового журнала», он просил ее о снисхождении: «Не судите слишком строго, да она (повесть — А.Ч.) и будет непонятна до появления в полном виде». В подобных же выражениях обращался и к В.В. Набокову, мнением которого особенно дорожил: «Она будет в журнале лишь в отрывках, и уже по одному этому прошу Вас (если прочтете) не судить слишком строго» (письмо от 24 октября 1954 года). Но то, чего опасался

Алданов, все-таки произошло. Когда журнальная публикация была завершена, Е.Д. Кускова с обычной для нее прямотой заявила ему: «Спрашиваете, понравился ли читателям «Бред». — Не всем. Некоторые критиковали довольно резко» (письмо от 10 января 1956 года).

Хотя писатель повторял, что в журнале публикуются только отрывки, текст воспринимался как органичное целое: характеры раскрыты, сюжетные узлы развязаны. Не хватало только изображения бреда героя, главы, давшей название повести. Точнее, как мы теперь знаем, двух глав: этой и ей предшествующей, вводящей в ситуацию. Переводчику повести на английский язык Кармайклу Алданов писал, что хотел бы в книге дать все главы под номерами, но одну, самую главную, выделить, дав ей еще и название. Ссылался на пример Толстого: в «Анне Карениной» название имеет только одна глава. Стало быть, глава, давшая название повести, была для него самой главной.

Под названием «Бред Шелля» она уже после смерти автора была напечатана и на русском языке — в «Новом журнале», № 48 — 1957. Публикацию успел подготовить сам Алданов и предпослал ей небольшое введение, содержащее загадочную формулировку: она не была опубликована прежде «по соображениям, теперь отпавшим» ...Приняв мексиканское наркотическое снадобье, герой в бреду с удивительной отчетливостью видит ряд странных картин, то вполне реальных, то полубезумных.

Условная форма давала автору возможность откликнуться на самую для него важную тогда тему — на смерть Сталина. Но массовому западному читателю, которому он предназначал свою повесть, эта тема была малоинтересна. В ответ на предложение Кармайкла попытаться напечатать главу отдельно на английском в каком-нибудь крупном нью-йоркском журнале, Алданов не без ехидства предложил ограничиться только эпизодом из нее, где действует граф Сен-Жермен.

Глава состоит из не связанных между собой эпизодов. Два ее полюса — ужасное воспоминание Шелля о своей встрече со Сталиным и авантюрное приключение Сен-Жермена, о котором Алданов узнал из старинного манускрипта. Конечно же, писателю в первую очередь представлялся важным сталинский эпизод.

Весной 1953 года Алданов постоянно думал о Сталине. Пристально читал советские газеты, — в них впервые, хотя завуалированно, с оговорками, стала подниматься тема сталинских злодеяний. В письме В.А. Маклакову от 8 и 9 апреля 1953 года под впечатлением чтения «Правды» сообщал: «Признания при «чистках» достигались «совершенно недоступными методами» (то есть пыткой). Статьи «Правды» это прямо пощечины Сталину. Что, если в самом деле Маленков и Берия решили отречься от Сталина? (...) Для того, чтобы удержаться и укрепиться, надо было отречься от Сталина и сталинизма, хоть обманно, хоть на короткое время. А это значит, что между страной и режимом пропасть».

Создавая образ Сталина, Алданов ставил перед собой ту же задачу, что Толстой, когда создавал своего Наполеона: заставить читателя его презирать. В мемуаристике и публицистике русского зарубежья разоблачения Сталина были далеко не новостью. Сам Алданов еще в 1927 году посвятил ему очерк и дал такую характеристику: хитер, умен, густо залит кровью, бесспорно, выдающаяся личность. Но в художественной литературе в трактовке образа Сталина Алданов в повести «Бред» выступил первооткрывателем — писатели-эмигранты эту тему обходили стороной, а советские писатели при жизни вождя лишь славословили его.

Политический памфлет — жанр не рассчитанный на долгую жизнь, почему же автор считал памфлетные страницы главными в своей повести? И еще вопрос: какие «соображения, теперь отпавшие», заставили его опустить главу в 1954 году и дать для публикации в 1957? Наивно думать, что на решение писателя мог повлиять секретный доклад Хрущева о Сталине на XX партсъезде — какое дело до него русскому эмигранту, жившему в Ницце, печатавшемуся в Нью-Йорке?

Казалось бы, вопросам суждено остаться без ответов. Но в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры посчастливилось найти первоначальный вариант этой главы, и он дает ответы, причем неожиданные. Все указывает на то, что Алданов вовсе не памфлетные страницы считал главными, а другие. Которые он тем не менее в конечном счете опустил.

Начну по порядку. Обнаруженный машинописный текст с авторской правкой относится к 1953—54 годам, был создан по



горячим следам описываемых событий. Второй вариант, «Бред Шелля», написан осенью 1956 года специально для перевода повести на английский, в декабре того же года автором отправлен в редакцию «Нового журнала» для публикации на русском языке. Во втором варианте почти не подвергся правке сталинский эпизод и эпизод встречи Шелля с опальным советским ученым. Но в раннем варианте центральное место занимают сцены в американском посольстве в Москве — здесь автор излагает свои представления о будущем России, — а фрагмент «Олений парк» (с Сен-Жерменом) появляется лишь во втором варианте. Фрагмент «Олений парк» придавал главе большую занимательность, делал ее более органичной частью повести. Вместе с тем, первоначальный вариант, обращенный прежде всего к русскому читателю, гораздо масштабнее по замыслу.

Особенность дарования Алданова, ставящая его особняком в русской литературе, — постоянный интерес к будущему, попытка предугадать его контуры. Замечателен, в частности, его исторический прогноз в рассказе «Фельдмаршал», написанном в июле 1941 года: точно предугаданы ход и исход войны, даже заговор немецких генералов. Сбылось и такое предвидение Алданова из романа «Живи как хочешь»: после отмены обязательного для всех атеизма Россию, помимо возрождения общественного интереса к религии и церкви, будет ждать мода на черную и белую магию. Он попытался даже дать классификацию исторических прогнозов, выделил два разряда: прогноз — озарение поэта (в XVIII веке поэт Томас Грей предсказывал появление авиации) и прогноз — научное предвидение ученого (Томас Джефферсон верно, с большой проницательностью и глубиной понял, в направлении каких идей пойдет политическое развитие XIX и XX веков). Самому ему была свойственна, по выражению современника, научность не только мыслей, но даже чувств.

В среде состарившихся русских эмигрантов первой волны существовало единодушие: рано или поздно коммунистическая система рухнет. Но контуры событий, которые за этим последуют, контуры опасностей, которые страну подстерегают, разглядывал один Алданов.

В 1951 году, когда могущество империи Сталина достигло апогея, и, казалось, вскоре коммунизм победит в мировом масштабе, произошла любопытнейшая его полемика с А.Ф. Керенским. Анализируя опыт блокады Берлина, корейской войны. Керенский пришел к выводу: действия Сталина на международной арене можно понять только если исходить из предположения, что он решил на мировую войну. Выступая с лекциями в ряде американских городов, Керенский предлагал такой сценарий развития событий: предстоит мировая война с применением ядерного оружия, она окончится победой Соединенных Штатов вследствие их технического превосходства. Советская империя рухнет, и тогда русские демократические политики на деле смогут осуществить провозглашенный большевиками лозунг «самоопределение наций вплоть до отделения» — иначе говоря, раздробят Советский Союз на ряд отдельных государств.

«Государственник» Алданов решительно не соглашался с ним. Гневно восклицал (цитирую его письмо В.А. Маклакову от 26 сентября 1951 года): «Он «согласен» на отделение Киева, Харькова, Баку, Тифлиса, быть может и Сибири (сепаратистское движение можно создать где угодно)! Это бывший глава русского правительства!» Алданов превосходно знал историю, считал непреложным законом, что распад империи чрезвычайно опасен и для народов, в нее входивших, и для всего мира. Сподвижнику Керенского Я.Г. Фрумкину он писал: «Если Вы начнете «самоопределять» земли, входившие в состав империи, то Вы сами положите начало длинному, долголетнему ряду войн за объединение России — войн внутренних, которые могут перейти в войны общие, гигантские (...) Если Соединенные Штаты отделят Украину и Кавказ, то они должны будут отделять все, что можно — иначе Великороссия все-таки будет сильнее отделившихся земель и будет пытаться их вернуть. Тогда Америке будет необходима именно «Московия» — одна пятая часть российской территории» (письма от 26 октября и 6 ноября 1951 года).

Из частной переписки спор был перенесен Алдановым на страницы повести «Бред». Один из важнейших образов первоначального варианта пропущенной главы — немецкий военачальник-реваншист, мечтающий покончить с Россией как с великой

державой. Образ дан с очевидной иронией: герой предлагает вместо слова «расчленение» пользоваться эвфемизмом «освобождение народов России», планирует: «Мы везде произведем плебесциты. У нас даже будет учебное заведение по производству плебесцитов...»

Политическая пронизательность Алданова поразительна. В 1951 году он сквозь магический кристалл разглядел в существенных деталях контуры событий 1991 года. Те, кто стремятся к цели, как правило, не задумываются о последствиях и побочных результатах. Большинство русских эмигрантов, продолжавших верить, что коммунизм когда-нибудь рухнет, и в расчет не брали, с какими опасностями столкнется Россия при выходе из исторического тупика. Алданов эти опасности предвидел.

Остается лишь догадываться, почему самая важная для него глава и еще одна, ей предшествующая, вводящая читателя в курс событий в Москве в начале марта 1953 года, были в журнальной публикации 1954—55 годов опущены, почему автор позднее переработал текст. Может быть, редакция сочла неудобным, что немецкий военачальник изображен реваншистом? Может быть, редактор убедил Алданова, что политическому спору с знаменитым оппонентом не место на страницах художественного произведения?

После смерти писателя публикуя его произведения, издатель обычно берет последнюю редакцию, осуществляют последнюю авторскую волю. Но как быть, если ранняя редакция более значительна, чем окончательная? В нашем однотомнике взята ранняя редакция — в ней Алданов предстает как крупный и оригинальный политический мыслитель, и его раздумья о путях России для сегодняшнего читателя представляют несомненный интерес. В свете идей пропущенной в журнальной публикации главы обретает новую значительность и финальная сцена повести, рисующая народное восстание в Восточном Берлине 17 июня 1953 года. Пусть оно было подавлено в течение одного дня, писатель увидел в нем знамение времени, и, как показало развитие событий, оказался совершенно прав. Завершая этой сценой «Бред», он завершал тем самым ею дело своей жизни, «серию».

Алданову-писателю не было дано создать художественные образы такой глубины и обобщающей силы, как Базаров, Расколь-

ников, Пьер Безухов. Он был человеком живого и трезвого ума «для литературы, быть может, и слишком трезвого», — замечает критик Владимир Вейдле. Старая пословица гласит: нет пророка в своем отечестве. Свой творческий путь Алданов прошел на чужбине. Но сейчас его книги возвращаются на родину, и все яснее нам открывается, какой это был большой и своеобразный художник и — не побоюсь романтического штампа — уникальный в своих исторических предвидениях пророк.

*Андрей Чернышев*

Повесть  
о  
смерти

## От автора

Эта книга входит в серию моих исторических и современных романов, которую закончит роман «Освобождение»<sup>1</sup>. Новый читатель мог бы, если б хотел и имел терпение, ознакомиться с ней в следующем порядке: «Пуншевая водка» (1762 год); «Девятое термидора» (1792—4); «Чортов мост» (1796—9); «Заговор» (1800—1); «Святая Елена, маленький остров» (1821); «Могила воина» (1824); «Десятая симфония» (1815—54); «Повесть о смерти» (1847—50), «Истоки» (1874—81); «Ключ» (1916—17); «Бегство» (1918); «Пещера» (1919—20); «Начало конца» (1937); «Освобождение» (1948). Их многое связывает, — от общих действующих лиц (или предков и потомков) до некоторых вещей, переходящих от поколения к поколению.

Некоторые главы «Повести о смерти» (как и «Освобождения») появились в последние годы в «Новом Русском Слове».

---

<sup>1</sup> Вышел в свет в 1952 г. под названием «Живи как хочешь».

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Cet universel sommeil de la nature qui précède les orages, nous en retrouvons l'image dans cette torpeur de l'opinion publique pendant les dernières années de la monarchie<sup>1</sup>.

*Louis Menard*

Между Россией и Францией во всё время царствования Людовика-Филиппа шла дипломатическая война. Она никого особенно не волновала, а многих забавляла.

Император Николай, взбешенный июльской революцией, очень неохотно признал младшую линию Бурбонов и в официальных письмах называл нового короля не «братом», а только «добрым другом», что считалось крайне оскорбительным. Иностранным дипломатам царь объявил, что умеет отличать французский народ от французского короля. Собственно это противоречило всем его основным принципам, так как для него имели значение не народы, а их правители. Однако об этом противоречии Николай I не заботился. На приемах французских послов император любезно расспрашивал об их здоровье, о своих парижских знакомых, о благосостоянии Франции, но никогда о короле не спрашивал. Парижское правительство то относилось к этому благодушно-иронически, то вдруг приходило в ярость. Так, отправляя в Петербург маршала Мэзона, кабинет министров предписал ему немедленно покинуть Россию, если царь и на этот раз не спросит о Людовике-Филиппе. Это вызвало волнение: война! Николай I уступил и спросил нового посла, как поживает король. Иногда шла на уступки и Франция. В одном из парижских театров была поставлена историческая пьеса, оскорбительная для династии Романовых. Русское правительство потребовало ее запрещения, а в частных беседах царь

---

<sup>1</sup> В не очень точном переводе: «Этот сон природы перед бурями — мы находим его подобие в дремоте общественного мнения в последние годы монархии».

вскользь с усмешкой замечал, что в случае отказа «может при-слать на спектакль миллион зрителей». Французское военное ведомство не верило: разведка доносила, что Россия может выставить всего 114 тысяч солдат. Тем не менее пьеса была снята с репертуара.

Иногда, впрочем, отношения улучшались. В свое время были даже разговоры о том, что дочь императора, великая княжна Ольга Николаевна, выйдет замуж за герцога Орлеанского, наследника французского престола. Затем эти разгово-ры прекратились, и отношения стали еще хуже. Когда рус-ский посол в Париже, вследствие болезни австрийского, ока-зался старейшиной дипломатического корпуса и должен был бы на приеме сказать королю приветственное слово, царь, под предлогом спешного доклада, вызвал посла в Россию. Гизо тотчас предписал представителю Франции в Петербурге не являться в Зимний дворец на поздравление в день именин царя. После этого русский двор и высшее петербургское общество стали бойкотировать Казимира Перье: его больше нигде не приглашали; через общих знакомых русские вель-можи просили его извинить их: такова воля императора.

В разных европейских столицах очень веселились по это-му случаю, но говорили, что войны все-таки быть не может. В Париже газеты обсуждали вопрос, отвечает ли русский народ за политику своего правительства, и склонялись к тому, что отвечает: русофобская книга маркиза Кюстина имела огромный успех. По-настоящему требовали войны с Россией только революционеры. Случалось, толпы манифес-тантов направлялись к зданию русского посольства с крика-ми «Долой русских!..», «Да здравствует Польша!..», «Смерть тиранам!..». Полиция их оттесняла. Приготовлений к войне не было, но обе стороны были совершенно уверены в побе-де. Франция, после революционных и наполеоновских войн, была убеждена, что один на один с ней никто воевать не может. Николай I не сомневался, что его армия церемони-альным маршем пройдет по всей Европе. Говорили, впрочем, что воевать-то негде ввиду отсутствия общей границы и существования нейтральных государств. Впрочем, высказыва-лось и такое мнение, что немцы пропустят французскую армию и сами к ней присоединятся в борьбе за общие иде-



алы. В Париже очень любили немцев и считали их, несмотря на некоторые печальные отклонения, историческими друзьями Франции. Один очень популярный в высшем обществе офицер позднее читал письмо, полученное им от брата, находившегося в Германии, тоже военного: брат уверял, что в случае войны немцы, как один человек, присоединятся к стране, защищающей свободу и братство.

Только престарелый Людовик-Филипп знал, что никакой войны при нем не будет, так как он никогда на нее согласия не даст. За семь лет до того, из-за Египта, Тьер решил было воевать со всей Европой. Король тотчас его уволил и пригласил Гизо. Знал, что сам он никак на Наполеона не походит, что вообще Наполеонов, слава Богу, больше нет, последние маршалы мирно доживают свой век на покое и относятся с полным пренебрежением к новым, колониальным генералам: эти тоже называют себя полководцами! Король не очень тревожился в пору дипломатических осложнений: если французские газеты станут уж слишком воинственными, то можно будет, чтобы их утешить, образовать новую дивизию, дать верфям заказ на новый фрегат и опять назначить главой правительства маршала Сульта, герцога Далматского, героя революционных и наполеоновских войн: большой опасности для мира не будет, маршалу восемьдесят лет, он давно и на коня сесть не может и никакой войны не хочет, — имеет огромное состояние; не будет особенно вмешиваться и в королевскую политику, так как даже в молодости не мог связать двух слов.

В Париже говорили также, что неизбежна и революция: нет больше сил терпеть гнет ненавистного короля. Гнет был не очень страшен, — впоследствии люди увидели другое, — но революция действительно приближалась. Франция была покрыта сетью тайных обществ с не всегда понятными названиями и с мрачно-таинственным ритуалом. Были «Друзья народа», были «Возрожденные франки», было «Галльское общество». Самым опасным считалось «Общество сезонов», в котором видные люди занимали должности Воскресенья, Июля, Весны. Главари были Бланки и Барбес. В 1839 году это общество устроило восстание, было немало убитых и раненых, Барбес был приговорен к смертной казни. В это время в королевской семье умерла принцесса и родился принц. Виктор Гюго, еще быв-

ший тогда роялистом, составил в стихах просьбу о помиловании осужденного революционера:

Par votre ange envolée ainsi qu'une colombe!  
Par ce royal enfant, doux et frêle roseau!  
Grâce encore une fois! Grâce au nom de la tombe!  
Grâce au nom du berceau! <sup>1</sup>

Король, по непоэтичности своей натуры, с легким недоумением и даже не без испуга, относился к людям, занимавшимся столь странным ремеслом, как писание стихов (знал, что Виктор Гюго зарабатывает ими большие деньги). Кроме того, Людовик-Филипп был столь же добр, сколь хитер. Ни малейшей злобы против Барбеса он не чувствовал, — сам был в юности революционером, — что удивительного в том, что бесится молодой человек (вдобавок, как ему казалось, довольно глупый)? Король и сорокалетних людей считал зеленой молодежью. Он с полной готовностью смягчил участь осужденного.

В близость революции Людовик-Филипп верил почти так же мало, как в близость войны. После покушений на его жизнь он больше не пользовался омнибусом, не заходил в кофейни чокаться у стойки с рабочими и не очень верил в народную любовь. Король был потомком Людовика Святого, но едва ли не первый из всех французских монархов не считал себя Божьим помазанником и знал, что его высокое происхождение очень мало интересует французов: не те времена. Однако Франция при нем достигла материального благополучия, еще невиданного в истории, финансы и промышленность процветали, последний заем был заключен из трех с половиной процентов. Правда, случались и кризисы, и скандалы, но кризисы, вопреки мнению ученых экономистов, были стихийным и непонятным явлением, как землетрясения, а скандалы были неизбежны при всяком строе: где деньги, там и скандал. Деньги, как ему казалось, были у

---

<sup>1</sup> Во имя свежей царственной могилы, / Во имя ангела, рожденного на свет, — / Помилуй, государь, о, еще раз помилуй! / Исполни лучший Божеский завет! (Пер. с фр. Ю.Доппельмейер. Эти стихи были написаны Гюго после того, как умерла во время родов невестка короля.)

всех, — какая же могла быть революция? Не верили в революцию и его друзья Ротшильды, — а уж, конечно, барон Джемс должен был это знать. Барбес и Бланки не слишком беспокоили короля. Министры у него были умные, ученые, скучные и всё одни и те же: когда парламенту, газетам и ему самому слишком надоедал Гизо, король приглашал Тьера; когда надоедал Тьер, приглашал Гизо. В крайнем же случае — разумеется, только в самом крайнем и чрезвычайно неприятном — можно было бы предложить должность министра если не Бланки, то Барбесу, — он остепенится. Правда, Барбес считался фанатиком, но он был сыном состоятельного коммерсанта, имел хорошие средства и, наверное, не желал, чтобы их у него отобрали. За шестьдесят без малого лет до того, Людовик-Филипп был на ты и не с такими революционерами. По старческой болтливости он любил рассказывать о прошлом, о блеске дореволюционного версальского двора, который теперь помнил едва ли не он один, о революции, о том, как семнадцати лет отроду он вступил в якобинский клуб, о том, как Дантон однажды, в минуту откровенности, сказал ему: «Для вас работаем, молодой человек, для вас работаем, всё в конце концов достанется вам!» Охотно рассказывал и об эмиграции, — как он в швейцарской школе давал уроки арифметики и иностранных языков и жил на два франка в день (в школе получал тысячу двести франков в год, — следовательно, и тогда ухитрялся откладывать деньги).

Собственные денежные дела беспокоили короля гораздо больше. Цивильный лист ему был назначен в двенадцать миллионов франков в год, а он хотел получать восемнадцать. Враги, быть может преувеличивая, называли его богатейшим человеком Европы, но он отрицал это, кричал и постоянно обращался к парламенту за ассигновками в пользу своих многочисленных детей — говорил, что они будут голодать. В своей наивной уверенности в том, что людям, всем людям, нужны только деньги, король, конечно, ошибался: не понимал, что, по общему душевному складу, он опередил рядового гражданина лет на сто; что не все дряхлые старики; что люди, особенно молодые, хотят кроме денег и новизны, своей роли в исторических драмах и развлечениях; что во Франции уже давно переворотов не было и что молодым людям скучно.

Ошибался старый король и относительно всеобщего материального благополучия: деньги были далеко не у всех. Но у большого числа городских жителей денег было действительно много и потому всё в 1847 году, несмотря на очередной кризис, процветало, везде было необыкновенное оживление: инженеры строили железные дороги и пароходы, банкиры охотно вкладывали деньги в дела, театры были полны, меценаты покровительствовали художникам, ораторы оппозиции обличали нестерпимый гнёт. Анекдоты рассказывались обо всех: о короле, о принцах, о министрах, о людях искусства. Из писателей больше всего говорили о Бальзаке. Смеясь рассказывали, что он тайком от кредиторов уезжает в Россию: хочет сделать еще последнюю, отчаянную попытку жениться на своей польской графине; не имея ни гроша, уже отделяет для нее с необычайной роскошью *гнездышко*, в котором будет «три тысячи килограммов бронзы». Говорили, что он ложится спать в пять часов дня, спит до полуночи, затем работает семнадцать часов подряд. Об его трости в Париже больше не говорили, надоело, да, собственно, и трость была ничем не замечательная; рассказывали о ней еще только в провинции, т.е. во всей остальной Европе, кроме Парижа.

Приблизительно таким был Париж того времени для людей, настроенных сатирически и чрезмерно любивших анекдоты. На самом деле за тем, что было смешного, шла ничуть не смешная борьба за смелые, новые, благородные мысли. Люди в то время верили в свободу больше даже, чем в 1789 году, — так, как уже никогда позднее не верили. Они ценили жизнь, дорожили ею. И с ужасом приняли известие о том, что на Европу опять ползет *синяя болезнь*, оставившая столь страшное воспоминание: холера уже проникла с Востока в Россию. Несмотря на все успехи науки, врачи предупреждать вторжение этой болезни не умели, а лечили ее ваннами, теплым молоком, зельтерской водой и пивками.

Писатели собирались, когда бывали богаты, в ресторанах Вери или Вефура, а когда денег было меньше, в кафе Монмартр. Говорили — и с блеском говорили — о литературе, о политике. Ламартин был самым левым, Бальзак самым правым. Говорили, как все, и о холере. Говорили также (без блеска), о ком какая была рецензия, кто какой получил аванс, у кого

какой тираж; издателей добрые писатели называли скрягами, а злые — разбойниками с большой дороги.

Изредка появлялся в кафе Монмартр невысокий человек в круглой шляпе, в застегнутом на все пуговицы сюртуке. Хотя он жил близко, приезжал всегда в извозничьей коляске и слезал с трудом. В кофейне все его знали. Это был знаменитый немецкий поэт, эмигрант Анри Эн. Состоявшие при нем поклонники и поклонницы, светские дамы, нервные эмигранты, евреи и неевреи, называли его «умнейшим человеком на земле». Он же их ум, по-видимому, расценивал невысоко, — об одном из них говорил, что это сумасшедший, но со светлыми промежутками: во время светлых промежутков он просто чрезвычайно глуп. Люди, давно не видевшие Гейне, отшатывались от него с ужасом; так он изменился, еще недавно было брюшко! Теперь прекрасное изможденное лицо его, с одним закрывшимся глазом и с другим полуоткрытым, было мертвенно бледно и порою дергалось не то от тика, не то от усмешки, которую все, точно сговорившись, называли «мефистофельской». У него уже был один, легкий, удар, и поклонники шепотом сообщали, что жить ему осталось год-два (на самом деле он прожил дольше). Выставив вперед руку, он пробирался к столу писателей, поднимал рукой веко глаза и тому, в кого он всматривался, становилось не по себе от взгляда медленно умиравшего человека. Затем садился, заказывал устрицы, редиску, сотерн — и начинал говорить.

Несмотря на его акцент, французские писатели признавали Гейне парижанином и очень любили, особенно Бальзак, называвший его великим человеком. Бодлер его причислял к тем немногочисленным «беднякам, которые составляют венец человечества». Говорил он порою превосходно. Теперь шутил и острил меньше прежнего и очень от этого выигрывал, несмотря на свое, действительно редкое, остроумие (Сент-Бев саркастически писал, что этот немец *слишком* остроумен для парижанина). Передовые французы спрашивали его о Германии и, вслед за Кинэ, высказывали надежду, что спящая красавица наконец проснется и хлынут из-за Рейна свободолюбивые мысли, песни, грезы. Он опять медленно поднимал двумя пальцами веко глаза и всматривался в говорившего. Затем подтверждал: да, проснется, но гораздо лучше было бы этой красавице не

просыпаться, ибо надо миру бояться ее гораздо больше, чем императора Николая. Россию же, к удивлению передовых людей, чрезвычайно хвалил и предсказывал ей огромное, необыкновенное будущее. Когда бывал в ударе, говорил, что будут великие войны и революции, и будет затем во всем мире многомиллионное стадо овец, и будет его стричь какой-нибудь единый пастырь, а овцы будут бляеть все одинаково, и будет свобода в общей глупости, и равенство в общем невежестве, — кончится искусство, кончится литература, и никому не будет дозволяться писать хорошо, но каждому будет разрешено писать еще глупее, чем другие, — называться же всё это будет каким-нибудь ученым словом вроде коммунизма. Передовые собеседники обиженно возражали, что немецкие коммунисты его горячие поклонники, — называли молодого Маркса, которого немного знали в Париже и который считался его другом. Он со скукой хвалил ум и познания этого человека, признавал, что будущее может принадлежать его последователям, и затем угрюмо сравнивал себя с курицей, высидевшей утят. Случалось, французские поэты просили его прочесть свои стихи. Он делал это очень редко. Читал по-своему, как будто чрезвычайно просто, без того напева, с каким велел поэтам читать Расин; читал очень медленно, тихим голосом (но каждый слог был слышен), старые стихи и, беспомощно разводя руками, заканчивал:

Und nun ich mich gar sauberlich  
 Des tollen Tands entledge:  
 Noch immer elend fühl ich mich  
 Als spielt ich noch immer Komoedie.  
 Ach Gott! im Scherz und unbewusst  
 Sprach ich, was ich gefühlet.  
 Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust  
 Den sterbenden Fechter gespielt.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье, / Хоть нет театрального хламу, / Доселе болит еще сердце мое, / Как будто играю я драму. / И что я поддельною болью считал, / Та боль оказалась живая, — / О Боже, я раненный насмерть, играл, / Гладьятора смерть представляя! (Пер. с нем. А.К. Толстого.)

Слушатели, не понимавшие по-немецки, просили его перевести, — после чего наступало молчание. Быть может, иные думали, что эти стихи можно отнести и ко всей жизни Гейне и что читает он так, как Шопен играет свой похоронный марш. Немецкий язык у французов восторга не вызывал. Сам же он называл этот язык самым прекрасным и поэтическим в мире; проклинал Германию и выражал желание быть похороненным у себя на родине. Говорил, что ничего не поделаешь: он немец и национальный немецкий поэт, — его стихи в крови у всех немцев, кроме самых тупых. В этом, быть может, и не очень ошибался. Его поклонниками были Меттерних и, особенно, Бисмарк, говоривший, что, кроме книг Гёте, не было на немецком языке ничего равного произведениям Гейне. А через сто лет, при Гитлере, «Лорелей» переиздавалась с надписью «Неизвестного автора», и в пору оккупации Парижа на могилу Гейне приходили немецкие офицеры, правда лишь старики, лишь украдкой и пока не вышел приказ: не ходить.

## II

Мій Київ...

*Богдан Хмельницький*

По дорогам к Киеву были расставлены карантинные караулы, но холера в город проникла. Из предохранительных мер южнорусская медицина рекомендовала: носить шубу и кожаные перчатки, вытираться уксусом, есть только мясное, пить много спиртного. Письма и посылки окуривались. Окуривался и весь город: на площадях сжигался навоз. Все больные желудком увозились в больницу, где были собраны городские цирюльники. Больным, первым делом, пускалась кровь; немногочисленные замученные врачи справиться с этим не могли. Власти отпускали цирюльникам водку бесплатно, и от их операций нередко умирали здоровые люди. Сами же они умирали почти поголовно. На простой народ холерная больница наводила ужас. По вечерам рано гасили огни и наглухо запирали ворота, чтобы не ворвались *фурманщики* и не увезли кого в холерной повозке. Простые люди пытались спастись от *тресовицы* заговорами. Образованные думали, что помочь не может ничто, и

старались шутить. Читались стишки о лучшем лечении: «Возьми рассудку десять лотов, — Семь гранов травки доброты, — Двенадцать драхм состав покою, — Сто унций сердца чистоты, — Сотри всё это камнем веры — И порошок сей от холеры — Сквозь сито совести просей». Кто-то пытался было пустить слух, будто травят народ поляки, но население вздору не верило, и холерных бунтов в Киеве в 1847 году не было. Люди, и богатые и бедные, умирали безропотно. Каждый день шли по городу погребальные процессии, чаще всего на Аскольдову могилу, откуда открывался изумительный вид на Днепр и на заднепровскую даль. На кладбищах люди бодрились, а возвращаясь, вполголоса спрашивали друг друга: кто же следующий? Надписи делались трогательные, иногда по старинному обычаю, в стихах, вроде: «О, злополучная холера — какого унесла ты кавалера!» — следовала краткая биография, порою тоже с рифмами.

Затем эпидемия стала слабеть, — по видимости, столь же беспричинно, как и появилась, — поползла на запад, всем свой черед. В сентябре, в октябре еще умирало в день по сорок-пятьдесят человек. В ноябре стало выясняться: кончается, кончено! И тотчас все забыли отвратительную болезнь, с корчами, поносом, рвотой, посинелыми лицами. Началась жизнь, — давно в городе не жилось так весело. Караулы еще стояли и по ночам перекликались с обходным, но знали, что их скоро снимут и за маленькое вознаграждение пропускали без трудностей кибитки и телеги.

Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычаи на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды, серебряный, суконный, шелковый, меховой, коверный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево, — еще Михаил Литвин писал, что в Киеве шелк продается дешевле льна на Литве. Особенно славились сласти.



варенье, пряники. Киевские купцы признавались иностранцами самыми честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также кацапы, евреи, армяне и греки. Как-то все уживались. Имперский *melting pot*<sup>1</sup> работал хуже, чем в предыдущее царствование, неизмеримо хуже, чем в следующее, но работал.

Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. В домах коренных киевлян можно было услышать иронические словечки о «панах». Приглашая гостей к ломберному столу, хозяин благодушно говорил: «До брони, панове, до брони!..» За игрой люди ставили карбованцы «на алтарж ойчизны» или, признаваясь в опрометчивом ходе, поясняли: «Мондрый поляк по шкодзе». Так и нерасположение к великороссам выражалось преимущественно в разных словечках и поговорках: «С кацапом дружись, а за саблю держись», «От москаля хоть полы обрежь, да беги!», «Коли москаль скаже «сухо», поднимайсь по самое ухо, бо вин бреше», «Мамо, черт лезе в хату! — Дочка, абы не москаль!». Да еще иногда пили в память Мазепы. В пору контрактов и это смягчалось, тем более, что в Киев иногда приезжали Разумовские, Кочубеи, Галаганы, о которых уже нельзя было и сказать, кто они: москали или украинцы. Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. Бенкендорфа никак не оплакивали. Алексею Орлову никак не радовались. К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «Дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив — относились с большим интересом и уважением. Позднее патриотические куплеты Ленского: «...Где вам,

---

<sup>1</sup> Тигель (англ.).

западные цапли, — до российского орла» в Киеве ничего не вызывали, кроме насмешек над сочинителем.

Перестройке и украшению древнего города способствовали вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», — так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикскую долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт, и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. Прежнее Кловское урочище уже называлось Липками, хотя великолепные липы главной аллеи давно были вырублены. Липки, особенно же Шелковичная, позднее Левашевская, улица, стали аристократической частью города. На Печерске, на Подоле, в Старом городе чуть не на каждом воротах висела дощечка с надписью «К слому», — владельцам разваливавшихся домов отводились бесплатно участки земли за Бессарабкой и у Золотых Ворот. Открывались всё новые магазины, и чтобы никого не отталкивать в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de брата Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просьяниченко».

Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой бочонки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. Деньги тратились очень быстро, особенно вследствие карточной игры. В польском обществе говорили: «Варшава танцует, Краков молится, Львов влюбляется, Вильна охотится, Киев играет в карты». Как-то по вызову графа Левашева приехала из Парижа французская труппа, но для нее публики оказалось недостаточно. Русские же спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах Шел «Ревизор», с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения г. Гоголя. Шли «Роберт-Дьявол», сочинение г.г Скриба и Делавиня под музыку г. Мейербера, «Кремнев, русский солдат», народное представление с военными песнями и танца-

ми, сочинение г. Русского Инвалида, «Никому, кроме короля, или Хлебопашец каштанового леса», сочинение г. Дона Франциска де Рохас, «Знаменитые разбойники», большой балет, сочинение г. Дидло. Ставились «Двумужница», «Отелло», «Полковник старых времен», «Матушкина дочка, или Суматоха на даче». Труппа была только одна, так что одна и та же любимица публики спасала своим кротким пением мятущуюся душу Роберта-Дьявола, декламировала куплеты «Смирно, женщины» и в венгерской хижине танцевала перед знаменитыми разбойниками. Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помещиков и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, — кричали во время спектакля, когда хорошей девушке грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!»

На ровных параллельных Крещатику улицах Липок тянулись одноэтажные дома, почти все деревянные: лес был очень дешев, да и жить в каменных домах считалось вредным для здоровья. В старом городе были площади больше парижской «Place de la Concorde», прекрасные церкви и монастыри, некоторые древнее Кёльнского собора. Над Днепром и позади нового университета были лучшие в России бесконечные сады, — киевляне язвительно говорили столичным жителям «Да-с, это вам не Летний сад и не ваши московские огорды!» Весь необыкновенный по красоте город именно *утопал* в зелени.

Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, — торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойны́х слов употребляли, по сравнению с Великороссией, очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и так называемые разночинцы, жил, пожалуй, лучше, чем в столицах. На званых обедах не подавались сотни блюд, как у Орловых, Строгановых, Нессельроде, Всеволожских, но десять-пятнадцать блюд подавалось везде Гоголь, быть может, чуть

злоупотреблял для *couleur locale*<sup>1</sup> разными галушечками и пампушечками в Малороссии; в Киеве, во всяком случае, гастрономия была более утонченная. Из Одессы привозились устрицы и кефаль. Белугу и стерлядь доставляли с Шексны, так как считалось, что волжская рыба, входя в Шексну, становится гораздо лучше. Порою даже привозилось из Беловежской пуши мясо зубров. Только в напитках Киев еще отставал от столиц. Шампанское, которым завоевал Елизавету Петровну и ее двор маркиз де ла Шетарди, распространялось по России медленно. В Киеве его подавали лишь в самых богатых домах. Пили больше вареный и ставленный мед, наливки, водку всех национальностей: русскую, кизлярку, горилку, пейсаховку. Сами варили пиво и держали его в бочонках на дне колодцев. Свои колодцы были во многих домах. В другие же доставляли воду водовозы. Вопреки всем литературным традициям, они не были кривыми, не играли на бандуре и не пели «старинных казацких песен о Наливайко и Сагайдачном».

Гостеприимство было сказочное. За обедом, после какого-нибудь десятого блюда, хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас обидели?» — и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, *непейки*, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными. уж не шулер ли? Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из-за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцевали круглый польский, мазурку, французскую кадрили; были записные танцоры, учившиеся у самого Сосницкого: этот знаменитый петербургский актер, поляк по происхождению, считался лучшим танцором в России и давал уроки мазурки. Мылись казанским яичным мылом, а лет за двадцать до того появился и одеколон. По утрам ездили в *Минерашки* над Днепром и пили там *кислые воды*. Многие дамы умели падать в обмороки *коловоротности* и *Дидоны*, давно вышедшие из моды в столицах.

По вечерам на гулянье в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем с золотым шитьем одеянии. На него, как на

---

<sup>1</sup> Местный колорит (*фр.*).

достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. Один шалый киевский студент, весельчак и силач, держал пари, что на гулянье поцелует эту даму. Пари он выиграл, к большому удовольствию «Безрукого», который очень недолюбливал скорбно-таинственного человека. Студенты вообще жили в Киеве весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостиницу, играли на бильярде и в карты, — кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.

Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, — такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все же где-то, почти незаметно, шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, — дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зигфрида-Юстуса I. какой-то немецкий купец из Герлитца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.

Большинство же пятидесятитысячного населения города вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно если начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей. Охотно живали в нем и великороссы. «Как хорош, как хорош Киев, как я люблю этот город!» — писал позднее Иван Аксаков.

## III

There was in him a mixture of that disease, the nature of which eludes the most minute enquiry though the effects are well known to be a weariness of life, an unconcern about those things which agitate the greater part of mankind, and a general sensation of gloomy wretchedness<sup>1</sup>.

*Boswell*

На одной из параллельных Крещатику улиц, в Липках, жила семья Лейденов. Дом был деревянный, одноэтажный, серо-зеленый, без колонн и без мезонина, без модных затей и без подделки под русский ампир прошлого царствования. Хозяин говорил, что стилями не интересуется: было бы просто, удобно, просторно, прочно, а тогда стиль неизменно приходит сам собой. Дом был в десять комнат. Из них половина выходила в сад с беседкой, за которым следовал отделенный забором двор с конюшней и сараем. В доме была неуютная огромная зала в четыре окна на улицу, с двумя стенными зеркалами в черных рамках с золочеными, крытыми шелком стульями по стенам, со стоявшим наискось пианофорте. Чтобы сделать эту комнату менее неуютной, у более узкой стены были поставлены диван, стол и два кресла, да еще одно удобное кресло стояло в углу у печки. К зале примыкала столовая, тоже большая, но поменьше и потемнее, с двумя боковыми окнами, выходившими в узкий *черный* проезд от улицы ко двору. Были еще две парадные комнаты. В них хозяин устроил свой рабочий кабинет и библиотеку. В низких тяжелых дубовых шкапах были книги на русском, французском, немецком, английском и итальянском языках. Было даже несколько латинских книг. Лейден недурно знал латинский язык и порою, встречаясь в польских домах с ксендзами, приводил общество в почтительное удивление, кое-как объясняясь с ними по-латыни. Иногда цитировал на память стихи из «Георгик» Виргилия и из «De re rustica» Колумеллы, о

---

<sup>1</sup> У него была та болезнь, природа которой ускользает от самого тщательного исследования. Но ее следствия хорошо известны: усталость от жизни, равнодушие к тому, что волнует громадное большинство людей, и общее чувство мрачной подавленности.

котором в Киеве не слышали даже ученые ксендзы. По содержанию книги в библиотеке были самые разные. Один шкаф был занят книгами философскими и мистическими. Немало было трудов о смерти и загробной жизни. Были сочинения Сведенборга. Были и совсем странные книги, как предсказания славного 106-летнего швейцарского старца Мартына Задеки, — того самого, которого читала пушкинская Татьяна. Книги были большей частью в хороших переплетах с кожаными корешками и углами, но было и немало и непереплетенных; их вид всегда немного раздражал хозяина, — он мечтал о том, чтобы всё было переплетено; вдобавок терпеть не мог разрезать книги. Однако Лейден был скорее человеком расчетливым; у него отводилось четыреста рублей в год на библиотеку, он из этого бюджета не выходил. Кроме главной библиотеки дома, в которую никто, кроме хозяина, не заглядывал, были еще этажерки с книгами у его жены и дочери, и это создавало, как говорил их друг Тятенька, «культурность, уют и независимость». У Ольги Ивановны, впрочем, книг было немного: Священное писание, сочинения Жуковского и старые русские романы, те, что она читала в дни своей юности и любила перечитывать. У Лили были Лермонтов, Марлинский, Бальзак, Жорж Санд, Дюма. Некоторые книги ее библиотеки были в России запрещены; ей приносил их в подарок Тятенька, к большой ее гордости и к некоторому неудовольствию матери.

Лейден был человек высокого роста, седой и плешивый. В последние два-три года стал немного сутуловат; это вышло как будто случайно вдруг неизвестно зачем попробовал ходить чуть согнувшись, — как будто так легче, — а затем вошло в привычку. Жена огорчалась и советовала ему поменьше сидеть за письменным столом. Он считался одним из самых образованных людей в Киеве, хотя в новом университете св. Владимира было уже немало профессоров, известных на всю Россию. Но и профессора, бывавшие у него в доме, и другие знакомые находили, что ум у него странный: ему бы родиться лет на сто раньше. Говорили даже, что он в молодости знал мистика Олешкевича и будто бы имел отношение к попыткам возродить орден тамплиеров. Старожилы, смеясь, рассказывали, что на этот предмет в доме у пана Пиотровского были черные гробовые покровы с галунами, а у пана Фалинского даже и скелеты.

Впрочем, старожилы о Лейдене присочиняли. Недоброжелатели же иронически замечали, что мистика мистикой, а дела делами: «В жизни этот ваш Лейден человек весьма практический». По специальности он был агроном, учился в Москве и в Вене, знал толк в технике, машинах, заводских строениях. Часто бывал консультантом (этого слова тогда не было в употреблении) при постройке сахарных заводов. Фамилия у него была неопределенная по корню. Он не уверял, что он шотландец или испанец, а сухо замечал, что не знает своего происхождения и не интересуется.

— Черт вас знает, кто вы такие! — говорил ему Тятенька. — Есть Лейдены и немцы, и голландцы, и англичане, и кого только нет. А корень *Leu* или *Lew*, быть может, даже иудейский. То-то ты был так дружен с Виером.

— Происхожу по прямой линии от Адама. Надеюсь, что через Авеля, а не через Каина, но и в этом я не уверен. Вот ты другое дело: ты наверное потомок араратского царя Арменака, — отвечал Лейден со свойственной ему мрачной шутовской остротой Тятенька огрызнулся, но очень благодушно.

Отец Лейдена был преподавателем языков в Московском университетском благородном пансионе, затем стал профессором университета и оставил сыну немалые сбережения. Сам он их значительно увеличил и теперь был состоятельным человеком. Помещиком никогда не был, никаких крестьян не имел, но купил за бесценок много земли в Херсонской губернии для устройства больших садов и для новых культур. Все его деловые мысли были связаны с землей; однако и в земледелии его интересовало только новое: что ж всё рожь да пшеница!

Свою землю он обрабатывал вольнонаемным трудом, и в киевском их доме прислуга была тоже вольнонаемная. Он даже говорил слугам вы, чего никто не делал. Взглядов держался гуманных, но политикой мало интересовался. «Мои политические взгляды очень простые: я хочу, чтобы меня оставили в покое, и только!» — объяснял он киевским либералам. Был вообще человек угрюмый и необщительный. Звали его Константином Платоновичем; он говорил, что имя-отчество у него не вяжется с фамилией и вообще не подходит: «Платоном может называться митрополит или большой барин, а мой отец был скромный учитель и никак не голубой крови».



В семейной жизни он был счастлив. Семья была очень дружная. Жена его Ольга Ивановна, в отличие от него, была чисто русского происхождения. У нее были средства, и это было ему, в пору женитьбы, не совсем приятно: по своей гордости и подозрительности опасался, как бы не сказали, что он женился из расчета. Как-то раз за бутылкой вина неожиданно сказал Тятеньке (он редко говорил об интимных делах), будто никогда в жизни не изменял жене. Тятенька только изумленно поднял брови и подумал: «А не врешь ли ты, пан писарь? А если и не врешь, то нечем, братец, особенно хвастать: дурак ты!» У Лейдена была дочь, умершая от дифтерита. После ее смерти, не скоро, родилась другая, которой теперь шел семнадцатый год Константин Платонович говорил, что работает и бережет деньги только для Лили. «Нам с женой ничего не нужно». — «Понятное дело, но работаешь ты, брат, слишком много, — отвечал Тятенька, — ещё хватит какая-нибудь мерехлюндия, у тебя к ней склонность. Вот я честь честью, в свое время, спокойно умру от кондрашки: хорошо, быстро, отец умер через два дня». — «Что вы такое говорите, Тятенька! — недовольно замечала Ольга Ивановна, — но вы в самом деле слишком много едите и пьете. Я сто раз вам говорила, что...» — «Зачем же, Олечка милая, говорить в сто первый? Точно я сам не знаю. Только мне без еды и вина жизнь не в жизнь». Ольга Ивановна делала вид, будто сердится, но так как и Тятенька и они были совершенно здоровы, то эти разговоры неприятны не были.

В киевском обществе Лейдена не любили; отдавали должное его учености и порядочности, но считали замкнутым, гордым и странным. Часто говорили, что он «человек с заскоками», хотя это выражение почти ничего не означало, да, собственно, могло относиться к кому угодно. После успеха «Мертвых душ» шутники называли Константина Платоновича «херсонским помещиком».

Была у Лейдена еще особенность, несколько раздражавшая людей: не будучи трусом, он был чрезвычайно мнителен, очень заботился о своем здоровье и слишком часто говорил о нём со знакомыми, даже с теми, которым оно было совершенно не интересно. Начал *чинить* свое тело раньше, чем обычно начинают люди. На ночном столике у него всегда лежала старая, потрепанная книга «Врачебное веществословие, или Фармакология». Он её читал с улыбкой, но читал: «Может, именно в

старину лечили не хуже, чем теперь?» Выписывал газету «Друг здравия», любил лечиться, хотя и подозрительно относился к большинству врачей, зубы чистил табаком, что считалось очень полезным для здоровья, имел правила относительно того, что надо есть и в каком количестве, сколько надо ежедневно гулять, как одеваться в жару, как обвязывать шею в стужу. Во всех комнатах дома были термометры, а в кабинете на стене висел ртутный барометр. Термометрами Ольга Ивановна еще интересовалась, а в барометр верила плохо: погоды все равно не предскажешь, будет какая будет. Когда муж объяснял ей, что такое торичеллиева пустота, она слушала благоговейно, но подавляла зевок. Случалось, ложась спать, Константин Платонович подходил к зеркальному шкапу и с отвращением смотрел на себя. «Да, понемногу разрушается тело и как становится с годами чудовищно безобразно!» — думал он и в эти минуты удивлялся, что жена может еще его любить. В обычное время принимал любовь Ольги Ивановны как нечто само собой разумеющееся и пересмотру не подлежащее. «Впрочем, ведь и я ее люблю».

В Киеве со смехом и недоумением рассказывали, что Лейден купается каждый день. «Просто корчит английского лорда! Да и английские лорды верно этого не делают, разве уж какие-либо отчаянные», — говорили в городе. Бани в доме Лейденов не было, но была ванна. Константин Платонович выписал ее из Вены, высокий круглый котел с печью внизу, трубы и краны были устроены по его рисунку; киевские мастера наладили это не без труда, по непривычке к столь сложным сооружениям. Дворник Никифор каждое утро растапливал печь. Тятенька с возмущением утверждал, что Лейден губит свое здоровье. «Во всей России верно только три или четыре психопата купаются каждый день! Впрочем, ты и есть психопат!» — говорил он, немного щеголяя этим еще мало распространенным словом. Пользовалась ванной и Лиля и гордилась ею: ванны не было даже у генерал-губернатора Ольга Ивановна, ездившая каждую субботу в баню, старалась в ванную и не заглядывать; в первое время опасалась, как бы котел не взорвался, и умоляла мужа быть осторожнее. «Никакого взрыва быть не может. Сопrotивляемость стен в шесть раз больше необходимого», — уверенно отвечал Лейден. Температура воды у него всегда бывала определенная в зависимости от времени года, — он её тоже тщательно проверял.

Завтракал он всегда один: жена и дочь еще спали. Ольге Ивановне было совестно, что она не выходит к утреннему завтраку мужа, но и спать ей хотелось и, главное, ей казалось, что Константин Платонович предпочитает бывать по утрам в одиночестве. Утренним завтраком он интересовался больше, чем обедом. «Почему люди постоянно меняют карту обеда, а утренний завтрак у них всегда один и тот же?» — спрашивал он гастронома Тятеньку. «Это ты спроси у Кифы Мокиевича», — неизменно отвечал Тятенька. «Я вот постоянно меняю: пью то кофе, то чай, то шоколад. Если чай, то к нему съедаю три еле сваренных яичных желтка, белка терпеть не могу, и четверть фунта свежей икры на черном хлебе: нигде в мире нет такого прекрасного черного хлеба, как тот, который пекут у нас на Лютеранской улице» (Константин Платонович обычно говорил грамматически правильно построенными предложениями). Тятенька слушал с интересом, соглашался относительно киевского хлеба, но защищал и достоинства московских калачей. «А насчет белка ты врешь, да и что ж это, три желтка и четверть фунта икры! Этого и ребенку мало!» — «Нет, брат, есть надо поменьше, и вообще незачем придавать значение всему материальному». — «Всему материальному! — сердито передразнивал Тятенька, — тогда и икры не жри! Она, брат, икра, материальная и даже два рубли фунт». Впрочем, Тятенька знал, что Лейден в самом деле не «материальный» человек. Он и работал гораздо больше, чем другие киевляне. В последние же годы все читал и читал ученые книги, преимущественно на немецком языке. А раз как-то, застав своего друга за чтением Гегеля, Тятенька и совсем проникся почтением: «Я дальше первой страницы никогда пойти не мог, и пропади он пропадом, твой Гегель. Да он и так пропал от холеры!»

#### IV

Зачем я теперь скажу про человека худо?  
Лучше я должен сказать про человека хорошо.

*Островский*

Жена Лейдена, в отличие от него, пользовалась в городе общими симпатиями. По наружности она и теперь, в пятьдесят лет, оставалась, как говорили мужчины, «русской красавицей».

Она была чрезвычайно добра. Любила ее даже прислуга, несмотря на то, что Ольга Ивановна, прекрасная хозяйка, держала под ключом сахар, кофе, чай, вина. Впрочем, делала это не из бережливости, а для того, чтобы не вводить людей в соблазн и в грех. Одевалась она скромно, хотя могла брать у мужа сколько угодно денег. Заказывала себе два платья в год или же одно платье и еще какое-нибудь манто. Раз в три-четыре года покупала на контрактах мех, всегда дорогой, и неизменно объясняла: «Это ведь вещь вечная, после меня Лиленька будет носить, или же подарю ей к свадьбе». Лиле заказывалось всего гораздо больше. В высшее киевское общество Лейдены нисколько не старались проникнуть, но когда их звали туда, Ольга Ивановна старалась — тоже для Лили — запомнить туалеты богатых дам.

Весь смысл жизни Ольги Ивановны был в муже и в дочери, особенно в муже: дочь скоро выйдет замуж и уедет, а с мужем они будут неразлучны до могилы. Тятенька прочел ей как-то из бывшего у него списка знаменитый разговор протопопа Аввакума с женой. Слова «Марковна, до самой смерти» умилили Ольгу Ивановну до слез, хотя в их жизни с мужем решительно никаких мук не было. Так же умилял ее британский брачный обряд, — то, что жених и невеста обещают делить жизнь «в лучшем и в худшем, пока не разлучит нас смерть». Иногда с ужасом думала: «Что, если он меня переживет! как он будет жить без меня?» (Константин Платонович думал порою то же самое). Ольга Ивановна всячески старалась устроить мужу спокойное, приятное существование и с великим огорчением видела, что это в последние годы ей не удастся. Прежде он за чаем часто рассказывал ей о плантациях, о семенах, о новых открытиях, она слушала и старалась запомнить. Всё это не очень ее интересовало, но хорошая жена должна входить в умственные интересы мужа. В делах понимала не много, однако достаточно, чтобы кое-как заменять Константина Платоновича в пору его отлучек. В противоположность ему, новшеств она не любила. В землю же верила твердо: земля не разорит, останется, позднее перейдет к Лиленьке. В философские интересы мужа Ольга Ивановна входить не могла, не сочувствовала им и почему-то их боялась: ей казалось, что именно из-за них устроить мужу приятную жизнь становится с каждым годом всё труднее. Между тем Ольга

Ивановна не любила думать о неприятном и почти никогда не думала. Избегала разговоров о болезнях, а когда мужу или дочери случалось хворать, говорила с ними так, точно они всё выдумывают и совершенно здоровы. Знала, что такая манера обращаться с больными часто оказывает на них полезное действие. Разумеется, при этом окружала их самым заботливым уходом. Ночью по нескольку раз вставала и на цыпочках подкрадывалась к комнате дочери, если Лиля бывала простужена: «Спит ли? Не накрыть ли ее второй периной?»

Она недурно играла на пианофорте; музыку любила преимущественно простую: романсы Николая Титова и другие, русские и малороссийские народные песни. Пела очень мило, не конфузясь и не ломаясь. Музыка Ольга Ивановна научилась с детских лет, но вообще учили ее в детстве мало, хотя она принадлежала к состоятельной южнорусской семье Яценко. По-французски говорила плохо, не стыдилась этого в отличие от других дам, однако думала, что это нехорошо и что следовало бы научиться. Лейден, обладавший художественным воображением, иногда старался себе представить, кем мог бы быть тот или другой его знакомый, если бы родился в иной обстановке, в иное время. Но Ольгу Ивановну он мог себе представить только такой, какой она была, когда и кем бы она ни родилась. Главной и редчайшей ее особенностью кроме доброты была совершенная естественность и простота во всем. *Просто* она и верила. Посты соблюдала не строго, в церковь иногда по воскресеньям не ходила, но едва ли было много людей более религиозных, чем она. Сказывались ее убеждения и в том, что она никогда ни о ком не злословила; гостям, особенно дамам, даже скучновато было с ней разговаривать, и они считали ее глупенькой. Любовь к злословию совершенно одинаково совместима в человеке и с умом, и с глупостью. Ольга Ивановна знала это, знала и то, что очень добрых людей обычно считают неумными, но сама себе отвечала: «Может быть, именно глупые так считают». Она душой не была, не была лишена остроумия и наблюдательности, шутить любила, однако, когда при ней дурно и резко говорили о знакомых, особенно о людях, только что покинувших гостиную, Ольга Ивановна упорно, без улыбки, молчала. Ей в таких случаях казалось, что она и молчанием принимает участие в нехорошем деле.

Благодаря милому нраву хозяйки, ее редкому гостеприимству, хорошему столу и винам, приемы у Лейденов славились во всем Киеве. Правда, немного вредил их успеху характер Константина Платоновича. Обычно, после последнего сладкого блюда, когда гости шли пить кофе в залу, он незаметно исчезал, уходил даже не в кабинет, а в свою спальную, там ложился на диван, не сняв фрака (к огорчению Ольги Ивановны, которая для таких дней приготавливала ему самое лучшее, только что выглаженное платье). Там он оставался долго и с тоской, почти с ненавистью, спрашивал себя, когда же уйдут гости. Из гостиной доносились звуки музыки. В отличие от настоящих певцов, Ольга Ивановна охотно пела и тотчас после еды. «Нет, доктор, нет, не приходи! Твоя наука не поможет!..» — доносилось в спальную. Лейден думал, что этот романс он верно слышал уже раз сто, что прежде Оля его пела лучше и что ему, Лейдену, нет никакого, ни малейшего дела до того, придет ли к кому-то этот доктор и поможет ли его наука. Знал также, что Тятенька бурно потребует повторения и что все-таки через четверть часа придется опять ненадолго выйти к гостям.

К обеду можно было являться и без приглашения, хотя хозяйка предпочитала, чтобы ее предупреждали. Повара у Лейденов не было, но была отличная кухарка Ульяна, которую Ольга Ивановна очень любила. Константин Платонович, напротив, совершенно Ульяну не выносил. «Господи, какая идиотка!» — сердито говорил он. «Ничуть не идиотка, а стряпает прекрасно», — виноватым тоном, но твердо отвечала Ольга Ивановна. «Вы оба совершенны правы, — примирительно говорил Тятенька, — Ульяна мастерица первого ранга, но это истинное чудо, так как она действительно глупа, как сивый мерин. Между тем для такого дела, как кухня, ум вещь необходимая. Очень глупый человек не может быть ничем, не может быть и хорошим поваром». — «И вдобавок честна она так, что другой такой не найти», — заканчивала Ольга Ивановна победоносно. Она и сама умела стряпать; иногда часами работала с Ульяной на кухне, когда готовилось особенно важное и интересное блюдо. Константин Платонович только пожимал плечами. Он не имел ни малейшего предубеждения против какого бы то ни было труда, но ему просто это казалось странным. «Да, что же, когда я это люблю? — оправ-

дывалась Ольга Ивановна. — Вот мыть посуду терпеть не могу, это уж всегда делает Ульяна, разве что я после воскресного обеда помогу. А стряпать очень интересно».

О ней тоже злословили гораздо меньше, чем о других дамах. Только люди, гордившиеся злым языком, говорили: «Что правда, то правда: мухи не обидит, но если б наш херсонский помещик да приударил за какой-нибудь юбкой, то юбку Олечка верно и очень обидела бы». На что незлые языки возражали. «Ну, уж какая там юбка! Кроме своей колумеллы он никем не интересуется». — «Как знать, как знать? В тихом омуте черти водятся», — говорили злые языки без убеждения, но с таким видом, будто им было кое-что об этом известно.

Спала Ольга Ивановна отдельно от мужа. Так было гораздо удобнее обоим. Константин Платонович никогда не ложился до полуночи, еще довольно долго читал в кровати при свете канделябра с тремя восковыми свечами, вставал в седьмом часу: ему было вполне достаточно пяти часов сна в сутки. Жена его ложилась обычно раньше, вставала позже. Она с марта до ноября спала при отворенных окнах и всегда при спущенных шторах. Он и летом окна затворял, чтобы не простудиться, а шторы поднимал: не любил просыпаться в темной комнате, говорил, что утром темнота напоминает ему о гробе и приводит в дурное настроение на весь день. Ольга Ивановна слушала это с досадой и только пожимала плечами: не видела никакого сходства между гробом и комнатой со спущенными шторами и даже не могла это принимать всерьез, как ни благоговела перед умом и ученостью мужа. «Между мамой и папой полная *incompatibilité d'humeur*!<sup>1</sup> — весело объясняла друзьям Лиля, всегда вставлявшая в речь французские слова, — им, собственно, давно бы пора развестись». — «Ну, вздор, вечно глупости», — замечала при этом мать, не любившая таких шуток.

Теперь у Ольги Ивановны было тяжелое время. Осенью муж поднес ей сюрприз: сообщил, что ему по делам совершенно необходимо побывать в Турции и в Италии. Он и прежде нередко ездил за границу. Был даже как-то в Париже для переговоров со строительной фирмой Дерон и Кайль: покупал там машины для себя и для сахарных заводов графа Алексея

---

<sup>1</sup> Несовместимость характеров (*фр.*).

Бобринского. Граф, очень влиятельный человек, создал в России свеклосахарную промышленность вопреки упорному сопротивлению министра финансов Канкрин, считавшегося гениальным финансистом. Он добился разрешения на поездку во Францию для Константина Платоновича, которого очень ценил и которому много раз безуспешно предлагал у себя должности с большим жалованьем.

На этот раз Лейден отправлялся за границу по собственным делам и на собственные деньги. Цель его поездки была довольно необычная: он хотел изучить южную растительность, приобрести деревья и семена для своих новых плантаций. В частности, хотел насадить в Херсонской губернии платаны, что обещало немалые выгоды. Эти деревья очень ценились как строительный материал для флота, — хорошо выдерживали морскую воду. Кроме того, из их коры можно было изготавливать разные лекарства, и стоило построить фармацевтический завод. Помимо выгоды, дело соблазняло Лейдена новизной; если он не обзавелся собственным сахарным заводом, то больше потому, что теперь сахарные заводы строили все.

Холера в Киеве почти кончилась. Всё же Лейдену было страшно оставлять жену и дочь. Но и независимо от этого, душевное состояние Константина Платоновича в последний год становилось с каждым днем всё тяжелее, притом без всякой видимой причины. Он кое-как, с большим трудом старался скрывать это от своих. Однако вопрос о платанах и заводе настоятельно требовал решения до начала весны и откладывать поездку было невозможно.

Вещи мужа укладывала Ольга Ивановна, делавшая это очень хорошо. Только его книги и дорожную аптеку укладывал он сам: она относилась подозрительно и к его книгам, и к его лекарствам. Работы было дня на три. Константин Платонович, впрочем, нетерпеливо говорил, что всё можно сделать в полчаса, и, нервно расхаживая по комнате, давал жене указания. «Да, да, ты мог бы сделать в полчаса, ты такой способный, но я не могу, я неспособная», — говорила она, вздыхая. Впрочем, знала, что ее работа в сущности самообман: после первой же остановки всё придет в совершенный беспорядок, а к концу поездки (хотя кое-что будет растеряно) места не хватит, муж где-нибудь купит новый сундук, именно такой, какого не нужно



покупать, побросает вещи как попало, не обернет обуви толстой бумагой, туалетные склянки уложит так, что они непременно разобьются и красный эликсир прольется на новый, бессовестно смятый костюм. «Что ж, он такой и другим быть не может», — как всегда в таких случаях, думала Ольга Ивановна. В исполнении этой своей очередной обязанности она находила грустное удовлетворение. За два дня до отъезда чемоданы уже стояли на полу в кабинете готовые, но не перевязанные ремнями, — вдруг в последнюю минуту о чем-либо вспомнишь или, наоборот, придется что-либо вытаскивать. На следующий день начал заполняться последний ящик, называвшийся по-старинному погребцом. В кожаные карманы, по сторонам от окорока и колбас, были вставлены и пригнаны заложенными бумажками, чтобы не шатались, четыре бутылки венгерского вина. К большому огорчению жены, Константин Платонович пил в последнее время всё больше. Переезд из Киева в Одессу считался трудным: на станциях, в *ямах*, ничего нельзя было достать, кроме водки. «Пусть уж лучше пьет хорошее вино». В последнее же утро, перед самым отъездом, Ольга Ивановна собиралась положить в погребец, в мешочках, кульках, картонках, *рогалики*, черный хлеб, еще горячий из булочной, масло и два фунта бекетовской икры прямо со льда. Подумала было, чтобы развеселить его в Константинополе, не положить ли в один из чемоданов старинную книгу, перешедшую к ней от матери: «Опасной спор, или Сколько женщины могут полагаться на верность мужчин», — но не положила: «Наверное где-нибудь потерял бы».

## V

He never sat up, when he could lie down; and never stood, when he could sit <sup>1</sup>.

O. Henry

Тятенька сидел у них в кабинете накануне отъезда Лейдена в одиннадцатом часу вечера. В этот день обедало человек шесть. Другие гости давно ушли. Он остался как ближайший

---

<sup>1</sup> Он никогда не сидел, когда можно было лежать, и никогда не стоял, когда можно было сидеть.

друг дома. Клятвенно обещал Константину Платоновичу бывать во время его отсутствия каждый день и «за всем следить». Впрочем, Тятенька и без того бывал в доме Лейденов чрезвычайно часто. Он был как бы членом семьи. Но теперь Ольга Ивановна была не очень довольна, что он засиделся: в последний вечер мог бы оставить их пораньше.

Все, даже неблизкие люди называли его Тятенькой или реже Тятей. Это прозвище ему когда-то дали из-за какого-то малоинтересного, давно забытого происшествия; едва ли теперь и друзья могли бы объяснить, почему именно его так прозвали. Но прозвище к нему подходило, и главное, совершенно к нему не шло его необычное, чуждое русскому уху и даже труднопроизносимое имя-отчество. Тятенька был старый холостяк, чуть молодившийся, необыкновенно благодушный, жизнерадостный армянин. Он перепробовал в жизни много профессий, немало поездил по свету, видел знаменитейших людей мира, — именно только видел, ибо ни с кем знаком не был. Когда-то в царскосельском парке он встретил Екатерину II, и она, в ответ на его низкий поклон, сказала ему: «Здравствуйте, сударь». Из этого люди заключали, что, если Тятенька был уже «сударем» при скончавшейся полвека тому назад императрице, то верно ему не шестьдесят девять лет, как он говорил, а побольше. В 1814 году он, не то как чиновник по провиантской части, не то как поставщик, сопровождал русскую армию, застрял в Париже по случайности, — скорее же потому, что ему очень хотелось там пожить, и видел Наполеона в момент его возвращения с острова Эльбы. Рассказ об этой сцене был, как говорила Лиля, «коронным номером» Тятеньки. Впрочем, он видел императора еще и раньше, в Эрфурте, куда тоже как-то попал. Тятенька очень любил рассказывать о своих путешествиях, в частности, о том, что он в разных странах ел и пил. Хранил карты блюд и вин из тех заграничных ресторанов, где они уже были, и любил показывать меню Вери и Роше-де-Канкаль. Впрочем, всегда добавлял, что в России едят еще лучше: «Что ж, когда они до шашлыка не додумались!» Однако видел он в Париже не только рестораны; бывал и в театрах, и на лекциях, и даже в парламенте. Был еще чрезвычайно бодр. Волосы он красил, так что его, несмотря на его невоенную фигуру, на улицах, случалось, принимали за генерала, почему-то гуляющего

в штатском платье (военным предписывалось красить седины). Это ему льстило. Офицером он никогда не был, но имел каким-то образом медаль за взятие Парижа и по торжественным случаям надевал ее.

Тянька давно осел в Киеве. У него был кабинет для чтения, называвшийся «Аптекой души». При кабинете была книжная и писчебумажная торговля, одна из лучших на всю южную Россию. Названия он не выдумал: кабинеты для чтения со сходными названиями существовали и в других местах. Он даже и обставил свой магазин так, как тогда обставлялись аптеки: на вывеске были изображены лев и единорог. Благодаря опыту и связям Тяньки, торговля в «Аптеке души» шла отлично. Он имел небольшое состояние. Происходил он из бедной семьи, со вздохом сообщал, что остался последний в роде, и добавлял. «Ожитворен средь небогатого люда. Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего, и многому бех в жизни согляда-таем». Читал почти с одинаковым удовольствием и превосходные, и плохие книги, — не только потому, что не очень знал толк: находил много поучительного и в плохих книгах. Чтение у него стало такой же привычкой, как водка перед обедом или сон после обеда: он и засыпал всегда с книгой или с «Ведомостями». Знал на память много стихов и любил их цитировать (обычно перевирал). За границей и в Петербурге он проводил часы в музеях, в картинных галереях, всё изучал, многое помнил, кое-что даже записывал; непонятно было, для чего он всё это делает (как, впрочем, и множество других людей): ни одной своей мысли это у него не вызывало. По делам своей торговли он часто ездил в Гамбург, в Берлин. Немцев почитал за порядок и отчаянно ругал за еду. Любил повторять присказки какого-то немца, вроде «Frisch ins Leben hinein!» или «Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn»<sup>1</sup>.

Так как Тянька был человек хорошо воспитанный и остроумный, да и торговля у него была благородная, — не какие-нибудь сапоги, а книги, — то его принимали в хороших домах, звали — правда, лишь на большие приемы — к гражданскому губернатору Фундуклею и даже иногда к генерал-губернатору.

---

<sup>1</sup> «Смело вступай в жизнь!» или «Не легкомысленно, но с легкой мыслью» (нем.).

Он, как и Лейден, нисколько за этим не гонялся, хотя, в отличие от Константина Платоновича, обиделся бы, если б совсем не звали.

Жил он, как почти все киевляне, не принадлежавшие к «простому народу», в собственном доме, — в подольной части города, недалеко от Днепра. Дом был всего в четыре комнаты, но тоже с садом, двором, беседкой, конюшней и сараем. На всех восьми окнах стояли горшки с цветами, покрытые кисейными занавесками. Полы были некрашенные, ковры рваные и дешевые; обои, не наклеенные, а прибитые гвоздями, кое-где углом отваливались вниз. Тятенька легко мог бы иметь то, что было у других: не очень дорогую обстановку, сносно подделывающуюся под дорогую. Но это его не интересовало, и ему и думать не хотелось о покупках, ремонте, чистке, переделках. Впрочем, у него было несколько не очень дурных картин, а на полках в столовой стояла старинная дорогая посуда. Он ее и называл как-то по-старинному: штофа, штопка, фляша, збаночек, раструханчик, пуздерко, так что гости не всегда понимали. Его «Аптека души» находилась довольно далеко, на Крещатике. Тятенька ездил туда в своей обитой синим сафьяном бричке (неправильно называл ее «бидкою»), проверял счета, просматривал новые книги, давал общие указания главному приказчику, которого называл управляющим. Трудом себя Тятенька не угнетал: как Людовик XV, находил, что работать в день один час человеку совершенно достаточно. Вставал он с рассветом, выпивал несколько огромных чашек кофе, варившегося «по-польски» в молоке, съедал густо намазанную маслом булку в фунт весом. В десять часов завтракал, еду предпочитал простую, — подавались ветчина, икра, гусиный полоток, борщ с сушеными карасями, зразы с кашей или жаркое по-гусарски, сочни с сыром и сметаной, а к ним кальмусовка, брусиловский гольдвассер, старый мед. В два часа он обедал еще гораздо плотнее, хотя обычно говорил старухе-ключнице: «Ох, что-то не обедается», — когда не говорил: «К завтраку еду, а к обеду домой приеду». Днем пил чай с бутербродами, паштетами, бабками. Вечером ужинал в гостях «как Бог пошлет», но бывал он обычно в таких домах, где Бог посылал хороший ужин. За едой особенно сыпал прибаутками. Вместо «выпьем» говорил «зашибем муху» или «задавим буканда», с умоляющим выражением просил хозяйку «уж не

обнести его чарочкой», — она изумленно-обиженно вскрикивала от такого предположения, — а шипучее вино называл «таможенным квасом», — в пограничных городах шампанское продавалось по рублю бутылка. Любил поиграть в карты и за игрой изумлял тех, кто этого еще не слышал, сообщением, что колода из пятидесяти двух карт допускает шестьсот тридцать пять миллиардов комбинаций, — называл даже совершенно точную цифру.

Несмотря на свое ожорство, Тятенька особенно толст не был, так что дородные люди, еввшие вдвое меньше его, недоумевали и завидовали. И только короткая шея и толстые синие жилы на его лбу вызывали печальные мысли. Сам он никогда о смерти и о болезнях не думал, да и было некогда, хотя он почти ничего не делал. Из развлечений любил рыбную ловлю или, скорее, притворялся, что любит: был и для нее слишком ленив. Иногда один уезжал на Труханов остров и *шупал* там раков, — по словам же друзей, покупал их на обратном пути на Подоле, хотя врал реже большинства людей: и не любил, и не умел.

Не менее раза в месяц он приглашал к себе на обед всех, у кого ужинал, и тогда их закармливал. Поздно вечером, когда гости бурно возражали, что больше не могут ни есть, ни пить, готовил жженку и при этом обычно декламировал: «Когда могущественный ром — С плодами сладостей Мессины, — С немного сахара, с вином — Переработанный огнем — Лился в стаканы исполины», и не упускал случая добавить: «Вот и великоросс Языков, а русского языка не знает: «С немного сахара! А впрочем, именно потому, что великоросс, и не церемонится: *его* язык». Иногда Тятенька, фальшивя, затягивал песни, чаще всего малороссийские. Он любил говорить по-украински, хотя говорил не слишком правильно. Был дружен с Костомаровым; тот был такой же веселый, жизнерадостный человек, как он сам. Шевченко же недолго любил и за слишком резкие стихи, и за то, что тот предпочитал ром всем напиткам: Тятенька стоял за коньяк. Гостили у него часто и великороссы, и украинцы, иногда жилали неделями. Он и их кормил точно на убой, но иногда проговаривался: «Гость что рыба: три дни хорош, а потом портится».

Одевался он небрежно, носил с утра довольно потертый фрак с перламутровыми пуговицами, фуляры, широкие клетчатые брюки без штрипок, — штрипки почему-то ненавидел и

презирал. Жилеты носил необычайно яркие, иногда, как в старину, сразу по два, и на цепочке от часов у него всегда уютно звенели огромные брелоки. От него и вообще веяло уютом. За дамами он ухаживал по-старинному. После пятой или шестой рюмки говорил соседкам, вздыхая, что-либо весьма галантное, тоже обычно по-малороссийски, вроде «Купидон пронизав у mine наскризь сердце стрилою» После десятой же рюмки, случалось, становился даже игрив и, глядя на шею соседки, спрашивал ее: «А что у вас здесь, прелестная Солоха?» Дамы делали вид, что сердятся, но были довольны. На Тятеньку, по его благодущию, люди вообще не сердились. Впрочем, вольные цитаты он позволял себе лишь редко, да и в этих случаях не забывался; с барышнями же их никогда не допускал. Непристойные анекдоты очень любил, но исключительно в мужском обществе. Писал он и мадригалы в стихах, и даже эпиграммы, причем, несмотря на свою доброту, следовал лучшим образцам: чем была грубее и бесстыднее эпиграмма (даже о даме), тем считалось лучше. Шутки же предпочитал старинные. Так, порою устраивал какой-нибудь Софье Васильевне сюрприз: помещал в губернских ведомостях или в календаре сообщение о том, что на небосклоне внезапно появилась новая красавица-комета, которую в честь богини мудрости называли Софией; но в Испании духовенство опасается, как бы грешники не обоготворили ее и не переименовали в Диану или в Венеру. Эти, не им выдуманые шутки имели большой успех. И только Лейден мрачно говорил: «А все-таки болван ты порядочный! Пора бы тебе о душе подумать». Тятенька не обижался и отвечал: «О душе думай о своей. А что болван, то не скажи: я много тебя умнее».

Он имел репутацию порядочного и очень доброго человека. Даже не близким людям давал займы деньги, разумеется без процентов, назад не требовал или требовал без настойчивости. Только книги давал неохотно, записывал и предупреждал: «Если кто зачитывает книгу, то я его считаю последним подлецом, хуже отцеубийцы», — люди иногда после этого с испугом от книги отказывались. Тятенька хорошо знал два иностранных языка, получал популярную тогда «Augsburger Zeitung» и знал имена правителей в главных странах Европы.

При своих книжных связях он доставал и запрещенную литературу. Называл себя «партизаном представительного прав-

ленья», правительство втихомолку поругивал и, например, шутиво говорил «департамент подлостей и вздоров», поясняя: «департамент податей и сборов». В молодости ненавидел Наполеона за деспотизм и рассказывал, что когда-то назвал свою собаку Наполеошкой. Однако после встречи с императором простил его и собаку назвал Талейрашкой. В литературе он от моды отставал, Пушкина, случалось, поругивал, когда им уже опять принято было восхищаться, и одобрительно вспоминал ходившие в давнее время стишки: «И Пушкин стал нам скучен, — И Пушкин надоел, — И стих его не звучен, — И гений охладел...» Зато еще не всеми признанного Гоголя обожал и вечно цитировал. Дипломатом или светским человеком Тятенька никогда не был, но, как позднее несколько поколений дипломатов и светских людей, находил чрезвычайно остроумными «Сенсации госпожи Курдюковой» Ивана Мятлева, которого, как придворные в Зимнем дворце, называл Ишкой, хотя отроду его не видел. По-русски он говорил без малейшего акцента и чуть по-старинному, — воспитывался при Екатерине II. Писал «естли», «щастье» и даже произносил эти слова не совсем так, как люди следующих поколений. Новых писателей часто ругал за слог, за новшества, за то, что вместо «всё-таки» говорят «всё же», вместо «недостает» — «не хватает», вместо «вероподобно» — «вероятно». Впрочем, и сам слово «вероподобно» теперь уже произносил редко, как бы с вызовом, и, наряду со старинными выражениями, употреблял новые, так что выходило не очень складно. Точно так же он, употребляя слова, перешедшие в русский язык из французского, род им придавал произвольный, иногда правильный, как в словах «монограмм», «корветта», иногда и нет. Вставлял и простонародные выражения, часто говорил «быдто» или даже «быдто-шта», хотя во Владимире никогда не жил. Употреблял и польские, и украинские слова.

Тятенька собирал разные рукописи и даже читал их. Обожал Киев, прекрасно знал его прошлое, мог долго и интересно рассказывать о Золотых воротах, об Аскольдовой могиле, о Крещатицком ущелье близ Государева сада, где князь Владимир крестил своих сыновей, о Выдубецком или Выдыбаевском монастыре, на месте которого *выдыбал* из Днепра брошенный в реку идол Перуна. Знал в молодости стариков, которые своими глазами видели, как над Крещатицом в воздухе пронесся змей с

огневыми глазами и с длинным гремучим хвостом. Это рассказывал со смехом. Тятенька был вольнодумец, и, как многие вольнодумцы, знал духовную литературу. Любил озадачивать людей вопросами о малопонятных выражениях в молитвенных книгах. Знал, чем киевское богослужение отличается от великорусского и как случилось, что в церквах Киева в такие-то дни вместо трезвона бьют только в один колокол, вместо серебряных лампад вешают медные, а вместо белых свечей зажигают зеленые. Ризницу же Киево-Печерской Лавры он знал не хуже ее хранителей; водил туда приезжих и безошибочно называл им исторические панагии, золотые сосуды Самойловича и княгини Гагариной, золотопоставной крест, пожертвованный Мазепой.

С Лейденом Тятенька часто разговаривал о таинственных предметах. По существу они не слишком его интересовали. Но в разговорах о загробной жизни было что-то уютное. Обычно Тятенька, в меру поспорив за чаем, соглашался, что «во всем этом что-то есть», и прибавлял: «Есть, Горацио, много такого на свете...» Шекспир незадолго до того вышел в переводе Кетчера прозой, так что перевирать было удобно.

## VI

Je mets tout mon plaisir a être triste.

Mais, au fond, cher lecteur, je ne sais pas ce que je suis bon, méchant, spirituel, sot. Ce que je sais parfaitement, ce sont les choses qui me font peine ou plaisir, que je désire ou que je hais<sup>1</sup>.

*Stendhal*

Они и теперь говорили об ученых предметах. Говорил больше Тятенька. Лейден отвечал ему кратко и рассеянно. На письменном столе стояли бутылка и два стакана. Найти для них тут место между книгами, бумагами, тетрадками было не так просто. Несмотря на деловитость Лейдена, у него на столе всегда был хаос; он сам с трудом находил то, что ему было

<sup>1</sup> Всё мое удовольствие в том, чтобы быть печальным. Но в сущности я, дорогой читатель, не знаю, что я такое: добр ли я или зол, умен или глуп. Зато я знаю отлично, что мне доставляет огорчение и что удовольствие, знаю, чего я желаю и что ненавижу.



нужно. Ольга Ивановна только вздыхала; и ей, и прислуге строго запрещалось прикасаться к бумагам письменного стола. Иногда в грустные минуты она думала, что этот беспорядок отражает хаос мыслей в голове ее мужа.

— Ну, хорошо, так объясни-ка мне следующее: в книге пророка Даниила задается вопрос: «Когда будет конец сих дивных происшествий?» А муж в льняной одежде отвечает: «К концу времени и времен и полувремени». Что это означает? — спросил Тятенька, подливая себе наливки. Впрочем, он тоже говорил без увлечения. То, что Лейден называл его «безграничной потребностью в чесании языка», было за день удовлетворено. Тятеньке давно хотелось на перины. Он засиделся, желая развлечь хозяев. Ему и в голову не приходило, что он где-либо может быть в тягость: так была прочна — да и заслужена — его репутация души общества. И уж совсем он не думал, что может иногда, правда чрезвычайно редко, тяготить семью Лейденов. К этой семье он чувствовал нежную любовь; такие семьи бывают у большинства одиноких старых холостяков.

— Не знаю, брось. Лучше скажи, где же мне квартировать в Константинополе? Впрочем, ты там был при царе Горохе.

— В самом конце царствования царя Гороха. Еще до того, как султан Магомет, царство ему небесное, не гной его косточки, вырезал янычар. Теперь лежу у себя на полатах и отлично делаю. Человек, особливо пожилой, должен сидеть дома. Ни к чему, братец мой, путешествия. Всего всё равно не перевидаешь. Кой черт тебя несет в Турцию? Сидел бы во своясях. Хочешь работать, писчий стол отличный, книг видимо-невидимо. Но в тебе, братец, есть авантюристическая жилка.

— Жилка, может, и есть. Мой родственник по матери, Штааль, был, кажется, совершенный авантюрист. Принимал участие в убийстве Павла... Да на этот раз жилка ни при чем. Я еду, как ты знаешь, просто по делу, а что лучше бы не ездить, в этом ты, быть может, прав. Предчувствия у меня самые мрачные.

— Какой вздор несешь! Предчувствия! — проворчал Тятенька. — Против предчувствий нет ничего лучше хорошего вина. В Турции ты, братец, пей тенеодос: очень недурное красное вино и дешевое; в мое время я там платил на наши деньги что-то вроде двадцати копеек за бутылку. Теперь верно цены

поднялись. Водка их, дузика, это не Бог знает что, но и ее пить можно. Всякую водку можно и должно пить. А о предчувствиях и думать не смей, стыдно. И свою философию вообще брось. Вот ты и теперь сидишь в кресле с видом Мария на развалинах Карфагена. Брось, брат! И Карфаген твой, слава Богу, цел и благополучен. Жена и дочь у тебя одно очарование. Денег достаточно, дом полная чаша. Чего тебе еще?

— У тебя счастливый характер. Ты верно о смерти никогда и не думаешь. Мне многие говорили, что никогда не думают, и говорили почему-то с гордостью. Людям нашего с тобой возраста, в сущности, решительно нечего больше ждать в жизни. Чего мне ждать? Ну, Лиленька, Бог даст, выйдет замуж и, как говорится, будет «счастлива». Я этого слова и употреблять не могу иначе как в кавычках. Ну, создам большую плантацию. новый завод. А дальше что?.. Нет, правду говорит Гамлет в своем монологе «Быть или не быть». Всё там правда, кроме одного: «Быть может, видеть сны», «Perhaps to dream». Нет, это соображение, конечно, никого от самоубийства не останавливало, ведь скорее это в пользу самоубийства: значит, еще что-то будешь видеть. Что угодно могло остановить, но не это. И никак не мысль, будто это грех! По-моему, тут не только нет «греха», а единственный достойный вид смерти это именно самоубийство.

— Какой ты вздор говоришь! Слушать гадко!

— Я говорю правду. Важно сознание, что ухожу когда хочу и как хочу, сам выбираю и срок, и способ. Не нужно мне отвратительных болезней. Ведь все болезни и безобразны, и постыдны своим безобразием. Без мучений ухожу, и прежде того времени, когда стану глупеть... Греки признавали счастливыми тех, кто умирал рано. Жрица Аргоса торопилась в свой храм, но что-то случилось с лошадьми. Тогда ее два сына впряглись в колесницу и доставили ее вовремя. Она помолилась Гере, чтобы та вознаградила ее детей за такую добродетель. Гера исполнила ее желание: в ту же ночь оба сына умерли.

— Дуры они были обе: и жрица, и Гера, уж это неотменно! — сказал Тятенька. — И плюнь ты на идиотские мифы! Уж если и самоубийства коснулся, то, значит, братец, у тебя ум за разум зашел. Настроение души у тебя в последнее время

такое, будто ты живешь в больнице чахоточных и потерял там в весе полпуда. Брось ты Геру, пей венгерское и ухаживай за милыми женщинами. Куда бы хорошо сделал!.. А то засохнешь, брат, от мыслей-то. Французский философ Фонтенель заспорил о чем-то с какой-то дамой-красоткой, она возьми и приложи руку к его сердцу: «Здесь, говорит, сударь, у вас тоже мозги!» Добро бы еще, ежели бы мыслишки твои были путные... А то, право, они у тебя, как у семи греческих мудрецов, уж если ты о грехах заговорил. Помнишь, они свою мудрость записали в Дельфийском храме. Биас сказал: «Большинство людей дурны», Клеовул сказал: «Соблюдай во всем меру», еще кто-то сказал: «Всё обдумывай»... Ишь какую нашли мудрецы мудрость! — смеясь, сказал Тятенька. — Брось, брат, свою философию!

— Нет, не могу бросить. Буду уж думать до конца моих дней, — сказал Лейден.

Ему, впрочем, было совестно говорить со своим другом о смерти. Тятеньке было семьдесят четыре года и его апоплексический вид показывал, что жить ему недолго. «Как вообще находят силу жить эти глубокие старики? Ведь ясно же: еще год-два и обчелся. Мне *всё-таки* осталось верно гораздо больше, — думал Константин Платонович. — И вообще эти наши споры бесполезны. В спорах люди часто говорят первое, что им приходит в голову, иногда и такое, что вовсе не соответствует их действительным взглядам: подумали бы, сказали бы совершенно иное».

— Вот и иссохнешь, — сказал гневно Тятенька. — А кстати, с твоей стороны премило говорить «нашего с тобой возраста». Я старше тебя на десять лет. Только ведь, братец мой, будешь ты о смерти думать или не будешь, это ровно ничего не меняет: с думами умрешь и без дум умрешь. Смерть сама обо мне думает, авось ли малость подождет. А я тихонько сижу и делаю вид, будто не замечаю. А то сам перехожу в наступление и смеюсь над ней: подождешь, подождешь, я тебе скажу, когда будет время: как только хватит кондрашка, сейчас же приходи, голубушка, приходи поскорее, чего уж теперь ждать. А потом «Ведомости» напечатают некрологию: замечательный был человек, царство ему небесное, редкий ум, чуткое сердце, помогал вдовам и сиротам, таких людей больше не будет. Мастера газетчики врать. Я бы для них заказал готовый листок, могли бы только проставлять имя-отчество и фамилию.

— Не нов, Тятенька, твой подход к смерти. У тебя слишком трезвый и земной склад ума. Иначе ты и не называл бы всего этого «философией». Конечно, и то, что я говорю, не так уж оригинально. Но для каждого из нас это в известный момент из теории превращается в муку жизни. Вопрос ведь не в том, что придется умирать, а важно *как* умрешь.

— «Земной склад ума!» — сердито передразнил Тятенька. — У меня склад ума правильный: против неперемняемого не спорить. Ни с природой, ни с царем я не борюсь. Запиши это своеручно. я ведь знаю, что ты ведешь дневник, как барышня. Лиля тоже ведет. И то, что ты говоришь о смерти, это действительно старо как мир. Тут, братец, никто ничего нового не скажет. А как этакий там Бальзак начнет описывать, так ничего кроме каких-нибудь синих ногтей у покойника или покойницы не выдумает. А доморощенный Бальзак еще добавит о своих чувствах: «Ах, я так страдал над ее гробом! Ах, этот запах ладана!.. Ах, всё в моей жизни посерело, точно солнце скрылось!» Всё это правда, и я очень люблю правду, только ты мне подавай правду повеселее. И притом что же: вот у тебя другой склад ума, философский, а ты всё же едешь закупать платаны, и землицы прикупил, — съязвил Тятенька и тотчас смягчился. — И куда хорошо сделал, что прикупил. Надо жить земными интересами. Их, слава тебе, Господи, достаточно.

— Так-то оно так, да у меня и для земных интересов вконец испортился характер, — сказал со вздохом Лейден. — Едва ли меня кто в Киеве считает несчастным человеком. — Он бросил вопросительный взгляд на Тятеньку, который только пожал плечами. — Но я-то знаю, что я несчастен.

— А ты лечись, — проворчал Тятенька.

— Заснуть без впрыскивания морфином не могу. Некуда уйти от тяжелых мыслей... И еще странно. Теренций сказал. «*Нотом сум, гумани nihil а те алиенум рито*: я человек и ничто человеческое мне не кажется чуждым». А вот я тоже человек. но с каждым днем всё более удивляюсь, сколь многое мне чуждо. Большинство наук «алиенум», и музыка «алиенум», и живопись. Собственно, и литература «алиенум», хотя, мне кажется, в ней у меня верный взгляд.

— Кстати, об литературе, — сказал Тятенька. — Заходил ко мне в «Аптеку» покупать бумагу управляющий Верховни. Гово-

рил, что туда скоро пожалует Бальзак к своей «графине». Они ее там называют графиней, хотя она такая же графиня, как мы с тобой.

— Не совсем такая же: по рождению она в самом деле графиня Ржевуская

— По рождению да, да кто же считает титулы дам по рождению? А Ганский никакой не граф. Она хитрая, как все Ржевуские. Поляки говорят: «Надо жить с Чарторыйскими, пить с Радзивиллами, есть с Огинскими и разговаривать с Ржевускими». Умная баба, а чтоб сказать красивая, то нет, не бардзо, проше пана... Что ж, у Бальзака, слышно, нет ни гроша за душой. Ты его любишь?

— Терпеть не могу. Он подхалим. Такие, к несчастью, есть среди писателей, философов, артистов! А я больше всего на свете ненавижу подобострашие и погоню за связями. К нам в Киев приезжают люди из деревень, и я по лицам их вижу, что их единственная цель в жизни: обзавестись домом, хорошо его обставить и затем принимать в нем каких-нибудь господ с положением. Это, по-моему, самые ничтожные и пошлые из людей... Обо мне говорят, что я расчетлив. Это вздор, я просто независим. Мне самому ничего не нужно. Если я откладываю деньги, то это чтобы Лиля не знала нужды и ее унижений.

Тянька слушал с видом, означавшим: «Незачем врать, и незачем также доказывать, что дважды два четыре».

— Наполеон тоже сказал, что ему ничего не нужно, кроме коня и трех франков в день. Только врал он, Наполеон. Ох, желтицы великолепная вещь, — сказал Тянька, вздыхая. Он так называл золотые монеты.

— И ведь сам же Бальзак где-то говорит, что талант есть создание моральное: по дешевке великим человеком не станешь, *on ne peut être grand homme à bon marché*. Вот это верно. Нет, я у него больше люблю его фантастические вещи. Как и у Пушкина больше всего люблю «Пиковую даму».

— Пустая штука, — сказал Тянька. — Как раз этот самый Бальзак говорит, что если иностранный писатель пожелает вывести немца, то он непременно назовет его Германном Так твой Пушкин позднее и сделал.

— Уж Бальзак-то бы лучше молчал об этом вопросе. Нельзя было бы на заказ придумывать более неудачные иностранные

имена, чем это делает он. У него русские аристократы, помнится, носят фамилии князей Галактионов, князей Нарциковых и далее в том же роде.

— Хоть бы у какого русского знакомого спросил! — сказал, смеясь, Тятенька. — Легкомысленный человек. Нет, он с твоим Пушкиным равнозначителен: первый сорт из второго сорта. Настоящий гений — Гоголь. Он их всех гораздо превосходнее.

— Не говори мне об этом тупом крепостнике! После его «Переписки с друзьями» я о нем слышать не хочу. Читал просто с отвращением!

— Ну, что ж, ошибка большого писателя, — сказал смущенно Тятенька. — Он, слышно, и болен.

— Самый замечательный писатель нашего времени, если хочешь знать, Гофман.

— Не люблю: не умеет изображать женщин. Кстати, я в Питере познакомился прошлого года с начинающим писателем Тургеневым. С тем, что написал поэму «Поп».

— Не слышал. Где она появилась?

— Ну, брат, она нигде не появилась и никогда не появится. Я в списке читал. Хочешь, дам тебе? Только не затеряй.

— Нет, я до таких поэм не охотник. Верно, «сатира»? Терпеть не могу сатириков.

— Тогда прочти в первой книге «Современника» его же рассказ «Хорь и Калиныч». Недурно. Так вот, брат, этот самый Тургенев, или он, кажется, Тургенев-Лутовинов, говорил при мне, что все русские писатели совершенно не умеют писать женщин.

— И Пушкин не умеет?

— Значит, и твой Пушкин не умеет. Нешто его Лиза на что-нибудь похожа? Или даже Мария Кочубей?

— Да уж всё-таки получше женщин твоего Гоголя.

— Не учи рыбу плавать, — сказал Тятенька наставительно, хотя сам критиковал известных писателей.

В комнату вошла Ольга Ивановна. Она незаметно бросила взгляд на почти опорожненную бутылку. Затем села рядом с мужем и взяла его за руку.

— Всё вы спорите! Кто кого побеждает?

— Я, конечно, — ответил Тятенька. — Твой сейчас уйдет в кусты. И отыдоша посрамлен

— Уж будто? — заступилась она за мужа обиженно. — Да о чем это?

— О смерти. Есть, Оленька, загробная жизнь или нет?

— Разумеется, есть, — убежденно ответила Ольга Ивановна. Она не любила этих разговоров, хотя замечала, что они размягчают душу даже у неверующих людей.

— Все народы признают существование загробной жизни, — подтвердил Лейден. — Особенно глубоко поставлен этот вопрос у греков. И не только у Платона. Большая глубина и в суде Эака, Миноса и Радаманта.

— Да ведь они были язычники, — сказала Ольга Ивановна и оглянулась на мужа, догадавшись, что замечание вышло неудачное. Он подавил зевок. — По-моему, лучше думать обо всем этом возможно меньше.

— Вот и я говорю, — сказал Тятенька. — Да его не переумишь.

— Повторяю, так делают почти все. Это единственный легкий выход, все остальные трудные. А какой там может быть оптимизм, какое жизнерадостное понимание мира, когда существует смерть? Вот и я слишком часто болтаю о пустяках, а жить, быть может, осталось недолго. Для чего же я родился?

— Для того, чтобы чесать язык, — ответил Тятенька. — Конечно, ты Кифа Мокиевич. Родился, ну и родился. Для чего рождается лягушка? Разница лишь в том, что ты проживешь сто лет, а лягушка, скажем, десять дней. Могло бы быть и обратное: люди жили бы несколько дней, тогда, брат, никаких Шекспиров бы не было: за десять дней «Гамлета» не напишешь, — сказал Тятенька и подумал, что, помимо невозможности создания «Гамлета», жить десять дней было бы странно: даже поесть как следует не успеешь.

— Вот и видно, что ты не изучал естественных наук: лягушки живут долго.

— Ах, какие там лягушки! Ни при чем тут лягушки! — сказала Ольга Ивановна, одинаково недовольная словами и мужа, и Тятеньки. — Вот он жалуется, что ему тяжело жить. Всем тяжело. Ты думаешь, мне легко вести дом?

— Он будет жить сто лет, сначала нас всех замучит, а затем всех нас и похоронит, — поспешно вставил Тятенька, признавший не совсем удачным и второе замечание Ольги Ивановны.

Он считал ее неглупой, по-своему думающей женщиной. «Что-то она нынче не в ударе», — подумал он с сожалением. — Только уж что-то быстро он стал у тебя, Оленька, лысеть. Смотри, как ему Бог за добродетель прибавил лица.

— Уж будто так полысел? — тревожно спросил Лейден. — Ну, да что ж, годы... Я вступил в тот возраст, когда у каждого человека начинается пора смертей. Не его собственной, так друзей и близких.

— Грех так говорить! — сказала испуганно Ольга Ивановна

— Не только грех, но просто глупо! Весь этот вздор несут твои доктора! У какого нового болвана ты на днях лечился? — спросил Тятенька. Сам он врачей терпеть не мог и почти никогда их к себе не звал, даже в гости. Боялся, что они запретят ему есть и пить вдоволь. Если же случалось вызывать в крайнем случае врача и тот ему действительно это запрещал. Тятенька чрезвычайно сожалел об истраченных трех рублях и думал, что на эти деньги мог бы купить, например, две бутылки отличного вина. Предписаниям же не следовал, а друзьям, состоявшим на посещении врача, говорил: «Пусть он идет ко всем чертям!» Это его отношение к болезням благотворно действовало и на людей мнительных.

— Да, я *так* это сказал, — поспешно поправился Лейден. — К счастью, ты и Лиленька совершенно здоровы. Но как вообще не думать о *выходах*? Их есть пять или шесть, я и людей по тому делу, как они относятся к вопросу о загробной жизни

— Тут и вопроса никакого нет, — сказала Ольга Ивановна. — Загробная жизнь есть, и сомневаться в этом большой грех. А главное, не надо каркать. Я и так волнуюсь, что ты уезжаешь, а тут еще такие разговоры и мрачные предчувствия!

— Да я *тебе* не говорил, что у меня мрачные предчувствия.

— А я догадалась. Я тебя наизусть знаю.

— Чего же волноваться, что я уезжаю? Я часто уезжал

— В Киеве холера кончилась, но кто его знает, вдруг, не дай Господи, появится там, где ты будешь! В Константинополе. верно, всегда холера?

— Холера-морбус, — сказал Тятенька, — появилась в Европе в первый раз лишь после наполеоновских войн. Теперь она к нам приходит уже в третий раз, и ученые сделали свои выводы. Установлено, что она распространяется вдоль больших



дорог по пути следования чумаков. Так как на Востоке люди путешествуют медленно, то едва ли она может прийти в Константинополь скоро.

— Установлено? Как же это могли установить?

— Наблюдениями и статистикой.

— Бальзак сказал: «La statistique est l'enfantillage des hommes d'Etat modernes»<sup>1</sup>. Он умен, этого я не отрицал.

— Лиля бредит Бальзаком, — сказала Ольга Ивановна. — Я сама его очень люблю, — тотчас добавила она. В суждениях об искусстве большой уверенности не чувствовала.

— Какие первые симптомы холеры, ты не помнишь, Тятенька?

— При азиатской морбус ломота, холод и жажда. Через несколько часов судороги в ногах, в желудке, затем рвота с пеной, икотка, понос и эти самые синие ногти.

— Спаси Бог! — сказала, побледнев, Ольга Ивановна. — Первым делом, если о чем-нибудь таком услышишь, беги и лучше всего прямо домой! Дела подождут.

— Натощак жри хлеб с чесноком и пей дегтярную воду. А заливай эту дрянь чаркой водки. Если найдешь полынную или веробой, лучше всего, да не найдешь, тогда пей простяк. И перво-наперво в случае чего пошли за рудометом, кровь пусти.

— Ну, ладно... А это верно, будто Константинополь так красив?

— Издали очень красив. Прямо как на виде у Айвазовского: и тебе восход солнца, и тебе заход солнца, и все цвета радуги. Когда подъезжаешь с моря, думаешь, что попал в рай. А потом видишь, что в этом раю целые кварталы это сплошной клоак. Улицы кривые, грязь невероятная, ходить в этом аде по каменным лестницам нет хуже. Чтобы не отравиться, ешь там только в самых дорогих местах и пей как следует.

— В этом его и убеждать не надо, не беспокойтесь, — сказала Ольга Ивановна. — А как, по-вашему, Тятенька, войны быть не может?

— Не скажу, — ответил Тятенька. Несмотря на то, что Лейден так долго жил в Киеве, это выражение, означавшее «не знаю», все еще резало ему слух. — Может, война будет, а

---

<sup>1</sup> «Статистика — ребячество взрослых в современном государстве» (фр.).

может, войны не будет. Все заграничные поляки стоят за войну с нами (Тягенька говорил «поляки» с ударением на последнем слоге, и это не нравилось Константину Платоновичу) — Вот верно и твой Ян Виер хочет войны.

— Все не все, — хмуро ответил Лейден. — А Ян и не очень заграничный, и даже не совсем поляк. Виеры не то из евреев, не то из голландцев. Ян легальный и приезжал в Россию, ты отлично это знаешь. И я его очень люблю, он мне почти как сын! — с вызовом в тоне добавил он. Ольга Ивановна вздохнула.

— Да люби его на здоровье, я ровно ничего худого о нем и не говорю, — ответил Тягенька, налив себе в бокал остаток вина. — Естли он и хочет войны, то верно чтобы стать этаким Косцюшкой, проше пана. Будешь ему из-за границы писать, скажи ему мой поклон... И это делает тебе честь, что ты всегда заступаешься и за друзей, и за сыновей друзей, и за внуков друзей. А о смерти говори поменьше, а то всем надоест слушать. У одного немца медленно умирала жена. Всё жаловалась, что скоро умрет, а между прочим ела и пила вполне исправно, как и ты. Надоела мужу именно смертельно. И вот, доктор ему сказал, что у нее начинается агония, а она как раз попросила дать ей малины со сливками. Муж рассвирепел и сказал ей: «Jetzt wird nicht gegessen, jetzt wird gestorben»<sup>1</sup>.

Ольга Ивановна сердито махнула рукой. Дверь с легким шумом отворилась и на пороге появилась Ульяна, огромная женщина с лицом, действительно не выражавшим большого ума. В руке у нее был зажженный огарок. Она делала страшные знаки барыне, из которых можно было бы заключить, будто только что случилось большое несчастье. Впрочем, все в доме знали, что это ничего страшного не значит: так она иногда появлялась на пороге столовой в дни больших обедов, и обычно оказывалось, что соус не совсем удался или что нужно бы еще прибавить варенья к пирожному. Что-то такое оказалось и теперь, — хотела спросить, не приготовить ли для барина несколько крутых яиц в дорогу. Лейден с досадой пожал плечами. Ольга Ивановна вышла и, оценив предложение кухарки, утвердила его. Возвращаться в гостиную ей не хотелось: слишком скучный был разговор. А главное, нужно было

---

<sup>1</sup> «Теперь не до еды, теперь о смерти» (нем.).

подать Лиле в кровать бутерброд и пирожное. Так повелось с давних времен: это скрашивало жизнь.

На кольце у Ольги Ивановны было не менее пятнадцати ключей. Она тотчас нашла нужный, всё в хозяйстве ей было известно до мельчайших подробностей, она замечала, если кто-либо передвигал стул в комнате. Ольга Ивановна отворила правое верхнее отделение буфета, достала всё необходимое, приготовила два бутерброда с икрой, намазав предварительно маслом булочки, нарочно для Лили оставленные в буфете. Достала пирожное, переменила в графине отварную воду, поставила всё на небольшой поднос, тоже специально предназначенный для ужинов дочери, и понесла в ее комнату. «Ох, бауешь ты девчонку! — говорил Тятенька. — Что она в кровати закусывает, люблю, да могла бы и сама о себе позаботиться, ручки авось не отвалились бы». — «Где уж там ей, и ничего она не нашла бы», — отвечала Ольга Ивановна. На самом деле Лиле было особенно уютно оттого, что всё ей приносила мать, да Ольга Ивановна и себе не хотела отказывать в этом удовольствии. С подносом в руке она прошла через неосвещенный коридор в боковое крыло дома, где были комнаты, выходявшие окнами в сад. Споткнуться в темноте не могла бы, так хорошо знала каждый уголок в своем доме.

## VII

Спи — еще зарею  
Холодно и рано;  
Звезды за горою  
Блещут средь тумана  
Петухи недавно  
В третий раз пропели;  
С колокольни плавно  
Звуки пролетели;  
Дышут лип верхушки  
Негою отрадной,  
А углы подушки  
Влагою прохладной.

*Фет*

Родители не стесняли дочь. Константин Платонович в ее воспитание почти не вмешивался. Им ведала Ольга Ивановна. Она и вообще вела всё в доме, дипломатически притворяясь,

будто никакой власти не имеет. Строилось ее влияние преимущественно на том, что мужу было скучно с ней спорить. Ольге Ивановне больше всего хотелось, чтобы дочь сохранила навсегда самые радостные воспоминания о родительском доме. Она помнила свои детские и юные годы, старалась лучшим руководиться в воспитании дочери, а худшего тщательно избегала. Ее учили не очень хорошо, — для Лили не жалели денег на гувернанток и на уроки у дорогих учителей. Ей дома воли не давали, — ни одна барышня в Киеве не имела такой свободы, как Лили: она даже выходила на улицу одна, без гувернантки или горничной, что вызывало у их знакомых несочувственное недоумение. Одна ходила Лили — разумеется, лишь днем — и на концерты, когда в зале Контрактового дома выступали столичные и иностранные гастролеры: Ольга Ивановна была слишком занята домашними делами, а Константин Платонович никогда спектаклей не посещал, — еле-еле вытащили его жена и дочь на Подол послушать Листа. Лейден зевал во время долгого концерта и, с раздражением поглядывая на вдохновенное лицо пианиста, повторял чей-то глупый каламбур: «Le soliste!» («Le sot Liste»)<sup>1</sup>.

За границей мать и дочь никогда не были: паспорта выдавались нелегко и стоили очень дорого. Летом они отправлялись на дачу. Модной Пущи-Водицы не любили, предпочитали Боярку с ее удивительным сосновым лесом. Дачу снимали всегда одну и ту же, пустую, поговаривали, что давно следовало бы ее купить и обставить, а не возить туда каждое лето на подводах мебель и утварь: «Была бы навсегда своя дача». Против этого возражала Лили. Ее слово «навсегда» приводило в ужас. Хотя она любила Киев, но твердо про себя решила, что жить будет в Петербурге или в крайнем случае в Москве. Однако ей было очень весело и в Боярке, куда к ней приезжали подружки. Они там чуть не целый день ездили верхом, гуляли по просеке, закусывали на траве, собирали грибы, а в десятом часу отдавали себя на съедение комарам и засыпали мертвым сном в комнатах с окнами, выходившими прямо в лес. Впрочем, большой разницы между Бояркой и Липками, собственно, не было. Шелковичная улица, с ее большими садами, с липками, акациями и черемухой, мало отличалась от деревни.

---

<sup>1</sup> «Солист!» («Болван Лист») (фр.).

А когда Лиле исполнилось шестнадцать лет, мать повезла ее в Петербург. Лейден с ними не поехал, ссылаясь на дела. Эта поездка была огромным событием в жизни Лили. Приготовления начались месяца за три. Останавливаться в гостинице считалось не совсем приличным для дам. Тятенька и то ворчал, что они едут одни, без мужчин, так не полагается. «Уж естли великий мудрец не хочет ехать с вами, то я поехал бы с радостью», — говорил он. Но они, особенно Лиля, обошли молчанием его предложение. «Тятенька, конечно, очень мил, но достаточно с нас его и в Киеве», — говорила матери Лиля. Было снято помещение в очень известном семейном пансионе на Миллионной, который содержала такая почтенная англичанка, что придраться не мог бы и самый злой сплетник.

Разумеется, поездка имела цель, тщательно и тщетно скрывавшуюся от Лили: надо было людей посмотреть и особенно себя показать. Тятенька и Ольга Ивановна шутили вспоминали поездку Лариных в Москву. Популярность «Евгения Онегина» все росла. Лиля, впрочем, предпочитала Пушкину Лермонтова. В «Минерашках» она с ужасом и ненавистью смотрела на Мартынова, и ее красивые голубые глаза при этом сверкали. «Задушила бы его собственными руками!» — кровожадно говорила она.

Однако в отличие от Лариных Лейденцы цели не достигли. Приятельницы-княжны; у которой можно было бы остановиться, у них не было. В «свет» они не попали и не могли попасть по скромному общественному положению Константина Платоновича. Да и знакомых было очень мало. Мать и дочь осматривали достопримечательности, катались в только что появившихся в столице омнибусах, посещали императорские театры, не пропуская ни одного нового спектакля. Главным развлечением было заказывать туалеты. У Лили была настоящая страсть к нарядам. Она испытывала почти физическое удовольствие, перебирая шелковые и бархатные материи, рассматривая модные картинки, выбирая и заказывая платья. Продавщицы заверяли их, что всё у них по последней парижской моде, — это еще усиливало радость. Ольга Ивановна и в Петербурге для себя почти ничего не заказала, хотя дочь умоляла ее об этом, а Константин Платонович, как всегда, денег дал много. Но наряды дочери занимали ее почти так же, как Лилю. После того, как всё было заказано, три-четыре раза примеряно, доставлено,

они стали скучать, тщательно это скрывая одна от другой. Ольга Ивановна беспокоилась, как муж, всё ли в порядке дома. Лиле хотелось показывать приобретения. Она уже соображала, куда что наденет. В петербургских театрах никто на них внимания не обращал: Лиля одевалась *против* киевских барышень.

И, точно на зло, лишь дней за пять до отъезда, они случайно в театре встретились с одной подругой детства Ольги Ивановны. Дамы не виделись лет тридцать, не переписывались лет двадцать пять, давно потеряли друг друга из виду, очень обрадовались, ахали над тем, как изменились, говорили: «Но я тотчас тебя узнала, тотчас!», кратко сообщали о себе сведения; еле помнили, кто муж подруги, и обе боялись выдать свое незнание. Оказалось, что Вера Николаевна давно овдовела, что сопровождавшая ее барышня — ее дочь Нина и что они живут в собственном доме на Васильевском острове.

В этот дом они тотчас вчетвером и поехали из театра ужинать. В последние дни уже почти не расставались. Вера Николаевна, как Лейдены, имела состояние и тоже к свету не принадлежала. И она, и ее дочь умоляли Ольгу Ивановну еще остаться в Петербурге. Однако это оказалось невозможным. От Константина Платоновича пришло письмо, он писал, что соскучился и ждет их с нетерпением. Он не лгал, хотя и полной правды в его словах не было: ни по ком он никогда особенно не скучал, так был занят и делами, и особенно своими мыслями. Иногда про себя думал, что нет человека, без которого он не мог бы обойтись. Его письмо умилило Ольгу Ивановну. К тому же столичный сезон кончался, найти жениха для Лили было бы всё равно невозможно, и они решили отъезда не откладывать. Дали слово, что приедут опять. «Оленька, уж если тебе никак нельзя будет, то пришли Лиленьку. Она у нас и будет жить. Я так рада, что они подружились с Ниночкой», — говорила перед их отъездом Вера Николаевна.

После возвращения в Киев Лиля, повысившаяся в ранге у киевской молодежи — побывала в столице! — еще недели три, закатывая глазки (это очень к ней шло), рассказывала о «Северной Пальмире», — так и говорила «Северная Пальмира», точно это было официальное или общепринятое обозначение Петербурга. Необыкновенной естественности матери она не унаследовала, была чуть жеманна. Немного стыдилась того, что живет

в провинции, говоря по-французски картавила и употребляла модные парижские выражения, которые тайком выписывала из романов.

Справа из-под дверей пробивался свет. Ольга Ивановна вошла. У Лили была очень милая уютная комната. Стены были обиты синим бархатом. В Киеве у всех стены либо были выкрашены, либо оклеивались обоями. Но Лиле во французских романах, после любовных сцен, больше всего нравились описания домов и мебели, разные «Cuir de Cordoue», «Velours d'Utrecht frappé», «murs tapissés de vieilles étoffes»<sup>1</sup> и т. д. Поездка в Петербург была подарком родителей Лиле к ее шестнадцати годам. А за год до того они ей дали денег для того, чтобы она могла устроить свою комнату, как захочет. В киевских мебельных магазинах на нее только смотрели, выпучив глаза, когда она спрашивала о кордовской коже; ничего не слышали и об utrechtском бархате. Ей пришлось ограничиться бархатом-просто, да еще без выцветших тонов. Впрочем, более доверчивым из своих друзей она нерешительно называла этот бархат «velours d'Utrecht», — не была уверена, как надо произносить: «Ютрешт» или «Ютрект».

На ночном столике у Лили стоял серебряный *шандал*, — она не говорила «подсвечник». Ольга Ивановна поставила рядом с ним поднос, Лиля окинула его деловым взглядом, оценила трубочку с желтым кремом. Приняла всё как должное, но поцеловала матери руку.

— Спасибо, mon chat.

Она всегда называла мать самыми неподходящими словами: «mon chat», «mon bijou», «mon rat».<sup>2</sup> Ольга Ивановна называла ее «чудо мое», «моё сокровище», «Лиленька», «Лилька» и только изредка, когда бывала недовольна, говорила, в наказание, «Лиля». Хотя в комнате всё было в порядке, Ольга Ивановна чуть передвинула платье дочери, лежавшее на стуле dorure éteinte<sup>3</sup>, — пояс чуть касался ковра, — и села на кровать. Лиля отодвинула ноги к velours d'Utrecht.

<sup>1</sup> «Кордовская кожа», «утрехтский бархат, поразительный», «стены, обитые старинными тканями» (фр.).

<sup>2</sup> «Мой котик», «мое сокровище», «моя крыска» (фр.).

<sup>3</sup> Поблекшая позолота (фр.).

Они поговорили о том, что Тятенька очень засиделся, что завтра надо встать в шесть часов, что переезд у папы будет трудный, что на Черном море в ноябре очень качает.

— Ах, зачем только он едет? — сказала со вздохом Ольга Ивановна.

— Мама, да ведь вы сами уговаривали папу!

— Уговаривала, потому что он очень стал скучать. Разве я не вижу? И я с вами обоими всегда на всё согласна, вы делаете что хотите... Да и не очень я папу уговаривала. Это он мне сказал, что-либо теперь ехать, либо совсем отказаться от поездки. А зимой всё-таки из-за холеры спокойнее... Так я тебя завтра рано разбужу. Еще позавтракаем втроем.

— Мама, правда ведь, что у меня руки тоньше, чем у Нины? Смотрите, — сказала Лиля.

— Это всё равно, у кого руки тоньше, у кого толще... Твои тоньше.

— Я очень люблю Нину, но, по-моему, она только хорошенькая, правда?

— Нина очень мила, очень... Ну, спи спокойно, чудо мое, — сказала Ольга Ивановна и поцеловала дочь. — Довольно тебе читать. Что это у тебя? — спросила Ольга Ивановна, прочла «Splendeurs et misères des courtisanes»<sup>1</sup> и рассердилась. — Бог знает что такое! Совсем тебе, Лиля, не следует читать такие книги!

— Мама, чего я только не читала! Я в сто раз хуже вещи читала! — сказала весело Лиля. — Вы очень отстали, милая маменька! Liebe Mutter... Или нет, начало у немцев тоже на agen, только забыла какое: Liebe «Agen» — Darf ich fragen — Wie viel Kragen — Sie getragen — Wenn Sie lagen — Krank am Magen — Kopenhagen... »<sup>2</sup>

— Что за ерунда! Ну, спи, я тушу

— Ах, нет, я еще читаю, — сказала было Лиля без настойчивости. Читать было очень приятно, но и спать тоже. Яблоко уже было съедено.

Ольга Ивановна своей властью задула свечу и вышла. Еще в столовой она услышала доносившиеся из передней прощанья

<sup>1</sup> «Блеск и нищета куртизанок» (фр.).

<sup>2</sup> Милая «Аген» — Могу я спросить, — Сколько воротничков — Вы носили, — Когда лежали, — Маясь животом... — Копенгаген... (нем.).



«Слава Богу, уходит, старый...» Но гостеприимство тотчас взяло в ней верх.

— Что же вы, Тятенька, спешите? — спросила она, входя в кабинет. — Еще посидели бы.

Лиля улыбалась наивности матери. С подругами она постоянно разговаривала о таких предметах, о которых ни Бальзак, ни другие романисты не писали и не могли писать. Их больше всего на свете интересовало то, что в старых романах называлось «тайнами любви»; каждая из барышень испуганно-восторженно делилась с другими тем, что случайно узнавала; всё это испуганно-восторженно обсуждалось, тем не менее большой ясности не было.

Теперь в кровати она всё себя примеряла к прекрасной куртизанке, еврейке Эстер, сводившей с ума мужчин. Самое слово «куртизанка» казалось ей обольстительным и страшным. «Могла ли бы я быть такой? — спрашивала она себя. — Нет, никак не могла бы». Особенно не выходило с мамой: Лиля невольно улыбалась при мысли о том, как бы это Ольга Ивановна оказалась матерью знаменитой парижской куртизанки «Я обожаю маму, но между ней и мной целая пропасть, — думала она. — А может быть, здесь и никто меня не понимает...» Несмотря на «Velours d'Utrecht», на французские словечки и на некоторую жеманность, Лиля была очень милая девочка. Она жила в ожидании «его» появления, но откуда «ему» было взяться на Шелковичной улице, в бывшем Кловском урочище? Так можно было ждать и два, и три года, — она чувствовала, что просто этого не перенесет. Как всем девочкам ее лет, ей было нечего делать для достижения того, что было единственной целью, единственным смыслом ее жизни. Да ей и вообще было нечего делать. «Мальчики поступают в университет. А чем заниматься мне? Так сидеть и ждать: кто-то придет? А может быть, и никто не придет? Вот мы съездили в Петербург, я ведь понимаю, что мама меня повезла туда для этого. Даром только ездили...» В такие минуты она чувствовала себя очень несчастной. У нее бывали и «бессонные ночи». вдруг при пении петухов просыпалась и плакала. Иногда плакала целых полчаса. Перед тем, как снова заснуть уже часов до десяти утра, утешалась: «И Маша так живет, и Нина, и

Наташа, не я одна». Очень помогали и развлечения, и наряды, и шоколад, и особенно то, что она большую часть дня проводила на людях, а когда оставалась одна, читала французские романы и русские поэмы, жила чужой воображаемой жизнью, вечно примеривая ее к себе. В романах Лиле нравились преимущественно *безнравственные* герои: Растиньяк, Люсьен де Рюемпрэ, Печорин, Арбенин, всего больше Демон. Она знала лермонтовскую поэму наизусть и «Клянусь я первым днем творенья» никогда не могла читать без слез и без зависти к Тамаре. Тятенька где-то на Кавказе раза два видел Лермонтова. И Лиля не хотела ему верить, что так благородно, на дуэли, погибший поэт был некрасив, сутуловат и постоянно шутил, — Демон не шутил никогда. Тятенька, обожавший Лилю, ее дразнил:

— Нет, Лиленька, за Демона ты вряд ли выйдешь, — говорил он. — У нас в Киеве помещики есть, чиновники есть, врачи есть, а Демона, как на беду, ни одного! Ах, как жаль!

Лиля презрительно отворачивалась: с Тятенькой вообще было бы невозможно говорить без шуток. Он то обещал подарить ей чудную куклу, то грозил поставить ее в угол «А вот, естли будешь хорошо себя вести, оставлю тебе свое достояние». Лиля была равнодушна к деньгам и только недоумевала: что она будет делать с «Аптекой души»? Его домик решила подарить няне.

## VIII

Il y a des moments où la crainte de me réveiller vieux, malade, et incapable d'inspirer aucun sentiment (ce qui commence), me prend, et alors je deviens fou. Je vais me promener mélancoliquement dans des endroits déserts, maudissant la vie et notre exécrable pays, le seul où il soit possible de vivre ..

J'ai écrit cette année en tout seize volumes <sup>1</sup>.

*Balzac*

Бальзак в конце лета приехал в имение Ганской, с которой давно был в связи и на которой надеялся жениться.

<sup>1</sup> Бывают минуты, когда меня охватывает страх, что я проснусь старым, больным, не способным внушать какое бы то ни было чувство (это уже начинается). Тогда я схожу с ума. Гуляю в меланхолии по пустынным

Биографы так толком и не разобрались в этом странном романе, как не разобрались и в романе Наполеона с Жозефиной, кое в чем похожем на этот. Бальзак влюбился в Ганскую лет за четырнадцать до того. Она была миловидна, умна, привлекательна. Их связь началась еще при жизни «графа». Когда он умер, стал возможен брак, но Ганская очень долго не хотела выходить замуж за Бальзака. Она любила его. Он был так талантлив, умен и обаятелен, несмотря на свою прозаическую, вульгарную, чуть только не безобразную наружность. Быть может, она не хотела терять свой весьма сомнительный титул. *Партией* он при всей своей славе действительно для нее не был. Ганская знала, что он беден и кругом в долгу. Вероятно, знала, что он не *де* Бальзак, как подписывался, и даже не Бальзак просто, а сын провинциального чиновника со странной, неблагозвучной фамилией Бальсса. Быть может, знала даже, что родной брат этого чиновника, Луи Бальсса, был казен в Альби и отнюдь не как контрреволюционер в пору террора (что, напротив, в смысле *партии* было бы отлично), а гораздо позднее, при Людовике XVIII, за то, что убил свою любовницу. Бальзак был так откровенен с Ганской, что мог сообщить ей и об этом, хотя едва ли думал, что преступление и казнь его дяди не будут иметь для графини никакого значения.

Когда-то он был, по-видимому, в нее влюблен. Она давно вышла из возраста, который уже назывался бальзаковским. Но он пятнадцать лет подряд писал ей совершенно одинаковые страстные письма, говорил — не только самой графине, а всем, — что обожает ее, восторженно отзывался об ее талантах. Даже очень опытный притворщик не мог бы пятнадцать лет так притворяться. В России он приобрел печать с еврейской надписью, — в ту пору кольца с надписью на еврейском или арабском языках были в моде, особенно среди писателей. В Париже Каган, учитель детей Ротшильда, перевел ему надпись. Это было слово из «Песни Песней» и означало «Любимая». Купленной в России печатью Бальзак запечатывал свои письма к Ганской.

Ему были чрезвычайно нужны ее связи, ее положение в обществе и особенно ее богатство. Об этом он сам писал

---

местам, проклиная жизнь и нашу отвратительную страну, — единственную, где можно жить... Я в этом году написал шестнадцать томов.

матери и сестре. Восторженно отзывался о графине, но порою добавлял, что она принесет ему «кроме богатства, драгоценнейшие социальные преимущества». Раз даже — несколько неожиданно — вставил, что графиня «скупа и предусмотрительна до невообразимости». По-видимому, полусознательно преувеличивал свою влюбленность, как и прежде преувеличивал влюбленность в письмах к другим женщинам. Больше всего на свете он любил свои книги, свое творчество; богатство давало возможность работать спокойно, хорошо, не торопясь. Женитьба на Ганской стала одной из главных целей его жизни. Для женитьбы он и выехал в Россию, хотя графиня не очень его звала должно быть, думала о том, что скажут люди. Об их романе и без того говорили достаточно.

Бальзак прежде был уверен, что Бердичев, около которого была расположена Верховня, имение Ганских, находится где-то поблизости от Москвы. Теперь он навел справки, достал деньги, приготовил паспорт. Французов пускали тогда в Россию чрезвычайно редко и неохотно, но Бальзак, знаменитый писатель, известный своими консервативными взглядами, получил визу по протекции русского министра народного просвещения.

Из Кракова в Радзивиллов он ехал частью дилижансом, частью в тележке, которой правил почтарь в коричневой свитке с рожком, перекинутым через плечо на австрийском черно-желтом шнурке. Его несколько раз останавливали и расспрашивали, — видимо, не одобряли поездки француза в Россию. Еще не очень давно французские газеты печатали о России сведения, которые могли к ним перейти разве из книг путешественников семнадцатого столетия. Иные провинциалы еще, быть может, верили, что царь и бояре моют руки после того, как здороваются с иностранцем, особенно если он католик, и что послов держат взаперти, доставляя им каждый день невообразимое количество еды и напитков, — совершенно так, как описывал Олеарий прием голштинского посольства в Москве в семнадцатом веке. В Париже этому уже никто не верил, а Бальзак и до своей первой поездки в Россию встречал немало русских. Однако подъезжал он к Радзивиллову с тревожным чувством.

Его любезно и почтительно пригласил на обед Гаккель, занимавший в Радзивиллове важную должность. Но до того Бальзак допрашивали разные чиновники; каждое его слово записыва-

лось. Поглядеть на путешественника пришел какой-то допотопный человек. Это был прежний пограничный цензор, служивший еще при императоре Павле и оставшийся доживать свой век в Радзивиллове. В свое время он давал отзывы об иностранных книгах, чаще всего неодобрительные: «Довлеет одного воззрения к презрению...», «Силится дать самой французской революции вид восхитительный.», «В сием аглицком романе россиянка графиня Орлова говорит служанке Павлине: «Ты, Павлина, не дочь ли фермера Петровича?», а камердинер Лагрен ведет с означенным графом дружественный разговор, что сумнительно...», «На странице 96-й сией книги сказано. «Полицеймейстер, несмотря на свой чин, верил добродетели» Сие не предполагает ли, будто полицеймейстеры добродетели не верят?» Теперь цензоры, и пограничные, и столичные, больше таких отзывов не давали (впрочем, в одной статье самого Бальзака петербургский цензор выпустил слова «La majesté de la nature»<sup>1</sup>, указав, что слово «величество» говорится только о коронованных особах, — петербургские сановники хохотали, читая этот отзыв). Допотопный старичок только поглядел с отвращением на Бальзака и ушел.

Обед у Гаккеля оказался превосходным. Хозяин был очень интересный собеседник. Разговорившись за вином, сказал, что России скоро будет принадлежать весь мир, так как живет в ней самый послушный в мире народ. Бальзак слушал с недоумением, хотя и сам высказывал довольно сходные мысли. Иногда говорил даже, что примет русское подданство. Но он не понимал, зачем такие мысли высказывает русский чиновник. Правда, Гаккель был по крови не русский, и даже было не совсем ясно, рад ли он тому, что думает о будущем России, или же, наоборот, говорит с сокрушением.

Гостя долго не отпускали, и сел он в кибитку лишь вечером. Ему дали провожатого. Поездка была долгая и трудная. Днем стояли облака пыли. Ночью особенно мучили комары. Ночевал он чаще всего тоже в кибитке, так как постоянных дворов боялся. Кюстин говорил о мириадах блох и клопов. Тем не менее все нравилось Бальзаку чрезвычайно. «Нельзя себе представить богатство и мощь России. Надо это увидеть, чтобы

---

<sup>1</sup> «Величественность природы» (фр.).

поверить», — писал он сестре. Он все замечал: пригодится. Поразило его обилие лесов. Во Франции строились железные дороги. Что, если отсюда вывозить лес на шпалы? Бальзака всю жизнь занимали разные коммерческие проекты, на которых он неизменно терял деньги. С тревогой думал о том, как встретит его Ганская и выйдет ли, наконец, за него замуж. И больше всего — днем и ночью — думал о своих книгах.

Не зная по-русски, он при перемене лошадей кричал ямщикам и провожатому одно слово: «Бердичев!» Но верно и это слово произносил плохо, не понимал вопросов, и попал в Житомир. Впрочем, это было по дороге. На Бердичевском почтовом дворе его окружили евреи, с изумлением смотревшие на странного человека, который не знал ни слова ни по-еврейски, ни по-польски, ни по-русски. С таким же изумлением смотрел на них и он. На Гейне они похожи не были, а кое в чем могло быть сходство с его бароном Нусингеном, — кое-что он и занес на память: жест у одного, выражение глаз у другого. В Бердичеве оказался французский портной, владевший, как все в городе, еврейским языком. За ним побежали, и дело разъяснилось. Лошадей из Верховни на станции не было: графиня предполагала, что он приедет значительно позднее. Пока искали «балагулу», Бальзак вышел на улицу. Проходила еврейская погребальная процессия, хоронили холерного. Он приподнял дорожную шапочку. Все изумленно на него взглянули, — он и это занес в память и поспешно отошел.

В Верховне его встретили с любовью, с восторгом, с легким смущением и с дружеским негодованием: как же можно! отчего не дал знать раньше? В ожидании обеда гостю дали чаю и повели осматривать «дворец». В сущности, это был самый обыкновенный большой помещичий дом, не старинный и не слишком роскошный. У графини было двадцать тысяч десятин земли, много тысяч крепостных и человек триста дворовых. На стенах зал висели Грезы, Ватто, Каналетто и даже Рембрандты. Он всем восторгался, говорил: «Да это Версаль, просто Версаль!» Бальзак знал, что только люди, посвятившие живописи долгие годы, могут отличить, и то не всегда, оригинал от хорошей копии. Но, разумеется, делал вид, что в подлинности картин не сомневается, да и поверил, когда ему объяснили, что эти картины принадлежали последнему польскому королю. Всё

же кое-что в доме его изумило. Из разговора выяснилось, что печи и камины топят соломой, — это было тем более странно, что везде были леса. Подали обед из невообразимого числа блюд. Он всё хвалил, но про себя думал, что за такой обед у Вери или у Вефура посетители устроили бы скандал. Позднее писал племянницам, что телята в имении Ганской «отличаются республиканской худобой», что блюда из говядины и баранины невозможно есть, а овощи просто отвратительные; только молочные продукты и чай выше всяких похвал.

После обеда его отвели в помещение для гостей, состоявшее из кабинета, гостиной и спальни. На стенах тоже висели картины, он и от них пришел в восторг. Вид из окон на парк, на лесистые холмы был в самом деле изумительный.

Он объявил, что тотчас ляжет спать: не спал девять ночей, но заснуть сразу не мог, именно из-за крайней усталости. Настроение у него было тяжелое. С Ганской разговора наедине в первый день не было. Она долго выражала радость по случаю его приезда, однако он видел, что ее радость несколько преувеличена. «Верно, опять скажет, что еще не приняла решения, что надо подождать, что надо закончить процесс». Ганская всегда ссылалась на какие-то судебные и административные дела. Думал, что, быть может, против брака, по денежным соображениям, высказалась дочь. Графиня Мнишек очень ему нравилась, но он обычно объяснял действия людей дурными побуждениями.

И в Верховне, и в Париже, и везде он часто испытывал то чувство, которое Фонтенель в конце своей жизни называл «difficulté d'être».<sup>1</sup> Фонтенелю было без малого сто лет, а ему не было пятидесяти. Это чувство у него особенно сказывалось во время путешествий. Всю жизнь переезжал — и всю жизнь ненавидел переезды. Не хотел покидать Париж, теперь с ужасом думал, что скоро надо будет покинуть Верховню. С отчаянием думал о своих болезнях, о нищете, о кредиторах. Ему больше не хотелось *ничего*. Не хотелось даже жениться на Ганской.

---

<sup>1</sup> «Тяжесть бытия» (фр.).

## IX

A l'écrivain toutes les formes de la création, à lui les flèches de l'ironie, à lui la parole douce et gracieuse qui tombe mollement comme la neige au sommet des collines, à lui les personnages de la scène, à lui les immenses dédales du conte et des fictions, à lui toutes les fleurs, à lui toutes les épines, il endosse tous les vêtements, pénètre au fond de tous les coeurs, souffre toutes les passions, devine tous les intérêts <sup>1</sup>

*Balzac*

Когда он проснулся на следующий день, комната была залита светом, — ставни не были затворены. Он подошел к окну. Парк был необыкновенно хорош. Подумал, что работа пойдет отлично: никто беспокоить не будет. И тотчас настроение духа у него изменилось.

Вещи уже были вынуты из чемоданов и размещены по шкафам и комодам. За них в этом богатом доме ему было неловко перед прислугой. Давно прошло то время, когда он щеголял платьем (почему-то в особенности жилетами), тростью, о которой сам, кажется, распространял вздорные рассказы, бельем, кольцами, когда ездил в карете с ливрейным лакеем, с графской короной, — он уверял не только других, но, верно, и самого себя, что происходит из старинного рода графов Бальзак д'Антрэг. Собственно, денег у него и тогда было не больше, чем теперь, быть может даже меньше. По-настоящему он не был элегантен и в то время; в свете над ним посмеивались и едва ли его принимали бы, если б он не был так талантлив и известен. С годами он потерял интерес к этому роду вздора. В Верховню привез с собой довольно мало вещей, и всё было не слишком высокого качества. Разыскал расшитые золотом красные сафьянные туфли, надел белый халат с золоченой цепочкой, на которой висели ножницы: без ножниц и клея писать было бы трудно

---

<sup>1</sup> Писателю все формы творчества, ему стрелы иронии, слово ласковое и изящное, падающее мягко, как снег на вершины холмов. Писателю все действующие лица, беспредельные дебри рассказа и выдумки. Ему все цветы, ему все шипы. Он надевает все одежды, проникает в глубь всех сердец, переживает все страсти, разгадывает все интересы



Подумал было, не затворить ли ставни: предпочитал даже днем работать при свечах. Но решил, что приставленный к нему лакей сочтет его сумасшедшим. Да и слишком хорош был вид из кабинета. Это не Париж, совершенная тишина.

Ганская знала его привычки, — беспокоить нельзя, за работой пьет крепчайший кофе и ест в огромном количестве фрукты. Всё это было ему тотчас принесено. Было очень тихо. Шум во время его работы или появление в его кабинете людей доставляли ему что-то, напоминавшее физическое страдание. Знаком хозяйского внимания было и то, что на письменном столе лежали очиненные перья, карандаши, стопка веленовой бумаги. Он первым делом всё внимательно осмотрел, разобрал даже марку бумаги, но произнести не мог: Jeziorna. Над маркой была императорская корона. Бальзак всё-таки не слишком ясно представлял себе, как в этом доме надо говорить о царе. С одной стороны, Николай I поработил Польшу, с другой же стороны, под его властью в это тревожное время только и жилось спокойно богатым помещикам. Графиня старалась поддерживать добрые отношения с русскими властями в Киеве.

В первый день нужно было выйти к хозяевам пораньше, и Бальзак в халате просидел за столом не более часа, думая сразу о нескольких книгах, которые собирался написать в Верховне. Его тотчас «обступили образы».

Это забавное выражение было в отношении Бальзака почти верно. «Образы» и были тем, для чего он жил. Они были и главной радостью, и главным мученьем его жизни. Он с полным правом говорил, что носит в своей голове целый мир. Говорил, что создал две тысячи «образов». Почти невозможно понять, как он сам разбирался в их сложных семейных, личных, имущественных отношениях. В грандиозном замысле — больше, чем в его выполнении — и есть главная ценность «Человеческой комедии». В каждом новом романе Бальзака были и прежние, и новые действующие лица. Прежних вывести снова было легче, но и они могли и должны были измениться на протяжении десяти, пятнадцати, двадцати лет. Создание же новых характеров было гораздо труднее. Он знал французскую жизнь как никто другой, встречал на своем веку бесчисленное множество самых разных людей. То их портретно и изображал, то начисто всё выдумывал, то соединял в одном действующем лице черты нескольких человек. В отличие

от многих больших писателей (особенно в отличие от Достоевского), он не заботился о том, чтобы его действующие лица совершенно не походили на людей, уже созданных воображением других романистов. Это едва ли и считал возможным: думал, что люди приблизительно стоят друг друга, что у всех у них есть общий фонд, составляющий верно три четверти их характера; творить, менять, заострять можно лишь в пределах одной четверти, и это само по себе уже необычайно трудно. Еще меньше заботился о том, чтобы не повторять самого себя, — это делали ведь все великие писатели; должно быть, он не слишком огорчался от того, что Люсьен де Рюампре всё-таки уж очень похож на Растиньяка. Думал же обо всем своем мире целый день. Ко многим из своих книг относился как должно: переделывал, переписывал, правил в корректуре каждую строчку.

В это утро ничего не писал, делал только заметки к планам. Так приятно, так непривычно было то, что здесь он мог бы ничего не делать месяца, два, три — и всё-таки были бы у него и кров, и стол, и все удобства жизни. Ближайшие кредиторы находились на расстоянии тысяч километров и сюда ни один из них явиться не мог бы; конечно, они могли писать ему, но отвечать кредиторам на письма было настолько легче, чем разговаривать с ними; еще проще было им вовсе на письма не отвечать. С улыбкой представил себе, что теперь о нем говорят враги, недоброжелатели и даже хорошие друзья: «Поехал жить на чужой счет...», «Поехал жениться на богачке...». Почти за это и не сердился: привык к тому, что люди, даже хорошие, *должны* говорить именно так, — он сам на их месте, верно, говорил бы то же самое. Он знал, что в их брани есть правда, но знал также, что из враждебных ему людей ни один не работал так много, как он. Ему часто случалось проводить за своим крошечным письменным столом по шестнадцать, даже по двадцать часов в сутки. Иногда он думал, что для своего *дела* имел бы право не только жить на чужие деньги, но воровать и грабить.

В одиннадцатом часу он спустился в гостиную. Молодых членов семьи не было. Вероятно, они хотели дать матери возможность поговорить с гостем наедине. И тотчас произошло то, чего он ждал и боялся. Робко на него поглядывая. Ганская сказала как будто небрежно, но вместе с тем и твердо, что должна *сначала* перевести свои имения на имя дочери, — себе оставит только пожизненную ренту. Как он ни готовился

к этому известию, оно всё же было тяжким ударом. Он сто раз обдумывал, что ей ответить в этом случае. Не показал ни огорчения, ни злобы, — принял известие как джентльмен: сказал, что она прекрасно делает, что для него будет счастьем содержать ее своим трудом. Понимал, что она ему не верит, понимал, почему она отдает состояние графине Мнишек: боится его долгов и расточительности: его дела были ей известны так же хорошо, как ему самому. Он понимал даже, что она преувеличивает (быть может, чтобы его испытать): *всего* дочери не отдаст. И действительно, перед его отъездом графиня дала ему на дальнейшее устройство *гнездышка* девяносто тысяч франков.

Надежда на большое богатство исчезла, но, по крайней мере, в именье он мог жить и работать спокойно.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur donnez m'en une pour la félicité<sup>1</sup>.

*Lactos*

Прощание произошло так, как происходило у Лейденов всегда: Ольга Ивановна и Лиля вышли на улицу, Константин Платонович умолял их вернуться в комнаты, испуганно кричал, что они непременно простудятся; они отвечали, что это пустяки, — и не подумают простудиться. Затем, когда дворник и ямщик стали размещать чемоданы, обе дамы заплакали, а он их утешал. «Не стыдно ли? Ведь я уезжаю не в Америку и не в Австралию! Скоро вернусь». Ольга Ивановна сквозь слезы и десятый раз сокращенно повторила свои наставления в дорогу: чтобы он в *ямах* ни к какой колбасе не притрагивался и чтобы всякий раз, садясь в экипаж, пересчитывал вещи. Он тоже чему-то их учил. Наконец, обнялись в последний раз. Из коляски он, стоя спиной к ямщику, махал им рукой и еще что-то кричал. Они тоже махали платочками, старались улыбаться и посылали ему воздушные поцелуи. Уже издали он отвечал воздушными поцелуями, жестами требовал, чтобы они ушли, и показывал рукой на свое горло: простудитесь!

Но, когда коляска скрылась за поворотом Лютеранской, Лейден, садясь, вдруг почувствовал облегчение, даже радость, — непонятную, как будто беспричинную радость. «В чем дело? Никогда этого со мной не было при разлуке. Между тем ведь я люблю, нежно люблю их, — с тревожным недоумением думал он — Что ж хорошего в том, что я теперь один? Свобода? Да кто же меня стеснял и дома?»

Теперь можно было подумать как следует о *путовке* Впрочем, он довольно думал о ней и в Киеве. Она образовалась дня

---

<sup>1</sup> Силы небесные, у меня была душа для скорби, дайте же мне душу для радости.

четыре тому назад, сзади, на шее; если бы не была покрыта волосами, Ольга Ивановна, конечно, тотчас ее заметила бы. Константин Платонович ничего своим не сказал, но в первую же минуту подумал, что это, быть может, рак. Попробовал, запершись в комнате, рассмотреть пуговку при помощи двух зеркал. Это не удалось. Собрался было пойти к врачу, однако едва ли врач уже мог бы распознать болезнь, и было несколько совестно, да и страшно: вдруг подтвердит! В старом медицинском учебнике Лейден ничего не нашел. «Если будет расти, тотчас вернусь, хотя тогда уже не всё ли равно?» В экипаже он беспрестанно нащупывал пуговку, — как будто не росла. Думал о том, что рак на шее (если такой бывает?) не может считаться безнадежной болезнью: лечат оперативным путем не без успеха. «Да, плохо, всё плохо... Какой это старик-француз на вопрос «Comment ça va?» отвечал: «Ça ne va pas: ça s'en va»<sup>1</sup>? Действительно, организм разрушается, начинается самый худший период жизни: *доживание*, болезни. Хорошего больше ничего не будет. А я думаю о платанах!.. От какой же болезни я умру? Пожалуй, самое безболезненное: воспаление легких. А то разрыв сердца? Но сердце у меня, кажется, здоровое. Или будут возить в повозочке после удара? Тогда, если останется сознание, столь ничтожным покажется всё, что теперь меня огорчает, раздражает, беспокоит! Но каким же образом громадное большинство людей не думает о своей смерти — или же думает только весьма редко, по каким-либо особым случаям вроде болезней, завещания или похорон близкого человека?»

Он заснул. Ему снилось, что он находится на Гаити Или на Гаити... Петр Игнатьевич предложил вырезать пуговку и хотел за это взять всего пятнадцать копеек, но он не согласился: еще зарежет! Между ним и Петром Игнатьевичем из-за этого произошло резкое столкновение, он всё Петру Игнатьевичу выпел, напомнил разные его поступки, всю его некорректность в том деле с заводом. Тятенька старался их помирить и обратил их внимание на красоты природы, объяснил, что Гаити открыл Колумб и добавил: «Frisch in's Leben hinein<sup>2</sup>, пане Христофоре!» Эта чушь затем развивалась по-своему почти логично. Лейден

<sup>1</sup> «Как идут дела?» <...> «Дела не идут, они уходят» (фр.).

<sup>2</sup> «Смело вступай в жизнь» (нем.).

проснулся от толчка, испуганно открыл глаза и обрадовался «Все ерунда, никакой операции, никакого Таити! Приходит же в голову этакий вздор! А еще люди приписывают вешнее значение снам! Отроду, кажется, ни о Таити, ни о Гаити не думал!..» Коляска стояла у избы с надписью под крышей: «Почтовая станция».

В избе других проезжающих, к его удовлетворению, не было. Ему подали самовар, он велел принести из коляски погребец. «Время глупое, — подумал Константин Платонович, взглянув на часы, — для завтрака поздновато, для обеда рано». Еды на станции не было. Он подумал, что верно у ямщика есть свои харчи, велел дать ему водки и послал большой кусок ветчины.

— И скажите ему, пожалуйста, что в четыре часа мы поедем дальше, — прибавил Лейден. — Водки больше стакана не давайте, еще вывернет.

Эта мысль его заняла: что, если коляска упадет и он вывалится в грязь? Лишь бы тогда не потерять вещей и особенно денег. Он взял с собой немало золота; кроме того, было заемное письмо. «Что я стал бы делать, ежели бы всё как-нибудь да пропало? В дороге знакомых ни души Ждать, пока пришлют из Киева?» Он долго обсуждал это за завтраком: как даст знать Ольге Ивановне? сколько пришлось бы ждать? Не вытерпел, заглянул в чемодан, деньги были целы. «Смешно, ведь я опытный путешественник. Прежде, бывало, тоже беспокоился, да всё же не так».

Помещение станции было очень грязно. После необыкновенной чистоты их киевского дома, комната была особенно противна. «Хотел бы я увидеть Оленьку в таких апартаментах! — подумал он, чувствуя теперь к жене особенную нежность. — Что они обе сейчас делают? Лилки верно нет дома, а Оленька вздыхает и рассуждает обо мне с дурой Ульяной». Неожиданно ему пришла мысль, что он отлично мог бы вернуться домой. «То-то они обрадовались бы!.. Ведь в сущности Тятенька прав: не очень мне нужно все это. платаны, семена, завод... Что же я сказал бы в Киеве, если б вернулся? Что забыть захватить подорожную? Но ведь тогда надо было бы тотчас опять уехать. Враги пустили бы какую-нибудь сплетню..»

Он знал, что его в киевском обществе не любят, и сам любил лишь немногих, да и то не очень горячо. Впрочем, отдавал должное чужим достоинствам. Этот хороший человек, да скуп до отвращения. Этот тоже хороший, но меняет белье раз в неделю и ногти грязные. Всё же Лейден понимал, что мало кто его *ненавидит*. «Ненависть, конечно, слишком сильное слово... Если б я сейчас вернулся в Киев, Петр Игнатьевич и Марк Петрович объявили бы, что меня давно пора свезти в дом умалишенных и что они всегда это говорили. А какое мне дело до того, что они скажут? Может ли меня интересовать мнение чужих, ничтожных людей? — спрашивал он себя, хотя чувствовал, что даже мнение Петра Игнатьевича и Марка Петровича имеет для него некоторое значение. — Да что такое вообще враги? Люди имеют разные интересы, разные взгляды, разные вкусы, и поэтому часто относятся друг к другу недоброжелательно и враждебно; кроме того, есть множество дурных, гадких людишек, и если по поводу каждого их слова раздражаться, расстраиваться, то лучше вообще не жить на свете. И, наконец, в известном смысле даже стыдно не иметь врагов. значило бы, что я бесцветный человек». Это он часто говорил себе и прежде. Тем не менее, случалось, в особенно плохие свои минуты, думал о том, как бы причинить какую-либо большую неприятность дурным людям. Иногда долго представлял себе, какой убийственный фельетон мог бы написать барон Брамбеус о Петре Игнатьевиче, и даже мысленно участвовал в составлении этого фельетона, в котором его враг был бы обозначен ясно для всех, например, Игнатием Петровичем.

В комнату внесли сальную свечу. Он взглянул на часы и закрыл глаза. «Да, «гимнастика смерти», — подумал он. Так он про себя называл то, о чем думал и дома в бессонные ночи представлял себе смерть знакомых и близких людей или, точнее, влияние на него их смерти. «Это безошибочный признак того, что я крайний эгоист. Смерть знакомых в сущности никакого влияния на меня иметь не может. Да, вероятно, я был бы огорчен, а через полчаса забыл бы. И так все, только другие притворяются и изображают большое горе... А смерти Петра Игнатьевича я даже был бы очень рад. Каждый из нас наверное мог бы составить мысленно список людей, смерть которых ему была бы удобна, полезна, а то и приятна. Только

и тут люди этого не говорят. И я тоже никогда никому не скажу. Если б сказал, то Тятенька верно постучал бы многозначительно пальцем по лбу, а Оленька ужаснулась бы, заахала, а вечером помолилась бы Богу, чтобы Он простил мне столь страшный грех и чтобы хранил тех, кому я желаю смерти. А я всё-таки им ее порою желал, а Петру Игнатьевичу и сейчас желаю, и ничего тут со мной не поделаешь... Но враги и в счет не идут. А друзья? Тятенька? Близкие? Да, я сто раз приучал себя мысленно к тому, что они умрут, что я их переживу, могу пережить, мысленно преодолевал свое горе, думал даже, к моему позору, о том, что будет со мной, если я их переживу! И это ужасно, хотя, может быть, каждый из нас *должен* иногда это делать, чтобы приучать себя к неизбежному. У меня же эта гимнастика смерти — чужой смерти — становится, кажется, манией».

Он вспомнил о пуговке, открыл глаза и ощупал шею. «Нет, как будто не увеличилась». По столу бегали тараканы. Несмотря на занятия Константина Платоновича естественными науками, три вида существ вызывали у него непреодолимое отвращение: насекомые, крысы, змеи. «Что-то меня еще ждет в Турции: клопы, сомнительные кровати, еще более сомнительная еда, от которой легко отравиться или заболеть холерой. Право, не лучше ли вернуться?» — подумал он, хотя и отлично знал, что не вернется. Он обрадовался, когда подъехал ямщик.

— Ну, что, голубчик, поели, выпили? — спросил его Лейден и подумал, как неестественно это развязно-ласковое обращение к чужому мужику. Он не только не говорил простым людям «ты», но в ресторане не мог сказать «человек», а в бытность свою в Париже в кофейнях не произносил слова «гарсон», казавшегося ему очень оскорбительным для слуги. «Тем не менее вся эта ничего мне не стоющая деликатность, которой я внутренне горжусь или даже хвастаю перед самим собой, одна фальшь. Всё-таки я только что ел икру и пил венгерское, а он пил водку и ел *пожалованную* мною ветчину. Если же я не пожаловал бы, то он ел бы сухой хлеб. Конечно, много правды в том, что говорят в свободных странах революционеры. А я вот и знаю, что в этом много правды, но это ровно ничего в моей жизни не меняет. Тоже фальшь, везде и во всем фальшь... Лучше дома говорил бы Никифору ты, но жалованья платил бы ему втрое больше».



Дорога была долгая, утомительная. Лил холодный дождь. И всё время его преследовали те же мысли. Все несчастья были возможны: рак, удар, разорение, пожар дома. Он мог простудиться в такую погоду и заболеть воспалением легких. «Кто же даст знать Оле? Или вдруг заболею холерой? Тогда лишь бы скорая смерть... Цели же ведь все равно в жизни больше никакой нет, вот как у этого стада овец, которое там куда-то гонит мужик. Их зарежут через неделю, нас немного позднее, зато нас уже без всякой нужды или пользы». Впрочем, ему самому показалось, что и мысль эта, и сравнение с овцами не так блистательны: «Для этого не стоило прочесть сотню философских книг. Правда, я — Кифа Мокиевич!» — сказал он себе, рассеянно нащупывая пуговку.

От таких мыслей помогало ненадолго вино. Он не очень любил вкус спиртных напитков, а водку глотал почти как лекарство. Но после нескольких стаканов вина начинал чувствовать то, что принято было называть «приятной теплотой». У других людей от спирта развязывался язык, у него развязывался ум; мысли не путались, а, напротив, становились более ясными и неизмеримо более приятными.

Ночь перед Одессой он опять провел на почтовой станции. Она была немного лучше первой, но и тут пахло луком, мокрой кожей и жженым салом. Был диван, и на нем Лейдену приготовили постель. Однако он не решился лечь, — представил себе людей, которые, быть может, спали на этой простыне, под этим одеялом: могли быть и больные чесоткой, и сифилистики. Запасы еды уже кончались, как ни много было ее в погребце: он ел в пути очень много, хотя опасался, не испортилась ли уже провизия. Делился запасами с ямщиком, давал и голодным детям, когда они появлялись в комнате для проезжающих и смотрели на него жадными глазами. «Да, вот он, нищий народ!» — думал Лейден: в отличие от Бальзака, не восхищался богатством России; вспоминал о чистеньких гостиницах Австрии и сравнивал. И всё пытался понять, чего именно он хочет. С растущей тревогой думал о радости, которую испытал, проотившись с женой и дочерью; ясно видел, что одиночество выносит с большим трудом; и так же ясно чувствовал, что не очень хочет и своего киевского общества. Ему теперь казалось, что в Киеве его преимущественно тяготило однообразие

его жизни: всё одно и то же, милые приятные люди, но одни и те же.

От скуки он вышел из избы. Дул сильный холодный ветер. «Жутко человеку быть одному вечером, да еще в такую погоду, на новом, незнакомом месте, будь это хоть Париж». Лейден вернулся в избу и просидел всю ночь на диване, с которого сбросил одеяло и простыню. Ночью и в комнате стало холодно. Он ежился под пледом, думал, что клопы могут развестись и в его вещах. Дремал. под утро заснул и проснулся совершенно разбитым. Пуговка не уменьшилась. Клопы кусали по-прежнему. «Человек, которого кусают клопы, не может сохранять человеческое достоинство! — с отвращением думал он. Очень дорожил своим достоинством. — Хоть бы скорее город, ванна, цивилизованная жизнь!»

В Одессе погода тоже была плохая. Море было неприятливо. Перед отъездом Константин Платонович разменял ассигнации. Решил есть поменьше. Действительно, через полчаса после того, как судно отошло, стало сильно качать. Пассажиры с тревогой и с некоторой гордостью говорили, что годами такого бурного моря не было. Лейден поспешно спустился в каюту и стал думать, что произойдет, если судно пойдет ко дну. «На лодке куда же спасешься? Кажется, и островков никаких нет»

Он всю дорогу пролежал пластом, проклиная день и час. когда решил ехать в Константинополь. Мечтал теперь только о том, чтобы под ним снова оказалась земля, всё равно какая, но твердая. Вычислял мысленно, сколько еще плыть. Его звали к завтраку, к обеду. Он смотрел на звавших с завистью и отвращением: что это, издеваются они, что ли? Лакей участливо предлагал принести ему бульона или чаю. «Оставьте меня! Ничего не хочу», — шептал Лейден страдальчески.

Его мучения кончились внезапно. Под конец переезда он задремал. Когда проснулся, увидел, что каюта залита солнцем. Полотенце на вешалке, прежде качавшееся, как маятник, теперь висело неподвижно, графин и стакан на умывальнике не звенели. «Неужто берег? Слава Тебе, Господи!» Вспомнил о пуговке, протянул руку к шее, — пуговики не было! Сразу было не поверил, долго искал: нет пуговики, исчезла! «Надо же было волноваться! Просто стыдно! Был простой волдырь или что-то в этом роде! Эх, дурак я!» — с восторгом подумал он. Попробо-

вал встать, — отлично встал. Осторожно, держась за перила, поднялся по лестнице, — тоже удалось превосходно. В коридоре, выходявшем на палубу, даже не пошатнулся!

Близко, совсем близко, была земля, — не только твердая, но невообразимо прекрасная. Видны были белые купола, гигантские копы минаретов, кипарисы, невиданных размеров платаны, цветы, раскрашенные дома, — необычайное сочетание красок, от ярко-зеленой до ярко-красной. Но главное было солнце. Такого солнца он отроду не видел: оно здесь было светлее, белее, ярче, чем в России. «Что, как Тятенька прав? Незачем думать о смерти и загробном мире, надо жить со дня на день, брать от жизни всё, что еще можешь!» — сказал он себе. И только мелькнула у него мысль, что ведь и резкую, ничем, кроме погоды, не вызванную перемену настроения можно было бы приписать душевному расстройству.

Еще до отхода судна из Одессы он справился у капитана, где бы остановиться в Константинополе. Капитан посоветовал меблированные комнаты у Галатской башни: «Содержит грек, у него очень чисто и недорого, будете благодарить. Я вам запишу адрес, на меня и сошлитесь». Когда корабль остановился, на борт мгновенно вскарабкались носильщики; ругаясь друг с другом, набросились на Лейдена, выхватили записку, закивали головами и с криками повели его вниз. Никаких формальностей не было; быть может, капитан откупился от властей. Лейден очень скоро очутился на твердой земле — и сразу ошалел: попал в новый мир!

На улицах была давка, кладь везли на ослах и верблюдах, везде бегали тощие собаки, почти сплошной стеной неторопливо продвигались люди, белые, арабы, негры; женщины были в чадрах. Вся эта разноплеменная, по-разному одетая, разноцветная толпа шумела, как никогда не шумели люди в России, в Австрии, в Пруссии, даже в Париже. Ему в первую минуту показалось, что он попал на какой-то скандал. Кое-где орали так, точно сейчас здесь совершилось или совершится убийство. Однако ни скандала, ни убийства никто, по-видимому, в мыслях не имел. Было очень тепло, солнце всё заливало не лучами, а именно потоками света. «Какая-то световая вакханалия!» — по-книжному, но с подлинным восторгом подумал Лейден. В этой вакханалии, в прозрачном, как ему казалось,

чуть фиолетовом, воздухе, в диком жизнерадостном шуме этого нигде не виданного им человеческого моря был дурман. По дороге он вспомнил, что не оставил на чай лакею на судне. мысленно назвал себя скотиной. «Не возвращаться же!» Дал деньги носильщику и как умел объяснил ему, для кого они предназначаются. «Конечно, не отдаст, если даже и понял Ну. что ж, и ему надо жить!»

К приятному удивлению Константина Платоновича, меблированные комнаты у Галатской башни оказались очень приличными, лучше киевских, не хуже венских. Грек, очень любезный человек, говоривший по-русски и по-французски, повел его по мягким толстым коврам в хорошо обставленную по-восточному, чистую комнату. В ней приятно пахло, — хозяин объяснил, что душил свои комнаты розовой эссенцией. Обещал тотчас послать за гидом, посоветовал сходить в турецкую баню в соседнем доме, прислал голубовато-синюю чашечку в медной подставке с турецким кофе и тарелку сладкого печенья. Кофе было необыкновенное, — «отроду такого не пил!» Столь же необыкновенной оказалась и баня. Лейден просидел в ней с час, решил ходить каждое утро, вышел в состоянии радостной бодрости, какой давно не испытывал. «Да, в самом деле, всё вздор: и несчастья, и враги, и мысли о самоубийстве всё такой же вздор, как пуговка!» (опять ощупал шею — ни следов!). «Право, произошло чудо! Константинопольское чудо!»

В гостиной его ждал гид, небольшой, очень худой человек с проседью в волосах и в бородке, с редкими черными зубами. Желто-зеленое лицо его было странное, как бы двух измерений: «Если провести плоскость от вершины лба к низу подбородка, то на ней оказались бы и лоб, и глаза, и нос, и рот, точно всё это нарисовано». Одет он был бедно, старомодно и с некоторыми претензиями: на нем были черный фрак с бархатными отворотами и металлическими пуговицами, оливковые брюки и гетры. так одевались при Первом Консуле. Всё было очень потерто и грязновато. «Похож на утопленника!» — подумал Лейден.

— Первый *дрогман* в Константинополе, — отрекомендовал гида хозяин. — Дрогман нашей гостиницы. Он всё знает, историю, достопримечательности, магазины.

Гид слабо улыбался. Улыбка у него была одновременно почтительная и ироническая. Он как будто этой улыбкой защи-

щался от грубого обращения, к которому могли подать основание его профессия и бедность.

— Очень рад. Какие ваши условия? — спросил Лейден. Нисколько не будучи скупым, он, как деловой человек, не любил, чтобы с него брали больше настоящей цены. Плата, которую Константин Платонович мысленно перевел на рубли, оказалась скромной. Гид назвал цифру, робко на него глядя. Видимо, боялся лишиться клиента.

— Это обычная здесь плата, мосье. Полагается также завтрак, но я ем очень мало и не требователен, — сказал он. Лейден почувствовал неловкость (вечером морщился, вспоминая эти слова).

— Будем вместе и завтракать. Завтра утром и начнем, приходите пораньше. А вы хорошо говорите по-французски.

— Я говорю и по-немецки, и по-английски. По-русски, к сожалению, не говорю, — вежливо добавил гид. — Мой родной язык испанский. Не прикажете ли, мосье, сейчас проводить вас куда-нибудь? Вы, верно, пойдете обедать? Или, может быть, вам нужны папиросы? Наш табак лучший в мире, — сказал он. Гид, видимо, не очень уважал турецкие порядки, но гордился, что и в Турции есть что-то самое лучшее в мире. — Я всё могу вам указать. Разумеется, бесплатно: за время, потраченное на переговоры, клиенты не платят.

«Верно, получает утопленник от лавок процент», — подумал Константин Платонович благодушно: всё ему нравилось и всё казалось совершенно естественным.

— Да, да, мне надо обзавестись табаком.

— Тут рядом есть отличный магазин. Отсюда всё близко, вы, мосье, не могли выбрать лучше места, — сказал гид, отплачивая хозяину за любезность.

— Прекрасно, мы сейчас же и выйдем. Очень рад, что попал на такого хорошего гида.

— Я дрогоман, — мягко поправил гид. «Дрогоман так дрогоман», — подумал Лейден. Это слово вызвало у него представление об опиуме, о гашише. Он не знал, что по-французски не говорят «драгоман».

— А как, о холере у вас в Константинополе теперь не слышно?

— Избави Бог! Никакой холеры нет! — сказал гид, испуганно оглянувшись на хозяина. У того на лице выразилось даже что-то вроде негодования: холера у нас!

— Вот это приятно! — сказал Константин Платонович — Пойдем

Действительно, по соседству оказались прекрасные лавки, в них продавались табак, чубуки, бусы, коробочки, ковры, точные сласти, фрукты и овощи необычно ярких цветов Константин Платонович купил папирос, маленькую коробку рахат-лукума и угостил гида. Тот рассыпался в выражениях благодарности, закурил, а два кубика рахат-лукума аккуратно завернул в бумажку и спрятал.

— Это я отдам деткам, — виновато сказал он.

— Возьмите больше, эффенди, — предложил Лейден, становившийся всё более дружелюбнее. «Эффенди» было единственное известное ему турецкое слово; и то он не знал, можно ли так называть человека. Но постоянный словообмен «мосье» — «мосье» был скучноват и слишком обычен. Константину Платоновичу в этом городе хотелось говорить и даже вести себя возможно более по-восточному. Дрогман слабо улыбнулся.

Они еще поговорили. Гид тотчас соглашался со словами клиента. Если же говорил от себя, то его улыбка становилась еще более иронической, точно он высказывал не свое мнение, а чье-то чужое, быть может заслуживающее осуждения Лейдену становилось все более его жалко.

— Так прикажете проводить вас к ресторану? Здесь недалеко есть ресторан с самой лучшей французской кухней.

— Нет, я немного погуляю, — сказал Лейден. — И притом, что ж в Константинополе есть французские блюда? Я хотел бы чего-нибудь такого...

— У них есть и все блюда турецкой и греческой кухни, — сказал гид, знавший, что так в первый день говорят все туристы — Завтра, если вам угодно, мы будем завтракать в Стамбуле. Но этот ресторан я вам особенно рекомендую, и лакеи понимают по-французски.

Гид объяснил, как пройти к ресторану, и простился. Оба остались довольны друг другом. «А я почему-то думал, что все они наглые люди. Этот, напротив, очень застенчивый. Ах, какой город! Я уверен, что, живи я здесь, ничего от моей

тоски не осталось бы. Тятенька обиделся бы за Киев... Что и говорить, Киев чудесный город. Но константинопольского солнца в нем нет, а тут ведь всё дело в солнце», — думал Константин Платонович, чувствующий что-то вроде смущения по случаю *измены* Киеву.

## II

The General said, there was no beauty in a simple sound, but only in an harmonious composition of sounds. I presumed to differ from this opinion and mentioned the soft and sweet sound of a fine woman voice Johnson. No, Sir, if a serpent or a toad utters it, you would think it is ugly<sup>1</sup>.

*Boswell*

Теперь он и гулять старался с *восточной важностью* и сам радостно улыбался своему тихому помешательству. С твердой земли было приятно смотреть и на море, так недавно внушавшее ему крайнее отвращение. Едва ли даже не в первый раз в жизни оно показалось ему в самом деле прекрасным. Как все, он восхищался красотой моря, но про себя думал, что ничего в нем красивого нет; скучное, однообразное зрелище, любая река гораздо лучше, не говоря уже о Днепре.

Ресторан по виду почти не отличался от петербургских или московских. При виде закусок Лейден вдруг почувствовал необыкновенный голод. Лакей, говоривший по-французски, подошел к нему, принес ту самую хиосскую анисовую водку *дузика* и то красное тенецкое вино, о которых говорил Тятенька. Дузика была действительно хуже русских водок, но недурна, а вино оказалось прекрасным. Константин Платонович заказывал больше наудачу. К константинопольской еде надо было бы относиться с особой осторожностью, но в этом городе его мнительность ослабла. Вдобавок все вокруг ели с апетитом и, видимо, никак не думали, что могут отравиться. Он

---

<sup>1</sup> Генерал сказал, что в простом звуке нет красоты; красота только в гармоническом сочетании звуков. Я не согласился с этим мнением и упомянул о мягком и милом звуке прекрасного женского голоса. Д ж о н с о н. — Нет, сэр, если б такой звук издавала змея или жаба, вы нашли бы его безобразным.

стал с жадностью есть всё, что приносил лакей и к чему он не прикоснулся бы в Киеве или в Петербурге. Были поданы жареные моллюски, затем что-то фаршированное, что-то рубленое, что-то мучнистое, что-то очень сладкое. Всё было необыкновенно вкусно и непохоже на то, что он ел дома. Подавали крайне медленно. В России люди тоже не очень спешили, но здесь уж никто никуда не торопился. «И слава Аллаху! В отличие от нас, они не заражены, не отравлены с детства мыслью, будто надо что-то делать, к чему-то стремиться, куда-то спешить...» За соседним длинным столом весело обедала большая компания. Мужчины были в фесках, — быть может, и турки. Дамы, очевидно, мусульманками быть не могли, «А недурна та, что слева», — подумал Константин Платонович, допивая вино. Он не был гастрономом, но, как многие гастрономы, любил обедать один и в этом расходился с Тятенькой. «Ты следуешь Иосифу Волоцкому, он запрещал иосифлянам разговаривать за трапезой, «да не уподобляются свиньям, которые хрюкают, принимая пищу». Только это, братец, вздор: нет лучше, как почесать язык за едой», — благодушно говорил ему Тятенька. «Вот и в Киеве, как вернусь, буду один ходить в Английскую гостиницу. То-то Оля удивится. Что ж, собственно, ведь я еще не очень стар». Он чувствовал, что его назад в Киев нисколько не тянет. «Южное вино довершает дело южного солнца... Именно константинопольское чудо! Может быть, я и циник, и бесчувственный человек, но что ж я буду себя обманывать? Давно мне не было так хорошо и легко, как нынче. И, право, так именно и надо жить, как эти восточные люди... Враг? Но вызови в себе и к нему расположение, скажи себе, что ты его врагом не считаешь, что ты не только смерти, а никакого зла ему не хочешь, и станет легче не ему, — ему всё равно, — а тебе самому. В сущности, это даже единственный выход: все враги всё равно не вымрут, а и вымрут, так появятся другие...»

Когда Лейден, часа через полтора, вышел из ресторана, он не узнал города. День кончился. На улицах было тихо. Вдали купола и минареты сливались с воздухом. Вдруг послышался приятный заунывный крик. «Муэдзин!» — догадался он и остановился, прислушиваясь с восторгом. «Неужто *в самом деле* существуют муэдзины! Господи, как хорошо!» Теперь он не сомневался, что с ним произошло чудо, что он на шестом десятке



лет жизни понял новую мудрость. «Да, они, восточные люди, правы, а мы, европейцы, варвары! И нам у них надо учиться, а не им у нас! Как же они-то смотрят на смерть и загробную жизнь?» Константин Платонович старался припомнить то, что читал об этом в книгах по истории религий, смутно вспомнил о дервишах. Меньше всего знал именно о Коране и мусульманах.

Он вернулся домой, лег на диван, — турецкий диван был у него и в кабинете киевского дома. «Но здесь *турецкий* — турецкий диван, и это совершенно иное дело, — думал он. — А кто это у Лермонтова дремлет, склоняясь в дыму кальяна на цветной диван? Чуть ли не Тегеран?.. Смелый образ... Почему не говорят правды, когда большой поэт пишет плохие стихи? А еще кто-то там же в тени чинары льет на узорные шальвары пену сладких вин. И слова такого нет «чинара», а есть «чинар», и это платан, только «чинар» звучнее. Да, я якобы приехал сюда для платанов. А на самом деле всё это вздор, и совсем я не для них приехал. Я не знаю, для чего я сюда приехал. Видно, просто потому, что *не мог* больше жить так, как жил...»

Надо было бы написать жене: он обещал писать каждый день. «Но ведь всё равно письмо уйдет не раньше, как через неделю, на том же судне. Буду писать по несколько страниц каждый вечер, начиная с завтрашнего дня, обо всем, что увижу за день. Так наберется страниц двадцать...» Вспомнил, что в кармане пальто есть рахат-лукум. Достал, не без труда расклеил слежавшиеся теплые кубики, всё съел, запил тепловатой водой из кувшина и подумал, что никак не следовало бы пить сырую воду. «А здесь, на востоке, и умирать, верно, так же просто, как жить, или, во всяком случае, проще, чем у нас. Жил, помер, будут гурии, велик Аллах... Зачем только грек всё так душит своей эссенцией? Восточная изнеженность? Это тоже вздор». В комнате тикали стенные часы. Он в Киеве, случилось, говорил, что людей, приобретающих такие часы, или попугаев, или канареек, надо вешать. С Ольгой Ивановной однажды вышла ссора: не спросив его, она купила часы с кукушкой, он устроил скандал, она испугалась и вернула их в магазин. Однако здесь, в Константинополе, ему и тиканье показалось уютным. Оно говорило: «Встань, встань, встань». Константин Платонович подвел под темп другие слова: «Лежи, лежи, лежи». Часы согласились и на это. Лейден достал из чемодана туалетные

принадлежности, ночную рубашку, мягкие туфли. Заснул, не потушив свечи. Огарок погас, выпустив фитилек со дна подсвечника.

Ночью были виденья, которых не было очень давно. Он проснулся с рассветом; как раз пропел петух, — и в этом тоже было нечто успокоительное, *восточное*, хотя петухов он постоянно слышал и в Киеве. «Где я? Что такое случилось счастливое? — спросил он себя. — Ах, да, Константинопольское чудо!» Не чувствовал своей, обычной по утрам, гнетущей тоски. Надел туфли, уютно, как в Киеве, подвернулся под пятку задок левой. «Встань... встань... встань» — мило, опять односложно, советовали часы. И с раннего утра он начал ту же приятную игру в восток. Подошел к окну. Утро было чудесное. Видна была небольшая мечеть. Под окном неторопливо шел человек в странном кафтане, постукивал остроконечной палкой по лежавшим на улице огромным, поросшим мхом камням: дошел до угла и вернулся. «Очевидно, ночной сторож». Издали, со стороны мечети, сверху, опять послышался заунывный крик. «Муэдзин зовет правоверных восславить Аллаха», — подумал Константин Платонович; и то, что он мог думать такими странными словами, было для него неожиданно. «Что ж, Магомет был наверное не глупее меня и даже не глупее тех философов, чьи книги у меня в Киеве стоят во втором шкапу..» Ему захотелось есть и пить. «Часов в восемь уже можно будет попросить чашку их чудесного кофе. Спрошу и дузики. Хотя Магомет кофе, верно, не знал, а пить водку строго запретил... Чудесный город, чудесная страна... Как я хорошо сделал, что сюда приехал!»

Несмотря на свой новый, мусульманский взгляд на жизнь, он после утреннего завтрака решил начать с дел и, к некоторому недоумению гида, сообщил ему, что хочет осматривать не дворцы и мечети, а сады, рощи и плантации.

— Не знаете ли вы каких-либо садоводов и агрономов, которые понимали бы по-французски или по-немецки? — спросил он.

Дрогман, подумав, ответил, что знает, и повез его к старому немцу, давно жившему в Константинополе. Результаты оказались не обнадеживающими. Цветы в Турции были чудесные, но цветоводство первобытное, такое, каким верно было при византийских императорах. Здесь все делало солнце без челове-

ческой помощи. Немец продал Лейдену семена, а к его затее о платанах отнесся скептически. Константин Платонович осмотрел знаменитый константинопольский платан, которому будто бы было не меньше восьмисот лет. Турецкие платаны считались лучшими в мире. По совету немца, он отправился в греческую торговую контору. Греки смотрели на него с удивлением: деревьями не торговали, но, пошептавшись, сказали, что препятствий не видят, можно попробовать. Раздачу необходимого бакшиша контора охотно принимала на себя: это, видимо, было для нее привычным делом. Он навел справки о фрахте, тут же сделал подсчет и дал пробный заказ.

«Что же теперь-то делать? Приехал якобы выяснять дела, а вот за одно утро всё выяснил!» — подумал он, выйдя из конторы. Все же побывал в еврейском магазине, торговавшем иностранными книгами. Там ему опять с недоумением ответили, что по агрономии и цветоводству у них книг ни на каком языке нет. Книги об Исламе, о дервишах нашлись. Затем Лейден съездил с гидом на пристань. Ближайшее судно уходило в Италию лишь через неделю. Это был английский пароход. «Вот хорошо! Я еще никогда на пароходах не ездил». Была свободная только одна каюта, двухместная. Немного поколебавшись, Константин Платонович заплатил за оба места. Тратиться не хотелось, но не хотелось и жить в одной каюте с другим пассажиром. «Быть может, еще будет храпеть или же потребует, чтобы в девятом часу гасить свечи? А ежели еще на беду начнется качка! Хотя и Средиземное, и Мраморное, и Эгейское совсем не то, что Черное».

Теперь можно было осмотреть город. Лейден и проделал в три дня то, что делали другие туристы. Дрогман оживился, перейдя к своим обычным занятиям. В Святой Софии подробно рассказывал о падении Константинополя, о гибели последнего византийского императора, о том, как султан-победитель подъехал к храму верхом на коне и прикоснулся окровавленной рукой к стене, — вот отпечаток. Показал и другие мечети, показал сераль, показал Сожженную Колонну, большой базар. Они поднимались на Галатскую башню. Побывали в пятницу на селамлике. Эта церемония показалась Лейдену малоинтересной: петербургские парады были гораздо пышнее; султан, нисколько не походивший ни на тирана, ни на фанатика, был не в раззо-

лоченном мундире, а в черном сюртуке, большого блеска не было ни в чем. Когда дрогман предложил осмотреть еще Семибашенный замок и монастырь Балуклу, Константин Платонович запротестовал: довольно. Дрогман говорил о каких-то волшебных рыбках в подземном бассейне монастыря; Лейден отказался и от волшебных рыбок.

— Танец дервишей будет вечером. Может быть, вы до завтрака хотели бы взглянуть на рынок невольников? — спросил дрогман. Он очень оценил этого иностранца: в ресторанах Лейден заказывал ему то же, что ел и пил сам, или предлагал выбрать что угодно. Вначале гид сконфуженно отвечал, что ему всё равно. Ел он с жадностью, а когда лакея вблизи не было, незаметно кое-что завертывал в бумажку и прятал в карман оливковых брюк. «Ну, что ж, для деток», — думал Константин Платонович. Теперь, освоившись с клиентом, дрогман стал менее робок и не только улыбался, но иногда шутил и смеялся. Смех у него был странный, точно он чихал или кашлял, и всегда улыбка появлялась на его лице раньше, чем начинался шуточный рассказ. «Вот как молния предшествует грому», — думал Лейден. Свое достоинство гид по-прежнему оберегал и, когда Константин Платонович спросил его, много ли в Константинополе гидов, снова мягко поправил: «Я дрогман». «По-видимому, это у него *point d'honneur*<sup>1</sup>. Так у нас статский советник обиделся бы, если б его называли надворным». Гид, которого он теперь мысленно называл не иначе как Утопленником, был человек не лишенный образования. Раза два он в разговоре упомянул о Байроне и о Бальзаке.

— Какой рынок невольников?

— У нас в Турции продаются невольники, — сказал гид, и его улыбка из иронической стала печальной и неодобрительной. Он знал, что после этого сообщения европейцы всегда выражают негодование — и идут смотреть рынок. Лейден негодования не выразил. «Что ж, у них люди продаются на рынке, а у нас в государственных учреждениях, хрен редьки не слаще», — подумал он.

— Далеко это? Успеет до завтрака?

— Конечно, успеет, если опять взять извозчика, — сказал гид

---

<sup>1</sup> Вопрос самолюбия (*фр.*).

По дороге он рассказывал о продаже невольников тем же тоном, каким сообщал исторические сведения о мечетях и дворцах. Прежде продавались на рынках люди, которые в пору войн угонялись турецкими войсками из южной России, из Грузии, Армении, Персии. Отношение к ним всегда было хорошее. Если они были еще очень молоды и если их покупали высокопоставленные люди, то их тотчас обращали в ислам, учили и воспитывали. При Солеймане I из бывших невольников выходили великие визири. А одна из его невольниц, дочь русского священника, стала любимой женой султана Роксоланой и пришла Турцией. Ее воспевали лучшие поэты.

— Одни говорят, что она была ангел, а другие говорят, что она была изверг, — с улыбкой добавил дрогман, показывая черные зубы. — Теперь пленных больше нет, на рынке продаются люди из райи, чаще всего с их же согласия.

— Как это?

— Ну, что ж, у какого-нибудь болгарина много детей, а есть нечего.

— Так, так, понимаю, — сказал Константин Платонович.

Извозчик шагом проехал по площади рынка. На табуретах сидели продававшиеся люди, взрослые мужчины, а больше женщины, девочки, мальчики. Никаких цепей, представлявшихся воображению Лейдена, на них не было. Некоторые невольники играли на странных грушеобразных инструментах. Другие лениво переговаривались с теми, кто их, очевидно, продавал. На площади было много голубей и, как везде в Константинополе, бегали тощие собаки. Не было женщин в чадрах: мусульманки на рынке не продавались. Была одна черная женщина, у нее через нос была продета цепочка из мелких серебряных монет, но это, очевидно, было украшением. При виде европейца, медленно проезжавшего в сопровождении гида, невольницы прихорашивались и улыбались такой же улыбкой, какой улыбались по вечерам женщины на Невском или на Крещатике. «Верно, туристы тут хотят мысленно содрогаться, — подумал Константин Платонович. — Но точно ли содрогаются? Почему же у нас «содрогался» — да и то по-настоящему ли? — Радищев, а остальные, честные, хорошие люди и по сей день преспокойно пользуются благами крепостного права, самые либеральные из них покупают и продают мужиков». Обстановка была обычно-

венная, разве чуть праздничная, как на Контрактах. Люди прохаживались мимо табуретов и поглядывали на продававшийся товар. «Тот же *ряд*, только человеческий». Он вышел из экипажа и пошел вдоль *ряда*, хоть ему было неловко перед дрогманом и извозчиком. Впрочем, они, по-видимому, ничего странного тут не нашли: ежедневно возили туристов на эту площадь.

«Очень хороша эта зеленая», — подумал Лейден, поравнявшись с блондинкой в конце *ряда*. Около нее сидела старуха, очевидно не продававшаяся. Она что-то шепнула блондинке. Как раз в эту минуту прекратилась музыка. Блондинка засмеялась и что-то ответила старухе. Слов Лейден не понял, но ее голос и певучая интонация поразили его: «Точно речитатив в опере!» Он прошел дальше и этим видимо разочаровал обеих женщин. Константин Платонович сделал даже вид, будто просто переходил через площадь, как раз по случайности вдоль табуретов. Блондинка засмеялась ему вслед, смех у нее был особенно музыкальный и чрезвычайно приятный.

— Ну, хорошо, скажите ему, чтобы он ехал домой. Я устал и нынче ничего другого осматривать не буду, так что вы мне больше не нужны, — сказал он дрогману и, увидев испуг на его лице, добавил: — Разумеется, я вам заплачу за весь день и за завтрак. А вечером пойдем в самом деле посмотреть на дервишей.

В коляске он оглянулся на площадь и увидел, что к блондинке подходил какой-то седобородый турок. «Может быть, он ее и купит? — с досадой подумал Лейден. — Собственно, и я мог бы ее купить, если не очень дорого. Разумеется, с тем, чтобы тотчас отпустить ее на волю. Почему же именно ее, а не других? Да и что она сделала бы с волей».

— Мосье, быть может, обратил внимание на эту светловолосую женщину, — сказал гид. — Она в самом деле очень красива.

— Кто? — как бы рассеянно спросил Константин Платонович.

— Эта блондинка, сидевшая со старухой. Старуха, кажется, ее мать, — пояснил дрогман. Лейден подумал, что уж тут непременно надо *содрогнуться*, и не содрогнулся. «Ну, что ж, конечно, в этой стране все другое, смешно к ним применять наши мерки и требования, вдобавок и у нас весьма невысокие. Может ли быть в этом воздухе, под этим солнцем настоящее

понятие греха? И в чем ручательство, что их моральные понятия хуже наших? Ежели исходить из счастья, то они наверное счастливее, чем мы. Нет, здесь есть подлинная поэзия, в которой можно найти и настоящее высокое религиозное начало».

Расставшись с дрогманом, он купил папирос; теперь курил очень много: уж очень хорош был табак. «Возможно, что это и способствует моему странному состоянию: турецкий табак, турецкое кофе, турецкая баня, турецкое вино». Лейден посидел в кофейной и в первый раз почувствовал, что ему скучно. «Конечно, изумительный город, но общество, хотя в малой дозе, везде необходимо, даже такому нелюдиму, как я». Спросил себя, хотел ли бы, чтобы тут же за столиком сидел Тятенька. «Что ж, поболтать с ним можно было бы», — подумал Константин Платонович.

Об Ольге Ивановне он себя на этот раз не спросил. Однако, вернувшись в гостиницу, точно за что-то себя наказывая, сел за письмо к жене. Это письмо он действительно начал писать на следующий день по приезде. В первый день описал путешествие, на второй день — меблированные комнаты, дрогмана, баню, на третий сообщил о немце, о делах. Теперь можно было описать рынок. Он написал о женщине, которую продает мать, но подумал, что это по счету уже шестнадцатая страница. «Где же Оле все это читать, надо знать меру».

И опять он почувствовал, что лжет: знал, что если он напишет и пятьдесят страниц, то Ольга Ивановна прочтет всё несколько раз. Сначала раза два для себя, *начерно*, — нет ли чего-либо такого, чего другим читать не надо? Интимные страницы обычно бывали в его письмах, он их оставлял под конец: таким образом Ольга Ивановна, читая письмо *начисто*, вслух дочери, могла ей сказать: «Ну, а там дальше ничего интересного, там *так*». Лиля в подобных случаях притворялась, будто не понимает, в чем дело, или же, чтобы сделать тайное удовольствие матери, скромно *потупляла взор*; это у нее тоже выходило очень мило. Затем, он знал, выдержки из его письма еще будут читаться Тятеньке и кратко пересказываться другим приятелям. И Тятенька скажет: «Куда его нелегкая понесла! Жил на дому, а оказался на Дону!» Другие же будут спорить: «Что вы, Тятенька! Такая интересная поездка, просто зависть берет».

Он описал Святую Софию, рассказал о кровавом пятне на стене, затем начал описывать зеленую башню и положил перо «Ведь платье у той шельмы было желто-красное. Я ее назвал зеленой потому, что у нее зеленые глаза!.. А голос у нее точно необыкновенный, смеха я никогда такого не слышал. Жаль, что купил верно проклятый турок. Верно, и та Роксолана умела так смеяться...» Собрался было писать дальше, но перо было плохое, и очинить его было нечем. «Скажу, чтобы дали другое, потом допишу, еще есть время».

### III

...Le repos que la vie a troublé<sup>1</sup>

*Leconte de Lille*

— Дервишей вообще очень много, — рассказывал по дороге гид. — Есть воюющие дервиши, есть пляшущие дервиши, есть мунсиhi, есть хайрети, есть эшраки. Обычно иностранцы ходят смотреть пляшущих мевлеви, но я сегодня покажу мосье таких дервишей, которые очень на них похожи и всё-таки не совсем как они.

— Да зачем же они пляшут? Какой тут смысл?

— Для того, чтобы это понять, надо быть ученым мусульманином, а я не мусульманин и не ученый, — сказал дрогман, смиренно-иронически улыбаясь. — Конечно, мы с мосье не стали бы плясать для того, чтобы выразить наше отношение к смерти и к Богу. Но таков у них тысячелетний обычай. Кажется, тут дело в идее круга: по их учению, жизнь есть круг, а в центре круга Аллах. Все люди рождаются на равном расстоянии от Бога. Затем начинается пляска жизни. Одни пляшут молча, другие пляшут и воют.

— Так это и есть жизнь: плясать и вить?

— Я ведь не говорю мосье, что это я так думаю. Я просто так о них слышал. Может быть, это неверно, — ответил гид с кроткой улыбкой. — Они танцуют по кругу и понемногу начинают понимать, что Бог в центре всего, что на каждого из них льются его лучи. Дервиши совершают полный круг, затем

<sup>1</sup> ...Отдых, потревоженный жизнью.



приближаются к центру. Не удается в первый раз, проходят второй круг или третий. А когда кончено, это смерть, то есть слияние с Богом. У них самое важное: смерть... Так по крайней мере мне объяснял один ученый человек.

— Что ж, как символ это совсем не худо.

— Это даже, может быть, очень глубоко, — поспешно сказал дрогман.

— А какое происхождение этих дервишей?

— Происхождение их самое разное, в зависимости и от ордена. Самый влиятельный орден это Мевлеви, орден пляшущих дервишей. Их шейх один из самых высокопоставленных людей Турции. Когда новый султан венчается на царство, то его в мечети Эйюба этот шейх опоясывает мечом Османа. Такова их привилегия. Попасть к ним трудно. Надо пройти искусы в 1001 день, и если чем-нибудь нарушить правила хоть в один из этих дней, то нужно всё начинать сначала. Это все тоже связано со смертью, но как, я не знаю... Часто сын дервиша становится тоже дервишем, однако принимают людей и со стороны. Иногда в орден уходят пожилые люди, желающие замолить свои грехи. А есть и такие дервиши, которые, и состоя в ордене, ведут грешную жизнь... Я слышал, что между ними есть и неверующие, — сказал дрогман, понизив голос, хотя извозчик, который их вез, по-французски не понимал. — Вероятно, мосье слышал о франк-масонах? Их во Франции очень много. Говорят, что некоторые дервиши поддерживают тайную связь с франк-масонами.

— Ну, это вздор! — сказал Лейден. Он встречал в Киеве, в Петербурге людей, бывших масонами в прошлое царствование, и они очень мало походили на дервишей.

— Я и не утверждаю, что это так, — опять испугавшись, сказал дрогман. — У нас только такой слух. Но я знаю, что есть дервиши, которые ничего не признают. Говорят, они атеисты! Другие их очень не любят. Дервиши делятся вообще на две ветви: люди, признающие закон, это ветвь Ба-Шар, и люди, не признающие закона, это ветвь Би-Шар...

— Ба-Шар и Би-Шар? — повторил Константин Платонович.

— Вот мы и приехали. Прошу мосье говорить здесь очень тихо, хотя мы и будем сидеть на местах для европейцев. Что ж делать, они фанатики.

Они вошли в небольшой двор. По обеим сторонам его тянулись невысокие строения. Дрогман объяснил, что здесь живут холостые дервиши; женатые могут жить у себя дома с тем, чтобы два раза в неделю проводить ночь здесь; у шейха есть отдельное помещение, у него много слуг и лошадей.

В галерее для посетителей уже почти все места были заняты европейцами. Восьмиугольный зал был освещен довольно ярко. Пол был устлан ковром. Гид шепотом объяснил, что баранья шкура на ковре это то место, где будет находиться шейх. «А оркестр вон там», — показал он в другую сторону. Галерея была освещена слабее. Все в ней переговаривались вполголоса. Преобладала английская речь.

«Ба-Шар и Би-Шар, — думал Лейден. — Я всю жизнь жил по закону. Как Ба-Шар. Но я не знал, что есть орден Би-Шар, то есть что люди заранее сговариваются жить без закона. Впрочем, может быть, тут просто игра слов: вероятно, они под законом разумеют обряд? Однако неверующие среди них могут толковать закон и иначе... Видел ли я Би-Шаров в жизни? Революционеры? Но я их не знаю, за исключением разве польских повстанцев. А кроме того, у них есть свой закон. Здесь на Востоке Би-Шары наверное совершенно иные». — Он вспомнил о женщине с зелеными глазами.

— А вот я всё не могу забыть этот ваш невольничий рынок, — сказал он дрогману, еще понизив голос. — Неужели европейцы покупают там людей?

— Да, покупают, но я этим не занимаюсь, — ответил шепотом дрогман. — Есть *гиды*, которые на этом наживают хорошие деньги. А я, извините меня, не могу по своим убеждениям. Я помогаю в какой угодно торговле, только не в торговле людьми.

«Этот болван верно решил, что я через него хочу купить рабыню!» — сердито подумал Константин Платонович.

— *Надеюсь*, что вы этим не занимаетесь, — сухо сказал он.

Одна из дверей зала отворилась, стали входить худые бледные дервиши в длинных зеленоватых одеяниях, в странных высоких закругленных сверху шапках. Они отвешивали низкий поклон у бараньей шкуры. Лейден смотрел на них с любопытством и не без сочувствия. Были и совсем молодые безусые люди, были и старики. Он обратил внимание на одного из них.

«Вот этот седой со страшным лицом наверное Би-Шар, из тех, что много и по-разному пожили! замаливает грехи? Зачем же, если он Би-Шар?»

— Шейх! — прошептал дрогман. На баранью шкуру стал древний старик, в котором с первого взгляда можно было признать начальника. Он прочел молитву. Дервиши, скрестив на груди руки, повалились на пол, образовав точный круг, в котором их тела были радиусами, а шейх центром. В ту же секунду заиграл оркестр. «Теперь они сосредоточивают мысли», — шепнул гид.

«Сосредоточивают мысли на чем? — спросил себя Константин Платонович. — Едва ли эти люди, лежа на полу, да еще в присутствии неверных, могут сосредоточить мысли на чем-либо священном. Верно думают каждый о своих делах... Странная мелодия... Печальная, очень однообразная, но приятная... Какие это инструменты? Флейты, что ли? Странно: значит, какой-то философский балет? А я и до простого балета не охотник. Не так уж не прав был Цицерон: танцевать могут только пьяные или сумасшедшие...»

Дервиши поднялись, низко поклонились шейху, широко раздвинули руки и опять образовали правильный круг. Седой человек, которого Лейден признал Би-Шаром, закружился, то же сделали все другие. Поочередно все стали кружиться вокруг шейха. «Как планеты вокруг своей оси и вокруг солнца». Музыка играла всё быстрее. Так же ускорялась пляска. Лица у плясавших становились всё бледнее. Круг понемногу расстраивался, дервиши то приближались к шейху, то удалялись от него, то скрещивали руки, то простирали их вверх, вперед, в стороны. Шейх обводил их взглядом, изредка вскрикивал и всплескивал руками. «В этом, правда, есть нечто демоническое, — подумал Лейден. — У меня и у самого начинается от них кружиться голова... У того старого на губах пена! Лицо без кровинки, он сейчас свалится!..»

Его мысли спутались. «Где же мое Константинопольское чудо? Если *то* восток, то *это* не восток. Там благодущие и почти животная радость жизни. Здесь... Здесь Би-Шаризм? Правда, в каком-то смысле это, быть может, совместимо, хотя и плохо... Но если во мне сидит Би-Шар, то отпадают и мои давешние добрые чувства, — с огорчением подумал он. — И в самом

деле, вздор это, будто я могу вызвать в себе добрые чувства к врагам. Какие у меня могут быть добрые чувства, например, к людям Третьего Отделения: сколько ни вызывай, не вызовешь, они-то и есть главные Би-Шары, хотя прикидываются Ба-Шарами. И Петра Игнатьевича я тоже никак не полюблю: он крепостник, лгун и хам. А здоровое человеческое чувство именно в том, чтобы считать хама хамом... Но когда же я ошибался. вчера или сейчас?..»

Вдруг сзади блеснул свет. Дверь отворилась. Вошли два человека, они еще, очевидно, не приспособились к тишине галереи. Лейден оглянулся, услышав вместо полусшепота обыкновенные голоса. Вошедшие говорили по-польски.

— Виер! Ян! — воскликнул он.

Тот из двух поляков, что был повыше ростом, устоял на него в изумлении. По его лицу как будто скользнула досада. Так по крайней мере показалось на мгновение Константину Платоновичу. На них оглядывались с разных концов галереи.

#### IV

Ils parlèrent d'eux-mêmes, ce qui est toujours  
la plus agréable et la plus attachante des causeries<sup>1</sup>

*Maupassant*

Четвертью часа позднее они вдвоем сидели на террасе кофейной. Дрогман ушел, очень довольный тем, что не надо оставаться до конца церемонии: он ее видел сто раз. Ушел и второй поляк. Виер познакомил с ним Лейдена, но фамилии произнес невнятной скороговоркой. Константин Платонович крепко пожал руку нового знакомого. Как многие русские, чувствовал себя виноватым перед поляками. Товарищ Виера сказал по-польски что-то очень учтивое, затем пошептался с Виером и простился.

— Он не говорит по-русски, он *коронияш*, — сказал Виер.

Еще во дворе монастыря дервишей было сказано: «Да быть не может!» — «Какими судьбами?..» — «Вы здесь!» — «Как

---

<sup>1</sup> Они говорили о себе. Это всегда самый приятный и увлекательный разговор.

ты оказался в Константинополе?..» — «А вы?..» Теперь они не знали, с чего начать разговор. Лейден заказал себе кофе, а Виер еще и *наргиле*.

— В Константинополе надо поступать, как турки, — сказал он, смеясь. Виер говорил по-русски совершенно свободно, почти без акцента. Это был довольно высокий красивый горбоносый брюнет, лет двадцати восьми, не очень похожий на поляка. Глаза у него были большие, черные, очень серьезные. — Да, какая встреча! Вот не ожидал!

Он не сказал, что рад встрече. Этого Константин Платонович не заметил, но от него не ускользнуло выражение досады, проскользнувшее в первую минуту на лице молодого человека. «В чем дело? Чем же он может быть недоволен?»

— Так ты знаешь Константинополь?

— Да, немного знаю.

— Правда, необыкновенный город?

— Необыкновенный ли город? — сказал Виер. У него была привычка переспрашивать или отвечать вопросом на вопрос. — Да, в некоторых отношениях необыкновенный.

— По-моему, каждый город что-то воплощает. Наш Киев воплощает уютный покой, Петербург — барство, а Константинополь — радость и мудрость жизни, но какую-то фантастическую радость и фантастическую мудрость. Здесь чувствуешь, что жить надо иначе, совсем не так, как жил... Париж, верно, выражает действие.

— Действие, вытекающее из идей. Париж поэтому самый лучший город в мире... Да как же всё-таки вы сюда попали?

Константин Платонович рассказал о своих делах и планах. Виер слушал внимательно, но как будто больше из учтивости. И по мере того, как Константин Платонович рассказывал, ему становилось всё яснее, что рассказывать незачем.

— Ну, да это тебе не интересно.

— Напротив, очень интересно, как всё, что вас касается, — учтиво сказал Виер. — Так вы едете в Италию? Значит, вернетесь не скоро? Жаль. Я рассчитывал побыть с вами в Киеве. Как Ольга Ивановна? Лиля верно уже совсем большая? А Тянька что?

— Ты едешь в Киев?

— Да, я буду и в Киеве.

— Но, надеюсь, ты еще пробудешь в Константинополе? Давай завтра пообедаем вместе.

— К сожалению, никак не могу: я завтра утром уезжаю.

— Завтра утром? Да ведь и корабля никакого нет.

— Я еду сухим путем, хочу еще побывать в разных землях Турции.

— Экая досада! И никак нельзя отложить?

— К сожалению, нельзя. Быть может, мы еще увидимся в Киеве? Вы ведь говорите, что к весне вернетесь.

— Я надеюсь, что ты у нас остановишься? — Лейден подумал, что верно Ольга Ивановна будет не так рада этому приглашению и что в самом деле оно не очень удобно, если его самого в городе не будет.

— Спасибо, это очень мило с вашей стороны. Я во всяком случае к ним зайду. Я тоже путешествую по делам. Одна торговая фирма послала меня закупать в России разные товары.

— Почему же ты не поехал морем через Штетин? Это гораздо проще: теперь у вас в Европе уже почти везде и железные дороги.

— А так приятнее. Да я и в Турции должен кое-что приобрести для моей фирмы. Мы торгуем и табаком. Турецкий табак лучший на земле. Вы ведь курили?

— Курил и курю, даже слишком много, — сказал Лейден, всё больше чувствуя, что они придумывают темы для разговора. Лакей принес кофе и трубку.

— Молодцы турки, что выдумали эти трубки... Кажется, у вас есть такая языколomка: «Турка курит трубку, курка клюет крупку», — сказал Виер, отлично выговорив эти слова. — Молодцы турки, — повторил он после первого недолгого молчания.

— Молодцы-то они молодцы, но вот что я вчера здесь видел. Я своими глазами видел, как мать продает дочь!

Он рассказал о рынке невольников.

— Разумеется, ужасно. Но у вас, собственно, то же самое. только продаются люди по купчим крепостям, — сказал Виер. Хотя Константин Платонович сам так думал, ему это замечание было неприятно.

— Ты говоришь «у вас». Помимо того, что ты российский гражданин, ты должен принять во внимание, что польские паны тоже имеют крепостных.

— Да, это правда. Правда и то, что в Европе польские паны крепостных не имеют. Что же касается невольницы, о которой вы говорите, то... Вы никогда не слышали о графине Софье Потоцкой?

— Нет. Кто это?

— Она была греческой невольницей в Константинополе. Ее здесь, может быть на том же самом рынке, продала ее мать. Купил ее наш посол Лясопольский, это было еще до третьего раздела Польши. И он ее не то продал, не то подарил графу Потоцкому. Она была необыкновенная красавица. После смерти графа на ней женился русский генерал Витт. Что ж, всё это та же власть денег, которую теперь справедливо осуждают передовые люди.

— Ты, может быть, сен-симонист или фурьерист? Я знаю, ты всегда сочувствовал всему этому...

— Сочувствовал ли? А как же не сочувствовать? Я знаю, что такое бедность. Однако я не фурьерист и не сен-симонист, а бланкист.

— Это еще что такое?

— Бланки французский революционер, один из самых замечательных и благородных людей во Франции. Впрочем, вы не интересуетесь политикой.

— Так ты в наши места, в Россию, совсем не вернешься? У нас легко найти работу, и я мог бы тебе...

— Я вернусь не в Россию, а в ту часть Польши, которую вы захватили, вернусь тогда, когда она освободится, — перебил его Виер.

— Я Польши не захватывал, и русский народ за это не отвечает.

— Нет, отвечает. Всякий народ отвечает за свое правительство. И не Бенкендорф, не Орлов, не Дубельт, а Пушкин написал «Клеветникам России»!

— Случайная ошибка гения.

«Но зачем же ты едешь в Россию при таких чувствах?» — хотел спросить Лейден и не спросил.

— Поговорите обо всем этом не с поляками, а с вашими же русскими казаками, с теми, которые живут в Турции.

— Я что-то о них не слышал. Что это за люди?

— Это так называемые казаки-некрасовцы. Они говорят на чистейшем русском языке и исповедуют православную веру, но

русское правительство ненавидят. В пору войны 1812 года они желали победы французам, а Наполеона боготворили, хотя никогда его не видели.

— Они, что ж, турецкие подданные?

— Подданные султана и даже верноподданные. Турки к ним очень хорошо относятся. Турки и вообще оклеветанное племя. Нет народа терпимее, чем они. Они были терпимы еще в ту пору, когда на западе была инквизиция.

— Мне тоже очень нравятся турки, но всё же кто устраивал всевозможные погромы и резню?

— Резня у турок происходила реже, чем у западных народов. И резню обычно устраивали не они, а курды или янычары.

— Да янычары-то кто же были, если не турки?

— Среди янычар турок было мало. Янычары в большинстве были дети христиан, а то евреев, обращенные в мусульманскую веру. Турки их всегда ненавидели, да и султаны тоже. Но султаны их боялись: они ведь устраивали все перевороты, убивали султанов. И обычаи у них были соответственные. Когда янычары хотели поговорить с султаном, они поджигали один из кварталов Стамбула. По закону, падишах должен выезжать из сераля на большие пожары, вот тогда они с ним объяснялись и добивались всего, что хотели. Ведь Магомет истребил янычар именно тем, что поднял на них турок. Когда они лет двадцать тому назад устроили одну из своих очередных штук, султан велел поднять на серале знамя Пророка и призвал правоверных и регулярные войска. Турки рассвирепели и истребили всех янычар. Так они и закончили свое существование.

— Каюсь, мне такие нравы не очень нравятся.

— Что ж делать? Так, надеюсь, закончат существование и ваши собственные янычары.

— А ты Расскажи подробнее об этих казаках.

— Это очень хорошее племя. Красивое, даровитое, терпимое. При них живут греки, армяне, евреи, и они к ним относятся прекрасно. Управлял ими 92-летний казак Солтан, мудрый был старец.

— Вот как? Ты, значит, был у них?

— Да, проездом. Кое-что и у них купил.

— И они опять мечтают о войне?



— О войне никто не мечтает. Война просто неизбежна. Никто не мечтает о том, чтобы вечером зашло солнце. Но оно вечером зайдет, а утром будет рассвет. Так и война. В отличие от вас, народы не вечно будут терпеть Николая!.. Впрочем, я напрасно разгорячился. Я прекрасно понимаю, что всё же такие русские, как вы, за Николая не отвечают. Если я что сказал не так, пожалуйста, извините.

— Помилуй, за что же мне сердиться? Ты думаешь, я сам люблю Николая Павловича? Но, во-первых, плетью обуха не перешибешь...

— Смотря какой плетью!

— А во-вторых, это всё... Ну, как сказать? Это всё — земное.

— Конечно, земное. Каким же ему быть?

— Ненавижу войны и революции. Грязное, брат, дело.

— Война одно, революция другое.

— Нет, не обманывай себя: это одно и то же.

— Да и войны бывают осмысленные.

— Не бывает таких войн. В какой это войне три тяжело больных короля гонялись друг за другом на носилках? Помнится, это Карл V, Франциск I и Генрих VIII? Так их бы всех поместить рядышком в дом умалишенных. Им бы о душе было подумать, а они вот каким занимались делом!

— Чем же надо заниматься? Платанами?

— Уж много лучше платанами... Ты о смерти думаешь? — спросил Лейден. В последнее время он нередко задавал этот вопрос новым людям и приводил их в недоумение.

— Думаю ли о смерти? Этим делу не поможешь.

— Какому «делу»? В бессмертие души веришь?

— Ведь, кажется, теперь все сходятся в отрицании личного бессмертия.

— Я тебя спрашиваю не о «всех», а о тебе. Да и вовсе не все сходятся. Ты Платона читал? Хорошо, знаю, Платон это не «теперь», Сенека тоже нет, но Кант это уже «теперь».

— Впрочем, тут спорить не о чем. Всё равно человек по природе оптимист. Докажите ему как дважды два четыре, что вечной жизни нет, что жизнь есть юдоль слез и бедствий, а он всё-таки будет жить и наслаждаться жизнью, пока может.

— Именно, пока может. То есть, очень недолго. Впрочем, с тобой об этом разговор еще бесполезен, ты слишком молод.

Но что же всё-таки вас, молодых, поддерживает? Неужели только инстинкт веселья и бодрости, как у котят?

— Инстинкт веселья? У меня его очень мало, — ответил сухо Виер. — Да что же притом делать? Нам никто не предлагает жить вечно.

— Кое-кто «предлагает», — ответил Лейден и поделился с ним мыслями о бессмертии. Упомянул и о философии дервишей, о которой только что узнал. — Ты во всё сие, конечно, не веришь?

— Не верю.

— Что же, повторяю, тебя поддерживает? Я хочу спросить: чем ты духовно живешь?

— Чем живу? — переспросил Виер с усмешкой. Тема разговора показалась ему слишком отвлеченной и несколько странной для первого разговора после долгой разлуки. «Какой-то экзамен! Да и что тут можно сказать нового?» — подумал он. Меня всё-таки гораздо больше интересует жизнь, чем смерть. А жизнь это борьба за идеи. Да собственно и смерть тоже. По крайней мере, так должно было бы быть. Уж если вы спрашиваете, то жить надо... Не говорю «надо героически», потому что это звучит нескромно и чересчур торжественно. Но, во всяком случае, надо чему-то служить. Вот в том смысле. в каком Фридрих II говорит: «Ich dien»<sup>1</sup>. Только этот деспот служил злу... Помните «Unsterblichkeit» Шиллера: «Vor dem Tod erschreckst du! Du wünschst, unsterblich zu leben? — Leb im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt»<sup>2</sup>.

— Знаю этот ответ! Утешение слабое, брат. Если бессмысленна каждая отдельная жизнь, то не разумнее и жизнь человечества в целом. Сумма нулей равна нулю... Ладно, оставим эту тему. А чему же, кстати, ты служишь? Польше? Ты, однако, по крови не совсем поляк.

— А вы по крови не совсем русский, — сказал Виер. Лицо его покрылось пятнами. Он пожалел, что заговорил о политике. Это было и не очень конспиративно. Лейден был честней-

---

<sup>1</sup> «Я служу» (нем.).

<sup>2</sup> «Бессмертие» Шиллера: «Ты страшишься смерти! Ты хотел бы быть бессмертным? — Живи во всем! Если ты долго пребудешь, то останешься» (нем.).

ний человек, но настоящий конспиратор не должен был и хорошим людям из чужого лагеря открывать свои политические взгляды. — И я служу Польше постольку, поскольку она теперь представляет общечеловеческий идеал. Хорошо, а вы-то чем живете? Наверное, не «Wein, Weib und Gesang»<sup>1</sup>, хоть вот ны интересуетесь невольницей, — пошутил он.

— Какой вздор!

— Я знаю, что вздор. А то я не посмел бы так шутить с вами. Не думайте, что я забываюсь.

— О любви человеку моих лет и думать глупо. Женщины, брат, на меня давно и не смотрят, — сказал Константин Платонович. Он подумал, что ему не следовало бы вообще так говорить с человеком вдвое его моложе.

— Не смотрят? — переспросил Виер. — И на меня тоже не смотрят.

— Это, брат, врешь. На тебя верно заглядываются, и ты на них заглядываешься. А я теперь вроде как те дряхлые обезьяны, которым уже не под силу карабкаться на деревья; они ждут, вдруг с дерева что-либо им само свалится.

— Им обычно и сваливается, — ответил, смеясь, Виер, тоже несколько удивленный словами и тоном Лейдена. — Но я здесь слышал итальянскую поговорку: «Chi vuol fare sua rovina prende moglie Levantina», — «Кто хочет себя погубить, пусть сойдется с левантинской женщиной...» А как же ваша милая жена и Лиля?

— Ничего, у них всё благополучно. Ты знаешь и по-итальянски?

— Немного. Читаю свободно.

— Я тоже... Так непременно заходи к ним в Киеве, — сказал Лейден, спрашивая себя, можно ли уже встать или надо посидеть еще минут десять. — А знаешь, брат, я ведь в ранней юности твоей оказал на тебя влияние. Ты тоже любишь копаться и в своей, и в чужой душе. Не обижайся, это так.

— Оказали влияние? За что же мне тут обижаться? — спросил Виер. Он подумал, что если уж кто на него оказал влияние, то Мицкевич, Шиллер, Бланки, а никак не этот мистически настроенный агроном, правда, очень порядочный человек, оказавший много услуг его матери.

---

<sup>1</sup> «Вино, женщина и песня» (нем.).

— Обижаться незачем, я только констатирую факт. А в общем, мой молодой друг, живи своим умом. По словам Тяньки, Руставели сказал: «Выслушай советы ста мудрых людей, а затем следуй голосу собственного ума и сердца».

— У меня, к сожалению, нет ста мудрых советчиков. Я и живу своим умом просто, никого не спрашивая.

«Какой он стал вдобавок надменный! — с неудовольствием подумал Лейден. — Задатки были и тогда, когда он еще был совсем мальчишкой».

— Так, быть может, и надо. Но мудрые советчики тебе, по твоей юности, пригодились бы, — холодно сказал он. — Боюсь, наделаешь, брат, много глупостей.

— Увидим. Вот вы советуете мне жить своим умом и для этого совета ссылаетесь на авторитет: на Руставели.

— Одно скажу тебе, как старший: держись ты подальше от всех этих Бланки. Это может кончиться нехорошо.

Виер засмеялся.

— Действительно, может... Вы — на авторитет, так и я на авторитет, хотя и скверный. Тот же Фридрих кричал в бою своим бегущим солдатам: «Собаки, вы, что ж, хотите жить вечно?»

## V

Ah! said Coningsby, I should like to be a great man<sup>1</sup>

*Disraeli*

О происхождении Яна Виера ходил рассказ, который он сам слушал с легкой улыбкой.

Во время морских маневров, устроенных в Голландии в честь Петра Великого, царь обратил внимание на ловкого юнгу с очень красивым лицом семитического типа. Это был сын бедного португальского еврея Мануэля Виера или Дивиера или де Виера. У Петра была слабость ко всему экзотическому, ко всему необычному, ко всему свободному от вековой косности московского государства. Так, другой еврей, Шапиро, стал при нем первым русским бароном Шафировым и породнился с

---

<sup>1</sup> Ах! — сказал Конингсби, — я хотел бы быть великим человеком.

шестью семьями рюриковичей и гедиминовичей. Так, третьему еврею, д'Акоста, уж совсем ни в каком отношении не выдающемуся, царь пожаловал титул «самоедского короля», подарил остров в Финском заливе и вел с ним долгие беседы и философские споры, тоже, впрочем, вероятно, шутовские. Так сделало удивительную карьеру при Петре немало других людей. Так, негритенок Ганнибал, — «Абрам Арап», как его называл Петр, «черный Абрам», как он называл себя сам, — кончил свою жизнь русским губернатором.

Юнга голландского судна тут же на маневрах был награжден талером и принят на русскую службу. Скоро он стал генерал-адъютантом и был назначен первым генерал-полицеймейстером созданного на берегах Невы *Парадуса*. Дивьер был ловок, энергичен, жесток, честен, не брал взяток, хорошо пил, имел веселый, жизнерадостный характер, — всё это нравилось Петру. После разных скандалов, царь заставил Меншикова, ставшего благодаря сходным качествам светлейшим князем и самой могущественной особой в государстве, выдать за Дивьера свою сестру. Московские рюриковичи ахали при вестях о таких карьерах. Для них и бывший нищий пирожник был не лучше генерал-полицеймейстера. Карьера Дивьера шла бурно, но этим в ту пору никого удивить было нельзя. Он бил людей, и его били люди. Он порол, и его пороли. Он пытал, и его пытали — впрочем, уже после смерти царя, который до конца был к нему милостив. Екатерина I пожаловала Дивьеру графский титул; а годом позднее новопожалованный граф, генерал и сенатор был вздернут на дыбу, бит кнутом и сослан в Сибирь, по проискам и к великой радости его злейшего врага и свойственника Меншикова. Поводом же к столь жестокой каре было то, что Дивьер — вероятно, в пьяном виде — во дворце, в пору «прежестокости болезни пароксизмуса» императрицы, «вертел» ее племянницу Софью Карлусовну Скавронскую, «не отдал должного рабского респекта государыне цесаревне Анне Петровне и, смеясь, «в своей продерзости говорил ее высочеству, сидя на той кровати: «О чем печалишься? выпей рюмку вина», а также «против государыни цесаревны Елизаветы Петровны не вставал и респекта не отдавал, и смеялся о некоторых персонах». Быть может, в самом деле прежестокый пароксизмус царицы не вызвал большого горя у Дивьера. В нем едва ли были очень

сильны верноподданнические чувства вообще, а к этой царице в особенности. Возможно и то, что о некоторых персонах он действительно смеялся, так как, насколько можно судить по очень скудным сведениям о нем, характер у него был насмешливый и непочтительный.

Впрочем, Дивьер не пропал и в Сибири. При Анне Иоанновне был определен там на службу, с жалованьем в триста рублей в год, да хлеба всякого по сту четвертей, да вина простого по сту ведер в год. А при Елизавете Петровне, которая, несмотря на его продерзость и на свой антисемитизм, была, по видимому, к нему расположена, Дивьеру были возвращены титул, чины, имения и должность петербургского генерал-полицеймейстера. Умер он генерал-аншефом, быть может вспоминая голландские синагоги времен своего детства.

Этот жизнелюбивый красавец имел огромный успех у женщин. Обожавшая его жена была старше его и чрезвычайно некрасива. Ходили слухи, что кроме законных детей у него было немало незаконных. В старину незаконным детям знатных людей часто давались сокращенные фамилии их отцов, — так, например, внебрачные дети князей Оболенских становились Ленскими без титула. Возможно, что от одного из сыновей первого генерал-полицеймейстера и в самом деле произошел Ян Виер. Другие, впрочем, говорили, в объяснение странной фамилии, что его предком был известный врач и путешественник Виер, тоже человек смешанной крови и неясного происхождения, автор книги о сифилисе «*De morbo gallico*»<sup>1</sup>. Мать его была полька. Она была очень бедна, и Лейден, знавший ее с детских лет, нередко дружески помогал ей, — она рано овдовела.

Учился Виер в польской школе и получил очень хорошее, но странное воспитание, в котором католическая вера смешивалась с национально-революционными взглядами. Учителя оценили его характер и способности и возлагали на него большие надежды, а один из них даже предсказывал ему великое будущее. Лет с шестнадцати он и сам стал мечтать о жизни, которая была бы непохожа на жизнь других людей. Как почти все поляки, как большинство очень молодых людей, он любил военное дело, бредил о том, как станет великим полководцем.

---

<sup>1</sup> «Французская болезнь» (лат.).

как поведет польскую армию в бой за освобождение родины. Эти мечты кончались то принятием короны в Вавеле, то смертью на поле брани с историческим восклицанием вроде «Finis Poloniae»<sup>1</sup>. Позднее, когда он подросток, это прошло, он перестал заниматься фехтованием, перестал развивать в себе физическую силу и любоваться бицепсами перед зеркалом. По правдивости своего характера он критически относился к легендам. Иногда даже спрашивал себя, действительно ли Косцюшко, падая с лошади раненый, мог что-то воскликнуть по-латыни и неужели его восклицание поняли и запомнили взявшие его в плен казаки? О карьере полководца он перестал думать, но для Наполеона и у него в душе осталось особое место. Теперь он в нем видел, как и Мицкевич, лишь «человеческое воплощение идеи», — идеи великой революции.

После окончания средней школы мать отправила его, с легальным паспортом, учиться в Париж. Для этого было передано ее небольшое имение. Новая свободная жизнь его пленила. Природная религиозность в нем скоро ослабела. Виер в большие праздники бывал в Notre Dame, богослужение потрясало его красотой, но он потерял веру в некоторые догматы католической церкви, что тщательно скрывал от матери, — для нее это было бы страшным ударом. Он был принят в одну из масонских лож, однако и туда ходил редко; всё не мог понять, что это такое: если религия, то ее ритуал смешно и сравнивать с церковным, — настолько он хуже, беднее, прозаичней; если же это политическая организация, то зачем ритуал? Не нравилось ему и то, что масоны слишком хвалили друг друга, что, например, все речи, произносившиеся в ложах, обычно объявлялись глубокими, замечательными, необыкновенными, тогда как ему самому многие из них казались посредственными и скучными. Кроме того, масоны говорили о всеобщем братстве и равенстве, на деле же это не осуществлялось: среди них были бедняки и революционеры, но были также богатые люди, в политике державшиеся очень умеренных, а то и просто консервативных взглядов. В отличие от многих западных людей, Виер не думал, что убеждения сами по себе, а жизнь тоже сама по себе. Неравенство во всех его видах было ему противно.

---

<sup>1</sup> «Конец Польше!» (лат.).

Из революционных групп ему всего больше нравились самые крайние. Он съездил на Луару к Бланки. Несмотря на рекомендательные письма, глава революционеров, по своему обыкновению, заподозрил в нем было полицейского агента. Но уж очень не походил на шпиона этот молодой поляк с задумчивыми, часто останавливавшимися глазами и с румянцем, бывающим у людей, обреченных чахотке. Бланки занялся им и стал выбивать у него из головы то, что казалось ему дурью. Когда услышал о «человеческом воплощении великой революции», только засмеялся своим горьким, неприятным смехом. Очень скоро Виер стал бланкистом; это слово уже пользовалось признанием.

В сущности ничего общего и с Бланки у него не было. Тот всё строил на ненависти; она характеру Виера была довольно чужда. По неопытности он думал, что возможны настоящие революционеры, руководящиеся чувством любви. Ему казалось, быть может ошибочно, что некоторые поляки его *своим* не считают: предок был португальский еврей, ставший русским графом (сам он не был уверен, что происходит от графа Дивьера), среди родных были православные малороссы. Он всё чаще, хоть не всегда, думал, что национальность большого значения не имеет, что в этом Бланки, быть может, прав. Тем не менее Россию и русских Виер не любил. Впрочем, делал и исключения. К Лейденам с ранних лет чувствовал расположение.

Он был одаренным человеком. Любил живопись и даже кое-что в ней понимал: столько, сколько в ней может понимать нехудожник. Разумеется, романтиков предпочитал классикам. «Гамлет и моголищики», «Взятие Константинополя крестоносцами» потрясли его. Очень его волновала и музыка. Конечно, он и здесь следовал преобладающему мнению своего времени; Россини и Мейербера считал вершинами музыкального творчества, но один из первых в Париже оценил и Бетховена. Несмотря на свою бедность, не пропускал концертов Листа. Хорошо знал он и литературу. Байрона почитал больше на веру и из-за его биографии, — английский язык знал плохо. Ламартином и Гюго восхищался, но в общем французскую поэзию не очень любил; вначале не понимал, что во французских стихах главное не в ритме, и даже не в рифме, и уж, конечно, не в мысли. Был изумлен, когда француз-поэт сказал ему, что лучшие два стиха



в мировой литературе — это «On dit même qu'au trône une brique insolente — Veut placer Aricie et le sang de Pallante»<sup>1</sup>. И хотя немцев он любил неизмеримо меньше, чем французов, гораздо больше восторгался Гете и особенно Шиллером. Отдавал должное и Пушкину, которого, по слухам, высоко ставил Мицкевич. Гоголя и Бальзака недолюбливал. Мицкевина же по-настоящему боготворил и знал наизусть едва ли не всё им написанное. Пробовал и сам писать стихи, но почувствовал, что это не его дело. «Любовь к искусству при отсутствии талантов скорее печальная черта. Может быть, с этим связан мой интерес к политике и даже моя революционность», — думал он иногда.

Незадолго до окончания университетского курса он получил известие, что мать его тяжело больна. Виер тотчас вернулся в Россию, но матери в живых уже не застал. Лейден, отечески к нему относившийся, устроил дело так, что Виеру досталось около пяти тысяч франков: Константин Платонович доложил из своих тайно, так как знал, что Ян, теперь уже почти взрослый, подарка не принял бы, особенно от русского. Виер снова легально выехал за границу.

В Париже он стал жить бережливее прежнего. Решил никакой платной работы не искать и стать революционером. Революция именно в ту пору, впервые в истории, начинала становиться профессией; но оплачивалась эта профессия чрезвычайно скудно. Он жил в крошечной комнате на пятом этаже, поднимался по крутой лестнице с удовлетворением, — так и полагается, при бедности народных масс, жить порядочному человеку. Мясо ел не каждый день. Знакомый врач при нем весело говорил, что для борьбы с похотью нужно есть поменьше мяса, устриц и сельдерею, — «да гораздо умнее с похотью не бороться, поэтому ешьте, молодые друзья мои, всё что любите и что позволяет кошелек». Виер слушал, не улыбаясь; кошелек позволял ему немногое; он перестал есть и дешевый сельдерей.

Женщинам он нравился так же, как граф Дивьер, но пользовался этим неизмеримо меньше. Особенно нравились им его глаза. У него была привычка долго и пристально вглядываться

---

<sup>1</sup> Дословно: «Говорят даже, что наглый кирпич — Хотел бы посадить на трон Арсию и потомков Паланты» (фр.).

в людей; тогда взгляд его казался холодным и тяжелым. Мужчин это раздражало: «Что это он изображает Николая I! Думает, верно, что всех видит насквозь, а на самом деле ровно ничего не видит, всё от таких глаз отскакивает!» Женщины же находили, что этот взгляд к нему необычайно идет. В ранней юности у него была долгая связь с крестьянкой; мать опасалась, что он на этой крестьянке женится. Были у него романы и в Париже, чаще платонические и всегда романтические. Приятели считали его холодным человеком. Это было ему неприятно. Впрочем, он думал, что таковы были и многие люди больших дел, как Робеспьер. «Говорят, и Бланки таков. Вдруг это в особенности характерно для революционеров? Их страстность уходит в революционную деятельность, в фанатизм?» Его в истории особенно интересовали люди, считавшиеся фанатиками. В жизни он их не встречал. В фанатики себя почти бессознательно и готовил. Жил аскетически не только потому, что был беден. Он вел философско-политический дневник, но имел и тетрадку расходов. Для гостей держал коньяк, но сам пил лишь редко. Вел суровую жизнь из гордости, а гордость у него усиливалась от суровой жизни: так не жил никто из его товарищей. Оттого, что многие считали его странным человеком, странность его усиливалась. Женщины защищали его от нападок друзей. Но и друзья считали его человеком исключительных душевных качеств. «На слово Яна я без колебания доверил бы честь, жену, всё что имею!» — сказал о нем приятель, любивший пышную речь. Другой, впрочем, пожал плечами и подумал, что денег у его собеседника нет, жена его безобразна, а честь вообще передоверить нельзя: что человек может сделать с чужой честью?

У одного видного польского эмигранта Виер случайно встретился с Андреем Товянским. Об этом человеке в польской эмиграции ходили таинственные рассказы. Говорили, что он как-то странно, мистическим образом, излечил от тяжелой болезни жену Мицкевича или, по крайней мере, предсказал ее исцеление. Говорили также, что он имеет свой план нравственного переустройства мира, исходящий из слов святого Павла: *Ut omnes unum sint*<sup>1</sup>. Кое-кто считал его сумасшедшим. В самой

<sup>1</sup> Один Господь у всех (*лат.*).

наружности Товянского, в его простых, величественных призмах обращения было нечто привлекательное и внушавшее уважение. То, что он проповедовал, очень легко могло вызывать насмешки. Но люди, оказывавшиеся в его обществе, над ним не смеялись, — даже тогда, когда он говорил, что в него вселилась душа Наполеона или что он иногда с Наполеоном беседует. Как и другой польский мистик, Гене-Вронский, он проповедовал идеи польско-еврейского мессианизма. Вронский, имевший в Париже «Bureau du Messianisme» и издававший «Bulletins Messianiques», утверждал, что у поляков есть «ожидание правды и надежда на добро», а у евреев «надежда на правду и ожидание добра». Товянский проповедовал идею трех исторических Израилей: еврейского, французского и польского. Настоящий смысл обоих утверждений понять было трудно (если вообще в них был смысл). Однако Товянский производил сильнейшее впечатление на самых разных людей, от бедняков до Ротшильда. Его страстный поклонник и последователь Мицкевич в годовщину разрушения Иерусалима являлся в парижскую синагогу и там произносил непонятные речи, к большому неудовольствию раввина, не понимавшего, почему и по какому праву католик хочет проповедовать в синагоге. Мицкевич, ссылаясь на Товянского, предсказывал, что скоро появится Мессия у обоих народов.

Предсказывал же вообще Товянский не очень удачно. В 1842 году он предсказал, что король Людовик-Филипп умрет до окончания года, и был за это выслан из Франции. После его отъезда в Париже было основано тайное общество, состоявшее из «семерок». Его делами заведовало «Божье правление», в котором Товянский именовался Учителем, а Мицкевич Наместником. В одну из «семерок» попал и Виер. Но скоро он убедился в том, что делать обществу решительно нечего и перестал ходить на заседания. А затем прошел слух, будто Товянский стоит за сближение с Россией и хочет написать письмо Николаю I. Это постепенно отдалило от него громадное большинство поляков. Западные же революционеры, особенно французы, недоумевали и прежде. Они почти все были неверующими людьми и только пожимали плечами, слушая рассказы своих польских товарищей о Товянском. «C'est un mystique, quoi!» — говорили они, когда не

говорили: «C'est un fou»<sup>1</sup>. Недоумевали и немцы, хотя прекрасно совмещали революционность с немецким национализмом. Но польские товьянисты, не столько умом, сколько всем своим существом, были убеждены, что никакого противоречия у них нет.

Быть может, Товянский всё же не так заинтересовал бы Виера, если б не близость к этому мистика Адама Мицкевича.

Многие поляки — да и не только поляки — уже в ту пору справедливо считали Мицкевича великим поэтом. Но он был эмигрант, к нему ходили в гости, с ним пили чай в разных домах, иногда и сплетничали о нем, как обо всех других. Того культа, который после смерти великого писателя он может внушать никогда не выдавшим его людям, вокруг Мицкевича быть не могло. Случалось и так, что его осыпали насмешками и даже грубой бранью. Он сам тоже не был в восторге от эмиграции. «Зарубежные газеты называют меня изменником... У нас те же глупости продолжают, и ссор всё больше. Это стало хроническим явлением. Часто говорят о широкой амнистии. Думаю, что значительной части наименее скомпрометированных людей будет разрешено вернуться. Многие были бы почти готовы уехать в ад, лишь бы только вырваться из эмиграции... Французы вынуждены меня защищать от моих соотечественников, которые называют меня еретиком (благочестивые люди!), а также москалем», — говорил он в своих письмах.

Вьер давно знал, что в эмиграции, которую он всё-таки любил, все друг друга ненавидят и друг над другом издеваются. Поэтому он ни малейшего значения сплетням не придавал. Тотчас после его приезда в Париж общие знакомые предложили ему познакомить его с Мицкевичем. Он отказался: вдруг при знакомстве разочаруется? Но, как влюбленный, ездил к дому поэта в Батиньоль и долго гулял по бульвару в надежде его увидеть. По случайности же увидел его в первый раз, совершенно неожиданно, в двух шагах от себя, в дешевеньком ресторане около польской библиотеки. Мицкевич что-то читал. К нему подошел лакей, поэт оторвался от книги, и Виеру показалось, будто в глазах у него было «неземное выражение». Заказал он бифштекс, прибавил что-то вроде «bien cuit, s'il

---

<sup>1</sup> «Это мистик!» <...> «Это сумасшедший» (фр.).

vous plait»<sup>1</sup>. Виер был в восторге: он слышал голос автора «Дедов».

Впрочем, несмотря на насмешки над Мицкевичем, почти все польские партии старались привлечь его к себе. Он изредка бывал у князя Адама. Встречался и с врагами Чарторыйских, как будто был ближе к республиканцам, но вместе с тем боготворил Наполеона почти так же, как его самого боготворил Виер.

Опять по случайности, как раз тогда, когда деньги у Виера почти вышли, кто-то сообщил ему, что в Отеле Ламбер ищут энергичных людей, хорошо знающих русский язык и имеющих возможность легально проехать в Россию. Он удовлетворял этим условиям. Тем не менее колебался: позволяют ли ему его убеждения работать с польскими консерваторами, да еще получая от них деньги?

В Париже на углу quai d'Anjou и rue Saint-Louis-en L'Île стоит великолепный дом, с давних пор, по имени первого владельца, называющийся Hôtel Lambert. Построил его в семнадцатом веке для важного чиновника знаменитый архитектор Луи Лево. Над украшением дома немало поработали лучшие художники и ваятели, жили в нем в разное время разные богатые люди, аристократы или откупщики; иные его украшали, другие портили, почти все переделывали и перестраивали. Жил в нем Вольтер, бывал в нем Наполеон. Бальзак упоминает об этом доме, как об одном из чудес Парижа. В 1840 году купил Hôtel Lambert и поселился там старый князь Адам Чарторыйский, человек с большим прошлым и в польской, и в русской, и даже в западноевропейской истории, когда-то министр иностранных дел Александра I, давний кандидат на польский престол, находившийся по эмигрантскому положению уже не у дел, не всеми признанный, многим ненавистный, глава польской эмиграции в мире.

Как и другие эмиграции в истории, польская эмиграция делилась на направления, партии, фракции. Все они сходились в ненависти к правительству Николая I и к России. Все были убеждены, что между Россией и западным миром неизбежна война. Но демократическая часть эмиграции возлагала большие

---

<sup>1</sup> «Хорошо прожаренный, пожалуйста» (фр.).

надежды на восстания в западных странах. Аристократы же, вождями которых были князь Чарторыйский и его племянник граф Замоиский, чрезвычайно боялись всех народных восстаний и надеялись на существовавшие монархические правительства, больше всего на французское и английское, порою на австрийское, прусское и даже турецкое. Расхождения были очень острые. Тем не менее в гостиных Отеля Ламбер, с расписанными Лебреном потолками, а летом в небольшом, выстланном косыми плитками дворе, из которого за двумя колоннами вела вправо и влево прекрасная старая двойная лестница, постоянно бывали и поляки другого лагеря, часто очень не любившие князя. По сторонам двора тяжелые двери открывались в помещение нижнего этажа. Там бесплатно учила польских детей княгиня Анна Чарторыйская. Она же помогала наиболее бедным из эмигрантов, кому явно, кому тайком, старалась мирить тех, кто был в ссоре, выслушивала просьбы, жалобы, даже попреки ее богатством. Ее муж был теперь далеко не так богат, как прежде: его русские имения были конфискованы после войны 1830-31 года.

Как обычно бывает в эмиграции, у каждого течения был один человек с большим именем и много людей, за это имя иногда с ненавистью цеплявшихся. Но польские эмигранты понимали, что у иностранцев все их имена выветрились или выветриваются из памяти. Иностранные министры еще считались, да и то с каждым годом все меньше, лишь с князем Чарторыйским. После смерти Талейрана он был едва ли не старейшим дипломатом Европы; даже многие русские послы в свое время были его подчиненными. К демократам он старался относиться хорошо. Некоторые из них считали возможным поступать к нему на службу, когда дело было общенациональное. Князь Адам нередко рассылал эмиссаров в разные страны. Люди с его поручениями ездили в Польшу, в Россию, в Турцию и даже на Кавказ, к Шамилю. Поручения бывали разные и все строились на уверенности в неизбежности европейской войны.

Престарелый князь умел быть очарователем, когда хотел, и любил обождать польских революционеров. Виер был ему представлен. Говорилось о возможности совместной работы: политические расхождения не должны мешать польским патриотам действовать заодно, по крайней мере в особых случаях.

Как ни скромнен был Виер, ему не могло не польстить то, что князь Адам разговаривал с ним как с равным. «Хотя говорил он со мной всё-таки немного и так, как, например, король ласково разговаривает с бедными детьми, которых угощает в своем дворце», — с улыбкой думал Виер.

Поездка по Европе в качестве тайного эмиссара увлекла его своим романтизмом. Было и другое. Он был влюблен в польскую барышню, жившую недалеко от Киева. Ее отец, небедный и небогатый помещик, знал его с детских лет, относился к нему хорошо, но едва ли хотел бы выдать за него свою дочь. Виер был уж слишком беден, незнатен, не занимал в обществе никакого положения и даже не имел профессии: ремесло революционера, вероятно, повергло бы помещика в полное изумление, если не в ужас.

В Отеле Ламбер желали, чтобы вновь принятый на службу эмиссар после Турции побывал в Киеве и Петербурге: надо было узнать настроение украинского и русского населения: как оно относится к возможности войны и есть ли надежда на восстание? Виер принял поручение, выговорив себе право после его исполнения расстаться с их организацией. «Разумеется. Это право остается и за вами, и за нами», — сказал ему с легкой усмешкой Замоиский, вообще менее любезный с революционерами, чем его дядя.

Осенью 1847 года Виер и отправился в Турцию с поручением к казакам-некрасовцам. В этом году ездил в Константинополь и сам Замоиский, но он путешествовал открыто, почти официально. Агенты же, выполнявшие тайные поручения, особенно отправлявшиеся затем в Россию, должны были, разумеется, соблюдать конспирацию. Поэтому случайная встреча с Лейденом и была неприятна Виеру.

Конспирация была плохая, но и Третье Отделение работало не лучше. Путешествовавший по торговому делу русский поданный Виер проехал в Киев совершенно беспрепятственно, не должен был скрываться и никакой опасности не подвергался. Если б это было не так, он не посетил бы Лейденов.

Ему, впрочем, и не очень хотелось встречаться с русскими друзьями. Как раз перед отъездом из Парижа он прочел о разных новых делах Николая Павловича. Приказывал царь, но исполняли, на всех ступенях, от министров до городских, бесчис-

ленные русские люди. «Нет, прав Кюстин, нехороший народ, все они в душе рабы!» — думал Виер, несмотря на свои убеждения, которые в ту пору еще не назывались интернационалистическими.

## VI

Седина женатому почетна, холостому досадлива. А то и ни сединочки нет, да весь плешив.

*Народная мудрость*

Пароход отходил на следующий день. Лейден простился с дрогманом и дал ему лишний золотой. Тот рассыпался в словах благодарности и цветисто говорил о великой северной стране, о благородных людях, относящихся и к бедному дрогману, как к равному человеческому существу. Предложил даже помочь в укладывании вещей, хотя это было несовместимо с достоинством, которое он так тщательно оберегал. Лейден от его услуг отказался, сам уложил вещи и действительно уложил очень плохо, еще хуже, чем предвидела жена. Он ничего кроме трех книг в Константинополе не купил, но еле стянул ремни на главном чемодане; да еще сбоку из-под кожи высовывалось что-то белое.

Константин Платонович погулял по городу. Несмотря на то, что он уже начал здесь скучать, уезжать было нелегко: придется ли когда-либо всё это увидеть снова? С тягостным чувством вспоминал и о вчерашнем разговоре с Виером. Впрочем, ничего особенно неприятного сказано не было; они обнялись на прощанье и выразили надежду, что скоро встретятся в Киеве. «Вот, он и ее сын, и вроде моего воспитанника, а оказалось, совершенно чужой человек, не о чем было разговаривать. Да, большая преграда национальность, и дружеские чувства не держивают долгой разлуки».

В ресторане лакей уже сам, без его заказа, принес ему рюмку дузики и бутылку тенедоса, приветливо улыбался и говорил о погоде. Даже это вызвало огорчение у Константина Платоновича: никогда больше в жизни не увидит этого лакея. После жаркого он от грусти и из лобознательности спросил, есть ли у них хорошее белое вино. Лакей закивал головой и принес бутылку исмита. Расплачиваясь, Лейден сообщил, что завтра уезжает. «Ах, как жалко! Счастливого пути, мосье», — сказал лакей и выразил



надежду, что мосье приедет опять. «Едва ли», — подумал Константин Платонович. У дверей оглянулся, обвел ресторан взглядом и удивился своей сентиментальности. На улице он почувствовал, что гулять не в состоянии. Нанял извозчика по часам и кое-как объяснил, что хочет совершить прогулку по городу.

Теперь Константин Платонович уже всё в Константинополе знал и почти не смотрел на дворцы и мечети. Он думал о философии дервишей. Ему всё больше казалось, что в их идее круга и особенно в делении людей на Ба-Шаров и Би-Шаров есть нечто очень глубокое и важное. «Что ж делать, каждому свое. Я, очевидно, рожден Ба-Шаром и никакой другой жизни в этом мире знать, не буду. А дальше по радиусу подойду к центру: там вечная загадка разъяснится... Прожил с плясками, но без воя. А может, надо было с воем? Да и плясок было мало, а в этом мире люди живут только раз», — нерешительно говорил он себе. Думал также о том, сколько ушло у него денег и не следовало ли бы купить несколько рубашек, а то к Флоренции останутся только грязные. «Не войдут в чемодан, и опять переключивать не хочется. Куплю в Италии и обзаведусь еще чемоданом. Там, верно, и дешевле...» Константин Павлович с досадой замечал, что у него всегда мысли о важном и значительном смешиваются с самыми пустыми соображениями.

Вино на южном солнце выделялось из пор как будто быстрее, чем в России, но Лейден всё-таки был не совсем трезв. На улицах было то же столпотворение. Он печально поглядывал на толпу, теперь особенно чужую. Вдруг он заметил, что они выезжают на площадь, на которой находился рынок невольников.

Почему-то это его взволновало. «Довольно катался, теперь погуляю, полезно пройтись». Он остановил извозчика, расплатился, подождал, пока извозчик отъедет, и только тогда вышел на площадь. Еще издали увидел, что зеленоглазая невольница сидит на прежнем месте и разговаривает со своей матерью.

На площади по-прежнему бегали худые собаки, ворковали голуби, звучали инструменты. «Никакой нет причины подходить к ним, иди прочь, старый дурак!» — сказал себе Лейден. Обе женщины тотчас его узнали. Невольница с радостной улыбкой кивнула ему головой. «Теперь тем паче надо бы уйти!» — подумал он и подошел к ним.

— Добрый день. Как вы поживаете? — сказала мать на ломаном французском языке.

— Я хорошо, а как вы? — ответил он и почувствовал, что его слова глупы. Вдруг дочь с улыбкой обратилась к нему по-русски:

— А я знаю, кто ты, господине. Ты русский.

— А ты кто? — изумленно спросил он. — Ты нерусская.

— Я нерусская. Я из Эноса, — ответила она. — Там живут казаки, бывшие ваши, а таперича турецкие. А я у них по-вашему выучилась.

— Что же ты у них делала?

— В баштанах работала, огурцы солила. Казаки по бумаге с турком не имеют право работать землю. А они нанимают нас или евреек. Мы у них все делаем.

— И хорошо у них жить?

— Там дыни, — сказала она. — Ах, какие дыни! Лучше здешних.

— Ну, так что же?

— А меня там старики не любили.

— Какие старики?

Она подняла брови, точно удивлялась его невежеству. Удивленный вид очень к ней шел: ее зеленые глаза становились еще лучше. «Черты лица у нее не очень правильные. Нос вздернутый, глаза слишком широко расставлены. Но мила необыкновенно».

— Дай мне золотой, — сказала она. — Вот спасибо. А у казаков кому пятьдесят лет, тот старик. Как здесь паша... Нет, не паша, а меньше. А ты еще не старик, господине, — польстила ему она. — Казаки старикам говорят вы. А я тебе говорю ты, значит люблю тебя. Ты не молодой. Это что ж, ничаво.

— Скоро и я буду стариком. За что ж казаки тебя не взлюбили?

— А так. — Она засмеялась. — А что мне у них делать? До смерти солить огурцы? А я красивая.

Мать слушала их разговор с недоверчивым видом, но, по-видимому, не понимала ни слова. Она нагнулась к дочери и что-то ей сказала вполголоса.

— Что она говорит?

— А она говорит, чтобы ты меня купил.

— Купил! Зачем я тебя куплю?

— Ты знаешь, зачем, — ответила она и засмеялась опять. — А я недорогая, господине.

Она назвала свою цену, действительно не очень высокую. В России ревизская душа стоила дороже, даже если душа была простой девкой.

В кухмистерской они пили водку и вино. «Что же это я сделал? С ума сошел! — растерянно думал Константин Платонович. — Ну, понятно, я ее тотчас отпущу на волю, так что это доброе дело... Видно, нашло затмение в этом зачарованном городе, вот и еще чудо Константинополя! Никогда в России крепостных не имел, так обзавелся на старости лет турецкой рабыней!»

Но как он себя ни ругал, чувствовал, что давно не был так весел. «Чего же ждать? Сначала допьем бутылку. Мне нынче нечего делать, а ей верно и деться некуда. Что я с ней буду делать?» — спрашивал себя он, глядя на нее. По-видимому, она отлично знала, что он будет с ней делать. «Голос, право, что у Каталани. Только глаза наглые. Добрые и наглые, это бывает». Скоро она перешла на французский язык. На нем говорила гораздо лучше. К некоторому его недоумению, она на вопросы отвечала невпопад, точно не понимала. Ее слова казались бессвязными. Впоследствии он убедился, что это было не совсем так: она только отвечала не сразу; часто, впрочем, и совсем не отвечала.

— Где же ты научилась по-французски? — спросил он по-русски. Его веселила ее русская речь. Она иногда вставляла старинные или простонародные слова и выражения, очевидно сохранившиеся точно в ее звуковой памяти; выходило странно и забавно.

— Вон тот старик такой богатый! — сказала она с восторгом, показывая на человека, сидевшего в углу за чашкой кофе. — Он в феске, но еврей. Я хотела, чтобы он меня купил, да он не купил. Значит, старый.

— А тебе всё равно, кто тебя купит?

Она улыбнулась.

— Дай мне два золотых. Я люблю, кто щедрый. Вот, спасибо.

— Так ты меня любишь?

— А здесь все говорят по-французски. А я к языкам очень способная. Я хочу в Париж. Возьми меня в Париж. Я тебя люблю.

— Да я туда и не еду. И никуда я тебя не возьму. Я верну тебя твоей матери.

Она весело засмеялась.

— А какая она моя мать? Я с ней встретила в прошлом году. А ты глупый, всему веришь. Вот я умная. И ты переплатил. Она увидела, что с тебя можно взять много грошей.

Почему-то это ее сообщение было ему приятно. Он, впрочем, и раньше догадался, что старуха не мать ее: сходства между ними не было никакого, и ушла старуха, еле простившись с «дочерью»: только кивнула головой, оскалив зубы и как бы поздравляя обоих. «Понимаю: если дочь продают родители. то у покупателя больше доверия», — подумал он.

— Кто же твои родители?

— Мать моя была маркитантка. Служила у паши. А потом у грека была. Он строил... Как это называется? Арсенал. Потом балакали, что он был шпион.

— Как шпион?

— А так. У инглезов был один важный князь в Миссолонги. он за греков воевал.

— В Миссолонги? Байрон, что ли?

— Может, и Байран. А грек за ним был шпион, если не врали люди. Может, он был мой батюшка, а может, и не он. Может, был турок, или сербин, или болгар. А я знаю? Это что ж, ничаво.

— «Это что ж, ничаво», — передразнил ее он. Она засмеялась, и опять он подумал, что никогда такого голоса и смеха не слышал.

— А ты кто, господине? Ты барин?

— Нет, не барин.

— Ты врешь, — сказала она. — А я вижу, что у тебя много грошей. Я всегда знаю, у кого много грошей. Тогда человек ходит, как паша! Ты богатый, а говоришь, что бедный. Так многие делают. А другие бедные, а говорят, что богатые.

— Да не всё ли тебе равно?

— Как же всё равно? Это не все равно, кто богатый, а кто бедный! А ты женатый?

— Да, я женат.

Она вздохнула.

— Я люблю тебя. А ты меня любишь? Дай, я тебе погадаю, — сказала она и взяла его за руку.

— Ты умеешь гадать?

— Умею, но еще не добре умею. Буду учиться, а здесь плохо учат. А я в Париж перееду и стану добрая гадалка. — Она опять перешла на французский язык. — Гадать я умею по-французски. Вот видишь, это линия жизни. Ах, какая у тебя длинная! Ты будешь жить сто лет! Болеть будешь, но будешь жить как казак Солтан. А вот этот бугорок у тебя маленький. Это бугорок мудрости. Значит, ты глупый, — удовлетворенно сказала она.

— Спасибо. А если я за дерзость накажу тебя? — пошутил он. — Ты моя раба.

Она засмеялась еще более звонко. На нее ласково оглянулись мужчины с разных сторон кухмистерской.

— Видишь, ты глупый, — сказала она снова по-русски, чтобы не поняли соседи. — Ты всё веришь. А какая я твоя раба? Я свободная и всегда была свободная. Это старуха всё выдумала. И хорошо выдумала, так платят больше, особенно инглезы. Жалко, что ты не инглез: они богатые. Ты будешь мне давать много грошей? А сколько?

— Как же вы не боитесь так обманывать иностранцев? Ведь я могу пожаловаться полиции, — сказал он с досадой.

— Поедем в Париж. Все инглезы едут в Париж. А никто никогда не жалуется: стыдно будет и что хотел купить, и что надули. А почему ты сердитый? Я не раба, но все равно что раба, только давай мне много грошей, — сказала она. Язык у нее уже немного заплетался от вина, как, впрочем, и у него. — А твоя жена здесь?

— Нет, она осталась в России... Ну, что ж, можешь идти на все четыре стороны, — сказал он. При мысли об Ольге Ивановне ему вдруг стало стыдно. Блондинка удивленно на него взглянула.

— Как идти? На четыре стороны? На какие четыре стороны? Почему?

— Потому что я Ба-Шар, а не Би-Шар!

— Что ты говоришь? Не понимаю. А куда я теперь пойду?

— Это твое дело! К твоей дорогой маменьке.

— А зачем ты меня купил? Нет, я не пойду на четыре стороны. Не хочешь теперь дать гроши, я подожду. У меня есть, она мне платила мою часть... А только мало, — добавила она, спохватившись. — А где ты живешь?

Немного поколебавшись, он сообщил свой адрес. Она одобрительно кивнула головой. Знала эти меблированные комнаты и их владельца.

— В Париже гадалкам добре, — сказала она. — А он добрый человек. Богатый. У него мы можем жить два: ты и я. У него можно. Он много полиции дает.

«Прожил до седых волос, не зная, что я Би-Шар, прикидывающийся Ба-Шаром или почти Ба-Шаром!» — думал он всё более растерянно. И, к его изумлению, эта, как будто покаянная, мысль наполняла его душу радостью. «Она предлагает, чтобы я отвел ее к себе! Но ведь выйдет скандал, это может стать известным! Как же это станет известным?.. Или разве на одну ночь? Ведь я уезжаю... А то вернуть билет? Переменить?.. Что же ей ответить?» — спрашивал он себя и смутно чувствовал, что вопрос уже решен, что он всё равно побывал бы на рынке, если б его туда не привез случайно извозчик.

— Нет, ты уходи куда знаешь. Ты совершенно свободна.

Она насмешливо смотрела на него.

— А я не кончила гадать, — сказала она и опять взяла его левую руку. — Ах, будет у тебя беда!.. В твоей комнате две кровати? Одна? Это хорошо. Я никогда не храпею... Беда тебе от одной женщины! Но ты не бойся, она уже старая. И у нее есть один молодой, — говорила она, внимательно на него глядя. — У тебя большая комната?

— Большая.

— А кровать широкая?

— Широкая.

— Я не люблю, когда узкая. А я чистая... И блох у меня нет. Дай мне золотой за гаданье, — сказала она. — Вот спасибо.

## VII

Перикл был так влюблен в Аспазию, что целовал ее два раза в день, уходя от нее и возвращаясь к ней.

*Антисифен*

Жизнь в Верховне была привольная, мешали мало, неизмеримо меньше, чем в Париже. Но только теперь Балзак почувствовал, как устал: от забот, от болезней, от каторжного труда.

быть может, вообще от жизни, несмотря на свою жадную любовь к ней.

К графине приезжали соседи, чтобы познакомиться со знаменитым человеком; официально всё было в порядке: он приехал погостить к друзьям. Бальзак до пяти часов дня работал в своем помещении, куда ему приносили завтрак, а в пять всегда спускался в гостиные. Понимал, что *обязан* говорить: люди приезжали, чтобы его послушать. Однако особенно для них не старался: это было не то, что разговаривать с Гюго, Гейне, Ламартином. Ему очень нравились необыкновенно учтивые и жизнерадостные, умевшие жить польские помещики. Внимательно приглядывался и к ним. Бальзака особенно интересовали французы, но неинтересных людей для него вообще, вероятно, не существовало.

В первые дни он разрабатывал и свой план продажи леса во Францию. У графа Мнишека как раз были леса недалеко от австрийской границы. Бальзак писал письма, наводил справки, спрашивал о мостах на Эльбе и на Рейне. По начальному расчету, на деле можно было нажать миллион двести тысяч франков. Потом прибыль сократилась: четыреста двадцать тысяч. Наконец, выяснилось, что будет большой убыток и что вообще дело неосуществимо. Он был очень огорчен: уже снова, в сотый раз, считал себя богачом.

Он переделывал старые произведения, обдумывал новые. Теперь это давалось не так легко, как прежде. Быть может, стал строже к тому, что писал; быть может, ослабел интерес к творчеству, — будет еще несколько новых книг, не достаточно ли и старых? По вечерам гулял с хозяевами в парке, слушал музыку, писал письма (в Париже он в пору работы обычно ни на какие письма не отвечал). Описывал свою жизнь и многое выдумывал даже в письмах к близким людям. В литературе он — не всегда, правда, удачно — старался изображать правду. В жизни часто бывало обратное. Друзья Бальзака думали, что относительно своих интимных дел он нарочно вводит людей в заблуждение. Так, очень часто изображал себя аскетом и проповедовал целомудрие. Одни просто ему не верили, другие уверяли, что он потерял мужские способности, третьи предполагали, что Бальзак такие сведения о себе предназначает для своих прежних любовниц, — пусть каждая думает, что он

по-прежнему любит ее. Когда оставался наедине с Ганской, он изображал страстную влюбленность. В общем, хорошо изображал, но иногда в его глазах вдруг проскальзывало бешенство. Он и ее видел насквозь.

Визу он получил только до конца года, и в ноябре выехал в Киев просить об ее продлении. После книги Кюстина русское правительство относилось к французским литераторам враждебно. Кюстин был маркиз, его отец и дед погибли на эшафоте в пору революции, высшее общество Петербурга встретило его необыкновенно радушно, его ласково принимал сам царь, — и уж если так подвел этот, то чего можно было ждать от других! В Петербурге, в другой приезд Бальзака, Николай I не выразил желаний его принять. В Киеве власти отнеслись к французскому путешественнику любезно, хотя незаметное наблюдение за ним установили. Ведавший этим чиновник был, надо думать, знатоком человеческой души и, в частности, хорошо знал писательскую натуру. Несмотря на весь свой ум, Бальзак поверил тому, что ему рассказывали. Он писал сестре, что один киевский богатый мужик (*un riche moïse*) читал все его книги, молится о нем в церкви каждое воскресенье и готов заплатить деньги, чтобы посмотреть на него.

Киев ему понравился. «Я видел Северный Рим, — писал он, — этот татарский город с тремястами церквей, видел богатства Лавры (*La Laurat*), св. Софии степей. На это хорошо взглянуть. Меня осыпали любезностями».

Визу ему продлили. Но погода была холодная; лисья шуба, заказанная у крепостного портного Ганской, еще не была готова. Кроме того, холера всё же не кончилась; ему кто-то сказал и о какой-то «молдавской лихорадке». Бальзак приобрел для *гнездышка* литографические виды города и вернулся в имение.

Его симпатии к России были неизменны и даже росли. Политические же его взгляды менялись беспрестанно. Он то писал, что русскому крепостному живется лучше, чем громадному большинству французов, то говорил о варварстве, которое замечал в Верховне. В отношении графини к нему продолжались, как он говорил, разные «если», «но», «ибо», «да» и «нет». Он видел, что ответа дождется не скоро.



## VIII

L'amour aime à la première vue une physionomie qui indique à la fois dans un homme quelque chose à respecter et à plaindre<sup>1</sup>.

*Stendhal*

Ольга Ивановна лишь в первую минуту была не совсем довольна тем, что свалился этот молодой поляк, которого она знала давно, но не близко. Константин Платонович неохотно говорил ей об его матери. По словам Тятеньки, Ян Виер был воспитанником Лейдена. Теперь он привез Ольге Ивановне записку от мужа, передал от него привет, сказал, что Константин Платонович был бодр и здоров, — этого было, и независимо от киевского гостеприимства, совершенно достаточно для ласкового приема. Ольга Ивановна заставила его остановиться у них, хотя он долго отказывался.

В доме была комната для гостей, но она находилась в *вертикальном* крыле дома, недалеко от комнаты Лили. А так как гость был молодой и красивый человек, то Ольга Ивановна из приличия сочла более удобным отвести ему кабинет. Там был широкий мягкий диван. Белья и подушек в доме было сколько угодно; постельное и столовое белье было слабостью хозяйки, и она каждый год покупала еще, то на Контрактах, то у *крамарей*, то в лучшем киевском магазине, выписывавшем полотно прямо из Голландии. И по мере того, как она устраивала гостя, ее расположение к нему усиливалось, — точно он был родным. Ей когда-то страстно хотелось иметь сына. Константин Платонович к этому был равнодушен и рождению Лили тоже не слишком обрадовался, хоть позднее очень ее полюбил.

Лиле сразу понравился красивый молодой гость: она его почти не помнила. Это был первый парижанин, которого она увидела в жизни. Правда, не совсем настоящий, — родился в Киевской губернии, — но всё-таки парижанин. «Какой красавчик! Смотри, Лилька, не влюбись», — сказала ей подруга.

---

<sup>1</sup> Любовь возникает при первом же взгляде на лицо, которое выражает одновременно в человеке нечто заслуживающее уважения и нечто вызывающее жалость.

«Сама влюбляйся, мне не до того», — ответила Лиля; едва ли могла бы объяснить, до чего ей. Слова подруги впервые подали ей мысль: «Неужто *coup de foudre*!»<sup>1</sup> Она называла его «мосье Ян» и не решалась говорить с ним по-французски: так хорошо он владел этим языком. «Вдруг наделаю ошибок? Или скажу что-нибудь не по-парижски?» Услышав, что он во французских фразах не картавит, почти перестала картавить и она. Тятенька ей сказал, что Виер, по слухам, потомок графа Дивьера, любимца Петра Великого. Это тоже произвело на нее впечатление.

— Он католик, Тятенька?

— Заядлый. Но верно и франк-масон.

— Что такое франк-масон? Это те, что собирались там над Днепром?

— Те самые. Глупый, Лилька, народ.

— А почему же он не граф?

— Потому, что по линии незаконных. Да тебе это рано знать. Вот возьму и поставлю в угол, если будешь много спрашивать.

Из-за приезда гостя, теперь к обеду всегда бывало несколько приглашенных. Обе хозяйки требовали, чтобы Виер завтракал и обедал у них каждый день. Он вежливо и твердо это отклонил, хотя денег у него было мало. Но обедал у них часто и почти всегда приносил цветы или пирог. Ольга Ивановна мягко ему говорила то, что в таких случаях говорят гостям:

— Ну, что это? Ну, зачем это? Опять цветы! А уж Лиленьке вы совсем напрасно купили букет. Она еще маленькая.

— Мама, какая я маленькая!

— Елизавета Константиновна совсем взрослая барышня, — с улыбкой говорил Виер.

С другими приглашенными он всегда бывал очень вежлив и любезен, говорил — очень осторожно — о политике и старался узнать их мнение. Иногда он уезжал дня на два или на три: объяснял, что ездит по торговым делам своей фирмы. Это объяснение Лиле не нравилось. Из их знакомых большинство были профессора нового университета, студенты, врачи, а то «по» или «при» (так назывались чиновники, служившие *по* канцелярии или *при* генерал-губернаторе). Были, правда, и люди

<sup>1</sup> Любовь с первого взгляда (*фр.*).

занимавшиеся торговлей, как Тятенька, и тут никто ничего предосудительного не видел. Но *мосье Яну* этим заниматься не подобало.

Тятенька выразил сомнение в том, что Виер приехал по торговым делам:

— Будто уж ваш Ян торговец! Разве такие бывают торговцы! Естли он приехал по торговым делам, то он перво-наперво посоветовался бы со мной. Я, слава Богу, тут всё знаю. Я даже предложил ему помочь связями, а он только, проше пана, поблагодарил и ни о чем не спрашивал.

— Если бы он приехал не по торговым делам, то зачем же он стал бы сказывать, что приехал по торговым делам? — с недоумением спросила Ольга Ивановна, никогда не понимавшая, зачем люди лгут.

— Вероподобно, политика, — ответил Тятенька таинственным тоном. Ольга Ивановна несколько изменилась в лице.

— Избави Бог! Вы думаете, что это поляки?..

— Всё может быть, — сказал Тятенька, довольный эффектом своих слов.

— Да что вы подозреваете? Почему вы так думаете? Что вы знаете?

— Знать я, положим, ничего досконально не знаю. Но иностранные ведомости пишут, что поляки только о том и думают, как воевать Россию. Может, он их эмиссар, их теперь видимо-невидимо.

— Да как же так? Ведь он тогда и нас подвел бы! Хорошо отплатил бы за гостеприимство! Это похуже, чем Кирилло-Мефодиевское Общество!

— Душа моя, я ничего не говорю. А вас подвести он никак не может. Естли бы что и было, так ничего тут нет странного, что он у вас живет. Костя знал его мать с детства, друг был. Кажется, был в нее когда-то влюблен, — подразнил Тятенька Ольгу Ивановну. — А к его делам вы никак отношения иметь не могли. Костю в Киеве, слава Богу, знают, и уж какие там вы с Лилькой польские революционерки! Так вы и скажете, ежели спросят. У нас ведь всё-таки не Турция. Естли так рассуждать, то со всеми поляками надо было бы раззнакомиться, а они бывают и у Безрукого. Только, избави Бог, ничего не пишите о моих словах Косте. На границе еще могут прочесть в *черном кабинете*.

— Я не ребенок, — сказала Ольга Ивановна, успокоенная словами о генерал-губернаторе. — И никто наших писем не читает, да верно и никакого «черного кабинета» нет.

Провожая в этот вечер Тятеньку в переднюю, Лиля его спросила, что такое эмиссар. Тятенька засмеялся и объяснил.

— Воевать нас хотят поляки. На то и зовут французов, англичан, турок, шлют к ним гонцов. Как у Пушкина сказано, «На Испанию родную — Призвал мавра Юлиан».

— Какая же у мосье Яна «Испания родная»? Разве он русский? Ведь он поляк?

— И то правда, поляк, — благодушно согласился Тятенька. — А воевать без надобности. Да ты почему его, старушка, защищаешь? Смотри, мать моя, без Купидоновых стрел! Эмиссар там пан Ян или нет, но у шановного пана есть одна красотка-паненка.

— Какая паненка?

Тятенька, знавший всех и всё, назвал какую-то Зосю, о которой Лиля никогда и не слышала.

— Откуда вы знаете? Нет, скажите, Тятенька, — приставала Лиля. Тятенька ничего толком не мог сообщить: ему кто-то сказал из польских приятелей.

— Будто бы старый роман, но в письмах, как «Новая Элоиза». Да отец Зоси никогда ее за гольша не отдаст. А насчет эмиссара ты не болтай. Я ведь и вправду больше присочиняю, — сказал он и потрепал ее по щеке.

— Berlik berlok, — сказала Лиля.

— Это еще что значит?

Лиля загадочно улыбнулась. Она и сама не знала, что, собственно, значит это вычитанное ею в романе выражение.

Вечером, уже в кровати, Лиля почему-то вспомнила слова мосье Яна: «Елизавета Константиновна совсем взрослая барышня». Повторила их вслух с его очень легкой, совсем почти незаметной, не русской интонацией (она недурно подражала чужому говору). Вспомнила и его манеру повторять рассеянно последние слова собеседника. «А что это было досадное?.. Тятенька говорил... Ах, да, Зося... Да мне-то что!.. Посмотреть бы, какая она, эта Зося. Между поляками так много красавиц. Папа говорил, что нет красивее женщин, чем польки... Мосье Ян немного похож на Михаила Брауна», — подумала Лиля, вспомнив одного заезжего женатого петербуржца, который как-то

---

недавно показался в Киеве и поразил ее своим загадочным видом. Тятенька даже ее дразнил: «Вот это, Лилька, был бы для тебя Д е м о н. Только он, говорят, еще и прохвост». Позднее кто-то сказал Лиле, что Браун овдовел, — «верно уморил жену». Это было интересно, но Лиля не обратила внимания: тогда увлекалась одним гимназистом. «Браун тоже *был* красивый, да мосье Ян гораздо красивее...» Лиля вздохнула и раскрыла роман Бальзака.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

It hath been observed by wise men or women,  
I forget which, that all persons are doomed to be  
in love once in their lives<sup>1</sup>.

*Fielding*

В комнате Ольги Ивановны всё было в совершенном порядке, и чистота была необыкновенная: нигде ни соринки. Каждая вещь стояла на определенном раз навсегда месте, и если б кто-нибудь что-нибудь хоть немного передвинул, хозяйка тотчас заметила бы это и поправила. Лиля, смеясь, говорила, что всякий раз, как она входит в комнату мамы, ей хочется вылить там на пол чернила, поставить стул на туалетный столик и разбросать все вещи. Оклеена была комната светленькими обоями в цветочках, а мебель обита розовым кретоном. На стенах висело несколько залитых солнцем пейзажей. В углу стоял туалетный столик с дорогим прибором из слоновой кости; на щеточках и на склянках были латинские буквы O. J. Это был подарок мужа, привезенный им из Парижа. Ольга Ивановна чрезвычайно дорожила прибором, как всеми подарками мужа, и почти к нему не притрагивалась; редко пользовалась духами, пилочками, ножницами. На письменном столе стояли натертая до блеска серебряная чернильница, такие же песочница и лодочка для перьев, портреты мужа и дочери, работы киевского живописца, в серебряных рамках. Этим столом она тоже пользовалась не часто. Когда муж находился в Киеве, ей некому было писать: с дочерью она никогда не расставалась; если же Лейден уезжал, писала в его кабинете. По конституции дома, Ольга Ивановна ничего на письменном столе мужа не трогала: Константин Платонович этого терпеть не мог. Она

---

<sup>1</sup> Было замечено умными мужчинами или женщинами, не помню, какими именно, что каждый человек обречен однажды в жизни влюбиться.

имела лишь право, и то нелегко завоеванное, сметать пыль с книг и бумаг, осторожно их поднимая и кладя на прежнее место. Лейден вначале относился к этому так, точно для его жены тут было приятное ей, а ему очень вредное занятие; ее работа была большим злом, но пыль всё-таки тоже была зло, он и выбрал в конце концов меньшее. На собственном письменном столе Ольги Ивановны перья всегда были хорошо очинены, а чернила в чернильнице свежие. Они никогда в спальне не наливались, Ольга Ивановна уносила чернильницу на кухню, наполняла очень аккуратно, сливая из бутылки по стеклянной палочке, и вытирала всё предназначенной для этого тряпочкой. При этом Ульяна говорила, что барыня слишком много пишет и что это очень вредно.

Теперь кабинет был занят Виером, и Ольга Ивановна писала у себя. Когда она заканчивала шестнадцатую страницу письма к мужу, в комнату вбежала Лиля и взволнованно сообщила, что ливрейный лакей принес приглашение к польскому графу. Лейдены с ним были мало знакомы; его дом считался одним из лучших в Киеве, и попасть туда было не так легко.

— Я посмотрела, mon chat, вы, я знаю, не рассердитесь. Зовут нас в четверг вечером на чашку чаю. Вас и меня!.. Я дала лакею полтинник, не мало? Но вы мне отдайте, у меня осталось всего двадцать пять копеек. — Лиле полагалось карманных денег пять рублей в месяц, что тоже считалось баловством. Ее подруги получали два или три рубля. — Приглашение на карточке и в конверте! А на нем, смотрите, надпись «Madame et Mademoiselle Leyden», через игрек! Папа тоже так пишет, так в его заграничном паспорте. Мама, нам *нужно* обзавестись конвертами! Скоро у всех в Киеве будут, а у нас еще нет. Теперь уже никто не пишет писем без конвертов. И это так удобно, не нужно сургу-ча. Я попрошу Тятеньку достать для нас. Можно?

— Можно, только не очень дорогие. Вот он кстати, Тятенька, легок на помине, — сказала Ольга Ивановна. Из передней раздался звонок, Тятенька всегда звонил по-своему. Ольга Ивановна и Лиля вышли в залу.

Там карточка была внимательно изучена всеми тремя.

— Гравированная, — одобрительно сказал Тятенька, проводя пальцем по буквам.

— Это верно устроил мосье Ян! — сказала Лиля.

— Что ж, он нас угощает графом? — спросила Ольга Ивановна, задетая словом «устроил». — Мы, слава Богу, ни за какими графами не гоняемся.

— Да нет, mon bijou, просто мосье Ян нас хочет познакомить с новыми интересными людьми, — поспешила сказать Лиля. — Не в том, конечно, дело, что он граф. Но, говорят, он очень любезный и образованный человек.

— Конечно, конечно, пойдите, — посоветовал кисло Тянька. Он был задет тем, что сам приглашения не получил.

Виер, войдя в залу, объяснил, в чем дело:

— Там будет Бальзак. Он приехал в Киев из Верховни. Я думал, вам будет интересно на него взглянуть. Граф знает Константина Платоновича, он, кажется, имел с ним дела.

— Бальзак!.. Ах, как я рада! — сказала Лиля. — Я всё его читала!

— Что ж, и я рада. Мы слышали, что он гостит у Ганской, но я не знала, что он приехал в Киев.

— Приехал в Киев? Да, они вместе приехали. Кажется, граф с Ганской в родстве или в свойстве. Вся польская знать в родстве или в свойстве, — сказал с улыбкой Виер. — А вам я по секрету сообщу, что, может быть, Бальзак прочтет что-то свое. Разумеется, это не публичное чтение: для публичного чтения нужно было бы разрешение, его не дали бы полякам. Но он у них обедает, а после обеда уступит мольбам гостей и что-то прочтет.

— Вы приглашены и на обед?

— К сожалению. Я не охотник до графов.

— Значит, у них dîner privé?<sup>1</sup> — вставила Лиля. Но парижанин Виер не оценил или даже не понял этого выражения, которое давно вышло из употребления во Франции; Лиля читала и старинные романы.

— А после обеда будет много народа?

— И панна Зося будет? — с лукавым видом спросила Ольга Ивановна и погрозила ему пальцем. Она что-то слышала от Тяньки, спросила, не подумав, и сама смутилась: бестактных или бесцеремонных вопросов никогда не задавала. Виер густо покраснел.

---

<sup>1</sup> Званый обед (фр.).



— Какая панна Зося?

Ольга Ивановна назвала фамилию и что-то постаралась объяснить: слышала, будто эта прелестная барышня имеет большой успех в польском обществе. Лиля не знала, куда деться. То, что мосье Ян смутился, было ей тяжело.

— Я не знаю, будет ли она. Может быть, — сухо сказал Виер, особенно недовольный тем, что покраснел.

— Ты что наденешь, чудо мое? — виновато спросила Ольга Ивановна. Чудо мое посмотрело на нее зверем, но ответило: «Синее, английского бархата». Между ними начался разговор о платьях.

«Они-то откуда знают? — с раздражением подумал Виер. — И что же именно они знают? Что я хотел жениться и что *они* не хотели?»

Он побывал у своей барышни на следующий же день после приезда. Ее родители остановились в Английской гостинице, самой дорогой в городе. «Верно, запродали пшеницу или клевер и приехали сюда пыль пускать», — с улыбкой думал он, одеваясь. У него было свойственное полякам умение хорошо носить костюм. На этот раз оделся особенно тщательно. «Ну, что же меня ждет?» — думал он по дороге. Думал с волнением, — однако не с таким волнением, какого сам ожидал. «Значит, не влюблен? — спрашивал он себя огорченно. — Если сам себя об этом спрашиваю, то не очень влюблен. Или в самом деле я бесчувственный человек?»

Увидев Зося, он вспыхнул от радости. Она тоже покраснела. Видимо, была крайне смущена. «Неладно! — тревожно подумал Виер. — Неужто разлюбила?..» Он почтительно поцеловал руку ее матери, затем, поколебавшись одно мгновение, поцеловал руку и Зосе, хоть это не было принято; Виер сказал себе еще по дороге, что после долгой разлуки можно, и тотчас увидел, что нельзя. Отец и мать встретили его любезно, но видимо были не в восторге от его прихода. «Так, так, понимаю!» — подумал он. Взгляд у него стал холодный и надменный.

После десяти минут разговора не оставалось сомнений. И опять Виер удивился, что принял это не как катастрофу. Он говорил о Париже, обращался преимущественно к родителям, изредка поглядывал на Зося, спрашивал ее, предпочитает ли

она Киев или деревню. Она отвечала робко и всё более смущенно. «Понимаю, понимаю. Верно, появился другой. Очень хорошо. Я этого, собственно, и ждал», — солгал он себе. Когда он встал, посидев не более четверти часа, родители, переглянувшись, пригласили его на следующий день к обеду.

— Да, да, непременно приходите! Мы так рады вашему приезду! — с чрезмерным жаром сказала Зося.

— Благодарю вас. Я охотно приду, — сказал он. Был доволен тем, как он это сказал.

Отец проводил его до лестницы, в коридоре тоже с жаром пожал ему обе руки и даже хотел потрепать его по плечу, но Виер отстранился. Внизу в небольшом холле он остановился и рассеянно закурил папиросу. «Теперь надо всё обдумать. Впрочем, что же тут обдумывать?..»

Кто-то его окликнул. Оказалось, школьный товарищ, с которым он встречался и в прошлый свой приезд. Другом тот не был; у Виера и в школе было мало друзей. Теперь эта встреча была ему неприятна, как была бы и всякая другая: он хотел остаться один. Они поговорили — опять о Париже. Узнав, у кого он был, товарищ, поглядывая на него, спросил, принимают ли они уже поздравления.

— Поздравления? С чем? — спросил Виер равнодушным тоном. «Ну, да. Сейчас всё буду знать», — подумал он и небрежно положил папиросу в пепельницу. Он угадал: оказалось, что у Зоси жених, молодой помещик из Конгрессовки.

— Вот как? Я не знал. Кто такой?

— Им повезло. Прекрасная партия. Приятный человек и две тысячи душ, — ответил товарищ и назвал фамилию жениха. Фамилия была хорошая, хотя и не громкая.

— Две тысячи душ. Да, разумеется, прекрасная партия, — медленно повторил Виер. — Это верно? Они мне ничего не сказали.

— Еще не объявляют. Жених поехал в Варшаву к матери за благословением.

— Я очень рад за них, — сказал Виер. — Она очень милая барышня.

«Ну, вот, всё кончено, — подумал он, выйдя на улицу. — И я ничего не могу сказать. У нас ведь была просто милая корректная переписка. Правда, она могла бы известить меня.

Но, может быть, написала после моего отъезда из Парижа. Или сама еще тогда не знала. Не знала, что свалятся две тысячи душ. А то ее заставили родители? — спросил он себя, цепляясь за это предположение, менее обидное для его самолюбия (смутно уже чувствовал, что для него теперь главное в оскорбленном самолюбии). — Возможно, что и заставлять не надо было. Ведь в самом деле, две тысячи душ! Шутка ли сказать».

На улице он опять остановился: куда же теперь идти и что делать? Дул сильный ветер, было очень холодно. У подъезда гостиницы на углу Крещатика стояли извозчики, но он пошел пешком вверх по крутой Лютеранской. «Ну, что ж, во всяком случае, моей вины нет», — думал он: эта мысль всегда его успокаивала в неприятностях. — Принял совершенно спокойно, как следовало. Может быть, даже слишком спокойно? Да не вызывать же этого помещика на дуэль!» — сказал он себе с усмешкой. — Может быть, какой-нибудь горячий шляхтич так и сделал бы. Я не шляхтич и не горячий. Это было бы глупо до смешного. Помещик вдобавок ничем не виноват, он верно и не подозревает о моем существовании».

Он вспомнил то, что рассказывали в польской колонии в Париже: у Мицкевича был роман с какой-то знатной польской барышней, он был в нее влюблен, и она тоже как будто была в него влюблена, но, по желанию родителей, вышла замуж за человека ее круга. «Мицкевич был, даже, кажется, ее женихом, а у меня с Зосей ничего почти и не было... Они мне не решились сказать. Быть может, хотят сообщить завтра на обеде, «как нашему другу, вам первому». Подали бы шампанское и выпили бы за их здоровье. Разумеется, я к ним на обед не пойду!»

Его самолюбие было задето и тем, что с *НИМ* вышла такая обыкновенная история. Правда, сходство с историей Мицкевича немного его утешило. «Он был беден, а ей нашли богатого! А что он был *Мицкевич*, это для таких людей никакого значения не имеет. Что ж, он с собой, к счастью, не покончил, и я не покончу. Я не Мицкевич, но и у меня есть дело в жизни».

Вернувшись в дом Лейденов, он написал краткое письмо отцу Зоси: извещал, что, к большому своему сожалению, не может прийти завтра обедать: давно приглашен к другим, о чем было забыл. Затем, походив по кабинету, порвал на мелкие кусочки это письмо и написал другое: во втором тексте ничего

не говорил о другом приглашении, а вместо «к большому сожалению» написал «к сожалению». «Так лучше, больше не будут звать». Еще походил по комнате, хотел было восстановить первый текст, но не восстановил. Попросил дворника тотчас отнести письмо и дал ему рубль; за услуги в доме всегда давал на чай щедро, гораздо щедрее, чем давал бы богатый человек.

Станным образом, почти незаметно для него самого, история с Зосей несколько изменила его политическое настроение и не только тем, что еще увеличила его ненависть и презрение к деньгам, к их власти, к миру богатых людей. Теперь он думал, что незачем всё валить на русских. «Вот и у нас тоже «души», в этом Лейден, к несчастью, был прав. Когда мы освободим Польшу, тот помещик зубами вцепится в свои две тысячи душ. И еще более прав Бланки, доказывавший мне «примат социального над национальным». Сейчас для нас, поляков, это неверно, но, конечно, за национальными войнами придут войны гражданские, и смысла в них будет больше, чем в национальных войнах».

Он думал также, что скоро надо будет отправиться в Петербург, а оттуда за границу. Но уезжать из Киева ему не хотелось. «Нельзя, однако, слишком долго пользоваться гостеприимством Лейденов, как они ни милы».

Виер не мог не видеть, что Лиля понемногу в него влюбляется. Не хотел притворяться, будто это ему неприятно. Самая мысль о том, что он мог бы жениться на русской, не приходила ему в голову. Это было бы изменой национальному делу. Тем не менее Лиля в последние дни всё больше ему нравилась. «Вздор, и не влюблена она, а просто «любит любить». Скоро закончу все дела и уеду. Хоть Киев и провинция, но для доклада князю Адаму надо толком узнать, что здесь делается».

Он посещал польские кружки, говорил там о близости европейской войны, призывал слушателей готовиться к ней. Слушали его внимательно, с интересом и с уважением: он жил в Париже и, следовательно, должен был знать всё о намерениях французского правительства. Престиж Виера ослабевал, когда из его ответов на вопросы оказывалось, что он не только ни разу не разговаривал с Тьером или с Гизо, но и никогда их не видел. Не мог даже толком ответить на вопрос, «что думает князь Адам»: Чарторийский в своем единственном разго-

воре с ним не касался особенно важных вопросов. Заканчивая доклад, Виер просил слушателей высказаться. Они отвечали не очень уверенно, некоторые и не очень охотно. Не подавали большой надежды на то, что строй Николая I рухнет. Иные откровенно говорили, что никаких признаков его близкого падения нет.

И главное, никто не понимал, как же они, собственно, должны «готовиться к войне»? Не заниматься сельским хозяйством? Не посещать Контрактовой ярмарки? Не поступать в университет? Пользы для польского дела от этого быть не могло, и всем им надо было жить. Виер советовал вести пропаганду, но они встречались преимущественно друг с другом, никаких иностранцев не знали, а мысль о том, чтобы вести пропаганду среди крестьян, вызывала у них смущенную или даже ироническую улыбку. «Тут народ очень, очень отстал от французского», — объясняли они. Когда же он говорил, что в освобожденной Польше понадобятся глубокие социальные реформы, большинство участников собраний слушало его как будто без сочувствия. «Ну, да, они все помещики или дети помещиков, — думал Виер. — Да и в самом деле, что это значит «готовиться»? Так, когда во внешней политике какой-либо державе решительно нечего сказать или сделать, правительство объявляет, что оно «очень внимательно следит за положением».

В одном из этих своих докладов Виер в заключение привел эффектную цитату из Луи Блана. Цитировал не дословно, на память. Но память у него была прекрасная; да и ошибиться здесь не было бы грехом.

— Известный французский политический писатель Луи Блан, — сказал он, — уподобляет нынешнее общество королю Людовику XI в последние дни его жизни. Король почувствовал приближение конца. Между тем мысль о смерти приводила его в дикий ужас. Он стал скрывать от врачей, от приближенных, даже от самого себя симптомы своего недуга. Старался ходить твердой походкой, бодрился, красился, впрыскивал что-то для блеска в глаза и говорил врачам: «Да я никогда в жизни не чувствовал себя лучше!» — «Так, — говорит Луи Блан, — поступает и нынешнее общество. Оно чувствует, что его смерть близка, — и отрицает свою тяжкую болезнь. Оно окружает себя лживой роскошью, придает себе вид непо-

колебимой мощи, хвастает как и чем только может. Но его душу гложет тяжкая тревога. На всех его праздниках незримо присутствует призрак революции».

Виер произнес цитату с подъемом. Это произвело впечатление, и Виеру аплодировали больше обычного. За чаем все хвалили его ораторский талант, но, видимо, слова Луи Блана относили только к Парижу. Спрашивали, действительно ли во Франции можно ждать революции каждый день.

— Не только во Франции, — ответил он.

Возвращался он по Александровскому спуску довольно поздно. Огни в окнах домов были уже погашены. Величественный Государев сад был пуст, в темноте неприветлив и даже страшен. «А там дальше обрыв, Днепр, за ним бесконечные занесенные снегом равнины, непроходимые леса, глухие темные села, ничем кроме хлеба не интересующиеся рабы...» На улицах прохожих было очень мало. Из дворов изредка лаяли собаки. Поворачивая вправо, он оглянулся на черную громаду сада и ускорил шаги. На Шелковичной была совершенная тишина. Киев спал мертвым сном. Виер вдруг спросил себя, так ли уж верно, что близок конец строя. Невидимое присутствие призрака революции в Липках не чувствовалось. «Что, если нет его и никогда не будет в этой огромной, могущественной, страшной стране?»

## II

.....

### [ III ]

В политике глупо иронизировать над пустяками: и в добре, и в зле слишком часто большое выходит из малого.

*Жорес*

Виер узнал о существовании в Киеве и украинских кружков. Это были остатки недавно разгромленного Кирилло-Мефодиевского общества. Кто-то сказал ему, что можно будет познакомиться, украинцы, кажется, собираются в необитаемом, полуразрушенном деревянном здании над Днепром, недалеко от

Александровского спуска. Там когда-то помещалась польско-русская масонская ложа: на стене старики еще видели знак: крест, круг, на нем две соединенные руки, с надписью «Едносць Словянска». Позднее в том же доме собирались киевские декабристы. Виер из любопытства заглянул в это здание с незапиравшейся дверью. Оно было совершенно заброшено, в нем бегали крысы. «Не могут они здесь собираться: тут и сидеть не на чем, и они замерзли бы».

Через несколько дней к нему явился студент с малороссийской фамилией. Сослался на общего знакомого, поляка, и с таинственным видом предъявил знак общества Кирилла и Мефодия: серебряное кольцо с поперечными рубчиками. Говорил он бойко, на вид был очень симпатичен. «Такие в школах бывают «хорошие товарищи». Кажется, толковый человек», — решил Виер. После недолгого разговора студент пригласил его на заседание небольшого кружка: «Перезнакомитесь со всеми, поговорим, мы будем очень рады. Одна из наших задач: наладить братские отношения с вами, поляками».

Во втором этаже небольшого дома на Печерске, в гостиной, где на стене висел портрет Мазепы в кунтуше с кривой, осыпанной бриллиантами саблей, собралось человек пятнадцать. Преобладали студенты и гимназисты, но были и пожилые люди. Почти все смотрели на Виера с любопытством и с симпатией. Председательствовал пригласивший его студент. Он представил *эмиссара наших польских друзей во Франции*. Виер крепко пожимал руки всем и, по своему обыкновению, внимательно вглядывался в каждого. Ему и тут показалось, что все это «хорошие товарищи». Одеты они были много хуже и беднее, чем польская молодежь. «Может быть, эти легче могли бы принять примат социального», — подумал он. Его посадили слева от председателя. На столе стоял самовар. Гимназист, очевидно сын хозяина квартиры, разливал чай. Угощение было очень скромное.

Студент постучал ложечкой по стакану и попросил Виера прочесть доклад о международном положении. Виер поговорил с полчаса, сказал почти то же самое, что в польских кружках. Теперь с некоторым неудовольствием замечал, что знает этот свой доклад уже почти наизусть. Его слушали с благожелательным вниманием.

Председатель в самых лестных выражениях поблагодарил его за сообщение и в кратких словах объяснил программу общества Кирилла и Мефодия: оно стремится к тому, чтобы превратить Российскую империю в федеративную республику.

— Всего у нас будет четырнадцать штатов или, как говорили некоторые, четырнадцать держав. Их них два будет составлять Украина. Вопрос о числе штатов Польши еще не разрешен окончательно. Киев ни в один штат не войдет, он будет центральным сеймовым городом, вроде американского Вашингтона. Я надеюсь, это все для вас приемлемо?

— Нет, неприемлемо. Польша желает быть совершенно независимым государством, — твердо ответил Виер. О том, что Киев должен отойти к Польше, он не сказал. Чувствовал, что об этом тут говорить не следует. Ему, впрочем, уже давно казалось, что едва ли можно будет включить в польскую республику этот международный город, где украинцев было гораздо больше, чем поляков, а великороссов и евреев не меньше. Какой-то мрачного вида человек в красной рубахе и в высоких сапогах спросил по-украински, как понимает уважаемый гость понятие «Польша». Входят ли сюда области с преобладающим православным населением?

— Понятия «поляки» и «католики» не тождественны, — ответил по-русски Виер. — Есть поляки-православные, как есть поляки-евреи и поляки-протестанты. Будущее республиканское правительство Польши предоставит им не только полную свободу веры, но и все культурные права, равноправие языков, школы на их родном языке...

— Та вжеж! — сказал он. — Це мы куштовали!

С улицы прозвенел колокольчик. Гимназист, подававший гостям чай, взял свечу и пошел вниз отворять дверь.

— Это Сергей Сергеевич, — сказал председатель. — Он предупредил, что опоздает. Это наш петербургский гость, — пояснил он Виеру. — Очень милый человек. Он эмиссар кружка Петрашевского.

— Простите мою неосведомленность. Я ведь долго жил во Франции. Кто такой Петрашевский?

— Буташевич-Петрашевский очень интересный человек. Он лицеист по образованию, переводчик в министерстве иностранных дел и чрезвычайно ученый политик: он сам мне говорил,



что мог бы в университете преподавать одиннадцать предметов и излагать их с двадцати точек зрения.

— Да это не очень хорошо вообще, а когда человек сам о себе так говорит, то тем более, — сказал Виер. Пожилой украинец усмехнулся. — Значит, вы его лично знаете?

— Да, я у него бывал каждую пятницу. На первом курсе я учился в Петербургском университете. Я-то и установил связь с ними нашего кружка. Не отрицаю, он человек со странностями. Он всегда ходит в каком-то испанском плаще и в четырехугольном цилиндре наподобие наших уланских шапок.

— Но что происходит на заседаниях его кружка?

— Мы разговаривали на разные политические темы. У него прекрасный стол и вина отличные.

— Значит, это скорее клуб?

Студент засмеялся.

— Хорош клуб, когда они собираются на маскараде заколоть кинжалами царя, — сказал он. «Хороши заговорщики! Еще лучше наших!» — подумал Виер, впрочем принявший это сообщение с большим интересом. Наиболее молодые из участников собрания разинули рты. — Впрочем, мне никто этого не говорил, но ходят такие слухи, — тотчас поправился студент. — Ведь много и выдумывают. Но после революции они образуют правительство.

Вновь вошедший гость был человек лет тридцати, тоже на вид очень привлекательный. Он уже знал всех собравшихся. Гимназист познакомил его с Виером, восторженно глядя на обоих, точно тут же должно было произойти примирение между Польшей и Великороссией. «Надо будет взять у него адреса их людей в Петербурге», — подумал Виер. Гостя посадили справа от председателя. Когда и Сергею Сергеевичу подали чай, председатель опять постучал ложечкой по стакану и в кратких словах, толково и точно, изложил гостю то, что было до его прихода. Сергей Сергеевич кивал головой, показывая, что во всем разобрался.

— Но если вы мне позволите высказать мое мнение, — сказал он (с разных концов стола послышалось: «Просим!»), то мы пока должны только провозгласить общий принцип славянского единения, которому служили и декабристы, и масоны в прошлое царствование. Они передали нам факел. И я себя

спрашиваю, только спрашиваю, — мягко добавил он, глядя с приятной улыбкой на Виера, — совместим ли этот принцип с тем, чтобы наши братья поляки относились к будущей России так, как, например, к Франции или Англии? Мы стоим за федеративное устройство всей славянской Европы. Быть может, многим из здесь присутствующих известно имя Прудона?

— Я с ним встречался в Париже, — мрачно сказал Виер. Это произвело впечатление.

— Я его никогда не видел, но читал его «Речь о праздновании воскресенья» и трактат: «Что такое собственность». Очень талантливый и смелый человек. У меня есть с ним общие знакомые, и один из них мне сказал, что в частных беседах Прудон высказывается за идею Федерации. «Le fédéralion est la forme politique de l'humanité»<sup>1</sup>, — говорит он. Да простит мне наш польский друг, Прудон высказывается против независимости Польши. Разумеется, его мнение ни для кого не обязательно, но мне казалось бы, что вопрос о независимости отдельных частей Российской империи лучше всего мог бы быть разрешен Всероссийским Учредительным Собранием, свободным изъявлением воли народа.

Украинец в красной рубаше снова саркастически засмеялся.

— Уси кацапы так кажутъ, — сказал он. — Дуже они разумные! «Воли народа? Нехай Бог помогае на добре дило, да якого народа? А они кажутъ «Всероссийское Учредительное Собрание!» Нема дурных!

Сергей Сергеевич с виноватой улыбкой развел руками, показывая, что по-украински говорить не умеет.

— Пожалуйста, говорите по-русски, Марко Богданович, — попросил председатель. — По-великорусски.

— Хорошо, я скажу по-великорусски, — продолжал, разгорячившись, человек в красной рубаше. Оказалось, что он по-русски говорит не хуже других участников собрания. — Мы стоим за Украинское Учредительное Собрание.

— И вы совершенно правы, — вставил Виер.

— Да, мы правы, мы также думаем, что вопрос об украинских землях, когда-то входивших в состав Речи Посполитой.

---

<sup>1</sup> «Федерализм — это политическая форма человеческого рода» (фр.).

никак не может рассматриваться Польским Учредительным Собранием!

— И вы совершенно правы, — вставил Сергей Сергеевич.

— Это вопрос очень спорный, — не без смущения сказал Виер. — Почти нет таких стран, в которых не было бы инородных групп.

— Тогда почему же бы вам не остаться в пределах Российской империи? Николай и Орлов тоже считают поляков инородной группой.

— Разрешите признать ваше сравнение неуместным! — сказал Виер, вспыхнув. — У нас, поляков, никакого гнета не будет!.. Да и вы-то сами как рассматриваете пределы Украины? Я разумею ее восточные пределы. Мне, например, известно, что донские казаки хотят полной независимости.

— Да мало ли кто чего хочет! Этак в Киеве Подол может потребовать полной независимости, — возразил украинец. Теперь иронически засмеялся Виер.

— Господа, — сказал примирительным тоном председатель, — я предлагаю снять этот вопрос с очереди, несмотря на всю его важность. Мы к нему вернемся позднее.

— В самом деле, что ж делить шкуру еще не убитого медведя? — спросил член кружка Петрашевского. По его тону было не совсем ясно, какого медведя он имел в виду и желает ли, чтобы его шкуру делили.

— У нас общий враг: Николай. Как Шевченко, как наш учитель Костомаров, я считаю нашими злейшими врагами царя и его предков, в частности Петра I и Екатерину II. Мы все в одинаковой мере жертвы царского гнета. Во всей империи все подавлено. Или, как сказал наш отданный в солдаты национальный поэт Шевченко: «От молдаванина до Финна — На всех языках все молчит. — Бо благоденствует!»

Все засмеялись.

— Я хотел бы прямо поставить вопрос, — сказал Виер. — Ни для кого не тайна, что мы находимся на пороге европейской войны. Очень скоро начнется война между империей Николая, с одной стороны, и Францией и Англией — с другой. Мне чрезвычайно интересно было бы узнать, каково будет в этом случае поведение вашего общества, украинского народа вообще, а также самих великороссов?

Наступило молчание.

— Мы затруднились бы ответить на ваш вопрос. У нас это пока не обсуждалось, — сказал председатель.

— Напрасно. В Париже доподлинно известно, что Франция и Англия надеются на поддержку народов нынешней Российской империи в целях их собственного освобождения. Они надеются, что в России вспыхнут восстания.

— «Надежды юношей питают», — пробормотал Сергей Сергеевич, впрочем, не очень внятно.

— Я не хотел бы вводить нашего гостя в заблуждение, — сказал председатель. — Восстание в России маловероятно.

— Особенно перед лицом иностранных армий, — подтвердил член кружка Петрашевского. Виер холодно взглянул на него.

— Я не знаю вашего народа, но я думаю, что он не так дорожит крепостным правом, от которого его освободит победа французов.

— Тем не менее восстание маловероятно, особенно если будет выдвинут лозунг отделения от России ее земель.

— «Ее земель», — проворчал человек в красной рубаше и махнул рукой, показывая, что больше спорить не о чем.

— Допустим, что ваш народ, как вы, считает эти земли своими. Но теперь передовая европейская мысль признает примат социального над национальным, — сказал Виер. Гимназист-хозяин, принесший из другой комнаты огромный поднос с закусками, испуганно на него взглянул: он этого замечания не понял и смутился.

— Какой уж там примат или непримат, когда палками погонят воевать! — сказал, пожав плечами, пожилой член кружка, до сих пор не принимавший участия в споре.

— Палками гонят стадо, — ответил Сергей Сергеевич, — а мы люди, а не животные. Но из истории не так легко вычеркиваются столетия.

— Господа, пожалуйста извините, что прерываю, позвольте мне поставить это на стол, — сказал хозяин. — Посторонись. Миша, а то уроню все тебе на голову. Прошу, господа, закусить, чем Бог послал.

## IV

And here she erected her aerial palaces<sup>1</sup>.

*Walter Scott*

Ответ графу составила Лиля. Конверты были куплены различные. Она долго колебалась: как надо написать: «Comte» или «Monsieur le Comte»?<sup>2</sup> Еще дольше думала о том, как одеться. У нее было шесть вечерних платьев, но из них три были киевские. Остановилась на петербургском, самом дорогом. «Конечно, и эта Зося будет? Верно, она лучше меня, — вздыхая, думала Лиля. — Да и что ж, когда я не полька...» О платье матери заботиться не приходилось: у нее вечернее было только одно. «Кажется, мосье Яну не нравится, что я маму называю «Mon chou»<sup>3</sup>. Да, они, поляки, такие учтивые, особенно с родителями. Сыновья целуют отца в плечо. Буду говорить «taman»...

В день приема к ним под вечер приехал Тятенька напояженный, надушенный, в каком-то странном мундире, зеленом, с голубым воротником, с оранжевыми отворотами. Лиля всплеснула руками.

— Тятенька, что это?

— А, так и вы получили приглашение? — радостно спросила Ольга Ивановна. Она уже когда-то видела Тятеньку в этом мундире.

— Получил. «И я». Удостоился, — смиренно-иронически отвечал он. Приглашение пришло в последний день, несомненно, по ходатайству Виера. Тятенька делал вид, что ему всё равно. — Не пригласили бы, так лежал бы спокойно на полатях, тихо, хорошо, — говорил он, хотя едва ли мог бы провести хоть один вечер не в гостях.

— Но что же это за наряд! Ведь у них не маскарад!

— Это, не «наряд», а мундир киевского дворянства.

— Да какой же вы дворянин?

— У нас на Кавказе все дворяне. К киевскому дворянству я не приписался, но мог бы приписаться в любой миг и приняли

---

<sup>1</sup> «Здесь-то она воздвигла свои воздушные замки».

<sup>2</sup> «Граф» или «Господин граф»? (фр.)

<sup>3</sup> «Душенька» (фр.).

бы, — неуверенно сказал Тятенька и рассмеялся. — А естли хочешь знать правду, то оказалась большая неудобность: самый расчудесный из моих фраков проела проклятая моль! Сегодня смотрю: дырки. Уж я мою старую дуру лаял, лаял, да что с нее возьмешь: прилежаше пития хмельнаго. Что же мне было делать?

— Да вас еще в тюрьму посадят! И никто не ездит в гости в дворянском мундире, разве где-нибудь в провинции, в Житомире! Да и мундир теперь совсем другой, теперь общий для всех губерний. Я все наши мундиры знаю, могу отличить любой полк.

— Вздор, ни в какую тюрьму не посадят, и я лучше тебя понимаю, как надо ездить в гости к графьям. Только вот что, голубки, красавицы, милочки, по дороге к вам у меня на животе оторвалась сверху пуговица штанов! Я и то едва в них влез. Не пришьете ли, красавицы?

— Разумеется, я сейчас пришью. И снимать не надо эти... панталоны. Я на вас и пришью, — конфузливо сказала Ольга Ивановна.

— Чувствительно благодарю вас, Оленька.

— Тятенька, надо говорить «благодарю вас». Это немцы говорят «благодарю вам», «danke Ihnen», — сказала Лиля.

— Дурочка, что ты понимаешь! Надо говорить «благодарю вам». Всё равно, как «благодарю вам». «Благодарю» значит «дарю благо».

— Уж я не знаю, что это значит, только никто так не говорит. И вы так не говорите. Видно, нынче хотите нас удивить.

— Что ты смыслишь, глупенькая! Сам митрополит Филарет пишет «благодарю вашему преосвященству». А никто так правильно не выражался, как он. Почище твоего Пушкина!

— Вечно спорите о пустяках, — сказала Ольга Ивановна, доставшая иголки и нитки. Она принялась за работу. — Давно вам пора, Тятенька, заказать новый фрак. Теперь больше носят оливковые, я и моему заказала.

— Закажу, закажу, Оленька милая. А тебе, клоп, отвечаю...

— И «отвечаю» никто не говорит! Вы что-то настроились на старинный лад! Ни к чему это, бросьте.

— Отвечаю, что и Гёте ходил в мундире. Я сам видел, как он в Эрфурте в пору встречи с Наполеоном...

— Знаем, слышали! — снова перебила его Лиля. Ей было и забавно происшествие с пуговицей, и немного она сердилась на

Тятеньку: слишком было уж это непоэтично. «Сейчас придет мосье Ян и увидит, как мама пришивает!» Но Ольга Ивановна пришила пуговицу быстро. Тятенька с чувством поцеловал ее в голову.

— Что «знаем, слышали», дерзкая девчонка? Сейчас вот встану и уши надеру. Всё косность моя, совершенно ты избаловалась.

— Знаем, что у них были необыкновенные лица, особенно у Наполеона, потому что он только что вернулся с острова Эльбы...

— Дурочка, с Эльбы Наполеон гораздо позже вернулся в Париж, и я его видел, вот как тебя вижу, в ту самую минуту, когда он въезжал в Тюильри. Не мудрено, что у него было такое лицо, что и сравнить ни с чем нельзя. А в Эрфурте...

— Знаем, знаем! И что они были в мундирах тоже знаем! Только ведь Наполеон в самом деле был военный.

— Что правда, то правда: был военный. А Гёте был не военный и не знатнее дворянин, чем я... Здравствуй, пане ласкавый, — сказал Тятенька. В комнату вошел Виер. Он был в синем фраке, который очень к нему шел. Лиля смотрела на него, тщетно стараясь скрыть восторг. — Да, может, ты, глупенькая, не хочешь ехать со мной?

— Хочу, хочу. И тапан хочет, — сказала Лиля. Тятенька был, конечно, не блестящий кавалер, но ехать совсем без кавалера было бы тоже не слишком приятно. Виер, приглашенный и на обед, не мог их сопровождать.

— То-то. Но тогда кормите меня ужином.

— Тятенька, до ужина еще далеко. До того мы с вами еще выпьем китайской травки, — сказала Ольга Ивановна. У нее были два-три таких словечка, чуть ли не заимствованных у Тятеньки. Лилю эти словечки раздражали. Иногда, правда, ей приходило в голову, что, может, и ее собственные французские замечания раздражают ее мать и особенно отца, но тут вина была на их стороне. — Лиленька говорит, что граф и не подумал бы нас звать, это вы ему нас навязали, мосье Ян.

— Навязал? вовсе нет, граф был чрезвычайно рад, — сказал Виер смущенно. Он не любил и не умел лгать.

— Пусть вам, мама, не будет совестно. «La conscience est de ces bâtons que chacun prend pour battre son voisin, et donc il ne sert jamais pour lui»<sup>1</sup>, — сказала Лиля фразу, выписанную ею из романа в

---

<sup>1</sup> «Сознание — это палка, которая нужна только для одного: колотить своего ближнего, и больше ни для чего она не подходит» (фр.).

тетрадку. Но по лицу Виера она увидела, что ему эти слова не понравились. Лиля была очень взволнована: и предстоящим чтением, и тем, что мосье Ян увидел ее в новом платье и ничего не сказал. Впрочем, он не замечал дамских туалетов да и комплименты говорил редко.

Звали на девять часов. Они выехали в три четверти десятого и думали, что приедут слишком рано. Этого в провинции боялись больше всего: опаздывать приличиями разрешалось, но оказаться в пустой гостиной было бы очень неприятно. Приехали они как раз тогда, когда главные гости — «те, что почище», — как говорил, смеясь, Тятенька, — уже выходили из столовой: трехчасовой обед кончился. Зала была приблизительно такая же, как у Лейденов, или только немного роскошнее. Чтобы нельзя было сказать, будто подготавливалось публичное чтение, стулья лишь теперь начинали расставлять полукругом перед небольшим столом.

Хозяин не сразу догадался, кто такие вновь прибывшие; он очень приветливо с ними поздоровался и велел лакею, проходившему с подносом, подать им шампанского. К облегчению Лили, граф не изумился, увидев мундир Тятеньки.

— А у нас сегодня знаменитый гость, — сказал он.

Объяснил, что в Киев приехал Бальзак и что он согласился прочесть один свой рассказ. — Нам удалось его упросить. Я вас с ним познакомлю.

— Ах, мы будем так рады! — сказала Ольга Ивановна. Лиля тревожно слушала, но мать сказала это по-французски без ошибки. Они сели рядом в третьем ряду стульев, так чтобы и не слишком близко к чтецу, но и не слишком уж далеко. Тятенька сел осторожно; опасался, как бы не раздавить хрупкий золоченый стул. Он пришел в самом критическом настроении. Отправляясь в незнакомый дом, да еще польский, да еще графский, заблаговременно выпил для храбрости. «Там верно ничего кроме чаю и печенья не дадут. Знаю я их, графьев», — говорил он за обедом. Шампанское его утешило, он выпил два бокала. «Лишь бы не слишком затянул твой Бальзакевич», — сказал он вполголоса. Лиля сделала страшные глаза. По ее мнению, они и между собой в этом польском доме должны были говорить по-французски, и никак не годилось называть Бальзака Бальзакевичем.



Ольга Ивановна до начала чтения успела осмотреть туалеты дам. Ничего замечательного не нашла, но один фасон заметила для Лили: «Опишу Степаниде, отлично сделает».

— Слава Богу, не мы одни русские, — вполголоса сказала она дочери. Лили не ответила: тревожно искала взглядом мосье Яна, нашла его и покраснела. Он стоял у дверей с молоденькой, очень хорошенькой барышней. «Она! — подумала Лили. — Лучше меня!.. Или нет? Ох, лучше!»

Бальзак лениво, переваливаясь, вошел в залу в сопровождении поклонников и поклонниц. Одет он был небрежно, что удивило гостей: все слышали рассказ с необыкновенном щегольстве этого писателя. Лили не обратила внимания на его костюм, но наружность Бальзака ее разочаровала. «Вот не думала, что твой Бальзак такой!» — прошептала разочарованно и ее мать. «Одет как будто всё взято напрокат! — радостно шептал Тятенька. — И старый! Я такого в лавку приказчиком не взял бы!» — «Тятенька, это верно Ганская, правда?» — спросила взволнованно Лили, глядя во все глаза на даму, вышедшую из столовой; у нее вид был и сконфуженный, и вместе с тем какой-то хозяйский. На воображение Лили действовало то, что Ганская была *любовницей* Бальзака. «Да, конечно, это Ганская! Ах, как одета!» — прошептала Ольга Ивановна. «Ничего особенного, мама! Я это платье видела еще в Петербурге! И совсем она не красива, и немолодая. Что он в ней нашел?» «Пенензы»<sup>1</sup>, — ответил Тятенька.

Хозяин дома поспешно прошел к столику и остановился, с приветливой улыбкой глядя на собравшихся. Тотчас установилась тишина. Опершись на столик рукой, он по-французски радостным тоном объявил, что на долю дорогих гостей выпал необыкновенно счастливый сюрприз.

— Мне и в голову не приходило просить нашего знаменитого гостя читать нам что бы то ни было, — сказал он. — Но наши дамы набрались храбрости, и их похвальное мужество увенчалось большой наградой. Мосье Оноре де Бальзак согласился нам доставить огромное удовольствие. Как у каждого из нас, у меня в доме, конечно, есть его книги, и он нам прочтет свой рассказ «Le Prince»... — Граф чуть запнулся. Бальзак с улыбкой

<sup>1</sup> «Деньги» (пол.).

подсказал: «Le Prince de la Bohême». Он давно привык к тому, что люди, называвшие себя его горячими поклонниками, плохо помнили его произведения, а часто и вообще их не читали. — «Le Prince de la Bohême», — повторил хозяин и, чуть сгорбившись, на цыпочках отошел к своему стулу.

Бальзак неторопливо отпил глоток сахарной воды, откашлялся и пододвинул к себе книгу. Он любил читать свои произведения, особенно артистам театров: показывал им, как *надо* читать. В кругу артистов не церемонился, развязывал галстук, расстегивал рубашку, а то и снимал фрак. Здесь этого сделать было нельзя. В этот вечер он чувствовал себя лучше, чем обычно в последнее время, и знал, что будет читать хорошо. Начал он с комплиментов собравшимся гостям. Подумал было, не похвалить ли Россию, но это было не очень удобно, так как дом был польский и почти все гости — поляки. Не годилось хвалить и Польшу, так как она официально не существовала, а один из гостей, как ему вскользь сказал хозяин, был важный русский чиновник. Поэтому он похвалил Киев; добавил, что пишет книгу: «Lettre sur Kiev». Это вызвало первые, довольно долгие рукоплескания; гости не догадались, что надо было аплодировать при его появлении. Бальзак с усмешкой смотрел на публику. Обратил внимание на Лилию, на Зосю, раздел их глазами, прочел в блестящих глазах Лили то, что она чувствовала, и вздохнул. «Мне бы ее шестнадцать лет, я перевернул бы мир. Но теперь...» Когда рукоплескания прекратились, он заговорил снова:

— Это мой *небольшой* рассказ, — подчеркнул он по привычке опытного чтеца, — я набросал уже довольно давно, а закончил и отдал недавно. Он посвящен моему другу, знаменитому немецкому поэту Анри Эн, которого вы все, конечно, читали.

Гости закивали головами. «Какой Эн? Я и не слышала о таком», — шепнула Ольга Тятеньке. «Это Гейне, его все знают», — ответил Тятенька. «И я знаю, да неужто они произносят Эн?» — «Что ж тут странного? Мы тоже произносим неправильно. Немцы говорят «Хайне». — «Тятенька, мама, умоляю вас, замолчите!» — прошептала Лилия. Впрочем, и другие гости еще переговаривались. Лилия увидела, что Виер сел в последнем ряду, далеко от них, но далеко и от Зоси. Бальзак открыл книгу.

Как ни мало было ему интересно это небольшое киевское общество, он тотчас увлекся чтением. Читал он превосходно, всё разыгрывал в лицах. Рассказ был построен очень сложно, так что и понять было не так легко. Главным действующим лицом был Габриель-Жан-Анна-Виктор-Бенжамен-Жорж-Фердинанд-Шарль Эдуард Рустиколи, граф де ла Пальферин, из семьи, прибывшей во Францию с Екатериной Медичи и находившейся в родстве с Гизами и с Эсте. «Ишь как разнесло, — шепнул Лиле Тятенька. — Уж такой граф, уж такой граф! Любит, видно, шельма, графьев». В графа де ла Пальферина была страстно влюблена какая-то дама, встреченная им на бульваре. Ни эта женщина, ни граф Тятеньку не заинтересовали. Он всё искал, к чему придраться, и нашел только в конце: муж дамы, французский водевиллист Брюэль, за что-то получил русский орден Владимира II степени. «Всё ты, братец, брешешь! Никогда щелкоперу такого ордена не дали бы. Ни в жисть! — шептал Тятенька. — Ох, проклятый стул! Нозе мои изнемогосте суты!»

Ольга Ивановна, напротив, слушала очень благожелательно, но не всё понимала. Чрезвычайно понравилось ей то, как Бальзак говорил по-французски. — «Совсем не так говорит, как у нас! Даже Фундуклей говорит куда хуже!» — шепнула она дочери. Лиля фыркнула и ответила, что было бы очень странно, если бы Бальзак говорил по-французски хуже Фундуклея. «Ох, что-то сюжет уж очень вольный для Лиленьки, — с беспокойством думала Ольга Ивановна. — И так она целый день читает такие книжки, а тут еще на людях... Но ведь здесь есть и другие барышни, теперь ведь не те времена, не то, как меня воспитывали. А уж французы без этого не могут...» Впрочем, ее немного задело, что, по словам Клодины, женщина тридцати пяти лет не может рассчитывать на любовь. Ольга Ивановна отнюдь не собиралась кружить головы мужчинам. Тем не менее это замечание кольнуло ее. «Да ведь он-то и выдумал бальзаковский возраст!» — обиженно думала она. «Бальзаковскому возрасту» автор «Человеческой комедии» и был преимущественно обязан своей популярностью у женщин всего мира.

Клодина, женщина легкомысленного образа жизни, вышла замуж, чтобы иметь настоящих теток. «J'aurai de vraies

tantes»<sup>1</sup>, — объясняла она. «Вот это верно, — подумала Ольга Ивановна, — и Марья Ивановна была такая». В зале послышались смешки. Общие улыбки вызвали и слова о «le souverain parce que des femmes»<sup>2</sup>. У Клодины были дивные волосы, столь же прекрасные, как у герцогини Беррийской. «А я и не знала, что герцогиня Беррийская славится своими волосами», — шепнула Ольга Ивановна Тятеньке. «Может, и славится, да ему какое дело? Выдумывать может что угодно, а так не годится писать. Точно он гладил герцогиню Беррийскую по головке... Всё он врет! И насчет балета тоже брехня, будто все знаменитые танцовщицы уроды... И что это такое: «Верхнее до танца?» Щелкопер!» — шептал Тятенька.

Виер слушал еще более враждебно. Ему не нравились ни рассказ, ни его автор. «Никаких убеждений у него нет. Этот человек ничего не любит кроме денег и знати. И пишет он так, будто сам к ней принадлежит, а на самом деле он плебей, проникший в высшее общество благодаря своей славе. Прав Бланки, что терпеть его не может... Если б, конечно, этот граф с шутовским именем не был в родстве с Гизами и с Эсте, то его можно было бы назвать хамом», — думал Виер, понимавший только рыцарское отношение к женщинам.

— «Желаю вам такой любовницы! — сказал нам однажды Пальферин. — Нет собаки, которую можно было бы с ней сравнить по совершенной покорности и преданности. Иногда я себя упрекаю, спрашиваю себя, почему я с ней так строг. Она подчиняется с кротостью святой. Она приходит, я ее выгоняю, она плачет, но только уже во дворе. Я не пускаю ее к себе целую неделю, затем назначаю ей свидание в будущий вторник, например в полночь, в шесть часов утра, в десять, в пять, в самое неудобное для нее время, когда она завтракает, обедает, встает, ложится. О, она придет точно в указанный час, будет прекрасна, восхитительна. А ведь она замужем, она связана обязательствами по дому. К каким только хитростям она ни вынуждена прибегать, каких только предлогов ни должна выдумывать, чтобы подчиняться моим капризам! Она пишет мне каждый день, я ее писем не читаю, она это видит — и продол-

<sup>1</sup> «Я буду иметь настоящих теток» (фр.).

<sup>2</sup> «...господине, достигшем высот благодаря дамам» (фр.).

жает писать! Вот в этой шкатулке лежит двести ее писем. Она просит меня каждый день вытирать мою бритву ее письмом. Я это и делаю! Она думает, и правильно, что вид ее почерка мне о ней напоминает...»

«Да, это и есть настоящая любовь!» — думала Лиля, замирая от восторга и стыда. У нее было такое чувство, будто Бальзак читает нечто непристойное или будто он ее подсмотрел в ванне. Лилия год тому три раза целовалась прошлым маем с гимназистом в Государевом саду, где волшебным пахло сиренью. Но этот гимназист не был похож на графа Пальферина и скоро уехал из Киева, поступив в Московский университет. С той поры она ни в кого влюблена не была. Это очень ее тяготило и даже мучило: «Уходят лучшие годы! Ведь после двадцати лет всё будет кончено!..» Тридцатилетние женщины казались ей старухами; она только изумлялась и плохо верила, когда подруги ей говорили, что генерал-губернатор влюблен в даму тридцати пяти лет. «Правда, он сам дряхлый старик», — говорила она. Подруги тоже смеялись: «Влюблен в тридцатипятилетнюю!»

Она слушала о графе де ла Пальферин и думала о мосье Яне. Как будто они тоже совершенно друг на друга не походили. И всё-таки что-то, верно, у них было общее. «Вдруг и мосье Ян так относится к своим *любовницам*. У него наверное в Париже были *связи*. Может быть, несколько связей, — замирая, думала Лилия, не пропуская вместе с тем ни одного слова из того, что читал Бальзак. — Да, разумеется, они относятся к нему так же, как она к графу де ла Пальферин. Но он верно не так с ними груб?» Грубость графа всё же несколько коробила Лилию. «Какое красивое имя: граф де ла Пальферин! Виер тоже хорошее имя. Он потомок графа Де Виера!.. Я завтра же куплю этот рассказ, если только его можно найти. Возьму у мамы денег вперед, папа наверное дал бы, да и мама даст, уже скоро первое...» Бальзак изредка отрывался от текста и обводил глазами публику. Вдруг он встретился взглядом с Лилей. Ей показалось, что он чуть усмехнулся. Она замерла. «Ведь он все видит, он видит людей насквозь!.. Кондотьер? Граф кондотьер. Что такое кондотьер? Может быть, и мосье Ян кондотьер?» Она оглянулась и вспыхнула: Виер как раз смотрел на нее. Он тоже смутился и тотчас отвел глаза. И впервые с совершенной

ясностью она поняла, что влюблена, *безумно* влюблена в мосье Яна. «Неужели он всё время смотрел на меня сзади! Надо повернуться спиной к Тятеньке... Но не сейчас, а через минуту, чтобы он не догадался. А что, если он в эту Зосю не влюблен? Ах, какое это было бы счастье!»

Когда Бальзак кончил, в зале раздалось рукоплесканья. Бальзак с любезной улыбкой раскланивался. Хозяин дома долго и горячо жал ему руку и говорил комплименты. Подходили и другие слушатели, те, что были посмелее и хорошо говорили по-французски.

— ...Так, значит, и вы ненавидите это новое слово «blague»<sup>1</sup>? Я так был рад, услышав от вас, что оно в вашем прекрасном языке не удержится, — сказал польский помещик, проживший два года в Париже. Он учтиво посторонился, давая дорогу Ольге Ивановне и Лиле, которых подвел к Бальзаку хозяин. За ними неуверенно подошел и Тятенька. Хотя рассказ ему не понравился, всё же было лестно пожать руку такому знаменитому человеку. Граф скороговоркой представил и его: не был уверен в его имени, но догадался, что Бальзак все равно ни одного имени не запомнит.

— Ах, мы с дочерью такие ваши поклонницы! — говорила Ольга Ивановна. Дальше ничего не могла сказать: хозяин подводил других гостей. Бальзак кланялся, благодарил и целовал дамам руки. Он был очень доволен, в особенности тем, что сердце не стучало и что одышки не было.

Лиля опять оглянулась на мосье Яна. Он к столику не подошел: теперь опять стоял с Зосей. Лица у них были взволнованные. У Лили упало сердце. Она поспешно отвела глаза и встретила взглядом с Тятенькой. Он тоже увидел польскую барышню, усмехнулся и, нагнувшись к уху Лили, тихо сказал:

— Вот это она и есть, панна Зося. Только я и забыл вам сказать: это всё, оказывается, неправда. Или, может, *была* правда, а теперь кончено. Наш пан Ян остался с носом. Она выходит за другого. Страшный богач: три тысячи душ, полезда леса, — сказал Тятенька. Он то преувеличивал чужое богатство, то начисто его отрицал: «Да он в долгу как в шелку, скоро всё достояние продадут с молотка и пойдет верно поби-

---

<sup>1</sup> «Вранье» (фр.).

раться», — иногда ни с того ни с сего говорил он о слишком высокомерных помещиках или же о киевском книготорговце Литове, которого недолюбливал — не за конкуренцию, а за недостаточное понимание книги.

Лиля замерла от восторга. Собственно, главное для нее не изменилось: всё равно она не могла выйти замуж за мосье Яна. Ей было и жаль его: «Как он, верно, страдает!» Но не радоваться она не могла. «Хороша же эта Зося! И она еще смеет с ним разговаривать!.. А может быть?.. Вдруг это возможно?.. Говорят, за границей это разрешено! Я попрошу, я умолю папу и маму отпустить меня за границу!.. Надо взять себя в руки, надо успокоиться».

Некоторые гости были, очевидно, приглашены и на ужин. Ольга Ивановна заторопилась: опасалась, как бы не подумали, что она напрашивается на приглашение. Хозяин, проводжая, очень учтиво их благодарил за доставленное ему удовольствие. «Что вы, помилуйте! Это вы нам доставили такое удовольствие!» — говорила Ольга Ивановна. Лиля теперь и не заметила, что мать сделала по-французски две ошибки. Сама она ничего не сказала хозяину дома; Ольга Ивановна потом дома ее за это упрекала. «Где он? Остается ужинать? Что я ему скажу?..» Она увидела Виера внизу. Он надевал шубу. Шуба у него была дешевая, швейцар ему даже ее не подал.

— Ну, что, какой был обед? — вполголоса по-русски спросила его Ольга Ивановна. — Верно, блюд двадцать и шампанское?

— Совершенно верно, — улыбаясь, подтвердил Виер.

— Вы познакомились с Ганской? Правда, что она такая интересная?

— Интересная ли? Во всяком случае, она очень любезна: просила меня приехать к ней в Верховню. Я за столом оказался ее соседом.

— Вы поедете?

— Может быть. Не знаю еще.

— Надолго?

— О, нет. На несколько дней.

— А как вам понравился Бальзак? Великий писатель, — без уверенности сказала Ольга Ивановна, — как прекрасно читает!

— Я не большой его поклонник.

— Щелкопер! — подтвердил Тятенька, очень довольный тем, что побывал на чтении. — Французскому водевилисту дали Владимира II степени! Это как если б нашему Ленскому пожаловали Андрея Первозванного! А естли не знаешь, то не пиши. А естли тут сочиняешь вздор, то верно и другого не знаешь.

— Ах, нет, мне очень понравилось, и он такой любезный, — сказала Ольга Ивановна.

— А вам понравилось, мадмуазель Лиля? — спросил Виер рассеянно.

— Очень. Страшно понравилось! *C'est un écrivain admirable!*<sup>1</sup> — нараспев выговорила Лиля. Она успела «взять себя в руки».

### [V]

Обвинять самого себя было бы бесспорно излишней роскошью: мои враги совершенно освободили меня от этой работы.

*Граф Бейст*

— Отчего же вы ненавидите Россию, мой молодой друг? — спросил Бальзак. — Конечно, это страна, так сказать, безбородая. но ведь такова и Польша, хотя она несколько раньше приобщилась к европейской, то есть к французской, культуре. Хотите ли вы этого или нет, России принадлежит будущее: она станет главенствующей державой в мире, просто по своей огромной территории, по многочисленности населения, по обилию природных богатств. Не лучше ли добровольно перейти на сторону сильного? Русский император и теперь самый могущественный человек на земле. Я его видел на параде в Красном Селе. У него каменное лицо и именно такая наружность, какая нужна для власти. Мне в жизни не приходилось встречать столь красивых и величественных людей... Кстати, я как-то по счастливой случайности относительно дешево приобрел изумительный портрет Мальтийского рыцаря, я его приписываю кисти Рафаэля. Требую за него милли-

---

<sup>1</sup> Это замечательный писатель! (*фр.*)



он франков, но пока нет покупателя. Хочу его предложить императору Николаю. Как вы думаете, он примет?

— Если примет, то наверное хорошо заплатит, хотя, конечно, не миллион, — ответил, с трудом сдерживаясь, Виер. — Но, вероятно, не примет, тем более, что едва ли ваша картина принадлежит Рафаэлю.

Бальзак взглянул на него и усмехнулся.

— Хотите чашку кофе? Никто в мире не умеет готовить кофе так, как я!

Он с трудом приподнялся в кресле, придвинул к себе небольшой столик и налил из кофейника кофе в две чашки. Затем снова откинулся на спинку кресла и положил ногу на тумбу, стоявшую у жарко натопленного камина. На его халате на длинном шнурке с брелоками и теперь висели небольшие ножницы. Виер знал, что это одна из его бесчисленных причуд. «Все не как люди. Насколько было бы удобнее держать ножницы на письменном столе».

— Благодарю вас.

— Что вы делаете? Зачем кладете сахар? Разве можно портить сахаром кофе!

— Можно. С сахаром он гораздо вкуснее, — ответил Виер и точно на зло ему или чтобы оградить свою независимость всыпал в чашку две ложки сахарного песка, хотя всегда пил с одной.

Он уже три дня гостил в Верховне. Не знал, зачем приехал, и несколько на себя за это досадовал. Иногда в Киеве тяготился приглашениями на обеды: три-четыре часа, потраченные на пустые, совершенно не интересные и никому не нужные разговоры. Теперь принял приглашение на целую неделю к чужим людям другого круга; вдобавок, не любил и не умел жить в гостях. Виер говорил себе, что для его доклада в Отель Ламбер бесполезно узнать, что думают о политических делах богатые польские помещики. «А в сущности, быть может, поехал просто для того, чтобы увидеть, как живут эти господа», — возражал себе он. Почти все в этом доме раздражало его, хотя хозяева были с ним так же любезны, как с другими гостями, соседними помещиками. Правда, гости размещались по рангу, и ему предоставили небольшую комнату в самом конце бокового крыла. Но он отроду не жил в такой роскоши, был ею смущен и за это

особенно на себя злился. За завтраком, за обедом к каждому прибору ставили четыре стакана, он не знал, в какой стакан какое вино наливать и невольно следил за тем, как поступали другие, и из-за этого еще больше раздражался и на них, и на себя. После обеда все переходили в гостиную, где на стенах висели картины прославленных художников. Виер утешал себя тем, что это все подделки. Он обычно молчал или отвечал довольно кратко. И люди, и разговор казались ему малоинтересными.

Виер и в Париже читал Бальзака, а в Киеве перед поездкой в Верховню прочел еще несколько книг, бывших в маленькой библиотеке Лили. И он все не мог примириться с мыслью, что это знаменитейший европейский писатель. Многое казалось ему просто хламом, многое другое было не выше уровня романов Дюма или Сю. Были и романы, казавшиеся ему превосходными; да и в плохих книгах были замечательные страницы, необыкновенно точные и верные описания. «Зрительная память у него, должно быть, феноменальная. И такая же феноменальная *verve!*<sup>1</sup>» — думал Виер. В Верховне Бальзак не показался ему вначале и блестящим *causeur*<sup>2</sup>.

Он часто говорил кратко, почти отрывисто, хотя не говорил никогда банально. Однако порою он бывал гораздо лучше, чем *causeur*, — тогда все его заслушивались; и даже Виер невольно чувствовал, что находится в обществе необыкновенного человека. Раздражал его Бальзак с каждым днем все больше. Он всегда как будто играл роль — большей частью превосходно; роли же менял постоянно, в зависимости, очевидно, от своего настроения и от того, с кем разговаривал. С Ганской он говорил как Ромео с Джульеттой, на лице его было написано восторженное обожание, которое Виеру казалось просто смешным: «Оба, слава Богу, люди довольно почтенных лет». Со знатными польскими помещиками Бальзак говорил как иностранный аристократ помещик, хотя вышел он почти из низов и никаких имений у него никогда не было. Говорил об урожае, о покосе, о качествах земли, — как будто в этом также знал толк; говорил о прелестях богатой привольной сельской жизни и говорил так, что было любо слушать. А после

---

<sup>1</sup> Остроумие (*фр.*).

<sup>2</sup> Остролов (*фр.*).

того, как очарованные им гости уезжали, он их изображал в лицах, подражал их французскому говору, и Виер не мог не смеяться, так это было хорошо.

Раз за обедом Бальзак каким-то своим суждением так раздражил Виера, что он стал возражать и возражал довольно резко. Потом сам сожалел: по выражению лица Ганской и по тому, что все замолчали, ему показалось, что он сделал нечто не совсем допустимое, особенно ввиду разницы в годах и того благоговения, которым был окружен в доме знаменитый гость. Однако именно его резкость, а также его прекрасный французский язык произвели некоторое впечатление и как бы повысили его общественный ранг. Бальзак отнесся к его выходке благодушно, обратил на него внимание и даже пригласил зайти как-нибудь в его кабинет, чтобы закончить этот интересный разговор. Это было в доме тотчас отмечено и оценено: такую честь Бальзак оказывал в Верховне немногим. К нему редко заходили и хозяева, чтобы не мешать ему работать. Не зашел бы и Виер, но в этот день французский гость прислал за ним приставленного к нему польского камердинера. Очевидно, Бальзаку захотелось поболтать.

— Отчего же вы думаете, что мой Рафаэль поддельный?

— Оттого, что настоящих Рафаэлей неизмеримо меньше, чем подделок. У госпожи Ганской тоже все больше подделки.

Бальзак поднял брови.

— У *госпожи* Ганской? Вы даже не хотите давать титул нашей очаровательной хозяйке?

— Не я не хочу. Очевидно, не хотели монархи. Никаких графов Ганских в Польше нет, — сказал Виер. «Разумеется, неудобно так говорить о хозяйке дома ее любовнику. Впрочем, если он в разговоре с поляком восторгается царем, то зачем же мне стесняться?»

— Будто? Титулы очень важная вещь, но я с польской генеалогией не так знаком... Вы, по-видимому, человек очень твердых убеждений?

— Да, очень твердых.

— Нет ничего вреднее в политике, чем твердые убеждения. Лафайет был человек твердых убеждений, и Франция от него ничего кроме вреда не видела. А вот Талейран своих убеждений не занашивал, и едва ли кто другой имеет перед Францией столько заслуг, сколько он.

— Вдобавок он имел большие заслуги и перед самим собой: оставил огромное состояние, так как всем своим покровителям изменял и всем желающим продавался.

— Мирабо и Дантон были тоже продажные люди. Да и какое мне дело до их честности? Все большие государственные люди были воры и грабители. Одни воровали со взломом, другие без взлома. Ришелье, Мазарини, Потемкин оставили огромные богатства, нажитые, как вы знаете, не слишком честным трудом, но дай Бог, чтобы на верхах власти всегда были Потемкины и Ришелье. А честнейший Лендэ довел Францию до банкротства. Людовика XVI, как затем и Конвент, погубили честные дураки, относившиеся к государственной казне, как к святыне. Да и нет вообще добродетельных людей в политике; есть только обстоятельства, при которых государственный человек, а может быть, и человек вообще, может быть добродетелен... Вы, конечно, крайний демократ? — спросил Бальзак. не совсем понимавший, как в Верховню мог попасть человек таких взглядов.

— Это тоже совершенно верно.

— Ах, как жаль. Все молодые люди теперь так настроены. Ну, не все, так очень многие. Неужели они не видят, что демократия не имеет будущего?

— Вероятно, по своей глупости не видят.

— Ведь она сама себя съест. Демократия породила социализм, а он старый отцеубийца. Да он с ней и не имеет ничего общего. Есть такая итальянская поговорка: «Этот хвост — не от этой кошки»: «*Questa coda noné di questa gatta*». По доброй воле человечество никогда от частной собственности не откажется. Поэтому столкновение между демократией и социализмом неизбежно, хотя формы, в какие оно выльется, предвидеть невозможно. Они могут быть самыми неожиданными, особенно для вас. Я допускаю, что народ, самый настоящий народ, может — и как еще может! — побежать за колесницей правителей, которые будут еще более суровыми и жестокими людьми, чем император Николай... Мне, впрочем, отлично известно, что есть самые разные формы социализма. Я говорю не о фуриеизме и не о сен-симонизме. Графу Сен-Симону я даже многим обязан в своем понимании мира, но меньше всего в политике. А вот теперь появился коммунизм: человечество заболело этим

раком и едва ли вылечится. Коммунистическое учение слишком соблазнительно для народных масс. И по внешности оно очень близко к русскому самодержавию, только гораздо хуже. Что оно даст так называемым пролетариям? Ничего, кроме того же кнута. Люди глупы, лишены воображения и неизобретательны. Как говорит мой друг Теофиль Готье, они даже не могли выдумать восьмого смертного греха... Вас оскорбляют мои слова?

— Нисколько. Извините меня, они просто... Просто не интересны.

— Вы хотите сказать «просто глупы», — сказал Бальзак, улыбнувшись. Он не потерпел бы непочтительности со стороны людей с именем, напротив от них требовал даже благоговения, но на этого неизвестного молодого человека не стоило обращать внимания. — Ну, что ж, когда-нибудь увидим, кто прав.

— Вы, очевидно, соглашаетесь только на кнут царя?

— Нет. Как писателю, мне, конечно, нужна свобода. Не очень большая, я вполне довольствуюсь и маленькой... Вы, может быть, находите у меня противоречия? Совершенно верно. Я полон противоречий, как жизнь, которую я все-таки недурно изображаю, правда? И все-таки, по-моему, ваш царь...

— Извините, он не мой!

— И все-таки император Николай один из самых замечательных правителей в истории. Он напоминает мне Людовика XIV. Великой правительницей была и Екатерина Медичи, самая замечательная наша королева. Вы скажете, конечно, что она устроила Варфоломеевскую ночь? А разве протестанты не устраивали таких же зверств? Принцип *una fides*<sup>1</sup> был великий принцип. А ваши революционеры? Когда народ устраивает резню, вы ею восхищаетесь, а когда резню устраивает монарх, он злодей, правда?

«Кого-то он теперь изображает? — подумал злобно Виер. — По-видимому, помесь Макиавелли с Меттернихом? Он и рассказывал, как Меттерних с ним беседовал. Оба они друг друга стоят, оба самодовольные, самоуверенные реакционеры».

— После казни Людовика XVI, — сказал он, — царица Екатерина II была в ужасе. Но один русский вельможа пошутил: «Да что ж тут, матушка, удивительного, если все отрубили голову одному? Гораздо удивительнее, когда один рубит головы всем!»

<sup>1</sup> Единоверие (лат.).

— Вельможа был остроумный, но неумный. При Николае I отлично можно жить и работать. Я очень подумываю о том, чтобы принять русское подданство. Только в России теперь можно работать спокойно, — сказал Бальзак, точно нарочно его дразнивший.

— Спросите об этом некоторых русских писателей.

— Русских писателей? Разве в России есть писатели?

— Есть. Пушкин. Гоголь.

— О первом я что-то слышал. У нас есть даже общие знакомые. Да, помню, его убили на дуэли. А второй... Как вы сказали? Гоголь? Не слышал. Сейчас запишу. — Он вынул из кармана три тетрадки. — Я всегда ношу при себе записные книжки. Если вы захотите, избави вас Бог, стать романистом, первым делом купите себе записных книжек и все туда заносите. Запишите и наш сегодняшний разговор. Вы на старости лет, через полстолетия будете рассказывать детям, что спорили с Бальзаком («Вот именно! Очень ты будешь интересен через полстолетия!» — подумал Виер). Гоголь. Он переведен на французский язык? Какой же он писатель?

— Вроде вас.

— Как это «вроде меня»? — переспросил Бальзак — Бальзаков на свете мало. А теперь таких писателей, как я, в прозе и совсем нет!

— Я только хотел сказать, — пояснил Виер, очень довольный, — что Гоголь будто бы тоже выше всего ставит на свете правду. Ведь о вас говорят, будто вы ввели в литературу правду.

— А это нехорошо? Может быть, надо писать, как Александр Дюма? Или как мой друг Виктор Гюго? Он полоумный, но я его очень люблю. Теперь он у нас зарабатывает бешеные деньги, у меня просто слюнки текут. Правда, я и сам зарабатываю много, но у меня долги, настоящее сирокко долгов! Вы, конечно, обожаете романы Гюго? Они лучше моих, правда? — весело, однако как будто не без тревоги спросил он.

— Не знаю, лучше ли, но, хотя это суждение вас удивит, я нахожу, что у Гюго больше *настоящей* правды, чем у вас. Извините меня, разве у вас настоящая правда? В лучшем случае, ограниченная и условная. Разве у вас живые люди? Только немногие, только немногие. Вы большой мастер воображать людей, но изображаете вы их гораздо хуже. Если вы позволите это

вам сказать, у вас нет ни одного законченного, совершенного произведения: вы действуете на читателя мощью целого, в надежде, что из-за этой мощи он прочтет и хлам. Вы его презираете. Мощь же у вас, конечно, есть, это что и говорить. А ваше понимание мира? Все ваши люди помешаны на деньгах. Вам всего лучше удаются люди недостойные или хоть крайне антипатичные, как отец Гранде, не говоря уже о Вотрене. И одни ваши изречения чего стоят! Я не имею записных книжек, но у меня хорошая память, я ваши мысли помню. Вы знаменитый писатель, а что вы говорите о литературе! «В литературном мире, как и в политическом, каждый либо покупает, либо продается...» «Для приобретения литературной славы надо потратить двенадцать тысяч франков на рекламу и три тысячи франков на обеды...» «Секрет успеха романа: возвышенная идея в сочетании с порнографией...» Ведь вы же сами знаете, что это неправда. У вас порнографии нет, но нет и возвышенных идей. Вы реакционер в самом тесном смысле слова. Все ненавистники свободы могут многое у вас позаимствовать. Зачем нужна ваша «правда», то, что вы считаете правдой? Неужели вы серьезно думаете, что историю можно оттянуть назад на столетие? Вы теперь единственный большой писатель, никакой великой идее не служащий.

Бальзак пожал плечами. Теперь этот молодой поляк был ему совершенно ясен, точно он его знал всю жизнь, с детских лет. «Служитель великой идеи, пламенный революционер, мученик по призванию... Эти люди были не очень ему приятны, особенно если они служили идее революционной.

— Да, меня сто раз обвиняли в том, что я будто бы «все разлагаю». Такому же обвинению подвергались самые большие из писателей, от Рабле и Мольера... Кроме того, вы мне приписываете не мои слова, а слова моих действующих лиц. Не думайте, что я прикрываюсь этим приемом, но смешно делать меня ответственным за все то, что говорят люди в моих романах.

— А что вы говорите о деньгах? — продолжал Виер, увлекшись. — «Je suis de mon temps, j'honore l'argent...», «Ja sainte, la menerée, l'aimable, la graciuese, la noble pièce de cent sous...»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Я человек своего времени, времени культа денег...», «Святая, указывающая путь, любезная, привлекательная, благородная монетка в сто су...» (фр.).

— Да ведь это ирония.

— Как будто бы ирония, а на самом деле ясно чувствуется, что вы благоговеее перед богатством. И еще перед всякими герцогами и маркизами. Ну, что ж, вы сами *де* Бальзак, — сказал язвительно Виер. — Хотя кто-то говорил мне, что прежде вы подписывались просто Бальзак.

— Я принадлежу к очень старой семье, вдобавок всегда носившей это имя, — сказал Бальзак несколько уклончиво. — Ведь герцоги Монморанси назывались Бушарами, герцоги Ришелье назывались Дюплесси, герцоги Шатильоны назывались Одэ. В молодости, когда я занялся литературой, я решил, что для этого дела аристократическая частица не годится.

— Дело денежное, правда? Но о деньгах Рабле, Лесаж, Мольер писали то же, что вы, только без благоговения.

— Все это не так... Уточните, однако, чем же этот ваш Гоголь на меня похож?

— Он опять-таки не мой, он русский. Повторяю, похож он на вас тем, что тоже ввел в литературу правду. У него в «Мертвых душах» все подчеркивается, что от лакея Петрушки шел дурной запах. И с каким торжествующим видом подчеркивается: вот, мол, о чем я смею писать. Но мне эта правда не интересна, я ее знаю и без Гоголя, и без вас. И нечего смеяться над человеком, который живет в грязи по милости друзей Гоголя и ваших. Он, как и вы, благоговееет перед богачами и знатными людьми. Единственный человек, которого он изобразил с благоговением, это миллионер-откупщик. Как вы, Гоголь защищает крепостное право. Вы оба ненавидите людей, делая, впрочем, исключение для царей, князей и маркизов.

— Я не мизантроп, — сказал Бальзак усталым, скучающим голосом. — Но, конечно, я имел бы больше, еще больше успеха в мире, если б изображал человечество и жизнь в розовом свете. Люди очень любят, чтобы их хвалили и чтобы им говорили о приятном. За это они платят так называемым бессмертием. Вы, быть может, хотите, чтобы я писал, как пишут эпитафии? Пройдите по кладбищу Пер-Лашез и прочтите все надписи. Везде похоронены праведники, интересно, где хоронят мошенников?.. Нет, писать надо и самую скверную правду. Пиши и знай, что тебя будут травить... Дорого продается наша печальная литературная слава, дорого. Настоящие



творцы живут в вечной агонии, под вечной опасностью преследования. Никак не правительственного, нет. Общественного и личного. Избави вас Бог стать писателем, молодой человек! Лучше станьте убийцей. Или, что почти то же самое, врачом. Ведь мертвые не клеветают на тех, кто их зарезал. Я, впрочем, знаю и сам, что я писал и произведения слабые. И нет настоящего писателя, который не сожалел бы о тех или других своих книгах. Но каждого из нас потомство будет судить по лучшему из того, что он создал. Примите вдобавок во внимание, в каких каторжных условиях я работал почти всю жизнь: ведь я написал около ста книг! Примите во внимание и то, что я в литературе избрал не линию наименьшего сопротивления, как делают столь многие мои братья, а линию наибольшего сопротивления. Разве только одно: я всегда старался о том, чтобы мои книги были интересны. Но это я считаю *долгом* каждого романиста. Нет ничего хуже и беспомощнее *скучных* писателей, у них никакого будущего нет. Вольтер был совершенно прав, и так, как он, об этом думали все великие творцы. Шекспир ведь и интереснее в тысячу раз, чем какой-нибудь Эжен Сю. Надо быть интересным *в правде*, таков один из главных секретов литературы. Я знаю только одно гениальное произведение искусства без фабулы, — правда, быть может, самое гениальное из всех: это Екклесиаст, я ведь рассматриваю эту книгу как произведение искусства. Зато во всем остальном... А критике я никогда не придавал значения. Кажется, я единственный из писателей, отроду не просивший журналистов о рецензиях, даже чуть ли не единственный, осмелившийся сказать правду о газетах. Я их считаю язвой нашего времени. Газеты — разумеется, не каждая в отдельности, а они в совокупности — теперь, к несчастью, могущественней, чем были Наполеон или Людовик XIV. Они все опошляют, даже тогда, когда говорят правду... Хорошо, а кто же все-таки, по-вашему, теперь хорошие писатели?

— Поэты Шиллер, Виктор Гюго. И, добавлю, наш Мицкевич.

— Мицкевича я встречал в Париже. Говорят, он действительно талантливый поэт. Я его не читал. Что ж читать поэтов в переводе? Да я и вообще не слишком люблю стихи... Теперь я понимаю, молодой человек, за что вы на меня гневаетесь. Опять скажу: поживите еще лет двадцать, вдруг мы снова

встретимся в этом гостеприимном доме, которым вы, к сожалению, недовольны...

— Нисколько!

— И тогда опять поговорим. И о деньгах поговорим. Быть может, вы к тому времени заметите, что и в вашей жизни эти презренные деньги сыграют некоторую роль. А меня они замучили, как замучили миллионы людей. Как же об этом не писать?

— Писать надо, но не так, как вы и Гоголь. А как Бланки.

— Как Бланки? — протянул Бальзак. — Вот оно что! Я слышал, что этот сумасшедший человек терпеть не может мои книги. Вы его поклонник? Понимаю. А по-моему, если вашему Бланки передать власть, не говорю на год, а на один месяц, то от Франции ничего не останется. Между тем Франция это высшее из всего, что было и будет в истории. Поэтому я очень надеюсь, что вашему Бланки свернут шею до того, как он начнет свертывать шеи другим. Первым же он свернет шею, конечно, своему единомышленнику Барбесу. Тот уж просто душевнобольной. Впрочем, не гневайтесь на меня, я вижу, что вы кипите негодованием! Нет, нет, я не кровожаден. Будет совершенно достаточно, если Бланки сошлют куда-нибудь подальше, например в Патагонию. Патагонцев мне не так жалко, как французов. Ну, что ж, ваша откровенность делает вам честь. Только вы ошибаетесь. Вы и жизнь, и мои книги, они ведь отражают жизнь, — вы их понимаете несколько... Скажем, несколько элементарно. И я не об одних деньгах писал. Я писал о них ровно столько, сколько нужно: пропорционально месту, занимаемому ими в жизни. Я власть денег ненавижу больше, чем вы, и испытал ее на себе тоже больше, чем вы, чем вы *пока*. Но главное в жизни, конечно, не деньги.

— Главное, это, вероятно, искусство?

— Да. Весь смысл человеческой жизни именно в этом.

Он встал, тяжело опираясь на ручку кресла, подошел к левому окну и пригнал к подоконнику концы спущенных штор. Затем вернулся к столу, бросив взгляд на зеркало. Только теперь Виер заметил, что лицо у него совершенно измученное. «То-то не очень разговорчив...» Бальзак потушил три свечи в канделябре. Осталась только одна.

— Сегодня у меня не очень удачный рабочий день, — сказал он. — Правда, это мне дало возможность побеседовать с умным

демократом, они ведь попадают не так часто. Обычно я в эти часы работаю. Впрочем, я всегда работаю, даже тогда, когда не пишу. Из писателей один Вальтер Скотт работал столько же, сколько я. Знаете ли вы, как я пишу? Издатели жалуются, что я их разоряю корректурами. И действительно, у меня, как у Шатобриана, последняя корректура имеет мало общего с рукописью, иногда даже по сюжету. А язык? Наш французский язык? Я в молодости его не знал, хотя я самый коренной француз. Я с ним борюсь уже тридцать лет, это трудно, необычайно трудно. Вообще, мое творчество самые настоящие каторжные работы. И так работают все настоящие художники. Энгр одну из своих картин писал десять раз: доводил до конца, выбрасывал и начинал сначала. Так же пишет и Мейербер. А когда я не пишу, я думаю. Наполеон тоже говорил: «Я думаю всегда, целый день...» Какой человек был Наполеон! Другого такого, верно, никогда не было и не будет. В сущности, его идея была та же, что моя: порядок. Никогда ни перед кем в истории не было столь тяжелой задачи, как перед ним: установить порядок после хаоса Революции! И эту задачу он выполнил! К несчастью, у него была патологическая страсть к войнам. Кому нужны войны? Ведь они то же самое, что революции. Они с порядком несовместимы. Он сам себя погубил. Когда-то какой-то скульптор поднес мне в подарок статуэтку Наполеона. Я сделал на ней надпись: «То, что он не мог осуществить мечом, я осуществлю пером».

«Так, так! — подумал Виер. — Еще вдобавок и мегаломан».

— Желая вашему перу успеха.

— Наполеон посылал писателям, ученым в подарок по сто тысяч франков. Франциск I послал Рафаэлю еще больше и ничего за это не потребовал. Даже Филипп II освободил артистов от налогов и от гражданских обязанностей. А демократический Людовик Филипп почти ничего никому не дает. Он в душе лавочник. Великие писатели должны были бы жить на средства государства... Вы хотите, чтобы было всеобщее избирательное право, тогда интересы каждого класса будут иметь в парламенте защиту? Но почему же вы требуете, чтобы мы, писатели, стояли за то, что нам чрезвычайно невыгодно? Я, быть может, кончу нищетой, как Гомер или Сервантес. Или же кто-нибудь пойдет за меня просить у короля милостыню. Как Буало: «Государь, дайте денег на суп умирающему Корнелию!»

Что ж, Людовик XIV, помнится, дал немало, а Людовик Филипп даст пять франков. Зато он со вздохом пожмет просителю руку и выразит ему глубокое сочувствие.

— Мне казалось бы, что писателю прежде всего нужна свобода. Ваши излюбленные короли просто его подкупали.

— В этом вы отчасти правы. Но в те времена писатели занимались тем, что королей не беспокоило: пиши что хочешь. меня не трогай, а ты украсишь мое царствование. Ах, как я желал бы жить в семнадцатом веке! Насколько жизнь была тогда интереснее и поэтичнее, чем теперь! В нынешнем мире ничего живописного не осталось, ничего, вплоть даже до костюма.

— Живописность мало нас интересует. Республика обеспечивает благосостояние всем, в том числе и писателям и ученым. И она даст им полную свободу творчества.

— Ничего она нам не обеспечит, а свободы у нас во Франции теперь достаточно и без республики. Я создаю колоссальную картину нынешнего общества. В ней будет все, вся нынешняя Франция, все ее классы, все ее сословия, все ее пейзажи, все ее строения, дворцы и лачуги. И это у меня описано с совершенной точностью, люди через столетия будут изучать Францию по моим книгам. Я не только писатель: я историк и ученый, я доктор социальных наук. Мне не так важно, чтобы меня читали теперь: гораздо важнее, чтобы меня читали и перечитывали через века. А какая свобода мне для этого нужна? Преимущественно свобода зрения и слуха. Правительство обо мне не заботится, но, слава Богу, и палок в колеса не вставляет. Вы лучше бы защитили меня от общества. Оно ведь меня ненавидит. Я будто бы на него клеветшу! Как меня ругали за «Отца Горио»! А я в основу этого романа положил действительный случай, который был гораздо хуже и отвратительнее, чем то, что я написал... Правда, в других странах никакой свободы нет, это очень печально. Да вот же и в России есть названные вами писатели: Пушкин и тот другой. забыл фамилию... Уверены ли вы, что не будет хуже без царей? Что такое вообще ваше всеобщее избирательное право? Спросите рядового европейца, кто теперь самые замечательные писатели, он, быть может, ответит: Бальзак и Гейне. Но если мы оба выставим свои кандидатуры на выборах, то ваш мудрый. боготворимый вами народ нас наврное забаллотировует, а избе-

рет какого-нибудь либерального аптекаря или свободолюбивого банкира.

— Да, Гейне очень большой писатель, хотя я его не так люблю, — сказал Виер, стараясь говорить хладнокровно. Бальзак смотрел на него ласково и, видимо, все больше забавлялся. «Что правда, то правда, глаза у него необыкновенные, я таких отроду не видел. Кажется, кто-то сказал: «Глаза укротителя зверей». Ну, коли ими, коли. На меня не очень подействуешь, хоть ты и магнетизер. А кроме глаз все в тебе безобразно. И даже ничего нет *distingué*<sup>1</sup>», — думал Виер.

— Вот только жаль, здоровье мое очень плохо, — сказал Бальзак. Выражение его лица изменилось. — Правда, я знаю, что проживу до глубокой старости. Мне это предсказывали все гадалки. Но работоспособность уже не та. Вы думаете, что это легко носить в голове две тысячи человеческих образов! У меня от них голова весит десять тысяч тонн! Что, сегодня у меня усталый вид?

— Очень, — ответил с удовольствием Виер, — Вы слишком толсты, это, верно, сказывается на вашем здоровье?

Бальзак взглянул на него озадаченно, потом рассмеялся.

— Давайте заключим мир, молодой человек. Съешьте грушу, — предложил он, показывая на стоявшую у канделябра большую вазу. — Не хотите?.. Я целый день ем фрукты и пью кофе. Пробовал готовить его на холодной воде, чтобы танин оставался в осадке. Теперь вернулся к кипятку. В Париже я готовил смесь из кофе трех сортов: треть мокка, треть мартиникского, треть сорта Бурбон. Вина я теперь пью мало и только очень хорошее. Табака не переносу. Гашиш раз в жизни попробовал и бросил, не почувствовал райского наслаждения... Да, да, райские наслаждения. В мои годы! — угрюмо сказал он. — Не слишком увлекайтесь женщинами, молодой человек. В частности, при работе надо соблюдать целомудрие. Я иногда соблюдал его годами. Оно *magna parens regum*<sup>2</sup>... Вы богаты?

— Нет, очень беден.

— Нехорошо. Первым делом постарайтесь разбогатеть. Купите акции Северной железной дороги, они принадлежат Ротшильдам. Как вы догадываетесь, Ротшильд кое-что смыслит в

<sup>1</sup> Изящное (фр.).

<sup>2</sup> Великая родительница вещей (лат.).

делах. Но он слишком осторожен. Еврей... Впрочем, евреи самый противоречивый народ на свете. Маршал Ней, «храбрый из храбрых», тоже был еврейского происхождения. Их фамилия писалась «Neu», они эльзасские евреи.

— Мне трудно было бы купить акции этой железной дороги, — сказал Виер с насмешкой. — Для их покупки именно нужны деньги, а у меня их нет.

— Совсем нет? Ах, как досадно. Тогда я вам дам другой способ разбогатеть, я их знаю много. Снимите участок земли где-нибудь на юге Франции, в самой жаркой ее части, и посадите там ананасы. В Париже тепличный ананас стоит двадцать франков: очень дорого отапливание. Если при южном солнце вы взрастите сто тысяч ананасов, вы можете в тот же день продать их по пять франков, расходы составят сто тысяч, не больше. Я это все рассчитал. У вас будет четыреста тысяч франков чистой прибыли. Или, еще лучше, — сказал он, оживляясь, — поезжайте в Аргентару. Это в Сардинии. Там со времен Древнего Рима существует серебряная руда, вы можете нажить миллионы... Впрочем, самое простое, женитесь на богатой. Вы красивый человек, вы легко найдете богатую невесту.

«Наконец-то, о себе заговорил! — подумал Виер. — Может, и голова у тебя тяжела не столько от образов, сколько от этих Аргентар?»

— Отчего же вам самому не заняться в свободное время ананасами или серебряной рудой? Вероятно, это выгоднее литературы.

— Я пробовал. Не выходило, но только по случайности. У меня есть десятки таких проектов. Богачи ведь ничего не знают и не понимают. У них нет воображения. Они тоже несчастные люди, все эти Ротшильды и мои Нусингены.

— Я о них не плачу. Мне жалко бедняков.

— А мне и тех, и других. Иными словами, если хотите, никого. Но вы-то отдаете ли себе отчет в вашей жалости? Она у вас чистая теория. Точнее, самообман. Разве вы любите крестьян или рабочих? Да вы их совершенно не знаете. Я-то их знаю. Я их изображал и недурно изображал, правда? А для того, чтобы изобразить человека, надо в него перевоплотиться. Если хотите, его даже надо полюбить. Я умею перевоплощаться, а вы нет. Что же вы играете в любовь к народу! Самые злые

и бесчувственные люди это профессиональные народолюбцы. Не буду, впрочем, преувеличивать, они не все таковы.

— Спасибо и на этом.

Бальзак вздохнул. Он чувствовал себя не в ударе, и это его раздражало: любил говорить блистательно. Голова у него была чрезвычайно тяжела; и пригласил к себе гостя потому, что был не в силах работать; выбрал же этого поляка наудачу, — оттого ли, что тот говорил по-французски почти как парижанин, или же уж слишком надоели Ганская и помещики. Теперь и Виер уже ему надоел.

— Берегите здоровье, молодой человек, — сказал он измученным голосом. — Никогда не спите ночью: это вредный предрассудок. Ночью надо думать. Спать следует днем и не очень много. Пользуетесь ли вы корнями мандрагоры? Нет? Это полезнейшая вещь, она гонит сон. И часто прибегайте к пиявкам, в них просто спасение. В них просто спасение, просто спасение, — рассеянно повторил он.

«То циник, то филантроп. У него и манера речи меняется беспрестанно: иногда говорит отрывисто, а иногда боссюэтовскими периодами! — с недоумением подумал Виер. — Он все-таки стар и болен. Может быть, он даже не совсем нормален».

— Вы сказали, что важнее всего в жизни художественное творчество. Что же делать людям, у которых творческого дара нет?

— Что делать людям, у которых творческого дара нет? — повторил Бальзак с недоумением, точно впервые об этом подумал. — Не знаю. Я знаю, что они делают. Знаю, почему они это делают. Но *для чего* живет громадное большинство людей, и кому, кроме меня, они нужны, не могу вам сказать. Конечно, они могли бы сидеть у своего окна и считать черепицы на противоположной крыше, как делал от скуки Бейль. Однако жить они хотят и будут. И так как их много, очень много, страшно много и они любят бунтовать, то государство должно обеспечить творцу спокойствие. У вас здесь его обеспечивают Николай и помещики. В Галиции в пору Жакерии более умные крестьяне говорили, что надо нанять помещиков для установления порядка.

— Едва ли это говорили крестьяне, хотя бы и самые глупые. Так говорят именно помещики.

Бальзак засмеялся.

— И они врут? Это возможно, не спорю. Но спокойствие все же важнее всего на свете.

— Да в тюрьме полное спокойствие. А на кладбище и того лучше.

— Вот и надо бы чаще посещать кладбище. Да не хочется. Ах, как я боюсь старости! Иногда я просыпаюсь ночью и представляю себя большим стариком, у меня от ужаса стынет кровь. Просто схожу тогда с ума... Я на вид уже стар, а?

— Врать не буду: не молоды. Да ведь вы верующий человек?

— Я католик по убеждению. В церквях бываю редко, хотя с красотой католического богослужения, особенно в древних знаменитых соборах, не может сравниться ничто. В догматах церкви я не очень силен... Послушайте, у громадного большинства людей, у христиан, у евреев, у мусульман, у буддистов, в прежние времена у всех за самыми редкими исключениями, их вера была ответом на все и утешением во всем. Они злой правды не боялись. Некоторые знаменитые богословы ее изображали с большей беспощадностью, чем я...

— Но они знали, во имя чего они это делают.

— Я изображаю правду ради правды. И поверьте, не «как эстет» я посещаю храмы всех религий, не «как эстета» меня потрясает богослужение, особенно наше, католическое. Шуточки и хихиканье восемнадцатого века всегда были мне противны. Я предпочитаю семнадцатый и шестнадцатый...

— Я допускаю, что как писатель вы выиграли бы, если б служили положительной религии, той, которая приносила облегчение сотням миллионов людей. Но, кажется, вы верующих католиков раздражаете так же, как неверующих. Я слышал, что к вашим книгам в Ватикане относятся холодно и что в Италии, в Испании они запрещены... И почему же вы думаете, что у революционеров нет веры? У них вера в прогресс, или в масонство, или в то, что немецкий поэт выразил словами: «Кто жил для лучших людей своего времени, тот жил для всех времен».

— Что может быть скучнее и бессмысленнее такого ответа?.. И какие это «лучшие люди»? Дантон? Бланки?.. Теперь в мире всё, решительно всё, учреждения, книги, учения, пропаганда совместно подкапываются под тысячелетнюю веру, в ча-



стности под веру в загробную жизнь. А ведь на ней стояло и пока еще стоит общественное здание, общественный порядок... Кроме того, во многое я вполне верю, даже и в то, что может казаться неправдоподобным. Вполне возможно, что и ад существует, а? А уж страх ада это вещь вполне реальная. Впрочем, один наш писатель уверял, что грешники понемногу привыкают к вечному огню и с годами чувствуют себя в аду как рыба в воде. Но и без шуток: ваш-то мудрый Бланки, что он-то обещает людям? Стол и квартиру? Если б он еще вел человечество только к социальной катастрофе! Нет, он ведет его к полному одичанию.

— А вы что даете человечеству?

— Я даю. Защищаю старое, но даю и новое. Вы мою «Серафиту» читали? Если б вы ее прочли, то не говорили бы, что я слишком много думаю о деньгах. Я в ней отражаю идеи Сведенборга, одного из самых глубоких мыслителей в истории мира. Вероятно, вы о нем и не слышали. Зато я уверен, что вы знаете наизусть стихи Виктора Гюго.

— А я уверен, что вы не читали Бланки, да он и пишет очень мало. Тем не менее вы его считаете сумасшедшим. Быть может, именно потому, что он вас терпеть не может.

— Нет, не поэтому. Меня терпеть не могут почти все мои собратья. Но не в этом дело. Так вместо Сведенборга вы читаете Бланки! Бланки плоский, вот он какой! — сказал Бальзак, протягивая вперед левую руку и проводя правой по ладони. — И весь социализм такой, и вся ваша демократия. Впрочем, и антисоциализм и антидемократия точно такие же. Как и все, что касается политики. Сведенборг был гениальный мыслитель, у него есть великие открытия и в так называемых точных науках. Наш знаменитый ученый Дюма говорит, например, что Сведенборг создал кристаллографию. Он в химии предвидел теории Берцелиуса... Вот вы ненавидите Россию, а ведь русская Академия наук чуть не первая оценила его и избрала своим членом... Раз как-то Сведенборг обедал в Лондоне и вдруг увидел, что комната полна змей! Змеи, змеи, змеи, одна страшнее другой!.. С вами никогда этого не было?

— Нет, никогда. Может быть, он за обедом слишком много выпил?

— Я не пью, отроду не был пьян, и видел то же самое. И многое другое. Вы и ангелов никогда не видели?

— Никогда. И чудес никогда не видел. Юм говорит, что когда человек ему рассказывает, будто собственными глазами видел чудеса, то он сравнивает вероятность двух предположений: может быть, этот человек в самом деле их видел, а может быть, он врет?

Бальзак, не улыбнувшись, продолжал вкрадчивым голосом:

— Что же вы видите? Во что вы верите? И разве в самом деле реально то, что вы видите собственными глазами? Чего стоят ваши глаза? Хороша ваша реальность, если она меняется от нескольких рюмок коньяку? И разве в природе дважды два четыре? Я берусь вам доказать обратное. Разве в природе есть, например, прямые линии? Их нет, это абстракция. Их нет на земле и нет на небе: там даже исключительно кривые, Бог, очевидно, предпочитает эллипсы. И законов природы никаких нет. Какие могут быть законы природы, когда ни на одном дереве вы не найдете двух совершенно одинаковых листьев? Надо не познавать, а угадывать, надо угадывать сущность вещей, а это доступно только избранныкам. Обыкновенным людям это недоступно. Они и их реальной жизни не видели, пока я им ее не показал в своих романах. Между камнем, вами, мной, ангелом и Богом есть только количественная разница. Да, либо Бога нет, либо и я Бог. Но количественная разница огромная. Быть может, камень не верит в существование человека, тем не менее человек им распоряжается по-своему. Так и обыкновенные люди в своей глупости не верят в существование высших сил, и добрых, и злых! Поверьте, есть и ангелы, и демоны. И радуйтесь, все меняет положение в лестнице существ. Прощай, гранит, ты станешь цветком! Прощай, цветок, ты станешь голубем! Прощай, голубь, ты станешь женщиной!.. Не ищите земной славы, молодой человек, хоть она и самая божественная форма эгоизма. Не ищите и счастья, вы его не найдете. В особенности же не ищите его в любви. Не очень думайте и о будущей жизни, тут вы ничего не придумаете, это не ваше дело. Ведь вы же о прошлой жизни не размышляете? Если есть вечность впереди, то вечность должна быть и позади. Между тем люди той, прошлой вечностью не интересуются. Все будет менять-

ся, и так называемая будущая жизнь будет меняться все время. И поверьте мне, логикой, вашей детской логикой вы тут ничего не постигнете. Есть другие способы проникновения в загадку жизни. И главный из них называется искусством. Но я имею в виду только большое, *настоящее* искусство, доступное очень немногим. А если оно мне доступно, то неужто вы думаете, что я буду интересоваться тем, кто правит Польшей, или даже тем, кто правит Францией? Мир лежит во зле, всегда лежал и будет лежать. И я не намерен отдать свою жизнь ради того, чтобы убрать какую-нибудь одну песчинку с Монблана зла. Да и ту не уберешь.

— А я намерен. И мы уберем не одну песчинку!

— Вы совершенно другое дело, как громадное, подавляющее большинство людей. Ну, что ж, занимайтесь политикой, занимайтесь политикой. Только ради Бога, не будьте коммунистом!

Он посмотрел на Виера и вдруг весело расхохотался.

— А лучше вообще не думайте обо всем этом в ваши годы! Да перестаньте вы смотреть на меня зверем! Не обращайтесь большого внимания и на мои слова...

— Я и не обращаю.

— Примите во внимание все мои противоречия, это тотчас вас утешит. И не верьте вы всему тому, что обо мне говорят. Меня окружают ненависть, глупость, ложь, зависть, посредственность. В сущности, я на людях живу как в пустыне. Я литературный бедуин. У меня врагов в сто раз больше, чем у других. У Наполеона их было, правда, еще больше. Он им почти не отвечал. Стараюсь не отвечать и я. Не следую примеру Шиллера, который, кажется, написал двадцать три письма в защиту «Дон Карлоса». Число же моих друзей, как вы догадываетесь, меньше числа дураков в мире... Вы находите, что я хвастун. Действительно, я, как и вы, часто чувствую потребность в самохвальстве, но...

— Не как я. Да если б я и хотел хвастать, мне было бы нечем.

— Как и вы, — повторил сердито Бальзак. — Как и все! Я в такие минуты говорю много правды. Но разве я не знаю, что я такой же маленький, слабый, незначительный человек, как... — Он хотел сказать: «как вы», — как и этот милый камердинер, которого ко мне приставила графиня.

— Боюсь, не все ложь и в том, что о вас говорят враги.

— Это, конечно, возможно. Это даже чистая правда. У вас врагов не будет, по крайней мере личных. И тем не менее предсказываю вам, вы будете несчастны, молодой человек. У вас такая природа. Боритесь с этим. Берите от жизни что можно — пока можно. И прежде всего заведите себе любовницу. Но с толком. И любите ее тоже с толком. Помните, что у каждой ночи должно быть свое меню...

Он заговорил о женщинах. Виер слушал мрачно. «Говорит тоже хорошо, он обо всем говорит по-своему. Впрочем, по тону так говорят некоторые молодящиеся старички в парижских кофейнях. Мицкевич так не говорит». Воспользовавшись моментом, когда Бальзак стал наливать себе кофе, Виер поднялся.

— Уже поздно, — сказал он. — Я хотел бы перед обедом погулять в парке, да и вам, верно, еще нужно работать. Извините, если я что не так сказал.

— Сделайте одолжение. — ответил Бальзак. Он не привык к тому, что люди по своей воле прекращали разговор с ним, но он был рад, что этот скучноватый человек уходит.

Когда дверь за Виером затворилась, Бальзак взял одну из своих трех тетрадок и что-то сокращенно записал. Отметил костюм Виера, его иногда останавливающийся тяжелый взгляд, цвет его галстука и жилета, нервное подрагивание руки. Закончил словами: «Ограниченно умен. Не очень интересный характер. Вероятно, плохо кончит».

## VI

.....

## VII

Les uns descendent d'Abel, les autres de  
Cain, dit le chanoine en terminant; moi, je  
suis un sang mêlé<sup>1</sup>.

*Balzac*

Лейден уже довольно давно находился во Флоренции с женщиной, с которой сошелся в Константинополе.

<sup>1</sup> Одни происходят от Авеля, другие от Каина, — сказал в заключение каноник. — А во мне смешанная кровь.

Он называл ее Роксоланой. Имя у нее было какое-то странное, вроде Фатимы. Так она ему сказала в первый день, но затем стала с именем путаться: в другой раз оказалось, что ее зовут Зулимой. Он, впрочем, скоро заметил, что она часто врёт и притом без всякой причины или цели. В этих именах был малоправдоподобный, конфетный восток. Позднее он догадался, что Фатимой, Зулимой и другими именами ее, верно, звали люди, «покупавшие» ее до него. «Время байроновское, много бездельных людей шатается по Европе в поисках подобных приключений». Однако нужно было как-нибудь ее называть. Лейден вспомнил рассказ гида. Она никогда о жене Солеймана Великолепного не слышала, но новое имя ей понравилось.

— Так меня и зови, — сказала она со смехом.

Они беспрестанно переходили с русского языка на французский. Роксолана говорила, что ей необходима практика во французском языке. Иногда она одно и то же сначала говорила по-русски, затем сама для ясности переводила на французский. Это и забавляло Лейдена, и было немного ему досадно, точно новый, странный, неправильный язык подчеркивал его новую, странную, неправильную жизнь.

— Так и знай: ты теперь Роксолана.

— Хочешь, и я тебя буду звать Солейманом Великолепным? Не хочешь, ну, не надо. А ну, ты будь как султан. Все султаны щедрые, ах какие щедрые! Они своим женам всё дают: бриллианты, шелк, бархат, гроши. Так делай и ты, а я буду тебя любить.

— Будешь любить? Значит, еще не любишь?

— Ты вези меня в Париж, я там скоро буду главная гадалка. Я еще не всё умею, но буду уметь, я страсть умная. А я хорошо говорю по-французски?

— Ты отвечай, когда тебя спрашивают!

— В Париже можно много заработать. А я ну, тебя люблю. Буду страсть любить, если ты будешь щедрым.

Константин Платонович знал, что его считают «человеком с заскоками». Теперь он признавал, что люди, так его определявшие, были совершенно правы: «И даже не с заскоками, а просто полоумный. На старости лет изменить жене, связаться с авантюристкой, влопаться в историю, которая должна кончить-

ся неприятно, что может быть глупее и постыднее!» Тем не менее Лейден был весел и бодр, как давно не был.

В день своего отъезда из Константинополя, по дороге с Роксоланой на пристань, он вдруг на улице увидел Виера. Тот изумленно на них взглянул, хотел как будто поклониться, — не поклонился, сделал вид, что не видит. «А мне говорил, шельмец этакий, что уезжает!.. Он никому не скажет, я знаю...» Как ни неприятна была Лейдену эта встреча, в ней было и что-то доставившее ему удовольствие. «Или уж очень мне надоело, что меня все всегда считали Ба-Шаром?»

— Кто это? — спросила Роксолана. — Ты его знаешь?

— Да, знакомый.

— Красивый. Он богатый?

— Нет, бедный, — сердито ответил Константин Платонович

Она вздохнула.

На пароходе он завел дневник. В Киеве у него были тетрадки, он записывал свои философские мысли. Дневника же, которым его дразнил Тятенька, никогда не вел. Теперь решил записывать, как сошелся с Роксоланой. Сначала ему показалось, что это невозможно: на бумаге всё выйдет слишком грубо и безобразно. Лейден знал, что Ольга Ивановна никогда в его тетради не заглядывает, с ужасом подумал: что, если б она прочла! «Я так люблю ее, что не хотел бы ее огорчать и пустяками, а теперь сделал *это!* И даже не мучает совесть...» Он всё же кое-что записал: слова выходили литературные, новомодные: «любовный чад», «любовный угар», — он таких слов терпеть не мог, но трудно было найти другие для того, что у него было с Роксоланой в первую неделю. На море не качало ни разу, были разные мифологические острова, необыкновенные виды, в дороге полагалось рано вставать и поздно ложиться. Они поздно вставали и рано ложились.

В молодости Лейден вел обычную жизнь холостых мужчин и считал себя опытным человеком. Но по тому, что он в дневнике называл «техникой любви», он не встречал женщин, приближавшихся к Роксолане. Особенностью ее при этом была «внутренняя бесчувственность», — он и тут другого слова для дневника не нашел. Всё это ей видимо наскучило, она просто выполняла обязанность, за которую ей платили деньги. «Верно,

и выполняет лучше или хуже в зависимости от того, сколько ей платят». Лейден ее спрашивал, любит ли она его, однако никаких иллюзий не имел; да и спрашивал больше от скуки, оттого, что надо же было с ней хоть немного разговаривать. «Она любит», как Бордони поет: «Мастер без страсти...» С тех пор, как он стал Би-Шаром, мысли и чувства у самого Константина Платоновича приняли циничный характер, прежде совершенно ему не свойственный.

В разговорах с Роксоланой его удивляло то, что она все поступки людей неизменно приписывала денежным соображениям и делала это без малейшего порицания: очевидно, считала это вполне естественным и законным. Роксолана рассказывала ему о своей долгой связи с инглезом, фамилию которого не помнила. «Хороший человек, ах, какой хороший! Он страсть меня любил. А я его до сих пор люблю, — говорила она, поглядывая на Лейдена: в ее нехитрую тактику входило возбуждать в нем ревность. — Ну, а потом узнала его жена. Она богатая, ах, какая богатая! Имения, дом, гроши, всё у них было! Что же ему было делать? У него и свои гроши были, да гораздо меньше. Понятное дело, он к ней ушел, а меня бросил... Много пил вина. Вот в Италии, говорят, хорошее вино. Ах, какой инглез был хороший! Ну, щедрый не щедрый, потому что и самому ведь нужно, зачем же отдавать лишнее? Он знал, что может другую иметь дешевле. Я ведь дорогая, да зато стою. Инглез мне больше дал, чем ты до сих пор, да ведь ты мне будешь давать дальше много. Я не люблю, когда дают мало. А твоя жена не знает, и ты ей не говори. А она верно старая. А если спросит, куда ушли гроши, ты скажи, ну, что потерял в торговле или на улице украли. Ах, как у нас крадут в Галате, ну все просто удивляются».

Разговаривать с ней было скучновато. Шутки она понимала с большим трудом и не скоро. Раз вечером они сидели на палубе; Роксолана глядела на небо, лениво думая о своих делах. «Милая, ты не смотри на звезды: всё равно я тебе их подарить не могу», — сказал Лейден, выдав за свою шутку слова, сказанные любовнице каким-то английским лордом. Она долго не могла понять: «Конечно, не можешь. Как же можно подарить звезду? Она на небе». Всё же, когда Лейден, зевая, разъяснил ей остроту, Роксолана посмеялась. «Что ж, это ничего, — сказа-

ла она. — А вот ты в Италии сейчас дай мне гроши, мне много надо купить, ну ничего нет».

«Что с нее взять?» — записал в дневник Лейден. — Громадное большинство незначительных людей находят, что счастье в деньгах. Они этого не говорят, они, вернее, даже и не думают этого, но живут так, как если бы это было общепризнанной истиной. Я говорил Тятеньке, что критерий человека в том, какое место деньги занимают в его жизни. Но так ли это? Слишком многим выдающимся людям были присущи поразительные, почти наивные алчность и скупость. А у нее прямо разгораются глаза, когда она видит золото. Надо тщательно его от нее скрывать... Да, странная и нехорошая вышла история. Правда, вернусь в Киев, всё как рукой снимет, будет полная перемена. Вот как Фруассар в своей хронике представлял себе Столетнюю войну с английской точки зрения, пока жил в Англии, и с французской после того, как вернулся во Францию».

Вечером он как-то читал наизусть Роксолане стихи киевского поэта Андрея Подолинского: «Нет, душистых струй Востока — Мне противен тонкий яд, — Разве б гурии Пророка — Принесли свой аромат, — Разве б в знойном аромате — Талисманом я владел, — Чтобы жар твоих объятий — Никогда не охладел...» Она ничего не понимала, но слушала не без удовольствия. Константин Платонович, морщась, вспомнил, что эти стихи Подолинский читал у них в доме на Шелковичной: Лилю до того отослала спать; Ольга Ивановна неуверенно восхищалась.

Всё же в первое время Лейден пытался «добраться и до души Роксоланы» (так писал в своем дневнике). Но ни до чего он не добрался, никакой души не нашел. «Я не назвал бы ее Би-Шаркой, — писал он, — только потому, что она вообще не понимает разницы между добром и злом. И ведь таковы еще миллионы, десятки миллионов людей. О них, по той глубокой тьме, в которой они родились, даже нельзя сказать: «К добру и злу постыдно равнодушны», как у нас горланил Вася».

Лермонтовскую «Думу» часто декламировал один из приятелей Лили. Обо всем, связанном с домом, с дочерью и особенно с женой, Константин Платонович вспоминал с ужасом. Но вспоминал он об этом не часто: прежде не подозревал, что не думать — так легко. И всё яснее чувствовал, что несколько не



хотел бы вычеркнуть из своей жизни эту новую страницу. «Уж очень много выдумывали о совести и раскаянье разные богословы и драматурги...» Особенно легко было ни о чем неприятном не думать за вином. На пароходе были и дузика, и тенебос, и крепкое тяжелое английское пиво. Роксолана пила еще лучше, чем он.

Красавицей Роксолану он по-прежнему не считал, но ее голос действовал на него неотразимо. «Странно, что у нее и голос, и глаза выражают прямо противоположное ее мнимой душе». И вздор вообще, будто они у людей что-то выражают. У Петра Игнатьевича голос очень хороший, а лоб сделал бы честь Канту или Спинозе, и это не мешает ему быть болваном и прохвостом...» Лейден вспомнил, что при первой встрече с Ольгой Ивановной его тоже поразил и привлек ее мелодический голос. «Сопоставление гадкое и оскорбительное для Оли. Но я *посмел* это вспомнить — и почему же я рад, что посмел?»

Характер у Роксоланы был доброжелательный и услужливый. На пароходе был какой-то одинокий старичок. Роксолана с ним познакомилась и на второй день, увидев, что у него болтаются на жилете пуговицы, предложила пришить их. «Что ж, он старый и один, этого не дай Бог, — объяснила она Лейдену. — А нитки в Галате плохие. А ну, если я буду старая и одна?» Константин Платонович видел, что ее профессия кажется ей совершенно естественной и несколько не дурной. «Если б только она поменьше врал... Впрочем, не мне теперь ее этим попрекать: сколько придется врать мне!.. Ян, конечно, никому не скажет ни слова, но вдруг встретят другие? Разболтают просто по любви к сплетням, даже не по злобе...» Станным образом, несмотря на свой новый цинизм, Лейден, с той поры, как стал Би-Шаром, думал о людях снисходительнее и больше никому не желал смерти. «Впрочем, кого же мы можем встретить во Флоренции? А ежели встретим, я объясню, что это случайная попутчица по пароходу, и тотчас перееду с ней в другой город». О том, что дела у него именно во Флоренции, он даже не подумал.

Накануне приезда в Италию Константин Платонович за обедом не стал пить и, не ожидая кофе, ушел один в каюту.

Роксолана осталась со старичком. В каюте Лейден немного полежал, затем встал и написал в дневнике: «Неужели была ошибкой вся жизнь, построенная на Ба-Шаровском начале? Ведь всё-таки жизнь превратилась в обман! Конечно, не навсегда. Другие, даже старые люди не придают значения таким похождениям. Но что, если я в самом деле внезапно сошел с ума? И даже не совсем ведь и внезапно. Тятенька давно — полумшугливо, однако не совсем шугливо — говорит, что я сумасшедший. Может быть, какая-то темная наследственность осталась у меня в крови, как верно была у моего родственника Штааля. Разве мы что-либо об этом знаем? Хорошо же тогда мое «Константинопольское чудо»! Оно, значит, проявило душевную болезнь».

### VIII

Тициан девяноста семи лет отроду сказал, будто только теперь начал понимать, что такое живопись.

*Из старого словаря*

При первом знакомстве Флоренция не очень его поразила. Он ожидал большего. Остановились они в старой гостинице на Лонгарно. Роксолане она не понравилась.

— И комната у грека была больше, и кровать лучше, смотри, какая эта твердая! — сказала она, садясь на кровать. Теперь они чаще говорили по-французски. — Кровать — это самое важное. У грека были шкапы, а мне нечего было вешать. А здесь один шкапчик. Куда я дену всё, что ты мне купишь?

— Да этому дому верно лет триста.

— Что ж тут хорошего? Оттого и плохо, что лет триста. Что старое, всё плохое. И люди так... Ты с хозяином не торговался, он дешевле уступил бы. Пустил бы меня поторговаться. Ты не умеешь.

— Не умею. Вот и за тебя переплатил.

— Переезжать не стоит. Ты пойдешь мыться? Верно, опять на целый час? Хорошо, я пока выну вещи. Ах, мало у меня вещей...

— Неужели ты не видишь, как здесь всё прекрасно?

— Что прекрасного? Да если дом прекрасный, то ведь он не мой.

— Смотри, какой вид.

— Самый обыкновенный вид. Река узенькая, вода грязная. Разве в Константинополе такая вода? Неужели это вправду такой важный город?

— Один из самых прекрасных городов мира.

— У нас в Пере теперь строится дом в четыре этажа! Когда я себе построю дом, то у меня будет настоящий дом, хороший, светлый. И у меня будет свой сад с грушами. Ах, как я люблю груши! И непременно чтоб были свои... Ты скажи хозяину, что ты не рассчитал, ты их денег не знаешь. Он должен уступить. Париж верно совсем другой город, — критиковала она, впрочем очень благодушно: была еще веселее обычного. — У вас в Киеве есть груши?

Площадь собора понравилась и ей, тут были хорошие магазины. Расспрашивала Лейдена, сколько в городе жителей, много ли иностранцев, особенно англичан. Потребовала, чтобы он тотчас повел ее в самый лучший ресторан. Аппетит у нее был необыкновенный. В ресторане она обрадовалась тому, что на карте так много блюд. Названия были длинные и звучные. Роксолана просила его переводить. Константин Платонович читал по-итальянски свободно, но и сам плохо понимал, что такое разные «Tartufi alla parmigiana», «Beccatichi con polenta», «Nodini vitello alla pizzaiola». Она всё запоминала. Способности к иностранным языкам у нее были очень большие.

— А это что такое? В плетеных бутылочках? Неужели вино? — радостно спросила она. — Закажи это вино, вот эту корзинку побольше! Мы с тобой ее всю выпьем. Я так рада, что мы здесь! Это не беда, что город дрянной. Увидишь, как будет хорошо! Ты доволен, что ты со мной? Правда, я симпатичная?

Константин Платонович подтвердил, что очень доволен, но подтвердил без жара. Роксолана несколько встревожилась. «Ох, скоро бросит!»

— Может, ты о жене думаешь? Да ведь она старая... Ну, хорошо, не сердись, я не буду говорить о твоей жене. Закажи мне еще одно сладкое. Я съела Crema caramella, а теперь я хочу еще Gelato di Crema, — выговорила она уже на память, не заглядывая в карту. — И выпьем потом еще вина. Вот он хвалил Valpolicella, посмотрим, что это такое.

Пообедав, они вышли на улицу, где тоже были магазины. Роксолана стала вздыхать. Оказалось, что ей нужно решительно всё.

— Ты султан, я твоя невольница, и помни же, что султаны очень щедрые. Они своим женам привозили целые грузы на верблюдах, — говорила она, смеясь. Ее смех действовал на него всё-таки уже меньше, чем в первые дни. «Ну, на верблюдах, это ты ври больше!» — подумал Константин Платонович. Когда они вернулись домой, он мысленно сосчитал, сколько истратил за день; при ней считать открыто ему казалось неудобным. Роксолана в первый день, в Константинополе, спросила, сколько у него денег. Он ответил уклончиво. Теперь спросила опять.

— А тебе зачем знать? Хватит.

— Да ты не бойся. Я никогда не ворую, — сказала она просто и с гордостью, точно все другие воровали.

— Слава Богу.

— Ты можешь не запирать, ничего не возьму. Просить буду, а сама не возьму. Это опасно, в тюрьму посадят, сколько я таких случаев знаю! — говорила она. — Ты пожалуешься?

— Непременно пожалуюсь.

— А ты сам мне давай. Мне нужны деньги. Ах, как мне нужны деньги! Когда я буду богата, я уеду в Париж. Ты со мной не поедешь?

— Да ты ведь еще не богата.

Он, разумеется, не сомневался, что они скоро расстанутся. То, что она об этом говорила, как о чем-то само собой разумеющемся, было и неприятно, и успокоительно.

На следующий день он занялся делами, побывал в разных местах, накупил книг, навел справки. Когда он вернулся домой, как было условлено, в пять часов, Роксоланы не было. Константин Платонович испугался: «Неужто удрала!» Но она скоро вернулась, нагруженная покупками. Истратила всё, что он ей утром дал. Сказала, что всё это были самые необходимые вещи и что ей нужно еще многое другое.

— Меня уже все понимали! А то пальцами показывала. И я много выторговала, правду говорю! Увидишь, что я скоро буду говорить по-итальянски! А кофе в Стамбуле гораздо лучше. И я уже видела одну гадалку. Она понимает по-французски. Я к ней зайду? Ты дашь мне деньги?

— Зачем тебе гадалка?

— Как зачем? Я сама гадалка, да еще не такая хорошая. Надо посмотреть, как эта работает, какая у нее квартира. Я буду знаменитая гадалка.

— Такая была во Франции, мадмуазель Ленорман.

— Как же, самая первая. У нее сам Наполеон бывал и все. Она умерла. Вот и я хочу быть такой. А ты дай мне денег, чтобы учиться. Эта берет по золотому, — сказала Роксолана, сильно преувеличив цифру. — Два-три раза схожу и всему научусь. Хорошо?

— Хорошо. Только не завтра. Завтра пойдем осматривать музеи. Там Тициан, Тинторетто, столько других.

— Пойдем осматривать музеи, — тотчас согласилась она. — Я знаю, здесь все осматривают. Надо так надо. А рахат-лукума здесь нет. Не знают, дураки, что это такое!

В музеях Роксолана делала тоже не очень интересные замечания. Погуляв с час по залам, объявила, что устала и уйдет: еще надо кое-что купить.

— Через два часа мы встретимся у того дворца, на котором башня не посередине, а съехала на бок. В Турции за такую штуку, верно, посадили бы подрядчика на кол.

— У Палаццо Веккио? Хорошо, — сказал Лейден и дал ей не очень охотно еще три золотых.

«Угар» и «чад» проходили. «Да, я стар... Поздно», — думал он. Через несколько дней он снова зашел в музей.

Один портрет привлек его внимание. Изображен был человек средних лет, весь в черном, с цепью на шее, с вьющимися темными волосами, с усами рыжевато-голубого цвета. В правой руке он держал перчатку. «На кого это он похож?» — спросил себя Лейден почему-то с тревожным недоумением. Подошел поближе, взглянул на надпись: «Tiziano (Vecellio), 1477-1576, Ritratto d'ignoto». «Портрет неизвестного?» Похож, — но не могу вспомнить, на кого. Как будто по виду русский! Он отошел, еще побродил по залам, спустился к выходу, стал натягивать перчатку, которую держал в руке, и ахнул: «Неизвестный» был похож на него самого! Константин Платонович снял перчатку, снова поднялся, разыскал портрет и долго на него смотрел. «Странно! Только волос больше, а так точно с меня писано!»

Это его озадачило. Как многие иностранцы, впервые приезжающие во Флоренцию, он вначале чувствовал себя итальянцем эпохи Возрождения. «Да что же, собственно, тут невозможного? — подумал Лейден. — Согласно Платону, души, отбывшие кару там, возвращаются на землю и вселяются в новых людей. Помнится, Платон говорит, что душа вселяется в такого человека, который напоминает ей ее прежнего носителя. В меня могла перейти душа тициановского *Ignoto*... В кого-то переселится моя душа после моей смерти? По разным философским и религиозным учениям вселенная не вечна, она рано или поздно погибнет. Как же может быть вечной душа в ограниченном по времени космосе?»

За ужином Роксолана — уже не в первый раз — почувствовала, что с русским стариком скучновато. Константин Платонович смотрел на нее и думал, в чьем теле могла находиться ее душа в ту пору, когда жил Тициановский «Неизвестный».

Он еще два раза заходил в эту залу картинной галереи и долго смотрел на неизвестного человека в черном. Купил какую-то книгу о Тициане. Книга была длинная и ученая, делила, как водится, творчество художника на периоды, Константин Платонович этого вообще не любил; не очень понимал, чем один период отличается от другого, думал, что не очень понимает это и автор и что можно было бы так же хорошо поделить Тициана на периоды по-иному. Он не дочитал книги, не нашел в прочтенной части ничего о «Портрете неизвестного» и решил, что, верно, этот портрет принадлежит к последнему периоду. Автор книги говорил, что великий художник совершенствовался до конца своих дней, что никто другой так не умел выражать невыразимое. Хотя последние слова как будто не имели никакого смысла, Лейден долго над ними думал. «Прочту всё в Киеве, разберусь. Здесь надо читать об агрономии...»

На другой день он зашел в музей под вечер. Посетителей уже не пускали, но он дал на чай сторожу. При вечернем свете лицо Неизвестного показалось ему страшным. «Ох, какой был Би-Шар! И как будто не совсем душевно здоровый!» — подумал Лейден.

Его прежняя мнительность увеличилась во Флоренции и приняла иную форму. В ресторанах он иногда оглядывался, подозрительно смотрел на людей, сидевших сзади, и почему-то

старался запомнить их лица и приметы. Ложась спать в гостинойце, запирает дверь на ключ, а иногда, уже после того, как они гасили свет, снова вставал, на ощупь подходил к двери и проверял: уж не забыл ли запереть? Роксолана в темноте старалась понять, что он делает и зачем: «Верно, очень много денег». Она догадывалась, что деньги у него в черном чемодане, которого он никогда при ней не открывал. Впрочем, она одобряла его осторожность: Флоренция ей не внушала доверия, она боялась воров и разбойников.

Как-то ночью — странным образом впервые — ему пришло в голову, что, быть может, Роксолана больна. «Да, разумеется! — с ужасом подумал он. — На Востоке эти болезни особенно распространены! Господи, как же я раньше не подумал! Если так, что я буду делать? Не возвращаться же тогда в Киев! Только и останется пустить в лоб пулю!..» Он не спал всю ночь. Пойти к врачу было совестно. Утром побежал в библиотеку, достал медицинские книги, стал рассчитывать дни, — вышло, что не заболел.

В ресторане они выпили с Роксоланой три бутылки. Он по-русски, чтобы не понял лакей, всё рассказал ей, глядя на нее с тревогой. Она не удивилась, — по-видимому, в этом для нее нового ничего не было, — но совершенно его успокоила. В восторге он вдруг расхохотался. Она сначала была довольна, что он повеселел, затем смех его ей не очень понравился. Тем не менее и она смеялась.

— Это что ж, ничаво. А ты меня спросил бы. А я сказала бы тебе правду: теперь ведь всё равно. А я знаю, что многие боятся. Инглез тоже боялся. Нет, будь спокойный. И я тебя люблю, Ну, вези меня в Россию.

— Вот еще что выдумала!

— А почему нет? Ты боишься, что твоя жена будет на меня злая? — У него дернулось лицо. Она все же досказала. — А отчего она будет злая? Я тебя люблю, а ты любишь ее, значит, я буду ее любить. А если, ну, не хочешь, то мы ей не скажем. Я инглеза страсть любила, и его жена не скоро узнала. А зачем жене знать? Если она злая, то еще глаза выпарапает. Ведь ваш город большой? У нас есть Галата, Стамбул, Пера. Вот и у вас верно так. Если жена живет в Пере, я буду жить в Стамбуле. А ты мне купишь там домик. С женой ты будешь утром, а ко мне приходи вечером. А может, и у вас можно будет гадать?

— Перестань говорить чепуху!

Она вздохнула.

— Вот и инглеz сердился. Ты, говорил, азиатская, ты не понимаешь мораль. Это он такое слово говорил. А я, ну, ему говорю: «Если ты понимаешь мораль, зачем ты меня купил?» Так сердился, так сердился! Хороший был инглеz, я так его любила

— Вот и об инглеze перестань болтать!.. В Россию тебя никогда и не пустили бы. Для этого нужен паспорт.

— За гроши пустят, — убежденно сказала она. Лейден знал, что, по ее глубокому убеждению, за деньги можно добиться решительно всего.

— Нет, у нас не пустят.

Она вздохнула еще тяжелее.

— К вам меня не пускают, в Париж тебя не пускают. А куда я денусь, если, ну, ты меня бросишь? Ты ведь меня увез.

— Я тебя отправлю обратно. Куплю тебе билет.

— Нет, я обратно не хочу. Если уехала, то надо в Париж. Отсюда ведь гораздо ближе. А ты мне дашь половину твоих грошей, и я поеду в Париж. Только еще не скоро... Подари мне золотой. Ах, я нашла одну лавку! Такая дешевая, я теперь буду там все покупать.

Она в самом деле больше ничего не покупала в центре города, в больших новых магазинах. Предпочитала лавки Старого Моста и маленьких кривых улиц вокруг Дворца Питти; говорила, что они похожи на Галату. Торговалась бесконечно, по-восточному, выходила, возвращалась опять. В лавках ее уже знали; посмеивались над ней, но, видимо, любили ее.

Как-то утром лакей вместе с кофе принес Лейдену два письма. Оба были из дому. Он изменился в лице. Руки у него немного дрожали. С первых строк он успокоился и стал читать, нервно оглядываясь на Роксолану. Она с любопытством на него смотрела, намазывая булочку густыми слоями масла и варенья.

В первом письме Ольга Ивановна в самых нежных выражениях упрашивала мужа оставаться за границей, сколько ему понадобится.

«Я знаю, — писала она, — ты верно задержался бы для своих дел, ежели б не думал, что нам с Лиленькой очень скучно. Правда, что мы без тебя скучаем, но это не беда



Самое важное это твои занятия. А уж беспокоиться о нас ты совсем не беспокойся. Холера, слава Богу, кончилась, за прошлый месяц было только два случая, и далеко от нас, на Подоле. Тятенька бывает каждый день, заботится о нас как родной, спасибо ему, хоть Лиля говорит, что он ей надоел, старый. Да ей, может, и я надоела? Другие тоже часто бывают, редко когда к столу нет двух-трех человек, и уж вторую рюмку всегда пьют за тебя. За кого первую, ты понимаешь: уж так полагается, хотя что я без тебя? Итак, ты не волнуйся, а ежели к лету, избави Бог, холера возобновится, то ведь к лету ты уже будешь с нами», — вскользь, без вопросительного знака спрашивала Ольга Ивановна.

Она длинно, не очень толково, писала о делах, о плантациях, об его покупках и делала вид, будто этим интересуется. Сообщала, сколько у них уходит денег: уходило мало, раз в пять меньше, чем тратил он. Описывала их жизнь. Они были приглашены к Дараганам на *danses parlantes*<sup>1</sup> и на маскарад. «Лиля играла посольшу царицы Чечевицы, премило играла и имела большой успех. Тятенька изображал Министра публичных мраков. А мне предлагали играть Зарю с розовыми пальцами, я, конечно, отказалась: уж какая я там Заря! Старуха совсем. И пальцы не розовые, особенно после того, как мы готовили с Ульяной воскресный обед на шесть человек. Этот маскарад был поставлен при дворе. Государь играл коменданга, Наследник плац-майора, а Государыня камеристку царицы Чечевицы. Лиленька веселилась так, что смотреть было любо. Так жаль, что тебя не было».

Во втором письме Ольга Ивановна сообщала, что в Киев приехал Виер. «Сказал, что у тебя вид был хороший, что ты доволен поездкой. Я так была рада! Передал мне записку от тебя. Я и без твоей записки предложила бы ему остановиться у нас. Хотя в доме две дамы без мужчины, но ничего неприличного тут нет. Нас, слава Богу, все знают, он был вроде как твой воспитанник, да и у других живут гости. Ян совсем не постарел за четыре года, только возмужал и такой же красивый («ты ведь знаешь, что для меня из мужчин только ты и есть», — вставила, преодолев застенчивость, Ольга Ивановна).

---

<sup>1</sup> Танцы со спектаклем (фр.).

А гоноровый он еще пуще прежнего. Я звала его и завтракать, и обедать, и ужинать. Куда там, хоть верно у него денег, как кот заплакал. А как обедает, так приносит нам обеим цветы! Только неловко другим гостям. Не будет же Тятенька нам давать букеты! Лиленьке Ян очень понравился, она ведь едва его помнила. Он с ней обращается совсем как с взрослой, называет ее «мадмуазель Лиля» или «Елизавета Константиновна», ей натурально лестно. А вот ты мне скажи, что делать, если он попросит займы? Конечно, надо будет дать, но сколько? Триста? Пятьсот? Пока он и не думал просить. Я ведь только так спрашиваю, на всякий случай, может, совсем и не попросит. Да твой ответ и не поспел бы. Ян просил меня не говорить никому, что он был во Ф.. — Константин Платонович понял, что тут конспирация: его жена не хотела написать «во Франции». «Так, конечно, догадаться невозможно», — улыбаясь, подумал он. Хотя вести все были приятные и успокоительные, ему было мучительно читать эти письма.

— Это от твоей старухи? Прочти, что она пишет, — спросила Роксолана, принимаясь за третью булочку (им всегда приносили четыре и, по молчаливому соглашению, она из них съедала три). Он зашипел на нее так, что она испуганно отшатнулась.

Чтобы не проводить всего дня с Роксоланой, он ездил за город, изучал цветоводство. Она бегала по лавкам, ходила к гадалке. Гадалка попросила у нее золотой, чтобы показать монету одному знаменитому колдуну: тот произнесет важное заклинание, и ей тогда будет большое счастье во всех делах Роксолана идею занесла в память, но золотого не дала.

Днем она в кондитерских пила шоколад и уписывала пирожные. От них прямо переходила в ресторанах на Antipasti<sup>1</sup>, затем на основательные блюда. Пили они по-прежнему много, но Роксолана заявила, что больше дорогих вин не хочет. Теперь она заказывала *caraffa grande* местного вина, иногда предлагала даже заказать *caraffa media*<sup>2</sup>, но кончалось обычно тем, что они выпивали два, а то и три графина. После обеда сидели в кофейных. Он еще пытался заинтересовать ее Флоренцией. Объяснил как-то, что вон на том месте, против их ресторана,

---

<sup>1</sup> Закуски (ит.).

<sup>2</sup> Большой графин <...> среднего размера графин (ит.).

был сожжен Савонарола. Это ее не заинтересовало: сама видела, как казнят людей. Всё же спросила, кто он был и за что его сожгли. Узнав, что за обличение пороков и разврата, только презрительно усмехнулась.

— Верно сам тайком всё делал. Все вы одинаковые. Как, ты говоришь, его звали?

— Савонаролой. Вот ты хочешь быть знаменитой гадалкой, а ничему не учишься, — сказал Лейден. «Хорошо бы, если б она по вечерам читала и не морочила мне голову», — подумал он. — Ленорман всё знала. Вам надо знать, кто такой каждый.

— Чтобы учиться, надо деньги иметь, а у меня остался один золотой. А ты прав! Тогда учи меня.

— Нет, я учить не могу, — поспешил отказаться он. — Но я тебе куплю книги. Увидишь, как это тебе будет полезно. И ты должна читать французскую газету.

Книги вообще переводили ее в уныние; не любила, чтобы и он читал. Однако соображение Лейдена показалось ей основательным. Он купил ей несколько подходивших, по его мнению, французских книг. Говорила она по-французски свободно, но всему научилась по слуху. Теперь стала читать и кое-как понимала, с каждым днем всё лучше.

— Сегодня я сорок минут читала! — говорила она ему с торжеством. — В кондитерской сидела и читала. Если еще что-нибудь нужно прочесть, ты купи. А кто такой князь Ме... князь Меттерних? — спросила она. — Его тут не любят! Говорят, тиран. Тиран — это всё равно что янычар?

— Да, вроде этого.

— И вашего царя тоже не любят. Будем, говорят, с ними воевать. Уже по всей Италии беспорядки.

Ему совершенно всё равно было, о чем говорить с Роксоланой, и он объяснял ей, как умел, политическое положение в Европе, впрочем не очень интересовавшее и его самого.

Лейден приобрел немало книг и для себя, — то самое, что полагалось читать во Флоренции: Боккаччо, Виллани, Сципионе Аммирато, какие-то старые хроники, а также разные исторические «новеллы», которые пишутся об Италии, об особенно поэтических ее городах, наезжими иностранными писателями. Действие этих новелл происходило в Венеции, во Флоренции, в Сиене, в Равенне, действующие лица все были титулованные, с очень звучными именами. Были в новеллах и Мост вздохов, и

инквизиционный трибунал, и кардиналы, и наемные убийцы, были постоянные дворы, где знатные синьоры пили фалернское или салернское вино, где жадный и глупый трактирщик забавлял их подобострастными шуточками, а они ему бросали кошельки с цехинами. Цехинов у синьоров было, несмотря на их расточительность, сколько угодно, никто из них не болел дурными болезнями, не бывало у них ни желудочных болей, ни камней в мочевом пузыре, ни даже простого бронхита. Большинство из них совершало разные злодеяния. «Неужто когда-то все были Би-Шары? — думал Лейден. — А у поэтов принято осуждать именно наше поколение! Да вот тот же Лермонтов. — Он опять вспомнил «Думу». — «Меж тем под бременем познания и сомнения»!.. Да это была бы высокая похвала, если бы была правда. Только всё это ложь и вздор: в том и беда, что ни познания, ни сомнения у нашего поколенья не было, а уж у его гвардейского общества всего менее. Много он, Лермонтов, написал вздора, хоть и был гений. Когда было ему лет семнадцать, писал божественные стихи, «Ангел», «Парус», а как стал гвардейцем, то сочинил «Маскарад», детский вздор, читать без смеха нельзя. Что надо писать писателям? «То соблазнительная повесть — Сокрытых дел и тайных дум». Это так. А как надо писать? Скверно написаны все эти «новеллы»! Ничего в них страшного нет. То ли дело Священное писание! «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами!» Вот это страшно, и к этому ничего не прибавишь! Быть может, так надо и умирать: один из лучших способов, великая сила — ненависть».

Спал он худо и просыпался всегда в тяжелом настроении духа. Иногда рано утром, когда Роксолана еще спала, Лейден тихонько подходил к шкапчику, где у него хранилась бутылка с очень крепким итальянским ликером, и с жадностью отпивал прямо из бутылки большой глоток. На полчаса становилось легче, потом тоска усиливалась.

Раз как-то, выпив рано утром еще больше обычного, он закашлялся и присел на стул, тревожно глядя на кровать, — как бы не проснулась Роксолана. Вдруг ему показалось, что рядом с ней кто-то лежит. Было полутемно, она всегда закрывала ставни — как Ольга Ивановна. Он взгляделся. С кровати поднялся тициановский Неизвестный. Лейден не испугался и даже не встревожился: смотрел на него, точно спрашивая: «Ну,

и что же? Через минуту он пришел в себя. Константин Платонович не «протира́л глаза», как полагалось, но почувствовал, что у него сильное сердцебиение. «Слишком много проглотил ликера в один прием. Да и начитался всякой дряни!»

В этот день он стал читать «Декамерона»: по репутации книги надеялся, что она развлечет его, наведет веселое, жизнерадостно-циничное настроение, теперь ему нравившееся. Начал с середины, с более коротких рассказов. Читал еще свободнее, чем хроники: латинская конструкция фраз облегчала ему чтение, хотя почему-то его раздражала. Но рассказы показались ему скучноватыми. Герои, правда, были легкомысленные, веселые люди, но *род* их легкомыслия и веселья был слишком от него далек. «Преувеличен и Боккаччо, как всё классическое», — думал он. Затем стал читать с первых страниц. Высокий стиль «Введения», столь не похожий на всю книгу, описание чумы, напротив, поразили его. «Сколько доблестных мужчин, сколько красавиц, сколько юношей, которых Галиен, Гиппократ, Эскулап признали бы совершенно здоровыми, утром завтракали с родными или друзьями, а вечером в другом мире ужинали с пращурами!..»

«Как будто я стал восприимчивее к искусству? — думал он. — Или, скорее, просто приближается смерть, а я еще не нашел способа с этим примириться, вот одного из тех пяти или шести возможных. Если человек ни одного для себя не нашел, то ему и жить было не для чего...»

## IX

Свобода воли и необходимость одинаково непостижимы. Две противоположные и исключаящие друг друга системы теоретически имеют равные шансы. Но на практике свойственное нам сознание нравственного закона, которое, без моральной свободы человека, было бы ложным императивом, дает решительное превосходство доктрине свободы над доктриной рока.

*Гамильтон*

Он возвращался домой только к обеду, — остальное время отдавал делам и библиотеке. Роксолана ничего против этого не имела. За обедом оба зевали, а после обеда уж совсем было нечего делать. Она, впрочем, ничего не имела и против того,

чтобы в десятом часу ложиться спать. Была не очень довольна русским стариком. Деньги он, правда, давал, но небольшими суммами (всё-таки отложила она немало). Главное же, ей стало казаться, что старик понемногу сходит с ума. По ночам он часто вскрикивал так сильно и страшно, что она просыпалась в ужасе, а за стеной просыпались жильцы, очевидно прислушались, затем что-то бормотали. По-прежнему изумляло ее и то, что он по утрам и по вечерам мылся каждый раз около часа, ходил по нескольку раз в неделю в баню и ее заставлял ходить. Но ей итальянские бани не нравились: где уж до константинопольских: «Тут скорее испачкаешься. А моются часто только, которые грязные. Мне не нужно...» Иногда Лейден днем, наяву, долго изумленно на нее смотрел так, точно не знал, кто она. «А не пора ли от него уйти, хотя он добрый?» — спрашивала себя Роксолана. Ей всё больше хотелось уехать в Париж. Тайком от Лейдена она наводила справки.

Как-то сидя в кофейной на набережной, он стал читать только что купленную, верно десятую по счету, новеллу. Главным ее действующим лицом был флорентийский граф Герардо дела Герардеска, имевший великолепный родовой дворец, построенный Арнольфо ди Камбио. Граф был необыкновенно хорош собой, умен, образован, он обольстил и Монну Бианкину, и Монну Эммелину, и еще каких-то монн. Оружием граф владел так, что на дуэлях неизменно закалывал на смерть своих противников или выбивал из их рук шпагу, а сам оставался цел без единой царапины. Враги подсылали к нему убийц, их он тоже обезоруживал, угрозами и цехинами заставлял их служить себе и убивать его врагов. Из Флоренции граф отправился в Венецию с соблазненной Монной Бианкиной да Сассоферрато. Она была ангел, но страстно любила злого графа. В Венеции они посетили Тициана, — о котором в новелле иностранного автора сообщалось всё то, что можно было прочесть в любом справочнике. Девяностовосьмилетний художник утопал в роскоши и славе. Короли умоляли его писать их портреты. Карл V поднял кисть, выпавшую из рук старца, а недовольным придворным сказал: «Я могу создать сколько мне угодно герцогов, но создать нового Тициана я не могу». Граф Герардо дела Герардеска объявил Монне Бианкине да Сассоферрато, что хочет заказать Тициану ее портрет. Но на самом деле цель его

поездки была другая: он слышал, что у ученика Тициана, у знаменитого художника Тинторетто, есть шестнадцатилетняя дочь. Об ее красоте и талантах много говорили в Италии; знатоки восторженно предсказывали, что Мариетта Тинторетто затмит своего отца.

Константин Платонович зевнул, заказал себе еще графин вина и задумался. «Пора, пора возвращаться в Россию. Везде плохо, кроме, быть может, Константинополя, да и там ведь не всегда бывает солнечная вакханалия». Однако Киев был *свой*. В Киеве также, хотя и гораздо реже, с ним случалось то, что он теперь называл черной меланхолией; но он выходил из своего кабинета, и на него *всё-таки* действовали уютная семейная обстановка, милое лицо жены, веселый смех дочери, даже собиравшиеся к обеду надоевшие гости, с одними и теми же шутками, приветствиями, прибаутками. Действовал и вид прекрасно накрытого стола в ярко освещенной столовой, особенно же вид бутылок, на которые ласково поглядывали приглашенные. «Лучшая музыка. — звон стаканов», — говорил Рабле. Вино, правда, есть и здесь, и даже лучше... В Вене пробуду недолго. Но как же отделаться от Роксоланы по-хорошему? Сколько ей дать?»

Он, впрочем, чувствовал, что и с Роксоланой расстаться будет больно. «Вот уж тогда всё будет кончено: никаких *похождений* больше вообще в жизни не случится, будет семья, будут дела, плантации, обеды, разговоры с Тятенькой. Граф Герардо делла Герардеска взял от жизни больше», — подумал он со вздохом и снова принялся читать.

Граф вскользь спросил Тициана, как поживает его ученик. Великий старец пришел в ярость: он больше не хотел слышать о Тинторетто, в котором видел опаснейшего соперника своей славе. Найти Мариетту в Венеции было нетрудно, но как раз началась страшная чума 1576 года. Она была описана в новелле в стиле «Введения» Боккаччо. Все спасались бегством. Граф, Монна Бианкина и Тициан бежали вместе. В Серравалле они попали в такую гущу беглецов, что престарелый художник не решился продолжать путь. Он вернулся в свой венецианский дворец, заболел чумой и умер. Скорбь по случаю его кончины была так велика, что, в изъятие из общего правила о погребении чумных, власти разрешили торжественные похороны, и всё

население города, пренебрегая опасностью заразы, пришло отдать последний долг Тициану.

На этом графин кончился. Константину Платоновичу больше читать не хотелось. Он перелистал конец, узнал, что граф Герардо делла Герардеска по дороге продал свою душу дьяволу. Затем он умер вместе с Монной Бианкиной да Сассоферрато и, как язычник по духу, попал на суд Эака, Миноса и Радаманта. Лейдена удивило, что автор новеллы знал эти имена из его любимого мифа.

Теперь уже по привычке Константин Платонович зашел в галерею взглянуть на портрет Неизвестного человека. «Вот верно граф Герардо был именно такой», — подумал он. Долго смотрел на портрет пристальным взглядом. Таким же взглядом смотрел на него и Неизвестный. Искося поглядывал на Лейдена с другого конца комнаты и сторож: он уже много раз замечал, что этот иностранец очень долго стоит перед тициановским портретом, а на все остальное не смотрит. Сторож прослужил в музее всю жизнь и таких посетителей опасался. Но иностранец ничего дурного не делал. Константину Платоновичу вдруг показалось, что Неизвестный человек «прищурился и усмехнулся». «Да нет, это из «Пиковой Дамы!» — сказал он себе. Знал эту повесть почти наизусть. «Все мы отравлены литературой... Я слишком много пью...» Он хотел было вернуться в ту же кофейню, подумал, что неловко будет перед лакеем, зашел в другую и заказал вместо белого вина красное, — так как будто было лучше, — пьяницы, кажется, все пьют одно и то же. И опять ему пришли в голову те же мысли, ему самому очень надоевшие, простые, скучные: «Какой я Би-Шар? Просто развратный киевский старичок. Давно пора вернуться на Шелковичную улицу, там лежать на полатах, как говорит Тятенька, вести с Тятенькой ученые разговоры, слушать его осточертевшие шуточки и цитаты, изображать неясную любовь к Оле и Лиле, стараться прожить, по Ба-Шаровски, возможно дольше. Конечно, нет ни малейших оснований считать себя Би-Шаром из-за пошлейшего похождения, которое было бы пустяком, если б не странная обстановка, если б случилось оно не в Константинополе, а на Крещатике. У Петра Игнатьевича были десятки таких походов, он ими очень гордится, — как в душе и я. Мне понравилось считать себя Би-Шаром, но, собственно, Би-



Шар это просто псевдоним негодяя. Когда же я стал негодяем? Неужели был всегда? Как же назвать иначе старого человека, который бросил жену и дочь, вдобавок в зараженном городе, живет во Флоренции, где никакой холеры нет, пьянствует на их деньги с любовницей...» Лейден вдруг впервые подумал, что в его состояние, то есть и в деньги, которые он тратит в Италии, небольшой частью входит приданое, полученное им за Ольгой Ивановной. «Как же не негодяй! Немногим лучше Петра Игнатьевича, пропади он пропадом... В Киеве скоро нет тепло, эпидемия усилится, что, если, не дай Господи, они заболеют! Что я себе тогда скажу? И хорош же я, если сейчас подумал о том, «что я себе скажу»!.. Нет, нет, надо бросить Роксолану, да и скучно с ней еще в сто раз больше, чем с Олей. Побываю на трех оставшихся плантациях, — все же я кое-чему здесь для дела и научился, — и вернусь на Шелковичную улицу уже навсегда, твердо зная, что весь смысл моей жизни в том, чтобы отсрочить Аскольдову могилу».

Вечером этого дня Лейден был молчалив. Роксолана заговаривала с ним, он не отвечал. «Совсем помешался, еще задупит!» — подумала она.

Заснул он тотчас; в кровати задышался и вскрикивал.

Он ночью *знал*, что спит и что видит сон, старался даже все запомнить. Однако утром, когда просыпался, все бывшее во сне еще казалось ему совершенно ясным и разумным. Затем он подумал, что просыпается, что, к счастью, все это вздор: никакой серы, никакого Герардо, никаких Миносов! И, раскрыв глаза, с невыразимым облегчением увидел, что действительно не умер. «Слава Богу! Еще поживу!..» А еще через минуту он уже и помнил все не вполне твердо. Тем не менее решил занести сон в тетрадку. Для этого почти невольно освободил его от тех нелепостей, которые бывают во всех снах, даже в самых вещих и литературных. Впоследствии он не мог сказать с точностью, что именно ему снилось и что было им присочинено или приукрашено. По записи выходило как будто так.

Суд происходил в подземном царстве, не очень далеко от того места, где с грохотом и дымом текут, пылая, волны Флегетона. Но дабы близостью мучений не пугать людей, быть может ни в чем не повинных, судья теней, добрый Эак, настоял на том, чтобы высокие троны судей были поставлены за хол-

мом, на достаточном расстоянии от страшной реки. Его товарищ, злой Минос, возражал: «Пусть подышат серой, а там будет видно, кто виновен, кто нет». Третий судья, Радамант, полубог справедливый и блюститель законов, дал перевес мнению Эака, и троны были поставлены у подножия холма: до судимых не доносились ни запах серы, ни вопли осужденных. Рай был, тоже по воле Эака, далеко, чтобы не возбуждать ложных надежд. Ближе всего было Чистилище, расположенное не на Этне, вопреки указанию многих древних мудрецов, а у мутных, темных, скучных вод Ахерона, не очень далеко от того места, откуда каждый вечер отплывала барка Харона, увозившая осужденных в Ад.

Обычно дело каждого смертного обсуждалось совместно тремя судьями и решалось большинством голосов. Но в дни чумы так много было дел, что судьи поделили их между собой. Кто не знал за собой больших грехов, был спокоен и ждал терпеливо своей очереди. Большие же грешники волновались: как бы попасть к Эаку, как бы избежать Миноса!

Минос пользовался общей ненавистью. Все знали, что он вымещает на людях те обиды, которые сам испытал в жизни. В ту пору, когда он был царем на Крите, его жена Пасифая влюбилась в быка: Посейдон, бывший в ссоре с Миносом, подсунил ей самого красивого быка на земле. Она полюбила его и родила чудовище, каждый год пожиравшее в лабиринте семь девушек и семь юношей. В Греции вполголоса говорили, что Минос был, собственно, назначен лишь присматривать за осужденными, а обязанность судьи присвоил себе незаконно. Боялись его все необычайно, особенно после того, когда он поднимался на поверхность земли: если ему там попадался хотя бы смиренный вол, не было предела его свирепости.

К судейскому столу, за которым сидели судьи с ключами и с жезлами, вел узкий и длинный коридор. Продвигались в нем медленно, теперь многое зависело от счастья: выйдешь из коридора в ту минуту, когда освободился Минос, попадешь, на беду, к нему; а если свободен Эак, будет тебя судить он. В ту минуту, когда перед столом предстала Монна Бианкина да Сассоферрато, а за ней граф Герардо делла Герардеска, Эак только что кого-то отправил в Рай и смотрел с благожелательной улыбкой на Монну Бианкину. Но, как будто по ошибке, Монна Бианкина скользнула к Миносу, — он как раз что-то подписы-

вал. Бывший критский царь этого не заметил, или не понял, что нарушено правило: не привык к тому, чтобы кто-либо добровольно выбирал его судьей.

И Эак, и Радамант немедленно отправили бы Монну Бианкину в Рай, так как она была женщина великой доброты и кроме любви к злому человеку не значилось за ней никаких грехов. Минос в Рай женщин почти никогда не отправлял, но и ему в конце разбора пришлось сделать для нее исключение. «В Рай!» — угрюмо сказал он.

Эак же, по своей доброте и мудрости, не послал в Ад Герардо делла Герардеска. Как ни велики были грехи и преступления этого смертного, он отправил его в Чистилище: по своей доброте и мудрости, не обрек бы на вечные адские муки и самого Сатану.

В Чистилище вел длинный подземный коридор с запущенным, во многих местах провалившимся каменным полом. Его стены поросли мхом, кое-где были дыры, слева врвался удушливый дым, иногда сверкали адские молнии. Освещался коридор длинным рядом огневых часов. По правую же его сторону тянулись одно за другим огромные отделения Чистилища. Были тут отделения гордецов, скряг, лжецов, завистников, людей, преступных уверенностью, людей, ненавидевших земную жизнь, революционеров, не достигших власти; революционеры же, достигшие власти, почти все были в Аду, как и множество других людей, имевших большую власть в надземной жизни; в Рай никто из них не попадал.

Заключенным в Чистилище не объявлялось, сколько времени они в нем пробудут, и каждый раз, как сгорал до конца прут огневых часов, у них пробуждалась надежда, что пришел час их освобождения. У главного входа метал кости Случай, самый страшный из богов, его боялся сам Зевс. В Чистилище не было ни костров, ни пыток. Был лишь туман, и нечего было делать, нечего желать, так как скоро исчезала и надежда. Царила вечная Скука с измерявшими Время огневыми часами.

Рай же состоял не из двадцати восьми отделов, как говорили мудрецы в индийских землях Азии, и не из семидесяти великолепных дворцов, как учили, тоже в Азии, другие мудрецы. Лишь один из величайших мудрецов древности предвидел и описал все верно. В божественных садах, на берегу четырех рек, росло восемьсот тысяч дивных деревьев. У пышных хрус-

тальных ворот встречали бывших смертных и провожали их к дереву вечной жизни. Там они получали миртовые жезлы и впредь в течение вечности могли наслаждаться заслуженным счастьем. В одной реке тек мед, в другой молоко, в третьей благоуханья, в четвертой нектар. И бывшая смертная Монна Бианкина заняла место в шатре на берегу четвертой реки. Она заливалась слезами. Другие обитатели Рая были уверены, что это слезы счастья. Она же к нектару и не прикасалась. Думала только, что здесь избрал бы себе место Герардо, ибо он не любил ни благоуханий, ни молока, ни меда.

В райских садах тоже были часы и огневые, и водяные, и песочные. Но кроме Монны Бианкиной на них никто и не смотрел. Она же не принимала участия в великих радостях бывших смертных. Всё сидела на берегу четвертой реки или бродила по бесконечным садам. И так прошли годы или, быть может, десятилетия.

И как-то раз подошла она к воротам: не к тем, через которые была введена. У ворот никого не было. Некого было сторожить: какой же безумец уйдет из Рая? За воротами открывался мрачный каменный коридор. Она оглянулась и побежала.

В ту же секунду метнулись кости в руках Случая. Сгорел огненный прут. И великий грешник, бывший в надземной жизни графом Герардо делла Герардеска, услышал бегущие шаги и увидел, что расстилается туман. К нему бежала женщина, на лице которой была написана светлая, безмерная, неслыханная радость.

Но он не улыбнулся Монне Бианкине. Души их по-разному помрачились от Скуки.

## Х

Rien ne remplace l'attachement, la délicatesse  
et le dévouement d'une femme<sup>1</sup>

*Chateaubriand*

Тоскливое чувство, которое испытывала Ольга Ивановна со дня отъезда мужа, еще усиливалось от того, что грустно была

---

<sup>1</sup> Ничто не может заменить привязанность, деликатность, преданность женщины.

настроена и Лиля. Она почти забросила музыку, читала гораздо меньше и была неразговорчива. Большую часть дня проводила дома, а когда играла на пианофорте, то лишь «Песни без слов» — только что скончавшегося Мендельсона. «Неужто вправду влюбилась в Яна! Вот не хватало! И зачем он к нам приехал?» — думала Ольга Ивановна. Виер вел себя так корректно, что упрекнуть его ни в чем было невозможно. Он и сам был не в духе. Теперь обедал у них реже прежнего. Начал замечать, что было бы лучше и для него, и для Лили, если б они встречались не часто.

Жизнь Ольги Ивановны, ее душевный мир были просты и счастливы. Она всем желала добра. Это общее расположение к людям покидало ее очень редко, — когда кто-либо проявлял дурные чувства к ее мужу и дочери и о них злословил (от добрых знакомых это часто становилось ей известным). Но и таким людям она скоро прощала, и ей опять было хорошо. Ольга Ивановна считала некоторым грехом, что, желая всем добра, она всё же еще гораздо больше желала добра Константину Платоновичу и Лиле. Тут, она знала, ничего поделать с собой нельзя, да, собственно, и незачем: грех всё же невелик.

Если Ольга Ивановна чем-либо вообще гордилась, то разве тем, что устроила мужу и дочери хорошую, приятную, уютную жизнь. Это признавали все и всецело приписывали заслугу одной Ольге Ивановне: «При характере херсонского помещика, к ним никто и на порог не показался бы». Благодаря ей их дом на Шелковичной был одним из самых милых и уютных в Киеве. «Вы и не знаете, Олечка, как у вас всем хорошо и какие вы с Лилькой счастливицы!» — часто говорил ей Тятенька, и всегда у нее лицо при этом светлело. «Правду он говорит: нам хорошо, очень хорошо. Обо мне что же думать, а Лиленька действительно счастлива. Да и Косте грех жаловаться», — думала она прежде, еще совсем недавно.

Теперь, как она ни избегала разговоров — и даже мыслей — обо всем неприятном, у нее не было счастливого спокойствия или его стало много меньше. Больше всего, еще до отъезда мужа за границу, она тревожилась об его здоровье. Хотя он и не был с ней вполне откровенен и не говорил ей того, что, случалось, говорил Тятеньке, Ольга Ивановна чувствовала, что с ним творится что-то неладное.

Вторая же серьезная забота была о будущем дочери. Лиля и ее мать без слов понимали друг друга. Ольга Ивановна видела, что Лиле решительно нечего делать. Учителя давали ей уроки музыки и рисования. Играла она недурно, рисовала и писала акварелью плохо; всё это отнимало часа три в день, не больше. Так же, как это было ясно Лиле, понимала и Ольга Ивановна: занятие лишь одно — ждать «суженого», — особенно тягостное потому, что его надо тщательно скрывать от всех и даже, в меру возможного, от себя самой. Чужие мужчины, бездетные дамы только улыбались, — между тем это была настоящая драма, которая могла кончиться хорошо, но могла кончиться и плохо, — самым плохим концом было бы отсутствие конца. Ольга Ивановна, как почти все женщины, в свое время через это прошла и теперь не так уж радостно вспоминала о «невозвратной девичьей поре»: «Да, было хорошо, но слава Богу, что кончилось. Что со мной было бы, если б не Костя!» Иногда у Лили глаза бывали заплаканные. Между тем надо было делать вид, что всё идет отлично, а *суженый*, конечно, откуда-то возьмется, когда придет час. Но какой это час и как он придет, ни мать ни дочь не знали. Особенно им бывало тяжело, когда выходила замуж девушка еще моложе Лили. Если на балу или на спектакле Лили имела особенный успех, мать и дочь немного успокаивались: будет жених, не может не быть. Но и балы, и спектакли бывали не так часто. Поговорить обо всем этом с Константином Платоновичем было невозможно: в отличие от многих отцов он от такого разговора тотчас пришел бы в ярость.

Особенностью девичьего ремесла было то, что в обычное время, то есть когда никаких молодых людей в виду не было, делать ничего не приходилось: ремесло было эпизодическое. В Киеве подходящих женихов для Лили Ольга Ивановна не видела. *Блестящие* молодые люди, очевидно, жили в столицах, а другие были уж слишком не блестящи. Тятенька драму понимал, хотя по деликатности с Ольгой Ивановной о ней не заговаривал. Он старался приводить в их дом каких-то молодых людей, — лучше бы не приводил.

Приданое у Лили было не очень большое; она была, по общему отзыву дам, «хорошенькая, но не красавица»; все признавали, что у нее милый характер. Испытанное средство уже

было пущено в ход: они вдвоем съездили в Петербург, и ничего не вышло. Ольга Ивановна понимала свою ошибку: необходимо было сначала как-нибудь обзавестись в столице связями; кроме того, нужно было пробыть там не три недели, а по крайней мере три месяца. «Один раз не удалось, выйдет в другой», — утешала себя она. Теперь, по ее мнению, следовало торопиться: еще два-три года, и Лиля будет занесена в число старых дев. В прошлом году они вдобавок отправились в Петербург слишком поздно: сезон уже кончался. Гораздо лучше было бы поехать ранней весной.

Дела осложнилось заграничным путешествием Константина Платоновича. Как ни мало смыслила Ольга Ивановна в делах своего мужа, он всё-таки поручил эти дела ей, и уехать до его возвращения она не могла. Не очень удобно было бы оставить его и тотчас после возвращения. Хотя она просила мужа остаться за границей подольше, в душе Ольга Ивановна надеялась, что он вернется в конце зимы. Но из полученного ею из Флоренции письма как будто следовало (Константин Платонович писал не очень ясно), что его дела в Италии затягиваются.

Новая дружба Лили с Ниной давала выход. Барышни и их матери переписывались. Почти в каждом письме Лейденов звали в столицу погостить. «А отчего бы Лиленьке и не поехать без меня? — как-то спросила себя Ольга Ивановна. С той поры эта мысль ее не оставляла. — Конечно, гостить три месяца у друзей не очень удобно. Правда, я накупила бы им всяких подарков, и они так милы и гостеприимны». Было еще и другое препятствие: Нина, собственно, находилась точно в таком же положении, как Лиля; она тоже *занималась* тем, что ждала жениха; тоже была хорошенькая, но не красавица, со средствами, но не богатая. «Послать туда Лилю — точно отбивать хлеб». После долгих колебаний Ольга Ивановна написала своей подруге дипломатическое письмо. Сообщала, что им обоим очень хотелось бы к ним приехать, но она из-за дел мужа уехать не может. «Не подбрасывать же вам Лилёчку одну? Правда, есть оказия, чтобы ее к вам доставить, да это ведь невозможно, как вы обе ни милы. Она всё-таки была бы вам в тягость так долго», — писала Ольга Ивановна.

Ответ пришел точно такой, какого она ждала: Лилию восторженно просили приехать в гости: «Уж если ты, Оленька, никак не можешь, что ж делать? И как тебе не стыдно писать, будто Лиленька «будет в тягость!» Ниночка уже сошла с ума от радости, и мы обе умоляем об одном, чтобы Лиленька у нас осталась подольше, до самого июня. А в следующем году, Бог даст, отдадим вам визит в Киев. Мы давно хотим увидеть «мать русских городов».

До февраля о поездке Лили не говорили. Все киевские барышни и их родители оживлялись, когда дело подходило к Контрактам. Но в 1848 году съезд оказался небольшим, отчасти из-за приютившейся где-то на зиму холеры.

Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы Лилия путешествовала одна. «Оказией» был Тятенька. По мнению Ольги Ивановны, он должен был ухватиться за ее план. «А если он скоро захочет вернуться в Киев, то я съезжу за Лилей в июне».

Тятенька действительно пришел в восторг.

— Да я отвезу Лилию, за чем дело стало? Я и сам давно хочу проветриться. И по делам нужно! — сказал он. Ольга Ивановна догадывалась, что дела он тут же выдумал. Однако жертва со стороны Тятеньки была не велика: он каждые два-три года уезжал в столицы и чрезвычайно это любил. Для роли шаржеон<sup>1</sup> он годился превосходно по возрасту, по своей совершенной порядочности, потому, что очень любил Лилию и считался «как бы вторым отцом». Тятенька говорил, что в Петербурге, в отличие от Киева, сезон прекрасный. Итальянская опера чудесна, — правда, Рубини и Виардо больше нет, но Борси и Фреццолини поют одна лучше другой, так что образовались две партии: фреццолинисты и борсиссты.

О поездке Лили следовало бы, конечно, запросить отца. Это было трудно: ответ пришел бы не скоро и, вероятно, был бы отрицательный. В разлуке со своими Константин Платонович не пришел бы в ярость, но, догадавшись, в чем дело, написал бы: «Зачем Лиленьке ехать одной и бросать тебя? Вот я вернусь, тогда осенью или будущей весной съездим втроем». Ольга Ивановна и сама немного колебалась: что Лилия будет там де-

---

<sup>1</sup> Компаньон, сопровождающий девушку (фр.).



лать без нее? Хотя *занятие* ни с какими трудами не было связано, всё же мать для него была очень полезна. «Ну, просто перезнакомится с молодыми людьми, ответит с Ниной душу».

Приняв решение, Ольга Ивановна прибегла к своей обычной тактике: она делала с дочерью, что хотела, но незаметно выходило так, будто Лиля всё решает самостоятельно.

— А что, Лиленька, если б ты в самом деле приняла их приглашение? Они такие милые. Тятенька туда собирается, он мог бы тебя отвезти. Опера там нынче превосходная. Говорят, эта Фреццолини всех сводит с ума.

— Нет, я не поеду, — сказала кратко Лиля. Ей показалось, что мать хочет увезти ее от мосье Яна.

— А почему бы нет, Лиленька? Ты ведь очень любишь и Петербург, и Нину. Тятеньке нужно туда по делам. Он, конечно, будет жить в гостинице. Почему бы тебе не съездить?

— Так, просто не хочется. Хочу быть с вами... И не могу я вас оставить одну без папы, — сказала Лиля. Очевидно, этот довод только что пришел ей в голову. Ольга Ивановна была им тронута; всё же ее беспокойство увеличилось. «Конечно, Ян! Так и есть!»

Быть может, начался бы разговор «начистоту», но вышла неожиданность. В этот день у них обедал Виер. За столом он со своей обычной учливой улыбкой сказал, что, как ни хорош Киев и как ни приятно ему было пользоваться их гостеприимством, он на днях должен уехать.

Лили помертвела. Мать старалась на нее не смотреть.

— Куда?

— В Пруссию.

— Вот как! Что ж так скоро?

— Пора. Дела.

— Значит, в Киеве вы все дела закончили?

— Закончил ли дела? Да, теперь все закончил. В Петербурге верно на неделю задержусь, а затем морем в Штеттин. К чему откладывать?

— Это правда, — сказал Тятенька. — Если дела кончены, то откладывать незачем. Правду говорят: годить только гадить. А в Питер мы могли бы поехать вместе, — добавил он. Ольга Ивановна с неудовольствием на него взглянула, но он этого не заметил. — Лилию зовут в Петербург, и мне тоже туда надо.

— Это было бы очень приятно.

Разговор перешел на Контракты, на холеру: в городе опять произошло несколько смертных случаев. Для Ольги Ивановны это был лишний довод, чтобы отправить Лилю на север.

В тот же день она с самым беззаботным видом снова спросила дочь:

— Что же, Лиленька, как же Петербург-то? Ведь надо им дать ответ.

— Да зачем же, мама, я поеду? — спросила Лиля, и Ольга Ивановна, с очень смешанными чувствами, почувствовала, что дело сделано. «Ну, что ж, ведь он туда только на неделю, да и едва ли будет ходить в чужой дом. Разве один раз зайдет с визитом».

— Как зачем? Развлечешься.

— А как же я вас оставлю?

— Как-нибудь, я не маленькая. Ты, конечно, старше, но я обойдусь без твоего надзора.

Лиля засмеялась и поцеловала мать.

Снег рано начал таять. Решено было путешествовать не в санях, а в карете, не на долгих; у Лейденов была только пара лошадей, для кареты требовалась в далекую поездку четверка. Ольга Ивановна приготовила много съестных припасов, но это было ничто по сравнению с тем, что приготовил Тятенька. Все только разводили руками, когда в дом стали привозить его корзины, бутылки, даже кадки с морожеными щами.

— Тятенька, да ведь это на полк солдат!

— Дай Бог, чтобы что-нибудь осталось через три-четыре станции.

Вьер съестных припасов приготовить не мог, но купил несколько бутылок старого меда. В разговоре с Тятенькой он твердо поставил условие:

— Будем делить все расходы.

— Сделайте милость, пане Яне. Может, мне и за мою снедь купно с благодарностью заплатите?

— За вашу снедь вы денег не приняли бы, но расходы на лошадей, на ночлег будем делить.

— Ничего решительно против этого не имею... Пане Яне, вас за гордость черти припекут на том свете. Впрочем, вы в это не верите. А в чертей Товянского верите? — спросил Тятенька. Слухи о Товянском, в форме смешных анекдотов,

уже дошли и до Киева. — Ну, не буду, не сердитесь. Всё же странно, как у вас сразу в голове и революция, и Товянский.

— В этом ничего странного нет. Только спорить об этом не стоит, особенно в России.

В день отъезда Тятенька рано утром прикатил в своей бричке еще с какими-то припасами. Его дорожный наряд вызвал общее веселье. На нем под медвежьей шубой был яркий тулуп и коты<sup>1</sup> с красной оторочкой. Перед дорогой все присели, затем долго, уже на улице, прощались. Ольга Ивановна и Лиля плакали.

— Ну, с Богом!

— Прощайте, Ольга Ивановна, еще раз от души вас благодарю за всё ваше милое гостеприимство, — сказал Виер, целуя ей руку.

— Не прощайте, а до скорого свиданья, — поправил Тятенька, три раза поцеловавшись с Ольгой Ивановной. — Дети мои, айда! Взбирайтесь, едем. Frisch in's Leben hinein!<sup>2</sup> Дай нам, Боже, добрый путь! Олечка, дуся, не плачьте... Не забывайте мене. Пошли вам, Господи, усе добре!

— До свиданья, маменька, до свиданья... Скоро вернемся, маменька, — говорила в слезах Лиля. Теперь не назвала Ольгу Ивановну и «тата».

## XI

Je meurs de soif auprès de la fontaine<sup>3</sup>.

*Villon*

Эта поездка из Киева в Петербург осталась одним из самых счастливых воспоминаний Лили. Впоследствии ей казалось, что Бог хотел ее побаловать перед большим несчастьем.

Она теперь находилась в обществе мосье Яна целый день, — чего же можно было еще желать! Всё в дороге, даже неудобства, усталость, грязь, мелкие приключения, было для нее источником радости. Карета катила с горы несколько быстрее, чем полагалось. Лиля вскрикивала, хватала Виера за руку, за-

<sup>1</sup> Верхняя теплая обувь, надеваемая поверх сапог (*устар.*).

<sup>2</sup> Смело вступай в жизнь! (*нем.*).

<sup>3</sup> Я умираю от жажды вблизи фонтана.

тем весело хохотала над своим испугом. Им кланялись мужики, очевидно принимавшие их за местных бар, — ах, какие смешные и милые!

Тятенка никогда не мог пожаловаться на дурное настроение; теперь же ему была особенно приятна роль *отца* Лиля. Она была на его попечении; он всё делал, чтобы ей было хорошо. Лиля знала его с раннего детства, он был такой же принадлежностью их дома, как няня, как Ульяна, как старая собака Шарик. Но только в этом путешествии она увидела, как мил может быть Тятенка.

И даже Виер повеселел после того, как они выехали за заставу.

У него была в Киеве еще одна, последняя, встреча с Зосей. Никакого разговора не вышло. Ему казалось, что он разговора и не хотел. Он простился с ней так, точно они должны были снова встретиться через неделю. Окончательно себе сказал, что всё тут было в деньгах. Для такого суждения, собственно, оснований не было: он видел, что она влюблена в своего жениха. Прежде Виер, случалось, как Лейден, думал, что погоня за деньгами (которую он иногда замечал даже у революционеров) может находить если не оправдание, то смягчающее обстоятельство: человек хочет создать себе независимость для обеспечения личного достоинства; при полном отсутствии средств оно дается очень нелегко. Теперь он больше этого не находил. «И люди, стремящиеся к богатству, и люди, желающие только материальной независимости, стоят друг друга. Они те же бальзаковские персонажи. И если Бальзак прав, если Мирабо и Дантон были продажны, то они никак не великие люди. Действительно, в пору Великой революции так или иначе продавались почти все. Помнится, бонапартовские революционные офицеры писали Директории: «Из всех животных самое отвратительное — король, самое подлое — придворный, а хуже их всех — священник». Слова и сами по себе глупые, вульгарные, ни о каком достоинстве не свидетельствующие, Позднее же эти люди стали герцогами, маршалами, верноподданными сначала Наполеона, затем «законного короля». И так будет всегда, пока существует их проклятый хозяйственный строй. Когда мы его уничтожим, люди станут чище. Бланки прав, во всём прав. Как только вернусь в Париж, отдам отчет князю Адаму, а затем

навсегда к Бланки и уйду. У меня личного счастья не будет, и я для него не создан».

С Лилей он очень сблизился в Киеве именно потому, что об его женитьбе на ней не могло быть речи. Всё же он невольно, сам того не замечая, старался в разговорах с ней быть «интересным». Иногда с легкой таинственностью говорил ей о политических делах. Теперь ему было бы неприятно, если б она его считала торговым комиссионером. То жадное внимание, с каким его слушала Лиля, все больше на него действовало. Она же боялась, как бы он не счел ее глупенькой, и изо всех сил старалась ему сочувствовать.

Всю дорогу из Киева в Петербург они были в состоянии необычном. Тятенька скоро это заметил. Он считал Виера очень корректным и вдобавок холодным молодым человеком. Но из предосторожности — всё на его ответственности — предложил Лиле сидеть в карете справа от него:

— Я из нас самый важный, мне и полагается сидеть посредине. А тебе, Лилька, захочется вздремнуть, вот и прислонись головкой к стенке и спи, сколько хочешь.

— Ни за что! — сказала Лиля, впрочем без всякого умысла. — Посредине всегда сидят дамы.

— Хороша «дама!» — проворчал Тятенька, но не настаивал. Ни разу не случилось, чтобы Лиля в карете задремала. Не спал даже он сам. Всю дорогу болтал, рассказывал смешные истории, кавказские или еврейские анекдоты. Почему-то старался говорить по-украински. Случалось, даже пел малороссийские песни, которых знал немало. И анекдоты и песни у него были на разные случаи жизни. Когда въезжали в лес, Тятенька, притворяясь испуганным, говорил Лиле, что тут водятся разбойники. Лиля ахала, но знала, что мосье Ян ее спасет. А Тятенька, фальшивя, пел, к удовлетворению ямщика:

Зовут мене розбийником,  
Кажуть, розбиваю.  
Не убив же я никого,  
Бо и сам душу маю.

А що визьму с богатого,  
То вбогому даю,  
А так гроши подиливши,  
Всё ж, гриха не маю.

— Гей, дядьку, — говорил Тятенька слушавшему рассеянно Виеру. — Симпатичный розбийник, правда? Ну, так выпьем, пане Яне, за его здоровье. Зачем печален, вацпан? Щось не мило часом на свити, або що?

Он доставал бутылку, стаканчики на «пуклях» какой-то, по его словам, ашпурской работы, и пил сначала «за маму», потом «за папу», потом «так и быть, за тебя, Лилька» и «за тебя, пане Яне, хоть ты, по дьявольской твоей гордыне, этого не стоишь». Теперь он и Виеру говорил «ты», смятчая это словом «пан». «Ну, а естли вы оба, дикари и грубияны, за меня тоста не предлагаете, то я сам за себя выпью. Будем здоровы». Ямщиков он щедро наделял едой, но водки им давал только по стаканчику: в большом количестве отпускал ее лишь тогда, когда подъезжали к гостинице на ночевку. Путешествовали они медленно. Тятенька уверял, что от быстрой езды делается каменная болезнь. Лиле же всё казалось слишком быстро, — она с тоской думала, что скоро это райское существование кончится. Лошадей они доставали везде: Тятенька обращался со зрителями мастерски; их тоже угощал, либо «из благодарности», либо «чтобы подмаслить», — «не подмаслишь — не поедешь».

Закуска в карете была, по его словам, несерьезным делом: главная еда была на станциях. Тятенька первым делом спрашивал трактирщика, есть ли баранина. Если была, то сам жарил шашлык, в ту пору еще мало известный за пределами Кавказа. Вертел над огнем мясо на железном пруте, говорил какие-то армянские или грузинские слова и давал пояснения обступавшим его людям. Когда же баранины не оказывалось, то с видом величайшего презрения спрашивал, что есть, действительно ли яйца свежие, действительно ли будет курица, а не старый петух. Выслушав с самым недоверчивым выражением клятвенные заверения — все самого лучшего качества, — заказывал обед. Если ждать приходилось долго и если содержатель трактира был еврей, Тятенька, хоть ничего против евреев не имел, говорил: «Чтобы вам вашего Мессию так долго ждать!» А когда бывал доволен, хвалил: «Яке смачне блюдо! И пейзаховки ще такой не було! Не корчма, а закуток эдемський! Здоров був, пане Рабинович!» Не очень торговался, расплачиваясь, на чай оставлял щедро, но кряхтел — «ох, крепко жамкнул!» — и декламировал: «О, деньги, деньги! Для чего — вы не всегда в моем кармане?»

В городах, где они останавливались на ночлег, он тотчас находил наименее плохую гостиницу. Всегда заказывал две комнаты, даже если были свободны три; Виера устраивал в своем номере на диване (из бережливости Виер соглашался), а Лилину комнату тщательно осматривал, посыпал кровать порошком, спрашивал слугу, кто соседи, проверял засовы, иногда подвигал к двери комод. Затем уходил делать покупки и неизменно брал с собой Яна, под предлогом, что трудно одному всё нести. Свои запасы он начал пополнять еще с Чернигова. По пути рассказывал Виеру непристойные анекдоты: при Лиле нельзя было, а без них Тятеньке было бы трудно прожить неделю. К некоторому его удивлению, молодой поляк слушал без улыбки, а иногда и морщился.

— Да ты ведь, пане Яне, не монах, а фармацевт, да еще вьюнош, — говорил, оправдываясь, Тятенька. — Владимир Красное Солнышко, на что уж праведный человек, а был в молодости, как говорит современник, «несыт блуда». Что ж тут худого?

Еще неприятнее было то, что в лавках Виер отсчитывал ему половину истраченных денег. Этого Тятенька и вообще не любил, а тут платил *мальчишка*, у которого и денег, по-видимому, было совсем мало, хотя он путешествовал на счет иностранной фирмы.

— Да почему же половину! Чи не сором тобі, вацпане? Что ж, ты и за Лильку хочешь платить? Третью, так и быть, возьму, а больше не возьму!

— Дамы не платят.

Вернувшись в гостиницу, Тятенька выгружал еду, доставал бутылки, — при этом не то декламировал, не то пел: «Да он бочку вина берет под пазуху, — Да другую сороковку под другую, — Да и третью-то бочку да ногой катит...» Затем страшным голосом звал Лилию: «Ах, несчастная девчонка!..»

Лилия в своей комнате мылась с головы до ног, тщательно себя совершенствовала перед зеркалом и переодевалась. Она взяла с собой три дорожных платья, хотя Ольга Ивановна говорила, что и двух вполне достаточно. Но шубка была в дороге только одна. Мать настояла на том, чтобы вторую, лучшую, спрятать в сундук для Петербурга. Между тем Лилия чувствовала, что Петербург ничто в сравнении с этим волшебным путешествием. Когда она, наконец, входила в комнату

мужчин, там уже стояли на столе самовар, бутылки и невообразимое количество еды.

— Ну-с, задавим буканда. Пообедаем не «cito», но «jucunde», — говорил Тятенька.

И тотчас становилось гораздо веселее. За закуской он доказывал, что русская водка самая лучшая в мире: «Даже ваша, польская, хоть и хороша, да хуже, это, пане Яне, надо признать». За венгерским говорил: «Поляк, венгер то братанки — так до шабли, як до шклянки». Случалось, тайно отдавал хозяйну остудить бутылку взятого из Киева шампанского; при ее появлении он наслаждался эффектом и, наливая вина Лиле, сообщал, что, по словам маркизы Помпадур, шампанское — единственное вино, которое хорошенькая женщина может пить, не становясь некрасивой.

— А впрочем, ты, Лилька, и ведать не ведаешь, какая такая маркиза Помпадур.

— Ну, вот еще! — возмущенно отвечала Лиля. — Она была любовницей...

— Не смей говорить такие слова! Фавориткой.

— Фавориткой одного французского короля.

— То-то. И вообще не смей у меня пакостить.

— Это значит: «говорить дерзости»? Вот нарочно возьму и буду пакостить.

— Не смеешь! Я теперь над тобой полный властелин. Как царь Алексей Михайлович, я «земель восточных, западных и северных отчич и дедич».

Ложился спать Тятенька рано и, к досаде Лили, заставлял ложиться Виера.

— А то шановний добродий меня разбудит, у меня очень чуткий сон, — говорил Тятенька, которого не могло бы разбудить сражение под окнами его комнаты. Его опыт говорил, что лучше не оставлять без надзора вдвоем молодых людей, даже очень хороших.

Общему прекрасному настроению способствовала теплая солнечная погода. Тятенька говорил, что только на Украине бывает такая в конце февраля:

— В Турции, в Италии солнца, понятное дело, еще больше, а неба такого и у них нет. Я напишу астроному Штруве, спрошу, как это выходит по-ихнему, по-ученому? И оцените вы, детки, эти тающие снежные ручейки! Они мертвого расшевелият!



— В Польше точно такие же.

— А ни-ни! А эти леса, рощи, поля! Нет уж, друже мий милый, мы их вам, панам, не отдадим. Себе дороже стоит, — говорил Тятењка. Виер не сердился: то ли не считал эти земли польскими, то ли не считал Тятењку русским.

— Что и говорить, места красивые, но какая бедность! Взглянули бы вы на европейские деревни.

— Должен тебе ответом: я их видел. Они ненамного богаче наших. Да и то, ведь вы, партажеры<sup>1</sup> хотите всё у всех отобрать. Говорят, у вас и жены будут общие, а?

Виер пожимал плечами. Считал, что вести с Тятењкой серьезный политический спор не стоит, но иногда, ради Лили, от своего правила отступал. Когда Виер сказал, что он последователь Бланки, Тятењка заинтересовался: кто такой? Этого имени он никогда не слышал; немецкие ведомости о таком не писали. Узнав сущность учения этого революционера, и то, что он недавно сидел или еще сидит в тюрьме, Тятењка раскрыл рот.

— Да он видно мамуля! — сказал Тятењка. Так в старину называли людей, которые совершенно не умели играть в карты и тем не менее вели большую игру.

— Мамуля? Это верно «дурак»? Бланки один из самых умных людей в Европе.

— Умнее князя Адама, пане ласкавый?

— Да, умнее.

— Умнее Товянского?.. Ну, не гляди, вацпан, на меня як вивк. Я ведь спрашиваю из любознания. Умнее Мардохая из «Тараса Бульбы»?

— Из «Тараса Бульбы»? Терпеть не могу эту нехорошую ерунду, которой вы почему-то восхищаетесь.

— Зать! — сказал Тятењка.

— Нам вообще трудно спорить. Кто-то из читавших Канта сказал, что политика еще может выдержать критику чистого разума, но не может вынести критики нечистого разума. А у вас в подходе к ней «нечистый разум».

— Есть грех, есть, — сказал Тятењка, засмеявшись. — А Гоголя не смей ругать. Он великий писатель, когда не очень умничает. Не надо, не надо умничать. Вот наш Грибоедов тоже

---

<sup>1</sup> partager – уравнитель (фр.).

прекраснейший писатель, а как себе умничаньем повредил! «Горе от ума!» Нет у него ни ума, ни горя. Его Чацкий так же глуп, как Фамусов, только поскучнее. А всё его «горе» в том, что дура Софья ему предпочла дурака Молчалина и что еще десяток дураков и дур распустили про него сплетню. Экое, подумаешь, великое несчастье!

— Так вы, правда, мосье Ян, адгерент<sup>1</sup> Бланки? — спросила Лиля, слышавшая это слово и очень довольная тем, что его вспомнила.

— Да, мадмуазель Лиля. Но рассказывать об этом не надо.

— Я понимаю! Что вы!

— «Мадмуазель Лиля», «мадмуазель Лиля!» Лилька она, и конечно! — проворчал Тятенька. — А естли человек сидит в тюрьме во Франции, да при нынешнем богоспасаемом короле, то, значит, явное дело, висельник.

— Висельник? Бывают висельники благороднейшие люди. Это зависит от того, кто и за что вешает.

— Ну, хорошо, отдаю решпект, дуже ты разумный. Выпьем за его здоровье, пане Яне. Бланки так Бланки. «Niemesz bo rady dla duszy Kozaczy»<sup>2</sup>. Ох, твоя гордость, вацпан! Ты и живешь для некрологии!

— Вот уж и в мыслях не имею! Я средний человек.

— Для некрологии живешь, для некрологии. Ну, и будет тебе некрология. А что в ней? Ерунда, братец, чистая ерунда.

К концу обеда Тятенька утомлялся и уже более вяло рассказывал о своих путешествиях:

— В Вене у меня была комната с собственной душой! Это очень просто: наливают в резервуар два ведра теплой воды, становишься под душу и пускаешь струю, какую хочешь. Истинное блаженство, но, говорят, пожилым людям вредно, а то я завел бы и у себя на Подоле. Верно врут. А как в Вене кормят! А какое кофе! Только у вас в Варшаве я пивал такое же.

Пообедав, он неизменно говорил: «Отчего казак гладок? Как поел, так и на бок», разваливался в кресле и засыпал «начерно», то есть перед настоящим сном в кровати. Лиля тогда вела с Виером волнующий разговор вполголоса. Иногда с улыбкой,

<sup>1</sup> Фр. *adhérent* – приверженец.

<sup>2</sup> «Не знаешь, что помогает душе казачьей» (пол.).

свидетельствующей о полной осведомленности, вскользь спрашивала его о парижских *лоретках*. Ей мучительно хотелось узнать о Зосе, но она понимала, что спрашивать нельзя, что он всё равно не ответит и рассердится. По-иному, но еще больше хотелось ей узнать, есть ли у него в Париже *связь*. Она раза два отдаленными намеками, с парижскими словами, давала ему понять, что уже *знает всё* (разумелись те тайны, которые она обсуждала с подругами). Но помимо того, что говорить об этом было очень стыдно, Лиля опасалась, что Тятенька не вовремя проснется, рассердится и долго будет орать, что поставит ее в угол.

Виера многое удивляло в дороге. Удивляло то, что при всей бедности населения, при всей убогости хат, еды везде было много. Эти крепостные люди питались обильнее, чем свободные европейцы. И даже по качеству подававшиеся в трактирах блюда были недурны, лучше того, что он ел в дешевеньких ресторанах Парижа. Еще больше его удивляла музыкальность простого народа. Во всё время путешествия они точно не выходили из концерта: не было остановки, на которой не играли бы — и недурно — на балалайках, на дудках, на гусях. Еще лучше пели, хоть пение было своеобразное, не похожее на то, что он — гораздо реже — слышал во французских и немецких деревнях. «Странно! Если народ так музыкален, то почему же у них нет замечательных композиторов? Где их Россини и Мейерберы?» Виер всё ещё иногда утешал себя тем, что это были не русские, а хохлы, — не враги, а, скорее, собраты в борьбе.

Тятенька иногда под вечер зазывал крестьянок, угощал их и заставлял петь. Как-то на третий день их путешествия для него по заказу девки пели одну из особенно нравившихся ему песен:

Ой, диво дивное, диво,  
Пошли дивоньки на жниво,  
Жнуть дивоньки жито, пшењццо,  
А парубоньки куколь, митлыццо.

Чого дивоньки красные?  
Бо идять пироги мясные?  
Маслом поливають,  
Перцом посыпають.

А парубоньки блідные,  
Бо идять пироги пистныи,  
Золой-щелоком поливають,  
И попелом посыпають.

— Ах, какие глупые слова! *C'est bête à pleurer!*<sup>1</sup> — говорила Лиля, поглядывая на мосье Яна.

— Слова идиотские, а поют они, право, недурно.

— Прекрасные слова, мудрые слова! — возразил Тятенька. — Ты небось, Лилька, думаешь, что это хорошо, если дивонька блідная? Вздор, мать моя, вздор! У тебя у самой главная прелесть в румянце. И аппетит у тебя слава Богу! Скушала, матушка, три порции фаршированной щуки и отлично сделала! — дразнил он Лилю. Она краснела и оглядывалась на мосье Яна, который, впрочем, к легкому ее разочарованию, тоже ел в дороге с большим аппетитом.

— Хорошая страна Малороссия! — сказал Виер. — Когда-то ее увижу снова? Завтра уже будем у кацапов.

— А ты оставайся, вацпане, в Киеве совсем. Определим тебя на службу, а? Честные чиновники везде на вес золота... Не слушай, Лилька, — вставил Тятенька и, наклонившись к Виеру, дыша на него вином, рассказал: — Недавно наш Безрукий говорит одному такому-сякому: «Ходят слухи, что вы берете взятки!» А тот преспокойно ему в ответ: «Не всякому слуху следует верить, ваше высокопревосходительство. Говорят, что вы в связи с моей женой, да я не верю?»

Лиля звонко расхохоталась. Она знала даму, о которой шла речь, и при встрече поглядывала на нее с любопытством и с испугом, как на Ганскую.

— Ты как, дерзкая девчонка, смеешь слушать то, что не для тебя мужчины говорят! Эх, в корчме в угол поставить нельзя! Вот возьму и не завещаю тебе моего достояния! И в Петербурге никуда тебя пускать не буду... А надо бы, ребята, сделать, чтобы приехать в Петербург во вторник. Понедельник тяжелый день, — сказал Тятенька, иногда, несмотря на свое вольнодумство, прикидывавшийся зачем-то суеверным.

— Ну, вот еще.

---

<sup>1</sup> Настолько глупые, что впору заплакать! (фр.)

— Не говори, пане Яне, «ну, вот еще»: Бонапарт отложил переворот 18 брюмера на один день потому, что 17-го была пятница.

— Непременно отложим приезд, Тятенька, непременно! Я ужасно боюсь тяжелых дней! — с жаром солгала Лиля.

— Ну, ладно. Вот что, детки, спать пора. Идем, Вельзевул. Лилька, с почтением пребывать имею. Доброй ночи, поцелуй меня, — сказал Тятенька.

Малороссия кончилась. Стали исчезать белые хатки с садиками, становилось холоднее, послышалась чистая русская речь. Лиля сразу стала грустней.

Раз вечером Виер зашел в ее комнату: по ее просьбе, принес ей роман Жорж Санд. Постель уже была постлана, Лиля была в пеньюаре. Оставался он не более двух минут, хотя Тятенька уже спал.

— Я много ее читала. Ах, какая она замечательная писательница! — сказала очень смущенно Лиля.

— Она замечательный человек, — поправил Виер.

Больше ничего сказано не было. Уходя, он бросил на нее взгляд. Лиля легла и долго не могла заснуть от волнения. Глаза у нее блестели. «Что он хотел сказать этим взглядом? Какая я была? Как я на него смотрела? Он ли мне ответил глазами или я ему?.. Что, если б он в самом деле говорил мне Лиля! А я ему Ян?.. Какие у него заботы, какие волнения, если он *эмиссар*! Что, если его поймают и сошлют в Сибирь! Я брошу всё и пойду в цепях за ним!.. И остается теперь два дня, только два дня!..»

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

[ I ]

Un salon de huit ou dix personnes  
dont toutes les femmes ont en des amants,  
où la conversation est gaie, anecdotique,  
et où l'on prend du punch léger à minuit  
et demi, est l'endroit du monde où je me  
trouve le mieux<sup>1</sup>.

*Stendhal*

Бальзак вернулся в Париж из Верховни в середине февраля 1848 года.

Он часто ругал Францию, проклинал свою парижскую жизнь. Но это было *так*: как все парижане, всегда возвращался домой с истинным наслаждением, — на земле был, конечно, лишь один настоящий город. Он решительно ничего не имел против иностранцев, — все люди были интересны. Через полвека Артур Рембо писал об африканских неграх: «Они не глупее и не подлее, чем белые негры так называемых цивилизованных стран, они другого порядка, только и всего». Бальзаку нравилось за границей очень многое, особенно в Польше и в России. Тем не менее, парижский «порядок» занимал его неизмеримо больше.

Денег он привез довольно много; они предназначались для уплаты кредиторам и поставщикам. Платить долги было очень приятно, особенно антикварам за картины и старинные вещи: заплатил, значит, можно покупать в кредит и дальше. Разумеется, он все находил чудесным образом и приобретал баснословно дешево: антиквары просто не знали цены своим вещам или же отдавали ему свои сокровища за бесценок: «Только потому, что это покупаете *вы*».

---

<sup>1</sup> Салон, где собирались восемь или десять человек, все женщины уже имели любовников, разговаривали весело, с анекдотами, пили легкий пунш перед полуночью и еще позже. Это такой островок, где мне лучше всего на свете.

Таких сокровищ в доме на улице Фортюне уже было множество. В спальне с куполом стояла кровать маркизы Помпадур, — одна из тех, очевидно, бесчисленных ее кроватей, которые в течение ста лет продавались и по сей день продаются странным людям, желающим спать «на ложе Людовика XV». На шелковом шнуре в передней висел фонарь, принадлежавший графине Дюбарри, еще где-то стоял комод, принадлежавший Марии Антуанетте, и было что-то еще, кому-то когда-то принадлежавшее. Лучшее всего был первый этаж дома, весь выстланный темным бобриком с красными цветами, а в нем кабинет и библиотека; мебель черного дерева с медной и перламутровой инкрустацией, булевский письменный стол и другие вещи Буля. Он особенно любил этого мастера; Буль по разнообразию своего творчества был в своей области тот же Бальзак, так же любил пестрое, необыкновенное, редкостное, так же мог изображать все, от цветов до сражений. В книжных шкафах была особенность: когда дверцы затворялись, их нельзя было найти, не зная секрета. Бесчисленные книги были почти все в красных кожаных переплетах. В книгах Бальзак уж несомненно знал толк, и тут его никто не мог бы обмануть. Читал он чрезвычайно быстро и все помнил, — был одним из самых образованных людей своего времени.

В первый вечер он долго гулял в своем доме, по своим комнатам, любуясь своими вещами. Ему принесли его кофейник. Он недавно решил, что впредь будет готовить кофе по новому, тоже им самим выдуманному способу, на холодной воде: кипяток уничтожает танин, столь необходимый для здоровья. У него были свои идеи не только в медицине, где имеет свое мнение кто угодно, но даже в химии. Далеко не все его мысли в этих областях знания были вздорными. Он и тут много читал, постоянно расспрашивал ученых, дополнял их сведения собственными соображениями. Гулял по дому и думал, где еще поставить и повесить: все-таки не хватало картин, кресел, диванов. Выбрал место для привезенных из России видов Киева и для «Суда Париса», приписывавшегося им Джорджоне. Затем это ему надоело. Он стал думать о работе: в таком доме, в таком кабинете она *должна была* пойти хорошо. Тем не менее об этом думал очень тревожно.

Он дал себе небольшую передышку, — весь следующий день гулял и ездил в *милорде* (так тогда назывались щегольские

кабриолеты). Знал в Париже каждый камень. Никто не описывал этот город так, как он. Вещи он изображал лучше, чем людей. Людей слишком часто упрощал. Вещами, верно, никто так много не занимался в романах. Он был как тот знаменитый английский художник, который уверял, что в портрете самое важное — навести настоящий блеск на сапоги изображаемого человека. Бальзака забавляли описания Парижа у других писателей, особенно у поэтов. Он поэтами восхищался редко и только уж самыми замечательными. Впрочем, ему и в прозе нравилось у современников лишь немного, — в душе думал, что почти все они пишут плохо, *правды* ни у кого нет. Однако по своему благодущию и по *savoir vivre*<sup>1</sup>, многих собратьев очень хвалил.

В Верховне можно было, выйдя из деревни, бродить часами, не встретив ни единой человеческой души. Теперь в Париже движение и шум на улицах его поразили: точно увеличилось население города или люди стали шуметь еще больше преждего. Он за три дня перевидал всех, настоящих и ненастоящих, узнал политические и литературные новости, узнал все о гонорарах, об авансах, о тиражах, о том, кто кого изругал в газете и почему изругал, то есть вследствие какой обиды или ссоры. Немало рецензий появилось за время его отсутствия и о нем самом: когда хвалили, было почти все равно; когда ругали, бывало неприятно, хотя по существу чужое мнение, да объяснявшееся личными счетами, имело для него очень мало значения: по существу было важно только суждение пяти-шести человек; но именно они рецензии писали редко, да и едва ли, в виду личных отношений, могли бы высказать ему свое настоящее мнение.

Побывал он и в разных салонах, где всегда имел очень большой успех. Общая картина парижской жизни, так хорошо ему знакомая, почти не изменилась. Только все стало еще острее и интереснее.

Из разговоров выяснилось, что все идет недурно, хотя ожидается революция — или именно потому, что ожидается революция. Впрочем, революция ожидалась со дня на день уже восемнадцать лет и никто о ней *серьезно* не думал: это тоже

---

<sup>1</sup> Знание правил хорошего тона (*фр.*).



было так. Издатели выпускали немало книг и платили приличные авансы; газеты нуждались в романах; театры искали пьес. В общем, все были очень довольны — и все говорили, что «так дальше жить нельзя». Еще увеличилось необыкновенное оживление, предшествующее всем общественным потрясениям: позднее оно кажется людям «зловещим» или «болезненным», но до потрясения у них такого чувства нет, и живут они очень приятно. Слова «Мане — Текел — Фарес» выступают на стенах чрезвычайно редко и обычно с большим опозданием. И тоже, как всегда перед войнами, перед революциями, было в литературе и в искусстве великое множество всякой ерунды, которой люди приписывают необыкновенное значение и о которой позднее совестно вспоминать. Однако Бальзака ерундой было обмануть трудно, и он весело хохотал, слушая рассказы собратьев.

Впрочем, самые *настоящие*, то есть писатели с большими именами, в своем кругу о литературе и об искусстве говорили вообще не очень охотно. Они были в большинстве так давно и хорошо между собой знакомы, так все друг о друге знали (или выдумывали и, выдумав, сами почти верили), что ни большого человеческого интереса, ни особенного уважения друг к другу, за редкими исключениями, не чувствовали. Интерес был преимущественно профессиональный, — зато огромный. С второстепенными литераторами они тоже ценными мыслями не делились: приберегали мысли для журналов и книг, да отчасти и опасались, — вдруг некоторые способны и стащить? Однако и о предметах, не имеющих прямого отношения к литературе, *настоящим*, при хороших внешних отношениях, было гораздо приятнее разговаривать в своем кругу, с *настоящими* же, с людьми, которым нельзя выдать страницу Жорж Санд за страницу Бальзака, которые не припишут «Ариан» Пьеру Корнелью, не думают, что Амбуаз был построен Людовиком XIV и знают разницу между первым периодом Буля и вторым.

Бальзак очень хотел показать собратьям свой особняк на улице Фортюне, и он кое-кого пригласил, хотя немного опасался, что его сочтут богачом. Враги говорили, будто он нарочно распускает слухи о своих долгах или сильно их преувеличивает: с одной стороны, боится, что попросят займы; с другой же стороны, взваливает на долги отсутствие денег, на самом деле происходившее от недостаточных гонораров. Это

был один из вздорных слухов, которые распускались о нем, как обо всех знаменитых людях. В действительности он был кругом в долгу, скуп никогда не был и, когда бывали деньги, охотно помогал товарищам. Все же вековая мудрость советовала приbedняться. Он объяснял гостям, что дом, собственно, не его, а приобретен им и обмeблирован для одной особы. Гости не сердились: дело обычное, житейское. Угощал он их превосходно. Зачем-то рассказывал нелепые, неправдоподобные истории, — в нем сидел и мистификатор: это *его* бордо три раза совершило кругосветное путешествие; *его* ром больше ста лет качался в бочонке в море, так что от бочонка надо было топором отрубать раковины; *его* чай пришел в Европу от богдыхана, китайский караван подвергся нападению разбойников, и т.д. Если гости выражали недоверие, добродушно смеялся: в самом деле, не каждому же слову верить. Всем готов был служить рекомендациями, советами, даже деньгами. Высказывал и серьезные мысли: не боялся, что украдут, да и пусть воруют: надо же и другим людям жить. Мыслей у него всегда бывало великое множество. Говорил, что теперь его больше всего интересует театр. После «Человеческой комедии» в форме романов, хотел написать вторую «Человеческую комедию» в форме комедий и драм. Как обычно, литературные соображения у него тесно перемешивались с денежными: он объяснял, что *первые же четыре пьесы* дадут ему возможность заплатить все долги. Рассказывал анекдоты, изображал в лицах общих приятелей и врагов, сам хохотал и хохотали гости. Он, собственно, и не подражал: на несколько минут перевоплощался в другого человека.

Этой профессиональной способностью Бальзак обладал в необычайной мере. Он всегда был раздвоен: сам жил и перевоплощался в других людей, — живших по своей логике, по своему характеру, по своим инстинктам. При необыкновенном множестве его действующих лиц, перевоплощение стало для него настолько привычным делом, что он не всегда мог от него освободиться и отходя от письменного стола. Очень часто продолжал в жизни дело столь ему знакомое по литературе: перевоплощался не в Растиньяка, в Гранде, в Годиссара, а в десяток Бальзаков, составляющих для истории единого Бальза-

ка. В Верховне был Бальзак, страстно влюбленный в Ганскую (тоже частью им вымышленную). В Париже теперь был Бальзак, собирающийся жениться на богатой и, разумеется, очаровательной женщине. Были и другие роли. Он так много играл в жизни, что, быть может, сам больше не замечал, где начинается и кончается сцена; чаще жил выдуманной жизнью, чем совершенно подлинной, собственной.

Как человек он был еще талантливее, чем как писатель. Даже не любившие его люди иногда поддавались его обаянию, чарам его ума и даров, его странного благодушия, которое, при беспощадном изображении людей в его романах, могло быть только показным. Когда он бывал в ударе, богатство его фантазии, яркость слов, выразительность речи создавали впечатление гениальности. А порою в его глазах — Теофиль Готье называл их «черными бриллиантами» — мелькало и что-то вызывающее смутное беспокойство у слушателей, — особенно когда он говорил о смерти, о гадалках, о таинственных предсказаниях, о Сведенборге.

Через неделю после его возвращения в Париж произошла та уличная манифестация, с которой началась революция 1848 года.

## II — V

.....  
.....  
.....  
.....

## VI

...Но преизлиха насыщемся сладости книжные.

*Св. Илларион*

В начале марта под вечер Лейден зашел за Роксоланой в кондитерскую и застал ее в волнении. Оказалось, что во Франции произошла революция.

— Мне сказала моя гадалка! И все говорят! Французский король бежал. Провозглашена *республика*. — Теперь Роксолана уже гораздо бойче произносила такие слова: чтение газет пошло ей впрок.

— Да тебе-то что за дело?

Она смущенно ему объяснила. Ей сказали, что сейчас во Францию пускают кого угодно, хотя бы и без паспорта. Кроме того, именно теперь настало время открыть в Париже кабинет Мадмуазель Ленорман свою карьеру сделала потому, что во Франции была революция.

— Ах, вот оно что! — сказал Константин Платонович.

Они успели совсем надоесть друг другу. Лейден твердо решил в марте вернуться домой. Роксолана вздыхала и все больше хотела уехать от него в Париж как можно скорее. Он желал, чтобы она заговорила о разлуке первой. Она надеялась, что первым заговорит он: тогда верно денег можно будет получить больше. Оба пускали в ход небольшие хитрости: Роксолана вскользь говорила о том, как хорошо ей было в Константинополе; Лейден тоже вскользь замечал, что, когда они познакомились, у нее не было ни гроша: да и так ли уж ей было хорошо, если она продавалась на рынке?

— Ну, что ж, ничего не поделаешь. Поезжай в Париж, — сказал он всё же с грустью. — Я дам тебе денег.

— Сколько у тебя осталось?

Он назвал немалую, но и не слишком крупную сумму.

— Я дам тебе половину, — сказал он. Роксолана просияла. Она долго обдумывала, сколько потребовать, собиралась запросить много, потом сделать скидку. Но он сразу предложил ей больше, чем она надеялась получить. По правилам надо было бы поторговаться. Однако Роксолана этого не сделала. «Верно, он врет, а всё-таки он щедрый». Инглеz дал меньше, а другие и ничего при прощанье не давали. Она его поцеловала.

— Ты щедрый, а я люблю тебя. Ах, как жаль, что у тебя жена! Вот спасибо.

Оба почувствовали облегчение, особенно Константин Платонович. «Торг отнял бы последние следы поэзии, а так ли много ее и было?» — подумал он. Воспользовавшись тем, что она пошла за покупками, он выложил на стол из чемодана часть своего золота и спрятал всё остальное. Когда Роксолана вернулась, произошел дележ. Тут она его удивила и тронула: проследилась и последний маленький столбик в пять монет нерешительно придвинула к его куче:

— Возьми... Это тебе... Тебе дальше ехать, вдруг еще останешься в дороге без денег... Ты щедрый, — говорила она

сквозь слезы, опять целуя Константина Платоновича. Он был смущен. Поспорил, но она пяти золотых так назад и не взяла, хотя жертва далась ей не легко: видимо, гордилась своим поступком.

Он объявил ей, что должен отлучиться: тоже надо что-то купить. Роксолана догадалась, обрадовалась, но не показала этого. Лейден отправился к ювелиру. По дороге он вспомнил, что москвичи подносили на прощанье знаменитым иностранным артисткам браслеты с дорогими камнями, названия которых выписывали первыми буквами слово «Москва»: малахит, опал, сапфир, калцедон, винис, аметист. «Какое же слово выписать? «Роксолана» очень длинно, и камней на девять букв я не найду, да и слишком дорого будет стоить. «Константин» — еще хуже; не выгравировать ли на браслете месяц и число их встречи?» Но ювелир сказал, что этого скорее, чем в неделю, нельзя сделать. «Нет, долго», — подумал он и купил обыкновенное бриллиантовое кольцо; истратил двенадцать золотых, чтобы наказать себя за хитрость. «Значит, она на своей жертве сделала выгодное дело». Роксолана была довольна и собой и им. В этот день — в самый необычный час — был «любовный угар». Затем он повел ее в ресторан и заказал для нее ее любимые блюда и вина. Сладких блюд на этот раз она съела три; думала, что скоро придется платить самой.

Были разговоры о том, что они непременно когда-нибудь встретятся опять.

— Я, может быть, через год-два приеду в Париж по делам, — говорил он.

— Значит, *можно* получить паспорт? — спросила она обиженно.

— Я буду хлопотать.

— А как ты меня там найдешь?

— Ты мне напиши твой адрес в Киев bureau restant. У нас это называется «до востребования».

— «До востребования», — повторила она и попросила, чтобы он ей записал эти два слова. Своего адреса он ей не дал, но она не обиделась. Ни инглеz, ни другие ей никогда своих адресов не давали и все просили писать bureau restant.

Они, впрочем, пожили еще некоторое время во Флоренции. Роксолана, после легкого колебания, заказала себе несколько

платьев. Разумеется, гораздо приятнее было бы заказать их в Париже, но здесь, она знала, и после раздела денег заплатит русский старик. «Да и кто их знает, может, если революция, то и портнихи не шьют?.. Нет, верно портнихи шьют и в революцию». Лейден и сам ее упрасивал не торопиться: расставаться с ней навсегда оказалось не так легко, как он прежде думал, — слова «навсегда» и «никогда» были во всем для него самыми страшными из слов.

В последний день он особенно старался ее баловать. По своей привычке думать литературно, очень усилившейся в Италии, в иногда с ним случавшиеся минуты самообольщения, даже говорил себе, что он, как сторож в камере заключенных, играет в карты с человеком, которого завтра казнят. Но тут же себе отвечал, что никакая казнь Роксолану, слава Богу, не ждет. «Может быть, она и рада, что расстается со мной. И права, что рада, я верно скоро совсем сойду с ума на загробной жизни», — думал Константин Платонович. От того, что он так много времени уделял мыслям о вещах потусторонних, Лейден, как иногда и прежде, испытывал что-то вроде гордости, точно это ему давало некоторый патент на духовное благородство.

На следующее утро он проводил Роксолану на почтовую станцию. Достал для нее самое лучшее место. Хотя еды, особенно сладостей, она взяла с собой много, в последнюю минуту он купил ей еще винограда, который она особенно любила (говорила, впрочем, что константинопольский гораздо лучше итальянского). Роксолана плакала. Он смотрел на нее, стараясь навсегда запомнить ее лицо. Затем долго махал платком вслед карете. Затем вспомнил, что так же было в Киеве при прощании с женой.

«Ну, вот и кончено!» — думал он, одновременно с грустью и с облегчением. Понимал, что никогда больше Роксоланы не увидит. «Был вроде Би-Шара, а теперь опять Ба-Шар!» Чувствовал себя, как те временные генералы в иностранных армиях, которые после окончания войны становятся снова полковниками; хотя ничего постыдного в этом нет, всё же несколько неловко: был генералом и больше не генерал. Он зашел в ресторан около Палаццо Веккио, где так часто обедал с Роксоланой. Лакей, давно оценивший его щедрость, почтительно справился, уж не больна ли синьора. «Она уехала», — кратко

ответил Лейден. На лице лакея выразилось не то сожаление, не то сочувствие. «Да, разжалован... Был ли я хоть счастлив в эти дни? Пожалуй, несколько дней. Да когда же я вообще был счастлив? В детстве? В ранней юности? Эти годы принято считать счастливыми, но это самообман: ясно помню, что я и тогда себя счастливым не чувствовал. Таким верно уродился. Было, конечно, больше физической бодрости, энергии, задора, только и всего. А счастье это другое. Не знал его, не знал. Что же это такое, если оно даже не сувенир?.. Сувенир тут не подходящее слово... Кажется, я стал в последнее время несколько путать слова. В почтовой конторе я думал, как неестественно звучит по-русски слово «почтальон»... Теперь уже и намек больше не будет ни на какое «счастье». Ненадолго же я помолодел от Константинопольского чуда. Этаким Фауст, с кошельком вместо Мефистофеля... Я когда-то думал, что у Гете старый Фауст гораздо интереснее молодого...»

Вечером в кофейной он еще представлял себе, как Роксолана, одна, в неудобной, неуютной карете, едет в новую страну, где у нее никого нет. «Должно быть, жутко ей. Вспоминает обо мне? Может, и плачет втихомолку? А скорее утешается: пересчитывает мысленно деньги. Всё-таки она очень добрая женщина. И вообще, надо судить людей по лучшему, что в них есть. Человечество не так уж плохо. Правда, улучшить его не мешало бы. Было бы совсем хорошо, ежели б уменьшить число прохвостов. Они, разумеется, исключение, но слишком много исключений...»

Всё с ним случившееся и теперь безвозвратно кончившееся, вдруг показалось ему необычайно глупым. «Особенно эти мои «угрызения совести»! Да с кем же этого не бывало! От *таких* угрызений совести пришлось бы повеситься всем мужьям! Господи, как глупо! Да пропади она в конце концов пропадом, эта Роксолана! Освежился похожденьцем, не заболел, не разорился, и слава Богу! — всё веселее думал он. — Да и ей незачем пропадать пропадом, дай ей Бог всего лучшего». Он вернулся в гостиницу.

Проснулся он рано, о Роксолане больше и не вспоминал. Заставил себя думать — с нежностью — об Ольге Ивановне. «Ведь когда-то я был в нее влюблен как сумасшедший. Этот волшебный замок не взорвался: он у меня... Опять не нахожу

слова... Il s'est effrité...<sup>1</sup> И так, конечно, бывает почти у всех. Однако в теории мой сон был верен: всё-таки самое высокое в мире беззаветная преданная любовь, она постоянная величина, а не переменная...» Константин Платонович вспомнил, что еще не купил своим подарков. Можно было опять зайти в магазин ювелира: однако ему — после похождения — было бы неприятно именно там купить подарки жене и дочери. Для Лили выбрал что-то из старинной раззолоченной флорентийской кожи. А Ольге Ивановне решил купить очень дорогой подарок в Вене.

О портрете он думал теперь иронически. «Что за вздор! Почему в самом деле душа какого-то Неизвестного эпохи Возрождения вдруг могла бы переселиться в тело почтенного киевского агронома, который на старости лет вообразил себя Би-Шаром. Таких Би-Шаров, ездящих по вечерам с дамами на Труханов остров, и в Киеве пруд пруди, и из них многие любят экзотику, восточных женщин, без всякого Константинопольского чуда... Да и сон мой еще как понимать, если даже я не всё в нем сочинил? Любовь выше всего, но какая любовь? Может, и «греховная» не меньше, чем «чистая», хотя бы они были даже отделимы одна от другой. И пора всю эту дурь выбить из головы. Билет взят, в Вене пробуду недолго и скоро буду в Киеве. Там начнется прежняя жизнь... Да вот в этом и беда, что прежняя. А то переменить? Нанять управляющего для плантаций и переехать в Петербург или в Москву? Там завести новый круг знакомых, — что ж всё Тянька и другие, как он. Засесть за какую-либо метафизическую работу? Издателя не найду, так напечатаю на свои средства. Денег у меня ведь достаточно! И я «владею пером», — какое ужасное выражение, да и понятие».

Газет он не читал и не знал, что в Италии творится что-то тревожное. По улицам иногда проходили манифестанты, он поспешно от них уходил и совершенно ими не интересовался. Потерял также интерес и любовь к Флоренции.

Все же через несколько дней, накануне отъезда, он опять вечером зашел в музей и долго смотрел на Неизвестного «Какие же у него глаза? Просто холодные или холодно-изде-

---

<sup>1</sup> Рассыпался в прах... (фр.).



вательские?.. Страшный был человек... И жизнь в ту пору была страшна, и город этот страшный, нет камня, не политого кровью. Везде жарились люди на кострах, везде работали застенки, везде были наемные и не-наемные убийцы, а мы, туристы, интересуемся архитектурой: «Ах, Брунеллески! Ах, я так люблю Арнольфо ди Камбио!» Да они-то, все эти Брунеллески, отлично знали, что будут застенки во дворцах, которые они строили, у людей, которые им платили, и им было совершенно всё равно. В них всех сидел Неизвестный, у кого больше, у кого меньше».

Он заказал в гостинице счет и расплатился. На чай — сколько кому оставить — всегда были для Лейдена сложным вопросом: боялся, что оставляет слишком мало. Прислуга осталась, по-видимому, очень довольна, — «верно, другие оставляют вдвое меньше? Ну, Бог с ними, они бедняки». В ресторане Константин Платонович с интересом изучал карту, колебался между *Raviolini alla Bolognese* и *Raviolini alla Parmigiana*, хотя и не знал, в чем между ними разница, затем долго выбирал вино. Решил было выпить шампанского, хотя не очень любил это вино и обычно не оживлялся от него, а тяжелел. Но шампанское стоило очень дорого, он заказал *Sorrento rosso frizzante*, затем передумал, вернул лакея и велел принести *Frascati bianco amabile*. «Попробую, напоследок, какое еще такое *amabile*? Никогда не пил, в России не достанешь», — про себя бормотал он. За соседним столом пили каприйское вино *Tiberio* люди, показавшиеся ему подозрительными. «Самые Тибериевы морды!» — в несвойственной ему вульгарной форме подумал Константин Платонович. Он засиделся за обедом, так как деваться ему было некуда, и, выпив полторы бутылки вина, что-то говорил вслух сам с собой. Лакей на него поглядывал.

Домой Лейден отправился через старый город. Эти темные кривые улицы были очень неуютны. В глубине каменных провалов нижних этажей горели огоньки. Роксолана думала, что здесь живут разбойники. «Вот какой-нибудь выскочит и пырнет ножом!» — говорила она, ускоряла шаги и брала его за руку. «Ну вот, какие там разбойники! Самые обыкновенные портные или сапожники», — беззаботно отвечал он. Однако в

этот вечер ему вдруг стало жутко. Сердце у него забилося. Он подошел к одному провалу, издали показавшемуся ему пустым. «Верно, отлучился хозяин, а фонарик оставил? Как-то они живут?» Лейден заглянул в глубь длинной узкой комнаты. В самом конце ее что-то вдруг зашевелилось: очень узкое, очень высокое. «Что такое?!» Узкая высокая фигура взмахнула в воздухе чем-то длинным и быстро пошла вперед. У входа человек с цепью на шее повалился на землю, срезанный косою. Лейден вскрикнул и побежал по улице. Слышал за собой крики и хохот.

Дома он поспешно поднялся по лестнице, вошел в свою комнату, выпил ликера и скоро успокоился. «Какой вздор! Нервы расшатались, это правда. Верно, я просто не выношу одиночества?» Эта мысль показалась ему обидной: еще лет десять тому назад путешествовал один, никогда одиночества не чувствуя и не скучая. «Слава Богу, что уезжаю. В Киеве и здоровье поправится». Ему еще пришло в голову: вчера где-то в окрестностях, ему говорил лакей, кого-то ограбили и убили, — что, если в этом обвинят его? Как он мог бы доказать, что он тут ни при чем? «Он говорил, что убили ночью. Я был в гостинице, но кто же меня видел? Видел ли хозяин, что я вернулся? Кажется, видел, на него я и сослался бы, — думал он, и опомнился. — Совсем спятил!..» Константин Платонович мылся дольше обычного, облился водой, лег и тотчас заснул.

Утром лакей с кофе принес ему письмо.

— Пришло вчера в отсутствие синьора. Франкированное. Хозяин расписался, но мы франкированных писем в стойке не оставляем, — сказал он и вышел.

Лейден узнал почерк Тятеньки и почему-то сразу помертвел. Пальцы у него дрожали, пока он распечатывал конверт. «Из Петербурга!..» Обращение было необыкновенно нежное, совершенно у них необычное. «Милый, горячо любимый, бесценный друг, — писал Тятенька, — я знаю, какой страшный удар наносу тебе...»

## VII

The most painful of all operations, as a rule still to be endured without anaesthesia — Death<sup>1</sup>.

*Axel Munte*

Слугам в ту пору нигде отпусков не полагалось. Но Ольга Ивановна, по своей доброте, воспользовалась тем, что мужа и дочери не было, и отпустила «людей» на отдых. Остались только Ульяна и старик дворник Никифор, которому уйти было некуда: он был из далекой великорусской деревни. Друзьям было объявлено, что обеды временно прекращаются. Хотя Ольга Ивановна была рада отдохнуть от своего хлебосольства, ей стало и грустно после того, как совершенно опустел дом. Прежде у них с четырех часов дня уже всегда бывали гости, а обычно к Лиле приходила молодежь еще раньше. Ольга Ивановна, чтобы не стеснять дочь, к ней не заходила; все же было приятно, что из вертикального крыла дома доносились веселые голоса и смех.

— Теперь ты готовь, что хочешь. И вина к столу не подавай, — сказала она Ульяне. Была неприхотлива в еде и всему предпочитала рубленые котлеты, которые, собственно, блюдом не считались: их подавали как добавление к настоящим блюдам. Ульяна и стала готовить котлеты в огромном количестве, сразу дня на два, а то и на три. Таким образом, и у нее был отдых.

Иногда Ольга Ивановна сажала ее с собой за стол в столовой: так она скучала, надо же хоть с кем-нибудь обменяться словом. Ульяна была известна глупостью на все Липки, но глупа она была степенно, успокоительно и приятно. Была твердо убеждена в том, что, кто в жару не даст прохожему напиться, будет в аду жариться около колодца и что подравшиеся братья станут на том свете собаками. Всё же с ней можно было поговорить о Константине Платоновиче и о Лиле. Она подтверждала слова барыни и развивала свои мысли: да, скучно без барина, зачем только люди уезжают, да еще в какую-то заграницу, нигде так не хорошо, как дома, лишь бы были деньги и,

---

<sup>1</sup> Самая болезненная из всех операций, операция, которую обычно приходится выносить без анестезии, — Смерть.

главное, здоровье, а вот на беду принесло эту холеру, прошлый год много людей померло, да и теперь в больнице стали опять помирать, а бояться нечего, и с холерой можно выжить, и от других хороб разве не помирают? Ульяна не была украинкой, но употребляла южные слова и вместо «болезнь» всегда говорила «хороба». Это слово резало слух Ольге Ивановне, точно было ругательным.

— Ну, хорошо, — говорила она, съев свои две котлеты. Ульяна съедала шесть или семь. — Вот тебе ключи, свари мне кофею. Завари две столовых ложки на кофейник. Мне одну чашку с тремя кусками сахару, а себе возьми остальное. А если будешь пить чай, то завари кофею только одну ложку.

Всё это должно было быть давно известно Ульяне, но не мешало всякий раз ей напоминать. Кофе Ульяна приносила в кабинет, где Ольга Ивановна теперь проводила большую часть дня: в этой комнате чувствовала себя как бы ближе к мужу, сидела в его кресле. Конституция письменного стола в общем соблюдалась и в отсутствие Лейдена, но уборку кабинета Ольга Ивановна теперь себе разрешила. Хотя ей было грустно, она ухитрялась извлекать некоторое удовольствие из всего, — из того, что кабинет мужа станет чище, что можно будет шить дочери еще и то платье с воланами и розовым поясом, о котором Лиля мечтала и которое стоило очень дорого. За кофе (тоже доставлявшим тихое, привычное, законное удовольствие) она всё думала, что теперь делала дочь. «То-то будет рассказывать, когда вернется!» Пробовала себе представить и времяпрепровождение Константина Платоновича, но это было труднее: Ольга Ивановна имела очень смутное понятие о Флоренции; должно быть, город весь в ярких цветах, а дома светло-розового мрамора. «Верно, не выходит Костя из библиотек. Ох, эти его книги...»

Ее приглашали к себе друзья и даже упрашивали приходиться. «Милочка, ведь вам теперь скучно, ваши изверги вас бросили». Она весело подтверждала: бросили! — ей было забавно, что мужа и дочь шутливо называют извергами, — однако в гости ездила редко: как так поедет без мужа? Она всегда молчаливо признавала, что, собственно, никакой Ольги Ивановны нет, а есть придаток к Константину Платоновичу, и не огорчалась. Если же у нее возникало чувство обиды, то сама себе отвечала,

что создала мужу и дочери хорошую, приятную, уютную жизнь и этим свое дело в жизни сделала. Большую часть дня она читала русские исторические романы: Загоскина, Лажечникова. Ольге Ивановне было, конечно, скучновато, но каждый вечер, ложась спать, она радостно думала, что вот и еще на сутки приблизится встреча с мужем и дочерью.

Накануне закрытия Контрактов Ольга Ивановна в последний раз съездила на ярмарку. Белья она в этом году купила больше, чем нужно. Теперь образовалось то, что она считала сбереженьями. Никакого бюджета у нее никогда не было. Константин Платонович оставил ей много денег, с правом тратить их, как угодно. Но сама Ольга Ивановна имела твердые представления о том, сколько у нее может уходить «на баловство». После отъезда дочери она почти ничего не тратила, да и у Лили в Петербурге, вероятно, было мало расходов, хотя мать предписала ей платить за билеты в театр, часто приносить торты и конфеты. В Контрактовом доме Ольга Ивановна купила мужу халат из дорогой восточной, расшитой золотом материи: знала, что и он привезет ей подарок из Италии или из Вены. Была чрезвычайно довольна покупкой.

На обратном пути она издала, с Крещатика, увидела на Александровском спуске страшную фуру, увозившую холерных в больницу и велела кучеру подняться в Липки по другой улице. Вернувшись домой, повесила халат в спальней на видном месте: «Пусть Костя увидит в первую же минуту!» — думала она, вздыхая: так ей хотелось, чтоб муж приехал поскорее. Чтобы чем-либо заняться, она решила произвести уборку всего дома, однако уборка заняла лишь четыре дня. Разобрала ноты Лили и раз даже попробовала запеть: «Нет, доктор, нет, не приходи! — Твоя наука не поможет...» Но стало совестно перед Никифором и особенно перед Ульяной, которая остановилась у двери и слушала с очень встревоженным лицом, как будто происходил скандал.

Письмо к Лиле Ольга Ивановна начала на следующий же день после ее отъезда. Писать еще было решительно не о чем. Затем халат послужил прекрасной темой, всё же и о нем нельзя было написать больше двух страниц. «Думала было и тебе купить отрез на платье, да никто термоламовых платьев, кажется, не носит, — писала она, — разве только на какой-нибудь

маскарад? А жаль: эту материю износить нельзя. Папа верно в жизни другого халата не купит. Да ему, впрочем, всё равно, что термолама, что ситец!»

Через несколько дней после того утром в кабинет вошел старик дворник. Он в парадных комнатах появлялся редко. По его лицу сразу видно было, что случилось что-то нехорошее. Оказалось, больна животом Ульяна. Ольга Ивановна изменилась в лице.

В своей комнате рядом с кухней Ульяна корчилась от боли. Она взглянула на барыню с выражением дикого ужаса в глазах. И после первого же вопроса созналась: третьего дня зашла в больницу навестить кума. Ольга Ивановна похолодела. Дом, в котором появлялся холерный больной, считался обреченным.

— Да как же?.. Как же ты, дура ты этакая!.. — хриплым голосом спросила она и закашлялась. Велела Никифору побежать за доктором. Через час сомнений не оставалось: холера. Врач, тщательно моя руки, посоветовал перевезти Ульяну в больницу.

— Да ведь это верная смерть! — сказала Ольга Ивановна. Доктор пожал плечами. Выражение его лица показывало: всё равно верная смерть.

— Что же вы можете сделать? Лекарства я оставляю... Надеюсь, вы сырой воды не пили?

Всем было известно, что надо пить только отварную воду, да и то лучше с вином. Прежде это правило соблюдалось у Лейденов, как и у всех киевлян. Ульяну уже спрашивать было невозможно, но Никифор растерянно ответил, что воду она налила в графин из бочки. Очевидно, думала, что с тех пор, как обед состоит из котлет, все прежние правила отменяются. Доктор развел руками. Видимо, он сам хотел возможно скорее уйти из этого дома, однако исполнял врачебный долг.

— Уходите отсюда поскорее! И лучше всего сейчас же. Если хотите, я сообщу, чтобы прислали больничную повозку. Да верно раньше, чем завтра, не пришлют. Эпидемия усилилась. А до завтра... У нее так называемая молниеносная.

— Нет, не надо повозки, — твердо ответила Ольга Ивановна. Так же твердо она расспросила доктора о том, каковы первые симптомы болезни и что надо делать. Когда он ушел, отпустила и дворника, дав ему денег.

— Иди куда хочешь. Что ж, и тебе помирать? — сказала она.

Лицо у нее было серое и глаза такие, что их старик навсегда запомнил. Ольга Ивановна теперь не сомневалась, что погибла. Считала это Божьей карой, но не понимала, за что. Злословила, сплетничала? Знала, что этим грешила не много, гораздо меньше, чем другие. Старалась вспомнить еще грехи. Были, были, однако всё же не очень большие, — за это ли столь ужасная кара! Ей было известно, что при холере агония страшная, — страшная в особенности тем, что она так грязна. «Что ж делать, Божья воля!» — сказала она себе.

— А вы-то, барыня, как же? — спросил Никифор, со страхом на нее глядя.

— Куда я пойду заражать людей! И надо кому-нибудь остаться при Ульяне. Не умирать же ей как собаке! Она в доме двадцать лет. Я сейчас дам ей лекарства.

Дворник собрал пожитки и ушел. Понимал, что это нехорошо, но умирать не хотел, и барыня строго приказывала уйти. Перед уходом видел, что она, вернувшись от Ульяны, пошла в кабинет, села за стол и стала что-то писать. Действительно, на столе потом были найдены два письма, пахнувшие уксусом. Была также записка и властям, чтобы письма были страховым пакетом отправлены в ту петербургскую гостиницу, где должен был остановиться Тятенька.

«Jetzt wird gestorben»<sup>1</sup>, — тоскливо вспомнила его анекдот Ольга Ивановна.

Она заболела через несколько часов. Под вечер Никифор почувствовал укоры совести и вернулся. Барыня лежала в спальне; кровать пододвинула к окну, выходящему в сад. Несмотря на холодную погоду, окно было открыто. Ольга Ивановна обрадовалась старику, но не велела ему входить в комнату.

— Письма, — прохрипела она. — В кабинете на столе письма. Как умру, вели всё в доме окурить... И уходи! Постой... Халат вынеси, тот, новый. Чтобы окурили...

Дворник испуганно предложил опять побежать за доктором. Она ответила, что уже знает, как лечиться. Он спросил, не

---

<sup>1</sup> «Теперь о смерти» (нем.).

позвать ли бабушку. Священники всегда приходили по вызову холерных больных — и умирали. Барыня долго не отвечала. Потом сказала, чтобы не звал:

— Нет... Не надо губить бабушку... Бог меня простит... Уходи... Ты барину скажи, когда приедет...

Больше она ничего выговорить не могла.

Через два часа дворник, вошедший в дом с доктором, нашел ее мертвой. Она лежала не в спальне, а на полу в коридоре: очевидно, шла проведать Ульяну. Та стонала на весь дом. Ночью умерла и Ульяна.

На подоконнике спальни был найден медальон с миниатюрными портретами Константина Платоновича и Лили.

## VIII

A te convien teneré altro viaggio<sup>1</sup>

*Dante*

Петербург поразил Виера своим величием. Тятенька настойчиво предлагал остановиться в хорошей гостинице: говорил, что возьмет номер из двух комнат и одну из них сдаст дешево Виеру. «Нам обоим, пане Яне, это будет прехорошно». Но Виер понимал, что Тятенька просто собирается за него приплачивать. Он отказался, простился со своими спутниками и после недолгих поисков снял в номерах на Невском комнату с самоваром за семьдесят пять копеек в день.

В первый вечер он гулял по городу. Особенно величественна была Морская, с торцовой мостовой, с несшимися в три ряда каретами, с уходящими вдаль рядами газовых фонарей. Эта улица могла выдержать сравнение с парижскими бульварами. Величественны были набережные, Невский, площадь Зимнего дворца. «Да, есть что-то *барское* в этом городе, чего нет и в Париже», — думал он с не совсем приятным чувством.

В Отеле Ламбер вяло поддерживался взгляд, что борьбу надо вести не с русским народом, а только с его правительством. Но у большинства поляков, почти независимо от их

---

<sup>1</sup> Ты должен выбрать свою дорогу.



воли, ненависть к царю и к его министрам переходила в ненависть к русским вообще. Во время путешествия это чувство у Виера ослабело. На юге он еще себе говорил, что украинцы такая же угнетенная нация, как поляки. О великороссах этого сказать не мог: с одной стороны, они, особенно простой народ, были тоже угнетаемые; с другой же стороны, их как будто надо было считать и угнетателями. Между тем, как люди, они были не менее привлекательны, чем украинцы и чем поляки. У него были рекомендательные письма, он тотчас сделал несколько визитов, его стали забрасывать приглашениями. Некоторые русские просили его приходить к обеду запросто, каждый день. Так было бы и в Польше. Но в других странах этого не было, там понятия о гостеприимстве были другие. Приглашениями к обеду он почти не пользовался. Живя на средства князя Чарторыйского, берег каждый грош, не мог приглашать и угощать знакомых, поэтому не хотел обедать и у них. Однако в Петербурге, как и в Киеве, никто не считался с тем, может ли он звать к себе или нет. Так тоже было бы в Польше, и ни в какой другой из знакомых ему стран этого не было бы.

Для доклада князю Адаму следовало узнать настроение петербургского общества. Виер бывал преимущественно в среднем кругу, видел немало образованных людей, старался завести политический разговор. Делал это вначале осторожно и незаметно, причем сам чувствовал себя неловко: «Точно я шпион! Да, собственно, нечто шпионское и в самом деле есть в моих обязанностях...» Люди говорили откровенно, по-видимому, никто шпионов не боялся, ни своих, ни еще гораздо менее чужих. Правительство ругали почти все, о министрах и сановниках рассказывали анекдоты, но ни о какой революции как будто никто не думал. По крайней мере, люди удивленно поднимали брови, когда он прямо спрашивал, возможно ли вооруженное восстание (после нескольких разговоров осторожность его ослабела). Ему скоро стало ясно, что разговор беспредметный. «Какая там революция! Мой доклад будет пустым местом и очень их разочарует. Может быть, и рассердит. Что ж делать, я обязан говорить правду».

Подтверждали его вывод и бытовые наблюдения. Он видел парад на Марсовом поле. Нигде в мире таких войск не было.

Императорский строй производил впечатление несокрушимой силы. Многочисленная армия, очевидно, была ему верна или, во всяком случае, находилась в полном подчинении у правительства. О том, чтобы бороться с этой силой без помощи иностранных держав, очевидно, не могло быть речи. «Если не удалось дело в 1830 году, когда у нас были свои войска, то теперь нет ни одного шанса успеха на сто. Помощь Франции? Но Людовик-Филипп о ней слышать не хочет и едва ли уступит общественному мнению, хотя бы даже общественное мнение вправду требовало войны. А *эти* будут воевать за кого и с кем прикажут: офицеры за общее бесправие, солдаты за шпицрутены своего начальства! Им, разумеется, начальство объявит, что они воюют за родину и за веру. И воевать они будут хорошо, потому что они воинственный, храбрый народ и почти всегда хорошо воевали».

У него было из киевского кружка рекомендательное письмо к одному из членов общества Петрашевского. На второй же день он получил приглашение пожаловать на собрание. Сам Петрашевский ему не понравился. Говорил он недурно, но необычайно самоуверенно, мысли высказывал крайне противоречивые. Когда Виер отметил какое-то противоречие в его словах, он рассмеялся и произнес ту самую фразу, которую ему приписывал киевский студент.

— Я могу по каждому вопросу изложить двадцать точек зрения.

Другие участники собрания были, напротив, в большинстве очень милые и приятные люди. «Эти постарше, посерьезнее и пообразованнее киевских юношей, но они литераторы, профессора, дилетанты, а никак не государственные люди и даже не политические деятели, хоть студент и говорил, что они после революции образуют правительство. Конечно, если б царский строй был разгромлен, то с ними можно будет и должно будет договариваться. Это будет много легче, чем с царскими министрами. У тех ведь есть «традиции», как у наших Чарторыйских и Замоиских в Отеле Ламбер. А эти без традиций, и слава Богу. Им, конечно, будет не очень приятно разделить на части то, что они считают «своей» страной. Но они поломаются и разделят: взвалят всё на царское правительство, будут говорить о высоких принципах, о которых они до сих пор предпочитают молчать; да и поймут, что их, после разгро-

ма России, никто особенно спрашивать не будет. А позднее можно с ними жить в добрососедских отношениях, если в самом деле их после такого конфуза оставят у власти и если их еще до того не выгонят в шею их собственные мужики, для которых Петрашевский такой же барин и враг, как Алексей Орлов. Но рассчитывать на них для свержения царя было бы просто наивно. Царей свергнет либо чудо, либо война, — не с Турцией, конечно, а с могущественными державами. И поэтому, как это ни тяжело людям гуманного миропонимания, мы должны все наши расчеты делать на войну».

Он остался ужинать. Петрашевский оказался любезным и гостеприимным хозяином. За вином продолжался разговор о литературе, о поэзии, о французских делах. Его удивило, как хорошо эти люди знали все, что делалось в Париже. Многие говорили умно и интересно. Они разбирались, по-видимому, и в немецкой философии, которой Виер не знал, называли имена, почти ему не известные и понаслышке. «Пожалуй, пообразованнее меня, — с легкой завистью думал он. — Да, очень приятные люди. *Ненавидеть* их я никак не могу. Только пользы от них нам немного, так как за ними никакой силы нет. А о том, будто они хотят заколоть на маскараде царя, тот юноша верно просто присочинил. Не такие люди закалывают царей. Какие уж у них Палены!»

К концу ужина заговорили о Фурье. Петрашевский очень ясно и гладко изложил теорию французского социолога. Мир будет существовать восемьдесят тысяч лет. Теперь кончается 6000-летняя фаза несчастья, скоро начнется фаза счастья или социального единства. Помимо того, что средний возраст человека поднимется до 144 лет и его рост до семи футов, человечество станет необычайно одаренным. На три миллиарда населения будет тридцать семь миллионов поэтов, равных Гомеру, и тридцать семь миллионов ученых, равных Ньютону... Эта фаза будет длиться без малого семьдесят тысяч лет...

— Не выходит счет. Четырех тысяч лет не хватает, — весело перебил его какой-то много выпивший молодой человек. Петрашевский холодно взглянул на него. Видимо, его в этом обществе перебивали нечасто.

— С сожалением должен сообщить вам, что после фазы счастья, по учению Фурье, начнется фаза... Как это перевести?

Une phase d'incohérence, фаза бессвязности или бессмыслия, — невозмутимо сказал он, обращаясь не к молодому человеку. По его тону вообще нельзя было понять, говорит ли он серьезно или издевается. «Какой-то странный *prince sans titre!*» — раздраженно подумал Виер.

— Жаль, но мы, вероятно, до нее не доживем. Выпьем в память Фурье, друзья мои! И чтобы вас утешить, добавлю, что в пору фазы счастья вся вода океанов превратится в лимонад.

— Хорошо утешение! Какой ужас! Отчего же не в ваш превосходный шамбертэн, Михаил Васильевич?

«Над кем же они смеются? Над собой? — думал, возвращаясь пешком домой, Виер. — Не могу отрицать, прекрасные люди. Только в славянских странах еще такие и существуют. Нет, нет, я навсегда отказываюсь от ненависти к русским, это было недостойное чувство!» — сказал он себе и тотчас подумал о Лиле. «Собственно, в дороге ничего не произошло... Лучше было бы, конечно, тогда на станции не входить в ее комнату. Но я и в Киеве видел ее раз в пеньюаре, хотя и не в этом... Этот белый с кружевами ей особенно к лицу, она в нем была прелестна... Ведь она сама попросила меня принести ей книгу. Да, был ее чудесный взгляд... Может быть, и я взглянул на нее не так, как следовало, я ведь не камень. Зачем скрывать от себя: она в меня влюблена. И мне тоже она очень нравится... — Он сам себе ответил, что «тоже» тут неуместно: одно дело «влюблена» и другое «очень нравится». — Когда мы расстались, у нее задрожал голос. Она сказала: «До скорого свиданья, мосье Ян». Я, кажется, пробормотал, что в первые дни в Петербурге буду крайне занят».

Он по-прежнему думал, что настоящие революционеры обычно не очень влюбчивы: у них всё уходит в революционную страсть. Это обобщение теперь уже казалось ему бесспорным. Тем не менее, со смешанными чувствами, замечал, что возвращается мыслями к Лиле в последние дни, и особенно в последние ночи, всё чаще. «Да ведь это и практически невозможно... Поляки не лучше русских, но и русские не лучше поляков если б даже не было формальных препятствий, Лейдены отнес-

---

<sup>1</sup> Насмешник (*фр.*).

лись бы к моему браку с Лилей точно так же, как родители Зоси, или даже еще хуже. Для них я тоже голыш, и вдобавок католик. Я никогда не принял бы православия, а Лейдены не согласятся на то, чтобы Лиля стала католичкой. Константину Платоновичу, положим, по существу всё равно: он ни в Бога, ни в чёрта не верит... В чёрта, впрочем, быть может, немного и верит. Но для Ольги Ивановны это было бы страшным ударом. Как для моей матери, если б она была жива... И притом, это можно было бы сделать, вероятно, только за границей. Разве они могут на это пойти? — Он сам удивился тому, что серьезно думает об этом. — И еще — как бы мы стали жить? Я еле могу прокормить себя одного, быть может, придется и голодать в самом настоящем смысле слова. Что же, получать от них деньги, брать «приданое»! Никогда в жизни! — краснея, думал Виер. — Бедная девочка скоро утешится. Лучше было бы совсем к ним не заходить, но это будет крайне грубо. Раза два зайду. Всё равно скоро уеду». Ему, однако, приходило в голову и то, что он несчастный резонер. «Меня Бальзак не мог бы изобразить: так я рассудителен. Всё рассуждения и рассуждения! И влюбиться по-настоящему не могу! Почти был влюблен в Зою, почти влюбился в Лилю, всё в моей жизни «почти». Кроме, конечно, жизни идейной, — утешал себя Виер. — Нет, мне суждена иная дорога».

В первый свой одинокий петербургский вечер он было решил, что зайдет к Лиле на третий день. Потом передумал: слишком рано, это как будто свидетельствовало бы о близости. Зашел только через четыре дня. Лили не было дома. Он был огорчен (а позднее, как обычно исследуя свои чувства, обрадовался, что очень огорчился).

Тятенька, по-видимому уже ставший здесь своим человеком и проводивший в доме целые дни, встретил его радостно. Хозяйка, очень полная благодушная вдова, приняла Виера чрезвычайно любезно.

— Я столько о вас слышала от Лили, — с улыбкой сказала она. — И от Тятеньки. Как видите, я его уже называю Тятенькой. Девочки будут так огорчены, как назло они только что ушли к подруге. Мы вас ждали раньше... Вот что, приходите завтра обедать. И очень, очень вас прошу приходиться к обеду каждый день. Мы обедаем в четыре.

Ему не слишком понравилась улыбка хозяйки дома и ее слова: «Мы вас ждали раньше», но отказаться было бы невежливо. Он принял приглашение.

— Красивый молодой человек, — сказала Тятеньке хозяйка, когда Виер ушел. — Но уж очень церемонный, такой пшепрашам пани.

— Завтра принесет вам, Дарья Петровна, цветы. И еще хорошо, естли один букет. А то принесет три, хотя по части пенензов у него дело швах. И даже зер швах. И даже зер, зер швах.

— Ах, как это неприятно! Зачем нам его цветы?.. А ведь Лиля в него влюблена, правда? Краснеет и бледнеет, милочка, когда о нем говорят, и делает вид, будто равнодушна. Ах, эти девочки, сколько с ними забот! Просто иногда жалко их, хотя и зависть берет. Только моя Ниночка другая, она гордая, неприступная. У нее такой успех, сколько за ней молодых людей ухаживает, просто пропадают от любви, а она мне говорит: «Пусть ухаживают, я посмотрю». Она мне всё рассказывает... Вы не думайте, что я говорю как мать, я говорю совершенно беспристрастно. Сколько я у ней девочек вижу, но моя Ниночка совсем особенная, с самых ранних лет... Да ведь этот мосье Ян католик?

— То-то и есть, что католик, и вдобавок ни кола ни двора. Мне один немец говорил: «Kein Geld ist kein Geld. Aber *gar* kein Geld!»<sup>1</sup>

— Тогда, Тятенька, мое положение деликатное. Еще Оля на меня рассердится, что я его зову?

— Ничего не деликатное: в Киеве он у них жил. И вовсе Лилька в него не влюблена, — обиженно возразил Тятенька. — И у гонорового пана холодная душа.

— Почему вы знаете?

— Милая, я вижу людей насквозь. Как Шекспир! Кроме того, ведь он скоро уезжает за границу... Я тоже завтра могу прийти к обеду?

— Тятенька, как вам не стыдно! И к обеду, и к завтраку, и к ужину, притом, разумеется, каждый день. Мы знакомы всего четыре дня, а обе с Ниночкой уже вас обожаем.

---

<sup>1</sup> «Нет денег, так нет денег. Но если *совсем* нет денег!» (нем.).

— Быдто?

— «Клянусь я первым днем творенья!..» Так всегда отвечает Ниночка, она всех поэтов читала, и русских, и французских, всех. Только немцев не жалует, фрейлен Шютц постоянно на нее жаловалась, да я ничего не могла добиться. Она такая независимая, что просто ужас!.. Но как вы это делаете?

— Что делаю, родимая?

— То, что вас все сразу так любят.

— У меня большая персональная шарма, — объяснил Тятенька, очень довольный.

## IX

Счастье раз в жизни дается, а потом ведь всё горе, всё горе.

*Достоевский*

На следующий день в Петербурге стало известно, что в Париже произошла революция.

Виер узнал о ней вечером, в кружке Петрашевского. Там все были в восторге. Но никто не испытывал такой необыкновенной, захватывающей радости, как он. Теперь то, о чем он мечтал, сбылось. Приобретали новое значение жизнь в мире и его собственная жизнь.

Петрашевский велел подать шампанского. Произносились восторженные речи. Просили говорить и польского гостя. Он что-то сказал, однако кратко и сухо. Чувствовал, что теперь ему с русскими долго будет не по пути. Виер не сомневался, что революционная Франция тотчас объявит России войну. В Париже в свое время говорили, что в случае войны французский или франко-английский флот войдет в Балтийское море, разгромит Кронштадт, затем высадит войска. «Очень может быть, что скоро Петербург будет взят или разрушен!..» Об этом с русскими, даже с революционерами, говорить было неудобно. Он рано вернулся в свой номер и не мог заснуть всю ночь.

Опять, как несколько лет тому назад, ему пришло в голову, что в этой войне за свободу поляков и всего мира он может

стать национальным и революционным героем, как Косцюшко. В нем даже всплыли отроческие мечты о военной славе. Еще накануне он предполагал пробыть недели две в Петербурге, написать и отправить доклад в Отель Ламбер, — способы сношения ему были указаны. Теперь ему стало ясно, что он тотчас должен уехать в Штеттин, оттуда в Париж. «Верно, сегодня же или завтра, придут инструкции».

Он встал рано. Номерной принес ему самовар, Виер даже удивился: неужели сегодня пить чай, завтракать, обедать? Но до девяти утра всё равно в городе было нечего делать. Он отправился покупать билет. Оказалось, что судно в Штеттин уходит через четыре дня. Рядом с ним заказывали билеты два иностранца, говорившие по-английски. Оба были очень хорошо одеты. «Не дипломаты ли?» — подумал он и прислушался к их разговору. Один из иностранцев сказал, что император Николай получил известие о революции на балу: он тотчас вышел в большой зал и, подняв руку, прокричал: «Господа офицеры! Во Франции революция! Седлайте коней!» Офицеры покрыли сообщение царя криками «Ура!» — «Посмотрим, кто будет кричать «Ура!» последний!» — подумал Виер. Его волнение еще усилилось.

Он побывал на почте и справился, есть ли для него письмо до востребования. Ничего не было; ответили, что, верно, почта будет к вечеру. Виер погулял по городу и снова почувствовал, что в его чувствах к России *всё-таки* произошла некоторая перемена. Теперь ему не доставило бы никакого удовольствия, если б Петербург был разрушен «Зимний Дворец, да, конечно. Но было бы очень жаль, если б погиб Эрмитаж с его сокровищами искусства. Да и не только Эрмитаж. Этот их новый Исаакиевский собор тоже сокровище архитектуры». Он опять подумал о Лиле. «Разумеется, вздор! И не влюблен я, и у нее через месяц после моего отъезда пройдет. Да и какая теперь женитьба!»

Виер зашел в магазин цветов. Действительно, сначала хотел было купить три букета, но затем решил, что это не очень удобно. «С ее подругой я и вообще не знаком». Кроме того, зимние цены на цветы были таковы, что от трех букетов следовало отказаться без колебания. Занес в память стоимость букета. В своей записной книжке он вел двойную бухгалтерию:



расходы на жизнь относил на счет Отеля Ламбер; цветы же, конечно, должен был оплатить из своих собственных средств.

У Лили радость от первых дней пребывания в столице была отравлена тем, что мосье Ян не приходил. «Он, правда, сказал, что будет очень занят», — думала она и всё себя спрашивала, какие именно занятия у него могут быть. Во второй день его еще почти не ждала, на третий ждала до позднего вечера: в Петербурге люди иногда приходили в гости и в одиннадцать. Ночью в кровати плакала: всё-таки он мог бы зайти. Подумала даже, не написать ли ему, как это ни стыдно. Но адреса его она не знала. Не знал и Тятенька. Ей приходили в голову самые неожиданные, невозможные планы.

Когда Дарья Петровна сообщила, что был мосье Виер, что, кажется, он очень милый и что он завтра придет обедать, Лиля изменилась в лице неприлично. Дочь Дарьи Петровны отвела глаза. Она знала о романе своей подруги, говорила с ней о нем. Нина, бойкая, задорная, умная барышня, распорядившаяся в доме всем, что ее интересовало (остальное охотно предоставляла матери), очень любила Лилю, хотя относилась к ней чуть покровительственно, как к провинциалке. В другое время Лиля обиделась бы, теперь ей было не до того. «Но как ты думаешь, Ниночка, ты такая опытная, что ты об этом думаешь?» — с волнением спрашивала она подругу. «Что же я могу думать, Лиленька, когда я его в глаза не видела? Он *настоящий*?» — «Как «настоящий»? Что ты хочешь сказать?» — «Да, это трудно объяснить. Я называю настоящими тех, кто может сразу влюбиться без памяти, ну так, чтобы с ума сойти, чтоб делать всякие глупости! Он такой?» — «Я не знаю, — робко отвечала Лиля, — конечно, он настоящий. Говорю тебе, он адгерент Бланки...» — «Лиленька, я по-гречески не понимаю! Какой там Бланки и что тебе до Бланки? Совсем не в этом дело... Но разве папа и мама тебя за него отдадут? А убежать, *отдаться* ты не решишься». — «Может быть, и решусь! Но он на *это* не пойдет». — «Тогда он не настоящий... Нет, не огорчайся, я так говорю, ведь я его не знаю. Может быть, у вас всё выйдет хорошо. Дай Бог!»

На следующее утро Лиля одевалась долго и особенно тщательно. Всё думала, что сказать мосье Яну и как себя вести. «Если он придет в четыре, то уйдет в шесть и верно опять на

несколько дней!» Она в разговоре с Ниной сделала осторожный намек, Нина тотчас поняла и объявила матери, что непременно хочет пойти сегодня в оперу.

— А что дадут?

— «Гугеноты». Говорят, будет государь.

— Знаешь что, Ниночка, тогда мы возьмем ложу. Ведь надо показать нашим милым гостям такой спектакль. С Тятенькой нас будет четыре. Может быть, пригласить и мосье Виера? Или лучше позвать тетю Машу? Она нас в прошлом году приглашала.

— Ну что тетя Маша? С ней очень скучно. В самом деле, позовем этого мосье Виера, если он вам, мама, так понравился... А вот мне он, по описанию Лили, ничуть не нравится.

— И не надо, Ниночка, чтобы тебе понравился поляк и католик, — наставительно сказала Дарья Петровна. — А Лиле он очень нравится?

— Это уж вы, мама, у нее спросите. Может быть, и нравится. Да что Лиля понимает? А всё-таки в театр мы его позовем.

— Что ж, можно и его, и тетю.

— Нет, без тети! От тети мухи мрут. И не элегантно шесть человек в ложе, там сегодня будет весь Петербург.

— Правда? Тогда возьми открытую ложу бенуара за восемнадцать рублей.

Нина всплеснула руками.

— Мама, вы живете не в провинции, а в Петербурге! В кассе на «Гугеноты» в день спектакля билетов не купишь! Это Лиле простительно не знать! Дай Бог, чтобы у барышника купить за тридцать. Дайте мне тридцать пять рублей, и я сейчас же туда съезжу... Да, да, возьму Василису, — нетерпеливо сказала Нина, недовольная тем, что ее, несмотря на всю ее самостоятельность, не пускали одну, и тем, что их горничную звали Василисой.

В одиннадцать пришел Тятенька и сообщил, что во Франции произошла революция. Дарья Петровна приняла известие равнодушно, хотя и с любопытством.

— Ну, слава Богу, что король успел бежать. А то еще и ему отрубили бы голову. Эти ваши французы такие...

— Они не мои, милая, они наши общие.

— Что правда то правда. Платье из Парижа я могу отличить за версту. Никто в мире так не шьет, как они. Правда, Лиленька?

— Да, правда, Дарья Петровна, — ответила Лиля рассеяно. Французская революция и ее не очень интересовала, но она смутно почувствовала, что это известие может как-то отразиться на ее судьбе.

Так оно и вышло. Лилия знала сдержанность мосье Яна и всё же надеялась, что он проявит больше радости при встрече с ней. Разговаривал очень любезно, но ей показалось, что он взволнован. «Что-то неладное!» — подумала она. Удар последовал за супом. В ответ на вопрос хозяйки, Виер сказал, что уезжает в Штеттин через четыре дня.

После этого Лилия больше почти ничего не понимала из того, что говорилось за обедом. Слышала только, что мосье Ян нерешительно отказывался от приглашения в оперу: он «не одет». Эти слова были встречены протестами.

— Будешь, пане Яне, самым пышным во всем театре, — сказал Тятенька. — Но уж естли у тебя такая фанаберия, то заезжай после обеда к себе и надень хоть кунтуш с бриллиантовыми пуговицами, быдто што Потоцкий или Радзивилл. Время есть, — говорил Тятенька, искоса поглядывая на Лилию. Хотя ему было очень жаль ее, он был доволен, что молодой поляк уезжает.

Тотчас после обеда Виер ушел. Опять побывал на почте. Письма все ещё не было. Дома надел свой лучший костюм, затем снова вышел на улицу. Его восторженное волнение всё росло. Делать пока было нечего. В кофейне он выпил три рюмки коньяку, чего почти никогда не делал. «Вернусь в Париж, сделаю доклад князю Адаму и расстанусь с ним. Будет и польская армия, меня примут офицером. Теперь, конечно, Бланки уже на свободе. Я первым делом явлюсь к нему. Буду на службе у международной революции, она может и обеспечить кусок хлеба тем, кто верно ей служит...»

За обед он отплатил цветами, за театр решил отплатить конфетами. Теперь незачем было так беречь деньги.

Дамы и Тятенька уже сидели в ложе. На барьере стояла коробка конфет. Дарья Петровна мягко упрекнула Виера:

— Ну, что это! Зачем вы нас так балуете? И Тятенька тоже нам принес! На нас будут даже коситься: две коробки конфет!

— Пусть перекосят себе глаза! — проворчал Тятенька.

— Государя не будет, — разочарованно сказала Нина. — Его ложа пуста. Должно быть, он сегодня очень занят. Его все ждали. Видите, какая парадная зала.

— Красота, — подтвердил Тятенька. Он утром подкрасил волосы, а перед уходом из дому закусил, выпил и был очень весел. — Не театр, а закуток эдемский.

Действительно, зал по своему великолепию соответствовал стилю Петербурга. В Париже дамы были столь же нарядны, но не было такого множества мундиров. Впрочем, Виер не успел рассмотреть зал как следует. Дирижер уже занимал свое место.

«Гугеноты», считавшиеся в ту пору лучшей оперой в истории музыки, везде сводили с ума молодежь. В некоторых странах эта опера была запрещена. Виер ее ни разу не слышал: он в театрах бывал редко, а в оперном почти никогда не бывал, хотя любил музыку. Певцы и певицы играли так скверно, декорации были так нелепы, что, по его мнению, уже лучше было слушать, сидя спиной к сцене.

Артисты пели на разных языках. Многие дамы прослезились при романсе «Plus blanche que la blanche hermine...»<sup>1</sup>. Тятеньке очень понравилась артистка, переодетая пажем и певшая по-русски. Он вполголоса баском все ей подпевал. Нина нетерпеливо на него оглядывалась. Лиля слушала музыку плохо: мосье Ян сидел позади нее и смотрел на сцену через ее шею.

Когда занавес в первый раз опустился под рукоплесканья зала, они вышли из ложи. Нина вполголоса называла провинциалам в коридорах, в фойе разных известных людей. Показала императорскую ложу, у дверей которой стояли два великана-гвардейца. «Что это они всё мордой воротят? И кого они стерегут, когда ложа пустая?» — недоумевал Тятенька. «Вот и этому пошлому параду скоро придет конец. Будет, будет на них управа!» — думал Виер. Он находился всё в том же восторженном настроении. Теперь себе представлял, как в этой зале, в императорской ложе, будут сидеть революционные французские и польские офицеры, а среди них и он сам.

«Сегодня решится моя судьба! Другого такого случая не будет! Я должна всё ему сказать, но где же, как? Он через

---

<sup>1</sup> «Белее белого горноста...» (фр.).

четыре дня уедет! Как бы неприлично это ни было, я должна что-то сделать!» — твердила себе Лиля.

Во втором антракте опять ничего не вышло. Они еще погуляли все вместе. Нине больше нечего было показывать. Тятеньку второе действие немного расхолодило: музыка хорошая вещь, но не в таком большом количестве. Он бойко напевал: «Дамой знатной и прекрасной — Прислан я с письмом сейчас...» Но ему хотелось посидеть. Лиля была в совершенном отчаянии. «Уйти? Сказать, что разболелась голова? Он предложит отвести меня домой, но они не согласятся или меня отвезет Дарья Петровна...»

— Покойник Гете, царство ему небесное, говорил, что только Моцарт или Мейербер могли бы написать музыку на «Фауста», — сказал в ложе Тятенька, поглядывая на конфеты.

— Ах, как это верно! — поддержала Гете и Тятеньку Дарья Петровна.

— Очень верно, — подтвердила и Нина.

— Ниночка, уж быдто вы читали «Фауста»? — спросил Тятенька. Нина засмеялась.

— Прочла по-немецки целых десять страниц, больше не было силы. «Habe nun, ach! Philosophie, — Juristerei und Medicin — Und leider auch Theologie — Durchaus studiert, mit heissem Bemühn...»<sup>1</sup> Какое мне дело до того, что он знает? И вовсе «Bemühn» и «Medicin» не рифмуют. Никогда не поверю, чтобы люди получали удовольствие от немецких стихов! Даже немцы.

— Нинетта, люблю за откровенность.

— Она у меня совсем особенная, — сказала Дарья Петровна. — Нина, не слушай. А музыку как она понимает! Вы не думайте, я очень беспристрастная мать, но мне ее учитель мосье Баттифолио говорил, что никогда не встречал девушки с таким слухом! Вот вы увидите, завтра будет на память знать всю оперу!..

— Мама, перестаньте!

— Нинетта, уж естли вы такая замечательная, то дайте мне вон ту конфету, большую, с орехом. Не надо щипцов, пальчиками... Спасибо.

---

<sup>1</sup> «Я богословьем овладел, — Над философией корпел, — Юриспруденцию долбил, — И медицину изучил....» (нем., пер. Б. Пастернака).

— Смотрите, вы не засните, Тятенька. Я видела, вы и у нас спали в вольтеровском кресле.

— Ан не видели, Ниночка. В вольтеровских креслах может спать разве только акробат. Я их у себя отроду не держал... «И письмом тем ошастливлен, — Господа, один из вас...» Ведь это, кажется, Гейне сказал: «Католики резались с протестантами, а еврей на это написал музыку».

В конце действия Лиля отчаянным шепотом попросила Нину:

— Сделай так, чтобы никто больше не выходил из ложи! Умоляю тебя!

Нина закивала головой. Она сочувствовала Лиле, но Виер ей в самом деле не понравился, и она думала, что ничего из этого дела выйти не может. «И он в нее не влюблен, и никогда родители не позволят». В начале третьего антракта Лиля дрожащим голосом сказала, что ей хочется пить. Думала, что не надо при этом на него смотреть, и все же посмотрела.

— А ты пойди в буфет, — сказала Нина. — Я не пойду, надоело шататься по коридорам. Пусть мосье Ян тебя проводит. Тятенька, вы нам составите компанию? Посидим тут спокойно.

— Истина говорит устами младенцев, — ответил Тятенька, не заметивший хитрости барышень. Дарья Петровна эту хитрость заметила, но Нина незаметно толкнула ее и грозно на нее посмотрела. «Мне-то что? — лениво подумала Дарья Петровна. — Но жаль, что Оля с ней не приехала, было бы спокойнее. То-то она, верно, бедняжка, скучает! Я без Ниночки и недели бы не выдержала». Дарья Петровна и очень хотела выдать дочь замуж за блестящего молодого человека, и с ужасом думала о том, что дочь от нее уйдет к мужу.

— Прекрасная опера, — смущенно сказал Виер, когда они заняли в буфете место за столиком. — Она кончается Варфоломеевской ночью.

— Рауль женится на Валентине, хотя он гугенот, — еле слышно ответила Лиля.

Он смотрел на нее и думал, что она прелестна. Ему вдруг пришло в голову, что после революции всё в мире и тут пойдет по-иному. «Все эти бессмысленные, безнравственные преграды везде будут скоро сметены. Тогда у меня может быть и личное счастье».

— Они женятся, но умирают, — сказал он.

— Они умирают, но они любили друг друга, — прошептала Лиля.

— Может быть, они правы!

— Они наверное правы! — сказала она, став еще бледнее прежнего.

И больше ничего не было сказано. Лакей принес им лимонада. Пока Виер расплачивался, прозвенел звонок: антракт перед главным действием был короткий. Они взглянули друг на друга и встали. «Всё сказано, всё!» — замирая от счастья подумала Лиля.

Гигант баритон, благородный граф Невер, отказался участвовать в ночной резне и с негодованием бросил на пол свою шпагу: «...Но спящих убивать — нет, не согласен я!» На галерке раздались рукоплесканья, быть может, и в пику правительству, хотя оно спящих и не убивало. Со сцены и из оркестра лились грозные звуки «Благословения мечей», — которым восторгался Вагнер, несмотря на свою ненависть к Мейерберу. — «Gloire, gloire au Grand Dieu vengeur! — Gloire au guerrier fidèle!»<sup>1</sup> — пел французский хор. — «Gloria eterna sia e onor! — Gloria al buon guerrier fedel!»<sup>2</sup> — вторила по-итальянски другая часть хора, приглашенная для усиления трагической сцены. «Glaives pieux, saintes épées — qui dans un sang impur serez bientôt trempées...»<sup>3</sup> «Да ведь это о нас! — взволнованно думал Виер. — Неужто я сказал ей! Еще днем я чувствовал другое!» — «Это о нас! — думала и Лиля. — Он сказал, что они правы! Теперь всё ясно! Я скажу ему, нет, я напишу ему ночью, что приму его веру. Мы бежим за границу или умрем! Это тоже было бы счастьем! Нет, не счастьем, но это лучше, в тысячу раз лучше, чем жить без него, чем думать, что он женится на другой!»

Католики с белыми повязками ушли убивать спящих гугенотов. Рауль де Нанжи, слышавший всё из соседней комнаты,

---

<sup>1</sup> «Слава, слава великому Богу-мстителю! — Слава воителю справедливому!» (фр.).

<sup>2</sup> «Вечная слава и честь! — Слава верному храброму воину!» (ит.).

<sup>3</sup> «Благословенные мечи, святые шпаги — они будут обогрены нечистой кровью...» (фр.).

появился на пороге с обнаженной шпагой в руке. «O ciel! Où courez-vous?»<sup>1</sup> — спрашивала, задыхаясь Валентина. «Ove io va? A salvar gli amici!»<sup>2</sup> — бешеным, обрывающимся речитативом отвечал Рауль. Начинался знаменитый дуэт. Весь театр с волнением готовился к верхнему do лучшего в мире тенора. «Stringe il pèriglio, — E il tempo vola, — Lascia mi! Lascia mi!»<sup>3</sup> — пел Рауль. действительно разрывая душу своим божественным голосом. «Mais sans defence — on vous immole! — Gar-dez vous! Gar-dez vous!»<sup>4</sup> — молила с отчаяньем красавица-певица, стараясь его удержать и спасти. Лиля жила и дышала музыкой. Тенор грудью взял верхнее do. Театр замер от восторга. Вдруг Виер сжал Лиле руку. Она беззвучно заплакала. Раздались звуки колокола: набат Варфоломеевской ночи.

## X

The human mind is not a dignified organ, and I do not see how we can exercise it sincerely except through eclecticism<sup>5</sup>.

*E. M. Forster*

Он опять спал плохо, засыпал, просыпался, думал о том, что произошло. «Теперь что же говорить? Конечно, я влюблен в нее... Да если б и не был, разве я могу теперь отказаться? Ведь это было бы подло... Что же именно я сделал? Тайно пожал руку? Она теперь считает себя моей невестой. И в самом деле это так. Еще позавчера были серьезные, непреодолимые препятствия. Но теперь, с революцией, они отпали. Теперь я могу содержать и ее, никакой помощи мне от ее родителей не будет нужно. Трудно только бежать. Конечно, Лиля заграничного паспорта без родителей получить не может. Но бежать можно,

<sup>1</sup> «О небеса! Куда вы унеслись?» (*фр.*)

<sup>2</sup> «Куда я иду? Спасать своих друзей!» (*ит.*)

<sup>3</sup> «Опасность приближается, — Время быстро летит, — Оставь меня! Оставь меня!» (*ит.*)

<sup>4</sup> «Но без защиты — Вы падете жертвой! Так берегитесь! Берегитесь!» (*фр.*)

<sup>5</sup> Человеческий разум орган, не слишком исполненный достоинства, и не вижу, как мы можем им пользоваться искренно, если не посредством эклектизма.



я помню такие случаи. Корженецкий бежал через Финляндию. Бек сговорился с кем-то и тайком пробрался на корабль. Это опасно и рискованно, но ведь я знал, что вся моя жизнь будет рискованной и опасной. Правда, теперь рискует Лиля. Все-таки это можно сделать. Денег до Парижа у меня в обрез хватит и на двоих. Во всяком случае, я завтра же ей скажу всё, скажу, кто я и какова будет ее жизнь со мной. Пусть она решает!..» Он заснул опять.

На этот раз ему снились «Гугеноты». Позднее ему стыдно было вспоминать, что увидел он во сне не трагический дуэт четвертого действия, а сцену хора купальщиц, сцену завязанных глаз. И еще гораздо стыднее: одна из купальщиц была Лилия, в том белом с кружевами пеньюаре. Он проснулся в восторге. «Да, я счастлив!» Было еще очень рано. Виер не зажег свечи и в темноте снова долго думал о Лиле, об их будущей жизни. Теперь почти всё казалось ему возможным.

«Сесть на пароход нелегко. Гораздо легче перейти финляндскую границу с помощью контрабандистов. Это часто делается, и тут большого риска нет... В каком положении я окажусь перед ее родителями? Они меня приютили в своем доме... Нехорошо. Но мы еще в Финляндии бы поженились или в Штеттине и тотчас им написали бы. И пора мне перестать думать в сослагательном наклонении. Быть может, это вообще было главной моей бедой в жизни. До Штеттина денег хватит наверное. А оттуда я в крайнем случае напишу в Париж. Теперь, когда рушится старый мир, стыдно останавливаться перед незначительными препятствиями и предрассудками. В Париже у нас тоже теперь это поймут. Граф Олизар, когда хотел жениться на православной Раевской, запросил Чарторыйского, не будет ли это изменой польскому делу. Князь Адам ответил, что не будет. Но Раевский-отец не согласился и на свое же несчастье выдал дочь за будущего декабриста Волконского. Не знал, что в своем смысле этим ее погубил. Разве можно предвидеть будущее?.. Я объясню Лиле, что не для меня обыкновенная будничная жизнь: жена, дети, карьера, заботы о хлебе. Ее дело решить...»

На почте чиновник узнал его и с улыбкой протянул ему письмо: то самое, отправленное из Пруссии; это была благона-

дежная страна, гораздо меньше, чем Франция, обращающая на себя внимание цензуры. Он тотчас вернулся домой, затворил дверь на ключ и распечатал конверт. Письмо было составлено для отвода глаз и заключало в себе вопросы о ценах на чай. Важное было написано симпатическими чернилами. Виер проявил листок. Внизу выступили цифры. Агент Отеля Ламбер принимал все меры предосторожности. Цифры указывали строку, порядок строки и буквы в стихотворении Шиллера.

Он достал из чемодана небольшую красную книжку. Обрамленный четырехугольной светлой каймой Шиллер сидел на стуле, склонив голову набок к небрежно повязанному галстуху, заложив за полу сюртука левую руку. Расшифровка заняла много времени. Как всегда, Виер старался не вникать в смысл, пока не расшифрует всего, и, тоже, как всегда, это не удавалось: стал понимать смысл письма до того, как кончил.

Ему предписывалось тотчас отправиться в Константинополь с важным поручением. «Вам известно о том, что здесь произошло. В связи с этим возник новый проект, которому мы придаем большое значение. Поручение это опасно, вследствие чего мы и возлагаем его на вас, хотя понимаем, что вам теперь интереснее быть в Париже. Ваши более близкие политические друзья сходятся с нами в том, что никто не может быть там полезнее, чем вы, для национального польского дела. Мы уверены, что вы не откажетесь от немедленного исполнения нашей просьбы. В Константинополе вы от известного вам лица получите наши указания и деньги».

Он долго сидел в кресле, потрясенный. За сутки вся его жизнь менялась во второй раз.

Ясно было, что нельзя отказаться от опасного поручения, которое одобрялось и польскими революционерами. Но ясно было и то, что теперь он никак не может увести с собой Лилю. Бежать она могла из Петербурга, откуда до Финляндии два шага. Но везти ее через всю Россию совершенно невозможно. Дарья Петровна после ее исчезновения, разумеется, тотчас известит Лейденов. Верно, она и сама заявит полиции, но уж во всяком случае всех поднимет на ноги Ольга Ивановна. Нас найдут и задержат. Всё равно нас разлучат, а может быть, меня и предадут суду за похищение несовершеннолетней. В самом же худшем случае мною вдобавок заинтересуется Третье от-

деление, и тогда провалится дело. И даже если б нас не задержали, если б и удалось пробраться в Константинополь, как быть с Лилей, когда на меня возлагается опасное поручение! Всё это ясно как день. Но что же я скажу Лиле?»

В дверь постучали. Вошел номерной и подал ему письмо, принесенное рассылным. «Опять верно приглашение на пятницу чесать язык у Петрашевского?» — подумал он. Почерк на конверте был незнакомый. Он распечатал, взглянул на подпись и ахнул. Письмо было от Лили.

Через час номерной зашел снова в комнату и увидел, что польский барин сидит на том же стуле у стола, опустив голову на грудь, держа в руках письмо.

— Прикажете, барин, сейчас убрать комнату? — спросил он.

— Да, пожалуйста, уберите, — ответил Виер. Несмотря на страшный удар, он уже исполнил то, что полагалось по требованиям конспирации. Зашифрованное письмо было сожжено, скляночка с жидкостью для проявления симпатических чернил положена в чемодан. Он встал, взял открытый том Шиллера и вышел в коридор. Там в углу на столе с грязной посудой горела сальная свеча. Он сел на табурет и в четвертый раз прочел письмо Лили. «Да, письмо изумительное! Вся ее душа в нем. Предлагает бежать, хочет продать серьги и брошку. Что же я ей скажу? Скажу, что надо отложить. Намекну, только намекну на истинные причины. Но ведь мне-то ясно, что теперь это не откладывается, а просто падает. Разве я не понимаю, что она не может ждать меня бесконечно долго? Что же мне делать? Что мне делать?.. «С вами я стану католичкой, с вами я пойду к вашему Бланки, я всё о вас знаю. Мне всё равно, лишь бы с вами!» И это сокровище я теперь теряю! Да, разумеется, навсегда теряю».

Da steh' ich schon auf deiner finstern Brücke,  
Furchtbare Ewigkeit!  
Empfänge meinèn Vollmachtbrief zum Glücke,  
Ich bring' ihn unerbrochen dir zurücke,  
Ich weiss nichts von Glückseligkeit...  
«Ich zahle dir in einem andern Leben.  
Gib deine Jugend mir!

Nichts kann ich dir, als diese Weisung geben».  
 Ich nahm die Weisung auf das andre Leben  
 Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.  
 «Gib mir das Weib so teuer deinem Herzen,  
 Gib deine Laura mir!  
 Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen». —  
 Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen  
 Und weinte laut und gab sie ihr<sup>1</sup>.

— Убрано, барин, пожалуйста, — сказал номерной, с недоумением смотря на барина, сидевшего на табурете с книгой в руке.

— Убрано? Благодарю вас. Пожалуйста, передайте хозяину, что я завтра уезжаю, — сказал Виер, вставая. Лицо у него было искажено.

Он пришел к ним в два часа. Лиля писала, что, вероятно, в это время будет одна. «Но если это не удастся, улучите минуту и скажите мне или незаметно передайте записку: где мы могли бы встретиться наедине. Мне всё равно! Впрочем, по вашему виду я догадаюсь. Мне ведь достаточно знать: да или нет. Я не буду убеждать вас. Достаточно стыдно и то, что я пишу первая!.. Но Боже мой, если б это было «да!».

Опять он зашел в магазин цветов. Знал, что глупо и не совсем прилично делать третий подарок за сутки. Но ему хотелось оставить цветы Лиле.

В гостиной сидела Нина. Она его встретила с неодобрительным и вместе восхищенным выраженьем на лице.

— Мамы нет дома. Она куда-то ушла... Помилуйте, зачем это? Спасибо, прелестные цветы. Эти маме? Правда, вчера был превосходный спектакль? Я обожаю «Гугеноты»... Поставлю цветы в

<sup>1</sup> В дурном и неточном переводе Г. Данилевского: «Я перед тобой, о, вечности равенство! — У полных тайны врат... — Возьми свою расписку на блаженство: — Она цела — не знал я совершенства; — Возьми ее назад... — «В иной стране — отдай мне твою младость — Я расплачусь с тобой; — Поручкой мне моих обетов сладость!» — Я взял обет — и отдал жизни радость — Ей до страны иной. — «Отдай мне все, что есть в тебе святого, — Лауру — страсть твою; — За гробом скорбь я уврачую снова!» — И сердце я рассек и — из большого — Ей вырвал страсть мою».

воду. Лиля сейчас выйдет, а меня, значит, пока извините, я ухожу, — сказала она и вышла с букетами.

Лиля вошла и остановилась на пороге. У нее в лице не было ни кровинки. Она только на него взглянула и поняла: «Нет!» Он быстро подошел к ней, поцеловал ей руку и подал букет.

— Вы не хотите? — прошептала она.

— Я хочу этого больше всего в жизни. Но это невозможно. Сейчас невозможно.

Она отвернулась и заплакала. У него сердце рвалось от жалости к ней и от любви.

— Я догадываюсь... Вы эмиссар... Я всё давно поняла... Но разве нельзя?..

— Сейчас нельзя. Я завтра уезжаю, и я себе не принадлежу. Лиля, ваша жизнь со мной была бы несчастьем для вас...

— Она была бы для меня счастьем! Вы сказали, что это сейчас нельзя? Значит, позднее можно? Когда?.. Я буду вас ждать, я буду вас ждать сколько угодно!

Он молчал. В передней послышался звонок. В комнату опять поспешно вошла Нина. Она быстро взглянула на них.

— Я велела Василисе положить ваши букеты в вазы и поставить в комнаты каждой из нас. Вы ведь нам принесли целый цветочный магазин... Это звонок Тятеньки. Лиленька, ты пошла бы в свою комнату и прилегла. Мосье Виер еще к тебе зайдет, правда? У нее сегодня с утра болит голова. Пойди, Лиленька, мосье Виер зайдет к тебе, — говорила Нина, не останавливаясь ни на секунду. Лиля кивнула головой и выбежала из комнаты.

— Мадмуазель Лиля в самом деле нездорова?

— Да, в самом деле, — сердито ответила Нина. Ей было обидно за Лилю и хотелось «поставить на место этого надутого поляка». — Верно, она в опере немного простудилась. В зале было жарко, а на улице двадцать градусов мороза... Вы останетесь обедать?

— Останусь ли обедать? Нет, к крайнему моему сожалению, не могу.

— Я тоже очень жалею. Сейчас сюда зайдет Тятенька. Я буду занимать его приятным разговором, а вы, быть может, тем временем проститесь с Лилей?

— «Слышу голос не-знакомый — В час ночной меня зовет!» — речитативом сказал из «Гугенотов» Тятенька, входя в комнату.

Он поцеловал Нину: успел себе присвоить эту привилегию. — Ниночка, красавица, здравствуйте. Здоров бул, вацпан. Мама дома?

— Нет, но она скоро придет. А у нас к обеду сегодня индейка с каштанами, я вас, Тятенька, даже хотела спросить, как ее подать.

— Вы говорили, Нинетта, что будет и гомар?

— Да, будет и омар.

— Тогда дам консультацию. Подадите индеечку, как у самого Вери, это у него была *spécialité de la maison...*<sup>1</sup> А видел ты, пане Яне, такие ножки, как у вчерашней пажихи? Не ври. будто видел: останешься в стыде... Нинеточка, не слушайте.

— Вы, Тятенька, старый ловелас, — сказала Нина, к его большому удовольствию. В комнату неожиданно вернулась Лиля.

— Красавица моя, — сказал Тятенька, нежно целуя и ее. — Зачем такая бледненькая? Вацпан, нынче опять пойдем в театр, а? Что-то мне желается. Поедем, купим им ложу.

— Это слишком дорогое для меня удовольствие, — ответил Виер, улыбаясь. Он отчасти сказал это для Лили, отчасти же себя наказывал этими словами. Действительно, и Нина, и Тятенька смутились; даже и в России, где был слаб культ денег, люди чувствовали себя неловко, когда кто-либо говорил о своей бедности. «Зачем же он покупает никому не нужные букеты, если он так беден?» — подумала Нина. Но Лиля *поняла*: «Поэтому? Тогда я устрою, я умолю папу и маму!..»

— Вы, правда, не можете остаться к обеду, мосье Виер? — спросила Нина. — Мама будет очень сожалеть.

— Пожалуйста, засвидетельствуйте вашей матушке мое глубокое уважение и признательность за гостеприимство, — сказал Виер. Нина подавила неприязненную усмешку. «Сил нет, какой цирлих-манирлих. Говорит так, что слушать противно. И в жилах у него верно не кровь, а тепленькая водица. Как только Лиля этого не чувствует! Я сразу почувствовала, что он просто слизняк!»

— Я ей передам. Но мы, надеюсь, еще увидимся?

— Я постараюсь заехать еще раз, — солгал он для Лили. К ней возвращалась надежда.

---

<sup>1</sup> Фирменное блюдо (*фр.*).

— Вы уже уходите? Лиленька, тогда ты, будь добра, проводи мосье Виера. А вас, Тятенька, я прошу пожаловать в кухню для консультации, индейка пропадет без ваших указаний.

— Избави Бог! — сказал встревоженно Тятенька. — Да еще рано... Ну, что ж, вацпане, естыли я с тобой не встречу, то прощай. Паризии кланяйся. Это так Максим Грек говорит: «Паризия град есть многочеловечен в Галиех. Держава велия и преславная и богатяща. Тамо обрящеши всякое художество». Только художествами революции не увлекайся, пан, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Сколько еще она унесет хороших людей! Брось, брат, политику, не доведет она тебя до добра. А уж естыли там кого в Париже не влюбишь, ну, сделай ему пакость, коли хочешь и можешь, хоть вовсе и не надо бы, — да держи язык за зубами. По-моему, самые умные комары это те, что не жужжат. Никогда не говори: иду на вы. Тот наш удельный князь, что это сказал, ни бельмеса в политике не понимал.

— Да... Да, Паризия, — сказал Виер. Он даже не слышал того, что говорил Тятенька. Старик пожал плечами.

— Вижу, что даром тебя учу. Сейчас иду, Нинетта... Ты слушал бы меня, когда еще даст Бог увидеться? Помни, что политика — это самая канальская страстишка. Ты хоть еще юнец, а у иного человека она сидит в душе и тогда, когда из него давно, с дозволения сказать, песок сыплется. Другой старый политик — о нем все уже и думать забыли, а он всё еще с собой носится, как дурень с писаной торбой. Вот, так в Англии старички, бывшие боксеры: он и весь скрючен от ревматизмов, печенка лет пятьдесят как отбита, а ему по ночам, верно, снятся эстрады, и как он, радость этакая, кому-то под микитки заехал, и рев дурачьа... Ну, дай тебя обнять. Эх, и я бы с тобой съездил! Славный городок Париж. Не хуже Киева.

— Лиля, — быстро сказал Виер. — Я теперь ничего не могу вам сказать, не имею права. Если б я не боялся громких слов, я сказал бы одно: у вас в моем сердце есть лишь одна соперница, это мировая революция, великое дело освобождения всех народов, и моего, и вашего. Мне дано ответственное поручение. Позднее я найду средства для жизни и дам вам знать. Но не ждите меня. Помните, что вы совершенно свободны.

— Я буду вас ждать, сколько вы захотите! Сколько вы прикажете!

— Не надо. Вы свободны.

— Вы ничего мне теперь не можете сказать? Ничего не объясните?

— Не могу, но я напишу вам. И я напишу так, чтобы вас не скомпрометировать. Вы знаете, что такое симпатические чернила?

— Нет, я не...

— Это чернила, которыми пользуются для тайной переписки. Я употреблю самое простое. Вот что... Я напишу вашей матушке. Там будут просто новости обо мне. Но вы возьмите письмо у мамы, хоть украдете. И осторожно нагрейте листок. На нем выступят буквы, вы прочтете. Я и тут, избави Бог, не скажу ничего компрометирующего вас. Но вы узнаете мои планы... Наши планы!.. Ну, прощайте, больше ни о чем меня не спрашивайте... Спасибо вам за всё. И за ваше милое гостеприимство в Киеве. Будете писать маме, передайте ей, прошу вас, мой нижайший поклон, — сказал он и вспыхнул, подумав, что теперь глупо и грубо говорить о гостеприимстве и нижайшем поклоне. Он опять поцеловал ей руку.

— Я... я хочу вам дать розу на память, — прошептала она, глотая слезы. — Вот она... Вы не забудете меня?

— Я вас не забуду до моего смертного часа! Спасибо... За всё спасибо!

Он больше сам не знал, лгал ли ей для ее успокоения или говорил правду. «Но это было все-таки лучшее, что я мог придумать».

Лиля у себя заперлась на ключ и долго плакала, опустив голову на правую руку, на ту, которую он поцеловал.

## XI

Случилась добрая цирконстанция.

*Из старой хроники*

Роксолана устроилась в Париже необыкновенно успешно.

Ей сразу стало ясно, что наконец-то она нашла настоящий город: только здесь и стоило работать. Попала она в очень дешевую гостиницу. Знала, что в ней не останется, но решила



не торопиться: «Сначала как следует осмотрюсь, а потом сниму квартиру». Целый день бегала по Парижу, останавливалась перед витринами магазинов: они приводили ее в совершенный восторг: «Где уж и Константинополю, и этой Флоренции!» Всё же о Константинополе вспоминала с неясной грустью: как все, была этим городом зачарована на всю жизнь. И у нее было там столько приятелей, здесь никого.

Теперь она регулярно, каждый день читала газету с трудным и малопонятным названием «Le Constitutionnel». Старалась запомнить, кто — кто, заучивала имена, самые трудные выписывала и зазубривала: «Ледрю-Роллен, Ледрю-Роллен»... В одной газете она прочла, что знаменитый писатель Балзак посещает гадалок и очень им верит. «Вот, значит, и писатель, а дурак, — думала она, впрочем, ласково. — Как бы его заполучить?» Когда в витрине магазина ей попался портрет какого-нибудь знаменитого человека, всматривалась и запоминала. Она была наблюдательна, а наружность людей, которых хоть раз видела, обычно не забывала.

Особенно внимательно она читала объявления о гадалках и квартирах. Эти объявления вырезывала и прятала в ящик стола. Побывала у трех гадалок; пришла к ним как клиентка, честно заплатила, слушала их очень внимательно, ко всему присматривалась и всё запоминала (одна старая гадалка даже подозрительно на нее смотрела). Выходила от них Роксолана с каждым разом бодрее и увереннее: «Буду не хуже их, а то и лучше!.. Комнат надо не меньше, как три: приемная, кабинет и спальная. И чтоб место было хорошее. И на мебель нельзя жалеть денег».

В книжном магазине, в котором она покупала газеты, приказчик посоветовал ей приобрести книгу: «Les Mystères de Paris»<sup>1</sup> Евгения Сю. «Все читают и очень хвалят. Автор сам всё это видел, все эти притоны», — сказал приказчик. Эти слова ее заинтересовали. Роксолане не приходило в голову, что можно читать книги для удовольствия, но нельзя же было целый день бегать по улицам. Вздохнула, попробовала поторговаться, — оказалось, что не полагается. Это было единственное, что ей не нравилось в Париже: нигде торговаться нельзя, никакой скидки не делают; так и от покупок меньше удовольствия. Всё

---

<sup>1</sup> «Парижские тайны» (фр.).

же эту книгу она купила. Начала дома читать и не могла оторваться. По вечерам дрожала от страха: «Сколько в этом городе злодеев!» Узнав, что Флер де Мари, милая девушка из притона, на самом деле дочь принца Рудольфа Герольштейнского, она растрогалась: «Что, если и мой отец принц! Вдруг когда-нибудь меня отыщет? Разве я знаю, кто мой отец?» Мечтательно представляла себя принцессой и думала, как тогда будет жить. Ничего особенного, впрочем, придумать не могла. Можно было, правда, закупить бриллиантов. Теперь, начитавшись «Парижских тайн», она возвращалась домой тревожно, вечно оглядываясь: не идет ли по пятам какой-нибудь Ферран! Она не чувствовала страха в самых мрачных кварталах Константинополя: их хорошо знала, и о Константинополе таких романов не читала.

Осмотревшись в городе, Роксолана решила поселиться на левом берегу, в лучшей его части. Одно объявление показалось ей вполне подходящим: «Сдается очень красивая квартира. Салон 6 метров на 6.65, две спальни. Шла прежде за 2400 франков в год, теперь, по случаю отъезда, сдается за 1800». Место было отличное. Был только один недостаток: на этой же улице, в доме номер 20-й работала сомнамбулка мадмуазель Генриетт, тоже печатавшая объявления. Но Роксолана сомнамбулок не уважала и не считала их конкурентку опасной.

Квартира была в первом этаже; это тоже было преимуществом: среди клиентов у гадалок бывало немало стариков, и им трудно было бы подниматься по лестницам. Роксолана немного опасалась, что через окно может влезть грабитель, но улица была людная, и недалеко на углу стоял полицейский. По виду владельца решила, что тут могут уступить, и долго торговалась, как прежде, по-восточному, выходила и возвращалась; выторговала сто франков и была очень довольна. Затем купила хорошую мебель, частью новую, частью по случаю. Купила треножник, зеркало, старинный кофейник, карты. От петуха отказалась, чтобы не пачкать квартиру; предсказывать будущее можно и без петухов. Как все гадалки, побывала на кладбище Пер-Лашез, на могиле госпожи Ленорман. С такими чувствами молодые честолюбивые офицеры ходят к гробнице Наполеона.

И как только она окончательно устроилась, в газетах появилось объявление:

*Roxelane est à Paris.*

La célèbre cartomancienne égyptienne, chiromancienne de lucidité peu commune annonce les événements futurs.

Seance de 11 à 4 heures<sup>1</sup>.

Она решила навсегда остаться Роксоланой. Имя ей нравилось и как нельзя лучше подходило для дела. Составить объявление помог в конторе старичок. Он очень ласково ей улыбался и попросил погадать ему по руке. Роксолана предсказала ему долгую жизнь и счастливую любовь. Сидевшая в комнате служащая фыркала. Но старичок был доволен и сделал скидку.

Объявление имело успех: не то чтобы сразу повалил народ, но стали приходить люди: в первый день пришла одна клиентка, во второй — клиентка и клиент, затем меньше четырех-пяти человек в день не приходило. Гадала она добросовестно: вначале каждому посетителю отдавала не менее получаса, а то и больше, если у нее было впечатление, что он придет опять. Очень способствовал успеху ее певучий мелодический голос. Она знала, что это одно из главных ее очарований, и пользовалась им умело.

Скоро она стала отличной гадалкой. Во время сеансов проносила египетские заклинания и пила кастальскую воду. Один клиент робко спросил, что это такое. Роксолана ответила, что есть такой источник и что в нем утопилась одна важная нимфа; ответила уверенно, но скороговоркой, так как забыла справиться, что такое нимфа. Иностранный акцент способствовал ее успеху. Она пользовалась также приемом самой дорогой из посещенных ею гадалок: заставляла клиентов долго ждать, а когда они, наконец, входили, небрежно пересчитывала на столе золото, — будто его только что оставил другой клиент. Это производило тем большее впечатление, что золото после революции стало понемногу исчезать. У одной из гадалок вводил посетителей странно одетый человек в шляпе с пером.

---

<sup>1</sup> Роксолана в Париже. Знаменитая египтянка, карточная гадалка и хиромантка предсказывает события будущего. Сеансы от 11 до 4 часов (фр.).

«Хорошо, да дорого, — думала Роксолана, — может, позднее найму, когда будет много дохода. Не всё сразу...» Сама она носила египетское одеяние. Долго колебалась: гадалке лучше быть старой женщиной, молодые не внушают доверия; но ей очень не хотелось изображать старуху даже с незнакомыми людьми. Впрочем, клиенты ею как женщиной не очень интересовались: в гадалок влюбляются так же редко, как в шпагоглотательниц или в женщин со змеями на шее. Это ее тяготило: она с сожалением вспоминала о сумасшедшем русском старике: «Где-то он теперь? Верно, скучает со старой женой?» Раз даже погадала о нем, выпив глоток кастальской воды, но ничего не увидела.

«Ей хорошо, Генриетте, принимать от девяти утра до семи вечера! Они, француженки, все такие, работают с утра до ночи», — сердито думала Роксолана. Действительно, ее с первых же дней поразило трудолюбие французов, которых везде, даже на Востоке, считали легкомысленными людьми. На самом деле в Константинополе никто не работал так много, как они. «А я не могу, мне и отдохнуть надо, и в кондитерской посидеть. Если работать целый день, то зачем же тогда и деньги?» Вставала она довольно поздно, хотя и скучно было лежать в кровати одной. Завтракала наскоро дома, но в четыре часа, тотчас после сеанса, уходила в кондитерскую, пила шоколад, ела пирожные.

Успех рос с каждым днем. Она начала печатать объявления три раза в неделю; тот же старичок менял для нее текст. Стали приходиться репортеры и бесплатно печатали заметки. Называли ее знаменитой, изумительной и даже гениальной. О ней заговорили в Париже. Как обычно в революционное время, вера во все таинственное увеличилась. К Роксолане приходили люди, не желавшие называть свое имя. Она загадочно улыбалась, кивала головой, делала вид, что ей известно, кто они. Предсказывала осторожно и ловко. Теперь окончательно убедилась в том, что все люди чрезвычайно глупы и похожи друг на друга; собственно, она и всегда так думала, но допускала возможность, что так только в Турции; оказалось, что так везде, — уж если в самом Париже! Цену за гаданье она скоро подняла и теперь ни одному посетителю больше десяти минут не уделяла. Жила она по-

прежнему скромно: сегодня люди ходят, а завтра вдруг, не дай Господи, перестанут ходить!

Старичок, довольный ее успехом и продолжавший делать ей скидку, как-то ей сказал, что ей следовало бы купить ценные бумаги. «Теперь они сильно упали, а как только кончится революция, очень поднимутся в цене». Сначала она отнеслась к совету старичка недоверчиво: ясное дело, хочет надуть. «А где их покупают?» — «На бирже. Но лучше сделайте это через банк, там вам и посоветуют». — «Если сам ничего не предлагает, то, значит, выгоды ему никакой нет», — подумала Роксолана. О банках она знала, но никогда в них не была. «Вдруг не обманут?» Подумав, выбрала банк Ротшильдов: о Ротшильдах слышала восхищенные рассказы еще в Константинополе. Для верности выдала себя директору за еврейку: «Лучше будут относиться, да и знают, что еврейку не обманешь». Бумаги купила, — со вздохом положилась на мнение директора и на судьбу. Но то, что оставалось от золота, подаренного ей Лейденом, держала у себя в доме под ключом. Украдут золото, — останутся бумаги; обманут Ротшильды, — останется золото.

Всё как будто шло превосходно: даже и надеяться на такой успех было невозможно. Но ей становилось всё скучнее в этом знаменитом городе. Она не привыкла жить без мужчины.

## XII

Stryge, harpie, magicienne, emponse,  
larve, lemure, goule, psylle, aspirole...<sup>1</sup>

*Balzac*

Незадолго до начала обычного приема у дома Роксоланы остановилась элегантная коляска с кучером в коричневой livree с золочеными пуговицами. Из нее с трудом вылез толстый грузный человек, остановился на мгновение, взглядываясь в номер дома, затем, опираясь на трость, медленно поднялся по ступенькам. Роксолана, сидевшая у окна, как почти всегда в свободное время, ахнула: «Бальзак!.. Ко мне! Конечно, ко мне!..» Тотчас узнала его по портрету. Она выбежала в переднюю и

<sup>1</sup> Так Бальзак называет гадалку. Перевести почти невозможно.

отворила дверь. Обычно отворяла ее только перед самым приемом, всё боялась разбойников. Гости звонили, потом замечали, что дверь не заперта, и входили. Так лучше, пока нет человека в шляпе с пером. Вернулась, села в кресло и приняла таинственный вид. «Что ему предсказать? Чтобы поумнее?..»

Он вошел, переваливаясь, ласково с ней поздоровался, неторопливо и внимательно оглядел комнату и, не дожидаясь приглашения, тяжело опустился в кресло, поставив трость между коленями и опираясь на нее обеими руками. Начинать разговор не спешил: долго смотрел на гадалку, особенно на ее лоб и глаза. С этого обычно начинал изучение незнакомого лица, — как дантист первым делом смотрит на зубы нового человека, а сапожник на его обувь. По-видимому, остался доволен.

— Так вы наша новая, знаменитая гадалочка? — весело спросил он.

— Да, я знаменитая Роксолана, — нараспев ответила она. Была несколько озадачена: не привыкла к такому началу разговора с клиентами; обычно они сперва очень смутились.

— Я прочел, дорогая египтянка, ваше объявление в газетах. Не делайте вид, будто вы не знаете, кто я такой. Я Бальзак, Оноре де Бальзак, знаменитейший из всех писателей мира. Меня все знают. И я всех знаю. Знаю и всех гадалок. Они делают мне скидку. Ни одна с меня не берет больше двух франков. Я ведь сам маг: доктор магических наук. Имейте это в виду. И обмануть меня никто не может. Бойтесь меня!

«Два франка! Хорош!» — разочарованно подумала Роксолана. Тем не менее клиент ей понравился, хоть и не наружностью. «Ох, какой некрасивый! Совсем как лавочник в Галате. А глаза замечательные, просто как у меня, да черные! Только ресницы дрожат... Скидку ему можно сделать. Скажу газетчикам, что приходил Бальзак, они напечатают, да еще присочинят, и повалят новые люди».

— Моя цена пять франков, — ответила она строго. — Но вы можете заплатить сколько вам угодно. Я, конечно, вас тотчас узнала. А не узнала бы, так мне сказали бы карты. С такого человека, как вы, я могу взять и два франка — Хотела было добавить «даже меньше», но не добавила. Хотела также сказать: «Я все ваши книги читала», но не решилась: вдруг начнет спрашивать.

— Так вы в самом деле иностранка! — сказал он удивленно. — Все парижские гадалки выдают себя за иностранок. Ваше ремесло во Франции единственное, где выгодно быть иностранцем. Постойте, я хочу по вашему акценту установить, кто вы такая. Полька? — нет, русская? — нет, немка? — нет, итальянка? — тоже нет. Когда я прочел в вашем объявлении «Роксолана», я подумал: «Конечно, еврейка из квартала Ратуши, и зовут ее Рахилью или Ревеккой. Но какая умница, как хорошо придумала имя: «Ро-ксо-лана», — протянул он тоже нараспев, с совершенной точностью ей подражая. — Имя имеет огромное значение и для гадалки, и даже для писателя. Мне в моих романах стоит большого труда находить подходящие имена. В имени есть таинственная сила, оно связано с характером человека. Вы из-за имени Роксолана будете иметь успех. Вот ведь и я из-за него пришел. Среди вас, гадалок, очень много дур, а ты, очевидно, умная, — сказал он. — Ты не еврейка, я вижу. Но кто же ты?

— Я египтянка.

— Ты врешь... Ну, хорошо, египтянка так египтянка. Глаза у тебя чудесные, а голос такой, что, если б ты не была знаменитой гадалкой, то ты могла бы затмить Малибран. Это была певица, ты о ней не слышала, гадалки ничего не знают. Я, напротив, всё знаю и всех людей вижу насквозь. И тебя вижу насквозь. Обрати внимание на мои глаза, они проникают в любую душу! Не смей мне врать, я тотчас замечу, скажу журналистам, и ты будешь навсегда опозорена! А если ты будешь гадать честно, то я, напротив, буду им тебя очень хвалить. Подумай, какая для тебя реклама: тебя хвалит сам Бальзак! Я создал славу многим людям. Я вывел в люди Стендаля! Это был такой писатель, ты его не читала, как не читала даже меня. Ты, может быть, читала только болвана Сю... Ну, хорошо, приступим к делу. — Он отставил трость и протянул руку. — Карт не надо. Вот тебе моя рука. Смотри, какая она красивая. Обрати также внимание на мой нос и особенно на мою шею! Ах, какая у меня шея!.. Ну, выкладывай. Говори, сколько я проживу. Это единственное, что вы можете сказать. В остальном гадалки врут. Но это вы действительно знаете. Как — не понимаю. Я верю в чудеса. Я даже сам их творю. И тоже не знаю как. Постой, скажи раньше другое: я женюсь или нет?

«Ловушка, — взглядываясь в него, подумала Роксолана, — верно, он женат? Нет, видно, хочет знать».

— Женитесь, — сказала она, осмотрев его руку. — На хорошей женщине.

— Правда? — радостно спросил он. — Я тоже думаю.

— На богатой, — подтвердила Роксолана. — На бедной ни за то не женитесь.

— Ах, как ты права! Умница! Скоро?

— Не очень скоро, но и не так, чтобы это было уж очень далеко.

— Совершенно ясно! Так может гадать и не египтянка... Ну, а теперь, сколько я буду жить?

«Сказать мало — рассердится, больше не придет, и газетчикам будет меня ругать, — подумала Роксолана. — А долго верно жить не будет, такие тучные, с жилами на лбу, долго не живут».

Она опять принялась изучать его ладонь, что-то шептала, поднимала глаза к потолку. Он смотрел на нее с волнением.

— Долго проживете, — наконец сказала она. Он облегченно вздохнул и, выдернув руку, откинулся на спинку кресла.

— Больше ничего не надо, слава Богу!.. Я тебе дам три франка! А что такое «долго»? Двадцать лет проживу?

— Проживете.

— А тридцать?

— Нет, тридцать не проживете.

— Сколько же? Двадцать пять?

— Двадцать семь и три месяца.

— Всё ты врешь... Ты давно гадалка?

— Всегда была. И мать моя была, и бабушка.

— Тоже врешь. Ну, что ж, благодарю тебя. В награду я тебя поцелую, — сказал он, придвигаясь к ней, и поцеловал ее. — Вот тебе три франка. И я сделаю тебе рекламу, будь спокойна... Позавчера я видел одного человека, который только что приехал из Америки. Он говорил, что там где-то обнаружены необычайные явления. Таинственные стуки, какие-то странные столы... Это кто-то назвал спиритизмом. Духи сообщают будущее. Весь Нью-Йорк об этом говорит. Ничего невозможного тут нет, только очень ограниченные люди не верят в чудеса. Что такое чудо? Новое явление, недоступное науке. Пароход



еще недавно был чудом. Я очень хотел бы узнать точнее, что это такое, спиритизм. Они при помощи столов сносятся с потусторонним миром.

— Моя мать была знаменитая гадалка. А этого в Париже нет, столов? — спросила Роксолана, слушавшая его очень внимательно.

— В Париже пока нет, скоро, верно, заговорят и у нас... Наши дураки ученые не верят ни в магнетизм, ни в гипнотизм! Между тем, я сам гипнотизер. Если хочешь, я тебя загипнотирую? Сколько тебе лет?

— Двадцать шесть.

— Ты очень красива. — Он пододвинулся к ней еще ближе и положил ей руку на колено. — Я думаю, что ты очень опытна в любви. Как это хорошо! Ничего лучше любви нет! Занимайся ей, милая, занимайся ею, пока не поздно. Скоро всё пройдет. Ты думаешь, я всегда был такой? Я был одним из самых изящных людей Парижа!

«Ох, и ты врешь еще лучше меня», — подумала Роксолана. Костюм на нем был потертый, давно не глаженный и весь в пятнах. Только трость была дорогая.

— Это видно еще и сейчас.

— «Еще и сейчас!» — грустно повторил он. — Молодые франты старались мне подражать. Я уже тогда был знаменит. Кроме того, я происхожу из древнего рода графов Бальзак д'Антрэг. На моих колясках, на моих эскарго и милордах была наша родовая графская корона. Всё это, конечно, за мной осталось, но молодость прошла... Сколько, по-твоему, мне лет? Говори без гаданья, просто на глаз.

«Верно, под шестьдесят», — подумала Роксолана.

— Лет пятьдесят пять.

Он рассвирепел. Ему еще не было сорока девяти.

— Ты дура! — сказал он. — Редкая идиотка! Где тебе быть гадалкой, когда ты не видишь и наружности человека! Брось твое ремесло и поступай в веселый дом!

— На вид вам еще больше! — ответила она, рассердившись. — Я из любезности сказала, что только пятьдесят пять!

— Ну, ладно, теперь я тебе погадаю, — сказал он и насильно взял ее руку. К ее удивлению, он стал называть линии ладони совершенно правильно, знал даже такие, о которых она

и не слышала. — Ах, нехорошо, нехорошо! — сокрушенно сказал он. — Ты будешь жить не очень долго. Лет до пятидесяти доживешь. И скоро ты состаришься! Ах, как ты скоро состаришься! Ты знаешь, когда женщина дурнеет, это всегда происходит очень быстро. Прежде всего исчезнет твой чудный цвет лица. Это еще полбеды, можно краситься. Затем появятся морщины, с ними бороться уже гораздо труднее. Потом начнут выпадать зубы...

— А у вас их уже нет в верхней челюсти! — гневно перебила она его. — Я и то удивляюсь, как вы еще не сюсюкаете!

— Самое лучшее, что в тебе есть, это глаза, — говорил он. — Но глаза с годами теряют свой блеск. Все восточные женщины к тридцати годам уже никуда не годятся. Кажется, в Италии есть такая поговорка: «В сорок лет женщину надо бросать в реку одетой». Это я, по своей доброте, продлил вам всем жизнь, а вы, дуры, и ухватились: «Бальзаковский возраст, ах, ах, я еще хороша!» Так то европейские женщины, а ты родилась на востоке. Ты безобразно растолстеешь, будешь вечно чувствовать слабость в ногах, трудно станет ходить, появится одышка, начнет болеть печень...

— Да что вы всё!.. — начала в ярости Роксолана. Но его нелегко было перебить. Он всё крепче сжимал ее руку. Глаза у него расширились и блестели почти неестественно. «Да не пьян ли? Ух, какой стал страшный!» — подумала она, тщетно стараясь от него отодвинуться.

— А потом у тебя в одном из глаз появится черная точка! — сказал он полушепотом. Лицо у него вдруг задергалось. — Ты не будешь знать, что это такое. Непонятная, необъяснимая, нестерпимая черная точка! А ведь она что-то должна значить, а? Ты начнешь звать врачей, но и они знают немногим больше нас. Быть может, я понимаю больше, чем они. Они будут тебя лечить. Они запретят тебе вино, чай, кофе. Потом верно появится и подагра. Они велют тебе, идиоты, опускать ноги в окровавленные внутренности поросенка.

— Ах, гадость какая! — сказала она, бледнея. — Да ничего такого у меня никогда не было и не будет!

— Будет! Будет, говорю тебе! Врачи станут уверять тебя, что ты скоро выздоровеешь, что тебе уже лучше, гораздо лучше! Ты будешь знать, что они бессовестно врут, но будешь

уверять и других и, главное — о, дура! — себя, себя, что тебе в самом деле лучше, что ты выздоравливаешь, что ты опять скоро будешь здорова и крепка, как прежде. Нет, не будешь здорова, нет, не будешь крепка! Больше никогда не будешь! К тебе будут приходить друзья, так называемые друзья, нет ни у кого друзей! Они тоже будут тебе говорить, что тебе лучше. Не верь, не верь! Они всегда врут. А подлецы врачи знают, что умирает человек, что умирает великий человек, но шутят с ним, делают вид, будто он выздоравливает, и думают, идиоты, что он этого не замечает! А другие гадалки соображают, сколько им прибавится дохода, когда ты умрешь. А наследники навещают тебя и приглядываются волчьими глазами. Родные, сестра, мать. И у тебя, верно, мать чудовище... Никому не верь, никому!

— Да неправду вы всё говорите! Меня все любят! Перестаньте вы, что же это такое!

— Ты будешь заниматься своим делом, ты будешь обставлять свой дом, покупать мебель, картины, хвастать ими. А сама будешь знать, что это ни к чему, что твои дни, быть может часы, сочтены, что перед тобой она, она, смерть! Это единственное, что важно, всё остальное вздор. Но люди, безумные люди, об этом не думают. Думают обо всём другом, о вздоре, о чистом вздоре, но не об этом! И вот она появится, она, со всей своей грязью, со всеми своими мученьями. И тебя отвезут на кладбище, будут говорить лживые речи, — да хотя бы и правдивые! Да, да будет слава, будет бессмертная слава, а что тебе в ней, ты не прочтешь того, что они будут тогда о тебе писать. Зато там будет пир, пир червей. У них, как у людей, есть богатые и бедные, одним повезло, захватили хороший кусок земли. Но они гостеприимны, они пригласят к себе тех, кто перед ними подличает, пригласят к себе на обед полакомиться: прибыл человек, большой жирный человек! Может быть, ты рассчитываешь на другую жизнь? Не верь, не верь, ее нет, нет, это сказка для утешения людей. Я сносился с духами, ты этого не поймешь, это могут понять гениальные люди, как я или Сведенборг. А что, если и мы себя обманываем? Других ничего, так им и надо. Но себя? Ничего не будет, ничего!

Она вдруг заплакала. Он выпустил ее руку и, тяжело дыша, откинулся опять на спинку кресла, глядя на нее своими страш-

ными глазами. Его лицо было смертельно бледно. Ресницы тряслись теперь беспрерывно.

— Что же это? Что это такое? — говорила она, всхлипывая. — Зачем вы пришли? Убирайтесь от меня вон поскорее! И никаких ваших денег мне не надо... И что выдумали, новость какую! Что люди умрут, что я умру! А разве я и без вас этого не знаю! И неправда, будто ничего не будет. В святых книгах сказано, что будет. А они поумнее ваших... За что только вам деньги платят? Вы верно сумасшедший, вот вы что!

Он опомнился. На лице его выступила улыбка. Он тяжело встал и обнял Роксолану. Она его отталкивала.

— Ну да, ну да, конечно, я сумасшедший, ты совершенно права, — говорил он ласково. — Не слушай меня, я всё вру! Вот, возьми еще десять франков, ты мне чудно погадала. Возьми, возьми деньги, это за твое гаданье. Я всем буду говорить, какая ты хорошая гадалка. Самая лучшая из тех, что я видел, а я видел всех, — говорил он, целуя ее. Она машинально сунула куда-то деньги и стала вытирать слезы. Из передней послышался легкий робкий звонок колокольчика. Он вздрогнул.

— Ну, вот видишь, и еще клиент пришел. Будет заработок, видишь, как хорошо, — говорил он. — И вот что, ты ему непременно скажи, кто у тебя только что был. Скажи, что был Бальзак, великий Бальзак! А я скажу журналистам, они всё обо мне печатают. Они мною занимаются двадцать пять лет, много на мне заработали, проклятые. Терпеть меня не могут, а пишут, пишут... Ну, вот, мы и перестали плакать. Теперь мы улыбнемся, правда?.. Так ему, клиенту, и скажи: «Вы видели, кто у меня был? Это был Бальзак, сам Оноре де Бальзак!» И так небрежно скажи, как будто я у тебя бываю каждый день. Можешь даже добавить, что я тебе оставил кошелек с золотом. Нет, этого не прибавляй: не поверят, меня знают. Но он будет поражен и вечером всё расскажет в кофейне. И к тебе повалят люди, видишь, как будет хорошо? И я тоже буду к тебе заезжать, ты мне очень, очень понравилась. Я вас всех, гадалочек, люблю, вы ведь наши братья, тем же делом занимаетесь, только по-иному. А ты умница, у тебя в голове много больше мозгов, чем у дурака Сю.

Когда Роксолана успокоилась, он надел шляпу, взял трость и простился с ней. Она вышла за ним. В передней сидел какой-

---

то испуганный старик. Бальзак и его окинул взглядом, всё в нем заметил и занес в память.

— Я чрезвычайно вам благодарен, — громко сказал он, обращаясь к Роксолане. — Всё было совершенно верно. Я никогда не встречал такой прекрасной гадалки, как вы.

— Благодарю вас. Так до скорого свиданья, мосье де Бальзак, — сказала она тоже громко и действительно самым небрежным своим тоном. Он усмехнулся, одобрительно кивнул головой и вышел.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### I

Препотешное существо — порядочный человек: я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком.

*Чернышевский*

Революции кончаются по-разному, но начинаются они почти всегда одинаково. Многие их хотят, — одни горячо, другие без большой горячности. Их считают неизбежными, их даже задолго предсказывают. Тем не менее приходят они всегда неожиданно, — застают врасплох и тех, кто их боялся, и тех, кто их желал. Никто никогда не бывает «готов» к революции, как никто никогда не бывает готов к войне. Обычно вначале проливается мало крови, — все революции в первые дни объявляются бескровными. Победившая сторона хоронит своих с необыкновенным почетом, хотя в большинстве случаев это жертвы случайные: погибшие люди чаще всего еще накануне в мыслях не имели, что будут сражаться за новый строй. Жертвы же побежденной стороны замалчиваются, несмотря на то, что обычно это лучшие люди в потерпевшем поражении лагере: не лучшие вначале прячутся, худшие перебегают к победителям.

И тотчас начинается радость, необыкновенная, чаще всего искренняя радость. Подделяется под нее меньшинство по соображениям выгоды или безопасности. Не разделяют ее холодные люди, вообще неспособные заражаться чужим восторгом. Когда в воспоминаниях участников революции, не изменивших позднее своим убеждениям, попадают слова о «божественной лихорадке» ее первых недель или месяцев, незачем смотреть на это, как на дурную словесность. Они говорят правду. Напротив, обычно (сознательно или бессознательно) лгут люди, которые «с первого дня предвидели» и «с самого начала говорили», — таких скоро появляется много. Очень часто, слишком часто, «заканчивающий» революцию третий строй,

оказывается неизмеримо хуже до-революционного. Тем не менее почти всегда *что-то* остается. В так называемом конечном счете все революции более или менее неудачны, но *совершенно* неудачных революций не бывает: кое-что остается даже от тех, которые быстро топят в крови, как восстание декабристов или Парижская коммуна. Если не остается ровно ничего, то сохраняется хоть легенда. К ней и ее героям незачем присматриваться слишком близко. Суда же истории быть не может не только потому, что «судьи» — люди разных взглядов. Нельзя расценивать несоизмеримое: легенду, террор, победы, разорение, политические приобретения, число человеческих жертв. «Суд» современников, разумеется, еще пристрастнее «суда» историков, но, быть может, всё-таки ценнее, — по крайней мере для художника. Свидетельские показания важнее приговоров; они хоть определяют свидетеля.

Февральской революции 1848 года предшествовала кампания банкетов. Требования оппозиции были умеренны и разумны: главное сводилось к расширению избирательного права. Людовик-Филипп не соглашался по разным причинам: частью по своей старости и ограниченности, частью потому, что вообще не любил и боялся бедняков. Но особенно боялся того, что политические деятели, будто бы представляющие бедных людей, заставят его объявить войну России: народные ораторы требовали войны за освобождение Польши. Вдобавок он думал, что вожди оппозиции перессорятся между собой на следующий же день после того, как он призовет их к власти. В этом он не ошибался.

Вожди крайних давно требовали, чтобы «народ вышел на улицу». Умеренные возражали: нет такого политического вопроса, из-за которого стоило бы проливать кровь. Спор был бесполезен именно по несоизмеримости понятий. Но с каждым днем становилось всё яснее, что политика умеренных по существу означает подчинение правительству. Ламартин объявил, что «выйдет на улицу хотя бы в сопровождении одной своей тени». Вышли на улицу студенты и рабочие. Где-то кто-то выстрелил, пролилась кровь. Пролито ее было не очень много, — люди, пришедшие на смену королю, скоро пролили ее гораздо больше. Однако Людовик-Филипп так всем надоел, что защитников у него оказалось очень немного.

Манифестациями и даже баррикадами в пору его царствования удивить было трудно. В первый день никто не придавал им значения: чернь опять погуляет с флагами и разоидется; загородит улицу камнями, полиция камни разберет; будут убитые и раненые, что ж делать, очень жаль. Но на второй день благоразумные люди старались не выходить на улицу, слова «чернь» не произносили и даже неуверенно говорили «революционный народ». А затем стало известно, что революция победила, что король отрекся от престола и бежал. Тотчас начали выходить из дому и благоразумные люди. На улицах прохожие, тоже не совсем уверенно, делали попытки обниматься, больше, впрочем, по традиции: все смутно помнили, что в такие исторические дни полагается, как это ни странно, обниматься с незнакомыми людьми; кроме того, полагается *взвиваться* каким-то орлам, неизвестно откуда взявшимся.

Образовалось Временное правительство. Никто его не избирал, и, разумеется, выбирать тогда было невозможно. «Революционный народ», т. е. случайно собравшаяся, весьма разнообразная во всех отношениях толпа, «избрал par acclamation<sup>1</sup>» основную группу министров: Дюпона, Ламартина, Араго, Ледрю-Роллена, еще несколько человек. Всё это были известные люди, их имена в пору монархии примелькались в газетах, и громадное большинство «избирателей» знало преимущественно то, что все они «хорошие» в отличие от королевских министров. С трибуны или из залы выкрикивалось то одно, то другое имя, толпа орала «Да!», или «Да здравствует Ламартин!», или «Да здравствует Дюпон!» Правда, кое-кто орал и «Нет!», «Не надо!», «Не хотим!», но в общем взволнованно-радостном настроении первых часов революции кричавших «Да!» было гораздо больше, или кричали они громче, и названное лицо признавалось избранным.

Король принял революцию философски. Собственноручно своим каллиграфическим почерком написал акт об отречении. надел черный сюртук, вышел из Тюильри и уехал за границу. Временное правительство послало ему на дорогу триста тысяч франков. От Людовика-Филиппа оно избавилось очень легко, но в нем самом полные взаимной любви отношения продолжа-

---

<sup>1</sup> Единодушно (фр.).



лись лишь несколько часов. Помимо того, что обиделись все известные люди, не избранные революционным народом (некоторых просто случайно забыли предложить), стало совершенно ясно, что выбранные государственные деятели, в большинстве баловни судьбы, никак не могут считаться представителями бедных, часто полуголодных, забитых жизнью людей. Они были наиболее левыми из умеренных; и на следующий же день им пришлось, с ласковыми улыбками и с затаенными проклятьями, привлечь в правительство наиболее правых из крайних, Луи Блана, Флокона, Марраста, Альбера: этих уж совсем никто не избирал, даже «*par acclamation*». Таким образом правительство составилось из двух групп. Они ненавидели одна другую (как, впрочем, ненавидели друг друга и многие люди в пределах одной группы). Тем не менее с внешней стороны отношения между всеми членами Временного правительства были в первое время корректными.

На сторону новой власти стали переходить маршалы и генералы, также и те, кто, как маршал Бюжо, считались главной опорой трона. Они тоже клялись в своём свободолобии, признавали, что республика лучшая форма правления, с жаром приветствовали самую бескровную из всех революций, *братались* с революционным народом, предлагали Временному правительству «свою шпагу» (а генерал Шангарнье еще и «свою привычку побеждать»).

Временное правительство объявило амнистию, ввело всеобщее избирательное право, разослало комиссаров в провинцию, приняло своей властью много новых законов, в большинстве очень хороших и разумных. Популярность его в течение недели была безгранична. И, как всегда бывает, сразу один человек оказался самым популярным из всех. На эту роль, необходимую во всех революциях, обычно выдвигаются честные, красноречивые, романтического склада люди.

Во Франции таким человеком в феврале 1848 года оказался Ламартин. Каждый день все с восторгом цитировали его новую речь, его новое историческое слово, — он сказал, что выйдет на улицу хотя бы в сопровождении одной только своей тени! Он готов умереть за свободу!.. Правда, Ламартин на улицу не вышел и не умер, но это в первые дни ни малейшего значения не имело. Он был лишен политической проницательности и

ровно ничего не предвидел из того, что произошло во Франции. Но почти ничего не предвидел и почти никто другой. Был он хороший и даровитый человек, работал как вол, делал что мог и умел; и хотя впоследствии отказался от многих своих убеждений, никак не заслуживал тех чувств, которые вызывал во Франции в последние двадцать лет своей жизни. Комическая черта у него в 1848 году была лишь одна: он был (впрочем, как многие правители) искренно убежден в том, что народ его обожает, — хотя никак нельзя было бы понять, за что, собственно, должен его обожать народ. На самом деле уже через месяц после переворота Временное правительство («Le Gouvernement Provisoire») в Париже стали называть Смехотворным правительством («Le Gouvernement Dérisoire»), Ламартин получил кличку Ла Тартин<sup>1</sup>, Ледрю-Роллена стали называть Le Dur Goquin<sup>2</sup>, и т. д. А месяца через два был пущен слух, будто министры наживают на спекуляциях огромные деньги, будто они устраивают оргии, каждый день пьют шампанское и едят суфле из фазанов, — это было модное блюдо в дорогих ресторанах. Во всем этом не было ни слова правды.

Разумеется, в правительстве тотчас образовались и «оттенки». Одни члены каждой группы ненавидели другую группу больше, другие меньше. Кроме того, в первой, основной группе были миролюбивые люди, желавшие быть в добрых отношениях со всеми и дружно делить столь внезапно свалившиеся народную любовь и восторг. Были и слабохарактерные люди, были люди с некоторой склонностью к предательству в характере, были честолюбцы, считавшие наиболее для себя выгодным центральное, то есть промежуточное и неопределенное, место в правительстве, чтобы участвовать во всех возможных правительственных комбинациях с надеждой рано или поздно одну из них возглавить: такой-то приемлем для всех, и для правых, и для левых. Эти втихомолку порицали своих вождей и давали понять крайним, что они, собственно, с ними, а состоят в умеренных больше по случайности. Такие же были люди и в левой группе. Кроме того, и среди левых, и среди правых были люди, искренно расхопившиеся между собой по взглядам.

---

<sup>1</sup> Франц. la tartine – тирада.

<sup>2</sup> Стойкий плут (*фр.*).

На заседаниях Временного правительства никто молчать не хотел, — еще сочтут дураком. Поэтому по каждому сколько-нибудь важному вопросу неизменно высказывались все министры. Говорить умели и особенно любили все. И так как почти у каждого был свой собственный «оттенок» и свои собственные интересы, то обычно высказывалось столько же суждений, сколько людей было на заседании. Всех затмевал своим красноречием Ламартин, но и некоторые другие министры от него отставали мало. Если даже какой-либо второстепенный министр заявлял, что присоединяется к мнению Ламартина или Луи Блана, то, чтобы его не признали недостаточно яркой личностью, он считал необходимым приводить дополнительные доводы, делать оговорки, рекомендовать ограничения или же старался приблизить мнение своего вождя к мнению вождя другой партии. Это было очень важно, так как делало оратора «в сущности приемлемым для всех».

Вдобавок все члены правительства были переутомлены от митингов, от совещаний, от бессонных ночей. У них не было никакой возможности много думать о положении страны, о том, что они сами говорили и предлагали. Не было, разумеется, и времени, чтобы изучать обсуждавшиеся вопросы по трудам ученых. Вероятно, за все время их пребывания у власти почти никто из них ни одной книги вообще не прочел. Более образованные пользовались приобретенными прежде познаниями, остальные ровно ничего не знали и высказывали суждения в зависимости от обстоятельств и от того, что писали газеты: за газетами следили все, — разумеется, прежде всего отыскивали в них свое имя. Во время заседаний к дворцу Ратуши подходили разные манифестанты, разные делегации требовали приема, к ним надо было выходить или принимать их. К большим толпам чаще всего выходил Ламартин, который мог прекрасно говорить и час, и два, и три, решительно ничего не сказав. Как и другие министры, он более или менее правдоподобно выражал нежную любовь к революционному народу, хотя этот народ порядком надоел не только ему, но и крайним левым. Надо было выступать и на митингах. Если митинг бывал особенно бурным, то Ламартин обычно клялся умереть за свободу. А так как эти слова он умел выкрикивать совершенно диким, истерическим голосом, — как никогда не кричат люди

в обычной жизни, как почти никогда не кричат и на сцене хорошие драматические артисты, — то Ламартин неизменно «побеждал толпу». Он этим очень гордился, а его поклонники говорили об этом с умилением. Обыкновенно решения принимались Временным правительством очень поздно, когда все чувствовали, что больше нет сил говорить и особенно слушать, что надо все-таки и поест, и отдохнуть. Остается лишь удивляться тому, как они в такой обстановке приняли триста семьдесят пять декретов, из которых очень многие были вполне разумны. Правда, в большинстве это были декреты бесспорные.

У Бальзака ум был устроен так, что он мог видеть только комические стороны революции или, по крайней мере, их видел лучше всего другого.

Он принял переворот вначале без большой злобы. Любопытство в нем было сильнее страха, и он в дни революции дома не сидел. 24-го февраля революционный народ (так теперь уже говорили все) ворвался в Тюильрийский дворец. Это было не трудно: дворца больше никто не охранял, и из прежних жильцов в нем никого не было, кроме многочисленных растерянных слуг. Во дворце был огромный погреб, скоро начался пьяный погром. Через час всё было разбито и раскрадено. Люди распарывали диваны и кресла, резали ковры, стреляли в статуи, били стенные зеркала, уносили платья, белье, духи, безделушки.

Вместе с толпой в Тюильри вошел и Бальзак. У него происходившее во дворце не вызвало такого холодного отвращения, как у Флобера, который побывал там одновременно с ним (они не были знакомы). Бальзак был настроен более благодушно. Быть может, чувствовал, что издеваться над нищими, пьяными, полуголодными людьми — дешево, что бы эти люди ни делали. Король перед бегством не успел позавтракать, в галерее Дианы был накрыт стол на несколько десятков приборов. Он уже был занят толпой, и по тому, с какой жадностью ели эти люди. Бальзак, вероятно, видел, что насмехаться тут не над чем. В другом зале начался бал. Однако веселья не было. Многие уходили, как будто стараясь обратить всё в шутку: повеселились во дворце тирана, и будет. Другие изображали не весельчаков, а фанатиков и пели революционные песни. Он знал, что

на следующий день в кругах революционеров будут уверять, что народ мстил тирану, уничтожал «эмблемы», но не воровал и не грабил, — так полагалось говорить испокон веков. Это его забавляло. Он и сам что-то взял на память во дворце: не то тетрадку, не то листок с последним уроком королевского внука, графа Парижского.

В первые дни революции благодушие его не покидало. Он даже стал подумывать о политической карьере: отчего бы не выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание? Давно мечтал о парламенте. Прежде у него не было ценза. Позднее собственность дала ему ценз — и теперь ему было почти досадно, что с введением всеобщего избирательного права ценз больше ни для чего не нужен. При встречах со знакомыми говорил им, что в сущности всегда был человеком левого центра, *un centre gauche*. Знакомые недоумевали, вспоминая его прежние мысли. Кое-кто мог бы ему кое-что напомнить. Но и он мог кое-кому кое-что напомнить. Бальзак знал всё обо всех. Знал, что некоторые из собратьев и даже из друзей, через Якова Толстого (парижского агента Третьего отделения) получают субсидию от русского правительства или ее домогаются. Знал, что Александр Дюма в надежде получить русский орден поднес в дар Николаю I какую-то свою рукопись и в восторженном письме назвал его гением. Царь написал на представлении Уварова об ордене: «Довольно будет перстня с вензелем». Дюма очень рассердился и написал роман о декабристе Анненкове, которого, впрочем, сделал графом Ванинковым. Да и сам Ламартин еще не очень давно был роялистом и занимал видные должности при Карле X. Мало ли кто чем *был* и кто что когда-то говорил! Это также было дело житейское. В том настроении веселого цинизма, в котором, когда дело не касалось искусства, жил Бальзак (и в котором во все времена жило большинство политических деятелей), всё это не имело значения. Он и в самом деле выставил свою кандидатуру в Учредительное собрание, но, несмотря на свою славу, получил не то пятнадцать, не то восемнадцать голосов. Через несколько месяцев после этого сокрушался: «Зачем Ламартин и Виктор Гюго так себя скомпрометировали? Ведь очень скоро Бурбоны будут снова на престоле». — «Да ведь вы и сами были кандидатом в Учредительное собрание», — бестактно напомнил кто-

то. «Я другое дело: я не был избран», — благодушно ответил Бальзак.

В общем, революция 1848 года, как ему казалось, вполне подтверждала основную мысль его творчества: человек глуп, слаб, нечестен, ничего от него ждать нельзя, и надо из этого исходить. Все люди руководятся личными, чаще всего денежными интересами, для осуществления их играют комедию — человеческую комедию — и в большинстве играют плохо. Многие свой интерес, или свое тщеславие, или свою злобность выдают за «любовь к народу» и так к этому привыкли, что сами давно этого не замечают. Патриотизм тут большого значения не имеет, так как это чувство общее всем и уживающееся с любыми взглядами. Дантон был патриот, и Людовик-Филипп патриот, и Ламартин тоже патриот. А так как люди в массе более или менее стóят друг друга, то не имеет большого значения и государственный строй, — лишь бы была твердая власть, обеспечивающая, с одной стороны, порядок, а с другой — свободу мысли.

Он — правда, без восторга — принял бы и республику, если бы она дала ему благоприятные условия для работы. Но Временное правительство, занятое другими делами, интересовалось искусством так же мало, как Людовик-Филипп. Дела же после революции стали ухудшаться с жуткой быстротой. Рента и ценности падали на бирже с каждым днем. Богатые люди обеднели, ни на что больше денег не давали, оттого ли, что с каждым днем всё сильнее ненавидели Ламартина или же смутно чувствовали, что литература, вся вообще литература, приложила руку к тому, что произошло. Газеты перестали печатать романы, издатели не покупали книг или предлагали очень невыгодные условия. Театры, кроме одного, опустели. На представлении пьесы Виктора Гюго сбор составил девять франков. Тревога у Бальзака всё росла и понемногу перешла в панику: что делать? как жить? Вдобавок революция 1848 года оказалась, как назло, самой международной и общечеловеческой из революций. За переворотом в Париже последовало что-то вроде переворотов в других странах. На Марсовом поле спешно воздвигалась статуя в честь братской Германии. В Польше ожидалось восстание, парижские революционеры теперь каждый день требовали объявления войны России. Несмотря на свои

симпатии к полякам, Бальзак слышать не хотел о войне за их освобождение. С падением крепостного права Ганская была бы, вероятно, разорена, — незачем освобождать крепостных, по крайней мере незачем теперь, им живется недурно, а там, позднее, будет видно.

Однако его взгляды определялись не только личными интересами. Если люди вообще всегда были ему противны, то революционеры теперь становились ему всё противнее с каждым днем. Бальзак гораздо лучше, чем они, знал тот мир, который они обличали и который он изображал в своих романах. Эти сановники, банкиры, лавочники, или, по крайней мере, многие из них, были безобразным, но привычным явлением: он среди них жил, да едва ли мог бы жить без них. Революционеры же были по моральным и умственным качествам несколько не лучше, но добавок ввели, как ему казалось, еще новые виды глупости и пошлости.

В магазинах теперь продавались революционные брошюры. «Путешествие в Икарию» Кабе, журнальчики «Друг народа», «Республиканский Христос», курительные трубки с головами Ламартина и Ледрю-Роллена, фаянсовые тарелки с надписью «Долой тиранов», новые рисунки: Барбес в тюрьме стоял, прислонившись к стене, с устремленным вдаль задумчивым вдохновенным взглядом. Освобожденные революцией негры где-то в колониях сбрасывали с себя оковы и обнимались, а рядом комиссар республики, тоже с вдохновенным видом, держал в протянутой руке шляпу. В одном из новых клубов гражданин Дювивье объявил, что все люди старше тридцати лет должны умереть, так как слишком заражены предрассудками старого строя. В женском клубе Везувианок гражданин Борм, впрочем позднее оказавшийся полицейским агентом, подробно объяснял свое изобретение: две тысячи Амазонок свободы могут разгромить 50-тысячную контрреволюционную армию. Гражданке Жорж Санд, только что признавшей себя коммунисткой, было предложено звание Женщины-Мессии. Кто-то проповедовал новое учение Ма-па, название которого образовывалось из первых слогов слов «мама» и «папа». Бальзак мог бы обратить внимание на то, что революция действительно освободила негров, что Барбеса в самом деле при старом строе держали в тюрьме, что февральская революция и ее идеи не несут ответственности за

всякий говорящийся в клубах вздор. Но он и не собирался быть справедливым и беспристрастным в политике, — какая уж тут справедливость и какое беспристрастие! Точно на зло, от него, как от всех, требовали исполнения гражданских повинностей и дежурств. По утрам его тревожили салютная пальба или барабанный бой, — эти люди не знали, что он работает по ночам! Он ругался ужасными словами. Жизнь стала просто невозможной!

Один театр был всегда переполнен до отказа Бальзак побывал на спектакле. Во Французскую комедию пускали бесплатно. Рашель сводила с ума парижан исполнением «Марсельезы». Она считалась величайшей артисткой в мире. Теперь ее называли то «Музой свободы», то «Богиней революции». Она медленно выходила из-за кулис, в белой тунике, с трехцветным знаменем в руке. Зал тотчас *замирал*: «Древняя статуя!» Марсельезу она не то пела, не то декламировала. О ней говорили, будто она усилием воли умеет останавливать биение своего сердца. Лицо у нее становилось смертельно бледным, глаза наливались кровью, а брови, по словам очевидца, «становились змеями». При куплете «*Amour sacré de la Patrie*<sup>1</sup>» Рашель в экстазе падала на колени, обвивала себя трехцветным знаменем и делала это так, что ее позу, трагический жест длинных рук, даже складки туники и флага должен был бы, по общему отзыву, изваять Микеланджело. Театр бесновался, рабочие делегации подносили цветы, слышалось только: «Изумительно!..», «Непостижимо!..», «Ничего равного никогда не было и не будет!..».

Как знаток, Бальзак отдавал должное: действительно превосходно. Тем не менее ему было и смешно. Он хорошо знал Рашель и относился к ней с ласково-благодарным восхищением. Она его недолюбливала, — Бальзак уверял, что читает Расина лучше, чем она. Его и прежде чуть-чуть забавляло, что эта, будто бы открытая в балагане Виктором Гюго, дочь немецкого еврея-разносчика, родившаяся где-то в Швейцарии, разговаривавшая у себя дома с родителями по-еврейски, была во всем мире признана воплощением французского духа. Но гораздо лучше было то, что теперь она стала и воплощением революции. Он знал ее интимную жизнь, знал, что одна ее

---

<sup>1</sup> «Священная любовь к родине» (фр.).



связь была с сыном Наполеона I, а другая — с сыном Людовика-Филиппа; сто раз со смехом слушал и повторял ходивший по Парижу рассказ, будто принц Жуанвильский в театре послал ей за кулисы записку из трех слов: «Где? Когда? Сколько?», а она ответила шестью словами: «Сегодня ночью. У тебя. Ни сантима». Бальзак был совершенно уверен, что ни до каких революционных идей ей ни малейшего дела нет, — лишь бы в художественном отношении вышло необыкновенно, лишь бы были успех, слава и деньги. Он сам был таков и решительно ничего против этого не имел, но он и не изображал бога Революции; правда, она была актриса. Пятью годами позднее Рашель очаровал Николай I, и она его очаровала. Царь не пропускал в Петербурге ни одного ее спектакля, осыпал ее подарками и почестями, приглашал в Зимний дворец на обеды и сажал рядом с собой. На одном из этих обедов Рашель так же вдохновенно, как в 1848 году «Марсельезу», тоже с мертвенно-бледным лицом, тоже со скульптурными жестами, спела в экстазе «Боже, царя храни», и великие князья рукоплескали с таким же восторгом, как за пять лет до того парижские революционеры. Эта сцена, вероятно, доставила бы удовольствие Бальзаку, но он до нее не дожил. Как, верно, и он сам, Рашель не знала, где кончается игра, где начинается жизнь — или даже смерть: умирая в Ле Канне, за несколько минут до кончины, она сказала: «Взлети на небо, дочь Израиля!»

Не слишком любил Бальзак и слова «Марсельезы». Какие такие «дети родины»? Какой «день славы»? Какие «свирепые солдаты»? Почему они «рычат»? Кто хочет «вырезать французских женщин»? Если в год появления гимна в этих словах была доля правды, то теперь не было ни малейшей: никто не собирался объявлять Франции войну; напротив, войной грозили французские революционеры. Эта сцена во Французской комедии, «навсегда перешедшая в историю театра», должна была показаться ему символом лживости революции. О лживости реакционного строя он думал редко: в эту сторону не любил направлять свой мощный критический аппарат.

Его здоровье ухудшилось в Париже. С этим был связан запряженный насильно, редко поднимавшийся на поверхность строй мыслей, тот самый, к которому относились и гадалки, и предсказания, и Сведенборг. Но были и другие тяжелые мысли, — их

поднимать приходилось. Он привез из Верховни рукопись написанного там романа «L'Initié»<sup>1</sup>. В деревне с ним произошло что-то странное. Перед поездкой в Россию он написал роман «Бедные родственники», одно из самых мрачных своих произведений, — там все продавались за деньги, с правильностью, с непреложностью закона природы там люди, казавшиеся читателям честными, ради денег совершали самые ужасные преступления. Надоело ли ему вечно возиться со злом? Опротивела ли ему весело-циничная жизнь его героев? Подействовала ли на него мирная сельская обстановка, в которой как будто, в отличие от Парижа, никто не вел свирепой борьбы за существование? Скорее всего, сказалось влияние Ганской, — она любила добродетель. Как бы то ни было, в Верховне Бальзак написал очень добрый и кроткий роман. В «L'Initié» все были добродетельные люди, а многие и просто святые. Не совсем добродетелен был только один человек, польский еврей, доктор Моисей Гальперсон. Он был скуп и жаден. Зато он был гениальный врач и своим гением спасал жизнь пациентам. В новом романе тоже не обходилось без преступлений, но они совершались по самым высоким побуждениям. Барон де Бурлак отправлял на эшафот или в каторжные работы невинных людей по чувству долга. Барон де Мержи украл у Гальперсона четыре тысячи франков — чтобы спасти нежно любимого деда. И оба барона искупили свой грех раскаянием. В конце романа все всё прощали друг другу и друг друга любили. Баронесса де Шантери простила барону Бурлаку казнь своей дочери и осыпала его благодеяниями. Даже полудобродетельный Моисей Гальперсон простил барону де Мержи его кражу и тоже как-то его облагодетельствовал.

Этот роман он прочел вслух в Верховне и вызвал там общий восторг. Однако он знал, что Ганская так же мало смылит в литературе, как громадное большинство людей. Понимали дело Гюго, Готье, Гейне, но им ему не очень хотелось показывать «L'Initié». Быть может, он сам иногда чувствовал, что в своих романах замазал слишком многое густой черной краской. Всё же делал это в художественном отношении хорошо. Делать обратное следовало бы не менее искусно. Добродетельные и

---

<sup>1</sup> «Посвященный» (фр.).

святые люди несомненно существовали. Надо было только уметь их изображать. Бальзак не умел.

Он перечел роман, и тревожно-тоскливое чувство в нем усилилось. Себя обманывать не мог. Видел, что роман никуда не годится. Не было ни одного живого человека, всё было очень плохо, а хуже всего был ни для чего не нужный, неизвестно зачем выведенный таинственный и гениальный польско-еврейский врач (когда Бальзак писал не о французах, он сразу терял три четверти таланта). Никакого Моисея Гальперсона он никогда не встречал, такого доктора не было и не могло быть, всё было сочинено, и плохо сочинено. Идеи в романе были, пожалуй, хороши, но сам он в роли защитника этих идей напоминал Рашель в роли Музы свободы. Не то она была пародией на него, не то он пародией на нее.

Всё же он показал роман издателю. Тот прочел и не пришел в восторг: нашел несоответствие духу эпохи. Бальзак и сам понимал, что крайне консервативный роман с добродетельными баронами имеет мало шансов на успех в 1848 году. Однако дело было даже не в успехе. Как ни нужны ему были деньги, они ничего не значили по сравнению с искусством. Ему пришла в голову мысль, что, быть может, он, при своем каторжном труде, исписался. Тогда всё другое теряло значение. Тогда теряла смысл и жизнь. Тогда оставалось лишь то, что он называл энтомологическим существованием.

Он поспешно написал драму «Мачеха». Театр ее принял, критика очень хвалила, но сам он чувствовал, что и пьеса (опять злая) не хороша. Вдобавок, на первом представлении уже были незанятые места, на втором театр был почти пуст, а после шести спектаклей антрепренер закрыл театр и увез труппу в Англию. И публика видит: исписался!

От опротивевшей ему современной жизни можно было уйти в прошлое: в исторический роман. Он решил написать эпопею о наполеоновском походе на Москву. Для этого необходимо было повидать поля сражений, расспросить тех русских участников войны, которые еще были живы. Для романа необходимы были также спокойствие и уединение деревни. Бальзак и без того принял решение; надо вернуться в Верховню. Ганская звала. Он понемногу успокоился. Опять стал думать о политической карьере, но о другой: отчего бы в самом деле не принять русское подданство и не стать ближайшим советником

императора Николая? Думал не очень серьезно, — поиграл в мыслях и этой ролью, как незадолго до того поиграл ролью графа Мирабо в Национальном собрании. Вдобавок всё больше приходил к мысли, что будущее принадлежит России, где никакой революции нет и не будет. Обедая у Ротшильдов с Тьером, Бальзак назвал Россию наследницей римской империи. «Вы правы. Россия со временем съест Германию», — сказал Тьер.

Однако теперь, после революции, получить русскую визу было французам еще гораздо труднее, чем прежде. У Бальзака были хорошие отношения с русским министром народного просвещения. Граф Уваров сам что-то писал, по-французски, по-немецки: о Наполеоне, о греческих трагиках, о Венеции. Одну из своих работ он даже послал Гёте, с просьбой извинить несовершенство его немецкого языка. (Гёте ответил ему: «Пользуйтесь с миром тем огромным преимуществом, которое вам дает незнание немецкой грамматики: я сам тридцать лет работаю над тем, как бы ее забыть»). Бальзак еще из Верховни писал Уварову — как писателю писателю. Теперь отправил ему письмо с просьбой хлопотать о визе. Польщенный Уваров исполнил его желание. Одновременно Бальзак написал и шефу жандармов Алексею Орлову.

Разрешение было дано, хотя и без восторга. Орлов представил всеподданнейший доклад: «Принимая во внимание неукоризненное поведение де Бальзака во время прежнего пребывания его в России, а также и ходатайство о нем графа Уварова, я полагаю бы, с моей стороны, возможным удовлетворить настоящую просьбу де Бальзака о дозволении ему прибыть в Россию». Николай I написал на бумаге: «Да, но со строгим надзором».

Надзор действительно был установлен. Несколько позднее киевский гражданский губернатор Фундуклей сообщил одесскому военному губернатору: «Государь Император всемилостивейше соизволил французскому литератору Бальзаку, бывшему здесь в прошлом году, приехать обратно в Россию, но со строгим над ним надзором. Бальзак прибыл в Сквирский уезд и получил от меня вид на пребывание в Киевской губернии и проезд в город Одессу. Имею честь просить ваше превосходительство, если Бальзак прибывает в Одессу, приказать иметь за ним строгий надзор, о последствиях которого не оставьте уведомить меня».

Надзор был несомненно излишен: Бальзак никак не собирался устраивать революцию в России. Но, быть может, скоро

догадался, что едва ли станет ближайшим советником царя. Впрочем, его политические виды всё менялись. Он предполагал, что во Франции вернется на престол старшая линия Бурбонов и что его назначат французским послом, — колебался, что выбрать: Петербург или Лондон? По-видимому, этот человек громадного ума совершенно растерялся от революции. Он и не написал больше ничего значительного в остававшиеся ему два года жизни. Некоторые же его письма просто неловко читать. В благодарственном письме к Уварову он говорил: «Я намерен описать наше великое поражение 1812 года... Я заплачу когда-нибудь свой долг русскому гостеприимству, описав стойкое мужество ваших войск, противостоявшее бешеному натиску французов... Что же касается милости, оказанной мне императором, то мне кажется, что по отношению к нашим государям, как и к нашим отцам, мы невольно всегда оказываемся неблагодарными: они дают нам жизнь, а мы никогда не можем отплатить им тем же».

Так как своего государя у него тогда уже не было, да и прежнего, Людовика-Филиппа, он недолюбливал, то, очевидно, слова об отцах, дающих нам жизнь, относились к Николаю I. Впрочем, вероятно, Бальзак такие письма писал чисто механически: не всё ли равно? Уж это по сравнению с искусством не имело ни малейшего значения.

В Россию он уехал не сразу. Умер престарелый Шатобриан, освободилось место во Французской Академии. Бальзак выставил свою кандидатуру. Как знаменитейший романист своего времени, он имел на избрание все права. Избран был какой-то герцог, носивший историческую фамилию, но в литературе известный преимущественно плагиатом, — впрочем, совершенно невольным: плагиат совершил секретарь, писавший для герцога исторический труд. Этот герцог оказался преемником Шатобриана и победителем Бальзака. Тут уж революция и козни левых были ни при чем, — был собственно хороший случай подумать и о своих единомышленниках. Бальзак этим случаем не воспользовался, хотя видимо был в бешенстве.

Июньского восстания он не видел, — отдыхал в провинции. В сентябре, достав взаймы пять тысяч франков, выехал в Россию. Романа о войне 1812 года он, однако, не написал. Написал вместо Бальзака другой.

## II

Par un chemin plus court descendre chez les morts<sup>1</sup>

Racine

Дилижанс был новенький, с мягкими кожаными подушками. Вначале разговор не клеился, но через час итальянский кондуктор протрубил в рожок и на полуитальянском-полуфранцузском языке прокричал, что эта долина славится на весь мир своей красотой. Тотчас начал восхищаться вслух природой пожилой благодушный венец, и понемногу все стали разговаривать и знакомиться. Только Лейден молчал.

Позднее он думал или, по крайней мере, говорил себе, что в нем произошло *разтроение*, что он в те дни жил якобы в трех плоскостях. В одной плоскости был человек, справлявшийся в почтовой конторе о часе отхода дилижанса, укладывавший вещи, пересчитывавший деньги, соображавший, когда он может приехать в Киев. Этот человек в *тот самый* день, если не ел, то пил, условился с хозяином гостиницы о доставке вещей в почтовую контору, заплатил носильщику, оставил свой киевский адрес. Другой человек еще был каким-то подобием тичиановского Неизвестного, — именно только подобием: с этой «плоскостью» Лейден лишь соприкоснулся, выпив много, очень много вина, — скользнула мысль, что Неизвестный, быть может, отравил несколько жен и уж во всяком случае к естественной смерти жены отнесся бы совершенно равнодушно; но эта мысль у него именно лишь *скользнула*, — хотя самое воспоминание о ней, о том, что она *могла* скользнуть, было для Константина Платоновича мучительным до конца его дней. И, наконец, была еще какая-то третья плоскость, где не было ни Ба-Шара, ни Би-Шара, где как будто был просто сходящий с ума человек. Он заходил во Флоренции в магазин оружия, — учтивый приказчик со вздохом, с неодобрительным отзывом о властях сказал, что, ввиду тревожных событий, продажа пистолетов временно запрещена. «Ввиду тревожных событий», — пробормотал Лейден и зашел еще в аптеку, стараясь вспомнить

<sup>1</sup> Спуститься к мертвым более коротким путем.

названия ядов. Аптекарь угрюмо ответил, что такие вещества не продаются без предписания врача, и затем спросил, не хочет ли он выпить воды. Третий человек, несмотря на душевное расстройство, подумал, что есть нечто глупое, смешное, унижительное в тщетных поисках способа самоубийства, что *настоящий* просто поднялся бы на крышу вон того палаццо и бросился бы вниз головой; подумал также, что верно не покончил бы с собой, если б ему и продали пистолет или яд, что себя обманывать не только гадко, но и глупо, — Би-Шары хоть тем выгодно отличаются от Ба-Шаров, что *себя* не обманывают. «Зачем?.. Что я сделал уж такого постыдного?.. Всё условно, всё условно...» — бессмысленно повторял он и через час по дороге на почтовую станцию. Пошатываясь, дошел с чемоданчиком в руке, поднялся в дилижанс и повалился на мягкую скамейку, с облегчением подумав, что *делать* больше ничего не нужно и нельзя до самой Вены.

Венец всех развлекал. Вначале итальянцы еще немного его чуждались: он здесь представлял враждебную расу завоеватель. Однако он нисколько себя завоевателем не чувствовал и скоро покорила всех пассажиров своим благодушием, весельем и необыкновенной бодростью. Видимо, он не представлял себе, что может быть что бы то ни было тягостное в жизни или совершенно этому не верил. Еще часа через два кондуктор, опять протрубив, радостно сообщил, что они подъезжают к гостинице Белого Коня, известной своим прекрасным местоположением; там можно будет получить отличный обед. Это увеличило общее оживление. На остановке венец легко соскочил, несмотря на свое брюшко, галантно помог сойти дамам, — протягивал руку каждой и говорил: «So!.. Brav!.. Schön!..»<sup>1</sup>. Затем быстро проделал легкую гимнастику, радостно, как со старым знакомым, поздоровался с хозяином гостиницы, расспросил его об обеде, много ел, много пил, всё время болтал и всем восхищался. Чрезвычайно хвалил Италию, но был в восторге от того, что возвращается в Вену.

«Нельзя же не есть несколько дней. Так я не доеду», — сказал себе Лейден. И лишь только он проглотил первую ложку супа, почувствовал, что голоден, как зверь. Это показалось

---

<sup>1</sup> «Так!.. Смело!.. Прекрасно!..» (нем.).

ему позором. Константин Платонович съел еще два блюда, к сыру же и сладкому не прикоснулся. «Мелкая комедия! — думал он, — бифштекс можно, а пирожное нельзя! Комедия будет и дальше: черный костюм, черная повязка, это принято и необходимо. И непременно всё это нужно соблюдать год: 365 дней, а в високосный год 366, ни одним днем меньше, ни одним больше... А приеду в Киев, Лиля, Тятенька, другие будут старательно убеждать меня есть и пить для поддержания сил. Этим ведь всего легче выражать участие, доказывать заботливость, они даже будут делать вид, будто их горе похоже на мое!» Лицо у него дергалось, — он и не замечал, что это понемногу становится у него привычкой, как несколько лет назад стало привычкой горбиться. Константин Платонович подвинул было к себе еще не убранные лакеем блинчики с вареньем и отдернул руку: вспомнил, что именно это сладкое особенно любила Ольга Ивановна. «И она больше *никогда* не будет есть, больше *никогда* не будет путешествовать, останавливаться в гостиницах...» Он достал из кармана письмо Тятеньки и перечел его верно в десятый раз. Тятенька старался все смягчить: «Скончалась быстро и без мучений». Но Лейден знал, *как* умирают от холеры. Самые ужасные, отвратительные подробности не выходили у него из головы.

Он и впоследствии не мог разобраться в своем душевном состоянии тех дней. Никакой надобности в этом не было и позднее, но он нередко старался всё вспомнить. Называл себе (с другими никогда не говорил) свое состояние полной отчужденностью от мира. В самом деле было и это. Но порою ему казалось, что он именно тогда все в мире стал видеть по-настоящему, что несчастье никак не произвело на него *примиряющего* действия, которое оно будто бы всегда оказывает на людей. «Напротив, оно скорее меня ожесточило. А я и без того становился всё раздраженнее. Вот как скорпионы становятся ядовитее с годами... Мне казалось, будто вся моя предшествовавшая жизнь, все ее радости и особенно все огорчения были совершенными пустяками по сравнению с *этим*, что я никогда к пустякам больше не вернусь. А между тем я и тогда замечал пустяки и они даже раздражали меня еще больше, чем прежде». Во время завтрака хозяин предлагал туристам плоские дорожные бутылочки с коньяком, уверяя, что хорошего коньяку они



больше в дороге нигде до самой Вены не достанут. «Все во всём врут, вот и он», — думал Лейден. Венец сказал, что в таком случае надо захватить с собой побольше, и долго шутил с хозяином, расплачиваясь. «И у тебя умрет от холеры жена, или сам заболеешь, перестанешь отпускать *виць*», — почти с ненавистью думал Константин Платонович (впрочем, он и сам купил коньяк). В зал из кухни вошла странно одетая, молодая, хорошенькая девушка, верно дочь хозяина, остановилась в середине комнаты, глядя на гостей с улыбкой, и, когда установилась тишина, запела «Санга Лучиа». Эту песню часто пела Ольга Ивановна тоже по-итальянски, хотя итальянского языка не знала. Константин Платонович вдруг вспомнил, что уходил от ее пения в свою комнату. У него выступили слезы. Когда молодая итальянка, всё так же улыбаясь, подошла к нему, он положил на тарелочку золотой. Она взглянула на него изумленно, вспыхнула от радости и спросила, не прикажет ли синьор спеть что-либо еще. «Нет, не надо... Вы мне доставили большую радость», — сказал он и почувствовал жалость и нежность к этому молодому жизнерадостному существу, которое тоже умрет, как умерла Оля, как умрет он сам.

Дилижанс отходил через час. Пассажиры пошли погулять: хозяин хвалил какой-то Ausflug<sup>1</sup> с замечательным видом. Лейден сидел в пустом дилижансе, уставившись глазами в одну точку окна. «Я почти всю жизнь прожил в ожидании каких-то страшных, непоправимых несчастий... Правда, я имел в виду преимущественно то, что могло случиться со мной самим. Однако не только это. Да ведь и теперь случилось тоже со мною... Уж если я и прежде думал, что никогда в жизни счастлив не был, что мне сказать теперь! Разве я лгал и тогда? Я просто не понимал, как могут существовать если не жизнерадостные люди (тут ведь просто физиология), то философы с оптимистическим миропониманием, всё равно религиозным или нет. Быть может, загробная жизнь есть, но разве она мне заметит *эту* жизнь, этот воздух, эту весну, эту несчастную, проклятую и невообразимо прекрасную землю? (Теперь он на эту землю и не смотрел, хотя она тут была и на самом деле на редкость

---

<sup>1</sup> Прогулка (*нем.*).

прекрасна.) «Быть может, я там встречу с Олей, но разве это будет то же самое, та Оля? Что же мне осталось? Ничего и всё: оттяжка смерти... И я ведь *знал*, что мне ни пистолета, ни яда не продадут. Был как в бреду, но *знал*, каким-то уголком мозга знал. И теперь ищу себе теоретических оправданий. Кто хочет покончить с собой, тот кончает без всяких теорий... Да, мне известно, что об этом за тысячелетия было сказано. Я изучил *литературу вопроса*, как изучил ее о платанах!.. Греки и римляне одобряли такую смерть, по крайней мере в некоторых случаях. В средние же века тела самоубийц вешали за ноги и подвергали глумлению. За что? Почему? Потому, что людям надо было считать это преступлением в их собственных интересах. Шекспир в знаменитейшем из монологов в сущности защищал самоубийство, но и он придумал для Гамлета — и для себя — лазейку: «Быть может, видеть сны?» Возненавидел жизнь, однако опасался каких-то снов! Видел ее злую правду — и опасался чепухи видений. Руссо называл самоубийство постыдной кражей у человеческого рода... Мне, например, жить не к чему и незачем, но я не смею украсть у человеческого рода такое сокровище, как я. Сокровище уже потому, что я теперь могу философствовать, испрашивать разрешения у Руссо и Шекспира... Что ж, действительно я *теперь* и не *мог бы* покончить с собой: это значило бы бросить Лилю, даже не повидав ее. Я обязан переделать завещание, всё оставить ей, найти опекуна. Тятенька, конечно? Но он стар, ему жить недолго. Я *обязан* побывать на могиле Оли... Да, вот и я нашел себе лазейку И хорошо, что об этих моих чувствах никто не узнает, как и об аптеке, это было бы похоже на глупую шутку. Люди сказали бы: «Либо кончай с собой, либо оставь нас в покое...»

Опять, как по дороге из Киева в Константинополь, он стал думать, *как* узнала бы Лиля об его смерти, как установили бы его личность, как и кому сообщили бы. «Становится как будто дорожной привычкой!..» Думал о тициановском Неизвестном, и в путаных противоречивых мыслях тот у него смешивался со страшным дервишем, замаливавшим пляской грехи. «У него грехи были не такие! А мой не в том, что я ей «изменил», это и изменой назвать нельзя. Но я любил ее недостаточно, недолюбил!.. Кроме нее, не любил никого... Что же теперь остается, что остается? Ничего. Ровно ничего! Доживать свой век в

Киеве. И может быть, «друзья» — я их терпеть не могу, а они этого не знают, — друзья еще будут говорить, что мне следовало бы жениться вторым браком. И сам Тятенька будет «незаметно» сводить меня с какой-нибудь Софьей Никандровной, а «друзьям» будет объяснять, что я ведь еще не старик, что мне нельзя жить без жены, — он скажет: «без дамочки» — и что сама Олечка его на это благословила бы, — «а то Костя совсем сошел бы с ума...» Да и вправду, если бы его письмо пришло днем раньше, то та, проклятая, отложила бы свой отъезд в Париж, и *обсуждала бы со мной известие и говорила бы*: «Что ж, это ничаво», и старалась бы меня утешить, а про себя думала бы, что можно было бы меня на себе женить, да еще стоит ли? А я думал бы, что надо ее задушить своими руками, но не задушил бы. И это только *настоящих* Би-Шаров, графов Герардо делла Герардеска *так* любят Монны Бианкины. Но Олечка и была донна Бианкина, и сон был «вещий», и я должен встретиться, *нельзя* не встретиться с ней снова! *Нет* рая, и очень, очень скоро сгорит, навсегда сгорит прут, и по-своему, по-непредвиденному, метнутся кости в руках Случая, и вдруг послышатся бегущие шаги... Да, мир вертится между любовью, скукой и сумасшествием...»

Пассажиры собирались, хозяин, лакеи, певица вышли их проводить. Веселый кондуктор вскочил на козлы, что-то радостно прокричал, дилижанс тронулся. Венец угощал соседей коньяком из стаканчика, всякий раз тщательно вытирая его салфеточкой. Лейден пил прямо из горлышка своей бутылочки. Соседи деликатно старались на него не смотреть. Быть может, венец признал его сумасшедшим, — если вообще, по своей жизнерадостности, верил в существование сумасшедших. Люди *смели* разговаривать, и это действовало на Константина Платоновича так, как верно действует на погруженного в музыку пианиста кашлянье и чиханье в зале.

На ночь они остановились в другой гостинице, которая очень походила на первую, да и называлась тоже как-то так, под якобы поэтическую старину. Гостиница была переполнена, и пассажиров размещали по два, по три человека в комнате. Лейден за двойную плату добился того, что его поместили на диване в крошечной гостиной, — быть может, и другие пас-

сажиры не очень желали остаться наедине с этим странным человеком. Он лег на диван, не раздеваясь, только снял сапоги, расстегнул воротник и тотчас, не погасив длинной восковой свечи, задремал. Снилось ему что-то бессвязное, вздорное, даже незапоминаемое. Повторялось непонятное слово «румалетие». За этой *степенью* сна наступила вторая *степень*, начальная степень пробуждения, — еще казалось, что снившееся слово имеет какой-то смысл, надо только понять, в чем дело. Затем он проснулся совершенно: «Какое «румалетие?»»

Лейден почувствовал, что больше не заснет. Вспомнил о коньяке, встал, достал бутылочку и допил всё до дна. В несесере лежала книга, недавно купленная им во Флоренции, — неизвестного философа Артура Шопенгауэра. Он купил эту книгу вместе с разными хрониками и новеллами, потому что она его заинтересовала странным названием «Мир как воля и представление», а в оглавлении была глава «О смерти»: «Ueber den Tod», — всё, касающееся смерти, он всегда приобретал и читал. В немецком тексте ему бросилась в глаза отпечатанная другим шрифтом цитата на французском языке: «Je ne sais pas ce que c'est, que la vie éternelle, mais celle-ci est une mauvaise plaisanterie»<sup>1</sup>. «Да, да, вот это так!» — подумал он и стал читать.

Никогда, ни одна книга на него не производила такого впечатления. «Где же до него Платону? По сравнению с этим, «Федон» детская болтовня! Кто это? Как я никогда о нем не слышал?» Иногда он откладывал книгу, опять думал о том, как умирала Оля, плакал и, с облегчением от слез, возвращался к книге: «Wie?» wird man sagen, «das Beharren des blossen Staubes, der rohen Materie, sollte als eine Fortdauer ursorers Wesens angesehen werden?» — Oho! Kennt ihr denn diesen Staub? Wisst ihr, was er ist und was er vermag? Lernt ihn kennen, ehe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jetzt als Staub und Asche daliegt, wird bald, im Wasser aufgelost, als Krystall ausschiessen, wird als Metall glanzen, wird dann elektrische Funken sprühen, wird mittelst ihrer galvanischen Spannung eine Kraft aussern, welche die fastesten Verbindungen zersetzend, Erden zu Metallen reduziert; ja, sie wird von selbst sich zu Pflanze und Thier gestalten und aus ihrem geheimnissvollen Schoss jenes Leben entwickeln,

<sup>1</sup> «Не знаю, что такое вечная жизнь, но эта — дурная шутка» (фр.).

von dessen Verlust ihr in eurer Beschränktheit so ängstlich besorgt seid. Ist nun, als eine solche Materie fortzudauren, so ganz und gar nichts»<sup>1</sup>

«Нет, для меня такое ее бессмертие именно ganz und gar nichts! Правда, он видит в этом только сравнение, тень». Лейден понимал, что и в чистолитературном отношении эта почти непереводаемая страница необыкновенно хороша. «Но что мне в кристаллах и гальванических токах! Этот человек открещивается от материализма, а ведь тут всё-таки материалистический взгляд, он и сам прекрасно это понимает. Очевидно, он ничего, ни одного довода не хочет оставить неиспользованным. Однако если в нас вечно низшее, грубое, материя, то как можно утверждать, что исчезнет, бесследно исчезнет *высшее!* В основе его рассуждения лежит то, что каждый человек — печальная ошибка природы, «ein specieller Irrtum, Fehltritt, etwas, das besser nicht wäre»<sup>2</sup>. Я теперь с этим согласен, но какое же тут утешение, что бы он ни говорил? Так, так, по общему мнению, со смертью исчезаю я, а мир остается; в действительности же мир исчезает, а остается мое внутреннее зерно. Где же гарантия? Спинозовское «Sentimus nos aeternos esse»<sup>3</sup>? А вот что же мне делать, если у меня этого чувства нет? Бессмертие, — сказал себе Константин Платонович, — может быть только у каждого свое: у меня одно, у этого венца другое, у той дамы третье. Надо найти какой-то *свой* выход. Этот философ *мне* его дать не может. Он гениальный человек, но через его мысли надо

---

<sup>1</sup> «Спросят: как можно рассматривать упорство простой пыли, грубой материи как продолжение нашего бытия? — Ого! Знаете ли вы эту пыль? Знаете ли вы, что это такое и что она может? Сначала познайте ее, прежде чем презирать. Эта материя, которая лежит сейчас перед вами как пыль и пепел, если ее растворить в воде, то вскоре обернется кристаллом, будет сверкать как металл и испускать электрические искры, будет, посредством гальванического напряжения, проявлять силу, которая, разлагая простейшие соединения, превратит землю в металлы; да, она сама обернется растением и животным и ее таинственное лоно породит ту жизнь, потери которой вы в ограниченности вашей так страшитесь. Так что же — продлить существование такой материи — это совершенно ничего не значит?» (пер. с нем. С.М.Гуревича).

<sup>2</sup> «Ошибка, ложный шаг, нечто, чего лучше не было бы» (нем.).

<sup>3</sup> «Ощущаем себя бессмертными» (лат.).

пройти, чтобы прийти к своим. Что ж, я пережил свою мать, пережил друзей молодости, я даже никогда больше о них не думаю. Правда, что́ они все вместе в сравнении с женой! И как же я могу теперь создавать для себя какую-то новую жизнь. прикидываясь, будто делаю это для Лили?»

В последний раз веселый кондуктор протрубил перед конечной остановкой. Он вручил дорожную пожилому австрийскому чиновнику с черно-желтым шнурком и с медалью, шутил, стаскивал вещи, болтал с носильщиками и извозчиками. Пассажиры проверяли чемоданы, потягивались, прощались, выражали надежду снова когда-нибудь встретиться. Кондуктор получил с них на чай и на прощанье посоветовал поменьше гулять по главным улицам.

— Почему? Почему? — спрашивали его.

Кондуктор приложил палец ко рту.

— Революция! — весело сказал он. — Говорят, сегодня уберут старого князя!

— Меттерниха? Да быть не может.

— Blodsinn! Was fällt ihm ein!<sup>1</sup> — сказал венец, изумленно подняв брови. — У нас в Вене никогда ничего не происходит. Какая там революция!

— Вероятно, вздор! Князь здесь диктатор тридцать с лишним лет, он никогда не уйдет, — сказал пассажир-швейцарец. Кондуктор лукаво усмехнулся и убежал.

«Какая еще революция?» — спросил себя Лейден. Он и забыл о революции во Франции. В самом деле около станции дилижансов происходило что-то необычное. Пробегавший по улице человек вдруг по-французски запел «Марсельезу»; впрочем, тотчас осекся, так как на него все изумленно глядели. Константин Платонович вошел в контору. Чиновник с медалью на его вопрос о билете в Львов угрюмо ответил, что дилижанс уходит в *Лемберг* через четыре часа и что мест сколько угодно.

— Никто не хочет ехать, сегодня пять человек вернули билеты... Если его светлость уйдет, то, вероятно, будут грабить на дорогах.

Лейден купил билет, сдал чемоданы на хранение и пошел туда, куда шли все. Люди шли в направлении на Балльплатц

<sup>1</sup> Чепуха! Что ему пришло в голову! (нем.).

степенно, с мирным, благодушным видом. На площади перед каким-то дворцом собралась большая толпа, не сплошная, а странно разбившаяся на участки, точно тут происходило несколько самостоятельных манифестаций. У ворот стояло человек десять солдат, но и у них вид был миролюбивый; они ни в кого стрелять как будто не собирались. Почти у ворот дворца молодой человек, вероятно студент, быть может кандидат в Ламартины или Дантоны, взобрался на плечи товарищей и, работая для равновесия руками, как акробат на канате, говорил речь по-немецки: «Да здравствует император!.. Да здравствует императорский двор!.. Долой князя Меттерниха!.. Надо понять дух времени!» — кричал он. Товарищи его поддерживали и тоже что-то весело кричали. На другом участке площади чех говорил по-чешски, на третьем кто-то говорил еще на каком-то языке. «Вавилонская башня или просто водевиль?» — подумал устало Лейден, входя в кофейную. Там тоже все кричали и спорили.

Все столики были заняты, люди пили пиво, шоколад, кофе со сливками, не очень засиживались и снова выходили на площадь восстания. Их места занимали другие. Когда Константин Платонович выходил, солдаты вытянулись и отдали честь. Из дворца вышел раззолоченный старичок. По портретам Лейден узнал князя Меттерниха. Ораторы замолчали, толпа расступилась. Князь, неодобрительно и укоризненно поглядывая на манифестантов, прошел на другую сторону площади. Тотчас пронесся слух, что император вызвал канцлера для принятия его отставки. Толпа разразилась рукоплесканьями, веселье еще увеличилось. «Вот он, диктатор!» — подумал Константин Платонович, представляя себе дряхлое, слабое, безобразное тело этого еле живого, вероятно, больного десятками болезней старичка и других таких же стариков и старух, правивших миром, плохо им правивших. «И так же хороши те, кто идут им на смену, и так же хорош я сам...»

Он вернулся в почтовую контору и сел у стены. Приходившие люди радостно рассказывали, что всё кончено: его светлость *пал* и дай Бог, чтобы ему *удалось* спастись живым. Он, говорят, сегодня же убежит, а то его могут разорвать на части. Где-то уже *пролилась кровь*: два человека ранены. Но революция сделана с согласия императорской семьи.

«Как им не стыдно заниматься пустяками? — думал Лейден. — Что все эти революции и конституции по сравнению со смертью! Раззолоченный старичок скоро умрет, да и вам всем жить недолго. Ну, будет у вас конституция, пока ее не отнимет какой-нибудь другой раззолоченный человек, такой же маленький, слабенький, ничтожный, как этот. А дальше что? Быть может, и Неизвестный принимал участие в таких же или похожих делах, всё равно с какой стороны. Он наверное старался нагреть при этом свои окровавленные руки или заколоть какого-нибудь личного врага. Вы же верно думаете: «Надо создать хорошие учреждения, а тогда и люди станут лучше». Это ложь. Уж скорее верно обратное, да и то нет: никогда люди лучше не станут. В каждом из вас, как и во мне, сидит воюющий или пляшущий дервиш, только у вас *центр*, бессмертие, Бога отняло ваше так называемое просвещенье. Нет у вас того, вокруг чего стоило бы плясать. Ну, что ж, войте и пляшите, мне всё равно. И я кое-как выл и плясал, хоть по-иному: «строил культурную жизнь», сажал платаны, этакий идиот!.. Да и так ли уж вам нужна конституция? Хочется, конечно, но если б вам, каждому потихоньку, наедине, предложить десять тысяч флоринов, чтобы конституцию, скажем, отложили и чтобы про вас никто, решительно никто не узнал, то очень ли многие из вас за нее голосовали бы? А другие, «идеалисты»? Они думают, что уж при свободном-то строе настоящий идеалист может стать министром, канцлером, президентом. Между тем при каком угодно строе для получения таких должностей надо пройти через столько честных, то есть не ведущих в тюрьму интриг, надо так честно себя подталкивать, так честно подсидывать соперников, что у искреннего человека и следов идеализма не останется. Нет, Бог с вами... Что ж мне делать? Чем заполнить жизнь? Вернусь домой и, как почти все старики, буду придумывать что-либо такое для придания какого-нибудь смысла своей прошлой жизни. И верно ничего не найду. А там, быть может, сам заболею холерой, которой ваша культура не предусмотрела. Вместо моих — и ваших — «платанов» будут грязь, корчи, муки...»

Дилижанс подъехал только часа через три. Приходили еще пассажиры, напуганные грозными событиями. У всех были куль-



ки с бутербродами, бутылки, картонные коробки с пирожными. Мрачный чиновник с медалью проверил билеты и очень строго сказал даме с пуделем, что собаки допускаются только на империал. Вид его ясно показывал, что, несмотря на революцию и на отставку его светлости, законы остаются в силе и он не позволит их нарушать. Дама протестовала, затем взволнованно объявила, что в таком случае и она поднимется наверх. Это законами разрешалось. Мужчины помогли ей подняться по лестенке и выражали возмущение действиями бюрократии.

Дилижанс выехал из революционного города.

### III

Connaître, découvrir, communiquer, telle est la destinée d'un savant<sup>1</sup>.

*Arago*

Заседание Временного правительства закончилось к вечеру. Оно было особенно тягостным. Накануне произошли беспорядки во Дворце Инвалидов. Жившие там старые солдаты жаловались на скудный корм, на дурное содержание. После установления республики все устраивали манифестации; хотели устроить манифестацию и они. Этому, по соображениям военной дисциплины, воспротивился комендант дворца, престарелый генерал Пети, заслуженный наполеоновский воин, тот самый, которого в день отречения император обнял в Фонтенебло, прощаясь в его лице со всей армией. К общему изумлению, оказалось, что инвалиды ненавидят своего начальника, пользовавшегося в стране огромной популярностью. Когда генерал вырвал у собравшихся манифестантов знамя, инвалиды схватили его и насильно отвезли в штаб Национальной гвардии. Крови пролито не было, но скандал вышел очень большой.

Было ясно, что если солдаты совершают насилие над генералом, то армии приходит конец. Все министры, даже самые левые, понимали, что следовало бы, во избежание развала, подвергнуть дисциплинарным карам виновников или, по край-

<sup>1</sup> Познать, открывать, сообщать — такова судьба ученого.

ней мере, зачинщиков дела. Однако столь же ясно было и то, что не очень годится в революционное время возбуждать солдат против новой власти. На сторону инвалидов могли перейти и Национальная гвардия, и парижский гарнизон. Временное правительство с первых дней старалось задобрить армию, министры осыпали ее похвалами, иначе как «доблестной» ее не называли; ругали (да и то не очень сильно) лишь наиболее реакционных маршалов старого строя. Предполагалось, что вся армия всегда была душой с революционным народом. Но в душе члены Временного правительства в этом не были уверены: может, была, а может, и не была, — при короле она этого особенно не проявляла. Между тем войска теперь были единственной опорой порядка. Правда, старые полицейские заявляли, что они тоже всегда всей душой любили революционный народ. Но это была любовь без взаимности: революционный народ, да и народ вообще, как во всём мире, полицию терпеть не мог.

Споры в коалиционном правительстве были ожесточенные. Высказались все министры. Правые больше налегали на возможность развала армии и на необходимость дисциплинарных кар. Левые преимущественно подчеркивали, что инвалидов кормили очень плохо и что нельзя раздражать солдат. Решено было образовать две комиссии: одну, состоявшую только из военных во главе с маршалом Молитором, для расследования беспорядков и для наказания виновных; другую, смешанную, для рассмотрения тех условий, в которых живут инвалиды, и для улучшения этих условий. Официальное сообщение об этом было поручено составить морскому министру Франсуа Араго, временно исполнявшему и обязанности военного министра.

Во Временном правительстве было несколько очень даровитых людей. Но никто из них по славе, по авторитету, по заслугам не мог сравниться с этим человеком. Франсуа Араго был одинаково знаменит как политический деятель и как ученый. Он не был главой республиканской партии, но был ее украшением. Таких людей обычно щадят даже враги; по крайней мере, их поливают грязью не так часто, как настоящих партийных вождей. В отличие от Ламартина и многих других министров, Араго был республиканцем всегда, еще с юношеских лет. Его чрезвычайно уважали все люди, с которыми он

встречался. Уважал его даже Наполеон. После Ватерлоо император, собираясь бежать в Америку, говорил, как ему было бы приятно, если б Араго стал его товарищем по изгнанию и работе; впрочем, трудно было понять, что у них общего и какую работу они могли бы делать вместе.

Ученая карьера Араго прошла с редким блеском. Он работал в областях астрономии, математики, физики. Двадцати трех лет от роду он стал членом Академии наук, позднее — ее постоянным секретарем. Стоял во главе Парижской обсерватории, считавшейся тогда первой в мире, был почетным доктором многих иностранных университетов, членом главных европейских академий и ученых обществ, знал решительно всё, считался едва ли не первым ученым своего времени. Быть может, только Фарадей превосходил его славой. Они были друзьями, оба не знали зависти, оба, каждый по-своему, были светские святые. Тем не менее Фарадей был некоторой загадкой для Араго: он просто не мог понять, каким образом этот самоучка, бывший переплетчик, ни в каких школах не учившийся, ничего, кроме своей науки, не знавший, не знавший даже высшей математики, мог сделать столько поразительных открытий. Разговаривать с ним о чем бы то ни было, кроме физики и химии, едва ли стоило. Фарадей, добрейший и бескорыстнейший из людей, принадлежал к какой-то маленькой протонародной секте, верил каждому слову ее учения, говорил преимущественно о ней, о погоде, о королеве Виктории, которую, по-видимому, считал небесным явлением, хотя по скромности упорно отказывался от предлагавшихся ему наград и титулов. Он необычайно восхищался всеми учеными и их открытиями, совершенно не шедшими в сравнение с его собственными. С благодарностью и с любовью вспоминал и сэра Гемфри Дэви: этот большой ученый когда-то оценил юного переплетчика и принял его на службу в лабораторию: Фарадей исполнял при нем обязанности частью лаборанта, частью лакея. Позднее Дэви, завидуя его гениальности, стал относиться к нему враждебно; он же благоговел перед памятью своего учителя. Араго, сам превосходный экспериментатор, видел Фарадея за работой в лаборатории и испытывал такое чувство, точно присутствует при чуде. Фарадей работал по-простому — почти как в молодости переплетал книги; застенчиво и грустно

говорил, что математики не знает, — так жаль, не было возможности научиться, — и добивался головокружительных результатов. Казалось, он непонятным чутьем видел материю насквозь. Это было и торжеством разума, и в каком-то смысле насмешкой над ним. В лабораторию Фарадея кроме ученых со всех концов земли приезжали министры и лорды посмотреть на национальную гордость. Он радостно-благодушно принимал их, но еще больше бывал рад переплетчикам и сапожникам, в обществе которых часто проводил вечера.

Во Временное правительство Араго просто не мог бы не попасть: таковы были его положение, репутация и популярность. В парламенте он пользовался огромным авторитетом, неизменно избирался в важнейшие комиссии, делал ответственные доклады, во всё вносил свои качества ума, честности, беспристрастия и трудоспособности. Эти же качества тотчас проявил и на должности военного и морского министра после революции. Араго был компетентен и в военных делах, которыми по необходимости занимался в парламенте в пору монархии. Если же как министр признавал себя в чем-либо недостаточно осведомленным, то расспрашивал специалистов, сопоставлял взгляды и советы, думал над ними и принимал решение, казавшееся ему наиболее разумным и логичным.

Разум и логика были в течение всей его жизни единственной верой Араго. Религия мало его интересовала. Искусству он был чужд. И революцию, и республику он хотел было принять как торжество логики и разума. Тотчас согласился войти в правительство и лишь, в отличие от других министров, — вероятно к их неудовольствию и недоумению, — отказался от жалованья. Никакого состояния у него не было; после него ничего не осталось. Но, со свойственной ему твердостью, он заявил, что ему достаточно тех одиннадцати тысяч франков в год, которые он получал по своей ученой должности.

Работа Временного правительства не оказалась торжеством разума и логики. На заседаниях научных обществ работа шла совершенно иначе. Там люди знали то, о чем спорили, и говорили дельно даже тогда, когда ошибались. Кроме того, там все было относительно корректно, не орали, не стучали кулаками по столу. И, наконец, там все думали честно. Министры Временного правительства тоже были честными людьми; тем не менее

Араго ясно видел, что многие из его товарищей иногда, сознательно или бессознательно, приносят правду и логику в жертву интересам либо мощных финансовых организаций, либо влиятельных групп избирателей; некоторые из этих групп теперь назывались пролетарскими и после введения всеобщего избирательного права стали тоже могущественными.

Как всегда, Араго работал целый день и значительную часть ночи, несмотря на очень дурное состояние здоровья. После революции он больше не читал своего ежегодного курса астрономии. Этот курс он всегда читал, не прибегая к математике, и потому называл «популярным», хотя его друг Александр Гумбольдт и умолял его не произносить слов «*Astronomie populaire*». Большая аудитория наполнялась людьми за час до открытия дверей; места брались с бою, в Обсерваторию приезжали нарядные дамы с карандашами и с тетрадками, бешено аплодировали при его появлении, затем что-то записывали. Вопреки своему желанию, он стал одним из тех модных лекторов, какие всегда бывали и бывают в Париже то по одной, то по другой науке. Отдельные лекции Араго изредка читал и теперь, а все свободные часы проводил в Обсерватории.

В Обсерваторию он отправился и после окончания заседания правительства. Это заседание особенно его расстроило ожесточенностью спора, пустословием, тем, что десять человек сочли нужным поговорить и высказали десять разных суждений. Но хуже всего было происшествие, которое послужило предметом спора. «Очевидно, этим несчастным инвалидам после революции живется ничем не лучше, чем до нее, а может даже, и хуже, — думал он в экипаже. — А следовательно, бесполезно требовать, чтобы они были в восторге от только что завоеванной полной политической свободы. Да, у всех этих обездоленных людей теперь есть избирательное право. Но сами они едва ли будут избраны в парламент. Мы думаем, что им политическая свобода нужна точно в такой же мере, как нам. Она им действительно нужна, однако не в такой же мере. По-настоящему им нужна человеческая жизнь, та самая, что всегда была у нас; им нужны сытная еда, сносные квартиры, менее тяжелый, более привлекательный труд, развлечения, — именно то, чего революция почти никогда не дает, — может дать лишь десятилетиями позднее. Парижский простолудин теперь живет

хуже, чем при Людовике-Филиппе. Его труд остался прежним и плата осталась прежняя, а жизнь дорожает с каждым днем. Однако мы даем ему лишь Национальные мастерские с обеспеченным трудом, столь же тяжелым и безотрадным, столь же худо оплачиваемым, как труд на частных заводах. Да и то консерваторы говорят об этих Национальных мастерских с ужасом! Они хотят спасти наш строй дисциплиной и строгостью. А это все равно, что лечить от чахотки диетой. Конечно, в общем счете исторического прогресса мы гораздо более правы, чем реставраторы. Но нашим преувеличенным восторгом после февральских дней мы *лгали*, вводили в заблуждение этих людей, обещали скоро дать им то, чего не увидят и их дети, и не увидят по нашей вине. В этом и есть главная драма революции. Они начинают думать, что мы их обманули. В революциях, в восстаниях, в переворотах вообще толку мало. Они становятся необходимыми лишь в случае слепоты правителей. Несчастье именно в том, что правители слишком часто слепые от рождения или тотчас ими становятся, приходя к власти. Людовик-Филипп *мог* предотвратить революцию, наше Временное правительство еще *может* предотвратить свое падение. И весь наш строй обречен на гибель, если проникательными людьми твердой воли не будут произведены смелые, глубокие реформы, которые дадут возможность жить человеческой жизнью всем, а не только немногим. Я не вижу этих проникательных людей твердой воли... Жаль, очень жаль. Все-таки свобода высшая из наших ценностей, я ее не променяю ни на что другое.

Вдали показались светлые купола Обсерватории. Их вид всегда его успокаивал. Выходя из кареты, он оступился и вдруг почувствовал себя очень худо. Это случалось с ним все чаще: иногда он останавливался на улице и садился на тумбу, на выступ стены, на ограду садика. Врачи считали его тяжело больным человеком: ему в самом деле оставалось жить недолго. Он лечился, но в меру; при всей своей непоколебимой вере в науку, к врачам относился благодушно-иронически.

Старый привратник почтительно отворил дверь и поклонился. Он смущенно сказал: «Bonsoir. Tout va bien?»<sup>1</sup> — и вошел во

<sup>1</sup> «Добрый вечер. Все в порядке?» (фр.)

двор. Ему было совестно перед стариком, — все-таки бросил Обсерваторию, — несколько совестно и за свое правительственное величие, за полагавшийся министру экипаж, за прекрасных лошадей. Прежде у него никакого экипажа не было; впрочем, он и теперь часто пользовался omnibusом и никак не с тем, чтобы удивить этим людей. Был демократ по природе, особенно в бытовом отношении.

Он прошел по слабо освещенному фонарями двору, стараясь скрыть, что чувствует себя плохо. Но в кабинете тотчас тяжело опустился в кресло. До лекции еще оставалось много времени. План ее у него был готов, говорил он всегда гладко, хорошо и просто. Сам шутливо объяснял, что, войдя в аудиторию, прежде всего выбирает в публике человека с наименее умным лицом и затем не сводит с него глаз: если этот понимает, то, вероятно, понимают и все другие (одному из выбранных им слушателей такое внимание чрезвычайно польстило. И он написал Араго благодарственное письмо).

В этот вечер он читал лекцию о кометах. С ними у него была связана некоторая личная неприятность. Не очень давно в небе появилась комета, занесенная им в каталог под номером 164. Ее появления никто не ждал. Этому могли удивляться только люди, не знавшие, что точно расчислены всего лишь четыре кометы во Вселенной. Но, по странной случайности, вышло так, что впервые эту комету заметили в небе не ученые при посредстве телескопов, а простым глазом простые люди, — чуть только, в их числе, не какие-то ночные гуляки: астрономы всех обсерваторий мира ее пропустили. Разумеется, это подало повод для насмешек в газетах. Посмеивались и над Араго, — оттого ли, что он был известнее других, или же потому, что у него все-таки были политические враги: они его не травили, но при случае посмеяться над знаменитым человеком, принадлежавшим к враждебной группе, доставляло некоторое удовольствие. На самом деле он ни в чем виноват не был: при первом появлении кометы небо в Париже было совершенно закрыто тучами, и наблюдения были невозможны. Однако не заметили кометы № 164 и другие знаменитые астрономы. Бессель в Кенигсберге, Струве в Пулкове, Эйри в Гринвиче. Все они были несколько сконфужены этим странным происшествием.

Араго привык к тому, что о кометах ему задавали нелепые вопросы. Иногда люди его спрашивали, что может предвещать комета № 164. Ведь комета 1811 года появилась на небе как раз перед великой франко-русской войной. Комета Галлея при своем первом появлении вызвала общую панику: турки завоюют христианский мир. Еще какая-то комета возвестила близкую смерть Галеаццо Висконти. Когда Араго бывал в хорошем настроении, он с улыбкой отвечал, что войны при Наполеоне бывали и без комет, что Византия была занята турками до появления кометы Галлея, что Галеаццо Висконти умер скорее всего от страха, вызванного кометой, и что вряд ли все-таки небесные тела опускаются и до возвещения незначительных событий в не очень больших городах Италии. Когда же он бывал настроен дурно, то пожимал плечами, раздраженно говорил, что он не астролог и ерундой не занимается, и советовал спрашивавшему пойти к гадалке. Но, случилось, кто-то на лекции спросил его: если эта комета появилась в совершенно неожиданное время в совершенно неожиданном месте и если ее путь в прошлом и будущем неизвестен, то какова гарантия в том, что она не столкнется с Землей и не вызовет гибели всего человечества?

Этот вопрос застал его врасплох. В самом деле ничего невозможного в таком событии не было. Он применил к вопросу теорию вероятности. Вышло, что у Земли было 280.999.999 шансов из 281.000.000 избежать столкновения с кометой. При новой встрече с недоверчивым слушателем Араго сообщил ему результат и добавил: «Любой разумный человек, как бы он ни был привязан к жизни, не станет волноваться из-за столь ничтожной вероятности гибели». — «Да, но все-таки остается печальный 281.000.000-й случай», — ответил слушатель-пессимист.

Почему-то этот разговор ему вспомнился и теперь. Он подумал, что для него, при его тяжелой неизлечимой болезни, вероятность очень близкой смерти неизмеримо больше. «Хорошо было бы умереть без долгих страданий. Это возможно. А нет, так что же делать?»

До начала лекции еще можно было поработать. Немало людей уверяло, что они считают «вычеркнутыми из жизни» часы, проведенные без дела (только самые искренние, Руссо, Толстой, порою говорили, что истинное счастье находили в



праздности). Но Араго действительно праздности совершенно не выносил. Следовало ответить на несколько писем. Как для большинства знаменитых людей, письма для него были настоящим бедствием.

Написав письма, он отворил окно. Вечер был изумительный, — серебристая громада Млечного Пути как будто требовала наблюдения. Струве только что прислал ему свою новую книгу «Etudes d'astronomie stellaire»<sup>1</sup>. Русский ученый высказывал очень интересные мысли о гипотезе Гершеля. «Да, лучше было бы смотреть на это, чем слушать весь их вздор», — подумал он, разумея заседание Временного правительства.

Араго засветил фонарь и прошел в залу большого телескопа. Лучшие часы своей жизни он проводил в этой зале. Знал в ней каждый уголок, на ощупь в темноте находил любой рычаг. Так и теперь привычными движениями привел в движение то, что следовало, поставил фонарь на пол у вращающейся кушетки под телескопом, придал ей нужное положение, затем снял сюртук и лег. При этом опять почувствовал сильную боль и опять сказал себе, что не надо обращать внимания. «Все это неважно!.. А если сейчас и умру на этой кушетке, наблюдая небо, то что же может быть лучше и почетнее такой смерти?..»

Он медленно повел телескоп вдоль созвездий. «Кассиопея... Персей... Возничий... Близнецы... Телец... Орион... Носорог... Большой Пёс... Корабль Арго... Центавр... Южный Крест...» На Южном Кресте особенно хорошо был виден темный провал, называвшийся Угольным мешком Гершеля. Безошибочная память Араго подсказывала ему чудовищные, непостижимые, недоступные и воображению цифры. «17.206.400.000.000.000 миль» (он еще иногда вел счет на мили). «А за этим провалом какие-то миры без звезд, уж совсем неведомые и непонятные... Да, в свете этого, «объективно», инцидент с генералом Пети и вся наша революция не имеют большого значения. Но какое дело до этой «объективности» живому человеку — и даже умирающему? Очень дешева и слишком удобна мудрость разных Екклесиастов. Идеи надо защищать и в большом, и в малом, отлично зная ничтожность дела». Действительно, несмотря на свою старость, он умел защищать свои идеи. В пору парижских барри-

---

<sup>1</sup> «Очерки звездной астрономии» (фр.).

кад химик Дюма писал о нем: «Поведение его в эти дни опасности было необыкновенно твердо и мужественно: Араго под градом пуль бросался на баррикады с такой решимостью, что очевидцы думали, будто он ищет смерти».

Он остановил телескоп и задумался над гипотезой Гершеля, не сводя глаз с Южного Креста и с черного провала. По его мнению, ничего не могло быть прекраснее и величественней этого зрелища. В Англии он когда-то видел картину Тинторетто: «Млечный Путь». Смотрел на нее с недоумением и с улыбкой. «Простоватый художник верно думал, что его Юнона, с выходящими из горла звездами, придаст этому поэзии!..» Араго не понимал и не чувствовал искусства. В его огромной библиотеке, проданной с аукциона после его смерти, оказалось только девятнадцать художественных произведений; и едва ли он читал эти книги Камюэнса, Боккаччо, Бенсерада: вероятно, они были поднесены ему в дар издателями. Музыка вызывала у него смутное беспокойство: она была точно вызовом разуму и логике. Но его взгляд естествоиспытателя замечал и в картинах то, чего рядовые наблюдатели не видели. Ему показалось, что и нарисованы у Тинторетто павлины, орел, руки Юноны не очень хорошо. А главное, было бессмысленным желание приукрасить Млечный Путь.

«Все они, конечно, лгали, очень поэтично и очень наивно, — думал он. — Ни на какой Корабль Арго никто после смерти не попадет и вообще больше ничего никогда не будет. Что же тут страшного? Ровно ничего. Я пожил достаточно, знал в жизни больше прекрасного, чем худого, сделал немало, увеличил то, что называется сокровищницей знания. Конечно, если б еще пожил, мог бы еще кое-что сделать, но я и так далеко перешел через среднюю продолжительность человеческой жизни. Вместо меня для науки будут работать другие, наука бессмертна. Они помянут меня добрым словом и не в одной Франции: я работал и для всего человечества. Делал это как мог и умел также в политике; и здесь работал на пользу людям. Были, конечно, ошибки, о них тяжело вспоминать, но ничего очень дурного я не сделал. Быть может, главная ошибка была в том, что я рассматривал человека хоть отчасти как логическую машину... Скоро похоронят, забудут не так скоро, да если б и забыли, то нет большой беды: я ничем не лучше тех, кого забудут на

следующий день. Никакой другой жизни не будет, и в этом тоже нет ничего особенно страшного. Боюсь смерти? Нисколько не боюсь, — совершенно искренне ответил себе он. — Не то чтобы надоела жизнь, уж наука-то нисколько не надоела, напротив, люблю ее все больше. Но я устал, пора отдохнуть. Это ведь, как сон. Правда, без пробуждения на следующий день. Однако, когда ложишься спать, разве очень думаешь о том, что завтра проснешься? Просто хочется спать». Он вернулся к гипотезе Гершеля и к соображениям Струве.

К девяти часам он обещал составить и послать в типографию правительственное сообщение о происшествии во Дворце Инвалидов. Он поднял фонарь, взглянул на часы, времени оставалось лишь минут двадцать. С усилием встал с кушетки — боль стала почти нестерпимой, — надел сюртук, опять повернул какие-то рычаги и вернулся в свой кабинет. Там он сел за стол, подумал и стал писать: «*Quelques invalides se sont livrés, dans la journée du 23, à des actes d'insubordination qui...*»<sup>1</sup>

Через четверть часа он отдал рассылному бумагу. Поднялся, опираясь на письменный стол, смочил голову одеколоном и принял пилюлю. Лекарство давало облегчение на час или полтора, этого было достаточно для лекции. Ровно в девять прошел в лекционный зал. Аудитория встретила его бурными, долгими рукоплесканиями. С тех пор, как он стал членом Временного правительства, его популярность еще возросла, чего он никак понять не мог. Араго поклонился, ожидая конца овации, затем стал рассматривать публику в поисках самого тупого слушателя.

Во втором ряду, с края, нервно оглядываясь по сторонам, сидел плохо одетый человек очень мрачного вида, знаменитый революционер, крайний из крайних, сын члена Конвента, Огюст Бланки. «Этот что тут делает?» — изумленно спросил себя Араго. Они не были знакомы, но знали друг друга в лицо. Араго относился очень враждебно к коммунистам, однако считал Бланки честным и искренним человеком. Вдобавок люди, интересующиеся астрономией, всегда пользовались некоторым его расположением. «Что ж, из моих коллег по правительству,

---

<sup>1</sup> «Побывали несколько инвалидов 23 числа по поводу действий, нарушающих субординацию...» (фр.)

верно, никто о кометах не имеет ни малейшего представления. А этот интересуется!.. Учись, голубчик, учись». Рукоплескания наконец прекратились. Араго чуть откашлялся. Боль стала слабеть, пилюля подействовала. «Прочту, сил хватит. Ненадолго, но хватит...»

— Mesdames, Messieurs, — сказал он. Здесь не полагалось говорить «citoyens».

#### IV

.....

#### [ V ]

Творцы мифов одно говорят напоказ,  
но в другом говорят правду.

*Антисфен*

Бланки приехал в Париж из ссылки в первые же революционные дни. Он лишь недавно был выпущен из тюрьмы и жил на Луаре под надзором полиции.

Ему тогда было 43 года, но на вид можно было ему дать шестьдесят. Это был невысокий, чуть сгорбленный, чрезвычайно худой, болезненного вида человек, с коротко остриженными полуседыми волосами, с недобрыми пронизательными серыми глазами. Впрочем, хорошего описания его внешнего облика не осталось в воспоминаниях современников, а плохие очень расходятся. Токвиль изобразил Бланки чудовищем и по наружности, — «одно воспоминание о нем всегда вызывало во мне отвращение и ужас». А кто-то из поздних друзей говорил о «неземной кротости» его лица. Так же расходились суждения современников об его моральном облике. Однако единомышленники и поклонники тоже чувствовали себя неуютно в обществе этого человека. Могли бы ему сказать ему, как Александр Кикин Петру: «Ум любит простор, а мне от тебя тесно».

Он выехал из Блуа в Париж, как только пришло известие о февральской революции. Никому из единомышленников не мог дать знать о своем приезде, да может быть, и не хотел. Бланки в каждом единомышленнике первым долгом подозревал тайного полицейского агента. Действительно, в течение всей его

жизни полиция, и королевская, и императорская, и республиканская, чрезвычайно им интересовалась и старалась приставить к нему своих людей. В ту пору такие агенты назывались почему-то *sosqueur*-ами<sup>1</sup>. Вероятно, Бланки допускал, что есть гнусные, последнего разряда люди среди ближайших его соратников. Но можно было использовать и их. Как Наполеон, он думал, что «в политике нельзя быть очень разборчивым: надо привлекать к себе и тех, кого всего меньше любишь и уважаешь: в хозяйстве всё может пригодиться».

Однако тотчас после своего приезда Бланки встретился с двумя поклонниками. Они чрезвычайно ему обрадовались, и он сразу насторожился: люди редко радовались встрече с ним. Предположил, что оба шпионы. В этом наполовину ошибся: шпионом был только один. Монархия только что пала, тем не менее новая полиция, то есть та же прежняя, королевская, чуть подчищенная и быстро пополнившаяся, пришла к мысли, что и при республиканском строе не мешает иметь своего осведомителя при таком человеке, как Бланки. Оба поклонника спрашивали, где он остановился. Он им своего адреса не дал. Позднее они предложили вместе пообедать, — он и от этого уклонился, сославшись на то, что не имеет денег. Действительно, у него в кармане было только полтора франка: их, по его смете, должно было хватить на несколько дней. Бланки всю жизнь, на свободе и в тюрьме, питался преимущественно овощами и хлебом. Это не мешало соратникам говорить, что овощи — для отвода глаз, а на самом деле он питается как *тонкий* гастроном, — «как Брилья Саварен», — весело утверждал Прудон.

Все же он расспросил поклонников и узнал, что революционеры собираются вечером на митинг в танцевальном зале Прадо. Обещал прийти туда и сказать речь о том, что нужно делать в начавшейся революции людям коммунистического образа мыслей. Древнее слово «коммунизм», так часто менявшее содержание, в сороковых годах было в большой моде. Его употребляли и сторонники, и враги. Прудон уверял, что во Франции есть до двухсот тысяч коммунистов. Бланки думал, что их не наберется и тысячи.

---

<sup>1</sup> Петушками (фр.).

Это был один из самых замечательных революционеров в истории, — вероятно, самый замечательный революционер XIX века. Общие места о нем часто ложны или чрезвычайно преувеличены. На дурном политическом жаргоне разных стран не раз говорилось, будто он был «вспышкопускатель» и «путчист», никогда не умевший рассчитывать соотношение сил, не способный подвергать события социально-политическому и экономическому анализу. На самом деле Бланки был человеком совершенно исключительной проницательности. Вопреки распространенному суждению, он, в отличие от знаменитых теоретиков социализма, почти никогда в своих предсказаниях не ошибался. Как Фемистокл, «умел видеть настоящее и предвидеть будущее».

Из революционных дел, которыми руководил Бланки, ни одно не удалось. Но он заранее и знал, что они не удадутся. Часто с большой точностью предсказывал, на чем именно дело сорвется, и соотношение сил определял безошибочно. Он писал немного, но некоторые его статьи и письма должны были бы причисляться к ценнейшему в мировой революционной литературе. То же самое относится к его взглядам на ведение восстаний. Очень часто революционеры девятнадцатого столетия поручали строить и защищать баррикады тем из своей среды, которые были или считали себя военными людьми. Они и строили, в большинстве, довольно плохо. Бланки никогда военным человеком не был — и совершенно верно указал, как надо и как не надо вести борьбу на баррикадах. Ум, наблюдательность и революционный опыт заменяли ему военные познания.

Он призывал людей к восстаниям, в успех которых не верил, и таким образом заведомо обрекал их на тюрьмы. Но он сам просидел в тюрьмах в общей сложности, при разном государственном строе, тридцать шесть лет, половину своей жизни. Очевидно, это было для него моральным оправданием. Политическое же оправдание Бланки вытекало из его общих взглядов. В связной систематической форме он своего мировоззрения не изложил, но, насколько можно судить, он совершенно не верил в социологию и в так называемые законы истории.

Скептически относился он и к историческому материализму. По принципам Маркса, по крайней мере в их классической форме, социальная революция могла быть осуществлена только на известном уровне экономического развития, в странах с

наиболее развитой промышленностью. Бланки же думал, что социальная революция может произойти в Европе где угодно: кучка энергичных, сильных, на все готовых людей может захватить и удержать власть в любой европейской стране, даже имея против себя значительное большинство населения. Успех — дело счастья и благоприятного стечения обстоятельств; поэтому обязанность настоящих революционеров — пробовать. Когда же, по его суждению, не было и одного шанса на успех из десяти, он проявлял большую умеренность, проповедовал соглашение с людьми, которых ненавидел и которые его ненавидели, и повергал этим в полное изумление революционеров.

Бланки издевался над людьми, желавшими наперед знать всю его программу. Отвечал, что общая цель ясна, а дальнейшее будет зависеть от обстоятельств: надо пользоваться каждой возможностью, хотя бы она открывала лишь маленький шанс на успех; надо работать изо всех сил, а исход решит случай. Люди же, в него не верящие, — никому не нужные догматики. Они ничего в революции не понимают; им лучше сидеть у себя в кабинете и выработать законы истории. Впрочем, к учению «бабувистов»<sup>1</sup> непонятным образом имел слабость и находил у них первое, легкое приближение к истине. Приблизительно так Мон-Рон на вопрос одной знатной дамы о том, какое животное больше всего напоминает человека, ответил: «Англичанин».

События двадцатого века, до которых он не дожил, были сплошным подтверждением его идей, а никак не идей Карла Маркса. На могиле Бланки (на которой впоследствии Далу поставил свой необыкновенный памятник) речь произнес Ткачев, очень мало на него похожий. А могли бы кое-что сказать и диктаторы нашего столетия, хотя он был умнее их всех и не был ни жесток, ни коварен. После Варфоломеевской ночи парижские палачи подали властям протест: что ж так убивать людей, для этого есть суд и эшафот. У Бланки именно суд и эшафот вызывали глубокое отвращение. Кровь можно было проливать только на баррикадах. Он никогда не был у власти, не болел тем, что Бальзак называл ее секретными болезнями. Весьма возможно, что в нем пропал большой государственный человек. Но если бы он жил при том строе, к осуществлению

---

<sup>1</sup> Последователи Бабефа.

которого стремился, то верно удавился бы от скуки или занялся бы астрономией. Ненавидеть капиталистический строй он мог по убеждению. Что стал бы он ненавидеть при своей «*anarchie réglée*»<sup>1</sup> ?

В сущности, Бланки поступал в революции так, как наиболее сильные и талантливые из полководцев поступали на войне. С точки зрения военной теории, с точки зрения Клаузевицев, итальянская кампания 1796 года и французская 1814-го были чистым безумием, ввиду огромного превосходства сил противника. Первая из них закончилась полной победой Наполеона, вторая полным его поражением. Впоследствии обе были признаны шедеврами военного искусства. В обоих случаях Наполеон совершенно правильно рассчитал соотношение сил, знал, что есть разве лишь один шанс на победу из десяти, но отказаться от этого шанса не мог и по общим своим взглядам на войну, на ее риск, на роль случая, да и по личным особенностям своего характера.

Личные особенности, хотя совершенно иные, отчасти руководили и Бланки. Он отрекся от «*Gefühlspolitik*»<sup>2</sup> не меньше, чем князь Бисмарк, но, разумеется, как и Бисмарк, как и все другие, совершенно освободиться от нее не мог. Слишком ненавидел существующий строй, и отказаться от попыток нанести ему тяжелый болезненный удар было бы выше его сил. Кроме того, он был болен и презирал почти всех других революционных вождей: знал себе цену и думал, что заменить его будет трудно. Все его предприятия провалились, но каждое, как ему казалось, могло иметь небольшой шанс на победу. Утверждать, что оно было обречено на поражение, было очень легко после поражения. «Нет ничего легче, чем предсказывать то, что было», — сказал Клемансо (в ранней молодости он был очень близок с Бланки и, быть может, только его одного по-настоящему ценил и почитал).

Была у этого столь опытного революционера и странная психологическая ошибка: в отличие от Наполеона, он никогда не скрывал от своих соратников, как мало шансов на победу. После неудачи его «вспышек» некоторые революционеры про-

---

<sup>1</sup> «Организованная анархия» (фр.).

<sup>2</sup> «Политика чувств» (нем.).



клинали его за «пессимизм», другие за гибельные «теоретические ошибки», — так венское императорское правительство в XVIII веке посадило в тюрьму фельдмаршала графа Секендорфа, приписывая поражение гневу Божию за то, что главнокомандующим назначило еретика. Но и независимо от неудач, многие смутно чувствовали, что за Бланки идти нельзя: он слишком презирает людей. Главные его ненавистники попадались не среди консерваторов, а среди «соратников». Больше всех его ненавидел Барбес, связанный с ним долгими годами совместной работы. Он распространял слух, будто Бланки полицейский агент-provokator, и на процессе, перед судьями, то есть перед общими врагами, называл его «cet individu»<sup>1</sup>. Слух этот благодушно повторял и Прудон. Как ни бессмысленно обвинять в провокации человека, который просидел тридцать шесть лет в тюрьме, прожил всю жизнь и умер бедняком, бессребреником и аскетом, слух этот держался до конца жизни Бланки, — нередко повторяется и по сей день. Сам Бланки был уверен, что пустил этот слух главный идеалист из Временного правительства.

Он обладал большими и очень разносторонними познаниями. Среди революционеров один Маркс превосходил его ученостью, да и то никак не в области точных наук. Бланки все читал, читал философов, ученых, поэтов, романистов. (Прудон не без гордости говорил, что за всю жизнь не прочел ни одного романа.) Вкусы у него в литературе были довольно неожиданные. Из писателей он ненавидел Бальзака: гневно утверждал, что автор «Человеческой комедии» оклеветал человеческую природу. Сам он был мизантроп застенчивый, хотя имел для мизантропии достаточно оснований: ровно ничего, кроме зла, как от врагов, так и от «друзей» не видел. По существу, они исходили из совершенно одинакового взгляда на человечество — и пришли к прямо противоположным выводам. Их русский современник шеф корпуса жандармов, генерал Потапов, как-то ответил епископу Александру, призывавшему его верить искренности людей: «Никогда, никому, ни в чем я в моей жизни не верил и никогда не имел, ваше преосвященство, повода в этом раскаиваться». С такими взглядами легко было

---

<sup>1</sup> «Этот тип» (фр.).

руководить Третьим отделением. Но как можно было при подобном понимании мира стоять за *anarchie réglée*, остается тайной этого странного революционера.

С первых же дней февральской революции Бланки стало ясно, что на успех коммунизма шансов очень мало, что даже и республиканскую форму правления удержать будет чрезвычайно трудно, так как во Франции, несмотря на легкое, тоже более или менее *случайное*, свержение монархии, почти нет республиканцев: деревня поднимется против революционеров, скорее всего установится диктатура и никак не диктатура революционная. Все это он высказал и на собрании в танцевальном зале Прадо. Говорил, как всегда, просто, резко, с большой силой. Однако речь его все слушали изумленно. В своих предсказаниях он был совершенно прав. Но зачем он это говорил? Впрочем, давно привык к тому, что его речи вызывают холод и разочарование у слушателей, — как суровый епископ Амвросий привык к такому же впечатлению от своих проповедей. Вместе с этим епископом, он мог бы сказать: «Я в экономике Божией укус».

Тем не менее тут же на собрании было решено основать революционный клуб вроде якобинского; Бланки был избран председателем, и клуб стал называться его именем (официальное название было «Центральное республиканское общество»). В ту пору во Франции было основано несколько сот клубов; этот был самый крайний. Члены общества приходили на собрания с ружьями и кинжалами. Ходили слухи, будто председатель клуба каждый день требует гильотины. Это было неправдой, но речи иногда бывали кровожадные, люди что-то кричали диким растерянным полуистерическим голосом, — каким, быть может, в России когда-то выкрикивалось «Слово и дело!». Бланки никого не стеснял, председательствовал спокойно и деловито. Пелись революционные песни, — едва ли он принимал участие в пении. Пропаганда Центрального республиканского общества вызвала в Париже смешанный с ужасом интерес. Клуб даже стал зрелищем для туристов. На заседания приезжали, после веселого обеда, богатые англичане и для потехи бурно аплодировали самым крайним ораторам. Бланки только на них поглядывал. В успех и теперь не верил, но теперь больше, чем когда бы то ни было, нужно было *пробовать*.

Настоящая проба была произведена 15 мая. Толпа ворвалась в Национальное Собрание и на несколько часов захватила власть. Главную речь в собрании произнес Бланки (именно тогда его в первый и в последний раз в жизни видел Токвиль). Накануне же он сказал своим единомышленникам, что дело обречено на провал. Попытка восстания имела главной целью объявление войны России ради освобождения Польши. Бланки знал, что войны с Россией теперь не будет и что французским крестьянам никакого дела до Польши нет. В своей речи в захваченном Собрании он пытался говорить не о Польше, а о внутренних французских делах. Это тоже признали ошибкой его единомышленники. Но многих единомышленников Бланки Господь, по слову Лютера, сотворил в минуту скуки.

Все кончилось неудачей. Кое-кто нажил капитал, — как тот монарх небольшого государства, который будто бы начал войну, чтобы сыграть на понижение своей валюты. Руководители восстания были скоро арестованы. В магазинах стали продаваться контрреволюционные журнальчики, курительные трубки с изображением разных генералов и барона Ротшильда, фаянсовые тарелки с надписью «Долой социализм», а в июне появился еще и портрет какого-то человека, которого никто в лицо не знал, — говорили, что это принц Людовик-Наполеон, племянник императора, только что избранный на дополнительных выборах в Национальное Собрание.

Бланки пропал без вести. Его нигде не могли найти. Ни у кого не было его адреса. Общественное мнение негодовало: отчего главный злодей не схвачен?

В Париже в ту пору было пять разных полиций, и, разумеется, все они ненавидели одна другую. Когда самой важной из них не удалось выяснить, где скрывается Бланки, начальник другой, старый полицейский Карлье, сказал начальству, что может арестовать вождя восстания, «но это будет стоить денег».

— Деньги не имеют значения! — ответил щедрый Ледрю-Роллен, особенно ненавидевший Бланки.

Карлье вызвал к себе «одного из главарей самого крайнего клуба, человека очень бедного».

— Я знаю, — сказал Карлье, — что вы очень крайний политический деятель. Однако, мне кажется, вы такой крайний потому, что у вас нет ни гроша.

— Но, милостивый государь!..

— Виноват, дайте мне досказать. Дело ваше, не хотите — не надо. Вот шесть тысяч франков. Нам нужен Бланки. Вы все о нем знаете. Нам нужно только одно ваше слово: где он завтракает? Скажите нам только это — и деньги принадлежат вам. Больше от вас решительно ничего не требуется. Одно слово, только одно это слово.

«Слово было произнесено», — с гордостью отмечает полицейский сановник.

Другой старый сыщик, комиссар Тон, получил предписание арестовать Бланки. В газетах появились на первой странице радостные сообщения об аресте. «Этот заслуженный заговорщик, — писал «Constitutionnel», — человек исключительного хладнокровия и смелости, пустил в ход с редким искусством все способы для того, чтобы скрыться от агентов власти. Он невысокого роста и хрупкого сложения. Лицо же его невозможно забыть тому, кто хоть раз его видел. Вследствие природного недостатка ему тяжело ходить. Поэтому ему было труднее, чем кому бы то ни было, укрываться от преследований и бороться с усталостью и с тревогами такой жизни. Но именно в этом положении он и почерпал свою отчаянную энергию. Бланки сбрил бороду. Говорят, что его видели переодетым в женское платье... С той горькой иронией, которая почти всегда сказывается в его речах, он сказал: «Ах, это вы, гражданин Тон. Вы арестовывали патриотов при Филиппе. Так вы занимаетесь тем же делом и при республике?»

Он был приговорен судом к десяти годам тюрьмы и посажен в крепость на островке Бель-Иль. Там, по-видимому, больше страдал от товарищей по революции и заключению, чем от тюремного начальства. С начальством он не разговаривал, на вопросы не отвечал, при переключке не говорил «есть». Из заключенных же многочисленные сторонники Барбеса его травили. К большому удовольствию тюремного начальства, между Барбесом и Бланки должна была даже произойти в тюрьме «дуэль», разумеется, словесная: диспут и суд в присутствии двухсот пятидесяти заключенных. Начальник тюрьмы доносил министерству, что примет меры «к предупреждению побоища». «Дуэль» не состоялась, так как стороны не могли сговориться об ее условиях. Бланки вдобавок опасался, что Барбес, богатый

человек, получавший немало денег из дому и щедро их раздававший товарищам, может этим расположить к себе судей.

Через несколько лет Бланки, с сообщником Казаваном, сделал попытку бежать. Им сообщили, что живший на островке рыбак согласится перевезти их на лодке в Бретань. С воли были получены небольшие деньги. При помощи подушки, одеяла, пальто и белья Бланки соорудил на койке свое чучело. Издали, в полумраке каземата, оно могло сойти за лежащего человека, а сторожа привыкли к тому, что он им на вопросы при обходе не отвечал. Они бежали в холодный вечер.

Побег был чрезвычайно труден. В крепости, которую достроил Вобан, порядки были военные. Бланки на веревке взбирался на стены, падал, расшибался в кровь, скрывался в цистерне с ледяной водой, — с час простоял в воде по пояс. Затем пересек островок и разыскал рыбака. После совещания с семьей, рыбак согласился им помочь. Они заплатили двести пятьдесят франков племяннику рыбака, заплатили что-то за хлеб и молоко. Их отвели в какой-то чулан, обещав перевезти, как только море несколько успокоится. Получив деньги, племянник, после нового семейного совета, отправился с доносом к властям: за поимку заключенных можно было получить еще немного денег.

Впрочем, властям уже было известно о побеге. Сторожа при обходе действительно приняли чучело за Бланки, но его сосед по камере, ветеран революции 1830 года (его имя не называется в революционной литературе) любезно объяснил им: «Да разве вы не видите, что это чучело! Бланки бежал». Мгновенно поднялась тревога. Беглецы были схвачены. Быть может, в тот день Бланки не думал, что Бальзак так уж оклеветал человеческую природу.

Много позднее в другой тюрьме, в Форте Быка, он в лунную ночь стал писать странную астрономическую работу. Она появилась в печати, большого внимания к себе не вызвала и была забыта на следующий день. Однако тот, кто в ней не разобрался, никогда не поймет Бланки. Знал ли он астрономию, сказать трудно. Математики, должно быть, не знал. Вероятно, отдавал должное глубокой учености и открытиям Араго, но выводы делал совершенно не те. Философия знаменитого астронома ему могла быть только чужда, если и не противна.

Бланки исходил из космогонии Лапласа, из данных спектрального анализа и из весьма своеобразного (особенно для его времени) понимания законов природы. Из астрономической теории следовали еще более своеобразные выводы относительно человеческой судьбы. В мире не только возможно решительно все, но решительно все где-либо когда-либо осуществляется. Беспредельно число планет и ограничено число химических элементов, из которых состоит Вселенная. Каждая планета бесконечно повторяется в пространстве и во времени. Неизбежно несметны и повторения судеб человечества, судеб отдельного человека. Каждый человек выбирает свой жизненный путь, отменяя все другие.

«Кто из людей не находился порою на перепутье? Перед ним были две карьеры. Та, от которой он отвернулся, дала бы ему совершенно другую жизнь, оставив за ним ту же человеческую индивидуальность. Одна вела к нищете, к позору, к рабству, другая к славе и к свободе. По случайности или по выбору, все равно, человек стал на один путь. Но в бесконечности нет места року, она альтернатив не знает. Она находит место для всего. Существует и такая земля, где человек следует по пути, которым его двойник на нашей Земле пренебрег. Его существование раздваивается на двух планетах, затем раздваивается во второй раз, в третий, тысячи раз. Таким образом, у человека есть бесчисленное количество двойников. Тем, чем каждый из нас мог бы быть в этом мире, он станет в каком-либо другом... Так и великие события нашей планеты имеют варианты... Англичане, быть может, множество раз проиграли сражение при Ватерлоо, там, где их противник не сделал ошибки Груши... Каждый человек вечен в каждый отдельный момент своего существования. То, что я сейчас пишу в камере Быка, я писал и буду писать в течение всей вечности, на таком же столе, на каком пишу в настоящую минуту, в такой же одежде, в таких же обстоятельствах».

Таково было его странное бессмертие. По-видимому, эта теория поддерживала Бланки до последних дней его жизни, хоть больше он к ней не возвращался, да и в «L'Éternité par les Astres»<sup>1</sup> изложил ее не очень хорошо. Он писал свою астроно-

---

<sup>1</sup> «Вечность по звездам» (фр.).

мическую книгу почти тем же стилем, каким писал политические статьи. Где-то назвал планету Юпитер «полицейским мироздания», говорил о «кознях планетарной системы», вставлял избитые латинские цитаты, очень принятые в передовых статьях. И тем не менее порою возвышался до истинной поэзии. До «L'Éternité par les Astres» еще можно было бы кое-как, с натяжкой, объяснить *потоповское* начало миропонимания Бланки: он верил, что человеческая порода улучшится при социалистическом строе. Астрономическая его работа исключает и такое объяснение. Со своими «terres fetides»<sup>1</sup> в «отравленном людьми пространстве», он все расценил и «с точки зрения вечности».

Та «горькая ирония», о которой говорил «Constitutionnel», действительно была ему свойственна, но она вполне уживалась или даже скорее была одним из проявлений необыкновенной внутренней серьезности, составлявшей редкую и привлекательную черту его характера. Жизнь без «служения» не имела бы для него смысла. Сама по себе эта черта не очень редка; но он своему служению пожертвовал половиной жизни. Слащавая словесность в подобных случаях говорит о «Прекрасной даме, Революции». Едва ли он очень любил свободу: все-таки стоял ведь за диктатуру. Едва ли была у него и патологическая любовь к революциям. Французский композитор Мегюль, заканчивая партитуру, писал на ней: «Удовольствие кончилось, начинаются неприятности», — разумел корректуры, постановку, рецензии. У Бланки сомнительное «удовольствие» кончалось гораздо худшими неприятностями, долгими годами тюрьмы. Но он никак не был счастлив в те дни, когда восстания происходили. Другие люди с безотрадным миропониманием находили свои выходы, — о них говорит настоящая книга. Он никакого выхода не нашел. Бальзак легко мог объяснить и объяснял, почему он ненавидит революцию. Бланки, не отказываясь от своих основных взглядов, не мог бы объяснить, почему он ей служит. Все понимал в революциях, кроме одного: зачем они нужны.

---

<sup>1</sup> «Зловонные земли» (фр.).

## VI

Mon cœur pour s'épancher n'a que  
vous et les dieux<sup>1</sup>.

*Racine*

В хорошую погоду Роксолана после окончания работы гуляла в Люксембургском саду. Этот сад ей понравился. И хотя неоткуда ей было встретить знакомых, все надеялась: вдруг встретит? В Галате нашла бы приятелей и приятельниц на каждой улице. Здесь же было гораздо труднее завести новые знакомства, чем в Константинополе и даже чем во Флоренции. Французы оказались очень замкнутым народом. Ей не удалось познакомиться и с соседями по дому; быть может, ее профессия не внушала им доверия.

В саду к ней не подходили ни русские князья, ни английские лорды. Иногда пытались пристать какие-то молодые люди, но она их боялась: «Наверное, бедный, а может быть, и больной, а может быть, тоже какой-нибудь Жак Ферран, возьмет и ночью зарежет!» Обедала она в недорогом ресторане поблизости от сада. Но как ни приятно было, что у нее собственная квартира, да еще такая хорошая, возвращалась она домой всегда с печальным чувством: опять одна.

Впрочем, были и радости: сбережения ее росли, и пришли деньги по купонам от купленных ею бумаг. Она была чрезвычайно довольна: «Не надули Ротшильды, вот спасибо! И хорошо это придумали люди: и ничего не делала, а деньги сами собой пришли! Отнесу им еще!»

В один из первых дней июня ей в Люксембургском саду бросилось в глаза знакомое лицо. Всех красивых мужчин она уж безошибочно запоминала навсегда. Этого молодого человека она раз видела в Константинополе, он был знакомый сумасшедшего русского старика. Столкнувшись с ним, Роксолана ахнула и улыбнулась ему так радостно, точно они были старые друзья. Он удивленно взглянул на нее, тоже узнал и вежливо

---

<sup>1</sup> Для того, чтобы мое сердце открылось, существуете только вы и боги.



поклонился. Она по-французски пропела, что очень рада его видеть. Виер совершенно не знал, кто она. Роксолана совершенно не знала, кто он.

— Так вы в Париже? — одновременно спросили они друг друга. Оба справились о Лейдене и оба ответили, что ничего о нем не знают. Затем она самым певучим своим голосом предложила пообедать вместе. По инстинкту добавила, что ресторан очень недорогой.

Немного поколебавшись, Виер согласился. В этот день он находился в таком же настроении, как она.

По дороге в ресторан оба, тоже одновременно, спросили друг друга: «А как вас зовут?» — и оба засмеялись. Его очень позабавило имя Роксолана. Некогда она за обедом сообщила ему, чем занимается, он не улыбнулся. «Ну, что ж, и ей надо жить. Вот она, «la reine des hommes»<sup>1</sup>, — подумал он.

— А ко мне недавно приходил знаменитый писатель, — похвастала она. — Его зовут Бальзак. Ах, какой умный! Но страшный

— Правда? — с улыбкой спросил он.

— Ты его читал? Я тебе говорю ты, я всем, кто молодой и красивый, говорю ты. А я ему гадала. Он мне сказал, что в Америке теперь придумали столы... Как это называется? Спее... Спиритизм, — выговорила она. — Ты не слышал? А ты мне тоже говори ты. Я тоже молодая и красивая.

— Что-то слышал. Это столоверчение, ворожба столами. Вздор, конечно.

— Ах, не говори! Это может быть очень выгодно. А после обеда пойдем ко мне, — сказала Роксолана. Он ласково смотрел на нее.

Вечером Виер вышел от нее с новой своей усмешкой. Ничего особенно нехорошего он не сделал, но легкое чувство неловкости испытывал: Лейден был его старший друг и по возрасту годился ему в отцы. «Да ведь их дело кончено, у него это было такое же пустое похождение, как у меня. Не предполагал я о нем такого. И я хорош, но я не женат...» У него было смутное чувство, будто тем, что он сошелся с

---

<sup>1</sup> «Роковая женщина» (фр. Дословно: «беда мужчин»).

женщиной легкого поведения, он мстил капиталистическому обществу.

На следующий день он опять к ней пришел. Она встретила его с восторгом. Была очень им довольна. Красивый поляк был не богат, хотя хорошо и очень чисто одет. В ресторане Роксолана поморщилась, когда услышала, что он ищет работы и хочет поступить в какие-то мастерские, где платят два франка в день. Тем не менее она горячо звала его приходить к ней возможно чаще. Он был друг сумасшедшего русского, и Роксолана его не боялась.

— Иногда буду приходить, — сказал он.

— Зачем иногда? Приходи в пять часов в сад каждый день. Я люблю тебя. А ты меня любишь? А чем ты прежде занимался? «Что ей сказать? — подумал он. — И в самом деле, чем я прежде занимался?»

— Я революционер.

Она сначала не поняла. Получив краткое разъяснение, одобрила:

— Это хорошо. На этом можно заработать много денег. Ты только в мастерскую не ходи, а все хорошо обдумывай и газету читай каждый день.

Он с той же улыбкой подумал, что, в сущности, приблизительно то же самое мог бы сказать Бальзак. «Он ведь наверное убежден, что революции устраиваются темными людьми для наживы. В пошлости легче всего сойтись большим с мальми».

— Я и так читаю.

— Увидишь, ты будешь богатый. За тебя всякая богачка пойдет, потому что ты такой красивый. А ты смотри, не торопись, все раньше узнай. Куда спешить? Дай, я тебе погадаю.

Взглянув на его руку, она огорчилась.

— Ах, нехорошо! Короткая линия жизни!

— Да ведь это вздор.

— Ах, нет, не вздор! Вот сомнамбулки вздор, эта Генриетта шарлатанка! А рука не вздор. Да, ведь, если и короткая линия, то и пять лет можно прожить! Ты хочешь жить долго?

— Хочу ли? Нет!

— Так многие говорят. А потом, когда больны, плачут: «Не хочу умереть, хочу выздороветь», — особенно мило пропела она, подражая плаксивому тону людей, которые так говорят. Сама она не боялась смерти, потому что никогда о ней не

думала. Смутно верила, что там, на небе, все, должно быть, как-нибудь устроится, не то чтобы хорошо, но и не очень плохо: как на земле.

— Нет, я плакать не буду! Человек не должен умирать в кровати, босой, в ночной рубашке. Умирать надо в мундире! Наполеоновские маршалы делили людей только на офицеров, штатских и врагов. А для штатских у них было презрительное слово: «rékins». По-своему они были правы. Я военный, а громадное большинство людей — штатские, и враги у них личные, ничтожные.

«Да он совсем дурачок, — ласково подумала она. — Что же тут хорошего? Если кто умирает в мундире, то, значит, умирает молодым? И совсем он не офицер, хвастает. Офицера сейчас видно».

— Я многих офицеров знала, одного страшного богача, — сказала она. — Ты глупый, но храбрый. Я люблю храбрых. Один из-за меня в Галате разбил головы двум пьяным. Правда, и сам был пьяный... Знаешь что, приходи завтра не в пять, а в четверть пятого. Будем вместе пить шоколад.

## VII

Я становился независимее и отвыкал от людей; не избегал никого, но лица сделались мне равнодушны. Я увидел, что серьезно глубоких связей у меня нет, что я чужой между посторонними, сочувствую больше одним, чем другим, но ни с кем тесно не соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, увлеченный собственными думами; теперь маскарад кончился, домино сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел черты не те, которые предполагал. Я мог не показывать, что многих меньше люблю, то есть больше знаю, но не чувствовать этого не мог.

*Герцен*

Виер вернулся в Париж лишь в конце мая.

В Константинополе его в самом деле ждали деньги и инструкция. Она его удивила. На него возлагались два поручения. Одно было нисколько не опасное: ему предписывалось повидать казаков-некрасовцев в Биневле и окончательно выяснить, выступают ли они против России в случае войны. «Да ведь я уже

у разных казаков был», — с недоумением подумал он. Второе же поручение, тоже не такое важное, как ему писали, заключалось в том, чтобы принять участие в создании Еврейского легиона, который должен был скоро выступить в поход на защиту Италии. Виер догадался, что в Отеле Ламбер его привлекли к этому делу, так как слышали об его отдаленном еврейском происхождении. Сам он не очень верил, что происходит от петровского графа Девиера. «И мать не знала, кто были предки отца, а я уж совершенно не знаю. И это никакого значения не имеет. Сам князь Адам не знает, кто был его отец, — думал он, вспоминая слухи, распускавшиеся врагами князя. — Кровь, раса, происхождение, какой вздор! Ну, что ж, скажу правду: и мне было бы приятнее называться Чарторыйским, чем Виером, да только потому, что много дураков на свете...»

Он много думал о письме, которое обещал написать Ольге Ивановне для Лили. «Но ведь условились, что я напишу в Киев, а она туда должна была вернуться только в мае или даже в июне. И главное, что же я ей теперь могу написать? Мое положение выяснится лишь в Париже. Я нежно люблю Лилю, но ничего не поделаешь, надо подождать».

Из Франции приходили известия, чрезвычайно его огорчавшие. По-видимому, новое правительство никак не собиралось объявлять войну за освобождение Польши. Точно так же раздумал воевать и Николай I, хотя в первый день действительно на балу сгоряча велел офицерам «седлать коней». Не слышно было и о том, чтобы в Париже формировалась настоящая польская армия. «Да, до моего возвращения туда ничего не буду знать».

Можно было бы, конечно, написать Лиле и в Петербург. Однако в Константинополе говорили, что после февральской революции письма из-за границы проходят в России через очень строгую цензуру. «Симпатическими чернилами писать было бы теперь слишком опасно. Я не могу подводить ее и людей, у которых она гостит. Написать просто несколько ничего не значащих слов? Если даже они не дойдут, то она только будет понапрасну разогревать страницу, и удар будет для нее страшный. Уж лучше пусть думает, что письмо не дошло».

Со своей обычной добросовестностью он занялся возложенной на него работой. Дела, в общем, ему были все же понятны.

Польские эмигранты теперь не представляли собой значительной военной силы. Кадровые офицеры, бежавшие за границу в 1831 году, успели состариться; они семнадцать лет трудились, чтобы прокормить себя и семьи, не занимались военным делом и отстали от него. Молодежь военного образования не получила. Притока людей почти не было. Князь Адам возлагал большие надежды на турецких казаков: по его сведениям, они ненавидели царское правительство. Создание же Еврейского легиона было затеей графа Замойского. Для нее в 1848 году приезжал в Константинополь Витольд Чарторыйский. Тут уж было вначале и не совсем понятно, с кем этот легион будет воевать. В конце царствования Людовика-Филиппа Отель Ламбер изменил свою внешнюю политику. Князь Адам теперь относился к Австрии враждебно, в меру своих сил поддерживал итальянцев, венгров, австрийских славян. Можно было рассчитывать, что в Италии пригодится лишняя, хотя бы и небольшая, воинская часть.

Виер решил начать с первого поручения и на третий же день после своего приезда в Константинополь выехал в Биневле к казакам.

Он был принят стариками вежливо, без большого почета и с легким удивлением, относившимся, как он понимал, к его молодости. Казаки моложе пятидесяти лет не только не участвовали в совещании, но и не решались входить в избу начальства. Она была хорошо убрана и украшена знаменем некрасовцев: на белом поле был золотой крест, а на черном турецкая эмблема. Совещавшимся в избе подавали крепкий душистый кофе; чаю некрасовцы не пили. Слушали Виера старики уныло. «Да верно я здесь не первый польский эмиссар», — подумал он. Сказал по-русски довольно длинное слово о событиях, о революции во Франции, о надвигающейся войне. Старался говорить возможно проще и понятнее; иногда замечал, что старики обменивались насмешливыми взглядами.

Ответили ему уклончиво и вместе твердо. Смысл ответа был тот, что никакой войны пока нет, а может, никогда и не будет, что ж даром болтать? Кроме того, казаки служат султану, присягали ему и будут присяге верны: издаст султан приказ о войне, — пойдут, а сами никаких соглашений заключать не имеют права и ничего обещать никому не могут. Виер убедил-

ся, что эти малообразованные люди, жившие в глухой турецкой провинции, не так уж плохо разбираются в международных политических делах. О французской революции они слышали, и она их совершенно не интересовала: они видели в ней просто непорядок, не имевший к ним никакого отношения. И если они не очень любили русское правительство, от которого бежали их предки, то польских эмигрантов любили никак не больше: видимо, им не доверяли и остерегались их. Виер и сам понимал, что казакам незачем воевать с Россией, и ему было совестно, что он вводил их в заблуждение, суля им какие-то выгоды от войны. «Да, в политике, к несчастью, то же, что в торговле: не обманешь — не продашь».

Когда совещание кончилось, Виера пригласили к столу. Хозяева стали тотчас очень радушны. О политических делах они больше не говорили, и он почувствовал, что совершил бы неприличный поступок, если б за обедом сказал еще хоть одно слово о политике. Угощали же его превосходно. Ему было известно, что эта странная казацкая республика в турецком царстве процветает. Султаны чрезвычайно ценили некрасовцев, считали их лучшими своими воинами и осыпали знаками внимания. Престарелый Иван Салтан получил в свое время множество боевых наград. Во внутренние дела казаков султаны не вмешивались, но по договору запрещали им заниматься хлебопашеством, чтобы они не превратились в обыкновенных крестьян: в мирное время казаки имели право заниматься только охотой и рыбной ловлей. Говорили они на чисто русском языке, со старинными выражениями, оставшимися от времени Игната Некрасова, память которого была окружена в Биневле настоящим культом. Проводили Виера ласково, но видимо были рады тому, что польский пан уехал. «Если начнется война, будут, как всегда, драться храбро, а сами ни с кем воевать не хотят, менее же всего с Россией, хоть она и императорская», — думал он.

Не очень много толка вышло и из дела с Еврейским легионом. Виер принял участие в вербовке, посещал еврейские кварталы Константинополя, ездил в соседние города, везде произносил речи по-французски. Люди на собрания приходили, но понимали его очень плохо: в громадном большинстве знали только турецкий и староиспанский языки. Он нанимал переводчиков. Обычно это были константинопольские гиды. Для них

это было непривычное дело. Быть может, переводили они его слова и точно, — однако их вялый перевод, очевидно, никакого впечатления не производил. Виер преимущественно говорил о Франции, о французской революции, провозгласившей равноправие евреев, о генерале Бонапарте, который выражал намерение восстановить самостоятельное еврейское государство и вновь выстроить Соломонов храм. Эту часть его речи слушали внимательно и с интересом: имя Наполеона и здесь было известно всем. Но когда он затем переходил к войне с Австрией за независимость и за объединение Италии, начинались зевки, кое-где слышался и смех, а часто зал пустел. «И тут то же самое: зачем им покидать Турцию и воевать с Австрией, когда именно в этих странах к ним относятся гораздо лучше, чем в большинстве других?»

Тем не менее ему и другим агитаторам удалось завербовать в легион сто тридцать евреев. Всё это были очень молодые и чрезвычайно бедные люди. Виер думал, что ими руководит желание приключений, стремление хоть как-нибудь выйти из их скучной убогой жизни, а всего больше голод: легионеров обещали кормить хорошо. Это было всё же некоторым успехом: он тотчас послал донесение в Отель Ламбер. Но главные трудности начались именно теперь. Новобранцев надо было обучить, а он сам строевых приемов не знал: когда-то учился им, но научился немногому, да и позабыл. Впрочем, оказалось, что для обучения новобранцев был особо предназначен польский кадровый офицер, который говорить на собраниях совершенно не умел, но строй знал хорошо и вдобавок сносно владел турецким языком. В пришедшем из Парижа ответе Виеру выражалась благодарность — и указывалось, что теперь руководящая роль переходит к кадровому офицеру. Он несколько обиделся: «В чем же была *опасность* обоих поручений? Очевидно, они доводом об опасности воспользовались для того, чтобы я не мог отказаться? Главное для них, конечно, было дело с казаками: для него я и был им нужен, так как я совершенно свободно говорю по-русски, и им верно сказали, что я хороший оратор. Скорее всего, они и вообще недовольны моими пессимистическими докладами?»

Он предложил кадровому офицеру, что отправится в Италию под его командой, хотя бы простым солдатом. Тот любезно

и вежливо отклонил предложение. Ему было известно, что Виер социалист, да еще и крайний. «Такие люди, как вы, — сказал он, — гораздо нужнее на более важных постах. Рядовым я вас, разумеется, принять не могу, а как же вы будете командовать, не имея военного опыта и не зная турецкого языка?» Легион скоро и отплыл в Италию, — «по следам Маккавеев», — писал польский очевидец.

Почти одновременно с этим Виер получил из Парижа письмо от одного из молодых польских революционеров, сочувствовавших, правда, не Бланки, а Барбесу. Барбес был крайним сторонником войны с Россией. Впоследствии, в 1854 г., он даже был помилован Наполеоном III, так как в частном, перехваченном полицией письме из тюрьмы выражал горячее пожелание победы французам в Крыму над «казаками» (от помилования он, однако, отказался). Польский приятель писал Виеру, что теперь ни малейшей надежды на войну нет; делать революционерам-полякам пока нечего, и отношения у них с Отелем Ламбер снова ухудшились. «Мы за баррикады, они против. Баррикады же здесь будут непременно!» Сообщал также, что с Россией больше нет возможности сноситься: письма не проходят, и царское правительство теперь никому паспортов не дает ни на въезд в Россию, ни на выезд из нее. «Ты проскользнул один из последних, твое счастье».

«Господи! Значит, всё кончено с Лилей! — с отчаянием подумал Виер. — И написать ей нельзя, и никогда ее теперь за границу не выпустят, и кормить мне ее будет нечем: опять безработный, опять голыш! Но если революция идет к концу, если всё кончилось ничем, если капитал и теперь оказывается таким же властелином, как при Людовике-Филиппе, то и жить мне больше не для чего!»

Он думал всю ночь о Лиле, о себе, о том, что можно сделать. Пришел к выводу, что положение совершенно безнадежно: не было ни одного шанса из тысячи на то, чтобы ему теперь удалось встретиться с Лилей. «Не заставляй же ее ждать, не подавать же несбыточных надежд! Кончена жизнь! Никакого личного счастья не будет!»

Утром он всё же написал Ольге Ивановне. Написал без симпатических чернил, просто послал сердечный привет, снова благодарил за гостеприимство. Вскользь упомянул, что теперь,



ввиду изменившихся обстоятельств, не зависящих от его воли, они, верно, увидятся лишь очень не скоро. «Когда мы снова встретимся, Елизавета Константиновна верно будет уже замужем. Всей душой желаю ей большого, большого счастья, как и вам, и Константину Платоновичу». У него вдруг полились слезы. «Совсем истрепались нервы!» Он понимал, каким страшным ударом это будет для Лили. «Зачем только я остановился у них в Киеве! Сделал несчастным и себя и, главное, ее!

На почте чиновник, взглянув на конверт, сказал:

— Я принять страховым не могу. В Россию письма не пропускаются, большей частью возвращают с границы, а вы своего адреса не указали.

«Какой же адрес я могу дать? — подумал он. — Я не знаю, где остановлюсь в Париже. Не указывать же Отель Ламбер! А если со мной что случится, то это еще могло бы их скомпрометировать».

— Тогда пошлите не страховым, — ответил Виер. Чиновник пожал плечами и принял письмо. Оно действительно не дошло.

В Париже он тотчас по приезде узнал о неудачной попытке революционеров захватить власть и об аресте Огюста Бланки. Это было для него новым тяжелым ударом.

Виер нашел дешевенькую комнату в гостинице на окраине левого берега. Поселился там случайно: этот квартал совершенно ему не подходил: от всего было далеко и жили тут больше мелкие торговцы. Но уж очень было дешево, и он знал, что сюда к нему будут реже приходить знакомые. Разложил вещи, купил газет, стал по ним разбираться в политическом положении. Радоваться было вообще нечему, а ему в особенности.

На следующее же утро он побывал в Отеле Ламбер и представил отчет. Князя Адама в городе не было; да если б он и был, то едва ли принял бы Виера: быть может, и в лицо его не помнил. Виер тотчас заметил перемену. Встретили его очень учтиво, но как будто сухогато. Чувствовалась и некоторая растерянность. По-видимому, события и настроения во Франции не вызывали большого удовольствия у Чарторийских и Замойских. Выслушали его устные дополнения к докладам внимательно, были приятно удивлены обстоятельностью его денежного отчета и тем, что на себя он потратил так мало денег.

Очень его благодарили и выразили надежду, что позднее опять окажется возможным сотрудничество. Он тоже выразил такую надежду.

«Слишком расширился и у нас, поляков, ров между имущими и неимущими, — подумал он, выходя. — Если б они и предложили мне работать с ними дальше, я всё равно принять не мог бы. Что же теперь делать? Быть может, Бланки из тюрьмы с нами снесется и будет давать указания. А нет, так будем делать дело по своему разуму. Надо, конечно, найти заработок».

Его сбережений могло хватить разве на месяц самой скромной жизни. Бедность его не пугала, но пугала нищета. Он видел в эмиграции слишком много примеров того, как от нищеты опускались честные и порядочные люди, как приучались жить подачками. «Я думаю, что не мог бы так жить, но и они верно прежде думали о себе то же самое... Ну, что ж, буду искать работы, а если ничего другого не найду, то поступлю в эти Национальные мастерские», — решил он. Это несколько его успокоило.

В тот же день он повидал кое-кого из единомышленников. Настоящих друзей у него не было, да и настоящие единомышленники были больше французы. Он увидел, что всё-таки очень отстал. При нем говорили, как о чем-то всем известном, о событиях, о которых он и не слышал. Впрочем, сообщали преимущественно, кто оказался дураком, трусом или обманщиком. Виер ждал идей, а услышал сплетни.

Ничего утешительного он не узнал и об отношении нового французского правительства к польскому делу. Конечно, Франция, как и Англия, была бы очень рада, если б Польша отделилась от России. Но серьезной целью в своей политике она этого не ставила. Вдобавок это вызвало бы осложнения с Пруссией и Австрией, а их дружба или хотя бы нейтралитет были неизмеримо важнее сочувствия поляков. Польским эмигрантам говорились любезные слова и при Людовике-Филиппе, и при Второй Республике, и при Наполеоне III, им даже отпускались на всякий случай небольшие деньги, — они всё-таки могли пригодиться, — но большого значения им никто не придавал.

Разброд же в самой эмиграции теперь был еще сильнее, чем во все предшествовавшие годы. В первое время после фев-

ральских событий как будто возник еще новый план общенационального объединения. Но скоро и слепым стало ясно, что такого объединения не будет и быть не может: слишком разны были польские эмигранты по своим взглядам, по своему прошлому, по своим замыслам, и слишком остры были между ними политические и особенно личные счеты. Теперь каждая группа работала самостоятельно — или же называла работой свои собрания и разговоры.

Увлечение, впрочем, спало за три месяца почти у всех. Виер услышал о разных политических клубах; там, по-видимому, и делалась история. Но ему сообщили, что после событий 15 мая работа стала менее энергичной, некоторые клубы даже закрылись. Виер узнал адреса и в первые дни делал то, что его товарищи делали всю весну. Кроме французских клубов, были клубы эмигрантские. В гостинице «Англия» и в Мюльгаузенском кабачке на Итальянском бульваре заседал немецкий революционный клуб, во главе которого прежде стоял поэт Гервег. Как большинство поляков, Виер недолго любил немцев, но тщательно подавлял в себе это чувство. Он побывал в немецком клубе и услышал там такие крайние, кровожадные речи, каких нигде никогда в жизни не слышал. Правительства всех стран осыпались бранью и проклятьями, как, впрочем, и все революционные вожди, — эти за их недостаточную революционность. «Больше всего, конечно, кипятятся люди, которые в мыслях не имеют делать что бы то ни было, — вот как очень скупые люди неизменно возмущаются скрягами. По-видимому, они здесь сходятся больше, чтобы посплетничать за пивом. Пиво, кстати, ругают еще крепче, чем товарищей по революции: немецкое гораздо лучше».

Польский клуб находился на rue de l'Arbalète. Там Виеру сообщили о затее, о которой он, впрочем, уже слышал: готовится большое предприятие, будет создан и отправлен на Вислу для борьбы с Россией экспедиционный корпус из двадцати четырех батальонов.

— Как же вы туда доставите этот корпус? — спросил он.

— Пути найдутся.

— Но как двадцать четыре батальона будут воевать с Россией? У Николая огромная армия.

Ответ был, что надо только зажечь пожар, а там Франция и Англия придут на помощь. Ссылались на какие-то слова,

которые в частных беседах говорили французские и английские государственные деятели, впрочем, второстепенные или даже совсем мало известные; цитировали статьи из разных газет.

— Всему этому грош цена, — сказал он. — Журналист что-то где-то слышал, ему нужна построчная плата, вот он и пишет. Да есть ли хоть оружие для экспедиционного корпуса?

Ему прочли воззвание, выпущенное два месяца тому назад клубом на французском языке. В воззвании было сказано:

«Час возрождения народов настал. Вам, французы, выпала честь: вы начали это великое дело. На нашу долю, на долю поляков, выпало его закончить.

Французский народ, твоя сестра Польша в нашем лице благодарит тебя за то гостеприимство, которое ты оказывал ее детям в течение семнадцати лет их изгнания; но она требует своих сынов, ибо и для нее возрождается эра свободы.

Братья, нам необходимо оружие. Дайте нам его.

К оружию, во имя братства народов!

Братья, мы уезжаем, доверив вам наших жен, наших детей, наших старцев.

Прощайте, братья, мы идем воевать за освобождение нашей родины. Если мы погибнем, Бог отомстит за нас, так как Он нас ведет».

Под воззванием в постскриптуме сообщалось, что оружие принимается в помещении совета первой колонны польской эмиграции, на rue de l'Arbalète, 26.

— Какое же оружие может дать нам рядовой француз? Старый пистолет, сохранившийся в семье от времени Наполеона, или кухонный нож? — спросил Виер. — Что же, много вы получили оружия?

Ему с раздражением ответили, что пока пришло немного, но сбор продолжается. Сказали также, что очень легко всё критиковать и что нет ничего вреднее боязливого пессимизма. Молодым же людям в особенности не следовало бы высказывать сомнения в деле, в которое верят такие вожди, как Ворцель и другие, — назвали еще несколько очень известных имен.

— Я не пессимист и не трус. Если ваши батальоны отправятся в поход, я буду одним из первых. Но я в это не верю, — сказал Виер. Простились с ним холодно.

«Ciemno wszędzie, glucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?»<sup>1</sup> — подумал он, выходя. — Нет, и отсюда ничего ждать нельзя, хотя они хорошие люди. Освобождение Польши стало частью общего мирового вопроса, то есть революции во всем мире. Скоро, быть может, здесь, в Париже, начнет литься кровь. И я знаю, где я пролью свою». У поляков преобладало мнение, что эмигранты не могут и не должны вмешиваться во французские внутренние дела. Но он с этим был не согласен. «Я люблю Францию и обязан бороться за ее счастье так же, как за свободу Польши. Нет поляков, французов, немцев, русских, есть братство людей в свободе, есть только граждане мира. Чем кончится этот польский поход, если он вообще состоится, неизвестно. Может кончиться и фарсом, как кончались некоторые такие дела у других народов. В Париже рабочее восстание уж наверное фарсом не кончится. А погибать, так лучше за мировое, чем за национальное дело».

По вечерам он возвращался домой, взбирался к себе на четвертый этаж, пил кофе с хлебом. С удовлетворением думал, что никто к нему больше не зайдет, что до утра во всяком случае никого не увидит и что он никого видеть не хочет.

О Лиле он «запретил себе думать», — и всё же думал о ней беспрестанно. «Теперь она верно уже в Киеве. Если письмо дошло, она возьмет его у Ольги Ивановны, будет разогревать на огне, увидит, что никакие буквы не выступают. Бедная, милая девочка... Она всё же поймет, что *настоящее* сказано в письме к ее матери. А может быть, и не дошло письмо. Она будет спрашивать отца, Тятеньку о событиях, они ей объяснят, что все сношения России с западным миром порваны, что паспортов больше не выдают, что, быть может, дело идет к войне. Всё у всех проходит, пройдет горе и у нее, как прошло у Зоси. Эта, должно быть, уже замужем, живет в имении и наслаждается богатством? И Лиля выйдет за другого, за русского, и дай ей Бог счастья. А я больше никому не нужен. Но я пригожусь делу...»

Через несколько дней он заметил, что потерял розу, которую дала ему Лиля. Тогда, в Петербурге, вернувшись домой, он

---

<sup>1</sup> «Глушь повсюду, тьма ложится, что-то будет, что случится?» (А.Мичкевич. «Деды». Пер. с пол. Л.Мартынова).

положил цветок в ту же книгу Шиллера. Теперь в книге его не оказалось. «Что же это? Как это могло случиться! Твердо помню, что вложил его как раз на странице «Resignation»! Куда он мог деться! Выпал в Константинополе, когда я укладывал вещи?..» Виер с большим волнением перелистал весь том, пересмотрел всё в чемодане, в портфеле, просмотрел другие книги, — розы не было. Эта потеря и чрезвычайно расстроила его, и поразила. «Пропал цветок, самое дорогое, что у меня было! Как я мог потерять?.. Никогда себе не прощу! Судьба? Никто никогда не мог понять, что такое судьба... Предзнаменование?..» Он все-таки не был свободен от суеверий, несколько этого стыдился и прежде в утешение себе повторял слова, вычитанные им где-то у Байрона: «Дурак никогда не бывает суеверен».

### VIII

Синие обои полиняли,  
Образа, дагерротипы сняли —  
Только там остался синий цвет,  
Где они висели много лет.  
Позабыло сердце, позабыло  
Многое, что некогда любило!  
Только тех, кого уж больше нет,  
Сохранился незабвенный след.

*Бунин*

Лейден только в первую минуту был огорчен, узнав от дворника, что барышня еще не вернулась. Затем почувствовал даже некоторое облегчение: с Лилей ему было бы еще тяжелее.

В сопровождении Никифора, испуганно на него смотревшего, он прошел по всем комнатам. «Она своим присутствием делала естественной даже эту залу. Была сама естественность...» У его кровати стояли туфли, теперь с расправленными задками. «Это во мне тоже ее огорчало, часто просила надевать как следует. Даже в мелочах не старался, чтобы она была довольна...» На столике лежала его книга «Врачебное веществословие или Фармакология». Он взглянул на нее с отвращением.

Никифор так же испуганно рассказал ему, как все было. Константин Платонович старался слушать спокойно, но лицо у него все больше подергивалось.

Он переспрашивал дворника, три раза заставил повторить слова жены о священнике. «Да, умерла, как праведница. Это и есть истинный героизм. У нее была простая вера, какой у меня нет и быть не может. И насколько же ее вера спасительнее!..» Когда старик сказал, что видел тело барыни в часовне для холерных, Лейден попробовал себе это представить и не мог: слишком у него были живы впечатления от той, какой она была в молодости, от той, которая перед его отъездом укладывала его вещи и просила его не есть колбасы на станциях.

Дворник сначала забыл о халате. Упомянул только в конце разговора и был озадачен тем, что именно эти его слова больше всего потрясли барина.

— Потом расскажете, потом... Ну, идите, спасибо.

Его ждали письма. Он тотчас их прочел. «Да, удивительна бедность человеческого языка. Все пишут одно и то же, почти в одних и тех же выражениях», — думал он, сам удивляясь тому, что читает это, что обращает внимание на мелочи. Одно письмо было от Петра Игнатьевича, холодное и едва ли искреннее, — Лейден обратил внимание и на это.

Затем он поехал на кладбище, хотя был совершенно измучен. Там долго смотрел на могилу. «Что же она думала бы, если бы тут лежал я? Что *на это* ей ответила бы ее простая вера? «У нее хоть совесть была чиста... Покупала мне подарок именно тогда, когда я ее обманывал...»

В невысоком строении у входа, которое неловко было называть конторой, ему дали указания о памятниках, о том, как приобрести место рядом с могилой жены. Он заполнил формуляр. «Скоро тут буду и я», — сказал он себе, точно кому-то угрожая. Но со смешанными чувствами понимал, что будет это всё же не так скоро: не очень просто устроить Лилю. «Допустим, Лиля будет материально обеспечена. Да как же она будет жить? Одна в доме?.. Разве я могу это сделать? Что сказала бы Оля?»

И тем не менее поездка на кладбище его успокоила. «Нашел, нашел и себе квартиру, — думал он. — Будем лежать вместе до скончания времен...»

Вернувшись домой, он достал из ящика старые письма к нему Ольги Ивановны. Они были сложены аккуратно и перевязаны ленточкой. Лейден начал было читать, но это было слиш-

ком страшно. Первое письмо было ею написано тотчас после того, как она стала его невестой. «Нет, нет, теперь не надо, когда-нибудь позднее...» Он поспешно всё положил на прежнее место. Подумал, что почти никогда не говорил с ней о серьезных вопросах, о тех, которые называются философскими. «Не достаивал! А она была много мудрее меня. Да разве только об этом не поговорил! Не поговорил о столь многом, — *не успел* спросить ее, не узнал как следует об ее детстве, о том, как она училась музыке, о тысяче вещей не успел спросить — и теперь *никогда* больше знать не буду. Бывало, сердился на нее, ссорился, кричал. Так у всех? Но что мне в том? Недолюбил!..» Вспомнил день их первой встречи, день свадьбы. «Как будто было вчера, но между этим вчера и сегодня прошла вся жизнь».

Дворник сказал ему, что из аптеки за неделю до его приезда приходили люди, всё чем-то поливали и ковры испортили. Он спросил, хорошо ли окурили комнату барышни, и кивнул головой, узнав, что, может, и хорошо.

Большую часть дня Лейден проводил дома. Знакомые не знали об его возвращении или делали вид, будто не знают: навещать его было бы тягостно, да и опасно: зараза держится в домах очень долго. Даже прислуга все не возвращалась. Константин Платонович был и этому рад. Дворник, которому он подарил сто рублей, приносил ему обед из ресторана, ставил самовар, варил на ужин яйца, покупал хлеб и ветчину. Перед ним совестно было пить. Лейден сам украдкой купил несколько бутылок водки и пил много. «Знаю, что она поняла бы: без этого я совсем пропал бы. Впрочем, я и так пропал... Какие же у нее были радости? У меня были дела, книги, занятия, а что было у нее? Вставала и думала: сейчас уборка. кухня, Ульяна, и завтра то же, что сегодня...»

В комнате Ольги Ивановны он ничего не трогал. Просмотрел только книги на этажерке, — старался вспомнить или догадаться, откуда, когда каждая книга ей доставалась. От него тут подарков не было, он ей книг не дарил. Нашел «Опасной спор, или Сколько женщины могут полагаться на верность мужчин» — и поспешно вернулся в кабинет. Там в шкапу стояла водка.

Через несколько дней к нему всё же стали заходить знакомые, видимо гордившиеся тем, что не боялись заразы. Они глядели на него с тревожным изумлением. Один тотчас загово-



рил об Ольге Ивановне, горячо ее хвалил и восторгался ею, — но Лейдену его слова казались оскорбительными по неверности. «Совсем она была не такая: может лучше, может хуже, но не такая». Другой говорил о парижских событиях, о киевских новостях, — это было еще оскорбительнее, хоть по-другому. Затем зашла добрая знакомая, очень благочестивая женщина. Она говорила о загробной жизни и обещала ему, что он снова встретится с Ольгой Ивановной в лучшем мире. Говорила искренне и с глубоким убеждением. Но он знал все доказательства бессмертия души. «И ученые, и неученые люди говорят в таких случаях одни и те же слова. Быть может, и ходят ко мне не для того, чтобы сделать приятное мне, а для того, чтобы сделать приятное себе. У Ивана Васильевича вообще знакомых мало, для него и этот визит развлечение. А Наталья Сергеевна просто любит похороны, панихиды, болезни и вдобавок считает, что Бог зачтет ей этот визит».

Его раздражало то, что у всех людей, у всех, кроме него, были по-прежнему разные занятия, интересы, удовольствия, развлечения. Понять его, очевидно, не мог никто, хотя люди и притворялись, будто разделяют его горе, будто смерть Ольги Ивановны имеет для них огромное значение. Он понимал, что иначе и быть не может, но чувствовал глухое раздражение против всех. И, как он ни был теперь далек от людей и от их мелких интересов, всё же иногда думал и о том, кто почему не заходит, хотя мог бы зайти. «Петр Игнатьевич, несмотря на письмо, верно радуется тому, что со мной случилось несчастье».

Как-то ночью он проснулся с ужасом. Сердце сильно стучало. «Нет ее, нет, больше никогда не увижу! — точно впервые это поняв и почувствовав, подумал он. — Что же это, Господи! Да не сон ли это? Может быть, никогда ничего этого не было, и она жива, и никуда я не ездил в Турцию, в Италию!»

Иногда он впадал в странное, изменчивое, полусознательное состояние, то близкое ко сну, то на него очень походившее. Видел людей, которые давным-давно умерли, о которых он годами не вспоминал. Однажды под вечер он — как будто во сне, хотя глаза у него были открыты — опять увидел тициановского Неизвестного. На этот раз вышло по-новому. Неизвестный назвал его Шопенгауэром с Шелковичной улицы, да еще вдобавок и сумасшедшим, посоветовал из подаренного женой

халата спить себе саван, а там будет видно, куда его отправят Минос с Эаком. «Остается только дом умалишенных!» — подумал он, придя в себя. Он встал и подошел к зеркалу. В полусвете кончающегося дня оно отразило изможденное, почти безумное лицо с воспаленными глазами.

Однако больше такие сны не повторялись. Он перестал думать и о трех плоскостях, — в них, ему показалось, была как будто и литература невысокого сорта. Много позднее думал, что случившееся с ним несчастье не только его не прикончило, но скорее остановило развивавшуюся в нем душевную болезнь, — это особенно его удивляло полным расхождением с общепринятыми взглядами.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### I

Храни же в должных пределах выражение подлинного горя.

*Плутарх*

Тятенька заставил Лилию отложить возвращение в Киев. К нему присоединились Дарья Петровна и Нина, принявшие большое участие в ее горе.

— Что же нам сейчас туда ехать? — говорил Тятенька. — Бедная мама давно похоронена. Дом еще заражен. Я написал, чтобы сделали все нужное, но так быстро это не делается. Да и как бы ты там жила? Одна? Без прислуги? Или ты хочешь, чтоб и слуги заразились? И я? — спрашивал Тятенька, зная, что это сильный довод.

— Нет, не хочу, — отвечала, заливаясь слезами Лилия. Он сам долго рыдал после того, как пришло известие о смерти Ольги Ивановны.

— Вот, подождем, скоро дом будет очищен от этой проклятой заразы, вернется папа, выедем туда и мы.

Остаться в Петербурге было Лиле очень тяжело. Из сочувствия к ней Дарья Петровна и Нина тоже почти никуда не ездили и почти никого не принимали. «Конечно, им это скучно и неудобно, покойная мама была им почти чужой человек. Я им теперь в тягость, как они ни деликатны и как ни упрашивают меня остаться. Но и Тятенька ведь тоже прав», — думала она, не зная, что ей делать. До сих пор вся ее жизнь проходила по указаниям родителей, особенно матери. Теперь она должна была сама всё решать. Между тем точно рассчитать день приезда отца в Киев было невозможно; он на их письмо не ответил, они даже не были уверены, что он успел его получить во Флоренции. Таким образом, они вернулись в Киев несколькими днями позднее его.

Обратный путь был так же печален, как чудесна была поездка в Петербург. Они проезжали по тем же самым местам, останавливались в тех же гостиницах, и каждая остановка была

связана у Лили с воспоминаниями о Яне (теперь она мысленно выпускала «мосье»). Дарья Петровна при ней ни разу о нем не упомянула, и это как бы подчеркивало, что она обо всем догадывается. Нина уверяла Лилию, что всё кончится отлично: «Я уверена, что ты за него выйдешь! Конечно, не теперь, а через полгода или через год». Как ни утешительны были эти слова, Лилия всякий раз прекращала разговор: теперь и думать об этом нельзя. Но Нина, хорошо ее понимавшая, говорила то же и на следующий день. Романтизм письма симпатическими чернилами немного действовал и на Нину.

Лилия была очень дружна с Ниной, искренне ее любила, но находила, что уж очень они непохожи одна на другую. «Тя-тенька шутит, что Ниночка всем хочет показать: «Какая я умная, гордая, решительная и необыкновенная девушка!» Уж этого я не знаю, но у Ниночки всё ясно. Она хочет выйти замуж за богатого, знатного человека, хочет бывать на балах, обедах, приемах, хочет, чтобы ее дети получили самое лучшее воспитание, в Смольном, в Пажеском корпусе. Всего этого она верно и добьется. Конечно, она предпочла бы выйти замуж по любви, по той безумной страсти, о которой она говорит. Но если придется выбирать, то она без любви выйдет за богатого аристократа. Нина не любит Яна, да если б и любила, то никогда за него не пошла бы. Она уже несколько раз могла выйти замуж, так она умна, красива, так хорошо умеет делать что нужно. Я ничего не умею, мне теперь и не нужно ничего. Мне нужен только он... И как только я могла в Киеве думать обо всяких пустяках!.. Быть может, если б не Ян, то и я была бы точно такая же, как Ниночка, как все. Ведь все хотят того же, что она, и я прежде хотела этого, только никому не говорила. Но я знаю, что для него это пошлость и грязь...»

В дороге Тятенька опять обдумывал вслух обеда, сам жарил шашлык, перед сном говорил: «Совершаем возлиянье — благодатному Морфею». Лилия понимала, что он другим быть не может. Тятеньке просто не приходило в голову, что из-за несчастья, хотя бы и самого тяжкого, можно не придавать значения обеде, сну, удобствам жизни. Как всегда, он много ел, много пил, много болтал, и это было неприятно Лиле. Еще неприятнее было то, что она сама ела, пила, иногда даже

печально улыбалась его шуткам. Раз как-то в роще их застала гроза. Тятенька продекламировал из Тредиаковского:

С одной стороны гром,  
С другой стороны гром!  
Страшно в воздухе!  
Ужасно в ухе!

Впрочем, сам почувствовал, что сделал некоторую бестактность, и часа два грустно молчал. Вспоминал Ольгу Ивановну и думал, что верно сам скоро умрет. «Не надо об этом думать, всё равно ничего не поймешь... В Киеве помянут добрым словом. В ведомостях будет и некрология. Что-то они соврнут? Суворов, когда умирал, подозвал к себе родственничка — поэта Хвостова и сказал: «Пожалуйста, одолжи меня, друг: не сочини стихов на мою смерть...» Нет, что ж, некрологии хороший обычай. Главное в жизни доброта, а я, кажется, никому зла не делал и не желал... А может, и правы люди: вдруг на том свете все сойдемся! Вот и Костя так думал. Там будет видно... А я говорил Оленьке об уютности ее жизни, вот тебе и уютность!..» Он вспомнил: «Выпьем, Тятенька, китайской травки» — и украдкой смахнул слезу. «Нет, скорее всего там ничего не будет. Прибавится только цветов на Аскольдовой...» Он оживился лишь перед новой остановкой. «Что ж, я до конца буду любить эту землю, эту жизнь. Прожил семьдесят с хвостиком, — Тятенька предпочитал хвостика не уточнять и в мыслях, — и еще, Бог даст, проживу».

Как ни стыдно это было Лиле, она всю дорогу беспокоилась о письме Яна. «Теперь оно пропадет! Ведь он хотел написать бедной маме. Не отошлет ли почта назад?» Ей хотелось спросить Тятеньку, что почта делает с письмами в таких случаях. Но задать этот вопрос было невозможно.

В той комнате, в которую Виер тогда принес ей книгу Жорж Санд, Тятенька ей теперь советовал «посыпать постельку порошком, поскорее лечь и хорошенько отдохнуть». Потушив свечу, она долго думала о Яне, всё вспоминала его улыбку. Он улыбался очень редко, улыбка молодила его лет на десять. Хотя Лиля презирала «мальчишек», его улыбку всегда принимала как награду.

Рано утром снова прошел ливень. Лиля вышла в садик гостиницы и долго смотрела на радугу. «Как хорошо! Воздух ка-

кой!.. Мама говорила, что радуга залог... Не помню, какой залог... Не может быть, чтобы я за него не вышла! Неужели Бог над нами не сжалится? Может быть, это залог и для нас? Может быть, мы когда-нибудь опять поедем с ним по этой дороге. остановимся в этой гостинице. И опять будет дождь, и опять в небе появится эта дивная радуга, и я скажу ему, что здесь же в садике у вишен смотрела на нее, не понимала и никогда не пойму, что это такое, но думала о нем, думала, что она залог между ними и что, может быть, и он ее теперь видит и хоть немного думает обо мне».

Встреча на Шелковичной была очень волнующей. Константин Платонович выбежал им навстречу. Лиля и Тятенька чуть не ахнули, увидев его: так он изменился. Они плакали, обнимаясь, еще на улице. Затем Лиля долго плакала в зале, в уголке матери у печки.

Но и здесь в первую же минуту она подумала о письме. Спросила отца и узнала, что письма лежат в кабинете на столе. Улучив минуту, прошла в кабинет и, еле дыша, оглядываясь на дверь, всё просмотрела. «Нет!.. Забыл!.. Не любит!...»

Ей тотчас пришлось заняться будничными делами. Они приехали в двенадцатом часу дня, надо было распорядиться о ванне, о чае. Дворник и ямщик переносили вещи Лили в ее комнату. Тятенька свой багаж велел оставить в передней, — считал себя обязанным провести первый день с ними. Заплатил ямщику на чай раза в два больше, чем полагалось, так как торг был бы теперь при Лейдене неудобен: как будто молчаливо предполагалось, что деньги больше никакого значения не имеют (Константин Платонович почти с отвращением замечал все эти мелочи). Отпустив ямщика, Тятенька опустился на корточки перед большим чемоданом, достал пакет, тяжело встал и вручил его Константину Платоновичу с таким видом, с каким подают священный предмет. Это были письма, полученные им в Петербурге.

Лейден ушел в кабинет, там прочел всё в первый, во второй, в третий раз и вернулся без кровинки в лице.

Дворник принес самовар и собрал на столе всю бывшую в доме нехитрую еду. Тятенька на нее покосился. Масло было куплено третьего дня, хлеб вчерашний, ветчина высушенная. Лиля

уже доставала из ящичков буфета другие ножи и вилки. «Никифор ничего не знает! Завтра всё наладим», — говорила она, и видно было, что она вступает в роль хозяйки дома. Ее взгляд даже незаметно скользнул по водке, когда отец налил себе четвертую большую рюмку. Точно так на него за обедом в таких случаях искоса смотрела Ольга Ивановна.

Тятенька тоже всё поглядывал на Лейдена: «Что это у него тик какой сделался? А я-то его считал бесчувственным человеком!.. Ну, да пройдет, не может не пройти. Жизнь ему Лиля наладит, и я помогу. Надо будет первым делом подыскать хорошего повара вместо Ульяны».

Дворник опять рассказал о последнем дне барыни. Лиля снова заплакала, и Тятенька прослезился, дожевывая бутерброд. Часа в три все поехали на кладбище. Там больше не плакали. Говорили о памятнике, о том, какую сделать надпись, смотрели на другие надписи. Тятенька восхищался красотой вида: «Она так любила Днепр!» На обратном пути долго молчали. При виде далекого монастыря Тятенька прочел: «Под Киевом, где Днепр широкий — Меж диких скал кипит, шумит, — На склоне, на горе высокой — Обитель иноков стоит». При этом опять поздно вспомнил, что не следовало читать стихи, хотя бы и такие. «И всё преувеличено: и Днепр не шумит и не кипит, и диких скал никаких нет. Правду говорил когда-то Костя, все они, литераторы, привирают. Сам его Пушкин очень привирал. Описал в «Полтаве», как сошла с ума Мария Кочубей, а никакой Марии никогда и не было, дочь Кочубея звали Матреной и, главное, она и не думала сходить с ума из-за Мазепы, а преспокойно вышла потом замуж за полковника Чуйкевича, я еще его родных знал... А Лилька, милочка, смотрит на монастырь и верно думает, что сама ушла бы к этим инокам на гору».

Обеда не было приготовлено. Пришлось отправиться в ресторан. Там настроенье стало уж совсем будничным. Тятенька сказал «что-то не обедается», заказал семь блюд и всё старался шутить. Константин Платонович сердито морщился. «Какой-то он стал *нарочитый* и очень утомительный...»

В ресторане появились знакомые. Они подошли к Лейденам с грустными лицами, сказали, что собирались к ним зайти на следующий день, попросили разрешения «присесть» и долго выражали сочувствие. «Верно, досадуют, что попались... Они

оба мне написали, тоже, как все, писали об *искреннем* сочувствии, точно без этого слова сочувствие было бы признано фальшивым», — думал Константин Платонович. Но и ему, и Лиле, и Тятеньке странным образом стало легче при посторонних людях. Знакомые очень тепло говорили об Ольге Ивановне, старательно прибавляя всякий раз слово «покойная». Затем все немного помолчали. Погода была не жаркая и не холодная, так что за нее ухватиться для разговора было трудно. Один из знакомых сильно чихал, и Тятенька это использовал, — задавал обычные в таких случаях бессмысленные вопросы: «Да где вы так простудились? да как это вас угораздило?..» Затем разговор понемногу пошел. Лиля рассказывала даже о петербургской опере, а под конец обеда сам Константин Платонович что-то сообщил о революции в Вене.

О Константинополе и Флоренции он не сказал ни слова и не ответил на вопрос Тятеньки, очень ли он там скучал без единой знакомой души. Тятенька даже несколько насторожился, как ни далека от него была мысль, что его друг мог иметь за границей любовную связь. Один из их знакомых был врачом. Он решил, что надо поговорить о Лейдене с Тятенькой. «У него глаза душевнобольного, — сказал он своему приятелю, когда они остались одни, — и ты заметил, он на дочь ни разу и не взглянул». — «Не до поросят свинье, как сама на огне», — ответил другой, и ему стало тотчас совестно, что он привел столь грубую поговорку. Врач только взглянул на него укоризненно.

Ресторан находился внизу между Подолом и Липками, у Жандармского сада, где застраивался Крещатик. Таким образом ехать им приходилось в разные стороны. Тятенька нерешительно предложил, что останется у них и ночевать. Ему очень хотелось поскорее вернуться в свой домик, в котором перины были чуть не до потолка, а погреба, шкапы, кладовые ломились от бутылок, варений, солений. «Вещи разберем завтра, старуха всё и без меня сделает. Вот только меню я сам спрячу», — думал он: в Петербурге не раз обедал в дорогих ресторанах и всегда уносил меню для своей коллекции. Он с удовлетворением чувствовал, что опять началась тихая, устоявшаяся жизнь: уютный киевский быт, где ничто никогда не изменится, не может измениться и не должно: «Так было, верно, при Кие, при



Аскольде, так будет и через пятьсот лет, и слава Богу!.. Олечки больше нет, что ж тут поделаешь. Бедный Костя верно теперь выдумывает философию, а тут никакой философии не надо, или она давно выдумана. Сделаю всё, чтобы они утешились поскорее. Они мне теперь, особенно Лилька, самые близкие люди на земле».

— ...Да нет же, Тятенька, вам пора домой. Чем вы нам сейчас поможете? — сказала Лиля со вздохом. Подумала, что дома ничего нет, а Тятеньке понадобится и ужин. Она очень устала и хотела лечь спать поскорее.

— Ты права, деточка, вам лучше остаться вдвоем, — радостно ответил Тятенька. — Так до завтра. Возьмите оба себя в руки. Вонми, Костя, гласу моления моего, сосни, — посоветовал он. «Если он еще скажет что-либо такое, я не выдержу и устрою скандал!» — подумал Лейден.

Ему не очень хотелось и оставаться вдвоем с дочерью: всё было уже сказано. Жизнь вошла в колею. «Винить некого, Лиля молода, но тяжела эта «колея»! И слово какое гадкое для гадкого понятия... Как им всем не совестно так лгать? Везде фальшь, всё фальшь».

В коляске они опять молчали. Затем Лиля спросила отца:

— Папа, только те письма были, какие лежат на письменном столе?

Лейден смотрел на нее непонимающим взглядом.

— Письма? Какие письма?.. Ах, да... Нет, больше никто не писал. Не все ведь и знают, что я уже вернулся в Киев.

— И для меня ничего не было?

— Не было. То же самое: люди, верно, думают, что ты еще в Петербурге.

— А что, папа, тот польский граф? Мама вам о нем писала. У него тогда читал Бальзак. Он теперь в Киеве?

— Бальзак?

— Нет, этот граф.

— Не знаю. Откуда же мне знать?

Когда они вернулись домой, он попросил ее лечь спать. «Всё остальное завтра». Константин Платонович поцеловал дочь и пошел купаться. Лилю несколько встревожило, что он оставался в ванной очень долго, больше часа. «Уж не случилось ли что?..» Она на цыпочках вышла в коридор и испуганно остановилась: Константин Платонович разговаривал сам с собой и

вскрикивал. «Что такое? Что с папой!» Так же на цыпочках она вернулась в свою комнату. «Надо сказать Тятеньке...» Не погасила у себя свечи, пока не услышала, что отец направился в кабинет. «Может быть, ничего нет нехорошего? Просто от рассеянности... Но этого никогда с папой не было».

В кабинете Лейден хотел снять халат, но на это не было сил; он опустился, почти повалился на диван и задремал. Опять был сон и опять бессмысленный. Снилось, будто Тятенька уже говорил тем знакомым, что надо было бы найти Косте вторую жену. «Помилуйте, что вы! Он конченный человек!» — возмущенно отвечали знакомые, оказавшиеся графом Бобринским. Хотя мысль о новой женитьбе показалась бы самому Лейдену дикой и отвратительной, его раздражило, что граф считает ее невозможной, а его конченным человеком. Затем снился уж совершенный, постыднейший вздор, — будто он в халате — и не в новом термоламовом, а в старом — пришел в гости на прием к графу Бобринскому (о котором верно с год ни разу не вспоминал) и был от этого в ужасе, — вдобавок на рукаве было большое пятно и все гости смотрели на него с презрением... Он точно велел себе проснуться и со злобой подумал, какие идиотские сны могут сниться человеку в таком положении, как он, точно жизнь старается испачкать комическим всё.

На следующее утро началась работа, скоро вернувшая дом в его прежнее состояние. Лиля никогда хозяйством не занималась, однако домовитость была ею унаследована от матери. С утра люди из аптеки во второй раз что-то жгли, окуривали комнаты. В середине дня появились повар и горничная. Константин Платонович до приезда дочери спал на диване без белья, на кожаной подушке, — теперь на том же диване была белоснежная постель. Перевести отца в спальную Лиля не решилась. «Да и не всё ли равно? Кабинет нам и не нужен, верно, никаких гостей в доме несколько месяцев не будет». Она не спрашивала себя, как поступила бы мама, но делала именно то, что сделала бы Ольга Ивановна. Повару был тотчас заказан обед, и даже обильный: Лиля понимала, что Тятенька в первое время будет у них обедать каждый день. Сама разыскала ключи, спустилась в погреб, достала наливку и вино.

Мысли у нее были всё те же: как бы узнать, что с Яном? «Я к этому графу никак поехать не могу. Попросить Тятеньку? Неловко». Кроме польского графа, никто в Киеве ничего о Яне знать не мог.

Тятенька действительно приехал к обеду. Собирался было повезти их опять в ресторан, но узнав, что обед будет дома, обрадовался и очень всё одобрил.

— Молодец, Лилька, так и надо. За один день дом неузнаваем, — сказал он и заговорил с Константином Платоновичем.

Хотя Тятенька раздражал и Лилю шутивым тоном и прибаутками (ей вообще казалось, что он несколько ослабел после смерти ее матери), на этот раз он поразил ее своей тонкостью и деликатностью. Сядься за стол, сообщил, — не ей, а ее отцу, — что *встретил* того польского графа, у которого зимой читал Бальзак.

— Тебя тогда не было, а мы с покойницей и с Лилькой были. Удостоил нас тогда приглашения и принял небезвнимательно. Это нам устроил пан Ян.

— Ах, да, что же Ян? — рассеянно спросил Лейден.

— Должно быть, цветет как роза, но он ни к кому не писал. Ни граф, и никто от него не получил ни строчки, все его прежде ругали. Да оказалось, что теперь письма задерживаются цензурой на границе.

— Как задерживаются на границе? — быстро спросила Лиля и вспыхнула.

— Так, очень просто. Не велено пропускать.

— Это давно?

— Чуть не с первых дней, как стало известно о революции в Париже. Скоро был разослан из Петербурга приказ всё задерживать. Теперь и сами они ни о чем правды знать не будут, только и узнавали из иностранных ведомостей. Якова Долгорукова у нас больше нет. Как-то, Лилька, Петр Великий вернулся домой в сильном гневе: Яков Долгорукий ему всё выпел. Екатерина царю и говорит: «Зачем же ты его не удалишь?» А он в ответ: «Э, Катенька, как его удалю, то кто же будет мне говорить правду?» Нынешние не то, — говорил Тятенька. Лиля нетерпеливо его слушала.

— И долго не будут доходить письма?

— А уж этого не скажу. О предъидущем судить рановременно. — Тятенька часто, следуя летописям и Карамзину, называл

будущее предъидущим. — Не думаю, чтобы уж очень долго: у нас хоть и Турция, но не совсем Турция. Пройдет несколько месяцев, и сношения возобновятся, не могут не возобновиться... Помнишь панну Зосю? — небрежно вставил он. — Еще говорили, что наш пан Ян на ней женится! Вранье было, конечно, она недавно вышла замуж за другого. Но он с ее семьей были друзья, и, граф говорит, старик очень обижался, почему Ян не пишет: хоть бы два слова написал. Ну, а потом и они узнали, что письма не проходят. Да я и свою «Аугсбургер цайтунг» получил только до марта. Она, кстати, в последнем номере сообщает, что из Франции все бегут. Скоро и Ян к нам вернется.

— Почему бегут?

— Потому, деточка, что после революций везде всегда начинается собачье житье. Сказывают, гоноровый пан вернется в Киев, — врал Тятенька. Он по-прежнему несколько не желал, чтобы Лиля вышла замуж за Виера, но хотел ее утешить. «Скоро пройдет, мало ли таких вьюношей, найдется кто-нибудь и получше». — Ну, ладно, так выпьем за здоровье пана Яна. А, и венгерское есть? Молодец, Лилька. Тогда тем паче за него выпьем. «Поляк, венгер то братанки, — Як до шабли, так до шклянки».

Лиля залпом выпила бокал венгерского. Она еле дышала. По ее убеждению, Тятенька, как и ее отец, знали всё. «Слава Богу! Ах, слава Богу!..»

За обедом Тятенька угощал Константина Платоновича:

— Ты должен есть побольше, иначе ты заболешь, что ж тут будет хорошего? — убедительно говорил он. Лейден злобно молчал. — Ну, возьми же еще кусочек индейки. Это самая здоровая еда. Индейка изряднейшая, одобряю нового повара. Положить тебе?

— Не хочу. Сыт.

— Ты не можешь быть сытым! И венгерского пей по бутылке в день. Ну, просто пей как лекарство. Это самое что ни есть укрепляющее вино.

— Вино папа пьет, — многозначительно вставила Лиля.

— Да что ж вино без еды! И еще я посоветовал бы тебе нюхать табак, это, люди говорят, очень успокаивает. Знаешь что? У меня есть старинная табатерка, я тебе ее дам.

— Иди к черту с твоей табатеркой! — сказал Лейден и встал из-за стола. И Лиля, и Тятенька смутились.

— *Dixi quod dicendum*<sup>1</sup>, — сконфуженно сказал Тятенька. — Ну, не хочешь слушаться, так не слушайся. Что ж злиться-то! упусти мне, естли что не так сказал.

Когда ее отец ушел в кабинет, Лиля попросила Тятеньку на него не сердиться.

— Да я и не думаю! — ответил Тятенька, хоть он в самом деле немного сердился на своего друга. «Всё же кое за что мог бы быть мне теперь благодарен. А он то лает, как пес, то холоден, как полюс».

— Уж я просто не знаю, что с папой происходит. Представьте себе, что было вчера...

Лиля с волнением рассказала, что отец в ванной разговаривал сам с собой. Тятенька слушал, вздыхая. Он сам был напуган. «Вдруг вправду спятит!..»

— Я не хотел тебе говорить, но уж если ты заговорила, Лиленька... Да, что-то с ним творится. И не мы одни, замечают и чужие... Как бы его уговорить позвать доктора? Я этим эскулапам ни капельки не верю и бегу от них как от огня, но он прежде любил лечиться.

— Да что же доктору сказать? Что папа сам с собой разговаривает?

— Найдем, что сказать. Ты не волнуйся, деточка. Просто он измучен, и это естественно после такого несчастья. Ведь папа, как те рыцари-однолобы, у которых девиз был: «*Autre n'aigay*»<sup>2</sup>, — с игреком на конце... Вот летом поедете в Боярку, воздух там чудесный, он живо отойдет. Я буду к вам наезжать.

— Нельзя в Боярку, я уже думала. Там всё будет напоминать о маме, — сказала Лиля и прослезилась. Тятенька ее поцеловал.

— Ты права, я не подумал. Ну, быть может, на теплые воды? Вот что, ты ему скажи, что ты худо себя чувствуешь. Пользы не будет, но, Бог даст, не будет и вреда: какой же вред от теплых вод, особливо естли не купаться в них и пить вместо них венгерское?.. Не плачь, деточка, всё устроится. Вот скоро приедет пан Ян, мы с ним посоветуемся.

---

<sup>1</sup> Сказал то, что следует сказать (*лат.*).

<sup>2</sup> «Другой возлюбленной не будет» (*старофр.*).

— Подумать только, что он еще и не знает о кончине мамы! Надо известить его! Ведь этого требует просто вежливость. Но как? Значит, цензура и отсюда задерживает письма? Вы это наверное знаете, Тятенька?

— Наверное. Задерживает, проклятая, все. Да я ж тебе говорю, он скоро будет здесь, комнату для него готовь, — сказал Тятенька. Лиля просветлела. «Ох беда!» — подумал он и простился. По своему характеру он не мог долго находиться в обществе несчастных, горюющих людей. Кроме того, голова у него тяжелела в этом доме, где еще стоял запах курений. Обещал приехать к обеду и на следующий день.

— Каждый день буду приходить, пока не выгоните.

— Тятенька, милый, я вам так благодарна! Без вас мы совсем пропали бы, — сказала Лиля, целуя его.

— Ну, вот! И знаешь что, Лилька, ты опять зови друзей. Хочешь, я им скажу? — Он назвал двух-трех человек, общество которых было ему приятно: они тоже умели весело есть и пить. — Папу надо теперь развлекать.

— Вы правы! — горячо сказала Лиля. — И, пожалуйста, скажите им, чтоб они не боялись. В аптеке ручались, что после второго окуриванья ни малейшей опасности нет.

— Завтра же и приведу кого-нибудь.

Лиля отдала еще несколько распоряжений по хозяйству, затем зашла к отцу в кабинет. Он сидел, в термоламовом халате, не за письменным столом, а у стоячей лампы, в том покойном кресле, в котором Ольга Ивановна иногда по вечерам слушала его споры с Тятенькой.

— Мне так совестно, папа, что я вчера для вас не вынула ни белья, ни подушек, — сказала Лиля. — Себе взяла из чемодана, а вы так и спите на голом диване! Я просто не подумала, не сердитесь на меня!

— Не сержусь, — ответил он, едва ли поняв ее слова.

Она поцеловала его в лоб и зажгла две свечи на маленьком столе у дивана. Ни ночного столика, ни других вещей из спальни в кабинет, по ее распоряжению, не переносили. Проверила, есть ли под подушкой ночная рубашка, принесла стакан еще не совсем остывшей отварной воды: она приказала целый день кипятить в огромных чанах воду, чтобы сырой никто в доме не пользовался. Затем пожелала отцу доброй ночи и ушла к себе.

«Ах, как это хорошо, тот девиз: «Autre n'auray», — думала она. — Только у нас с Яном будет не так, как у папы с мамой. У них тоже было хорошо, у нас же будет другое, совсем другое, но тоже «Autre n'auray»... Что он теперь делает? Думает верно, как доставить письмо... Он мне сказал: «Вы узнаете мои планы, *наши* планы... *Наши* планы... Милый Тятенька говорит, что он вернется. И папа кивал головой... Но как же мы будем жить? И папу мне теперь нельзя оставить? Что, если бы мы поселились вместе все трое? Наш дом большой, папа взял бы первые две комнаты. А из зала я сделала бы кабинет Яна, зачем нам зал?...»

## II

Ведь никто не знает, что такое смерть. Может быть, она величайшее из всех благ. Тем не менее все ее боятся, как если бы было достоверно известно, что она величайшее из всех зол. Разве постыднейшее невежество не заключается в том, чтобы думать, будто ты знаешь то, чего ты совершенно не знаешь?

*Платон*

Он чувствовал, что не заснет до утра. Зажег еще свечи и стал расставлять по полкам привезенные им книги, приводить в порядок бумаги. Как всегда, на полках книги были так тесно прижаты одна к другой, что он вытаскивал их нелегко и ронял с проклятьями на пол; из многочисленных же тетрадок находил последней именно ту, которую хотел найти первой. Затем бросил эту работу.

Думал, что надо как то наладить жизнь, чем-то заполнить остающиеся ему годы. Он собирался перевести на имя дочери свои плантации и киевский дом. У него было и немало наличных денег. «И есть мой труд. Но над чем же мне трудиться? Основать, например, издательство с просветительными целями? Найти что-либо другое, *беспорное*, если только есть такое? Не могу больше жить только для себя. Не могу теперь и заниматься платанами... Собственно и это *новое* — те же платаны, только с денежным убытком вместо прибыли? Меня теперь не так интересует общее благо или то, что они называют общим

благом: та же сумма нолей. Значит, как прежде, заниматься делами, чтобы Лиля была богаче? Да, прежде это занимало и беспокоило. Но уехал я за границу не для этого, а потому, что для меня, как для большинства людей, настала пора, когда и делать в жизни больше нечего, и ждать тоже нечего... А что, если я уехал от холеры? — вдруг с ужасом и отвращением подумал Лейден. — Нет, нет, неправда, этого в мыслях не было! Иначе я был бы совершенный негодяй!.. Если не буду ничего делать, то совсем помешаюсь и в доме умалишенных окажусь личным другом Аллаха или Миноса. Если же хоть полдня буду занят, то, быть может, выздоровею. Сам чувствую, что уже кое-как выздоравливаю. Человек так подло устроен, что нет такого человека, без которого он не мог бы обойтись. Быть может, помогла и моя гимнастика смерти. Было ли у меня вправду растройство? Может, и было. Мальбранш, Локк, Лейбниц создали науку психологии, она исходит из однородного понятия души. Между тем, и без всяких растройений, без всяких ненормальностей, душа самое неустойчивое из явлений. Она изменяется, если не каждый день, то уж наверное каждый год, она не вполне однородна и в течение одного дня. Первое деление ясно: душа, показываемая людям, и душа, видимая только себе. Но это деление элементарно, оно не принимает во внимание наслоений, которые переходят от предков, накапливаются веками, скрываются в тайниках души, — пока вдруг при подходящей обстановке не проявляются к ужасу самого человека. Ведь всё-таки в нас живут, не могут не жить, черные души далеких предков, души непонятные, тупые, преступные. Религия, цивилизация, быть может, понемногу их и просветляют, но до сих пор не очень просветили, мир густо насыщен даже не грехом, а преступленьем. Следы этих душ есть в каждом из нас, и, быть может, сложность человека определяется числом таких наслоений. У Шекспира, у Наполеона их верно были десятки. А человеческая *чистота*, вот та, что была у Оли, это приближение к однородности, к *лучшей* из однородностей...»

Он раскрыл книгу Шопенгауэра. Читал по-прежнему с восхищеньем, но всё больше убеждался, что не для него этот выход, с литературным и философским блеском, не для него бессмертие с «*Unendlichkeit a parte post*» и с «*Unendlichkeit a*



*parte ante*<sup>1</sup>. «Конечно, он в сто раз умнее и глубже меня, допустим, он глубже всех философов в мире, однако не может быть выходом бессмертие, основанное на признании каждой отдельной жизни бессмыслицей. Что мне от *его* бессмертия? Да может ли быть и *его* бессмертие, если не бессмертна сама Вселенная?.. А что предлагают люди, как Тятенька: не думать обо всем этом? А я никогда не умел «не думать обо всем этом», разве это от меня зависит?.. Мне неизвестно, кто этот Шопенгауэр. Я, оказалось, никак не Би-Шар: если б был Би-Шаром, то и мысль о смерти преодолел бы по-своему, очень легко. Но он, быть может, Би-Шар почище моего Неизвестного... Человек всё-таки лучше того, что он о человеке думает: ненамного лучше, но лучше. И я, быть может, лучше, чем сам о себе думаю. У многих других не было бы и того, что называют угрызеньями совести. Люди очень меня не любят преимущественно потому, что им со мной скучно и что я этому рад. Я никак не ставлю себе целью их забавлять или развлекать, пусть этим занимаются скоморохи. И как ни слаба была моя «новелла», в ней была доля правды, и именно правды моральной. В чем же эта доля? В том, что бессмертие заключается в любви, не в той общей любви к людям, о которой говорят положительные религии, а отдельной, *частной* любви, в каждом случае своей и ни на какую другую не похожей. Оленька пишет: «Помни одно: я не думаю, а знаю, что мы снова сойдемся в лучшем мире, где нет ни печали, ни воздыхания». Если бы так!..»

Он вспоминал каждое слово из прощального письма жены, и слезы катились у него по щекам. «Как же люди живут, почти не думая об основном, важнейшем вопросе человеческого существования? Они спрашивают: «Да что же нам делать?» А я отвечаю: «Надо *создать* бессмертие, пусть субъективное и, как ни странно это звучит, пусть ограниченное во времени, — вдруг подумал он. — Я отвечаю, что если я всегда, весь остаток моих дней, буду думать о ней, буду думать каждый день, каждую ночь, буду думать вечером, засыпая, буду думать утром, просыпаясь, то это и есть бессмертие, тогда для меня ее кончина не существует. Конечно, это не то, что было в жизни, но это лучшее, что было. У нас были мелкие раздоры, даже

---

<sup>1</sup> «Бессмертие *после* <...> «Бессмертие *до*» (нем., лат.).

мелкие ссоры, была мелкая проза существования. Всё это, всё наносное теперь отпало. Осталась *она* и осталась для меня навсегда».

Он встал, прошелся по комнате, сел в кресло. «Да может быть, этот *мой* выход просто заключает в себе старую мысль: надо сохранить любовную память об умершем? Нет, это не то, совсем не то. Я могу довести себя до полного общения с Олей, до такого общения, при котором ее смерть просто не существует! Тогда, по дороге в Краков, я разговаривал с ней так, точно она сидела рядом со мной в дилижансе: я видел ее как живую, слышал ее голос, ее интонации, слышал — знал доподлинно, — *что* она говорит, как принимает каждое мое слово, как отвечает, что мне советует. И я доведу себя до того, что всегда буду в таком состоянии. Не всегда в буквальном смысле слова, как ведь не всегда она бывала со мной и при ее жизни. Но когда я буду один, вечером, ночью, в любую минуту, я буду знать, что она со мной, что она *тут*... Да, какая у нее была жизнь! Всё у нее было так однообразно, так неинтересно, и она сама, конечно, думала об этом и утешала себя, что работает для меня. Отдыхала два-три часа в день. Тогда читала. — Константин Платонович вспомнил, что нашел в кабинете какой-то русский исторический роман с князем Аникитой. — Никаких других женщин в моей жизни не будет... А пусть люди считают меня сумасшедшим, я ведь вижу, как они все на меня поглядывают, даже Лиля. Они еще больше будут считать сумасшедшим *мой* выход... Почему? Я читал какой-то немецкий врач или физик говорит об энергии, об ее сохранении, о том, что энергия не гибнет, она только меняет форму. Над ним еще недавно смеялись, теперь же ученые, кажется, больше не смеются. Этот врач не сделал выводов из своего учения, он остался материалистом. Но если он прав в отношении своих видов энергии, то нет никаких оснований отрицать энергию духа, которая также исчезнуть не может. Лавуазье отрубили голову в цвете лет, Декарт тоже в цвете лет умер внезапно от простуды, куда же делась огромная энергия их мозгов? Материалисты скажут, что она именно превратилась в кристаллы, землю, растения. То же здесь в сущности говорит и Шопенгауэр. Но ведь это нелепость: мозг барана дал бы столько же всего этого, сколько мозг Декарта! Вечна энергия духа, вечна и одна из ее

разновидностей: любовь. И как надо создавать известные условия, например, для проявления теплоты, так надо себе — каждый себе — создать условия для проявления духовного бессмертия. Эта энергия не *вечна*? А кто может утверждать, что по-настоящему вечна та, другая? Мир, вероятно, вообще кончится в результате какой-нибудь планетной катастрофы. Для меня достаточно и бессмертия ограниченного временем. *Наша* любовь с Олей, наша душевная связь останутся, пока я жив, они продлятся до моего последнего вздоха, а это главное! И я знаю, это утешило бы ее, как сейчас утешило меня... Затем, в неизмеримо меньшей мере, связь продлится в памяти, в душе Лили. Потом, быть может, еще сохранится смутная память на веру у ее детей. Затем всё исчезнет. Но *наше* бессмертие останется, и этого достаточно. Я нашел свой выход\*.

### III

Herr Omnes<sup>1</sup>.

*Luther*

Виер каждый день ходил по городу в поисках работы. Но работу в середине 1848 года в Париже было трудно найти и французам. К полякам же работодатели относились враждебно, считая их всех революционерами. Паспорт у него был русский, но Виер тотчас говорил, что он поляк. Обычно ему кратко отвечали, что сейчас ничего нет. В худших же случаях, правда очень редких, иронически предлагали вернуться к себе на родину: «Rentrez chez vous».

— А что ты умеешь делать? — спросила его в ресторане Роксолана через неделю после их первой встречи.

— Я ищу любой работы, — ответил он. Ее вопрос его снова несколько озадачил: почти ничего делать не умел. Но он о себе говорил с ней редко. Ему уже и вообще, как прежде Лейдену, казалось, что разговаривать с ней скучно, не о чем и незачем. — Я ищу любой работы, но мое настоящее занятие это революция. Скоро таких, как я, будет много.

— И вам будут хорошо платить?

---

<sup>1</sup> Господь — всё.

— Нет, платить ничего не будут.

Роксолана вздохнула. Она очень его жалела. До того у нее никогда не было любовника, который ей не платил бы. Одни давали много, другие мало, но не получать ничего ей было странно и даже смешно. «Вот как если бы я пришла в ресторан и потребовала обед бесплатно!» — думала она. И тем не менее никто не нравился ей так, как этот мрачный молодой поляк.

Ей пришло в голову, что она сама могла бы ему предложить работу: он мог бы вводить к ней клиентов, как у старой гадалки тот человек в шляпе с пером. Это было бы очень полезно для дела. «Тогда у меня и поселился бы, и костюм я ему купила бы самый красивый!». Но хотя она совершенно не понимала, что он за человек, почувствовала, что он денег не возьмет. «Может быть, пока не возьмет, а потом сразу потребует много? Что ж, если не очень много, то я дам!»

Когда подали счет, она сказала ему:

— Знаешь что, сегодня заплачу я.

Он вспыхнул и, несмотря на свою обычную вежливость, назвал ее дурой. Сам тотчас смутился, слово у него сорвалось. Роксолана испугалась: «Еще бросит!»

— Ты меня не понял! Я думала так: сегодня заплачу я, а завтра ты.

До тех пор всегда платил за обоих Виер. Правда, они обедали в очень дешевом ресторане. Мужчины всегда за нее платили, но его ей было совестно вводить в расход. Заметив его смущение, Роксолана тотчас это использовала; так полагалось по правилам мудрости. Сделала вид, что очень обиделась. Виер чувствовал, что виноват, и старался загладить свою вину. Сохранив обиженный вид сколько было нужно, она пригласила его на обед к себе. Он тотчас принял приглашение. Угостила его константинопольскими блюдами, которые готовила хорошо. Стряпать вообще не любила, но для него стряпала с удовольствием и у плиты ласково улыбалась. Купила южное сладкое вино, хотя оно стоило недешево.

— Ах, как жаль, что у французов летом не едят устриц, — говорила она. — Ты любишь жареные устрицы? Верно, ты ел их в Константинополе?

— Нет не ел. Или не помню.

— «Не помню!» Когда мы оба заработаем много денег, съездим вместе в Константинополь. Ах, какой город! Я так по нему скучаю!.. Но прежде надо разбогатеть. Вот ты такой умный, такой ученый, а денег у тебя нет, — сказала Роксолана.

— Надо разбогатеть? Едва ли я разбогатею. Да ведь ты сказала, что у меня короткая линия жизни.

— Нет, не короткая! Бывают длиннее, но твоя не короткая... Как я рада, что ты пришел. Вот спасибо.

В середине июня он, потеряв надежду найти занятие в частных предприятиях, зашел в Национальные мастерские, созданные Временным правительством в начале революции. Многочисленные безработные принимались туда на работу за плату от одного до трех франков в день.

Приемная была полна. Издали доносился гул машин. Разговаривать было трудно. Заведовавший приемом человек всем отвечал одно и то же:

— Какой теперь прием! — кричал он, стараясь покрыть гул. — Не сегодня, так завтра эти господа всех нас выбросят на улицу. Разве вы не знаете, что в их Национальном собрании уже обсуждается вопрос о закрытии мастерских?

— Что же нам делать?

— Наши говорят, что, если рассчитают, то все выйдут на улицу. Пора, чтоб была настоящая революция!

— Надо, чтобы к власти пришел принц Наполеон! — прокричал какой-то старый рабочий. — Никто не голодал при императоре!

— Да, так говорят многие. В мастерских всюду прокламации: «Vive l'Empereur!»

— А нет ли прокламаций «Vive la Sociale»<sup>1</sup>? — спросил Виер тоже неестественно громким голосом.

— Есть и такие, только их меньше.

— Напрасно! — сказал Виер.

Он пошел по грязным коридорам, мимо механических мастерских. Отовсюду слышался грохот. Виер приотворил грязную боковую дверь, заглянул и чуть не отшатнулся: так оттуда дохнуло жаром. Что-то громадное поднималось и тяжело падало. Горели кроваво-красные огни. Вокруг них что-то делали

---

<sup>1</sup> «Да здравствует император!» <...> «Да здравствует общество» (фр.).

полуголые люди. Пожилой человек в блузе поспешно подошел и, грубо выругавшись, захлопнул дверь перед носом Виера. «Нет, этот ад не для меня. Всё равно свалился бы через месяц. Они не сваливаются, они привыкли с детства и к этой работе, и к этой грубости. Теперь «Свобода, равенство, братство», но здесь такое же хамство, как всегда было. И этот ведь тоже рабочий!»

Виер вышел на улицу. Было очень жарко, но жарко по-человечески. Было и шумно, но шумно по-человечески. Спокойствие скоро к нему вернулось. Если он теперь еще о чем-либо жалел, то разве лишь о том, что погибнет на баррикадах в *малом чине*, просто рядовым. «Или опять проснулась моя тайная, детская любовь к военному делу? — спросил он себя с улыбкой. — Ну, рядовым так рядовым. Всех, без различия чина, закопают в грязи, в общей могиле.»

Несмотря на сбою бедность, он в этот день взял билет на концерт. Исполнялась «Героическая симфония». Она уже входила в моду в Париже. То, что Бетховен посвятил ее Бонапарту и снял посвящение, когда генерал принял корону, способствовало ее успеху: одним нравилось, что посвятил, другим нравилось, что снял, третьи же находили, что венский композитор ничего не понимал в политике, ибо первый консул в своем отношении к идеям свободы и народоуправства уже ничем почти не отличался от императора. Виера симфония потрясла. «Что, если это не хуже «Гугенотов»? — задал он себе смелый чуть ли не до кошуинства вопрос. — Лейден говорил, что каждый человек иногда соприкасается с потусторонним миром. Если так, то музыка к этому вернейший путь... Какое счастье верно испытывают Мейерберы и Бетховены, когда это пишут! И какая же может быть справедливость, какое равенство, если это счастье дается одному человеку из миллиона, а понимает его как следует один человек из десяти. Зачем же жить людям, как я? Мы пыль земли, мы воплощение посредственности, но посредственность может скрасить смертью никому не нужную жизнь. А там увидим, правы ли были дервиши и все думающие о загробной жизни приблизительно, как они. Почему же не раскрывается мне хоть смутно, хоть намеком, этот потусторонний мир, если приходит конец, если смыкается мой круг?»

В начале июня хоронили рабочего, случайно убитого в стычке с полицией. Виер пошел на похороны. Собралось человек пятьдесят. Лица у людей в блузах были хмурые и злые. Он проводил гроб до самого кладбища. Там уже оставалось не более двадцати человек. С кладбища зашли куда-то выпить. Он не пошел. Возвращаясь к себе через весь Париж пешком, вспомнил слово, сказанное когда-то Дидро: «Каждому из нас под конец жизни случается следовать за собственным своим гробом».

#### IV

Эти безумства были в свое время вбиты им в голову легкомысленным английским священником из Кентского графства, которого звали Болл и который за свои безумные слова часто сидел в тюрьме архиепископа Кентерберийского. Этот Болл по воскресеньям, после мессы, когда все выходили из церкви, отправлялся на кладбище, собирал там народ и говорил ему: «Добрые люди, дела не могут и не будут хорошо идти в Англии, пока все имущество не будет составлять общей собственности, пока будут существовать дворяне и холопы, пока мы не будем все равны...» Многие простые люди его за это хвалили, а неблагонамеренные говорили: «Он говорит правду...» Об этом стало известно архиепископу Кентерберийскому. Он сажал Болла в тюрьму и держал его там в наказание по два-три месяца. Уж лучше бы он в первый же раз приговорил его к вечному заключению или умертвил его<sup>1</sup>.

*Фруассар*

Баррикады появились еще раньше, чем думал Виер.

Июньское восстание 1848 года было одним из самых кровопролитных в истории. Погибли десятки тысяч людей, раза в четыре больше, чем в Варфоломеевскую ночь. Оно отличалось еще многим другим. Никаких вождей у него не было, все главари крайних были в тюрьме. Кто руководил им, в сущности неизвестно. Вероятнее всего, никакого руководства не было.

---

<sup>1</sup> Хроника 14-го столетия.

Не было и никакого плана. Прудон, с делающей ему честь откровенностью, писал: «До 25-го я ничего не предвидел, ничего не знал, ничего не угадал». Это восстание было в истории, быть может, единственным, в котором личное честолюбие, стремление прославиться, желание сделать карьеру не сыграли никакой роли.

Оно было вместе с тем и совершенно бессмысленным делом. Народ будто бы хотел «войны с Россией за освобождение Польши». Так, по крайней мере, уверяли многие очевидцы событий и историки. Если даже допустить, что народ, — весь народ, или хотя бы значительная его часть, — когда бы то ни было, где бы то ни было в самом деле хочет войны, в 1848 году было совершенно ясно, что война теперь невозможна. К революционной Франции никакая держава не присоединилась бы. Да и та война, которую несколькими годами позднее начал с Россией Наполеон III в союзе с тремя государствами, не ставила себе целью освобождение Польши и к этому освобождению не привела. Не было и никакой возможности установить во Франции социалистический строй; он не был установлен и в течение следующего столетия. Если бы 23 — 25 июня революционеры победили, то они 26-го уже не знали бы, что делать, и начался бы совершенный хаос.

Не менее бессмысленны были и действия их противников. Они в парламенте постановили закрыть Национальные мастерские, ссылаясь на необходимость сокращения расходов. В идее Национальных мастерских не было ничего нового или революционного. Во все времена разумные государственные деятели устраивали работы для нуждавшихся в них людей. Римские императоры, да и не они одни, шли и гораздо дальше: раздавали безработным хлеб бесплатно. Как многие государственные предприятия, особенно новые, Национальные мастерские работали не очень хорошо. Причин было несколько, от общего хозяйственного кризиса до соперничества и глухой борьбы между двумя школами французских инженеров. После того, как революционеры 15 мая произвели неудачную попытку захвата власти, правые и умеренные все настойчивее требовали закрытия Национальных мастерских. Их довод был: «государство не богадельня». Эта ценная мысль настолько овладела умами, что против нее не очень спорили и левые, даже умеренные соци-



алисты. Они только настаивали, чтобы закрытие производилось постепенно.

Дело было не в сокращении расходов. Обе стороны говорили о любви к ближнему, и ни у одной из них не было и следов этой любви. После 15 мая члены правительства и парламента руководились только ненавистью к революционерам. Национальные мастерские действительно стоили довольно дорого, но июньское восстание, его подавление, его последствия обошлись Франции гораздо дороже и в денежном отношении. Между тем очень легко было понять, что закрытие мастерских грозит восстанием: выброшенных на улицу рабочих ждал голод в самом точном смысле этого слова. Они предпочли баррикады, — кто с «Vive la Sociale!», кто с «Vive l'Empereur!». Всё это дело лишний раз доказало, что в политической борьбе интересы людей имеют гораздо меньше значения, чем их страсти, в особенности, чем ненависть.

Восстание началось на следующий же день после закрытия Национальных мастерских.

Человек не слишком радикальных взглядов, вообще мало интересовавшийся политикой, скульптор Тони Этекс, лепивший статуи и бюсты королей, кардиналов, писателей, в своих воспоминаниях рассказывает, что 23 июня 1848 года его чуть было не убили революционеры. Проходя поздно вечером мимо баррикады, он, по живости своего характера, стал увещевать рабочих: зачем вы бунтуете? это безумие! разойдитесь, пока не поздно. — Один рабочий прицелился в него из ружья.

— Вы хотите меня убить? — воскликнул Этекс.

— Да. Вы нас предаете, вы мешаете нам исполнить наш долг.

Этекс «истощил весь свой запас разума и красноречия», чтобы переубедить рабочего. Тот мрачно слушал, затем сказал: «Идите за мной».

«Ночь была темная, — рассказывает скульптор. — Шел дождь. Он повел меня вверх по лестнице старого дома. Вдоль стены тянулся грязный канат. Под крышей этого дома нищих я при свете ветхого фонаря увидел молодую, очень худую женщину с желто-зеленым лицом. Она хрипела на тюфяке, возле нее было трое чахлах детей, старшему было не более семи лет. Я опустошил карманы и убежал».

Однако не все бедняки были на стороне восставших. Солдаты и «подвижные гвардейцы» были в большинстве такими же бедняками. Многие из них подчинялись военной дисциплине и исполняли приказ командиров. Другие искренне хотели восстановления порядка и предпочитали консервативное правительство революционному. Третьи же оказались в правительственном лагере совершенно случайно. «Подвижная гвардия» была новой воинской частью; в нее входили очень молодые люди, почти дети; их прельстили красивый мундир, верховая лошадь и сытная еда. В июньские дни не раз случалось, что сражавшиеся внезапно перебегали с одной стороны баррикады на другую и там продолжали драться не менее храбро, с таким же ожесточением. Пели с обеих сторон вначале «Марсельезу». Затем, верно оттого, что скучно было петь всё время одно и то же, революционеры затянули «Mourir pour la patrie»<sup>1</sup>. Они считали эту песенку главным революционным гимном 1793 года. На самом деле огромную популярность ей создала поставленная незадолго до февральской революции пьеса «Канцлер Красного дома», написанная «маркизом де ла Найлетери», — так в то свое роялистское время любил себя называть Александр Дюма, имевший на титул весьма сомнительные права.

Очевидец, Максим дю Кан, сражавшийся на стороне правительства, пишет: «Один наш унтер-офицер, человек очень сильный, внес на руках воина из подвижной гвардии. Окровавленная голова его откидывалась назад и качалась при каждом движении. На землю поспешно бросили матрац рядом с моим и положили на него бедного мальчика. Это был ребенок. Пуля пробила ему шею. Он умирал... Его спрашивали: «Чего ты хочешь? Не хочешь ли чего-нибудь?» Он сделал усилие и глухим неслышным голосом медленно сказал: «Я хотел бы выпить мадеры, я никогда ее не пил». У де Лабушера, который стоял около меня, как раз была в мешке фляжка с мадерой. Он поднес ее к губам мальчика. Тот отпил долгий глоток и сказал: «Это вкусно, спасибо!» На минуту он как будто оживился... Потом откинул голову, чтобы опереться на стену... Торговка вскрикнула: «Господи, он кончается!» Она опустилась на колени и стала читать молитву. Умирающий еще два раза дернулся, затем стал неподвижен, он был мертв».

---

<sup>1</sup> «Умереть за родину» (фр.).

Другой мальчик, пятнадцатилетний сын слесаря, Вар, так отличился в борьбе с повстанцами, что барон Ротшильд послал ему в подарок пистолеты. По-видимому, «классовое самосознание» было не очень развито у этих защитников капиталистического строя. Так же мало понимали в том, что происходило, и очень многие повстанцы. В июньских боях случай играл столь же большую роль, как в других событиях февральской революции и всех революций. Привела же она к воцарению Наполеона III. Он был во всех отношениях хуже Людовика-Филиппа: при нем свободы во Франции было много меньше, чем в царствование последнего короля, и закончилась Вторая Империя такой военной катастрофой, какой при Бурбонах вообще никогда не было.

Утром 23 июня парижане, особенно те, что жили на окраинах города, еще ничего о восстании не знали. Только на следующий день в газетах появились о нем сведения. Статья «Constitutionnel» начиналась словами: «Странный бунт сегодня залил кровью Париж». Сообщалось, что главные бои идут около моста Сен-Мишель. Легче всего было преграждать баррикадами многочисленные узенькие улицы города. Однако ожесточенный бой велся и на широкой площади Пантеона. Она была окружена большими, существующими и по сей день зданиями; вели же к ней со всех сторон узкие, часто кривые улицы. На них тотчас появились баррикады. Из мостовой вырывались камни. Опрокидывались omnibusы и телеги. Повстанцы захватывали соседние дома. Вооруженные силы правительства подходили к площади с разных сторон.

## V

Du hast gehofft, dein Lohn ist abgetragen, Dein  
Glaube war dein zugewognes Glück<sup>1</sup>.

*Schiller*

В последние три дня перед восстанием Виер больше не заходил к Роксолане. Было не до того, и ресторан стал для

---

<sup>1</sup> Ты взял мечты — ты принял награждение, — Ты веру взял — она твой клад. (Пер. Г. Данилевского).

него слишком дорог. В среду 21 июня он сосчитал деньги в кошельке. Оставалось пятнадцать франков. «Если в течение недели восстания не будет, то хоть иди воровать!»

Он с усмешкой вспомнил давний разговор с каким-то крайним революционером, озлобленным, циничным человеком (о нем говорили худо). Тот доказывал, что кража у богатого человека должна считаться бесспорным логическим выводом из их учения, — простым восстановлением социальной справедливости: «У него миллионы, да еще нажитые способами, нечестными даже с их точки зрения; но их так называемые служители закона старательно закрывают на это глаза. А я порядочный человек, я хочу работать, но мне работы не дают, и я голодаю. Поэтому я имею право у него отобрать деньги силой или тайком. Наши теоретики либо брезгливо отмалчиваются от такого вывода, либо прибегают к разным умственным выкрутасам — «нецелесообразно», «бесполезно» и т.д., — либо просто боятся попасть в тюрьму, да еще без героического ореола. Зато если отбирание чужой «собственности» происходит в массовом порядке, тогда это для них, разумеется, совершенно другое дело: тогда это революция. Что они понимают? Между коллективным революционным действием и личным по существу разницы не больше, чем, например, между красным вином и белым: кто любит красное, кто белое, когда нет одного, пьют другое». Виер тогда слушал очень неодобрительно. Теперь это рассуждение казалось ему *логически* неопровержимым. Всё же он, невольно улыбаясь, представлял себе, как бы он пошел воровать или грабить. «Конечно, скорее умер бы с голоду!»

У него были знакомые, которые охотно ссудили бы его небольшой суммой, но он никогда ни у кого займы денег не брал. «А напоследок менять правила не стоит. Да и что теперь думать о безденежье, даже о голоде? Если дом горит в стужу, люди выскакивают на улицу, не думая о простуде».

Почти весь день 22 июня он провел то на улицах, то в разных *cabinets de lecture*<sup>1</sup>, где читал газеты. Выйдя под вечер, он встретил знакомого, — рабочего Пьера, которого в свое время встречал у Бланки. Тот очень торопился, но остановился на

---

<sup>1</sup> Читальнях (фр.).

минуту, крепко пожал ему руку и вполголоса сказал, что завтра начнется восстание. Виер ахнул.

— Завтра? Ты знаешь наверное? — спросил он. Там, где они встречались, людям полагалось быть на ты, как в братское, робеспьеровское время. Но как те революционеры, что уцелели после Террора, понемногу смущенно вернулись к «вы», так и некоторые единомышленники Виера с неловкостью чувствовали, что и им пора бы это сделать: братство явно не выходило. Самому же Виеру оно не очень удавалось и вначале.

— Наверное. Наконец, дело решится. Мы готовы на всё. Многих завтра не досчитаемся. Но мы знаем, за что идем на смерть, — сказал Пьер, впрочем без жара. — Наши отцы не знали. К концу недели будет социалистический строй во Франции, а затем во всем мире. Или же мы с честью погибнем. Мы исполним свой долг.

— Нет, не только свой долг, Пьер! Слушай, я где-то читал, что в Австрии есть такой орден, кажется орден Марии-Терезии, самый высокий из всех орденов. Он дается только тем, кто докажет, что «выполнил больше, чем свой долг». Каждый из нас должен заслужить такой орден... Я, конечно, говорю фигурально.

Пьер недоверчиво на него посмотрел.

— Ордена, Мария-Терезия... Какие там ордена! Ты слишком для нас ученый. Мы говорим не фигурально, — холодно сказал он.

— Дело не в словах!.. Куда же мне явиться завтра?

— Не знаю. Завтра сам увидишь. Прощай, я спешу.

По-видимому, этот брат не знал и его имени. Он снова, менее крепко, пожал руку Виеру и пошел дальше. «Не верит. Никому не верить — плохой признак. А мы единомышленники, «соратники». И Бланки не верил никому, не очень верит, кажется, и в дело... Собственно, еще не поздно отказаться: просто завтра остаться дома. Тогда этот Пьер будет говорить, что я изменник, полицейский осведомитель. Это у нас делается просто, о самом Бланки так говорили. Нет, всё давно решено, передумывать поздно. В *идею* я твердо верю во всяком случае: надо уничтожить рабство, то рабство, в котором и я живу с девятью десятками человечества».

Он в этот день почти ничего не ел и решил напоследок себя побаловать. Купил полбутылки вина, хлеба, котлету, не-

много сыра и даже пирожное, — давно себе всего этого не позволял; с улыбкой вспоминал, как питался у Лейденов и в Верховне. Когда он возвращался домой, по улице шла толпа рабочих, нестройно певшая «Mourir pour la patrie». Лица у всех были мрачные. Пьяных не было.

В гостинице словоохотливая хозяйка (Виер давно ее интересовал) игривым тоном сказала, что к нему заходила дама:

— Записки не оставила, но велела передать вам, что умоляет вас зайти к ней возможно скорее. Имени не оставила. Очень красивая дама. Иностранка. У нее такой приятный голос. И чудные зеленые глаза!

Виер пожал плечами и поднялся к себе в комнату. Засветил «кенкет», — вспомнил каганцы с салом времен детства, — стал готовить себе ужин. Выпил вино до последней капли, разогрел кофе: сахара у него оставалось шесть кусков. «Как раз хватит на остаток жизни, — подумал он. — Как же идти на такое дело, когда мало веришь в успех? Еще никогда нигде не было настоящего социалистического строя, и попытки установить его неизменно кончались разгромом. Немного шансов, чтобы победили и мы. Если нас раздавят, то и мне пропадать. Скорее всего им тайно отдан приказ пленных не брать, кончать тут же. Людовик XIV не предписывал убивать гугенотов, он только объявил в декрете, что ошибаются люди, думающие, будто король запрещает *maltraiter*<sup>1</sup> еретиков. А если даже потом будет «суд», их суд, всё равно расстреляют или сошлют в Кайенну. Бежать не удастся и некуда: кто меня впустит, да еще без денег? Да, в идею я верю твердо, это главное. Может, и идея хороша, лишь пока не осуществлена? Да, мы обреченное поколение». Ему снова представился давний, длинный, скучный ход рассуждений: «Из наших костей что-то вырастет, кто-то явится, сделает то, что нам не удалось» и т. д. Из-за этого «и так далее» завтра десятки тысяч людей отдадут жизнь! И я отдам, так мало от нее взяв, так мало ее узнав, так мало даже увидев... Вот и луны больше не увижу, умру верно до наступления вечера... Но если завтра с утра пойдет дождь, то восстания не будет. Тогда останусь цел. Что ж, хочу ли я, чтобы пошел дождь?»

---

<sup>1</sup> Преследовать (фр.).

Он долго сидел у окна. Перестал думать о восстании, думал о Лиле и в сотый раз задавал себе вопрос, поступил ли он *правильно*. Всю жизнь в этом для него было главное; теперь впервые он подумал, что, быть может, этот вопрос сам по себе праздный или не столь важный. «Если б восстания не было, если б я остался жив, всё равно я с ней больше встретиться не могу: ни меня, вероятно, больше не впустят в Россию, ни ее из России не выпустят. Я по-настоящему любил ее и теперь люблю. Она забудет, как Зося. Но это кончено. И всё вообще кончено, это мысли так, впустию», — подумал он, всё неприятнее удивляясь, что у него настроение беспрестанно меняется, что у него *колебания*, — то, что, по его понятиям, всегда было непозволительно, недопустимо, постыдно.

Долго — впрочем больше по традиции: так полагается перед смертью — думал о всей прошлой жизни, о своих детских, отроческих годах, о хуторе матери, о школе. Вспоминал прошлое, как его вспоминают старики: с тоской, с любовью, с умилением. Всё теперь казалось ему прекрасным. *Почти* так же, как о Лиле, вспомнил о своей первой любви: прогулки в Государевом саду над Днепром, запах акаций в ее садике. «Когда в Киеве узнают, ее родители будут качать головами, вздыхать, говорить: «Он был всё-таки герой», — а думать: «Он был всё-таки болван». И они тоже были хорошие, добрые, по-старинному гостеприимные люди. В беседке угощали нас чаем из самовара, печеньем, сливками. Не было нигде такого печенья и сливок...» Прекрасной ему теперь казалась даже школа, дисциплиной которой он когда-то тяготился. Вспоминал первую дружбу. «Какой был милый, благородный мальчик Стась! Был? Вероятно, он и есть, но для меня всё — прошлое... Он гостил у нас, мы вместе ездили верхом, охотились. Были шалости. Нет, ни он, ни я почти не шалили. Вместе читали тайком недозволенные книги, обменивались планами, как жить... О том, для чего жить, спорить не приходилось: было ясно, что для освобождения Польши. Мы с ним *были* настоящие идеалисты, и не мы одни, и, конечно, не только поляки. Та русская молодежь в Киеве была тоже такая. Жаль, что это всё проходит с годами и очень быстро проходит. Перед выпуском мы со Стасем клялись не забывать друг друга, а через четыре года он был в Южной Америке инженером и больше не писал, и я

даже не знаю, в каком он городе; куда только нас, поляков, не заносила судьба. Может быть, он там разбогател, имеет какую-нибудь *гациенду* и наживает деньги. Женился? Тогда скорее не на польке... Лиля! — опять с мучительным чувством вспомнил он и подумал, что поступил он с ней всё-таки и не совсем «правильно». — А что как это на самом деле не кончено, хоть теперь кажется безнадежным? Ко времени Лили я успел состариться, если только не родился стариком. Предположим, — лишь на минуту предположим, — что я не приму участия в восстании. Тогда, со временем, вернуться в Киев, к себе, в те места, будет всё же возможно. Что скрывать, и Волынь, и тот хутор, и даже Киев это «к себе», а Париж, как я ни люблю его, это чужое, он не мой. Да разве Лилия будет меня ждать годами! И что я там стал бы делать? Жить «человеческой жизнью», говорил Тятенька? Такой жизнью, которой тысячелетиями жило и живет громадное большинство людей. Тятенька — милый, хороший старик, в нем была необыкновенная, заразительная сила уюта, уютность ведь тоже сила... Почему же именно мне надо было жить иначе? Ведь именно эти мои колебания показывают, что я средний человек, а история с Лилей показывает, что и не слишком хороший. В этом моя беда: *был* обыкновенный человек и понемучу считал себя необыкновенным (незачем теперь и это от себя скрывать). Я считал себя человеком твердой воли и им не был. Есть люди типа «я хочу», а я человек типа «я хотел бы». И единственное мое качество в том, что я верил в идею, в великую идею эпохи. Верю и по сей день и за нее умру. Лейден говорил о разных «выходах». Мой выход самый достойный, всё равно как смерть на войне, если война за правое дело. У многих ли это так? Завтра многие погибнут не ради убеждений, а просто потому, что надоела, стала бессмысленной жизнь, или потому, что жить не на что: те ведь часто ставят людей в такое положение, когда ничего другого не остается. А вот этот недоумеет и сердится: он ведь сделал всех французов свободными людьми! — со злобой подумал Виер, взглянув на лежавшую перед ним «Историю жирондистов» Ламартина. — Надо бы, кстати, вернуть ее в библиотеку. Не успею. Впрочем, я оставил залог. — Он вздохнул и стал читать. Описание последнего ужина в Консьержери его взволновало.



Проснулся он в седьмом часу утра. Первым делом взглянул в окно. *Дождя не было.* «Ну, вот всё и в порядке... Нет, не боюсь! Сегодня? Пожалуйста, когда угодно!» — говорил он кому-то. Помылся с головы до ног, надел чистое белье, свой лучший костюм. «Лилиной розы нет...» Он положил в карман то ее письмо. Подумал, что хозяйке заплачено до 25-го. «А если она будет держать для меня комнату дольше, то покроет убыток продажей моих вещей... Лейден в свое время старался приучить меня к аккуратности в денежных делах. И приучил. Он хороший человек, хотя не совсем нормальный, и ни для какого дела не нужный. Надеюсь, он на своих платанах нажил немало денег. Всё пойдет Лиле... Да, она, конечно, уже давно в Киеве и волнуется больше, чем я сейчас».

День был солнечный, чудесный, такой день, когда хочется забыть обо всех заботах, бросить дела, уехать за город. И опять Виер подумал, что еще не поздно. «Нет, не буду жить как все!..» Ни тревоги, ни волнения, ни даже простого оживления на улицах не было. Настроение было унылое — или так, по крайней мере, ему казалось. Он предполагал, что восстаниям всегда предшествует «нарастание грозного настроения». «Неужто могут быть будничные унылые восстания? Или просто революция уже надоела? Но ведь вначале она у всех вызывала такой же восторг, как у меня когда-то в Петербурге» (ему теперь казалось, что в Петербурге он был много лет тому назад). На террасах кофейен вяло разговаривали люди, — менее громко, чем в обычное время. В лавках велась вялая торговля. Он зашел в кофейню купить газету. Два старика у стойки говорили, что в городе начались беспорядки.

— Всё это делают иностранцы, особенно поляки, — сказал один. — Смехотворное правительство дало миллионы на Национальные мастерские, а там эти господа часть себе прикарманили, а часть раздали на устройство революции.

— Я слышал, что они приготовили отравленную водку для раздачи подвижной гвардии, — сказал другой. — Хоть бы водку не портили. Ну, что ж, сыграем партию в домино?

В газете тоже ничего особенно важного не было. Говорилось, что «атмосфера в Париже тревожная», но и это говорилось как будто вяло. Виер пошел дальше. Никаких признаков восстания всё не было. «Что такое? Неужто ничего не будет?»

Не знал, что при восстаниях, даже очень серьезных, на расстоянии какого-либо километра или двух от места кровавых боев может идти самая обыкновенная будничная жизнь.

Внезапно откуда-то справа послышалась пальба. «Слава Богу, началось!» — подумал он, бледнея, и поспешно направился в ту сторону. Действительно, там происходило что-то тревожное. Хозяева с озабоченными и серьезными лицами выходили из лавок. Некоторые забирали и опускали занавесы. Бакалейщик втаскивал в комнату лежавшие на ларьках фрукты и овощи. В подворотнях шептались люди. «Что такое случилось?» — спросил он в одной подворотне. Кто-то окинул его подозрительным взглядом. «Не знаю. Беспорядки», — уклончиво ответил другой. В одной из кофеен лакеи, ругаясь, убирали стулья террасы, уносили их внутрь и ставили на столы. Клиенты поспешно расплачивались и уходили, оглядываясь по сторонам.

У забора перед афишей собралось человек пять. На большой желтой афише было напечатано: «L'Oldridge's Balm fortifie les cheveux et les restaure. 4 fr. 50, 8 fr. et 15 fr. le flacon. Pharmacie, 26, place Vendôme»<sup>1</sup>. Но ниже, на плохо приклеенном белом листе бумаги, огромными, кривыми, точно трясущимися буквами написано было чернилами: «Aux armes, citoyens!»<sup>2</sup> Подошел человек в мундире, выругался и сорвал белый листок. Остался только «L'Oldridge's Balm».

— Что, это правда, будто началось восстание? — робко спросил кто-то из собравшихся.

— Эти мерзавцы захватили Пантеон, там их центр. Ничего, им свернут шею!

— Будем надеяться, но это еще как Бог даст, — сказал другой. — Национальная гвардия не очень надежна. У меня сын служит в девятом легионе, он говорит, что настроение нехорошее.

— Это неправда! — резко сказал военный. — А кроме того, слава Богу, есть регулярная армия. И есть генерал Кавеньяк! Он им покажет!

«Это офицеры и лавочники, что ж по ним судить о настроениях Парижа?» — подумал Виер и направился дальше, сообра-

<sup>1</sup> «Олдриджский бальзам укрепляет и восстанавливает волосы. 4½, 8, 15 франков за флакон. Аптека, площадь Вандом, 26» (фр.).

<sup>2</sup> «К оружию, граждане!» (фр.)

жая как пройти к Пантеону. Пальба слышалась уже сильнее, с разных сторон. Улицы пустыли. Слева показался отряд пехоты. Лица у солдат были мрачные. «В Пантеоне центр восстания? — спрашивал себя Виер. Он не очень представлял себе, что это значит. — Очевидно, там заседают *вожди*? Кто же они, если Бланки и другие арестованы? Но хорошая ли это мысль — устроить центр в огромном церковном здании? Те подвезут артиллерию и разгромят Пантеон. Впрочем, наши верно об этом подумали и знают что делают...»

Стоявшая у дверей убогого дома старая женщина посоветовала ему дальше не ходить.

— Там эти... Баррикады, — хмуро произнесла она необычное, не-житейское слово. — Я всё это когда-то видела!

— Да что же мне делать? Я живу около Пантеона.

— Не ходите туда! Уже есть раненые и убитые, много убитых! — негромко сказал пробежавший мимо них человек в соломенной шляпе. Он был бледен и растерян.

— Когда они только перестанут резать друг друга! — сердито сказала старуха.

Виер подумал, что со стороны реки будет легче подойти к Пантеону. «Старуха верно видела и взятие Бастилии, и гильотину на Площади Согласия. Насмотрелась! У нее хорошее, жалкое лицо. Жалко ее, всех жалко. За них и погибаем...» Он сделал большой крюк и опять попал в кварталы, где ничего тревожного не происходило. Минут через пятнадцать он вышел к реке и увидел боковой фасад Notre Dame. Почему-то остановился и долго смотрел на это здание, всегда казавшееся ему самым прекрасным в мире. «Оно *все-таки* переживет всё... Вот и начинается смыкаться мой круг. Спустится навсегда черный занавес. Но, может быть, там за занавесом начнется настоящая жизнь? Ах, если б это было правдой!» — думал он. Мимо него на рысях прошел отряд кавалерии. «Пора!..»

На перекрестках стояли дозоры. Его остановили люди с кокардами и строго сказали, что дальше идти нельзя. Сейчас начнутся бои.

— Да что же мне делать? Я живу у Политехнической школы.

Они окинули его взглядом и, по-видимому, по одежде признали *своим*.

— Ну, что ж, попробуйте. Может, еще успеете пройти, — сказал один из них.

«Уж скорее у этих есть подъем. Подъем, чтобы защищать свои луидоры», — подумал он и пошел быстрее. Минут через десять он оказался в *своем* лагере. На rue de la Montagne Ste Geneviève была воздвигнута *баррикада*, первая баррикада, которую он увидел. «Так вот они какие! Я и их представлял себе иными... Верно, другие крепче, эту снести очень легко, она и невысока. Да где же *повстанцы*?» Люди, очевидно бывшие повстанцами, закусывали в подворотнях, сидели и стояли неподалеку на террасе небольшой кофейни. «Самые обыкновенные блузники... Да какими же им и быть? Не носить же им гусарские мундиры!» Один вертел в воздухе дубинкой и что-то говорил, невесело смеясь. «Если б сейчас прискакали те кавалеристы, то захватили бы баррикаду без выстрела!» Занять место на пустой баррикаде ему было неловко. «Да и как же это занять место? Лечь, что ли, на камни? И прежде всего, конечно, надо достать ружье...»

Блузники сообщили ему, что ружья раздадут в Пантеоне.

— Время еще есть, — сказал один из них, точно отвечая на его молчаливый упрек. — Они ждут ту сволочь, подвижную гвардию. Когда начнется огонь, мы зайдем места.

— Да, лишь бы вы не опоздали! — хмуро ответил Виер. Ему становилось всё более ясно, что восстание обречено на гибель и что эту обреченность понимают все его участники. И тем не менее он чувствовал, что драться они будут храбро. «Без энтузиазма будут делать то, что делали бы с энтузиазмом. Именно потому, что нам нечего терять. — Он почувствовал, что говорит неправду. — Как же нечего! Жизнь, жизнь, вот это солнце, эти деревья, этот воздух!»

Его внимание обратил на себя дом против баррикады. Дому было наверное лет триста. Над невысокой porte cochère<sup>1</sup>, ушедшей в длинный, извилистый, необыкновенно мрачный двор, было маленькое жилое помещение с окном тоже довольно необычного вида. С подоконника растворенного окна испуганно смотрела на баррикаду девочка лет десяти. «Вот она, быть может, на всю жизнь сохранит в памяти мое лицо, если я тут погибну».

Он вспомнил рассказ Ламартина о том, как вождя жирондистов Верньо перед казнью навестил в тюрьме его родственник

---

<sup>1</sup> Ворота (*фр.*).

с маленьким сыном. Увидев бледного измученного человека в лохмотьях, с отросшей бородой, плакал. «Mon enfant, lui dit le prisonnier en le prenant dans ses bras, rassure-toi et regarde-moi bien; quand tu seras homme, tu diras que tu as vu Vergniaud, te fondateur de la république, dans le plus beau temps et dans le plus glorieux costume de sa vie: celui où il souffrait la persécution des scélérats et où il se préparait à mourir pour les hommes libres»<sup>1</sup>.

«Может быть, Ламартин и приукрасил всё это со слов мянника. А может быть, и правда, — подумал Виер. — Но зачем же мне вспоминать то, что кто-то когда-то сказал, если мне самому осталось жить не больше, чем тогда оставалось Верньо. Лейден говорил мне, что мы оба с ним книжные люди, и приписывал это своему влиянию на меня! Хорошо влияние! Уж он-то на баррикадах не погибнет. У него платаны и полумные книги... Но отчего же я теперь, в высший день моей жизни, не чувствую восторга? Верно на войне не так? Неужели потому, что там строй, мундиры, музыка, что там нет ненависти к врагу? А здесь всё так просто, так просто, так не картинно. Разве этого я ждал? Я ведь всю жизнь мечтал о баррикадах! Что ж поделаешь, *жил* безвестно, погибну безвестно, как солдаты, убитые под Вальми. Лишь человеческое лицемерие говорит, будто память о них никогда не умрет. Никто, никто не знает их даже по имени. И ничего в этом нет ни страшного, ни удивительного. Потом будет какой-нибудь другой Oldridge's Balm, всё же мы секунда в непонятной истории человечества. Да, да, смотри! — мысленно сказал он, встретившись глазами с девочкой. — Смотри, — перед тобой безвестный солдат революции, — «мятежников убито столько-то» — впрочем, даже и этого не будет сказано в их победном бюллетене. Перед тобой не Верньо, а символ. Как символ, меня навсегда и запомни!»

Пальба все усиливалась. На площади перед Пантеоном стояли кучки людей. Какой-то человек объяснял, что главное — это

---

<sup>1</sup> «Мой сын, — говорил узник, заключая его в объятия, — умоляю тебя, смотри на меня пристальней. Когда ты станешь взрослым, ты будешь рассказывать, что видел основателя республики Верньо в лучшее его время и в лучших одеждах — когда он страдал от преследователей-злодеев и готовился умереть за свободу людей» (*фр.*).

удержать за собой Юридическую школу: «Если они ее возьмут, то расстреляют нас из окон в пять минут». Виер, нервно зевая, посмотрел на окна: на тех, что были ближе к Пантеону, ставни были затворены, на других ставней не было. «Нам первым делом надо устроить наблюдательный пункт. Где? На купол Пантеона не подняться, да там и стоять негде», — подумал он и поморщился. У него на высоте кружилась голова.

Огромный, странно светлый зал Пантеона уже был переполнен. Было шумно, но и тут особенного подъема не замечалось. Мужчины с ружьями, пиками, саблями ходили по залу, сидели на ступеньках или лежали вокруг колонн на мраморном, в косых квадратах, полу. В ту пору в Пантеоне было еще очень мало статуй, картин, фресок: но почти у всех мужских фигур тоже были в руках мечи. «Вот, вот, и здесь меч, всё в мире решается мечом, тут католики сходятся с социалистами. А я и социалист, и всё-таки католик. И мы правы».

Ему сказали, что оружие можно получить в подземелье. Темно-зеленая тяжелая дверь была отворена настежь. На него пахло затхлой сыростью. Он спустился с толпой других людей. В конце полутемного подземелья раздавались ружья. Кто-то старательно-восторженно сказал, что на этом месте был похоронен Марат. Виер поморщился. «Жаль. Наше дело чистое, зачем пачкать его симпатией к злодеям?» При свете фонаря он осмотрел свое ружье. «Старье, но стрелять можно».

Никаких вождей и в Пантеоне не было, хотя более энергичные люди уже пытались взять в свои руки дело обороны. «А то попробовать мне? — подумал он и почувствовал, что теперь и слава ему больше не нужна, почти не нужна. — Да и кто там разберет? Ну, что ж, другие умрут от рака или чахотки...» С радостью видел, что ничего не боится, ни о чем не жалеет.

— Следовало бы подняться на крышу и устроить там наблюдательный пункт. С крыши легко будет обстреливать атакующую колонну, — сказал он одному из более энергичных людей. Тот, услышав военные выражения, остановился.

— Прекрасная мысль, гражданин, — сказал он. — Возьми кого-нибудь с собой и поднимись.

Пальба загремела уже очень близко. Лежавшие и сидевшие на ступеньках люди стали быстро подниматься. Лица стали еще бледнее.

Подавляя зевки, он простоял на крыше несколько часов. Часто подходил к краю, чтобы преодолеть волей головокружение. Около здания Юридической школы начались бои. Свои и враги так тесно смешались, что стрелять было невозможно. Иногда на крышу поднимались рабочие, с некоторым недоумением на него смотрели и спускались. Делать здесь в самом деле было нечего. На людях было легче. К тому же начался дождь, впрочем продолжавшийся не долго. Вдали видна была быстро проезжавшая правительственная артиллерия. «У нас никаких пушек нет. Значит, ясно, что они нас сейчас же и разнесут. Пантеон и первого артиллерийского залпа не выдержит. Всё равно, как умереть, но уж всё-таки защищаться лучше внизу. И притом какой же наблюдательный пункт, если мне некому давать сведения!.. Пришел, пришел конец... Лиля думает ли сейчас обо мне? Бедная, бедная Лиля! Я люблю ее».

Он спустился вниз, доложил кому-то о том, что видел, но слушали его плохо, и ему самому ясно было, что всё равно ничего сделать нельзя. «Может быть, в теории с крыши было бы легче обстреливать врага, а на практике в уличном бою совершенно то же самое!» Он вышел на площадь, обогнул баррикаду на rue de la Montagne Ste Geneviève. Почему-то хотел еще раз взглянуть на тот дом. «Лишь бы не убили пулей в спину, в этой унылой, жуткой, выдохшейся за четыре месяца революции!»

Его последнему желанию не суждено было исполниться. До баррикады он не дошел. Спереди, со стороны Сены, вдруг послышался грохот. Правительственная артиллерия открыла огонь. Снаряд ударил по баррикаде, камни понеслись вверх и в стороны, поднялся столб пыли, на мгновение прорезал гул чей-то отчаянный крик. Грохот нарастал всё страшнее — и оборвался. Тотчас загремели барабаны, и лишь в эту минуту Виер впервые почувствовал тот *подъем*, которого не находил целый день. Теперь было *настоящее*, то, о чем он мечтал мальчиком, — очевидно ожидалась *атака*. Он побежал вперед, почти судорожно сжимая ружье. Издали послышался конский топот, тоже всё нараставший, смешивавшийся с барабанным гулом. Вдруг впереди, не очень далеко, Виер увидел несущуюся на них, на него, кавалерийскую часть. Люди, пригнувшись к головам лошадей, мчались с саблями наголо, с искаженными лицами. Они что-то орали, но их слов он не слышал: всё заглушал барабанный гул, ставший почти нестерпи-

мым. Он тоже хотел прокричать: «Vive!» или «A bas!..»<sup>1</sup>, прокричал что-то совершенно бессмысленное и, остановившись, приложил ружье к плечу. «Сейчас! Сейчас конец!» — подумал Виер. Но выстрелить он не успел. С баррикады повстанцы открыли беглую беспорядочную стрельбу. Пуля — *своя* — ударила его сзади. Он выронил ружье и повалился на мостовую. Через несколько секунд он был растоптан мчавшимися лошадьми.

Полуразрушенная артиллерией баррикада была «взята», то есть мимо нее и над ней с диким, бешеным, бессмысленным криком пронесся кавалерийский эскадрон, рубя и растаптывая людей. Но еще долго продолжался кровопролитный бой. Обе стороны дрались храбро. Юридическая школа переходила из рук в руки. Артиллерия громила Пантеон. Затем пехота взяла его штурмом.

Тела убитых увозились на подводах. Часть трупов почему-то сложили в одной из зал Тюильрийского дворца. Там когда-то происходили балы. Где-то поблизости от этой залы заседал, в пору революции, Комитет Общественного Спасения, где-то лежал на столе перед казнью раненый Робеспьер. Изломанное обезображенное тело Виера положили на пол.

Роксолана долго его искала. Бои еще не везде кончились, ходить по улицам было опасно, тем не менее она по несколько раз в день приходила в гостиницу и в слезах о нем спрашивала. Хозяйка, сочувственно вздыхая, отвечала ей, что он не возвращался. «Такой милый человек, — говорила она, — и такой красивый!»

По собственному желанию, Роксолана заплатила оставшийся за ним крошечный долг за три дня. Хозяйка не хотела брать, не сразу согласилась, посчитала еще меньше, чем следовало, и просила зайти за его вещами. Посоветовала поискать его в больницах. Роксолана побывала почти везде; замирая от ужаса и отвращения, заходила в мертвецкие. Ей не пришло в голову искать тело в королевском дворце. Она долго и горько плакала. Так и не поняла, что он был за человек, почему он погиб и зачем всё это делают люди?

---

<sup>1</sup> «Да здравствует!» или «Долой!» (фр.)



## VI

Le dur faucheur, avec sa large lame, avance  
Pensif et pas à pas vers le reste du blé<sup>1</sup>.

*Hugo*

Бальзак на этот раз прожил в Верховне полтора года. Во Франции революция всё еще не кончилась или, по крайней мере, будущее страны было очень темно. Денежные же его дела никак не стали лучше. Кроме того, он по-прежнему надеялся добиться окончательного ответа: выйдет ли Ганская за него замуж или нет? И, главное, ему теперь было почти всё равно, где жить.

В его отношениях с Ганской с внешней стороны как будто ничего нового не произошло. Она с ним была чрезвычайно мила — и ответа не давала. Он тоже был чрезвычайно мил, необычайно ею восторгался, неправдоподобно хвалил ее в письмах. Но теперь он, как бывает с близкими к смерти людьми, стал еще пронизательнее. Видел ее насквозь. Быть может, и других, и себя обманывал уже больше по привычке, с легкой скрытой усмешкой: «Ну что ж, вы верите? Тем лучше». Его могло забавлять, что Ганская по-прежнему старается быть небесным видением. Оба они привыкли к своим ролям, как артисты после пятисотого представления пьесы.

Ему было легче с ее дочерью и с зятем. Они были молоды, были хорошие, милые, веселые люди; тогда были еще очень счастливы (впоследствии граф Мнишек сошел с ума, а жена его умерла в одиночестве и бедности). Правда, чужое счастье начинало раздражать Бальзака. Ничего дурного в чужом счастье, конечно, не было, но ему надоело, что людям так хорошо, что они так всем и особенно друг другом довольны и так наслаждаются жизнью.

Понимал он и то, что его связь с Ганской, компрометировавшая их семью, не может быть приятна Мнишкам. Об этом было тяжело с ними говорить, нелегко и странно молчать. Но

---

<sup>1</sup> Жестокий косарь с большим ножом — Протягивается к последнему кусочку хлеба (пер. с фр. Н.А.Федорова).

они были тактичны, по-старинному почтительны с матерью, а кроме того, искренно его полюбили. Относились к нему с родственной лаской, — не как к «отцу», но как к дяде или деду. Он тоже был с ними очень ласков. При всем своем себялюбии, при своем беспредельном эгоизме, Бальзак был в жизни скорее добр. Он был и благожелательный человек, — то есть желал зла лишь немногим людям. В Верховне он называл себя «старцем семьи». Это было преувеличением. Ему шел пятидесятый год. Он уверял других, что Ганская много его моложе, и сам делал вид, будто этому верит. В Верховне все с радостью это и приняли. На самом деле ей было сорок девять лет. Правда, он был очень болен, но и она тяжело страдала от подагры и от других болезней.

Бальзак болел уже давно. В его письмах беспрестанно говорится о разных физических страданиях: голова тяжела, «как купол святого Петра», сердце стучит как бешеное, одышка, боли печени, офтальмия, чёрная точка в глазах. Лечили его и в Париже странно, по крайней мере по нынешним, также не вечным понятиям: предписывали то «ставить сто пьавок», то «пить по четыре квинты воды», то «сидеть каждый день в горячей ванне три часа». Он вообще любил лечиться, а в Верховне лечение для него, как и для Ганской, стало развлечением в однообразной деревенской жизни. В верховенском докторе Кноте французские биографы Бальзака видят прообраз гениального и загадочного польско-еврейского врача Моисея Гальперсона из «L'Intie»<sup>1</sup>. Для такого предположения нет никаких оснований. Кноте не был евреем, не был, вероятно, по крови и поляком, ничего загадочного в нём не было, как не было у него и никакого гения. Гениальным его объявил Бальзак, оттого ли, что изредка после его лечения чувствовал себя лучше, или чтоб сделать удовольствие хозяевам, а вернее всего, просто по случайной игре воображения. Кноте был захудалый провинциальный врач со своеобразными медицинскими идеями. Он лечил Ганскую от подагры, заставляя ее опускать ноги во внутренности только что зарезанного поросенка. У Бальзака он нашел «гипертрофию», — это было подходящее слово для определения не столько его болезни, сколько всего его суще-

<sup>1</sup> «Посвященный» (фр.).

ства. Лечил доктор травами и порошками. Травы были, по его словам, китайские, турецкие, какие-то еще. Порошков надо было для полного выздоровления принять в общей сложности сто шестьдесят. Настойку же из восточных трав он велел глотать по четыре раза в четные дни. Кроме гипертрофии, Кноте нашел у больного «цефалалгическую интермиттенцию». По-видимому, у Бальзака, как у большинства старых людей, было несколько болезней, осложнявших и маскировавших одна другую.

На письменном столе после его приезда опять появились перья, карандаши, стопка бумаги с надписью *Yezerua*. Однако работа не очень пошла, хотя он снова стал пить свое прежнее кофе; теперь глотал чуть не кипяток, чем приводил в изумление приставленного к нему слугу, который очень его любил и ценил за вежливость. Объясняться им было трудно: Бальзак по-польски знал только слово «проше». Большую часть дня он проводил у себя за письменным столом. Писал немало писем, — теперь родным писал правдивее, чем прежде, кое-что говорил начистоту. Обдумывал план книг, но в душе как будто не верил, что их напишет. Думал о своей литературной судьбе. По его мнительности, ему казалось, что мода на него прошла или проходит.

Своей будущей мировой славы он, быть может, всё-таки не предвидел. На французском языке были романы тоньше, лучше, совершеннее книг Бальзака. Но ни Стендаль, ни Констан, ни Флобер не имели его мощи и размаха, не оказали на литературу такого влияния, как он. Теперь есть словари, относящиеся к его произведениям, есть специальные исследования, которые верно очень удивили бы его самого. В Англии глубокомысленные комментаторы Суинберна ломали себе голову над тем, что означает его строчка «*The splendor of a spirit without blame*»<sup>1</sup>, — пока сам поэт не объяснил, что он имел в виду коньяк. До столь почтительного внимания комментаторов Бальзак не дожил: его ругали в течение всей его жизни, а ничего не понимавшие люди над ним и издевались. Это было даже не изнанкой славы: это было просто ее составной частью. Смеялись и над его литературными приемами, над тем, что он пишет не по правилам, пишет

---

<sup>1</sup> «Богатство духа без недостатков» (англ., игра слов: *spirit* — и «дух» и «алкоголь»).

слишком подробно о всяких мелочах, пишет с вечными отступлениями, с бесконечными описаниями городов, домов, вещей. Он действительно не обладал драгоценным умением вычеркивать; но из-за этого художественного недостатка его книги стали энциклопедией французской жизни.

Теперь он, по-видимому, почувствовал, что главное уже сделал, и интерес к тому, что он еще мог бы создать, у него ослабел. Впрочем, иногда кое-что писал, но больше по привычке, не слишком стараясь, — как Микеланджело зимой в горах лепил статуи из снега.

В Верховне можно было не очень думать о грозных событиях в мире. В далекую от Петербурга деревню новости приходили менее страшными, — всё смягчалось временем и особенно расстоянием. Он вдобавок газетам никогда не верил и даже не мог к ним относиться серьезно. Журналистов изображал не иначе, как вралями. Один его герой утверждает, что первым газетным лгуном был Бенджамин Франклин, который, «вместе с громоотводом и республикой» изобрел газетную утку и сам этим похвалялся. О политической карьере Бальзак больше не думал. Быть может, отложил ее по недостатку времени и вследствие всё усиливавшейся конкуренции. Так Гитлер говорил в 1937 году, что откладывает писание романов, ибо не уверен, что в этой области сравнится с величайшими из великих.

К Ганской по-прежнему приезжали гости. Шла веселая, гостеприимная, со стороны как будто беззаботная помещичья жизнь. Бальзак помнил свои обязанности. Одевался, выходил в гостиную, быть может, еще иногда и блистал, больше по привычке. Его блеск, впрочем, в Верховне принимался и на веру. Гостей кормили, поили, развлекали. При усадьбе или в деревне был скрипач Моисей. Верно он играл хорошо: иногда трогал Бальзака до слез.

Через некоторое время он стал чувствовать себя совсем худо. Удушье, головные боли почти не прекращались; странная черная точка в глазах вызывала у него ужас: что, если ослепнет! Гениальный доктор твердо обещал выздоровление: настойка в четные дни и сто шестьдесят порошков должны были сделать свое спасительное дело. Но сын Кноте, тоже врач, хотя менее гениальный, чем отец, склонялся к мысли, что Бальзак болен безнадежно.

Сам он всё же кое-как бодрился, говорил, что всё пройдет, что революция во Франции скоро кончится, и на писателей, в частности на него, польется золотой дождь. Заботился о гнездышке на улице Фортюне, посылал матери в Париж указания, мечтал о том, чтобы привезти из Верховни головку Греза, принадлежавшую когда-то королю Станиславу, картины Каналетто, принадлежавшие папе Клименту XIII. Собирался, если женится на Ганской, принимать у себя весь Париж. Но иногда приходил в ужас от бедности и запрашивал сестру, нельзя ли ему будет сговориться с ее кухаркой, чтобы она за два франка приходила к нему каждый понедельник и готовила говядину сразу на целую неделю. Советовал сестре соблюдать крайнюю бережливость и перебраться куда-нибудь на Etoile, где можно получить квартиру за бесценок.

По делам и для развлечения хозяева поехали с ним на Контракты. Как полагалось, сняли в Киеве дом, привезли свою мебель, утварь, постельное белье. Потасили его к кому-то на большой прием. Киевский бал поразил своим великолепием этого парижанина. «Вы не знаете, — писал он сестре, — что такое дамские туалеты в России; это выше, гораздо выше всего того, что можно увидеть в Париже». Сообщал, что для мазурки разрезали платок, стоивший больше пятисот франков.

В Киеве он заболел, пролежал три недели и вернулся в деревню совершенно разбитый. Теперь больше и сам не знал, хочет ли жениться на Ганской. Смотрел уже на это с какой-то почти спортивной точки зрения: столько лет добивался, — стыдно было бы не добиться. «Неуспех убил бы меня морально», — писал он. Но иногда сообщал родным, что, должно быть, вернется в Париж один, продаст дом, отдаст Ганской ее долю, а сам, как в молодости, будет жить в меблированной комнате.

Давно ли, в какой злосчастный день, пришла ему в первый раз мысль о том, что незачем беспокоиться о переездах, — он умирает. Бальзак так часто изображал смерть, так часто перевоплощался в умирающих, — теперь было не то, совсем не то.

Вероятно, младший Кноте сказал Ганской, в каком положении больной. Да это с каждым днем становилось всё яснее каждому, кто его видел. Если она больше и не любила Бальзака, то во всяком случае очень к нему привыкла; привыкла и к лестной мысли, что в нее страстно влюблен знаменитейший из

всех романистов. Нет причины относиться к ней с той ненавистью, с тем презрением, с какими к ней относятся некоторые французские его поклонники. Она была не злая и не глупая, скорее даже добрая и умная женщина. Ничего настоящему недостойного ей в вину поставить нельзя. Она любила его довольно долго, — хотя, вероятно, с каждым годом всё меньше. Госпожа Шатобриан говорила, что за всю свою жизнь не прочла ни единой строчки, написанной ее мужем. Ганская не только читала Бальзака, но очень заботилась об его успехе и славе.

Конечно, она могла бы заплатить его долги и дать ему возможность жить и работать спокойно. Но не все люди жертвуют имуществом даже для самых близких, для детей, — а он был любовник, и связь с ним надо было скрывать, хотя все о ней знали. Не очень удобно было тратиться на него и в отношении законной наследницы, дочери. Кроме того, Ганская, как почти все богатые люди, была напугана февральской революцией. Приблизительно в это время будущий герцог Морни говорил, что, если во Франции восторжествует социализм, то вся надежда будет на русскую армию, — «он предпочитает социалистам казаков». Ганская смертельно боялась разорения. Часть долгов Бальзака она всё же заплатила. Да ей и не так просто было достать сразу большую сумму. У нее было триста слуг, но денег в доме иногда не было совершенно. Вдобавок, Ганская имела все основания думать, что, при своем характере, он тотчас снова начнет делать долги. Между тем у нее в Верховне он и без брака мог жить спокойно, ничего не тратя, не очень опасаясь парижских кредиторов.

Она могла бы стать его женой вскоре после смерти своего первого мужа и не отравлять Бальзаку жизнь обещаниями: да, но не сейчас, позднее, подождем, куда же спешить? Действительно, если б у него не было долгов и был хоть какой-нибудь захудалый титул, она охотно вышла бы за него замуж. В торговой Генуэзской республике дворянство считалось худым сословием, и знатный дворянин только за особые заслуги мог быть повышен в ранг купца. Но Ганская жила не в Генуе. Выйти замуж за иностранного литератора с фальшивой дворянской частицей ей не хотелось. «Страстная любовь» была возможна и без брака.

Она приводила всё те же, и сходные новые, доводы в пользу того, чтобы отложить дело: долги его еще не заплачены, его заработки очень упали, ее дела стали хуже, в имениях было четыре пожара, русская подданная, выходя замуж за иностранца, теряет право владения землей и крепостными. Он слушал хмуро.

Но когда Ганская увидела, что дни Бальзака подходят к концу, в ней заговорила совесть. Враги, объяснявшие худшими побуждениями все ее поступки, находили, что ей стать вдовой знаменитого писателя было много выгодней, чем быть его женой. Это клевета. Она, видимо, была чрезвычайно расстроена. Своим родным, очень неодобрительно относившимся к этому браку, искренно и с достоинством отвечала, что его тяжелая болезнь положила конец ее сомненьям: теперь она обязана выйти за него замуж, — он умирает. И в начале 1850 года было решено обвенчаться.

Надо было предварительно опять съездить в Киев. Опять был снят дом, опять из Верховни пошли подводы с мебелью и утварью, опять он в Киеве заболел и опять пролежал там три недели. Здоровый, прекрасный климат Украины стал казаться ему чудовищным: он говорил с ужасом о какой-то «молдавской лихорадке», которую заносит с берегов Дуная. Теперь мечтал только о Париже. Кажется, уже меньше восторгался гением доктора Кноте и больше возлагал надежд на французских врачей.

Есть у него не очень известная повесть «Honorine». Ее высоко ставил Лев Толстой, не слишком почитавший Бальзака (Тургенев вообще отрицал его талант, Достоевский же перед ним преклонялся). В этой повести Бальзак пишет: «Француз засыхает за границей, как пересаженное дерево. Эмиграция у французского народа — бессмыслица. Многие французы сознаются, что при возвращении на родину смотрят с удовольствием даже на своих таможенных чиновников; это может показаться самой отчаянной гиперболой патриотизма». Ему случалось ругать Францию, случалось выражать намерение перейти в русское подданство, — всё это было вздором: он Францию обожал. Теперь, вероятно, особенно торопился потому, что хотел умереть на родине.

Свадьба состоялась 14 марта в Бердичеве. Первоначально был намечен Житомир, но его признали чрезмерно светским городом, — там было много знакомых, — и житомирский епископ

как будто не очень хотел их венчать: давняя связь жениха и невесты слишком на шумела. Выбрали маленькую бердичевскую церковь святой Варвары и венчанье назначили в самое необычное время, в семь часов утра, очевидно чтобы обойтись без гостей. Прямо из церкви они вернулись в Верховню.

В письмах к матери и сестре он изображал восторг: и жена, и ее дочь «на верху блаженства», это «прежде всего» брак по любви, Ева — «бриллиант Польши, драгоценность древней, знаменитой семьи Ржевусских». Правда, у нее подагра, у нее распухли руки и ноги, так что она не может ни писать, ни ходить, но «это еще можно вылечить», в Париже это пройдет, там можно будет *faire de l'exercice*<sup>1</sup>, а на Украине это невозможно в течение шести месяцев в году (очевидно, из-за лютой стужи). В том, что она перевела состояние на имя дочери, видел «геройскую решимость» и даже какую-то «*sublimité maternelle*»<sup>2</sup>.

В одиннадцатом часу вечера они легли спать больные и измученные. То, о чем он мечтал столько лет, осуществилось. И он возненавидел Ганскую.

## VII

Blest be the art that can immortalize<sup>3</sup>

*William Cowper*

Особняк на улице Фортюне был, наконец, отделан. За три дня до свадьбы Бальзак послал из Бердичева своей матери последние инструкции: надо к их приезду разукрасить дом цветами, перечисляя комнаты и жардиньерки, требовал, чтобы цветы были «очень, очень хороши». Очень, очень хорош был и весь особняк, стоивший огромных денег. Теперь всё было готово.

Теофиль Готье говорит: «Есть турецкая поговорка: «Когда дом достроен, приходит смерть».

Из Верховни новобрачные выехали во второй половине апреля. Дороги были плохие, — грязь, лужи, ухабы. Со свойственной больным людям склонностью к преувеличениям, Баль-

<sup>1</sup> Делать упражнения (*фр.*).

<sup>2</sup> «Материнскую величавость» (*фр.*).

<sup>3</sup> Благословенно искусство, которое может обессмертить.



зак из Дрездена написал сестре: «Не один раз, а сто раз в день была в опасности наша жизнь!» Из Дрездена же он послал матери указания относительно этикета встречи: в момент их приезда мать не должна находиться в особняке; они к ней приедут с визитом на третий день; не должна встречать их и сестра; на столе должен быть обед; встретит их прислуга, и т. д. Трудно понять, как умирающий человек — и столь замечательный — мог думать о подобном вздоре. Этот ревностный обличитель «буржуазии» был в жизни самый подлинный буржуа.

В Дрездене он еще купил что-то очень дорогое, — если, впрочем, не хвастал в письмах к посторонним людям. Редактору газеты «Constitutionnel» сообщил, что купил или покупает за 25—30 тысяч франков старинный туалетный прибор, «в тысячу раз красивее прибора герцогини Беррийской», а жена его будто бы приобрела жемчужное ожерелье, «такое, что сошла бы с ума святая». Эта черта выскочки, неприятная ему в других, тоже у него оставалась до конца жизни: всё, что принадлежало ему, было изумительно и бесподобно.

Они приехали в Париж поздно вечером 27 мая. Мать и сестра с точностью исполнили все его предписания. Но вышла большая неприятность. Дом на улице Фортюне был ярко освещен. Никто не отворил на повторные звонки, на стук, — трудно было понять, в чем дело. Этикет был грубо нарушен. Пришлось послать за слесарем и взломать замок. Оказалось, что лакей Бальзака внезапно сошел с ума, многое побил в доме, затем забаррикадировался. «Зловещее предзнаменование», — говорит биограф. По-видимому, с женой Бальзака случилось что-то вроде истерического припадка. Они разошлись по своим комнатам.

Письма Ганской к Бальзаку были им уничтожены. Его письма к ней она несколько исправила и дополнила, — по словам немногочисленных исследователей, которых допускают в архив, завещанный Французской Академии виконтом Левенжулем. Этот бельгийский поклонник Бальзака посвятил ему большую часть жизни, потратил много денег на составление бальзаковского архива. Он знал о своем герое всё. По-видимому, знал кое-что и об его жизни после брака, но ничего не хотел сказать ясно и ограничился кратким указанием: брак оказался неудачным. Французский академик, имевший доступ к архиву, тоже неявно ссылается на слово, будто

бы сказанное Бальзаком о жене: «Она убивает меня понемногу» (Elle m'assassine en détail).

Вначале всё шло как будто сносно, — по крайней мере с внешней стороны. Бальзак еще изредка выходил, иногда принимал друзей. Говорить ему было тяжело, слушать молча здоровых людей еще тяжелее. Порою он, впрочем, оживлялся и старался говорить увлекательно. Но и блеск его речи теперь мало походил на прежний. Слушать его было тяжело. Обычно разговор поддерживала госпожа Бальзак. Он уверял, что какой-то волшебник предсказал ему: в пятьдесят лет его постигнет очень тяжелая болезнь, всё же он выздоровеет и проживет до восьмидесяти. Друзья, вероятно, вели разговор в веселом тоне, но ни у кого из них не было сомнений: дни Бальзака сочтены.

Разумеется, его родные скоро поссорились с женой. Они не могли не замечать, что он их стыдится; они были бедны, к аристократии не принадлежали и, в отличие от него, на это не претендовали. На самом деле ему стыдиться никак не приходилось. В своих письмах к Ганской он когда-то дал ужасный отзыв о своей матери; между тем она, по-видимому, была хорошая, достойная, хотя ничем не замечательная, женщина. Большой симпатии к жене сына у нее не было и не могло быть. Сестра же Бальзака, в своих воспоминаниях о брате, об его вдове не говорит, но вскользь, сдержанно и как бы подчеркнуто-уклончиво замечает: «Быть может, настанет время, когда я закончу рассказ о последних днях моего брата»; и неясно обещает, что его письма подтвердят перемену, произведенную в нем «столь дорого купленным опытом».

О том, что происходило между мужем и женой, в точности ничего не известно. Ревновал ли он ее к кому-либо? Еще в письмах Бальзака из деревни есть как будто намеки, — он опасался появления соперника. Скорее, это была у него тогда чистая теория: как же у нее, при двадцати тысячах десятин земли, не было бы других поклонников? «Ее руки домогались беспрестанно самые знаменитые и высокопоставленные люди», — сочинял он в одном из писем к сестре. Но тогда она была свободна и богата. Теперь она была его жена, и большая часть ее богатства отошла к дочери. А главное, как бы он теперь к ней ни относился, едва ли мог думать, что она при умирающем муже заведет себе любовника.

Им стало очень скучно друг с другом. Станным образом оказалось, что светская жизнь была в Верховне, — там в доме почти всегда бывали люди. В Париже у них под конец почти никогда никого не было. О французской королеве Марии Лещинской, с которой Ганская будто бы была в родстве, министр д'Аржансон сказал: «Людовик XV прижил с ней десять детей, но за всю жизнь не обменялся с ней ни единым словом». Бальзак никак не походил на Людовика XV; однако еще более странным образом оказалось, что разговаривать ему с женой больше незачем.

Через полвека после того Октав Мирбо поместил в одной из своих книг длиннейшие «разоблачения», вызвавшие много шума во Франции. Это был рассказ довольно известного в свое время художника Жигу. Он сообщил Мирбо, что еще при жизни Бальзака был любовником его жены и провел с ней в доме на улице Фортюне ту ночь, когда Бальзак умер. Подробности рассказал множество, одна была отвратительнее другой. Сиделка стучала в дверь и кричала: «Мадам, мадам, идите: мосье умирает». Госпожа Бальзак хотела было одеться и побежать к мужу, он, Жигу, ее удержал; минут через десять сиделка снова прибежала с криком: «Мосье скончался!»

Вдовы Бальзака уже тогда не было в живых, но графиня Мнишек еще жила и с негодованием протестовала против клеветы. Кое-кто говорил, что Мирбо просто всё выдумал; ничего такого Жигу ему не рассказывал. Позднее выяснилось, что этот рассказ слышали от художника и другие. В настоящее время часть французских «бальзакистов» верит этому рассказу, другая часть не верит. Вдова Бальзака года через два после его кончины стала «гражданской женой» Жигу, — как Аспазия после смерти Перикла вышла замуж за скотовода. Вечной верностью умершему мужу Ганская никак не была обязана. Но когда она писала, что в 1850 году «забыла людей и мир в своем невыносимом горе», это было, конечно, чрезвычайно сильное преувеличение.

Рассказ Жигу так циничен и грязен, что поверить ему трудно; разумеется, и не заслуживает доверия человек, который так говорил об умершей женщине, бывшей много лет его собственной женой. Едва ли госпожа Бальзак изменяла мужу в его последние дни, и, не будучи извергом, она не могла изме-

нять ему в минуты его агонии. К тому же она всегда боялась скандалов, а в обстановке, описанной Жигу, скандал на весь мир был бы неизбежен. О нем через месяц узнали бы и в Польше.

Но что бы ни было причиной раздора, — главная роль всей жизни Бальзака, любимая роль огромного репертуара, роль страстно влюбленного в Ганскую человека, кончилась худо и бесславно.

Ему теперь было больше и не до ролей. Он крепился из последних сил. Отправил Теофилю Готье письмо почти веселое, называл себя «мумией, лишенной слова и движения». Писать уже не мог, продиктовал жене, но собственноручно приписал несколько слов: «Не могу ни читать, ни писать».

Затем началась гангрена, он заживо сгнил. Жигу и здесь привел подробности: нос Бальзака будто бы вытек на простыню. Кое-что сходное, без таких преувеличений, сообщали и другие. Воспоминаний о последних его днях осталось слишком мало: о том, что думал и чувствовал умирающий Бальзак, мы можем лишь делать догадки. — Имеем ли право?

Перед ним теперь был общий, главный, основной вопрос жизни: зачем? зачем всё это было?

Едва ли философские мысли, которые он разбрасывал в книгах, могли дать ему хоть какое-либо утешение. Всё в них было совершенно противоречиво, и он верно утешался тем, что противоречива и сама жизнь.

Мало было толку и от его политических идей, — тут в полном недоверии к человеку он был гораздо ближе к Бланки, чем к своим «единомышленникам». Понимал, что никакой «системы» после себя не оставляет, и ни для чего ему теперь не была нужна система.

Та самая «злая правда», которую он любил в литературе и не любил в жизни, теперь издевалась над ним, как бы подтверждая его писания: жизнь сделала гран-гиньоль из его собственных последних дней. Созданное такими усилиями «гнездышко» было чудесно, но в нем оставалось прожить несколько недель в самых тяжких физических и моральных страданиях, в полном безобразии среди произведений искусства. Злая правда торжествовала, — однако теперь это была правда о нем самом. Дело было уже не в биографиях, — он им и прежде не верил, —

как Фридрих II не верил истории и называл ее «компиляцией разных видов лжи с редкими проблесками истины».

Говорили, что он звал великого врача Бианшона, никогда в действительности не существовавшего: это был врач, созданный им в романах. У него искусство и жизнь были нераздельны. Бальзак написал без малого сто книг. Вероятно, в последние свои часы яснее, чем когда бы то ни было, видел свои писательские (как и человеческие) недостатки. Слишком часто писал так, точно рубил топором, — что-то крепкое, тяжеловесное создавал и тогда, но топорно и выходило. Как все настоящие писатели, о многом из написанного сожалел. Иногда, перечитывая, морщился и вскрикивал: как мог это написать! То, что когда-то нравилось, теперь казалось ужасным. Быть может, перестало ему нравиться и общее заглавие его главных книг, когда-то доставившее ему такую радость. Не всегда люди играют комедию, и столь ли многое в их жизни так смешно и гадко?

Но он знал, не мог не знать, что творческая сила была ему дана необычайная, что искусству он служил, хоть с ошибками, верой и правдой, — изображал жизнь такой, какой ее видел. Быть может, перед смертью он не нашел лучшего утешения. Но это у него оставалось: «Человеческая комедия» тоже была бессмертием.

В свой последний день Бальзак велел вызвать доктора Наккара и сказал ему, что хочет знать всю правду. «Такой человек, как я, обязан перед обществом составить завещание».

Существуют разные мнения о том, имеет ли право врач сказать больному, что он умирает. Некоторые врачи говорили правду, — как Мандт Николаю I, как Шольц Пушкину. Очевидно, Наккар был таков же.

— Сколько времени вам нужно (для завещания)? — спросил он.

— Шесть месяцев, — ответил Бальзак.

Увидев по лицу доктора, что на это никакой надежды нет, он сказал:

— Но хоть шесть недель?.. Хоть шесть дней?

— Кто может гарантировать хотя бы один час? Люди, считающие себя здоровыми, могут умереть раньше вас. Но вы желаете знать правду... Вы должны составить завещание сегодня же... Нельзя ждать до завтрашнего дня.

Бальзак поднял голову.

— Значит, мне остается шесть часов! — вскрикнул он с ужасом.

17 августа у Виктора Гюго был обед и прием. Стало известно, что Бальзак умирает. Несмотря на случавшиеся иногда раздоры, Гюго преклонялся перед автором «Человеческой комедии», как и тот преклонялся перед ним. Бросив своих гостей, поэт отправился на улицу Фортюне. Вернувшись, он записал, что видел. Эта страница, опубликованная через много лет, когда и его самого уже не было в живых, принадлежит к лучшему из всего им написанного. Гюго никого не обвинял. Он даже не пытался хоть намеком подчеркнуть одиночество, в котором умирал Бальзак.

Знаменитое имя посетителя отворяло двери. Горничная проводила его к умирающему.

«Я был в комнате Бальзака.

Посредине комнаты стояла кровать... Бальзак лежал на ней, опустив голову на грудь подушек. Поверх них лежали красные бархатные подушки, взятые со стоявшего в комнате дивана. Лицо у него было фиолетовое, почти черное, оно было наклонено вправо, не выбрито, седые волосы были коротко острижены, глаза были открыты, взгляд был неподвижный. Я смотрел на него в профиль. Он был похож на Императора.

По сторонам кровати стояли старуха-сиделка и слуга. Позади изголовья на столе горела свеча. Другая стояла у двери на комод. На ночном столике была серебряная ваза.

Слуга и старуха молчали с выражением ужаса на лицах и слушали, как хрипит умирающий.

От постели шел нестерпимый смрад.

Я поднял одеяло, взял его за руку. Она была покрыта потом. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие...»

Бальзак умер через несколько часов.

На его похоронах какой-то давным-давно забытый министр сказал Виктору Гюго: «Это был почтенный человек». Гюго сердито ответил: «Это был гений».

Б р е д

## От автора

Замысел этой повести дал автору случайное, разделенное годами, знакомство с двумя разведчиками разных национальностей (один — весьма неясной; другой же написал о своем прошлом более или менее правдивые воспоминания). По всей вероятности, оба они никак не типичны. — Разумеется, автор взял у них лишь некоторые черты и существующих в действительности людей не изображал.



## I

Дом был новенький, только что отстроенный в одном из западных кварталов Берлина при помощи разных обществ с малопонятными названиями вроде Де-Ге-Во или Бау-Ге-Ма, на деньги, полученные по плану Маршалла. Квартира Шелля была небольшая, всего из двух комнат. В кабинете, освещенном венецианской люстрой, было много книг, были две картины, — «как будто недурные, но без подписи не скажешь», — были старинные часы с фигурами — «что-то мифологическое?», — был резной шкафчик с фарфором. «Никак не похоже на кабинет знаменитого разведчика, — думал полковник. — Зато сам он именно таков, каким должен быть... Играет хорошо, хотя ничего особенного в его игре нет. Я сам, пожалуй, играю не хуже».

— У меня триплет: три короля, — сказал Шелль, открывая карты.

— У меня четыре валета, — ответил полковник. — Вам не везет. Мне говорили, будто вы в последний месяц проиграли в игорных домах Берлина чуть ли не сорок тысяч марок?

— У вас осведомленные друзья, — сказал Шелль, делая вид, будто подавляет зевок. — Однако на сегодня действительно довольно.

Он вынул бумажник и отсчитал ассигнации.

— Кажется, так, но, пожалуйста, пересчитайте, я мог ошибиться.

Полковник, не считая, сунул деньги в карман.

— Вас подвела эта последняя ставка.

— Та же самая игра раз случилась с Людовиком XIV. Великий король не любил проигрывать, нередко мошенничал в игре и при большом проигрыше часто отделялся шуткой. В ту пору играли в какую-то игру, напоминавшую наш покер. Ставка была огромная, король проигрывал, и ему не очень хотелось платить. Он сказал победителю: «У меня три короля, но, включая меня самого, это составит четыре. Я выиграл». — «Ваше величество проиграли, — хладнокровно ответил при-

дворный, — у меня четыре валета, но, включая меня самого, это составит пять».

— Кажется, в ту пору мошенничали чуть ли не все?

— Это случается и теперь. Дело нетрудное. Хотите, я вам покажу, как это просто? — сказал Шелль. Он собрал карты, долго их тасовал и сдал снова. На этот раз три короля оказались у полковника, а четыре валета у него.

— Не знал за вами этого таланта, — сказал полковник, смеясь, всё же несколько озадаченно. — Вы могли бы его использовать.

— Ни за что. В карты я всю жизнь играл вполне честно... Хотите закусить? У меня есть кое-что.

— Это отчасти зависит от того, что именно у вас есть. Много ли мне, впрочем, нужно? Дайте мне омара Термидор, фазана, креп Сюзетт, бутылку шампанского, и я буду удовлетворен.

— Этого, к сожалению, я вам предложить не могу, но у меня есть пиво, сыр и какая-то из бесчисленных немецких колбас: Weisswurst, Bockwurst, Knackwurst, Leberwurst, Rothwurst<sup>1</sup>. Еще недавно у меня оставался старый иоганнисбергер, на мой взгляд, самое лучшее белое вино в мире. В 1946 году, в пору германской нищеты, я приобрел две дюжины бутылок за десять пакетов папирос Честерфильд. Продавал не то князь Меттерних, владелец иоганнисбергеровских виноградников, не то какой-то субъект, укравший эти бутылки у князя: тогда трудно было разобрать. Не говорите: «Как же вам было не стыдно покупать!» Я не слишком брезгливый человек, — сказал Шелль.

Он сидел, развалившись в кресле, заложив ногу на ногу. Лицо его выражало полное удовлетворение жизнью. «Как будто воплощение кайфа! Знаю я твой кайф! Может быть, ты проиграл последнее и теперь в отчаянии», — подумал полковник. Он никогда не занимался игрой в Шерлоки Холмсы, но наблюдения делал всегда, особенно же в тех случаях, когда нанимал новых важных агентов; старался делать и выводы, впрочем, в отличие от Шерлока Холмса, без малейшей уверенности в их правильности: слишком часто ошибался. «Одевается прекрасно, хотя так следует одеваться человеку лет на

---

<sup>1</sup> Телячья, сардельки, копченая, ливерная, кровяная (нем.).

десять его моложе. Ему, помнится, сорок два. Он, верно, один из тех людей, которые говорят, что одеваться нужно либо у двух-трех первых портных мира, либо у старьевщика. Покрой английский, но шит костюм не в Англии, там теперь больше нет таких превосходных материй. И не в Соединенных Штатах... Туфли на высоких каблуках, это странно при его огромной фигуре. Уж не хочет ли *гипнотизировать* людей ростом? Тогда, значит, позер. Не люблю».

Сам полковник был в штатском дорогом костюме, но носил его небрежно, брюки были не выглажены. Молодой племянник полковника Джим весело говорил, что небрежность дяди умышленная и очень персональная. «Вы следуете примеру Черчилля, дядя: у него рассчитана не только политика, но и шляпа». — «Зачем же мне рассчитывать?» — «А зачем рассчитывает Уинни? И вы оба старомодны. Но вы не огорчайтесь, — говорил Джим, — с вас, как со старого военного, и спрашивается тут мало. Президент Эйзенхауэр думает, что умеет носить штатское платье. А Идену, должно быть, смешно на него смотреть, как Айку было бы смешно смотреть на Идена, если б он увидел его в военном мундире. Один я одинаково элегантен в мундире и в штатском». — «Ты глуп, Джимми», — говорил полковник. Так обычно кончались их разговоры.

— Давайте, что есть. Когда нет иоганнисбергера, надо пить пиво; когда нет омара Термидор, надо есть колбасу. Такова моя жизненная философия.

— Она не блещет оригинальностью, однако совершенно справедлива, — сказал Шелль. Он тоже «наблюдал». «Много я их всех видел! Пора бы и перейти к делу. Некоторые из них делают вид, будто у них, как у Наполеона, нет ни одной свободной минуты, и говорят наполеоновским тоном, *отрывисто и кратко*, этот не таков». Ему нравился полковник: и тем, что был очень прост, вежлив, даже приветлив, и тем, что пришел к нему в гости, закусывал с ним и играл в карты, вел себя не как будущий начальник. «Наружность у него искусно обманчивая. Похож на старого провинциального доктора, лечащего бедных пациентов и еще приносящего им лекарства. Доброта, благодушие, непоколебимое спокойствие: в мире всё идет

превосходно. «Take it easy, don't worry...»<sup>1</sup> В этом огромная сила американцев, сделавшая их самым могущественным народом в мире... Седые волосы, лицо как будто еще молодое, но щеки уже чуть дряблые, с красными жилками. А глаза *настоящие*. Он, быть может, самый замечательный знаток шпионского дела из всех, кого я знал. Сколько трагедий через него прошло!»

— Я сейчас принесу, что найду, — сказал он и встал. «Вышел, как Эррол Флинн», — подумал полковник.

В углу комнаты была виолончель. Полковник встал и подошел к книжным полкам. «Так и есть, он *intelligentsia*». — Очень не любил это слово, неизвестно как возникшее и России и в чуть-чуть измененном смысле перешедшее в англо-саксонские страны. «Фрейд... Юнг... Говорят, он был одно время нервно болен, это не проходит даром и в случае выздоровления. Еще стоит ли с ним связываться? Увидим по первому опыту». На полках были классики, но были и дешевые детективные романы. «Вот и суди о человеке по его книгам. Я видал и таких агентов, неважные были агенты... Фарфор хороший. Трехцветный Мин! Однако! Видно, были большие деньги или же здесь купил тотчас после войны». В фарфоре полковник знал толк. Сам в молодости собирал коллекцию фарфора, преимущественно старого американского, в своем небольшом имении в Коннектикуте. Этот деревенский дом полковник купил на сбережения и почти никогда в нем не жил: собирался в нем поселиться после выхода в отставку. Хотя он любил деревенскую жизнь, всё же отставка за предельным возрастом была его кошмаром: не видел, что будет делать без службы и как заполнит двадцать четыре часа в сутки. Службу свою он любил чрезвычайно и не находил нужным ее «проклинать», как это часто делают люди.

Кроме фарфора, в комнате, на этажерках, на столиках, на письменном столе, было еще множество небольших, замысловатых, в большинстве экзотических, вещей — коробочек, шкатулочек, башенок, табакерок, флакончиков, подсвечников. Некоторые были красивы, и все были решительно ни для чего не нужны. «Такие вещи покупают нервные, не слишком богатые, но щедрые путешественники...». В другом углу кабинета, про-

---

<sup>1</sup> «Относись спокойно, не тревожься...» (англ.).

тив виолончели, стояла горка с гирями. Полковник попробовал одну из них и еле поднял, хотя сам был крепкий человек и много занимался спортом в молодости. «По слухам, он был настоящий геркулес, да это и теперь видно... Еще прибавится номер в моей человеческой коллекции. Запросит, верно, дорого. Впрочем, последнее его дело в Бельгии не удалось. Должен был бы после этого несколько понизить цену».

— У вас много книг на иностранных языках, — сказал он, когда Шелль вернулся с подносом.

— Я в свое время любил читать и теперь медленно разучиваюсь: больше не доставляет удовольствия.

— Вот как? Говорю: на иностранных языках, но, собственно, какие языки для вас иностранные? Вы ведь русский по происхождению?

— Нет.

— Нет? — протянул недоверчиво полковник. — Нет так нет. По-английски вы говорите почти как американец.

— По-французски я говорю почти как француз, по-немецки почти как немец. Но это «почти» — опасная вещь. Вероятно, некоторые из иностранных агентов в России погибли потому, что говорили по-русски «почти» как русские. У меня нашла еще бутылка водки. Хотите?

— Отчего же нет? Хотя вы нерусский, вкусы у вас русские.

— Водку пьют во всем мире. Нет лучше напитка, если не считать шампанского.

Шелль снял кольцо с каким-то редким зеленоватым камнем, сильно хлопнул рукой по доньшку, пробка вылетела. Полковник никогда этого не видел и улыбнулся. «Кольцо — какой-нибудь «талисман», они почти все суеверны. А такие руки верно бывают у душителей!.. И брови сросшиеся...»

Они выпили и закусили. Шелль вынул из жилетного кармана трубочку, высыпал порошок в стакан с пивом и выпил.

— Простужены? Или страдаете желудком?

— Так. Легкая лихорадка.

— Давно ли? Я при простуде принимаю добрый старый аспирин.

— Нет, это экзотическое средство.

— Экзотическое?

— Мексиканское. В Мексике есть превосходные лекарства, оставшиеся еще от времени ацтеков.

— Я знаю, что вы недавно ездили в Мексику. Дела?

— Да, были и дела. Главная составная часть называется Ололеукви, в просторечии «ла Сеньорита», а по-ученому, кажется, *Turbina cogumbosa*. Но входят еще разные другие вещества. Это и снотворное, или что-то в этом роде. Оно дает сон с виденьями. Даже не сон, а какой-то *реальный* бред. Его почти не отличишь от действительности. Я иногда в этом бреду вижу человека как живого: представляю себе его прошлое, его характер, привычки, тайные и явные помыслы. Это мне иногда оказывало услуги в работе. Я ведь разведчик-психолог. Да и что такое бред? В нашем мире всё бред.

— Весьма сомневаюсь. И не совсем себе представляю, что такое «реальный» бред? У меня всегда сны совершенно бессмысленны. На прошлой неделе мне снилось, что Дикий Билл обыграл пророка Иеремию в покер на два миллиона марок и внес деньги в «Дейтче Банк», где их немедленно конфисковали как имущество неарийского происхождения.

— Это, конечно, не такой сон, какой я назвал бы реалистическим. А кто такой Дикий Билл?

— Разве вы не знаете? Таково было прозвище Уильяма Доновена, который в пору второй войны руководил нашей контрразведкой. Вы его никогда не встречали? Очень способный человек, хотя и дилетант. Он сделал бы еще гораздо больше, если б его дружно не ненавидели армия, флот, авиация и полиция... Так есть реальный бред?

— Я сам прежде этому не верил. Теперь не только верю, но знаю. Вернее, не реальный, а чередующийся. Реальное незаметно переходит в фантастическое, а фантастическое в совершенно реальное. Это особенность именно Ололеукви. Читал об этом в медицинских книгах, да мне известно и по опыту. Я все снадобья перепробовал.

— Зачем же вы это делаете? Это очень вредно, — сказал полковник озадаченно и даже почти с беспокойством. — Что в этом хорошего?

— Как что? У вас одна жизнь, а у меня, кроме настоящей, десять воображаемых. Ведь миром правит воображение.

— В нашем деле пользоваться такими веществами нельзя! — строго сказал полковник. — Быть может, это тот же опиум

или гашиш... Так ваши услуги понадобились и в Мексике?.. Какой у вас, кстати, паспорт?

— Точно вы не знаете! Аргентинский.

— Вы очень удачно выбрали себе фамилию. Шеллем может называться кто угодно: немец, англичанин, француз, венгр, русский.

— Я фамилию не выбирал. Это моя настоящая фамилия.

— В нашем мире вы знаменитый человек.

— Моя известность — человек на пятьдесят. А ваша на сто.

— Последняя ваша кличка была «граф Сен-Жермен», по имени знаменитого авантюриста XVIII столетия? — спросил полковник, смеясь. — Говорят, у вас было не меньше авантур, чем у него?

— Как, вероятно, у большинства старых разведчиков.

— Да, уж такое ремесло, — сказал полковник. «Может быть, он в душе и считает себя новым графом Сен-Жерменом». — Кажется, до сих пор точно не известно, кто он был такой?

— По наиболее правдоподобным предположениям, он был сыном португальского еврея из южной Франции и какой-то французской княгини.

— Вы, верно, о нем много читали?

— Разумеется, уж если мне дали такую кличку.

— Вы были летчиком, вы недурной парашютист. Правда ли, что по физической силе вы могли бы сравниться чуть ли не с Джо Люисом?

— Нет, это сильное преувеличение. Всё же кое-что еще осталось.

Шелль подошел к пирамиде и проделал движения с самыми большими гириями. Проделал их как будто очень легко. «Хочет показать, что не слабеет. Плохой признак».

— Что же вам сообщали обо мне ваши агенты? — спросил Шелль, садясь в кресло. — Расскажите, что можете. Я не думаю, чтобы в нашем деле надо было всё скрывать и во всем обманывать собеседника. Особенно такого, какого обмануть трудно.

— Я тоже этого не думаю. Так думают только *плохие* разведчики... Что они сообщали? Многое. Разное. В старых романах о вас было бы, верно, сказано, что вы «человек с опустошенной душой», — тоже весело ответил полковник. Он

протянул Шеллю старомодную серебряную папиросочницу. Тот взял папиросу и демонстративно крепко наложил пальцы на гладкую поверхность.

— Вам, может быть, нужны мои дактилоскопические отпечатки? Вот они.

— Вы, верно, начитались детективных романов. Кроме того, ваши снимки у меня есть.

— А велико мое досье?

— Немалое.

— Может быть, оно еще полнее у полковника № 2.

— У кого?

— Я так называю советского офицера, занимающего в Берлине ту же должность, что вы, по другую сторону железного занавеса. Курьезно то, что у вас сходство не только в чине, но и в положении. Вы всего полковник, но мне прекрасно известно, что вы в вашем берлинском учреждении едва ли не главный. То же самое относится к нему. Впрочем, у них человек, носящий чин майора в министерстве внутренних дел, переходит, кажется, в армию с чином генерал-майора. Пользы от тайны и тут немного. Вы отлично знаете, кто он, а он отлично знает, кто вы... Согласитесь, что нет сейчас в мире более интересного города, чем Берлин. Это действительно *das Schaufenster der Welt*<sup>1</sup>. Тут центр международного шпионажа. Я как-то в свободное время пробовал сосчитать, сколько в Берлине иностранных разведок. Дошел до тридцати и бросил считать. Иначе и быть не может: Берлин, да еще Вена единственные города в мире, где можно в несколько минут с удобствами переехать, хотя бы по подземной железной дороге, из одного мира в другой... Что, безвыходное положение в мире?

— Трудное, но не безвыходное. Безвыходных положений не бывает.

— Бывают, бывают. Хотите послушать радио? Сейчас будут передавать новости.

— Что ж, послушаем.

— Узнаем верно много приятного.

---

<sup>1</sup> Всемирная витрина (нем.).



## II

— Вы, разумеется, понимаете, — сказал полковник, взглянув мельком на Шелля, — что при разговоре с каждым кандидатом на службу к нам должны ставить себе вопрос: быть может, он двойной агент? Но, по моему опыту, двойных агентов в настоящем смысле слова почти не бывает: каждый из них всегда предпочитает одну из двух сторон и по-настоящему служит только ей. Против таких я лично ничего не имею.

— Быть может, вы таким даже платите больше жалованья, и это естественно.

— Я, например, в принципе ничего не имел бы против того, чтобы наши агенты иногда, в случае крайней необходимости, поддерживали отношения хотя бы с «полковником № 2». Разумеется, при условии, чтобы *по-настоящему* они работали для нас. Мы и платим лучше.

— Не говорите: они, кажется, иногда платят очень хорошо.

— О деньгах мы с вами сговоримся... Вы совершенно свободно переходите в Восточную зону?

— Дело нехитрое.

— Как для кого. У вас есть там связи?

— Нет.

— Вы работаете только ради денег?

— Вы говорите так, точно другие у вас работают по убеждению.

— Многие. По убеждению и из патриотизма.

— Бесплатно?

— Разумеется, нет. Людям надо есть и пить.

— Я думаю, в вашем ведомстве, за исключением его верхов, преобладают иностранцы. Может быть, они тоже патриоты, но какого отечества?

— Некоторые работают из мести и из ненависти к правительству своей страны.

— За эти чувства они получают очень хорошие жалованья. Но от меня, надеюсь, вы *вашего* патриотизма не ждете. Не ждите от меня и твердых принципов. Я, можно сказать, профессионал никак не принципиальных дел. У меня аллергия к принципам, а может быть, и вообще к добру («Типичный фра-

зер!» — подумал, морщась, полковник). Но уж если мы, против обычая, заговорили о таких предметах, то скажу вам, каков мой вывод из многих лет довольно разнообразной работы в разведке. Среди настоящих разведчиков есть выдающиеся люди. Они обычно сочетают в себе хорошие свойства офицеров с хорошими свойствами... Ну, кого бы назвать? С хорошими свойствами, например, писателей: с проникательностью, наблюдательностью, знанием людей, фантазией, с умением перевоплощаться в другого человека. Те из них, что служат *своему* отечеству, даже порядочные люди. Судя по тому, что я о вас слышал, да и по моим наблюдениям вы вполне порядочный человек.

— Очень вас благодарю, — сказал полковник. «Быть может, ты в этом вопросе не слишком авторитетный судья», — подумал он. — Вы говорите о *нашем* ремесле. Мое ремесло с вашим не тождественно. Я работаю за письменным столом, у меня главное: систематизация, сопоставление, критика тех сведений, которые я получаю. Здесь всё в добросовестности, во внимании, в терпении. Чистая проза.

— Так думала ваша старая школа. Вы, собственно, к ней и принадлежите, хотя ее обновили вместе с генералом Боллингом, и сделали большую карьеру в последние годы. Но это другой вопрос, и он меня не касается.

— Именно.

— Удивит ли вас, если я скажу, что полковник № 2 тоже честный человек, правда, со всячинкой, как они все, и окруженный негодьями. Его положение трудное. Сталину вообще надо докладывать то, что он желает слышать. Неприятных сведений он не выносит, — большой недостаток для главы правительства.

— Это общее место.

— Я не обязался высказывать откровения.

— Но это едва ли верное общее место. Во всяком случае, главари московской разведки, как и всех вообще разведок, требуют, чтобы им сообщали правду. Доклаживают ли они ее Сталину неприкрашенной, этого я, разумеется, не знаю.

— Прикрашивают. Но и по другим причинам полковник на своем месте не удержится. У них ведь как в переполненном автобусе: стоящие в проходе с ненавистью смотрят на тех, кто сидит.

— Он недурной специалист и старый боевой офицер. В конце войны он командовал полком и был ранен в ногу. Поэтому его и перевели в разведку. Кажется, его так и называют «Крамой», — сказал полковник, как будто старательно и по-иностранному выговорив русское слово. Недурно владел русским языком и скрывал это. — Он член партии?

— Вероятно. Иначе его на такую должность не назначили бы. Но знаете, у офицеров партийные аксельбанты ровно ничего не значат. Тухачевский тоже был коммунистом. Так вы знаете по-русски?

— К сожалению, только несколько слов. «Тшорт», — выговорил полковник, смеясь. Несмотря на существование звука «ч» в английском языке, он произносил «тш». — «Сукин син...»

— Приятно слышать... Полковник № 2 не сукин сын. Говорят, он тяготится своей нынешней службой. Я допускаю, что порядочные люди могут быть везде, но...

— Не везде. В гестапо порядочных людей не было. И в ГПУ нет.

— Но приблизительная химическая формула разведчика такова: 50 процентов любви к деньгам, 20 процентов спортивных инстинктов, 10 процентов глупости, 10 процентов идейных соображений, 10 процентов скуки от пустой или неудавшейся жизни.

— Добавьте известный процент душевной неуравновешенности.

— Да, конечно, морфиноманы, кокаинисты.

— Есть и такие. Точнее, многие становятся морфиноманами, работа трудная. А когда они становятся морфиноманами, то им обычно грош цена. Меня всегда забавляло, что Конан Дойл сделал Шерлока Холмса кокаинистом. Это доказывает, что талантливый английский писатель ничего не понимал в полицейском деле. «Дедукции» Шерлока и вообще не очень убедительны, но если бы он был кокаинистом, то скоро превратился бы в развалину и через год стал бы бездарнее самого доктора Ватсона... Так вы работаете только для денег, — сказал полковник с легким разочарованием. — А я думал, что именно у вас огромный процент «спортивных инстинктов». Граф Сен-Жермен, вероятно, был преимущественно искателем сильных ощущений. Правда?

— Наверное и в это входили деньги. Были любовь, ненависть, зависть, ревность, вино, политика, спорт, возвышенные и невозвышенные идеи, а где-то во всем этом торчало и золото. Как у большинства людей. Зачем только они это скрывают или отрицают?

«Довольно плоский взгляд», — подумал полковник. У него у самого деньги не занимали большого места в жизни. Дорогое увлечение у него было лишь одно: лошади. В ранней молодости он служил в кавалерийском полку и даже принимал участие в одном из последних кавалерийских дел в истории. Ему было больно, что роль конницы навсегда кончилась. Армия без конницы была для него уже не совсем настоящая армия.

— Не спрашиваю вас, сколько вам предложили англичане. Мы вам дадим больше. Значит, вам всё равно, кому служить?

— Не совсем всё равно. Есть разные обстоятельства. Например, опаснее служить Западному миру, чем Восточному. В случае провала у вас судят, а у них просто расстреливают и, что гораздо хуже, до того пытаются.

— Ну, вот видите, некоторую разницу между Западным и Восточным миром вы признаете: у нас судят и не пытаются. В нашем деле иногда приходится делать кое-что такое, что плохо согласуется с заповедями Моисея. Иначе мы поступать не можем: ведь мы только защищаемся! Надеюсь, и вообще есть разница между строем, основанным на свободе, и строем, основанным на рабстве? Вы этого не видите?

— Разницы не видят только снобы.

— Я слышал, что вы ненавидите советское правительство и имеете для этого и личные основания. В конце концов, это для нас и не столь важно. В нашем деле, как во французском Иностранном легионе, человека о прошлом не спрашивают. Лишь бы он служил *нам* честно, — еще настойчивее повторил полковник.

— Вы, вероятно, хотите доставить меня на парашюте в СССР?

— Мы никого на парашютах в СССР не отправляем, — сказал очень холодно полковник. — И никакими драматическими и страшными делами мы не занимаемся.

— Напрасно не занимаетесь. Если б ваши агенты пятнадцать лет тому назад убили Гитлера, спаслись бы десятки миллионов людей.

— Такими делами мы тем более никогда не занимались, — сказал полковник еще холоднее. — Да и вас я не хочу непременно отправлять в Россию. Вы могли бы действовать как вам было бы угодно. Мы просто хотели бы вывезти из Москвы одного беспомощного человека. Он ученый и никакой политической не занимается. Нам нужно одно его открытие.

— Дело нелегкое.

— Для *легкого* дела я к вам и не обратился бы.

— Но это особенно трудное. Из России не возвращаются.

— Это сильное преувеличение.

— Вы, наверное, окружены советскими агентами.

— Возможно, но я этого не думаю. У меня провалы бывали чрезвычайно редко. Кроме того, я никому из своих подчиненных о вас не скажу.

— А из ваших начальников?

— Они умеют хранить и не такие секреты.

— «И не такие»? Согласитесь, что для меня этот секрет имеет некоторое значение.

— Мы заплатим очень хорошо. Так как же?

— Я вам дам ответ через две-три недели. Мне надо съездить в Италию. Не по делам, а так, чтобы отдохнуть.

— Ждать не очень удобно... Конечно, если у вас лихорадка... Она ведь не затяжная?

— Нет, ничего серьезного нет. Я здоров. Просто отдохну в Италии. Люблю греться на солнце.

— Как змеи, — пошутил полковник. — Вы куда поедете?

— Еще не знаю, верно во Флоренцию, — небрежно ответил Шелль. Он собирался на Капри. — Я там приму решение.

— Что же нас, собственно, удерживает?

— Мне просто надоело наше ремесло.

— Вот как? Так вы мне дадите ответ не позднее, чем через две недели?

— Если я откажусь, то пришлю вам телеграмму уже через несколько дней. Во всяком случае, я повидая вас еще до моего отъезда. По другому делу.

— Не о вас? — спросил полковник, насторожившись.

— Нет, об одной даме. Сейчас об этом говорить не стоит... А этот советский изобретатель *хочет* уехать из СССР?

— Он ненавидит советскую власть.

— А не донесет ли он на меня первый?

— Вы примете меры. Я знаю, что дело трудное. Иначе я не ассигновал бы на это больших денег, — многозначительно подчеркнул полковник. — Вы убедите его уехать.

— Конечно, это соблазнительно. Как зовут этого ученого?

Полковник закурил новую папиросу. «Нет гарантии, что он не будет *их* двойным агентом, — сказал себе он. — Но гарантии не будет, к кому бы я ни обратился. Всё же можно *почти* с уверенностью сказать, что этот не донесет. Ему и невыгодно, тогда он был бы конченым человеком! И по всему, что о нем известно, не донесет».

— Как же я могу рисковать чужой жизнью, когда вы еще и не дали мне ответа?

— Вы прекрасно знаете, что такой риск неизбежен. К кому бы вы ни обратились, вы ведь должны будете сообщить имя, и вы не можете быть уверены, что этот человек не донесет. А вот я не донесу. Каков бы я ни был, у меня есть свой кодекс чести. Так сказать, «бусидо» японских самураев, — хмуро сказал Шелль. В глазах у него что-то мелькнуло. «При случае может быть страшен, *самурай*», — отметил полковник. — Или, чтобы говорить менее пышно, знаете, есть такие горничные, которые бросают службу в доме, если видят, что от них прячут деньги. Так и я не служу, если мне не верят. Да мне и необходимо знать всё о нем. Я всегда начинаю с того, что долго, часто думаю о предстоящей задаче, о людях, с которыми придется иметь дело. Мне необходимо знать всё об этом ученом.

— Да я сам почти ничего о нем не знаю... Его зовут Николай Майков, — сказал, еще помолчав, полковник. — Я произношу правильно? Добавлю, что его открытие ни малейшего военного значения не имеет. Оно относится к продлению человеческой жизни или к чему-то в этом роде.

— Зачем же *вы* его вывозите?

— Разве вам не хочется продлить свою жизнь? — спросил, смеясь, полковник. — Нам тоже хочется. Если вы его вывезете и если его открытие серьезно, то оно во всех подробностях будет опубликовано в научных журналах. Таким образом, рус-

ским от него будет не меньше пользы, чем нам и чем всем другим. А вреда не может быть решительно никому.

— Почему же советское правительство само не публикует открытия своего ученого?

Полковник пожал плечами.

— Как мне сообщили, по разным причинам. Во-первых, этот ученый там на очень плохом счету, он несколько раз сидел у них в тюрьме. Во-вторых, его взгляды вообще как будто как-то противоречат их философии, не то Марксу, не то Мичурину, не то научным концепциям самого дяди Джо. В-третьих, они считают его идиотом или сумасшедшим и денег ему не дадут, он к ним и не обращается. Впрочем, я знаю об его открытии еще меньше, чем о нем самом, да если б и знал, то верно ничего не понял бы. Но один наш очень известный и влиятельный биолог сообщил в Вашингтоне, что, по его сведениям, открытие этого русского имеет огромное значение и в надлежащих условиях могло бы дать головокружительные результаты. Мне поручили попробовать помочь ему. Это действительно не входит в мои обычные занятия.

— Всякое бывало. У западных стран было с Россией долгое соревнование в деле вывоза немецких ученых: кто больше вывезет и каких по важности. Тут, вероятно, тоже без разведки не обходилось. А может быть, у вас и вообще были бы рады конфузному для Советов происшествию? Я прекрасно понимаю.

— Вам нечего понимать. («Тут нечего понимать или вообще?» — спросил себя Шелль). И я уже сказал вам, что мы только защищаемся. Первыми неприятностей никогда не делаем... По получении вашего ответа я сообщу вам всё, что знаю. А там будет видно, после первого опыта совместной работы. Я отлично знаю, что вы на этого Майкова не донесете. Вы и не способны на это, это было бы очень низким делом, и для вас никак не выгодным: мы об этом тотчас сообщили бы всем возможным работодателям. Говорю так, просто к слову. Прекрасно знаю, что на вас можно положиться... А что же вы будете делать, если бросите разведку? — спросил он, хотя это ему было неинтересно.

— Я начинаю приходить к мысли, что мог бы зарабатывать столько же и даже больше гораздо менее опасной работой.

— Что же, вы станете маклером или лавочником?

— Маклером или лавочником едва ли. В молодости я хотел стать писателем.

— Это видно. Вы говорите очень литературно.

— Литературно говорят не писатели, а адвокаты. А теперь этого стали требовать и от разведчиков. По мнению новой школы, хороший разведчик должен быть блестящим *causeur*-ом<sup>1</sup>, говорить обо всем чем угодно и ни единым словом не проговариваться. Стараюсь приравниваться. Писателем же я не стал из-за отсутствия таланта.

— Отчего же вам не закончить карьеру разведчика блестящим делом? Тогда у вас будут и деньги... Я слышал, что у вас недавно была неудача, — полувопросительно сказал полковник.

— Если и была, то не по моей вине, — сердито ответил Шелль. — Да неудачи и не было.

— А хотя бы и была. У кого не было? Не надо оглядываться назад, вспомните о жене Лота, — особенно ласковым тоном сказал полковник. — Будущее другое дело. Вот та сумма, которую мы вам заплатили бы в случае успеха, и помогла бы вам начать более безопасную жизнь. Только я не очень в это верю. Из разведки не уходят... Впрочем, вы можете написать воспоминания или роман. Все разведчики хотят написать воспоминания или роман.

— Я знал даже таких, которые именно для этого шли в разведку.

— Я тоже знал. И сколько плохих книг они написали! Хорошие разведчики книг не пишут. Вы можете стать первым.

— А вы знакомы с полковником № 2?

— Нет, это было бы неудобно и мне, и особенно ему.

— Собственно, почему? Генералы армий, воюющих одна с другой, обмениваются же любезностями. В пору первой Крымской войны английские и французские адмиралы посылали русским в подарок сыр, дичь, и те отвечали им подарками.

— Эти времена навсегда кончились. Кейтеля и Йодля в Нюрнберге повесили.

— Штатские. Генералы-победители были очень этим недовольны. Такой финал действительно портит ремесло, — сказал Шелль. — Так вы согласны подождать две-три недели?

— Что же мне делать? «Тшорт», — сказал полковник.

---

<sup>1</sup> Собеседником (*фр.*).



## III

В клубе Шелль играл не в покер, а в бридж, и ему опять не везло. Особенно неудачен был последний роббер с неоправдавшимся контрированием партнера. Этот игрок расстроился и, хотя было всего десять часов вечера, объявил, что больше играть не хочет; даже не выдумал приличного предлога. По клубной этике такое действие считалось недопустимым, но никто не спорил: новую партию устроить было нетрудно, она тотчас и устроилась.

Шелль в нее не вошел. Из вежливости его звали, однако не очень и с некоторой опаской. Он считался большим мастером, а в клубе одинаково избегали очень сильных и очень слабых игроков. Играл он всегда спокойно, не горячился и даже не принимал участия в обсуждении сенсационных по последствиям заявок и розыгрышей. Этого в клубе тоже не любили. Иногда перед началом игры какой-либо миролюбивый человек предлагал: «Давайте, господа, сегодня играть без всяких ссор и споров, как играют англичане». Все тотчас радостно соглашались, хотя бывалые люди знали, что так не играют ни англичане, ни верно никто в мире, и слава Богу. За игрой не следовало скандалить и выражать, — по крайней мере, открыто — сомнение в умственных способностях партнера, но не следовало и молчать как рыба: некоторая доля брани и крика входила в удовольствие, доставляемое клубом.

Кроме того, у нервных людей вызывал неприятное чувство этот гигантского роста человек, с неподвижным каменным лицом, с неторопливыми и, как у очень хороших актеров, *значительными* движениями. Никто не знал его профессии. Одни говорили, что он имеет наследственное состояние и никакими делами не занимается; другие сообщали, что он занимается самыми темными делами; сообщали и без доказательств, и без возмущения, — отчего же не сказать? В клубе, особенно в первые годы после окончания войны, можно было купить и продать всё что угодно, от золота и долларов до груза чилийской селитры и виллы в Италии. В промежутке

между робберами люди уводили друг друга в сторону, о чем-то взволнованно и яростно шептались. Шелль не шептался ни с кем, это было подозрительно. Никто с ним и не шутил; в редких случаях, когда он проигрывал, никто не отпускал веселых, имевших прочный успех замечаний на тему: не везет в игре — значит, везет в любви.

Встав из-за стола, он мысленно подсчитал, что всё его состояние теперь составляет тысячу восемьсот долларов. Еще недавно было раз в шесть больше. «Что ж, оставлю Эдде долларов шестьсот. Она не так жадна, надо отдать ей справедливость. Если и поторгуется, то больше по чувству долга. Если же удастся сплавить ее полковнику № 2, то можно будет дать и четыреста: за месяц вперед, джентльменский расчет».

И только он, взглянув на часы, устроился за маленьким столиком, как лакей почтительно доложил ему, что его в вестибюле спрашивает дама. «Смерть мухам!» — с досадой подумал Шелль. В клуб дамы, по-старинному, не допускались.

— Я сейчас спущусь.

Он неторопливо осмотрел себя в огромном стенном зеркале, — галстук был повязан безукоризненно, ни один волосок не передвинулся в проборе, искусно устроенном так, что начинавшаяся лысина была почти незаметна. Седина в волосах его не огорчала, — гораздо лучше, чем плешь. Шелль прошел через две другие залы. Дому, в котором помещался клуб, повезло. Каким-то чудом он уцелел в пору бомбардировок; находился не в районе Унтер-ден-Линден, не на Йегерштрассе или Кениггретцерштрассе, как другие клубы, а поблизости от Курфюрстендамма, в Западной зоне. Его построили в начале двадцатого века, в лучшее вильгельмовское время, когда не было нигде ни виз, ни безработицы, ни продовольственных карточек; когда слов «валюта» или «инфляция» никто, кроме экономистов, не слышал и, вероятно, не понял бы; когда за мысль о воздушной бомбардировке Берлина человека немедленно признали бы душевнобольным; когда на каждом углу у Ашингера с бело-голубым фасадом можно было за пятнадцать пфеннигов получить сосиски с горой политого уксусом картофеля и огромный бокал пива; когда в «Рейнгольде» одновременно обедало в колоссальной средневековой зале две тысячи человек под угрюмым взглядом Барбароссы; когда в разных

Amorsäle<sup>1</sup> лакеи в зеленых ливреях с раззолоченными пуговицами каждый вечер упорно старались усадить гостей за столы с надписью: «Reserviert für Champagne»<sup>2</sup>.

В доме была огромная мраморная лестница, покрытая мягким ковром, были раззолоченные балкончики с цветами, была даже летняя терраса для отдыха и для солнечных ванн. Здесь и до первой войны помещался клуб; в нем бывали штаатераты, коммерциенраты, герихстераты, баураты, шультраты, медицинальраты, раттеберы, гофлиферанты<sup>3</sup>, видные журналисты и адвокаты. Украшали его когда-то именами и пять-шесть либеральных генералов и баронов, и был даже членом один граф.

От бомбардировок дом не пострадал, только побилась лепная работа на фасаде и были разнесены вдребезги горшочки с геранью. После войны клуб возобновил работу; но прежние клиенты вымерли, и теперь тут бывали самые разные люди, иностранцы всех национальностей, должностные лица, новые богачи, разведчики, бывали даже прежние служащие гестапо, давно переменившие наружность, имена, бумаги, державшиеся очень передовых взглядов, но осматривавшиеся по сторонам: нет ли поблизости какого-либо чудом уцелевшего заключенного с выжженным на руке клеймом концентрационного лагеря, — еще мог бы их узнать; впрочем, и в этом случае ничего страшного, верно, не произошло бы, так как всё покрыли давность, амнистии и «черт с ними!..». В клубе и теперь был очень недурной ресторан, подделывавшийся не под Париж, как в прежние времена, а под Нью-Йорк: в меню названия блюд давались с английским переводом, и всегда можно было найти, рядом с гусем с яблоками, какой-нибудь Pot Roast Lamb Sandwich with Brown Gravy, Spiced Peach and Fresh Spinach, а в карте вин Mt. Vernon 10 уг. Bonded Rye и Old Grand-Dad 8 уг. Bourbon. Полиция не очень интересовалась крупной игрой в клубе, так как среди гостей иногда бывали и важные лица.

<sup>1</sup> Кабинетах (нем.).

<sup>2</sup> «Резервировано для пьющих шампанское» (нем.).

<sup>3</sup> Государственные советники, коммерческие советники, судебные советники, советники по строительству, советники по образованию, советники по медицине, советники-консультанты, поставщики двора (нем.).

Эдда сидела в пустом огромном холле в углу, в готическом кресле, у раззолоченной статуи Брунгильды с копьем. «И сама воинственна, как Брунгильда, — подумал Шелль. — Конечно, будет «ужас и фантастика». О чем сегодня?..» Она была в норковой *сари*, ярком фиолетовом платье, была *вызывающе* накрашена. Выкрашено было всё: волосы в ярко-золотой цвет, лицо, веки, ресницы, ногти. «Наташа и не знает, где покупаются дамские краски!.. Ох, надо эту сплавить, как ни безобразен способ... От золотых копн ее лицо кажется вдвое шире. Даже этого не умеет. Выкрасила бы и усики, они очень ее портят. Под глазами уже веер. Слишком много пьет. Скоро потеряет и красоту».

Он изобразил на лице достаточную, хотя и не слишком большую, степень восторга.

— Как я рад тебя видеть! — сказал он, целуя ей руку.

— Не знаю, так ли ты рад? Ты, кажется, хотел сказать: «Чего тебе еще нужно?» — начала она. «Ну, валяй, валяй, с места в карьер», — подумал он и, радостно улыбаясь, точно ждал самого веселого разговора, придвинул готический стул к копыю Брунгильды и сел. Швейцар издали неодобрительно на это взглянул, хотя Шелль у него пользовался милостью.

— Никак не хотел ничего сказать, ты этого, к счастью, и не думаешь. Как ты поживаешь? — спросил Шелль. Прошедший по вестибюлю элегантный гость ласково посмотрел на Эдду. «В самом деле она пока хороша собой. Но Наташа в сто раз лучше».

— Как я поживаю? Отлично. Превосходно. Как может поживать женщина, которую хочет бросить ее любовник? Но я пришла не для того, чтобы устраивать тебе здесь сцену.

— Это очень приятно слышать. Устраивать мне сцену действительно не за что.

— Мне это надоело, а тебе мои сцены только доставляют удовольствие.

— Ни малейшего. Я не мазохист. Но чему же в самом деле я обязан честью и радостью твоего посещения? — спросил он. В последнее время они обычно говорили в этом тоне, который обоим очень нравился.

— Ты обязан честью и радостью моего посещения тому, что мне надо, наконец, знать, видел ли ты его, — сказала Эдда, очень понизив голос и беспокойно оглядываясь.

— Кого, кохана?

— Во-первых, не называй меня «кохана»! Ты не поляк, и я не полька.

— Чем же я виноват, что ты называешь себя Эдда? Кроме дочери Муссолини, никто так не называется. Почему тебя не зовут Риммой?

— Глупый вопрос. Потому, что меня зовут Эддой.

— Ну что Эдда, какая Эдда! Пожалуйста, называйся Риммой... А во-вторых?

— А во-вторых, ты отлично знаешь, «кого». Советского полковника.

— Я собираюсь к нему сегодня.

— Так поздно?

— Он мне назначил свидание в половине двенадцатого... Но ты твердо решилась?

— Разве сегодня же надо дать окончательный ответ? — спросила она. Лицо у нее несколько изменилось. Ему стало ее жалко. «Всё-таки не следует так с ней поступать», — подумал он.

— Как хочешь... Помни, во всяком случае, что я тебя не уговариваю.

— Ты врешь, ты меня уговаривал.

— И не думал. Говорю тебе еще раз: поступай как знаешь. Дело трудное, опасное и нисколько не романтическое. У тебя комплекс Мата Хари, и кроме того, комплекс Нерона. Но ты с ними проживешь восемьдесят лет и на старости будешь отдавать деньги под вторую закладную, из двенадцати процентов.

— Ты помешался на этих комплексах! У тебя комплекс Черчилля.

— Зачем тебе это? Пиши стихи, ты талантливая поэтесса.

— Поэзией жить нельзя. Особенно русской.

— Я тебе и говорил, что ты должна писать по-французски. И пиши прозу. Впрочем, нет, прозы не пиши. Есть писатели, навсегда погубленные Достоевским, и есть писатели, навсегда погубленные Кафкой, хотя у Кафки талант был очень маленький. А тебя погубили оба.

— Что ты понимаешь! И, как тебе известно, я пишу и прозу, — обиженно сказала Эдда. Она действительно писала что угодно, от непонятных романов до юмористических рас-

сказов, где евреи говорили «пхе» и «что значит?», а кавказцы «дюша мой». Журналы и газеты упорно ее не печатали.

— Пиши французские стихи.

— Никакой поэзии теперь не читают. В буржуазном мире небывалое понижение культурного уровня! А против меня образовался заговор молчания, потому что я не какая-нибудь русская эмигрантка.

— Да, это верно. Тогда не пиши, — сказал он. Знал, что Эдда злится, когда с ней соглашаются сразу: согласие должно приходиться после спора и крика. — Впрочем, ты не русская, ни по крови, ни даже по воспитанию.

Он, собственно, в точности не знал, кто она по национальности (как в клубе не знали, кто по национальности он). По-русски Эдда говорила с малозаметным неопределенным акцентом, а о своем прошлом рассказывала редко, неясно и всегда по-разному. Говорили они то по-русски, то по-французски, то по-немецки; у обоих были необыкновенные способности к языкам.

Их связь продолжалась менее полугода. Сошлись они случайно, без большой любви, без большого интереса друг к другу. Эдде скоро стало известно, что он разведчик. Шелль сам ей это сообщил за шампанским, больше из любопытства: какой произведет эффект? Она вдобавок умела не болтать о том, о чем болтать не следовало, — «да ей никто ни в чем и не верит». После своего nervous breakdown<sup>1</sup> — и до Наташи — вообще стал менее осторожен. Эффект был большой. Эдда была поражена и скорее поражена приятно: разведчиков в ее биографии еще не было. Долго несла чушь, в которой что-то было об ее идеях, об его сложной загадочной душе, о Достоевском и о Сартре. «Если тебе это дело так нравится, то отчего же тебе самой им не заняться?» — сказал он еще почти без затаенной мысли. «Ты думаешь, что я могла бы сделать карьеру на этом поприще?» — жадно глядя на него, спросила она. Слово «поприще» сразу его раздражило. «Это самое подходящее для тебя поприще. И оно никак не хуже того, что ты делала в пору Гитлера». — «Что я делала?» — спросила она с возмущением. «Так, разное говорят о твоих поприщах». —

---

<sup>1</sup> Нервное расстройство (англ).

«Ты врешь, но если и говорят, то это гнусная клевета!» — «Может быть, и клевета. Очень много врут люди», — согласился он. В самом деле не слишком верил темным слухам о ней. «Не «может быть», а это так! Гнусная клевета! И к большевикам я тоже не пойду, я их не люблю». — «Для этого любви и не требуется». — «Хотя я понимаю, что есть идейное оправдание». — «Можно найти и идейное оправдание. Это даже очень легко». — «Но шпионкой я никогда не буду!» — «Не шпионкой и даже не разведчицей, а контрразведчицей. У нас не произносят слова «шпион», это неблагозвучно». — «Какую книгу я об этом написала бы! Почему ты не пишешь книги о разведке?» — «Потому, что я слишком хорошо ее знаю». — «Вот тебе раз! Именно поэтому и надо написать!» — «Нет воображения. Достоевский не убивал старух-процентщиц и совершенно не знал, как ведется следствие. А написал недурно. Если б знал лучше, написал бы хуже».

— Я не русская, но и ты не очень русский. Национальность это вообще vieux jeu<sup>1</sup>.

— Да зачем это тебе нужно? Я тебе даю достаточно денег.

— Кажется, я никогда не жаловалась.

— Действительно не жаловалась, но и не могла жаловаться, — уточнил он. Любил сохранять за собой последнее слово и то, что он называл стратегической инициативой разговора. С Эддой это было обычно нелегко.

— Ты отлично знаешь, что если я к ним и пойду, то не из-за денег, а потому...

— Потому, что у тебя демоническая душа. Я проникаю в ее глубины. У меня батискаф для женщин. Это прибор, в котором профессор Пикар погружается в морские глубины. А я в глубины женской души, — сказал он то, что говорил всем своим любовницам, наводя на более глупых панику.

— Если я к ним пойду, то из ненависти к буржуазному строю! То, что теперь делается в Америке, это ужас и фантастика.

— Да, да, знаю, мое рожоное.

— Ты всегда говоришь «да, да, знаю» и при этом назло мне делаешь вид, будто тебе скучно. Со мной никому скучно не бывает!.. У меня есть сегодня синяки под глазами?

---

<sup>1</sup> Старомодно (фр.).

— Ни малейших. Напротив, ты становишься всё декоративнее. Прямо на обложку «Лайф».

— Я решила соблюдать строгий режим. Хочу весить на десять фунтов меньше.

— Это очень легко: отруби себе ногу.

— Твои шутки в последнее время стали чрезвычайно неостроумны. Ты и вообще не остроумен, хотя и вечно остришь. Худеют от танцев. Будем сегодня ночью танцевать до рассвета?

— Нет, не будем сегодня ночью танцевать до рассвета.

— Я полнею от шампанского. Сегодня за обедом выпила целую бутылку, — сказала Эдда и остановилась, ожидая, что он ее спросит «с кем?». Шелль нарочно не спросил. — Моя жизнь в шампанском и любви.

— В любви и в шампанском.

— А капиталистический строй я ненавижу потому...

— Потому, что у тебя нет капиталов.

— Нет, не поэтому!

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я знаю. Знаю, что ты ненавидишь всё *vieux jeu* и что в Америке ужас и фантастика. Знаю, что настоящая свобода только в России. Знаю, что ты суперэкзистенциалистка и что *l'existence précède l'essence*<sup>1</sup>. Знаю, что ты обожаешь Сартра и музыку конкретистов. Все знаю («Знаю, в особенности, что ты супердура», — хотел бы добавить он). Но тут не время и не место для философско-политических споров. Скажи мне толком: говорить с полковником или нет? Сегодня есть случай и день хороший: не понедельник, не пятница, не тринадцатое число.

— Куда он меня пошлет? — спросила она, еще понизив голос. — За железный занавес я не поеду.

— Едва ли они пошлют тебя шпионить за ними самими.

— Так куда же?

— Почему я могу знать? Может быть, в Париж?

— Если с тобой, я поеду куда угодно, — робко сказала она. — Я хочу быть в том же деле, что ты.

— Ты, очевидно, представляешь себе это как банк или большой магазин: ты будешь за одним столом, а я рядом за другим?

— Одна я, пожалуй, поехала бы в Париж. Разумеется, если они будут хорошо платить. Мне надо жить.

---

<sup>1</sup> Существованию предшествует сущность (фр.).



— Я тебе даю четыреста долларов в месяц.

— Ты мне их давал, но я знаю, что ты проиграл всё, что у тебя было. И, как ты догадываешься, мне не очень приятно жить на твои деньги, — сказала она искренно. — Я признаю, ты не скуп. Но прежде ты любил меня.

— Я и теперь люблю тебя. Даже больше прежнего.

— Ты врешь! — сказала она, впрочем довольная его словами. — Ты никогда не говоришь правды.

— Нет, иногда говорю. Я тебя люблю уже пять месяцев. Вероятно, никто не любил тебя так долго.

— Меня никто до тебя не бросал, но я действительно скоро всех бросала. А чем же ты показываешь, что любишь меня?

— Ответ был бы непристойен... Не петь же мне с тобой любовные дуэты, да и это доказательством не было бы. Кажется, в опере Шостаковича он и она поют любовный дуэт, но оказывается, что они объясняются в любви к Сталину.

— Ты хам!.. Когда ты уезжаешь?

— Послезавтра.

— В Мадрид?

— Да, в Мадрид. Я тебе десять раз говорил, что в Мадрид. Не на Гонолулу, а в Мадрид.

— Ты действительно говорил это десять раз, и именно поэтому я тебе не верю. Отчего ты не берешь меня с собой?

— Я там буду занят целый день. Да это и дорого. И не так легко получить визу в Испанию.

— Если не так легко, то ты и потрудись... Что я буду здесь делать одна?

— У тебя много знакомых.

— Ты хам, — сказала Эдда. Она постоянно говорила «ты хам», «он хам», «они хамье», и это у нее почти ничего не значило. Значило разве, что человек ей не нравится. Да и то не всегда.

— Если будет скучно, повторяю, пиши стихи.

— Я всё равно пишу каждый день. Сегодня написала одно по-русски, в старинном стиле, немного в духе Дениса Давыдова: «О пощади! Зачем волшебство ласк и слов...»

— Цо то есть за человек? Не гневайся, знаю, знаю, был такой поэт. Спрашиваю во второй раз, говорить ли с полковником. Помни твердо, я тебе не советовал и не советуя.

— Ты думаешь, это очень опасно?

— Не знаю, очень ли. Это зависит от поручения. Но, конечно, служить в разведке дело рискованное. Я знаю, ты любишь играть жизнью, это самая основная твоя черта. — «Ключуло», — подумал он. — Всё же я не советую. У тебя для этой профессии слишком беспокойный взгляд... Вероятно, они пошлют тебя именно в Париж.

— Может быть, я соглашусь, чтобы пройти и через это. Надо пройти через всё!

— Я оценил афоризм.

— А когда мне надоест, я брошу. Но если я поеду к ним и они меня назад не выпустят? Что ты тогда сделаешь?

— Сброшу на них водородную бомбу.

— Дурак. Я ищу, к чему приложиться, и не нахожу! Это моя трагедия. Хочешь, я прочту тебе французские стихи?

— Не хочу, но, так и быть, читай.

— Они короткие. Слушай:

Nous avons perdu la route et la trace des hommes  
Parmi les méandres du ténébreux vallon,  
Et oublié le nom de la ville d'où nous sommes  
Sans savoir celui de la ville où nous allons<sup>1</sup>.

— Хорошо?

— Очень недурно, — сказал Шелль. «А в ней в самом деле что-то есть. И лицо у нее сейчас вдохновенное. Глупое, но вдохновенное. Да может быть, стихи и не ее». — Очень недурно.

— То-то. Если я приму их предложение, они меня отправят тотчас?

— Не принимай их предложения. Сиди дома и пей шампанское... Нет, они отправят тебя не тотчас. Сначала о тебе наведет справки комендант. У него есть своя тайная агентура. Затем это будет передано в управление МВД. Тебя допросит порученец, у них такие называются порученцами. Он направит тебя в Главразведупр, то есть в военную разведку. Если ты по-

---

<sup>1</sup> Мы потеряли путь и след людской — Среди извилов сумрачной долины — И позабыли, из какого города мы вышли, — Не знаем города, куда идем (фр.).

рученцу покажешься подходящей, то направит туда, быть может; если же ты покажешься ему неподходящей, то направит почти наверное: как во всем мире, но больше, чем в других странах, у них полиция и армия ненавидят друг друга, и вероятно, ничто не может доставить больше радости управлению МВД, чем серьезная неприятность у Главразведупра. Не менее верно и обратное. Таким образом, у тебя есть время, если я и поговорю сегодня с полковником. Помни, я не советую.

— Ты что-то уж очень упорно повторяешь, что не советуешь. У тебя темная душа. Поэтому я тебя люблю. Ты вернешься через две недели? Даешь слово?

— Зачем, дрога пане кохана, когда ты ни одному моему слову не веришь?

— Если у тебя в Мадриде есть другая женщина, я оболью ее царской водкой!

— Бедная донна. Это может повредить ее зрению.

— А потом покончу с собой!

— Комплекс Анны Карениной? Нельзя совместить с комплексом Мата Хари.

— Ах, как надоело! Хочешь, я скажу тебе замечательный каламбур, который я сегодня придумала?

— Не хочу, — сказал он. Ее каламбуры казались ему чрезвычайно глупыми даже в те две недели, когда он был в нее влюблен. — Сейчас поздно.

— Так завтра утром напомни мне... А чем я буду пока жить? У меня осталось сто марок.

— У меня есть тысяча долларов, я оставляю тебе половину.

— Я знаю, ты щедр. Ты мне подарил эту норковую *сари*. Правда, я хотела норковое манто, но за самое плохое здесь требуют девять тысяч марок, а ты всё проиграл. На деньги, что ты проиграл, можно было бы купить два чудных норковых манто. Тут есть одно за двадцать две тысячи. Ах, какое манто, просто умереть!

— Пока достаточно с тебя и *сари*. Это у вас как чины: *сари* — чин поручика, манто — чин майора. погоди, будешь и майором.

— Теперь у всех есть норковое манто. На мою черную лисицу больше и не смотрят.

По лестнице спустилось трое молодых людей. Они оглянулись на нее. Один игриво улыбнулся и тотчас отвернулся, увидев Шелля. Швейцар подал им пальто и шляпы.

— Сколько у вас здесь мужчин! И каждый непохож на всех других. И каждый любит по-своему. И каждый мог бы быть моим любовником! — сказала она.

— И каждый богаче меня, — ответил он. — Впрочем, не каждый. У того, что сейчас выходит, боковой карман пиджака справа. То есть костюм перелицован.

— Ах, дело всё-таки не в деньгах!

— Конечно, но они очень приятны. Разумеется, как дополнение к другому.

— Дело в том, чтобы был настоящий человек. Главное — характер. Надо, чтобы характер был из Шекспира. Терпеть не могу людей с мелкими страстями, с самоанализом, с «ах, я хочу того, но, может быть, я в действительности хочу этого». Человек должен быть *tout d'une pièce*<sup>1</sup>. Ты верно *был* такой. Теперь ты стар.

— Спасибо, — сердито сказал он. — Не настолько уж старше тебя. Не лопни от негодования! Беру свои слова назад, тебе еще нет двадцати, при Гитлере тебе, очевидно, было десять. Итак, в третий и в последний раз спрашиваю, говорить ли о тебе с полковником или не говорить?

— Я сама долго колебалась...

— Так перестань, к черту, колебаться!

— Я много размышляла... Ты знаешь, в чем другом, а уж в глупости меня упрекнуть трудно, — сказала она. «Забавно: думает, что она очень умна и очень зла, а на самом деле она очень глупа и скорее добра: всё сделает для человека, лишь бы ей это ни копейки не стоило, как, впрочем, многие добрые люди», — подумал Шелль. — Но у меня другого выхода нет. Во-первых, мне осточертел Берлин. Почему другие живут в Париже, в Нью-Йорке, и как живут! Во-вторых, ты всё проиграл, и скоро мне не на что будет жить. В-третьих, я именно хочу играть жизнью, волноваться, торжествовать над людьми. Весь смысл жизни в том, чтобы побеждать, разве ты этого не чувствуешь?

---

<sup>1</sup> Цельная натура (*фр.*).

— Конечно, чувствую. Ты в самом деле давно никого не побеждала.

— Кроме тебя!.. Но меня останавливает одно. Я всё-таки думаю, что разведка — это дело не очень благородное!

— Да что ты!

— Я совершенно не сочувствую коммунистам! Может быть, я сделаю вид, будто служу им, а когда они достанут мне визу и пошлют меня во Францию или в Соединенные Штаты, я там возьму и перейду к союзникам, а?

— Так делают многие. Собственно, это тоже не очень благородно. Но если ты там соблазнишь какого-нибудь американского офицера, то будет уже благороднее. Это вполне возможно: у тебя странный sex appeal<sup>1</sup>.

— Ты думаешь, они поручат мне именно это? Я обожаю американцев, и это я умею. Недаром меня назвали «королевой пикантности».

— Кто назвал? Тот плюгавый спекулянт с порывами? От одного этого слова может сделаться нервный припадок. Не сердись... Я уверен, что ты поднимешь и облагородишь наше дело. Ты напишешь о нем поэму. «Чуткая душа поэта тоскливо сознает свое падение».

— Пожалуйста, остри поменьше, умоляю! Поговорить с этим проклятым полковником надо, но я еще подумаю.

— По-моему, лучше сначала подумать, а потом поговорить с этим проклятым полковником.

— Это будет зависеть от очень многого... От жалованья, от того, что он мне предложит, какую работу. Если очень опасную, то надо еще посмотреть.

— В крайнем случае, тебя посадят на двадцать лет в тюрьму. Там ты соблазнишь зрителя, бежишь с ним и напишешь еще поэму: «Чуткая душа поэта наслаждается свободой после темницы».

— Ты хам!.. Можно прийти к тебе сегодня ночью?

— Можно, — сказал Шелль неожиданно для себя самого. Она просияла. Он посмотрел на часы. — Пора. Я знаю, ты обожаешь уходить, хлопнув дверью. Здесь нельзя: у них вращающаяся дверь.

---

<sup>1</sup> Физическая привлекательность (англ.).

— Дурак.

— Кохаймо сен, — сказал он. Сам находил глупой эту шутку, он польского языка и не знал.

Швейцар подозвал автомобиль. Шелль хотел было сунуть шоферу деньги и не сунул: «Пусть платит сама, она этого не любит».

Он поднялся в бар и заказал там полбутылки шампанского.

— Моего, оно у вас есть и в полбутылках. И я тороплюсь.

«Да, «ужас и фантастика», — думал он. — Но что же мне делать? Впрочем, может быть, полковник ее не возьмет, сразу ее раскусит. А может, и возьмет, чтобы заполучить меня... Ну, что ж, ее просто вышлют из Франции. Риск для нее невелик... Однако нехорошо...»

На столике лежали карты. Одна колода в углу была собрана. Он загадал: «Если выпадет красная масть, пойду на это; если черная, не пойду». Машинально стасовал колоду, машинально заметил туза червей, снял карты, этот туз и вышел, — он потом сам не мог вспомнить, подбросил ли туза. «Решено...» Он прошел в телефонную будку.

— ...Наташа? — спросил он. Голос и лицо у него стали другие. — Здравствуй, милая. Ничего, что я звоню так поздно? Ты еще не спала?.. Нет, ничего не случилось, всё в порядке, не волнуйся. Значит, завтра я приду к тебе в 12 часов. Я всё разузнал, проедешь без всяких неувязок, как у вас говорят. На Капри ты будешь в четверг утром. А я приеду в воскресенье... Да, три дня не будем видеть друг друга. Но зато там будем вместе всё время... Я так рад! Не кашляла сегодня? Ну, слава Богу!.. На обратном пути я покажу тебе Италию, ты ведь нигде не была. Бедная... Я так тебя люблю! А ты любишь меня?.. Ну, спасибо, хоть я не стою твоей любви... Спасибо... Целую тебя. Так до завтра. Спокойной ночи, дитя мое.

Он вернулся к своему столику. «Две женщины, а тут еще две агентуры, ни за что! Двойным агентом никогда не был и не буду, противно!» Шелль допил вино, опять взглянул на часы и покинул клуб.

## IV

«По наружности, по манерам он на того не похож. У каждого из них свой «стиль», и всё-таки кое-что общее есть. Этот тоже к делу сразу не переходит, тоже выясняет «степень моей интеллигентности». Но что-то он уж очень много болтает сам: говорит общие места недурно, разве слишком много «конъюнктур». И как-то странно, неестественно говорит. Есть в нем что-то беспокойное, напряженное и немного вызывающее. Он ко мне в гости не зашел бы, не стал бы играть со мной в карты и закусывать. Должно быть, он назначает свидания только в своем служебном кабинете или уж разве, в особых случаях, где-нибудь в безлюдном месте. Вероятно, очень любит «конспирацию» и шифры. Кабинет у него как будто самая обыкновенная контора, но с примесью чего-то военного. На том столике кофейный прибор. Если не пьет вина, то, значит, возбуждается кофе. В нашем деле иначе нельзя. Есть ли тут микрофон? Кто же его подслушивает? Чекисты? Да, скучно говорит, смерть мухам».

Шелль думал о своем — и не пропускал ни одного слова из того, что говорил полковник № 2. Он в свое время проделал всё, что полагалось; умел слушать два или даже три разговора одновременно, из сотни фотографий узнавал человека, которого видел раз в жизни, переходил на мгновение из темной комнаты в ярко освещенную и за это мгновение точно запоминал всё, что в ней было. Перед ним за большим столом сидел худой, среднего роста, человек с длинным, болезненным, несколько несимметричным лицом, с маленькими желтоватыми воспаленными глазами. На левой щеке у него, чуть ниже темного ободка под глазом, была бородавка, и от нее его сухое лицо казалось еще более несимметричным. Полковник не встал при появлении Шелля (только не очень похоже сделал вид, будто приподнимается в кресле), как будто неохотно протянул ему через стол руку и усталым, чуть надменным, если не пренебрежительным жестом указал ему на стул по другую сторону стола. «Тот гораздо любезнее...» При сидячем положении не было видно, что полковник хромой, но сидел он не совсем так, как сидят здоровые люди. Когда он наклонялся над

столом, по его лицу пробежала легкая гримаса боли. «Говорят, он работает пятнадцать часов в сутки. Врут, конечно: никто пятнадцать часов в сутки не работает. Но возможно, что и переутомлен... Глаза умные. По трафарету полагалось бы: жесткие. Нет, разве только злые. Руки чуть трясутся, лицо землистое. Да, странно говорит: какая-то смесь ученого с простонародным или с областным? Ломается или самоучка? И, конечно, «бросает сверлящий, пронизывающий взгляд». Ну, бросай, бросай: что «пронижешь», будет твое. Верно, и он считает себя знатоком человеческой души. Это наша профессиональная черта, иногда и довольно смешная, однако мы-то ведь действительно профессионалы, а он, скорее, новый человек».

Ироническое настроение и самоуверенность Шелля, впрочем, очень уменьшались в Восточной части Берлина. Всегда слишком быстр бывал этот переход. Порою он испытывал такое чувство, какое, быть может, испытывает опытный летчик, внезапно вступая в «суперсоническую зону». «Нет, я не вынес бы такого беспорядка, просто задохнулся бы. Не мог бы у них жить, как рыба не может жить в Мертвом море», — говорил он себе. Тем не менее бывал в восточной части города нередко. Он знал, что в кругах разведки его считают бесстрашным человеком, и действительно много раз, не теряясь, подвергался очень большой опасности; но знал также, что людей, совершенно не знающих страха, нет.

... — Исчезнет Черчилль, и асеи выйдут в тираж, кончена будет совсем Англия как великая держава, — говорил полковник. Он произносил имя Черчилля с ударением на втором слоге. «Никто и в России уже лет сто не называет англичан «асеями», там и не знают слов «I say». — Умная голова, что и говорить. Счастью не верит, беды не пугается, так и надо. Крупная историческая фигура! («Нет микрофона», — подумал Шелль). Самый умный из наших врагов! («Есть микрофон»). Ему бы править Америкой, с ее гигантскими возможностями. А то, хоть и умненок, да что ж, коль нет денег? Была великая держава, да сплыла. Просто смех: Англия признала Китай, но Китай не признал Англии! Кости предков Черчилля верно в могилах ворочаются. Я так думаю, что вторая война была последним историческим усилием британской державы, как первая война последним исто-



рическим усилием французской. Франция ведь и тем паче вышла из конфигураций великих держав. Если населения каких-нибудь сорок или пятьдесят миллионов, то по одежке протягивай ножки.

— Но тогда в мире две величайшие державы: это Китай и Индия, — сказал Шелль, чтобы не поддакивать. У него было в работе правилом: всегда оберегать свою независимость и не проявлять чрезмерной почтительности; разумеется, иногда правило допускало отступления. «Должно быть, мог бы устроиться лучше, но ему, вероятно, чем неуютнее, тем приятнее». Комната действительно была неуютна, несмотря на яркое освещение сверху. «Хорошо хоть, что нет их обычного трюка: я, мол, останусь в тени, а ты будешь ярко освещен». На столе не было ничего, кроме телефонного аппарата («один аппарат, а не три, как полагается») и негоревшей лампы с абажуром молочного цвета, — не было ни бумаг, ни чернильницы, ни пепельницы. По стенам без обоев тянулись горки металлических ящиков. «Эти все, конечно, с секретом». Только один стеной шкафчик был деревянный и без замка. Под ним находился кожаный диван с горбом и провалом в середине.

— Так верно и будет, когда Китай и Индия создадут настоящую промышленность. Тогда в мире сложится новая конъюнктура. А в настоящее время есть только два военно-политических колосса: Соединенные Штаты и Россия. К сожалению, во всех статистических таблицах Америка на первом месте, — сказал полковник с досадой. — Мы пока только на втором. Но скоро на первом будем мы.

— Вы пока только на втором, — подтвердил Шелль. «Женщинами он, по слухам, увлекается мало. Верно, ему нравятся рыжие? Странно, что Эдда не рыжая от природы, ей так полагалось бы. Вдруг она его очарует?»

— Вы говорите «вы». Разве вы не русский?

— Я аргентинец. Хотите взглянуть на мой паспорт?

— Зачем? Что доказывает паспорт? Я мог бы выдать вам паспорт любого государства. Впрочем, отчего же не взглянуть? Покажите.

Шелль вынул из кармана книжечку и протянул полковнику. Тот перелистал ее — как будто небрежно — и вернул. «Заметил, конечно, и номер, и дату».

— Хорошая бумажка, — сказал полковник с усмешкой. — Открывает доступ в любую страну и нигде подозрений не вызовет. Аргентина нейтральна по природе, по профессии, по конъюнктуре, по тысяче причин. Вижу, вы на авоську с небоськой не ориентируетесь. Итак, вы нерусский, хотя и родились в Ленинграде. Там, кстати, всегда было очень мало аргентинцев.

Он откинулся на спинку кресла, поморщившись от боли в ноге. В молодости, в провинции, он очень увлекался театром, и у него была привычка обозначать людей старинными актерскими названиями. «Кто? «Герой» или «первый любовник»? То и другое, но с преобладанием героя. А пора бы переходить в «благородные отцы».

— Да, хорошая бумажка, — подтвердил Шелль.

— Разумеется, я всё о вас знаю, — сказал полковник, подчеркивая слово «всё». — Много слышал, граф Сен-Жермен. Слышал о ваших делах и восхищался. — Шелль молча наклонил голову. — Правда, вы много работали для малых государств... Я, кстати, никогда не мог понять, зачем малым странам контрразведка. Они ведь вообще воевать не могут и не будут. Нешто каких-нибудь две недели, а потом на американские денежки образуют «правительство в изгнании». Много, много свободных денег у американцев. Они, должно быть, вообще всех своих союзников в душе презирают, так как те живут на их деньги. А разведка малым странам нужна, верно, для того, чтобы «быть как большие». У России есть, так пусть будет и у нас, а?.. Ну, так как же? Приняли ли вы решение?

— Я вам дам ответ через три недели.

— Не понимаю, зачем медлить? Что именно вас удерживает?

— Да так, пора бросать дело.

— Неужто нервы начали слабеть? — спросил полковник без скрытого сочувствия.

— Нет, нервы не ослабели, — поспешно ответил Шелль. — Надоела работа.

Полковник взглянул на него удивленно.

— Надоела?

— Стала противна.

— Вы, кажется, особенным идеалистом никогда не были?

— Не был... Кажется, это русский писатель Писемский говорил, что и в своей, и в чужой душе всегда видел только грязь?

Удивление на лице полковника еще усилилось. Он не понимал, зачем это говорит человек, по-видимому желающий поступить к нему на службу. Шелль и сам плохо понимал, зачем это сказал. «В самом деле, стал говорить лишнее. Прежде никогда лишнего не говорил».

— Писемскому, значит, очень не повезло... Так-таки ничего, кроме грязи, не видел? А может быть, у него, как и у вас, нервы всё-таки пришли в беспорядок? Вам бы всё-таки еще рано, хотя вы немолоды. Это там боксер или танцор может работать только до тридцати лет, очень много, если до тридцати пяти. Люди умственного труда держатся гораздо дольше. Эммануил Ласкер сохранял звание чемпиона мира чуть ли не до шестидесяти... Вы играете в шахматы?

— Играю, но теории не изучал: не хватало терпения.

— Да без теории какая же игра, — сказал с легким вздохом полковник. — Но жаль, что уж очень много теории. Так и в военном деле. Суворов был не теоретик, а где до него всем их Рундштедтам и Гудерианам?.. У нас в России и шахматисты лучшие в мире.

— Ласкер и Капабланка были не русские. Алехин был русский, но белогвардеец.

— По-моему, величайшим из всех был Чигорин. Это Суворов шахматной игры. Вы знаете его партию против Стейница?

— Не знаю. Все же он чемпионом мира не стал. Правда, Ботвинник чемпион мира.

— Да, Ботвинник тоже замечательный шахматист, — подтвердил полковник с несколько меньшим жаром. — И наша музыка первая в мире. И наша литература.

— Насчет вашей литературы сомневаюсь. У меня к литературе одно обязательное требование: чтобы она не была скучна. У вас в каждом романе какой-нибудь Федюха высказывает глубокие философско-политические мысли, притом обычно «за бутылкой вина» с товарищем. Эти мысли и освещают смысл романа, их подхватывает и комментирует критика. Следовательно, незачем читать роман, вполне достаточно прочесть рецензию, да и то смерть мухам. Вы напрасно экспортируете эту литературу. В Персию или в Индию, пожалуй, можно, а в западные страны нельзя.

— Потому, что небось там знают толк?

— Там по этой литературе вас судят. Вы читали книгу Джорджа Оруэлла «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год»?

— Не читал и читать не собираюсь.

— Это пародия на СССР. Вопреки общему мнению, я нахожу ее тоже скучноватой и нисколько не блестящей. Кое-что шаржировано, кое-что нелепо и совершенно не похоже ни на большевистские идеи, ни на большевистскую практику. Но ваша литература была для Оруэлла ценным материалом. «Вот, показал интеллигентность, достаточно и для новой школы».

Полковник, впрочем, даже и не попытался сделать вид, будто замечание его собеседника показалось ему занимательным или заслуживающим внимания. Литература не очень его интересовала. Он и читал мало, преимущественно русских классиков, из которых предпочитал Лескова.

— Так, так. Перейдем к делу.

— Вы выразили желание поговорить со мной сегодня ночью.

— Не помню, чтобы я выражал такое желание, — сказал полковник, подчеркнув слово «я». — Вас в работе интересует только денежная сторона?

— Я считаю с разными обстоятельствами: кто больше платит, где меньше риска, где приятнее служить, где вежливее начальство.

— Если б я принял вас на службу, то не иначе, как надолго и лишь для очень опасных дел. Я отправил бы вас в Америку.

— В мирное время нигде уж таких опасных дел нет.

— Вы думаете? Вы привыкли работать с демократическими слюнтяями. У нас же не церемонятся.

— В мирное время и вы не решитесь взрывать американские заводы, а войны наверно не будет, — сказал Шелль наудачу. «Вдруг так опьянел от кофе, что начнет болтать. Это случалось с людьми покрупнее его, проговаривались и Наполеоны, и Бисмарки!.. Нет, стал тотчас воплощением «non-committal»<sup>1</sup>... Кажется, хотел мне предложить быть двойным агентом», — подумал Шелль. Его, впрочем, не очень интересовало то, что мог бы ему предложить полковник: твердо решил к *НИМ* на службу не идти.

---

<sup>1</sup> Уклончивость (англ.).

— Мы никакой войны не хотим. По учению Маркса, капитализм всё равно обречен. *Нам* воевать незачем.

«Ишь ты. И «учение Маркса». Но об этом ты, кажется, говоришь неуверенно, вроде как Чичиков о своих херсонских имениях».

— Я совершенно с вами согласен. Какие уж теперь отчаянные дела!

— При *найме* же агентов, — сказал раздраженно полковник, — мы кроме опыта и техники считаемся тоже с разными обстоятельствами. Вы очень дорогой агент, вы не русский, принципов у вас нет (он хотел сказать: «чести у вас нет»), вы картежник, вы слишком известны в шпионском мире, ваш рост и наружность слишком обращают на себя внимание... Если вы ответа мне пока дать не можете, то, очевидно, вы пожелали меня видеть по недоразумению?

— Я хотел поговорить не о себе, а об одной даме.

— Не о той ли, с которой вы вчера обедали в ресторане на Курфюрстендамм? — спросил полковник. — Очень красивая женщина.

— Именно о ней. Разве вы ее видели?

— Мы обязаны всё знать, — сказал полковник, не отвечая. Он Эдды не видел. — Кажется, ее зовут Эддой? Ну, что ж, в принципе «сие мне не вопреки», как говорит кто-то у Лескова. Только я с ней запусто говорить не буду. Нам ни драматических инженю, ни гранд-кокэтт не требуется. Слышал, что она поэтесса? Поэтессы нам не нужны. Дуры тоже не нужны...

— Она не дура. И как вы правильно заметили, она очень красива.

— Это, конечно, важно.

— Кроме того, она превосходно говорит по-французски, по-немецки, по-английски.

— Это тоже очень важно. Но вы сами понимаете, одно дело вы, а другое дело — эта дама, которая, кажется, никакого опыта не имеет?

— Нет, не имеет.

— Она ваша любовница?

— Моя личная жизнь касается только меня.

— *Пока* она нас не касается. Но, как вы понимаете, если вы или она поступите к нам на службу, то нас будет касаться всё, что касается вас, или, по крайней мере, всё то, что может

быть нам интересным. Много платить мы *ей* не будем. В Берлине она нам не нужна.

— Она может поехать куда угодно. Например, в Нью-Йорк или лучше в Париж.

— Все наши агенты хотят поехать в Париж.

— У вас под Парижем наверное найдется работа. Там верховное командование Запада.

— Спасибо за это ценнейшее сообщение.

— Военные секреты теперь в сущности есть только в двух местах: в Вашингтоне и в Роканкуре, то есть в Пентагоне и в SHARP<sup>1</sup>. По-моему, их легче узнавать во втором. Ведь там люди четырнадцать национальностей.

— Спасибо и за этот ценный совет. Говорят, этот Сакер...

— Сакюр. Американцы произносят Сакюр<sup>2</sup>.

— Не люблю, чтобы меня перебивали! И я их сокращений не знаю. Говорят, этот Сакюр — превосходный генерал. Не наш Жуков, но превосходный, один из лучших в мире, а?

— Я тоже так слышал. Превосходный, но без армии... Разумеется, у вас есть агенты везде. Всё же, красивая женщина, превосходно владеющая иностранными языками, может пригодиться.

«Как будто готов и любовницу предать, — подумал полковник. — Хорош гусь!»

— А вы не будете уж слишком огорчены, если она попадетсЯ?

— Это наш профессиональный риск.

— Конечно, если ее поймают, то французы, чтобы не начинать с нами истории, верно только вышлют ее из Франции. Может быть, именно поэтому «лучше в Париж», а?.. Но вы знаете, у нас правило: або мы, або они. Какова гарантия, что она не двойная агентка?

— Гарантий не бывает. Тут *ваш* профессиональный риск, — сухо ответил Шелль.

— Вам, надеюсь, известно, что мы с двойными агентами не церемонимся?

<sup>1</sup> Supreme Headquarters Allied Powers in Europe — штаб верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (англ.).

<sup>2</sup> Имеется в виду Supreme Allied Commander Europe — главнокомандующий союзными войсками в Европе (англ.).

— Действительно, это всем известно, — сказал Шелль. Он что-то загадал (часто делал это в рискованном положении). Вышло: можно. — Следовательно, незачем и повторять. Незачем людей запугивать. Это ведь метод политической полиции.

Полковник нахмурился.

— Политическая *полиция* тут совершенно ни при чем! Я русский офицер, служу России и русской армии!

«Так и есть. У него *эта* навязчивая идея. Теперь ясно, что микрофона нет».

— Я именно это и хотел сказать. *Вы* методом запугиванья наверное не пользуетесь. Я знаю, что вы старый боевой офицер. — Шелль показал взглядом на колодку, висевшую слева на мундире полковника. — Я не хотел сказать что-либо обидное.

Они несколько секунд молча смотрели друг на друга.

— Говорить мне «обидное» я вам и не посоветовал бы!

— Конечно, я тут на вашей территории. Но я аргентинский гражданин. Даже полиция не пошла бы на дипломатический инцидент без причины и цели.

Полковник саркастически засмеялся.

— Это, разумеется, очень страшная штука: дипломатический инцидент с Аргентиной! Того и гляди, она двинула бы свои войска на Москву!.. Мне, впрочем, нравится, что вы не из пугливых. Добавлю, что и я не хотел сказать ничего обидного. И говорил я не о вас, а об этой Эдде.

— Она начинающая. Куда уж ей быть двойной агенткой!

— То есть, годилась бы хоть в агентки-просто? Пожалуй, на пробу можно ее принять... А в дополнение к вам, я ее приму даже очень охотно. Вы меня об условиях не спрашиваете?

— Это преждевременно. Ведь я еще не дал вам и принципиального ответа.

«Принципиального!» Хороши верно твои принципы!» — подумал полковник.

Порою он спрашивал себя, какие личные цели ставит себе тот или другой из окружавших его людей. И ответ почти всегда был один и тот же: первое, зарабатывать возможно больше, второе, угождать начальству возможно успешнее; дальше могли быть варианты, но незначительные. В отличие от большинства людей и почти от всех своих сослуживцев, полковник обладал способностью оглядываться на самого себя и

иногда молчаливо признавал, что хвастать в последние годы нечем. Бывал сам себе почти противен в тех случаях, когда надо было почтительно и покорно выслушивать полицейских главарей. Их он почти всех считал подонками человечества. Не лучше их были и многие агенты. При первом знакомстве с агентом полковник *хотел* быть как бы дегустатором: попробовал вино, определил характер, качество и выплюнул. Но это ему не удавалось, и он обычно ограничивался тем, что был холодно корректен, старался говорить отрывисто, именно «наполеоновским тоном».

Очень раздражил его и Шелль. Вдобавок у полковника в последние годы вызывали недоброжелательство все крепкие здоровые люди, особенно же люди очень высокого роста. Невзрачная наружность с молодых лет была крестом его жизни. Он хотел бы быть по внешности именно таким человеком, как Шелль; почитал физическую силу и силу вообще. Теперь он вдобавок был полуинвалидом. «Этот субъект, конечно, «принципиальный» изменник». Полковник *хотел бы* чувствовать к нему *гадливость*, но не чувствовал. *Хотел бы*, чтобы у него был, например, тонкий, писклявый голос, как у некоторых других людей огромного роста, как у Бисмарка, у Тургенева; но голос у Шелля был самый обыкновенный, впрочем, скорее неприятный.

— За деньгами мы не постоим. Платим не меньше *других*, а то и больше, было бы за что платить. До свиданья. Я буду ждать три недели. Ровно три недели, — сказал полковник и опять сделал вид, будто приподнимается в кресле.

У него была частная квартира из двух комнат, хорошо обставленная реквизированной мебелью. Над Umbau<sup>1</sup> немецкого чиновника последовательно висели портреты Вильгельма II, Гинденбурга, Гитлера и, с 1945 года, Гете. У полковника был выбор тоже между четырьмя фотографиями. Вешать у себя портреты немцев ему не хотелось. Его отношение к Карлу Марксу было неопределенное, смутное и сложное. Знал, что надо восхищаться, и когда нужно было — правда, только в случае крайней необходимости — называл себя марксистом. Но этот заросший бородой старик всегда вызывал у него анти-

<sup>1</sup> Диваном (нем.).



патию и приводил его в дурное настроение духа. Повесил портрет Ленина, — тот был единственный русский из четырех. К нему полковник вдобавок испытывал чувство личной благодарности. Он вышел из низов, был сыном мужика, пошел добровольцем в гражданскую войну, выдвинулся, после этого изучал в академии военные науки и теперь попал если не на верхи, то в следующий за верхами общественный слой. Этим он считал себя обязанным Ленину. На противоположной же стене кабинета у него висел никак не принадлежавший к четырем Суворов. Полковнику иногда казалось, что эти два человека друг с другом удивленно переглядываются: как это оказались вместе? А люди, изредка заходившие к полковнику в его частную квартиру, поглядывали на фельдмаршала с тревожным недоумением: совсем не ему тут висеть.

Обычно полковник уходил ночевать домой. Но в этот день засиделся поздно, на следующее утро было назначено раннее деловое свидание, и он решил переночевать здесь. Полковник не терпел в своем служебном помещении того, что называл «домашней атмосферой»: чем деловитее и строже, тем лучше. Всё же в стенном шкапчике у него были одеяло, подушка, бутерброды с ветчиной, а на столике был кофейник. Он взял бутерброд и налил себе кофе в стакан; не любил пить из чашки, как в Европе. Спать ему еще не хотелось.

Он был холост, близких людей не имел ни в Берлине, ни даже в России. Приемов и выпивок он почти никогда у себя не устраивал: надо было бы звать и людей из политической полиции. Со времени его тяжелой раны женщины больше почти не занимали места в его жизни: «Какая могла бы полюбить хромого, искалеченного да еще некрасивого человека?..» В свое время он немало пил, в начале своей новой службы пил даже много. Стал чувствовать себя нехорошо и посоветовался с лучшим врачом оккупационной армии. Врач качал головой, нашел очень высокое давление крови, строго запретил спиртные напитки, советовал побольше ходить и не есть мяса. Полковник считал русскую медицину первой в мире, но, хотя это было не очень удобно и хотя он не свободно говорил по-немецки, побывал и у известного берлинского врача. Этот тоже качал головой, тоже нашел очень высокое (впрочем, другое) давление крови, сказал, что пить иногда вино не меша-

ет, — полезно для расширения сосудов, — велел поменьше ходить, чтобы не утомляться, и избегать мучного и сладкого. «Мяса можете есть сколько угодно, если средства вам позволяют». Один врач придавал большое значение верхней точке кровяного давления, а другой — нижней точке. Оба сходились на том, что надо есть много овощей без масла. «Да я их терпеть не могу!» — сердито сказал полковник военному врачу. «Напротив, они очень вкусны», — ответил военный врач, впрочем, овощей не евший. «От овощей, говорят, люди глупеют», — еще угрюмее сказал полковник штатскому врачу. «Это наукой не доказано», — ответил немец, быть может и ничего не имевший против того, чтобы советский офицер поглупел. Полковник продолжал есть бифштексы, так как их не запретил второй врач; ел также бутерброды и пирожные, так как их не запретил первый. По случайности оба врача забыли запретить кофе, — он нарочно их о нем и не спросил. Пил крепкий кофе в очень большом количестве и думал, что только он и поддерживает его в работе.

В теории он, как столь многие советские люди, твердо признавал, что жизнь создана для радостей (полагалось говорить: «для радостей в труде» или как-то так). На самом деле радостной его жизнь не была никогда, даже в молодости: тогда из-за бедности и переобремененности работой. Он и не женился преимущественно потому, что не было времени, квартиры, денег. Теперь полковник жил *аскетически* (это слово ему нравилось) и утешал себя тем, что живет для родины. Но так говорили многие; между тем он знал, что большинство из них себя обманывает или просто лжет: никакой пользы для родины от них не было. Сам он в последние годы думал, что расстраивает козни врагов России, однако понимал, что неизмеримо больше козней другим устраивает советское правительство. В принципе ничего недопустимого в этом не видел; разве так не было всегда в мире? Всё же многое ему не нравилось; особенно же не нравились люди, этим занимавшиеся. Членов правительства он почти не знал и чувства его к ним были очень смешанные. В Сталине он ценил и уважал силу, энергию, презрение к слютяям, но Сталин всё-таки не был бы его героем, даже если б был русским по национальности. В свое время он чрезвычайно почитал Тухачевского. Ему, в случае

успеха заговора, служил бы верой и правдой. Другие же маршалы оказались слюнтяями, как ни тяжело было это думать.

Он был, особенно прежде, честолюбив: чины, награды, в частности боевые, доставляли ему много радости. Теперь и наград, и радости от них было мало. На новой его службе карьера могла бы быть хорошей, если б он подличал, как другие. Полковник видел, что скоро ему придется подать в отставку, — «сошлются на ранения, усталость или вовсе ни на что не сошлются, — пенсию даем, ну и ступай, — и посадят какого-нибудь прохвоста. Не достиг ни славы, ни высоких чинов, ничего из того, о чем мечтал. Суворов достиг, хотя тоже богатырской наружности не был... Теперь и распряжка недалеко... Кто это называл смерть распряжкой?» Религиозного чувства у него никакого не было. Священного Писания он не читал, разве только очень редко заглядывал, — верно и в советской России мало людей, которые в него не заглядывали бы никогда. В загробную жизнь он не верил и даже не понимал, как в нее можно серьезно верить. О том, зачем он живет, думал чрезвычайно редко, — для этого и времени не было. Когда же думал, то отвечал себе в утешение, что этого не знает и большинство людей в мире.

На его новой службе почти всё было грязно или, в лучшем случае, соприкасалось с грязью, но иногда попадались интересные проблемы (так он называл более сложные разведочные дела). Из этих проблем иные, именно те, которые удавалось разрешить, кончались казнями. Это его уже не касалось, и об этом он не думал.

Из удовольствий же оставалось одно: шахматы. Ими он с молодых лет увлекался страстно. У него не было времени для настоящего изучения шахматной теории: он даже дебюты знал не все, а «литературу» знал совсем плохо, — только самые знаменитые исторические партии.

Он достал из ящика маленькую шахматную доску (вторая, побольше, была дома), зажег настольную лампу и стал проверять недавно сочиненную им задачу. Задачи сочинял недурно, две из них даже были напечатаны. Эта задача была особенно интересна и своеобразна. И у белых, и у черных была сильная игра, обе стороны были на краю гибели. Белые могли дать мат в три хода, черные тоже в три, и всё зависело от того, кто

начнет. Полковника вдруг поразили символический смысл положения на доске.

Слова «мы никакой войны не хотим» были общепринятыми. Он, как все, говорил так постоянно. У двухсот миллионов людей они выражали чистую правду. Как думают члены политбюро, полковник не знал, имел только смутные предположения: кто их разберет? Ему же самому то хотелось войны, то нет. Одна из причин, по которой не хотелось, заключалась в том, что он всё равно не мог бы принимать участие в военных действиях: всё пришлось бы на долю молодых и здоровых. Думать об этом было тяжело и страшно; говорить же было совершенно невозможно, даже если бы у него были близкие друзья, заслуживающие почти полного доверия. Совершенно надежных людей не было, или, по крайней мере, он таких не знал; слишком многого насмотрелся на своей новой службе.

Полковник отпил большой глоток кофе и стал думать, нет ли варианта. Не находил.

## V

Несмотря на опасения Наташи, ее поездка сошла благополучно. Она мало путешествовала, не знала итальянского языка и даже по-французски говорила плохо. Но Шелль ей составил точный маршрут, всё подробно объяснил, проводил ее на вокзал, привез букет, совершенно не соответствовавший третьему классу. Они поцеловались. «Значит, в воскресенье на Капри, — сказал он, — не заводи больше часов. Так во французском парламенте в ночь на Новый год обычно останавливают часы, чтобы вовремя был проголосован бюджет». Это замечание чуть ее кольнуло. Наташа вошла в вагон, еле удерживаясь от слез. Поезд уже выходил из-под стеклянной крыши, а он всё смотрел ей вслед, держа в левой руке шляпу высоко над головой и посылая ей воздушные поцелуи.

В ее отделении все места были заняты. Ей не хотелось расставаться с букетом, но было неловко держать его всю дорогу на коленях; положила его на полку, поверх своего небольшого, потертого чемодана. «Теперь, кажется, мы жених и невеста! — повторяла она себе. — Уж если и на вокзал приехал, и целовались опять... А предложения всё-таки не сделал...»

В вагон-ресторан она не пошла, это ей казалось пределом роскоши, — никогда такого вагона изнутри и не видела, — «да может быть, из третьего класса не пускают, или я там что-нибудь еще напутала бы!..» Читать ей не хотелось, и книги лежали в чемодане. «Как теперь при всех доставать? И еще увидят, что книга русская! Сижу, ну, и слава Богу...» Но сидеть без дела она не любила. «Вязать верно у них в вагонах запрещено». Противоположную скамью занимала немецкая семья с очень милой маленькой девочкой. Наташа обожала детей и с девочкой заговорила бы, если б тут же не находился отец: она боялась людей, особенно мужчин, особенно немцев. «У тебя настоящий inferiority complex!<sup>1</sup>» — не раз с нежностью и возмущением говорил ей Шелль. «Что ж делать, это после немецкого подземного завода, — со вздохом отвечала Наташа, — там были специалисты по вбиванию этого комплекса. С плетьюми». — «Ты смущаешься даже оттого, что ты остроумна! Да, да, старательно это прячешь». — «Не знала за собой. Так, верно, хорошо прячу, что никто и не замечает».

Она сняла перчатки *suedé*<sup>2</sup>, вызывавшие у нее неприятное чувство, как всё поддельное. Нитяные совсем порвались на пальцах, так что и штопать не стоило, а настоящие замшевые были непосильным расходом: в последние месяцы берегла каждую марку, откладывая для поездки в Италию. Ее стипендия была очень невелика; она изготовляла еще какие-то шарфы для берлинского магазина, умела изготовлять и шляпки, для себя сама шила и платья. Руки у нее были золотые. «Рисовать акварелью, выжигать по дереву я не умею, это для прежних барышень, — со смехом говорила она Шеллю, — а вот чинить всё могу, и белье стираю отлично, и голову сама мою, и эту — как ее? *permanenté* — никогда не делаю, на парикмахера не трачусь, прическа у меня, как видишь, самая простенькая, с пробором посредине». Шелль слушал со смешанными чувствами. Он любил элегантных женщин и не мог понять, как влюбился в Наташу. «Тяжелая страсть!» — объяснял он себе. Ему нравились такие слова, и он почти сожалел, что они тут совершенно не подходили: ничего «тяжелого» в его новой страсти не было.

<sup>1</sup> Комплекс неполноценности (англ.).

<sup>2</sup> Искусственная замша (фр.).

На итальянской границе таможенный чиновник, бегло взглянув на нее и на ее чемодан, не осматривал вещей. Другой чиновник с любопытством просмотрел ее советский паспорт и показал его своему товарищу. Наташа приготовила было объяснение на немецком языке (которым владела свободно): в России не была с 1941 года, должна получить эмигрантский паспорт очень скоро, ей уже обещали. Но никакого объяснения не потребовалось. Спросили еще о деньгах, она вынула из сумки свои двадцать пять тысяч лир, сказала, что едет в Италию всего на две недели, едет просто как туристка. Чиновник с улыбкой кивнул головой. И граница прошла благополучно, ни малейшей неприятности! Ею вдруг овладела необычайная радость, то, что она называла «припадками беспричинного веселья». В последнее время, после знакомства с Шеллем, эти припадки стали довольно часты, хотя ее жизнь всегда была очень тяжела (или именно поэтому). «Ничего хуже прошлого случиться не может. Бог меня не забудет и всё мне зачтет!»

Соседи на нее поглядывали с интересом. Глаза у нее блестели всё сильнее; она это почувствовала и закрыла их, точно ей стало совестно. «Очень хороша, очень!» — подумал молодой литератор, отправлявшийся в Италию с тем, чтобы написать тысячу первую книгу об искусстве эпохи Возрождения. Он поглядывал на Наташу еще с Берлина, до того, как зажгли лампы, и не мог решить, какой у нее румянец: здоровый, нормальный или болезненный, чахоточный. И то, и другое имело свою поэтическую прелесть. Глаза он определил: «темносерого лионского бархата», — но был недоволен этим определением; упорно развивал в себе изобразительную силу. «Ресницы просто неправдоподобно длинные. Какие?.. Похожа на женщин Лоренцо Лотто», — решил он с удовлетворением, хотя сомневался, поймут ли его читатели: они, может быть, о Лоренцо Лотто и не слышали.

Точно в театре после антракта, занавес поднялся над новой, гораздо более яркой декорацией. Всё стало другое, и люди были другие. Новые пассажиры развернули свертки с едой, и Наташа, немного поколебавшись, сделала то же самое. С ней любезно заговорили, она отвечала на ломаном французском языке. Все были очень ласковы. Очень скромно одетая итальянка предложила ей апельсин; старик, по-видимому простой

рабочий, спросил, не хочет ли она вина. «Ах, какие милые! И вообще люди хороши. Были, конечно, скверные, — думала она, вспомнив о подземном заводе, — но они исключение. И больше всего этого не будет. Не будет и чахотки, ведь только начало процесса в одном легком... И предложение он сделает!.. Глупое слово: «предложение», глупое, но какое милое! Не может не сделать!» В ее глазах всё бегали огоньки. «Разве он сам себя понимает? Послушаешь, уж такой пессимист и мизантроп, а на самом деле, когда он смеется, на него смотреть любо. Да на него и всегда смотрят люди, вот и на вокзале смотрели, он головой, кажется, выше всех, — думала она. — Он доволен тем, будто что-то во мне *открыл!* Остроумие? Зачем он так любит остроумие? И я люблю, но если не слишком много и не очень злое. Тогда, в понедельник, я ему напомнила поговорку: «Не все шутки сегодня шути, покинь на завтра». Ему не понравилось, сказал, что есть и другие поговорки: «Шутка к шутке, а вот Машка в шубке». Хочешь, Наташка, быть в шубке?» И мне не понравилось. «*Наташке* никакой шубки не надо». — «А Наташе? А Наташеньке?» — «Это лучше, но тоже не надо». — «А по-моему, совершенно необходимо. И помни, милая: если человек ничего в жизни не боится, ничего не ждет и ни во что не верит, то он *должен* шутить». — «Ах, как страшно! Просто демон!..»

О начале процесса в легком ей сказал берлинский врач — к нему ее почти насильно заставил пойти Шелль. Она врачей боялась: «Хорошего они никогда не говорят, а не ходить к ним — ничего плохого и знать не будешь». Слова «начало процесса в левом легком» звучали гораздо лучше, чем страшное, противное слово «чахотка». Всё же они ее встревожили. Но Шелль, спросивший о ней врача по телефону, объявил ей, что это совершенный пустяк, и она тотчас успокоилась. Правда, позднее, тогда, в тот четверг в Грюнвальде, он сказал, что ей всё-таки хорошо было бы поехать в Италию, лучше в горы: там и «начало процесса» тотчас исчезнет.

— Что вы говорите? Вы, может быть, думаете, что я агентка Уолл-стрит, живущая здесь инкогнито? Разве моей стипендии хватит?

— О деньгах, дорогая агентка, не беспокойтесь, я вам достану сколько угодно, — ответил он. Они тогда — до шам-

панского — еще были на «вы», это было в начале их знакомства. Наташа оценила деликатность: «я вам достану», — то есть он даст свои. Правда, он богат, у него большие комиссионные дела. «Что такое комиссионные дела, Евгений Карлович?» — спросила она. Ей в Шелле не нравилось вино, его вечная шутливость, да еще имя-отчество. «Немецкого в нем ничего нет, и Карлы бывают разные. Может быть, отец был Чарльз?» Она примеряла: «Женя»? Нет, совсем к нему не подходит. «Геня»? Еще гораздо хуже. По имени-отчеству теперь называть уже глупо». Старалась никак его больше не называть, а когда скороговоркой говорила «Евгений», то мучительно краснела.

На ее вопрос, тогда в Грюнвальде, он ответил неясно. Лгать в разговоре с ней, к его собственному изумлению, оказалось не очень легко, хотя и вполне возможно. На поездке в горы он больше не настаивал: врач действительно сказал ему, что ничего опасного у русской барышни пока нет.

— ...Да я и сам не очень им верю, — сказал он ей. — Прежде они посылали легочных больных в Ментону; позднее было признано, что этим они губили людей, но вид у них остался такой же горделивый. Теперь горы, Давос, а завтра, может быть, они признают, что надо отправлять на Северный полюс. Да ничего у вас и нет, не надо только простужаться.

— Ну, вот видите! — ответила, обрадовавшись, Наташа. — А в Италию мне придется съездить, но ненадолго и только на Капри. Я коплю деньги. Это мне нужно для второй диссертации.

Узнав, что она для университета в Югославии пишет диссертацию «Ленин в период отзовизма и ликвидаторства», Шелль расхохотался:

— Как, как? Повторите! «В период отзовизма и ликвидаторства»? Да ведь в Югославии терпеть не могут Москву?

— Нет, совсем не Москву, а Сталина! А Ленина они всегда почитали.

— Пусть почитают и дальше. При чем же тут Капри?

— У большевиков при Ленине была на Капри школа.

— Да что вы! Какое, верно, было полезное высшее учебное заведение!.. Капри — чудесный остров, я там бывал. Хотите, поедem туда вместе?

Она вспыхнула от радости. Именно в тот декабрьский вечер они перешли на «ты» и поцеловались. «Вы не бои... Ты не



боишься? Вдруг моя болезнь заразительна?» — растерянно спросила она и подумала, что говорит глупо. Как нарочно, — в этот день! — кашляла. «Нет, нет, так я не могу, не могу», — говорила она, и выходило еще глупее. Он ничего не отвечал. Потом она стала печальна. Слишком быстрые перемены в ее настроении его пугали. Он связывал это с ее болезнью.

В Италию они отправились отдельно друг от друга. Шелль сослался на неотложные дела и обещал приехать на Капри, самое позднее, через три дня. Наташа грустно объясняла это себе тем, что он не хочет путешествовать в третьем классе: «Привык верно к мягким вагонам» (хотя она покинула Россию давно, еще обозначала вагоны советскими названиями).

— ...Я себе найду какой-нибудь дешевенький пансион, а ты живи где хочешь, но не со мной. А то там люди еще могут Бог знает что о нас подумать!

Он с улыбкой согласился. Наташа и дальше, после поцелуев, отказывалась от его денег. Только в ресторанах соглашалась, чтобы платил он. Слышала, что в ресторанах всегда мужчины платят за дам, даже и за богатых.

До Неаполя Наташа почти ничего в Италии не видела, кроме вокзалов. В Риме поезда надо было ждать полтора часа, но она не решилась выйти хотя бы только на площадь. «Вдруг заблужусь, или опоздаю, или не в тот поезд попаду!»

Очень мало она увидела и в Неаполе. Пришлось потратить-ся на автомобиль. Объяснила как умела шоферу, что едет на Капри, что ей надо на пристань. Шофер закивал головой, по дороге что-то ей объяснял и показывал. Одно место он назвал «Санта Лучиа», и тут радостно закивала головой Наташа: сама пела песенку с этим названием еще в детские годы в России и помнила, что эта песенка связана с чем-то в Неаполе. Показал шофер ей и Везувий, но он Наташу разочаровал: ни огня, ни даже дыма. Шофер сказал, что Везувий с такого-то года больше не курится, — сам был немного этим сконфужен, как все неаполитанцы.

У пристани она щедро дала ему на чай, — впрочем, не знала, сколько именно; в итальянских деньгах еще плохо разбиралась, хотя в Берлине изучала скомканные, огромного размера, ассигнации, которые купил для нее Шелль (вернула ему всё немецкими деньгами с точностью до марки). Шофер види-

мо остался доволен, хотел было позвать носильщика, но, когда Наташа испуганно замотала головой — лишний расход, — сам донес ее чемодан до кассы. Она взяла билет и подняла чемодан (была довольно сильна физически, несмотря на начало процесса в легком). Его тотчас, взглянув на нее с ласковой улыбкой, подхватил матрос. Наташа, немного поколебавшись, дала и ему на чай, он было отказывался, но принял. Таким образом экономии сделано не было, но Наташу радовали милые, доброжелательные человеческие отношения. «Ах, какой прекрасный народ!»

Вздохнула она спокойно только тогда, когда села на скамейку пароходика. Ахнула, впервые по-настоящему увидев море: никогда в жизни на море не была. «Какая красота! И, кажется, спокойное!» В немецком путеводителе сообщалось, что море между Неаполем и Капри иногда бывает бурным, — давались разные практические советы. Поэтому Наташа не спросила кофе и бутербродов, хотя ей хотелось есть и цены у буфета были обозначены дешевые (она уже научилась довольно быстро переводить в уме лиры на марки). Однако пароход не качало. «Ничего не чувствую, просто морской волк!»

Два часа прошли отлично. Кастелламаре, Сорренто, — названия были так звучны, что просто нельзя было не восторгаться. Вспомнила: «Увидеть Неаполь и умереть!» «И кто только мог сказать такую глупость? Напротив, увидеть — и жить! Здесь жить, или в другом месте, всё на свете прекрасно, и жизнь прекрасна, и чем дольше жить, тем лучше... Он мне говорил: «Ты всё одна, а я целый день занят. (Чем это он занят?») У тебя мало знакомых, неправдоподобное советское дитя?» — «И не дитя вовсе, двадцать пять лет дылде. А почему неправдоподобное?» — «Потому, что на всю Россию ты верно такая одна. Там у всех, при социалистическом строительстве, такой чудовищный эгоизм, такие стальные карьерные локти, каких нигде в мире не было, не только при буржуазном строе, но и при папуасском. А у тебя их нет и в помине. Ты мне не ответила, много ли у тебя знакомых?» — «Почти никого». — «Барышни или мужчины?» — «Да я тебе говорю, что никого. А барышни я ни одной отроду не знала. Какие у

нас барышни?» — «Я буду приходить чаще, восьмое чудо света». — «Приходи каждый день!» — вырвалось у нее... «Tu sei l'emblema — Di l'harmonia, — Santa Lucia, — Santa Lucia!»<sup>1</sup> — «Какая смерть! Где там смерть... И он *сделает* предложение!..»

Любоваться морем ей скоро надоело. Она достала вязанье из чемодана, теперь стоявшего под рукой, и занялась делом.

Остановилась она в очень недорогом пансионе. По дороге от станции «финикулэра» побывала в двух других, — везде кое-как понимали по-французски, — и выбрала третий, самый дешевый. Ей отвели маленькую светлую комнату с выбеленными стенами, с майоликовым полом в белых квадратиках, обведенных черным бордюром, всегда казавшихся мокрыми, с чистой кроватью, с креслом у выходившего в сад окна. Был даже и небольшой письменный стол. Первым делом Наташа вставила в воду поблекший букет. По дороге видела ванную, — на этот расход пошла бы, но хозяйка, немолодая, красивая женщина, сказала, что, как на беду, ванна испортилась, ее очень скоро починят.

Наташа умылась, вынула из чемодана одно платье из трех, не лучшее, — «лучшие буду носить при нем». Внизу хозяйка опять приветливо ей улыбнулась и объяснила, в какие часы завтрак и обед; спросила, сколько синьорина намерена остаться на Капри. Узнав, что не меньше десяти дней, а скорее две недели, улыбнулась еще ласковей и сказала, что не будет беды, если синьорина иногда и опоздает к обеду, ей всё оставят. А в дни экскурсий на Анакапри, на гору Тиберия или в Сорренто ей вместо завтрака будут давать бутерброды. Сказала также что-то любезное об ее платье и пальто. Наташа всё поняла и почувствовала себя как дома, — «хотя где же у меня дом?».

В столовой (гостиной в пансионе не было) стояло маленькое пианино. Это очень обрадовало Наташу. Играла она плохо, — разучилась за годы на подземном заводе, — но ее пенье Шеллю нравилось. «Вдруг, если никого не будет, как-нибудь спою ему и здесь?..» Пела она разное, от «Бубличков» до романсов Глинки и Чайковского. Ему особенно нравились «Бублички». «Что это он говорил? «В этой глупенькой песенке есть нечто символическое и страшное...» Почему «символическое»? И почему она «глупень-

---

<sup>1</sup> Ты эмблема гармонии — Санта Лючия, Санта Лючия! (ит.).

кая»? Напротив, мы там все это так чувствовали, так было больно, и это успокаивало». Впрочем, пела она Шеллю в Берлине редко. Он приходил к ней обычно по вечерам, а с девяти часов хозяйка пансиона, большая толстая старуха, — как она всем говорила, вдова чиновника императорского времени, — со строгим лицом раза два входила в небольшой чистенький салон, чуть не половину которого занимал Бехштейн; в десять же решительно объявляла, что больше играть нельзя (ей вдобавок не нравились ни «Бублички», ни посещения высокого господина).

На улице у Наташи опять начался «припадок». На всё лился теплый, уже почти жаркий свет, всё было восхитительно. По пути от станции в пансион она почти ничего не рассмотрела, так всё волновалась: не утащит ли мальчишка ее чемодан, найдется ли комната по карману, поймут ли то, что она скажет? Теперь всё было устроено. Ждать Шелля оставалось три дня. Погода была райская, хотя весна только начиналась, — в Берлине еще была настоящая — и очень скверная — зима, мало походившая на русскую, зима без прелестей зимы. Ее поразили кривые, узенькие, несимметрические улицы, невиданная, почти тропическая, растительность, белые, кремовые, красные дома, один живописнее другого, и всего больше горы, часто совершенно голые, со страшными вертикальными обрывами, — на них и смотреть снизу было жутковато.

Гуляла она до вечера. Иногда останавливалась и перед витринами магазинов. Магазины были, конечно, меньше и беднее берлинских, но в Берлине и времени никогда не было смотреть на витрины. В одном магазине недалеко от площади шла распродажа дамских платьев. Наташа взглянула на платья, на цены, перевела на марки, — дешево! Одно платье, лиловое, ей чрезвычайно понравилось: как будто зимнее, — ведь зимние-то теперь распродают, — но совсем как бы весеннее, да, собственно, можно носить и летом, и осенью. «Лиловый цвет его любимый, он тогда это в Грюнвальде сказал...» Мысленно прикинула: если экономить решительно на всем, то хватит ли, чтобы купить это платье и вернуться в Берлин? Грустно ответила себе, что не хватит, — дай Бог, чтобы хватило и без платья. «Особенно, если останемся больше десяти дней. А чтобы остаться только девять, я никаких платьев не взяла бы!»

Отошла от магазина и тотчас успокоилась. «Отлично обойдусь без платья! Да мне и не так уж нужно: есть три».

Засветились звезды, — «тоже другие». Всё с теми же лукавыми огоньками в глазах думала о Шелле, о том, какой он странный и даже чуть смешной своей таинственностью, о том, что его глаза, вначале показавшиеся ей холодными и страшными, были на самом деле добры и даже нежны, — по крайней мере, иногда — «и несколько не «стальные», а голубые». Как жаль, как жаль, что нельзя будет остаться тут больше! Но если он в самом деле сделает мне здесь предложение? — замирая, думала она. — Тогда можно было бы остаться, и деньги у него можно, пожалуй, взять взаймы. Хотя я и после свадьбы не сяду ему на шею: буду зарабатывать, даром, что он богат. Я уговорю его пробыть дольше, это будет наша свадебная поездка... Он сказал, что никогда женат не был. Как забавно, что тогда в Грюнвальде он еще мне казался страшным! Я ему сказала, что его наружность вызывает во мне безотчетную тревогу. Он ответил, смеясь: «Не говори так литературно». Я правду говорила... А теперь никакой тревоги, ни отчетной, ни безотчетной!..» Наташа постоянно говорила и себе, и ему: «тогда в Грюнвальде», как Наполеон мог бы говорить: «тогда в Тулоне». Шелль не всегда сразу и соображал, что она хочет сказать.

В уютно освещенной столовой людей было немного: большая семья у главного стола, еще старик и старушка, все несколько не страшные, хоть чужие. Миловидная горничная, очень похожая на хозяйку, усадила Наташу за отдельный столик, переменяла бумажную скатерть, ласково улыбалась. Когда она пробегала с вазой мимо старого буфета, в нем звенела посуда, и в этом звоне было что-то уютное. Горничная подавала макароны, рыбу, мясо, всё было необыкновенно вкусно. Спрашивала, что синьорина успела повидать, и узнав, что всё «très beau», «bellissimo»<sup>1</sup> и что синьорина никогда ничего прекраснее Капри не видела, предложила вторую порцию макарон. На столе стоял графинчик с вином. Это немного обеспокоило Наташу: не слишком ли дорого обойдется? В России она никогда вина не пила; на подземном заводе была рада, когда доставала и не слишком грязную воду. За последние месяцы

<sup>1</sup> Прекрасно (фр.), восхитительно (ит.).

Шелль ее немного приучил к шампанскому, к дорогим рейнским винам. Сначала показалось невкусным, — что только в этом находят люди? — но скоро понравилось; понравился не вкус, а легкое приятное кружение в голове. За их последним завтраком в Берлине Шелль сказал ей, что *настоящее* каприйское вино принадлежит к лучшим в мире и что его в ресторанах достать почти невозможно, а надо искать у старожилов, лучше не у виноделов. Наташа попробовала вино из графинчика: «Кажется, хорошо? Ведь они старожилы? Может быть, *настоящее*? Я его буду угощать, он мог бы приходить завтракать?» Старик и старуха поднялись. «Кажется, надо им поклониться?» — подумала Наташа. Они ласково кивнули ей первые. «Значит, теперь можно и пора уйти, нельзя же злоупотреблять, — подумала Наташа. — Они не платили, верно тут ставят в счет, тогда поставят и мне?» Она встала и прошла к выходу. В буфете опять что-то зазвенело. «Просто прелесть!»

В ее комнате было холодно. В столовой была печь, другие же комнаты пансиона отапливались солнцем. Наташа хотела было разобрать и разложить вещи, но почувствовала большую усталость: «Это не от начала процесса, а оттого, что много ходила здесь и от дороги». Лечь спать в девять часов было и совестно, и соблазнительно. Наташа всё же подняла крышку чемодана. Кроме ученых книг для работы, она взяла с собой из Берлина «Избранные сочинения Н. Г. Гарина-Михайловского» в одном томе. Тетралогия этого писателя была одной из ее любимых книг. «Вот с ней и лягу! Ах, как хорошо!»

Она проделала над собой то, что называла «турецкими зверствами»: умылась с ног до головы холодной водой. «Есть же такие счастливицы, у которых всегда везде комнаты со своими ваннами, с проточным кипятком», — сказала она как-то Шеллю. «Есть, Наташа, есть, — ответил он, — и у тебя будут («Он сказал: будут. Не намек ли, что женится?»). Но почему ты это самоистязание называешь турецкими зверствами? Турки очень добродушный народ. Естественнее говорить: «нацистские зверства». На это Наташа ничего не ответила: могла шутить о зверствах турок в далекие времена, но зверства национал-социалистов видела вблизи сама, и о них упоминать в шутках было невозможно. «Кажется, будет лужа! Я

не виновата, — думала она, ежась от холода. — Но этот пол верно воды не пропускает? Не пожалуются ли внизу!» — Однако теперь ни в какие неприятности не верила, не верила и что на нее пожалуются.

Затем она легла и закуталась по своей системе: не без труда вытащила концы розового одеяла, плотно засунутые между матрацем и деревом кровати, подвернула их под себя со всех сторон, так что образовалось какое-то подобие мешка; понемногу согрелась и простыня. «Вот уж сейчас на четверть хорошо... На половину... Совсем хорошо... Теперь можно и почитать». Книга была большая, довольно тяжелая, держать ее в руках было неудобно, да и не хотелось вынимать из теплого мешка руки. Наташа поставила книгу углом, на постель рядом с мешком.

Тема Карташев целовал Одарку и делал ей предложение: «Одарка, хочешь быть моей женой?» — «Пустьтъ, панычику...» — «Можно тебя еще раз поцеловать?» — «Ой, боюсь, панычику». Непутевый Тема был любимцем Наташи: когда она в первый раз читала тетралогию, плакала оттого, что он студентом заболел страшной болезнью. «Как же он мог после этого жениться!..» Но теперь Тема еще был чист и здоров. Читать книгу было неудобно, и, чтобы перелистывать страницы, всё равно пришлось бы вытаскивать хоть одну руку из-под одеяла. «*Наташа*, хочешь быть моей женой?..» — Приезжает послезавтра...

Глаза у нее слипались, но она по опыту знала, что и при этом можно не заснуть. «Бывает, что вдруг точно электрический разряд, и ничего от сна не остается. Надо улучать момент, когда *можно* заснуть, а упустишь — сорвешь сон. Так и в жизни: только один момент пропустишь — кончено... Где же и сделать предложение, как не на этом волшебном Капри? В Берлине у него просто и времени не было: не за обедом же между двумя блюдами?.. Зачем он так много пьет?.. А еще любят ли мужчины, когда у кого этот... инфирiorити?» — тревожно спросила себя она, задумалась и чуть не сорвала сон. Была совершенно — почти совершенно — убеждена, что ее любить не за что.

## VI

Спала она как убитая и проснулась в восьмом часу. Комната была залита светом. Наташа тотчас освободилась из мешка; упала книга, так и простоявшая на кровати всю ночь. С вечера не опустила штор, теперь отворила окно. «Ах, этот воздух! Тут и в одной рубашке не простудишься... Насморк был бы совсем некстати, если бы не прошел до его приезда!..» В саду неизвестные ей цветы и деревья были очаровательны. «Вон там будем с ним сидеть, когда он будет приходить ко мне». Тишина была необыкновенная, такой нигде не было. Не сразу решилась позвонить: слишком рано. Решила подождать до восьми. Но со стороны кухни послышался веселый женский голос, кто-то так же весело откликнулся, стало еще веселее и Наташе. Она позвонила, — робко, еле надавила на пуговку.

Та же миловидная горничная пожелала доброго утра, спросила, как спала синьорина и что ей подать к завтраку; затем, очень скоро, принесла кофе, масло, две булочки, стакан холодной воды. Шелль говорил Наташе, что на Капри питьевая вода редкость: ее привозят из Неаполя. «Значит, довольны мною! Верно, она дочь хозяйки или племянница, что ли?» Охотно поговорила бы и с горничной, — особенно любила разговоры с простыми людьми, — но нельзя было по незнанию языка, да и кофе остыло бы, ей очень хотелось есть. Всё было опять прекрасно подано и необыкновенно вкусно. Кофе дали немного меньше, чем молока. Наташа любила крепкий и сладкий, сразу налила в чашку почти всё из кофейника, выпила с наслаждением, затем вылила в чашку и весь остаток молока, только капнув остатками кофе. Не оставила ничего и от масла, и от хрустящих булочек. «Просто совестно!» В Берлине в ресторанах ей всегда тоже бывало за что-либо совестно перед прислугой, это очень смешило Шелля. Он увозил ее в далекие от центра рестораны, а то и в загородные, хотя там зимой было мало публики, — это была, по-видимому, одна из его многочисленных причуд; и не любил ходить пешком, тотчас садился в автомобиль.

Она опять подошла к окну и жадно стала вдыхать воздух: «Какая прелесть! Может быть, и за десять дней здесь совсем, совсем поправлюсь!..» У забора на веревке висело белье. Это



тоже показалось ей необыкновенно живописным. Затем она с сожалением затворила окно и взялась за работу. В комодке было три ящика. Платья и белье поместились. Но шляпы (взяла с собой обе) поместить было негде. Все ее вещи были дешевенькие. Только французские духи были очень дорогие: подарок Шелля. Наташа своей бедности нисколько не стыдилась, но и не *гордилась* ею, — это бывает не так часто.

Постели она не убирала, — надо же что-нибудь оставить и для горничной, а то еще обидится. Но комнату убрала так хорошо, как, вероятно, эта комната никогда не убиралась. Вынула даже ящик из стола и вытряхнула пыль в корзину. Книги аккуратно разложила на столе. Сочетание книг у нее было самое странное. Были истории русской церкви митрополита Макария и Голубинского, — с великой радостью нашла в Белграде эти редкие издания и даже заплатила недорого: антиквар не знал цены русским книгам. Было «Сказание о ново-ставшей ереси», — Иосифа Волоцкого она не любила, но это тоже был полезнейший труд для первой диссертации. Были и советские книги, брошюры, исторические журналы: антиквар смотрел на нее с некоторым удивлением, когда она все это отбирала. Она даже сочла нужным объяснить ему, в чем дело. Основная ее диссертация была «О первых проявлениях русского социализма в писаниях нестяжателей». Эту тему она выбрала сама; профессор согласился, хотя и не очень охотно. Вторую же, дополнительную и обязательную, работу о Ленине ей предложил факультет. Эту тему приняла не очень охотно она. Как почти всё в Югославии, университет был странным образом и коммунистическим, и антикоммунистическим. Люди объясняли это не очень понятно, как будто скороговоркой.

В десять часов в дверь постучали и вошел сам хозяин пансиона. Наташа встала, — привыкла к этому на подземном заводе и все не могла отделаться от страха перед мужчинами, имевшими какое-то звание. Оказалось, хозяин пришел справиться, всем ли синьорина довольна и будет ли она у них и завтракать, и обедать. Так дешевле, и он ей это очень советует, но у них существует и полупансион; его жена не совсем поняла синьорину, и он желал бы знать окончательное решение синьорины. Наташа с жаром ответила, что, конечно, будет и обедать, и завтракать:

— У вас всё так вкусно! И какое чудное вино! Верно, настоящее каприйское? Но мне не надо так много, я почти не пью.

Хозяин объяснил, что вино самое настоящее Тимберо и что графин его входит в цену пансиона. Это было тоже приятно. Набравшись мужества, Наташа сказала о другом. Она опасалась, что в ее чемодане или на столике после ее ухода найдут советские книги, признают ее большевичкой и еще сообщат полиции, — тогда не оберешься неприятностей. На немецком языке, кое-как дополняя французским, объяснила, что занимается русской историей, пишет книгу, и ей для ее научного, чисто научного исследования очень нужно было бы узнать, где на Капри жил много лет тому назад Ленин и где в то время находилась большевистская школа. Хозяин слушал ее с ласковой улыбкой, хотя немного как будто был удивлен. Но, по-видимому, не нашел в вопросе ничего страшного. Сказал, что великий русский писатель Массимо Горки жил недалеко, в большом красном доме над морем, там теперь гостиница, он даст синьорине адрес; о Ленине же и о школе он ничего не знает.

— Это наверное может вам сказать наш известный каприйский лодочник, старик Антонио. Он лично знал Ленина и возил и его, и Горького в Лазурный грот. Вы можете его найти в три часа у входа в фуникулёр. Он там ждет туристов. Здесь же на острове жил и синьор Аксель Мунте, другой великий писатель. Все писатели и ученые приезжали на Капри.

Наташа рассыпалась в выражениях благодарности на немецком, французском и даже на итальянском языках.

— ...Мила необыкновенно! Она профессор! Занимается историей, — сказал хозяин жене, спустившись вниз.

— Недолго будет заниматься историей, — ответила хозяйка неодобрительно. Но ей и самой очень понравилась эта русская барышня.

За работу Наташа тотчас не села. Всё утро по путеводителю осматривала сады Круппа, замок Кастильоне, церковь Сан-Стефано, скалы Маральони, куда пираты заманивали огнями моряков и тут же их убивали и грабили. Но Анакапри, дворец Тиберия и Лазурный грот Наташа оставила для Шелля: пусть он туда ее повезет. После завтрака в пансионе — завтрак был еще лучше, чем обед накануне, — не отдыхала

— нечего лениться — и пошла на станцию. Там ей указали старика Антонио. Хотя Наташа лодки не заказывала, он охотно дал ей все сведения: да, он был другом великого писателя Горького, возил в Лазурный грот и его, и синьора Ленина; бывал и у них в школе, а помещалась она в вилле Пьерина, по дороге на Пиккола Марина, осталась точно такой, как была, и по случайности в ней теперь никто не живет. Другие лодочники и носильщики с любопытством слушали старика. Они слышали о Ленине, о школе и, видимо, гордились тем, что это было на Капри.

Опять повезло: легко узнала адрес. Наташа с волнением отправилась к Пиккола Марина, расспрашивая прохожих, — не туристов, а настоящих каприйцев. Все любезно ей отвечали, иногда даже отрываясь от дел и разговоров. Такого внимания она нигде не видела: любезностью не была избалована в жизни.

Вилла, стоявшая в стороне от большой дороги, была белая двухэтажная, с колоннами в первом этаже, и стояла она в глубине роскошного сада с пиниями, пальмами, розами. «Откуда же у них тогда были деньги, чтобы нанимать такую дачу?» — недоумевала Наташа. «Ну, убили кого-нибудь, дело житейское», — как сказал бы Майков. Николай Аркадьевич обо всякой гадости говорил «дело житейское» и с удовольствием это говорил!»

Серьезные историки всегда всё тщательно проверяют, и, чтобы не полагаться на одного Антонио, она прошла дальше по дороге, купила в лавке плитку шоколада и справилась о вилле: правда ли, что здесь когда-то была русская коммунистическая школа? Старик лавочник и его жена, чудом понявшие ее, с гордостью подтвердили: «Да, в вилле Пьерина была коммунистическая школа, великий писатель Максим Горький по слабости своего здоровья приезжал туда по большой дороге на извозчике, а Ленин приходил пешком, и они сами его видели, своими глазами, и за ним всегда по пятам ходила царская полиция». Кое-как поняла и Наташа.

Она вернулась к вилле, долго стояла перед входом, затем, робко оглянувшись по сторонам, попробовала калитку. «Не заперто. Верно и в самом деле никого нет? Войду? Право войду!» Наташа пошла в сад и, опять набравшись храбрости, —

не примут ли за воровку? — заглянула в окно: увидела большую пустую комнату вроде студии. «Конечно, тут они и читали лекции! А то здесь на этой террасе обсуждался отзовизм». Наташа твердо знала, что историкам полагается всё обсуждать и описывать «объективно». Тем не менее вилла внушала ей недобрые чувства. «Отсюда все пошло, с этой веселенькой белойвиллы! У нас говорили, что от большевиков затрещал мир, и это действительно так. От этого и от гитлеровского трещанья затрещала и я. Папа был бы в России, совсем иначе сложилась бы жизнь, и войны, говорят, не было бы... Но ведь и его тогда не было бы!»

Вилла Пьерина была ее открытием, — в исторической литературе нигде ее названия не было. Правда, у Наташи были и некоторые сомнения: как будто Ленин пробыл на Капри очень недолго. Были у нее и хронологические затруднения с отзовистами и ликвидаторами. Но всё это именно могло быть предметом обсуждения во второй диссертации. «Заполнит не меньше десяти страниц, — радостно думала она. — Скорее бы написать... Я непременно приведу его сюда, ему будет интересно, он такой образованный». Сосчитала мысленно: до приезда Шелля оставалось еще сорок шесть часов, может быть, даже сорок пять.

Для второй диссертации за день было сделано достаточно. Присев на камень, она всё занесла в купленную для этого в Берлине записную книжку с карандашиком в ушке: описала виллу, сад, комнату, кратко занесла «показания старожилов». Всё это, могло пригодиться. «Конечно, в историческом отношении это не так ценно, но в бытовом интересно». Досадно было, что карандашик твердый и пишет неясно. В ее самопишущем перепишечнике не оказалось чернил. «Можно спросить у хозяина, или же, чтобы не приставать, завтра куплю баночку, заодно и бумагу». Отсутствие чернил было законной причиной, чтобы вечером не думать об отзовистах. «При нем будет работать труднее, да он и смеется всё над моей работой... Ну, буду рано вставать, от семи буду писать, а встречаться верно будем не раньше одиннадцатого часа». Она поднялась к себе. Теперь было уже немного и скучно. «Смерть мухам!», — весело вспомнила она его постоянное восклицание и засмеялась от радости. «Нет, не скучно, мухи останутся живы».

Вечером она, с карандашом в руке, не тем, а настоящим, хорошим, читала сводную книгу о стригольниках, жидовствующих, нестяжателях и иосифлянах. Еврей Схариа, приехавший в Новгород в свите приглашенного боярами нового князя Михаила Александровича, «был изучен всякому злодейства изобретению, чародейству же и чернокнижию, звездозаконию же и астрологы», совратил со своими учениками многих русских священников, протопопа Софийского собора и самого митрополита Зосиму и чуть было не совратил великого князя Московского Ивана Васильевича. Проповедовали же эти малоизученные еретики астрономическую книгу Шестикрыл и метафизику Моисея Египтянина, или Маймонида, а всего больше учение Аристотеля, головы всем философам. Они говорили: «Нест, деи, царства небесного, умер, деи, ин по та места и был...»

О том, есть ли вечная жизнь, Наташа сама думала часто, особенно с тех пор, как стала кашлять. К тому, что историк называл рационализмом стригольников и жидовствующих, у нее симпатий не было. Не могла понять, что эти люди предлагали, какое утешение, и зачем же писать безутешные, безотрадные книги: «На что тогда их Аристотель и их звездозакония?..» Зато она нежно любила нестяжателей, особенно Нила, который ушел на реку Сору от злообразия мира. Нравилось ей также, что к восьми главным человеческим порокам Нил Сорский причислял печаль и уныние. Это она слышала до войны от Николая Майкова. «Он ведь из семьи Нила и всё это знает». Его слова она часто себе повторяла, когда работала на подземном заводе. Не всегда они помогали, — слишком страшно было то, что на заводе творилось. Однако помогали иногда.

Так и теперь Наташа прочла несколько страниц из книги, остановилась на цитатах из «Предания и устава», и ей стало еще радостней. «Послезавтрашнего дня и считать нельзя. Где он остановится?» Она видела в городке большую гостиницу «Квисисана». В путеводителе было сказано, что это самый лучший отель Капри, да это и без путеводителя было ясно само собой, по виду выходявших людей, по тому, что здесь толпились гиды и стояли ослики для туристов, — когда Наташа проходила мимо, к крыльцу на ослике подъехала говорившая по-немецки горделивая дама.

Сон был радостный, бессмысленный, немного беспокойный. И вдруг в другое нелепое ворвался император Тиберий. Он был теперь учителем в ее киевской школе. Читал об отзовистах и принимал в ней близкое участие. «Не выходи за него замуж! — сказал император, — разве ты не видишь, что он обманщик? Ты сама вначале так думала, напрасно ты это теперь скрываешь. Беги от него поскорее, подальше».

Наташа очнулась в ужасе и села, подобрав колени. Глаза у нее расширились, сердце сильно стучало. «Обманывает в чем? Но прежде, вначале, я в самом деле так думала! Откуда он это знает?.. Кто знает? Тиберий! Что за вздор!» Она проснулась совершенно. «Вздор, дикий вздор! — прикрикнула она на себя и даже постаралась улыбнуться. — Зачем он стал бы меня обманывать? Правда лишь то, что он никогда о себе не говорит. Я спрошу его. Просто так спрошу... Ах, какая чушь снится людям! Ни о чем не буду его спрашивать. Ни слова не скажу... И о сне не скажу», — думала она, понемногу успокаиваясь. Ей было мучительно за себя стыдно.

## VII

После нового свидания с Шеллем полковник № 1 решил съездить в Париж. Поездка не была связана с делом Майкова. Оно было ему навязано и не очень его интересовало. Теперь же у него был другой, собственный замысел, гораздо более важный. О нем нужно было поговорить с генералом, занимавшим высокий пост в Роканкуре. Генерал был его школьным товарищем и, несмотря на образовавшуюся с годами разницу в их служебном положении и в известности, они остались друзьями.

Полковник мог отлучаться из Берлина куда хотел и когда хотел, ни у кого не спрашивая разрешения. Высшее начальство чрезвычайно его ценило и предоставляло ему полную независимость. Он не был «требователен к самому себе еще больше, чем к другим» (как часто говорят в некрологах), но свои обязанности действительно исполнял очень строго. Особенно бывал щепетилен в тех делах, где служебные интересы незаметно смешивались с личными. Таково было и это дело. В нем должна была принять участие женщина, рекомендованная ему Шеллем. Но должен был также участвовать его племянник,

молодой офицер, служивший в SHAPE по отделу Public Information<sup>1</sup>. О племяннике надо было просить в Роканкуре, и это было не совсем приятно полковнику.

Перед его отъездом пришли очередные сообщения с той стороны железного занавеса. У него бумаги делились на разряды: *restricted*, *confidential*, *secret* и *top secret*<sup>2</sup>. Отнес эти к *secret*, но не преувеличивал их значения. Было одно ценное сообщение; все остальное показалось ему ерундой и не очень добросовестной. Полковник не рассердился, давно к этому привык. Он начальству так и докладывал: быть может, агенты говорят правду, а может быть, и привирают, — не со злостной целью (это случалось редко), а просто для того, чтобы придать себе значения или оправдать свое жалованье; ничего точно узнать не могут и выдают слухи за факты; худшие же, обычно иностранцы, просто сочиняют. Он полагался главным образом на своих близких помощников и старых агентов. К западной немецкой организации Гелена относился недоверчиво; многое в ее борьбе с восточной немецкой организацией Волльвебера было ему и неприятно, и забавно. Впрочем, он знал по долгому опыту, что только с честными людьми работать в его деле невозможно. По службе он бывал почти со всеми шпионами вежлив и даже любезен, но к некоторым не мог до конца преодолеть в себе гадливость. Сам он в работе любил точность, факты, цифры, предпочитал самые простые способы, думал, что слишком сложные комбинации в большинстве случаев не удаются.

Все же было в пору войны одно разведочное дело, чрезвычайно сложное, трудное, имевшее огромные исторические последствия. Союзники бросили в море вблизи испанских берегов труп — якобы погибшего офицера с бумагами, содержащими дезинформацию об их высадке в Европе. Как и ожидалось, труп прибило к берегу, испанские власти передали документы немцам, они дошли до самого Гитлера, он поверил дезинформации, и это стало одной из причин германской катастрофы. По изобретательности, по смелости замысла, по

---

<sup>1</sup> Общественной информации (*англ.*).

<sup>2</sup> Ограниченного доступа, конфиденциальные, секретные, совершенно секретные (*англ.*).

драматизму, по техническому совершенству исполнения и, всего больше, по результатам это дело полковник считал неслыханным шедевром в истории разведки. Знал о нем во всех подробностях, но сам к нему отношения не имел. Таким бы делом он хотел закончить свою карьеру. Правда, в мирное время подобная затея была невозможна; но и дезинформационный замысел полковника мог, в случае удачи, иметь громадное значение. На удачу же были большие шансы. «Хромой попадетсЯ на удочку, он всё-таки дилетант в нашем деле, хотя и способный...» Ему очень хотелось одурачить Хромого. Вечная борьба давно вызывала профессиональное соревнование у обоих.

Подали завтрак: такой, какой всегда подается на аэропланах, в вагонах-ресторанах, — не очень плохой и не очень хороший. Полковник с аппетитом ел и всё думал о своем проекте. «Шансы есть. Жаль, что она, по его словам, глупа. Но он говорил, что она подчиняется ему беспрекословно...»

Шелль вначале не понравился полковнику. При первом знакомстве он причислил было этого разведчика к числу людей, которые любят репутацию негодяев и ею щеголяют. Полковник встречал и таких; эта порода была ему особенно противна. Затем его мнение о Шелле стало лучше. Он видел в жизни столько зла, что с годами становился всё снисходительнее к людям. «Несомненно, очень ценный агент. Его мексиканское снадобье не беда... Странно, что он играет на виолончели. Агенту не полагается иметь эфирную душу. Уж он-то наверно начитался Достоевского, — просто общественное бедствие. Всё же он очень пригодится, как бы ни кончилось то дело Майкова, с научными открытиями... А вот нужно ли привлекать Джима? Он легкомысленный юноша. Однако пора вывести его в люди, еще станет шалопаем. Попробуем, а там будет видно, пока беспокоиться незачем.»

Полковник был человеком почти невозмутимого спокойствия, — в этом отношении как бы из жюльверновских англичан. Друзья шутили сравнивали его с маршалом Жоффром. Обладал он и даром *relax*<sup>1</sup>, не столь уж часто встречающимся у людей. В аэроплане механически делал «наблюдения», — очень ему надоевшие. Навсегда запомнил лица соседей. Память у

---

<sup>1</sup> Расслабляться (англ.).



него была разных родов и степеней: на лица безошибочная, почти непогрешимая, на всё остальное средняя или даже плохая. Соседи, впрочем, были неинтересные. Господин с дамой говорили о завтраке: дама объявила, что после кофе никогда не может спать. «А вот как бы ты заснула, например, после моей прошлогодней истории с Гаузером? А я и тогда спал отлично», — подумал полковник, немного гордившийся своей макнабсовской невозмутимостью.

Позавтракав, он с наслаждением закурил, — по стилю ему полагалось бы курить либо трубку, либо сигары, но он их не любил, курил только папиросы и недорогие. Достал купленный на аэродроме французский детективный роман, — английские и американские давно прочел чуть ли не все, продававшиеся на аэродромах и вокзалах. В сотый раз пожалел, что во Франции издают книги с неразрезанными страницами, разрезал книгу вложенным в нее картонным прямоугольником с рекламой и стал читать. Роман оказался довольно уютным. Убит был несимпатичный человек, убийство было без зверства, казни не ожидалось, официальный сыщик был не слишком глуп, а частный не слишком умен. Разумеется, оба были поразительно непохожи на настоящих сыщиков; но сходства с жизнью от детективных романов не требовалось. Разумеется, заранее было ясно, что убил не тот, на кого падали подозрения. Искать надо было среди людей, на которых подозрения не падали. Обычно полковник с первых с страниц догадывался, кто убийца; догадался и на этот раз. «За что только им платят деньги?» — улыбаясь, думал он. По сравнению с тем, что видел на своем веку он сам, фантазия автора казалась ему нехитрой.

Думал он и о скорой отставке. Собирался поселиться в деревне. Мысли о доме в Коннектикуте, о конном заводе были приятны, но он опасался, что будет скучать. «Изредка буду приезжать в ведомство, справляться о новостях... Будет уже не то». Ему вспомнился выживший из ума старик, бывший сослуживец, вечно звонивший по телефону — к умершим людям: помнил их номера, но не помнил, что их давно нет на свете.

В Париже полковник остановился в центре, в хорошей гостинице. Она не принадлежала к числу самых дорогих, и он всегда выбирал ее, хотя путешествовал обычно на казенный счет или именно потому, что путешествовал на казенный счет.

Кроме того, он любил эту часть города. С ней связывались далекие, очень приятные воспоминания об его первом приезде в Париж. Здесь были Пале-Рояль, старая кофейня «Режанс» со столом Наполеона и с лучшим кофе во Франции, книжный магазин с разными полными собраниями сочинений в раззолоченных переплетах. Здесь был и Форе-Лепаж.

Он был в очень хорошем настроении духа. Нисколько не был утомлен полетом, чувствовал себя отлично. Перед зеркалом не в первый раз увидел, что щеки у него пониже ушей отвисают, что подбородок уже можно считать двойным, что его круглые, коричневые глаза понемногу выцветают. Увидел почти без огорчения: о смерти, о болезнях полковник никогда не думал, — что ж преждевременно огорчаться. Жил так, точно ему было известно, что он будет жить вечно. Погода была хорошая, редкая для парижской зимы. Это — даже у него, хотя он никак не был нервным человеком, — способствовало доброму настроению.

Тотчас он распределил время. Для поездки в Роканкур легко было достать казенный автомобиль, — надо было бы лишь сообщить о себе по телефону. Но он этого не сделал, так как никого из других должностных лиц видеть не хотел. Решил поехать скромно, по железной дороге в Марли. Торопиться было некуда. Его племянник освобождался только под вечер. «Хоть мой шалопай ничего не делает, но я его беспокоить на службе не буду, потом с ним пообедаю», — решил полковник.

На Сен-Лазарский вокзал он отправился пешком. Как всегда, остановился у витрины Форе-Лепаж, всё внимательно осмотрел, прочел разные надписи: «Finement poli en long...», «Choke et demi-choke perfectionnées...», «Quadruple verrou...», «Finissage irréprochable...»<sup>1</sup>. Одно ружье очень его заинтересовало. Стоило оно дорого. Немного поколебавшись, он зашел в магазин. Его тотчас узнали, он был старый и хороший клиент. Полковник долго, с любовью, осматривал ружье, не выдержал, купил и велел прислать в гостиницу. Затем зашел в книжный магазин. Себе, потратившись на ружье, ничего не купил, но, увидев хорошо переплетенное издание «Mémorial de Sainte

---

<sup>1</sup> «Искусная полировка по всей длине...», «Отдача и полуотдача усовершенствованы...», «Резко улучшен затвор...», «Безупречная отделка...» (фр.).

Hélène», приобрел и распорядился, чтобы послали его племяннику. «Будет ему полезно. Когда человек слишком честолюбив, это нехорошо, но если он совершенно лишен честолюбия, то это просто беда. Пусть почитает о Наполеоне».

Вагон второго класса был пуст: французы ездили в предместья в третьем классе. Полковник надел очки (немного гордился и тем, что пользуется очками только при чтении) и развернул купленную на вокзале парижскую американскую газету. На первой странице ничего особенно важного не было. Он заглянул в спортивный отдел на пятой странице и с радостью узнал, что на скачках Джи-Ар-Пэтерсон получил первый приз. «Изумительная лошадь! Изумительная! Я всегда это говорил!»

Затем он вернулся к первой странице. Полковник разбирался в политических делах гораздо лучше, чем большинство офицеров. Германия восстанавливалась со сказочной быстротой. «Это впрямь до того, как она будет и вооружаться со сказочной быстротой». Он не имел определенного мнения по вопросу о вооружении Германии. Всё, что говорили его сторонники, было совершенно верно, но всё, что говорили его противники, было тоже совершенно верно. «И главное, на немецкую армию, которую мы создадим в Западной Германии, они ответят точно такой же немецкой армией в Восточной Германии. Правда, западных немцев гораздо больше. Но и восточных немцев с огромным избытком достаточно, чтобы создать те же двенадцать дивизий».

Предместья были довольно убогие. Везде видны были ободранные, старые, асимметрично стоявшие дома, иногда со стенами без окон. У Пюто тянулось огромное кладбище. Между ним и железной дорогой стояли какие-то домики. «Милая, верно, жизнь, с двумя такими пейзажами».

На крошечном вокзале Марли ему сказали, что автомобиль можно вызвать по телефону, что поездка в Роканкур будет стоить франков пятьсот и что минут пять придется подождать. Полковник погулял перед вокзалом. Ему попались на заборе порванные, истершиеся надписи: «Yanks, go home...», «Ridgway—la-peste...»<sup>1</sup>. Он отнесся к этому вполне равнодушно. Считал

---

<sup>1</sup> «Янки, убирайтесь домой», «Риджуэй - чума» (англ.). Американский генерал М. Риджуэй в 1953 г. был верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО.

свободу слова неизбежным злом. На его памяти она имела порою неприятные последствия: видные члены разных парламентов иногда выбалтывали такие факты, какие оглашать никак не годилось. Делалось это, очевидно, для того, чтобы «осведомить общественное мнение». Полковник не понимал, зачем общественному мнению знать, например, цифры, прямо или косвенно касавшиеся вооружений: оно о них на следующий день забывало, тогда как принимали их как дар с неба военные ведомства враждебных стран. Однако он знал, что в Соединенных Штатах бесполезно спорить со словами «public opinion», «public vigilance»<sup>1</sup> (второе выражение казалось полковнику уж совсем забавным). Ему строго сказали бы, что *настоящие* секреты никогда не выбалтываются, — за этим тоже строго следит общественное мнение. Он думал, что обществу надо говорить только о мощи противника, о необходимости тратить на вооружение вдвое больше денег, чем тратилось. Полковник считал печальной ошибкой давнее опубликование доклада Смита об атомной энергии. И уж совершенно напрасно печатали статьи и давали интервью штатские изобретатели атомной бомбы. Кое-какие данные, хотя бы краткие, попутные, могли, — он в этом не сомневался, — очень пригодиться большевикам.

Пренебрежения к штатским людям у него, впрочем, почти не было. По служебному опыту он знал, что лучшие секретные агенты в пору войны выходили из людей, призванных в армию по мобилизации. Однако штатские люди, члены Конгресса, едва не погубили всё его ведомство, сильно сократив в 1945 году ассигновки. Он тогда хотел стать военным агентом, — была вакансия в одной из главных европейских стран; это тоже было разведочной службой. Но оказалось, что его личное состояние для этого недостаточно велико: должности военных агентов, как и должности послов, в Соединенных Штатах обычно предоставлялись богатым людям. Он не мог без раздражения думать о том, что богатейшая страна в мире не желает оплачивать как следует самую необходимую ей работу. Все же разведка была воссоздана благодаря энергии и талантам нескольких известных, авторитетных разведчиков, к которым при-

---

<sup>1</sup> «Общественное мнение», «общественная бдительность» (англ.).

надлежал и он сам. Теперь напуганные штатские люди в Конгрессе давали деньги щедро, и ведомство быстро стало, по его мнению, лучшим в мире, вполне сравнявшись с советским. Отношение полковника к Конгрессу и к public opinion смягчилось: все же они составляли часть American way of life<sup>1</sup>, а в American way of life он верил твердо и любил его.

Старик-шофер повез его лесом в Роканкур. Полковник был в штатском платье, но еще прежде чем он сказал одно слово, шофер распознал в нем американского офицера. По дороге показал полковнику Le trou d'Enfer, показал заповедную охоту президента республики, сообщал исторические сведения.

— Все это когда-то принадлежало семье Монморанси, самой знатной в мире, — говорил как будто с гордостью шофер, — но ее, собственно, больше нет, нынешние Монморанси не настоящие.

— Да откуда вы всё это знаете?

— Как откуда? Из книг. Я здесь прожил всю жизнь. Как же не знать? — ответил старик и весело рассказал анекдот об одном президенте, который охотился, совершенно не умея стрелять. «Только во Франции это возможно, поразительно интеллигентный народ», — подумал полковник, любивший французов, но относившийся к ним так, как он мог бы относиться к древним афинянам. Впрочем, он и всех европейцев считал людьми прошлого.

— А это правда, будто вы очень не любите американцев? — спросил он благодушно — Вот ведь эти надписи «Ridgway-la-reste».

— Tout ça c'est de la blague<sup>2</sup>, — сказал шофер, пожимая плечами. — Надо же что-то делить партиям. Почему мне вас не любить? Это уж скорее вы меня не любите. Вот я и теперь должен буду остановиться подальше от входа: меня во двор не впустят, так как вы всех шоферов считаете коммунистами. А я такой же коммунист, как вы, — столь же благодушно сказал старик.

Полковник оставил ему вместо пятисот франков шестьсот.

Он направился к невысокому, длинному светлomu зданию с зеленым флагом: там, если не решались судьбы мира, то, по

---

<sup>1</sup> Американский образ жизни (англ.).

<sup>2</sup> Все это ерунда (фр.).

крайней мере, подготовлялось их решение. На необыкновенно высоких, тоненьких флагштоках развевались флаги четырнадцати государств, подписавших четыре года тому назад Североатлантический договор. В вестибюле с ним почтительно поздоровался знавший его офицер и повел его по длинным серым коридорам, высланным чем-то зеленоватым. Им попадались офицеры в мундирах разных армий. Затем он свернул в другой коридор, на котором был непонятный посторонним людям значок 4-А. Ждал он очень недолго. В большом, хорошо обставленном кабинете из-за письменного стола с телефонными аппаратами встал генерал, моложавый человек, с очень умным, волевым, неласковым лицом.

Затем было то, что всегда происходило в этом кабинете при посещении полковника: краткие, товарищеские приветствия и тотчас после них энергичный монолог генерала. Он отчаянно ругал всех: людей Пентагона, государственных людей, союзные парламенты, союзных генералов. Говорил, что настоящей армии у него нет и при всех этих господах и не будет, проклинал день и час, когда его с боевого поста перевели в это трагикомическое учреждение. Союзные министры думают только о том, как бы продержаться у власти еще месяц. Из трех союзных солдат один коммунист, — как же на них рассчитывать? Деньги понастоящему дают только Соединенные Штаты, и то очень мало. И есть лишь одна настоящая армия, американская, до смешного численно недостаточная. Затем он понемногу успокоился и очень внимательно выслушал доклад полковника, вставлял толковые замечания, задавал дельные вопросы, из которых ясно было, что он всё понимал с первого слова; кое-что он кратко записывал на листках из блокнота, кое-что разрешал, кое-что отклонял. Очень одобрил план полковника.

— ...Да, это было бы превосходно. Попробуем. Могут ухватиться за новое, печкой они, кажется, еще не интересовались. А если эта милая дама хороша собой, то пусть мальчик и позабавится, ничего против этого не имею. Я завтра же распоряджусь об его переводе. Там, во всяком случае, он будет не более бесполезен, чем на его нынешней работе.

Позвонил телефон. Весьма значительное лицо что-то сообщило из Парижа. Лицо у генерала стало еще гораздо менее ласковым.

— ...Для этого у нас существует Public Information, — сердито сказал он. Но, по-видимому, значительное лицо просило очень убедительно: генерал, еле прикрыв рукой трубку, выругался, справился по настольному календарю и назначил час. — Больше десяти минут я им не дам и завтракать с ними не могу, с ними позавтракает кто-нибудь другой... Не стоит благодарности. До свидания, — сказал генерал и, повесив трубку, обратился к улыбавшемуся полковнику:

— Вот на что уходит время! Какие-то важные лица из Рейкьявика желают меня видеть! Какой еще к черту Рейкьявик?

— Рейкьявик — это столица Исландии, — сказал полковник, хотя знал, что его указание генералу совершенно не нужно: генералу отлично известно, где Рейкьявик и даже что происходит в Рейкьявике.

— Если б мобилизовать всё население Исландии, то нельзя было бы образовать одну дивизию! — гневно сказал генерал.

И, как всегда, полковник вышел из этого кабинета несколько успокоенный. Ему иногда, в дурные минуты, приходило в голову, что, по существу, положение в мире безнадежно — и, как ни странно, для обеих сторон. Теперь он говорил себе, что очень важные дела находятся в руках очень умного человека, превосходно знающего свое ремесло (в военный *гений* каких бы то ни было генералов полковник давно плохо верил, особенно потому, что всех их знал лично). В этом генерале было приятно еще и то, что он нисколько не стремился принадлежать к *intelligentsia* или ей нравиться.

Как человека, с которым генерал говорил почти час, его проводили очень почтительно и обещали тотчас вызвать к нему племянника. Служебный день уже кончился. На площади как раз происходила церемония перемещения флагов: они ежедневно по определенному порядку менялись местами; не менял положения только французский флаг, — всегда занимал одно и то же, самое почетное, хозяйское место. Полковник любил военные церемонии, полюбовался и этой. «Все-таки наши солдаты лучшие в мире».

Тотчас появился племянник, молодой красивый лейтенант. Он не ожидал дядю и очень ему обрадовался. Полковник любил Джима, оставшегося с детских лет на его попечении.

Джим относился к дяде с ласковой снисходительностью начинающего жизнь человека к кончающему карьеру старику. Ценил его заботливость и щедрость, знал, что при дяде никак не пропадешь, и почтительно выслушивал его постоянные нотации. Всё это могло с натяжкой передаваться словами, что он любит дядю. Но полковник иллюзий себе не делал. «После моей смерти немного погорюет. Даже не сразу утешится наследством в тридцать тысяч долларов, не считая дома в Коннектикуте, который он, впрочем, скоро продаст», — со вздохом думал он.

— Вы надолго?

— Послезавтра уезжаю. Хочу сегодня угостить тебя хорошим обедом. Надеюсь, ты свободен? У нас будет очень серьезный разговор.

— Я, собственно, не свободен, — ответил Джим, чуть замявшись. — Но для вас и для хорошего обеда я, конечно, освобожусь, несмотря на ваш очень серьезный разговор. Я должен был обедать с одним приятелем, сейчас ему позвоню.

— Да, позвони ей. Где можно было бы хорошо пообедать?

— Это зависит от того, дядя, сколько вы хотите истратить на наш обед.

— Скажем, двадцать долларов? Это семь тысяч франков.

— Даже восемь. Я меняю доллары по черному курсу. Надеюсь, вы тоже.

— Не надейся, — строго сказал полковник. — И тебе запрещаю.

— Больше никогда не буду!

— Ты знаешь новость? Джи-Ар-Пэтерсон вчера взял первый приз.

— Не может быть! — сказал племянник взволнованно. Он тоже увлекался лошадьми. Это была у него одна из немногочисленных общих черт с дядей.

— Ты не читаешь газет! Быть может, ты не знаешь и того, что идут тревожные слухи о состоянии здоровья Нэтив Дансера!

— Что вы говорите?!

— Надеюсь, ничего серьезного. Это было бы слишком печально!



— Такой лошади у нас не было со времени Мэн о'Уор! Кажется, он принес Вандербильту не менее семисот тысяч долларов. Где до него вашему Джи-Ар-Пэтерсону!

— Ну, что ж говорить о Нэтив Дансере, — сказал полковник так, как если бы при нем очень талантливого молодого поэта сравнили с Шекспиром. — Уже шесть часов. Какой тут лучший ресторан?

— Тут?! Вы предполагаете угощать меня в здешних ресторанах?! Если б вы меня позвали на завтрак, мы еще могли бы поехать в «Pavillon Henri IV» в Сен-Жермене... Там родился Людовик XIV. Вы скажете, что от этого кухня лучше не становится. Всё же у Линди на Бродвее Людовик XIV не рождался. Но по вечерам в Сен-Жермене такая же тоска, как в этой дыре. Я повезу вас в Париж.

— Повезешь на чем?

— Так как вы всё еще мне не подарили автомобиля, то я возьму на ваш счет такси.

— Хорошо. А что ты вообще делаешь по вечерам?

— Читаю по-латыни Спинозу с карандашом в руке, исправляю последний вариант теории Эйнштейна, размышляю о ведическом периоде в истории арийцев Пенджаба...

Полковник махнул рукой.

— Покажи мне перед обедом вашу печь.

— Какую печь?

— Ту, где у вас сжигают документы. Это ведь рядом?

— Зачем вам печь?

— Не твое дело. Хочу взглянуть из любопытства.

В четырехугольной, не очень высокой кирпичной печи ничего интересного не было. Из нее вырывалось красноватое пламя, как раз что-то жгли. На дороге стоял казенный автомобиль, в нем сидели два офицера, француз и американец. Оба бегло внимательно оглядели подходивших людей.

— В этом есть нечто символическое, — с торжественным видом, подняв палец, сказал Джим. — Тут сжигается зло мира!

— Меньше бы ты нес вздора, — сказал полковник, впрочем очень благодушно. Своему племяннику он прощал даже то, что тот, очевидно, пробирался в *intelligentisia*.

## VIII

— Надеюсь, дядя, вы предоставите мне выбор блюд? — спросил Джим, когда они уселись за столик в углу ресторана. — Я закажу такой обед, какого вы отроду не ели!

— В этом я несколько сомневаюсь.

— Не отрицаю того, что вы и сами недурно разбираетесь в еде и особенно в винах. Но ваши сомнения будут лишены уж всякого основания, если вы разрешите и выйти из пределов двадцати долларов. Это не беда?

— Не беда. Заказывай всё, что хочешь. Я рад сделать тебе удовольствие, хотя ты этого не заслуживаешь.

— Действительно, не заслуживаю, — с полной готовностью подтвердил Джим. — Правда, я еще не знаю, за что именно вы меня будете сегодня ругать. Но ругать будете наверное, это ваше ремесло. И во всяком случае, вы будете совершенно правы... Я супа почти никогда не ем. Что вы сказали бы об омаре? Только не называйте его *Homard à l'Americaine*, вы меня опозорили бы! Надо говорить *Homard à l'Armoricaine*<sup>1</sup>.

— Это очень спорный вопрос. Он обсуждается давно.

— Тут и обсуждать нечего. Стали бы французы называть блюдо в нашу честь! Они к нашим гастрономическим идеям относятся с полным презрением.

— И напрасно.

— Я сам так думал, пока не побывал в Париже. Дядя, а как насчет свежей икры?

— Заказывай и свежую икру, — сказал полковник, опять махнув рукой.

— Тогда я спрошу водки. Будет русское вступление к французскому обеду двух американцев.

Метрдотель и *sommelier*<sup>2</sup> почтительно записали заказ: видели, что эти клиенты, хотя и иностранцы, знают толк в еде, разбираются даже в годах вин.

— Ну, сначала скажи, как ты живешь? Вид у тебя здоровый, веселый, счастливый. Так и надо.

<sup>1</sup> Омар по-американски, омар по-арморикански (фр.).

<sup>2</sup> Служащий ресторана, ведающий спиртными напитками (фр.).

— Разумеется, так и надо. Мир пронизывают космические лучи счастья. Надо только уметь их находить! — сказал Джим. — И говорит как *intelligentsia*. Очень горд своей фразой, верно это из его дневника», — подумал полковник с улыбкой.

— Заведи себе трубку Гейгера... Мы должны сегодня серьезно поговорить.

— Условимся так, дядя: вы начнете меня ругать только с десерта, зачем портить мне аппетит?

— Я начну ругать тебя тотчас после водки. За твой аппетит я не боюсь. Но сегодня ты меня будешь слушать очень внимательно, я этого требую.

— Хорошо. Однако до водки расскажите мне о вашей аудиенции. Я не сомневаюсь, вы мне сообщите всё, что генерал вам сказал. Вы знаете, что я нем как рыба.

— Ты не сомневаешься, что я тебе ничего не сообщу. Впрочем, одно ты можешь знать: положение в мире очень серьезно.

— Это я слышал и без генерала. Ничего интереснее вы не знаете?

— Если и знаю, то не для передачи тебе.

— Газеты пишут каждый день, что война вполне возможна. Я этому совершенно не верю. Никакой войны не будет.

— Тебе, конечно, лучше знать. В случае войны Россия выставит двести дивизий, затем очень скоро еще сто, а дальше доведет свою армию до пятисот дивизий.

— Тоже читал в газетах. Но все эти дивизии перейдут на нашу сторону. В России ненавидят дядю Джо.

— Так действительно говорят перебегающие к нам советские люди. При этом они неизменно добавляют, что необходимо только, в случае войны, располагать к себе русское население и повторять, что мы никак не стремимся к расчленению России. Мы им, разумеется, очень благодарны за полезные советы, но мы делаем поправку на то, что эти люди перебежчики.

— Да насколько я могу судить, вся ваша работа, дядя, основана на перебежчиках. Что вы делали бы без них?

— Именно «насколько ты можешь судить». А ты судить не можешь и не имеешь права. Что ты о моей работе знаешь?

— Знаю мало, но думаю, что не вам ругать перебежчиков. Кроме того, к России наши западные понятия неприменимы. Я очень люблю всё русское.

— Икру?

— Икру, «Войну и мир», русских женщин.

— Ты их знаешь?

— Встречал. А кроме того, вы, очевидно, забыли, что моя бабушка, ваша мать, была русская.

— Она была внучкой русского эмигранта, но родилась в Нью-Джерси и ни слова по-русски не знала. Все остальные наши предки были коренные, стопроцентные американцы.

— А вы всё-таки о русской бабушке не распространяйтесь. Это может не понравиться сенатору Маккарти. Если б он был англичанином, он верно выгнал бы Черчилля за то, что у того мать иностранка. Впрочем, я знаю, вы не любите говорить о Маккарти.

— Действительно, не люблю. А при иностранцах никогда не говорю, пусть они лучше думают о своих делах, о которых я им не напоминаю... Я решительно ничего против русского народа не имею. Однако перебежчиков-офицеров я всё-таки недолюбиваю. Разумеется, все они, тоже неизменно, ссылаются на опыт Гитлера: вначале русские дивизии одна за другой сдавались в плен немцам, воевать же по-настоящему они стали только тогда, когда увидели, что такое наци. Раньше они, видишь ли, этого не знали. Тут у меня есть свое мнение. Сдавались не отдельные солдаты, а именно дивизии. Никакой возможности солдатам сговариваться о сдаче не было. Кроме того, сдающийся солдат думает о том, как с ним будут обращаться, дадут ли ему поесть, думает о чем угодно, но не о политических вопросах. В том, что говорят перебежчики, много правды, а полагаться на их заверения всё-таки нельзя. Инерция военной дисциплины, да еще такой каторжной, как советская, может действовать довольно долго.

— Что, если за это время советская армия докатится до Пиренеев и Атлантического океана?

— Этого никогда не будет. Но исходить всегда надо из худших возможностей.

— Напротив, исходить надо из лучших возможностей. Так думали все великие полководцы. Наполеон издевался над не-

которыми своими генералами: «Они думают, что можно воевать без риска!» Но станем на минуту на вашу точку зрения. Если русские войска переходить на нашу сторону не будут, то ведь армия четырнадцати государств неизбежно потерпит поражение, так как у русских на суше тройное превосходство в силах. А если они дойдут до океана и Пиренеев, то их военный потенциал, со всеми промышленными богатствами Европы, будет больше нашего.

— Ты ошибаешься, — сказал полковник с неприятным чувством: он сам иногда так думал. — Наша армия окажет отчаянное сопротивление. Военная прогулка в Париж больше невозможна.

— Маршал Жюэн не так давно объявил, что они будут в Париже на 21-й день!

— С тех пор многое изменилось. Кроме того, маршалы иногда очень преувеличивают, чтобы повлиять на общественное мнение, на правительства, на парламенты.

— Они, к сожалению, не понимают, как такие слова влияют на их собственных солдат. Моя позиция ясна: нам надо искать союзника в русском народе. Вашей же позиции я просто не понимаю. Подождем мальчика, который закричит, что король гол. Неужели генерал думает так же, как вы? Да еще говорит ли он всё, что думает?

— Журналистам говорит не всё, что думает. Генерал, вероятно, знает всё то, что знаешь ты, а кроме того, знает и многое другое, чего ты не знаешь. Он умница и один из самых деятельных людей, каких я когда-либо видел. По своей живости он просто не в состоянии сидеть в своей комнате без дела. Пасьянсов он не раскладывает и почтовых марок не собирает, — сказал полковник, считавший то и другое обычно верным признаком ограниченности человека. — Таков был и Наполеон... Одно скажу тебе. Он долго говорил о нашем трудном положении, а закончил словами: «Но, разумеется, в том, что мы в конце концов победим, не может быть никакого сомнения! Нас, мир, свободу спасут две вещи: крепость духа и существование атомной бомбы». Заметь, не ее взрыв, а одно только ее существование.

— Он правда так думает? — спросил Джим. Его лицо еще просветлело. — Конечно, для американца в этом не может быть сомнения!

— Это ты хорошо сказал. Мы в самом деле ни одной войны в истории не проиграли. В психологическом отношении тут, быть может, некоторое наше несчастье. Мы — и во всем мире только мы одни — не представляем себе, что можно и проиграть войну. Между тем это очень просто: побеждали, побеждали и, наконец, потерпели поражение. Франция тоже была когда-то самой могущественной военной державой мира. Впрочем, и я уверен, что, если Россия решится на войну, то она будет разбита.

— Дядя, вы противоречите сами себе, — сказал, смеясь Джим. — И я тоже. Это бывает часто. Я не раз замечал в спорах, особенно в политических, что человек вдруг начинает спорить с самим собой, а не с собеседником. Быть может, это отчасти объясняется тем, что теперь в мире никто ни в чем твердо не уверен; оттого все и изображают такую уверенность. Правда, это глубочайшая мысль? Я один из самых глубоких мыслителей наших дней. А вы, дядя, я всегда так думал, вы удивительно не типичны для разведчика, они, наверное, совершенно другие. Не хочу говорить о ваших коллегах, какие они... И вдобавок вы человек бронзового века! Очень хороший человек бронзового века...

— А ты теперь кто?

— Я где-то читал, что у каких-то французских аристократов девиз рода одно слово: «Фас»<sup>1</sup>. Теперь это мой девиз!

— Поэтому ты ничего не делаешь?

— Поэтому я ничего не делаю. Ну, допустим, я завоевал бы весь мир, как Александр Македонский. Это верно не так трудно, правда? Но, собственно, зачем? Ведь Александр, завоевав весь мир, умер от тоски и скуки, — сказал Джим, просматривая карту блюд. Хотя всё уже было заказано, чтение карты доставляло ему большое удовольствие. — Какое изобилие, дядя, и какие вещи! Подумать только, что десять лет тому назад во Франции почти никакой еды не было, а у нас были карточки. Вы помните вид карточек?.. Да, так вы говорите, мы победим. Конечно!

— Во всяком случае, мы победим в воздухе. Решат дело атомные бомбы. Но что это значит? Это значит, что мы истре-

---

<sup>1</sup> «Действуй» (старофр.).

бим, скажем, пятьдесят миллионов русских, а они истребят только десять миллионов американцев. Весело? Заметь еще и другое. Разумеется, в первый же день войны советское правительство предложит, чтобы обе стороны отказались от атомного оружия. Это ему будет очень выгодно, так как атомных бомб у него будет всегда гораздо меньше, чем у нас: наша промышленность гораздо мощнее, наши ученые лучше, у нас больше того, что называется know-how. Всё же, повторяю, и они могут истребить несколько миллионов нашего гражданского населения, и мы это знаем. Что, если давление общественного мнения заставит нас согласиться на их предложение? Тогда как же мы победим? Способы, правда, найдутся. Всё же это будет тяжело, чрезвычайно тяжело.

— Поэтому и по тысяче других причин надо сделать всё возможное, чтобы избежать войны. Всё совместимое с нашей честью и с нашими интересами.

— Я с тобой совершенно согласен. Но убеди в этом дядю Джо.

— Если же война начнется, то надо будет приложить все усилия к тому, чтобы русский народ был с нами.

— Это один из способов, о которых я только что сказал.

— Простите, дядя, это не «способ». Это цель!

— Если русский народ будет с нами, то это значит, что власть у них перейдет к маршалам. Так? К кому же еще? Всех других вождей там презирает большинство населения, это нам хорошо известно. Удержаться же у власти может только победоносный маршал. Иначе это Петэн. Маршалам придется добиться военных успехов, а, как говорят французы, аппетит приходит с едой. Маршалы не любят отказываться от территориальных приобретений.

— А в общем, ничего никто предвидеть не может. Я читал старый роман Беллами «Looking Backward»<sup>1</sup>. Этот провидец предвидел радиоаппараты, но не предвидел таких пустяков, как две мировые войны и два десятка революций. И таковы, верно, все провидцы... Кстати, по его роману в будущем обществе человек уходит на покой сорока четырех лет отроду. Подумайте, дядя, мне осталось всего восемнадцать лет работы,

---

<sup>1</sup> «Взгляд в прошлое», 1888 (англ.).

стоит ли тогда стараться? А вы уже лет двадцать, как должны быть на покое.

— Не двадцать, а только восемнадцать, — поправил с неудовольствием полковник. — Но бросим политику. Всё, что о ней говорят и пишут, это общие места... Вот несуг твою икру.

— Пью первую рюмку за того, кому ей обязан, — сказал Джим.

— Спасибо, мой милый.

— Разумеется, это Джи-Ар-Пэтерсон. Ведь, правда, дядя, вы на него поставили?

— Нахал! — сказал полковник. Он требовал от племянника почтительности; Джим это знал и не выходил из должных пределов, придумав форму почтительных дерзостей. — Кстати, я, гастроном старой школы, не заказал бы и икру, и омара. Либо то, либо другое, — поддразнил он племянника.

— Я пользуюсь случаем. Без вас я этого себе не позволил бы, денег нет. Это самые вкусные вещи в мире! Если б, как в вечном и глупом предположении, меня сослали на необитаемый остров и предложили там есть всегда только *одно* блюдо, то я взял бы эти *два*. А вы?

— Выпьем по второй рюмке водки и давай говорить серьезно.

— Хорошо. Ругайте меня, если нельзя иначе.

— Нельзя. Когда ты, наконец, станешь человеком? Тебе уже двадцать шесть лет, а по характеру тебе шестнадцать... В каком состоянии твои любовные дела? Ты писал, что расстался с ней, — сказал полковник. Джим ему рассказывал правду о своих интимных делах; по крайней мере, полковник так думал и этому радовался.

— Мы надоели друг другу. Она за что-то рассердилась. Вероятно, она была права. Ничего, найдем другую. Уже одна есть в виду.

Полковник покачал головой, непохоже изображая на лице сокрушение. В душе он немного гордился победами племянника.

— Женщины тебя погубят, мой друг. Плохо верю, что ты найдешь себе подходящую жену. Настоящая жена живо сбила бы с тебя спесь. Нет великого человека не только для лакея, но и для его жены. Впрочем, бывает обратное, только реже.

— От «настоящей» жены я тотчас, на зло вам, сбегу... А отчего вы не женились, дядя? — спросил Джим, впрочем



хорошо знавший, что ответа не получит. Он давно слышал, что дядя в молодости был влюблен в какую-то красавицу и что она предпочла ему богатого промышленника. «Это могло вызвать презрение к женщинам, или ненависть к богатым промышленникам, или решение самому стать богачом во что бы то ни стало, а у дяди ничего такого не вызвало, — всегда думал Джим с некоторым недоумением. — Правда, он позднее утешался с дамами достаточно часто. Только мне читает наставления. Когда-то он, вероятно, был тоже хорош собой». Возраст дяди казался ему пределом старости.

— Это тебя не касается. У тебя вечно будут романы средней продолжительностью в два месяца.

— Это еще не так плохо.

— А затем тебя женит на себе какая-нибудь кухарка... Ты слишком начитался Достоевского, — сказал полковник, приписывавший самое тлетворное действие русским романистам, особенно Достоевскому, о котором он, впрочем, имел довольно смутное представление: начал когда-то читать «Униженные и оскорбленные» и не мог дочитать от скуки.

— Вы мне уже это не раз говорили.

— Но сейчас ты ни в кого по-настоящему не влюблен?

— Нет. Впрочем, я не знаю, как вы понимаете «по-настоящему»?

— Во всяком случае, невесты у тебя нет? Жениться ты не собираешься?

— О, нет! За кого вы меня принимаете, дядя? — возмущенным тоном спросил Джим.

## IX

— Ну что ж, перейдем к делу, — сказал, помолчав немного, полковник. — Ты по-прежнему недоволен твоей службой?

— Разумеется, недоволен. Адская скука! Зачем только вы меня на нее определили?

— Мой милый, тебя и сюда определить было нелегко. Не забудь, что ты вышел из Пойнта предпоследним.

— Я действительно вышел предпоследним, но только из-за математики и поведения. Конечно, лучше было бы выйти последним. Это было бы хоть эффектно: последний в выпуске!

— Годишься ли ты вообще для военной карьеры? А если нет, то для чего ты, собственно, годишься? Не так давно ты хотел избрать специальностью музыку, и действительно у тебя были способности...

— Гениальные! Но вы считали бы семейным позором, если б ваш племянник стал каким-нибудь жалким композитором вроде Вагнера.

— Ты становишься хвастуном! — сказал полковник. Он знал, что Джим не страдает манией величия, а, напротив, совершенно в себе не уверен; просто усвоил странную манеру речи.

— Нет, я не хвастун. У меня всё зависит от настроения. Иногда я чувствую себя победителем и даже нахалом, вроде как барышня, выставляющая свою кандидатуру на звание мисс Америка. А раз как-то на пароходе я увидел на дверях уборной надпись: «Gentlemen» и чуть не спросил себя, имею ли я право войти.

— Это уж, конечно, преувеличение в другую сторону, — сказал полковник, засмеявшись. — В том, что ты джентльмен, не может быть сомнения, но мы говорим не об этом. Молодых людей, играющих на рояле, очень много.

— Но *как* я играю! Я несравненный знаток! У меня даже есть музыкальный словарь Римана, в который я, впрочем, никогда не заглядываю, как большинство пианистов.

— Перестань шутить, я говорю очень серьезно. Если б я думал, что из тебя может выйти Вагнер, я первый тебя благословил бы на музыкальную карьеру, — сказал полковник, не вполне искренно. — Но этого не видно. Ты просто «эстет», — довольно пустая порода людей. У тебя были способности и к литературе. Когда у человека слишком много разных способностей... — Полковник не закончил фразы, увидев огорчение племянника. — Как бы то ни было, ты записался в армию добровольцем и прекрасно сделал. На зло тебе, война кончилась как раз тогда, когда кончилась твоя военная подготовка. Но если б ты попал на войну, ты был бы очень разочарован. Война могла быть поэтической в былые времена. Теперь в ней ничего поэтического нет. А новая война была бы просто бойней. Романтики не будет уже потому, что впервые в истории гражданское население будет подвергаться еще большей

опасности, чем армия. Тебе никак не удастся рисоваться перед нью-йоркскими барышнями: барышень будет убито больше, чем офицеров.

— Особенно, чем штабных. С тех пор, как существуют аэропланы, между штабами установилось молчаливое соглашение: Фош не бросал бомб на Гинденбурга, а Гинденбург на Фоша; немцы в Африке не старались убить Монтгомери, а англичане не пытались убить Роммеля. Это было бы не элегантно.

— Едва ли не единственный род военной службы, где еще сохранилась романтика, это мой: разведка.

— Отчего же вы меня туда не отдали?

— Не скрою, у меня были колебания. Ты не очень подходящий человек для этого дела. Так ты недоволен работой в Public Information? Что ты, собственно, там теперь делаешь?

— У меня очень много работы. Прежде всего мне нужно было заучить, какие именно державы входят в Североатлантический союз!

— Да это всякий знает.

— Едва ли знает сто человек на земле. Попробуйте перечислить, дядя.

— Соединенные Штаты, Англия, Франция, Италия, Греция, Турция, Бельгия, Голландия, Дания, Канада... Норвегия... Исландия...

— Bravo! Но это только двенадцать, — сказал лейтенант, загибавший пальцы во время подсчета. — А еще две?

— Странно: не могу сейчас вспомнить.

— Вы забыли Португалию!

— Да, правда.

— И Люксембург! Вы забыли Люксембург с его мощной армией!

— А что ты изучил еще?

— Помилуйте, а имена! И какие имена! Знаете ли вы, как зовут представителя Голландии? Его зовут Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда ван Штарненборг Стакхувер! Попробуйте повторить! И еще хорошо, если я произношу правильно!

— Вижу, что делами тебя не переобременяют. Думаю, что и продвижение твое по службе будет медленным. Это тебя не слишком огорчает?

— Огорчает, но не слишком.

— Я знаю, ты не честолюбив. Или, вернее, ты сам не знаешь, честолюбив ты или нет. Думаешь ли ты когда-либо вообще о своем будущем: не о нынешнем дне и не о завтрашнем, а о будущем?

— Думаю, — ответил Джим. Хотя сказал он это с чувством обиды за то, что дядя так мало его понимает, уверенности в его тоне не было.

— А по-моему, ты никогда и вопроса себе не задаешь: «Чего я хочу? что я умею делать? что я буду делать в жизни?» Ты умен, я не сказал бы даже, что ты не *умеешь* думать: ты просто не пробовал.

— Это было бы очень грустно, если б было так. Но это не так. Я думаю очень много.

— Быть может, только тогда, когда ты говоришь. Такие люди есть. Если б я спросил тебя, о *чем* ты думаешь, ты не мог бы ответить. Мой милый, ты, к несчастью, усвоил себе странное, не то шутливое, не то ироническое, отношение к жизни: надо, мол, проводить ее по возможности веселее, а серьезного ничего на свете нет. Серьезное на свете есть.

— Вы преувеличиваете, — сказал Джим. «Может быть, дядя говорит и правду, но странно, что говорит это именно он. Человек, прослуживший всю жизнь в разведке, не должен был бы впадать в тон Эмерсона», — подумал он. — Вы очень преувеличиваете. Я думаю много, и не тогда, когда я *говорю*, а гораздо больше дома, один, за роялем, за письменным столом. Если же вы хотели, чтобы я стал «серьезнее», то, повторяю, зачем вы меня определили в самый пустой отдел в Роканкуре?

— Тебя не хотели брать в другие отделы. А я думал, что тебе будет полезно увидеть Европу, усовершенствоваться во французском языке...

— Я говорю по-французски гораздо лучше, чем Айк, или Уинни, или герцог Виндзорский. Их и понять нельзя, когда они по радио произносят несколько будто бы французских фраз. А я и аргю знаю как парижанин.

— Смотри, как бы у тебя шутливое хвастовство не перешло в настоящее, это бывает. Ты действительно получил хорошее воспитание, я для этого ничего не жалел. Ты знаешь и то, что ты мой единственный наследник. Только, пожалуйста, не желай мне

скорейшей смерти, — пошутил полковник. — Тем более, что если б тебе и теперь понадобились деньги, я охотно дал бы тебе аванс под наследство. Конечно, при условии, что эти деньги будут тебе нужны для чего-либо дельного. Тогда напиши мне.

— От души благодарю, приятно слышать. Вы и всегда меня баловали, дядя, и я этого не заслуживаю. О чем же вы хотели со мной говорить?

Полковник еще немного помолчал.

— Хотел ли бы ты работать в том же ведомстве, что я?

— Вот оно что! Вы хотите взять меня к себе?

— Не «к себе». Я просто хочу дать тебе одно поручение. Ты пока остался бы на своей должности.

— Разве это можно?

— Это делается. Ты будешь временно отчислен от своей работы и поставлен на другую. А там будет видно. Я сегодня испросил на это согласие генерала. Он тебя не знает.

— Я представлялся ему два раза!

— Ему представляется много людей, он вас всех знать не может. Он помнил только, что у меня здесь есть племянник. Собственно, в том, что я заговорил с ним о тебе, было некоторое нарушение порядка. Но мы с ним старые друзья. Я ему сказал, что мне нужно, и он дал согласие или, точнее, обещал закрыть глаза.

— Разве вы хотите поручить мне что-либо незаконное?

— Многие наши действия проходят несколько мимо правил. Тем не менее генерал отнесся к делу благодушно. Спросил меня, хорош ли ты собой.

— Дядя, скажите же, ради Бога, в чем дело! Сюда замешаны женщины?

— У тебя даже глаза заблестели. Не женщины, а женщина.

— Красивая?

— Очень. Не торопись радоваться: она шпионка.

— Не томите меня, дядя! Что мне Гекуба, особенно Гекуба-шпионка?

— Она посылается сюда, чтобы узнать наши военные секреты. Прежде, чем продолжать, я хочу, чтобы ты мне твердо обещал: все это останется совершенной тайной.

— Клянусь моей жизнью! — сказал торжественно Джим и даже приподнял было руку.

Полковник поморщился.

— Ты сорвиголова и своей жизнью не очень дорожишь. Вместо клятв дай мне просто честное слово американского офицера, что всё сказанное мною останется совершенным секретом.

— Разумеется, даю слово.

— Для поступления в наше ведомство тебе придется пройти разные формальности, не стоит об этом пока и говорить. Сейчас вопрос только в одном пробном деле. Если ты исполнишь мое поручение хорошо, можно будет поговорить о твоём переходе к нам на службу. Это очень тяжелая служба, но она интереснее твоей нынешней.

— Дядя, откуда же вы знаете, что к нам сюда посылают красавицу?

— У нас не полагается спрашивать начальство о том, чего оно само не сообщает... Они тайно подсылают и в Соединенные Штаты своих агентов в большом числе...

— «Тайно!» Не могут же они испрашивать у вас на это разрешения. Это было бы, как если б во время войны одно правительство просило другое выдать визы для вторгающихся солдат!

— Ты сам говоришь: «во время войны». Холодная война действительно идет, и мы тоже не можем действовать исключительно законными способами... Тебе пришлось бы вступить в связь с этой дамой, — сказал, наконец, полковник.

Джим вытаращил глаза.

— Вот никогда не думал, что услышу такие слова от вас, дядя!.. Вы только что меня спрашивали, не собираюсь ли я жениться!

— Поэтому и спрашивал. Если б ты был влюблен, я тебе этого дела и не предложил бы.

— А если ваша шпионка мне не понравится? Что тогда?

— Глупый вопрос. Нет, в самом деле лучше останься в твоём ведомстве.

— Где же эта Гекуба? Как я с ней познакомлюсь?

— Я тебе сообщу ее приметы, сообщу, где она живет, в каком ресторане обедает. Лучше всего познакомиться с ней именно в ресторане. Остальное будет твое дело. Ты должен будешь повезти ее в Роканкур и показать ей, как журналистке.

ту печь. Ее показывают журналистам. Этой печью будешь заведовать ты, по крайней мере в течение нескольких дней. Затем ты в нее «влюбишься».

— В печь?

— Ты ей передашь некоторые документы, которые мы тебе приготовим.

— Понимаю: дезинформация!

— На этом твоя роль кончится.

— Роль сомнительная... Никак не ожидал от вас!

— Что ж делать, приходится идти и на такие дела. Если это делается для родины, то тут ничего плохого нет.

— Я до сих пор сходил с красивыми женщинами и не для родины. А для родины готов тем более.

— Тшорт! — сказал полковник.

## Х

Как только пароходик остановился, Наташа, уже с час ходившая по набережной, издали увидела Шелля и побежала по длинному валу, обгоняя носильщиков с тачками. Он поднял руку, быстро пошел к ней, обнял ее и поцеловал. От него пахло вином.

— ...У тебя прекрасный вид... Всё благополучно? Здорова? Довольна Капри?

— Это просто рай!

— Не всегда. Все на этом острове зависит от погоды. Если погода плохая, то население разоряется, и тут смертная тоска.

— Погода всё время чудная! А как ты?..

— Ты не кашляла?

— Ни разу не кашлянула, — ответила она весело, хотя этот вопрос чуть ее огорчил: значит, всё-таки он не уверен, что это пустяки.

— Ну, слава Богу, — сказал он и заговорил по-итальянски с носильщиком, который принес с парохода его чемоданы. Наташу удивило, что их так много: пять или шесть, все превосходные. «Неужто он и здесь будет менять костюмы каждый день, как в Берлине!» Его эlegantность была чем-то из другого, неизвестного ей, малопонятного мира и, быть может, именно поэтому ей нравилась. «А вот лицо у него измученное!» —

думала она, когда он с носильщиком укладывал чемоданы в красный вагон фуникулера. Другие пассажиры с любопытством на них смотрели, и это тоже доставляло Наташе удовольствие. Навстречу им спускался другой маленький вагон с уезжавшими людьми. Она подумала, что через десять дней, всего через десять дней надо будет и им покинуть этот дивный остров.

В «Квисисане» Шелль не остановился: сказал, что там мог бы встретить знакомых.

— А я никого, кроме тебя, видеть не хочу! Недалеко есть очень хорошая гостиница, я в ней жил года три тому назад. Спросим там.

В этой гостинице его узнали. Был недурной номер, но хозяин предложил за те же деньги отдельный домик, расположенный довольно далеко, внизу его круто спускавшейся большой усадьбы.

— Помню, помню. Это было что-то древнее, вы тогда перестраивали. Пожалуй, — сказал Шелль, немного подумав.

— Я устроил там две ванны. Сдаю так дешево потому, что это вы, синьор. И еще, скажу правду, многие не хотят подниматься по несколько раз в день. Но синьоры молоды и крепки.

— Синьора не моя жена. Она уже имеет комнату. Что ж, ведите нас в этот домик.

Он и по-итальянски говорил свободно, даже щеголял разными «тапта миа». Втроем они спустились по древним крутым каменным лестницам в сад. Домик был тоже древний, с очень большой комнатой в три окна, с двумя спальнями, с мраморными статуями, с огромными каминами.

Когда хозяин ушел, Шелль опять обнял Наташу.

— Хочешь жить здесь со мной? Я что-нибудь для него придумаю, да их это и совершенно не интересует.

— Никогда. Ты знаешь, что...

— Да, знаю, знаю, — сказал он с нетерпением. — Хорошо, не будем спорить. Всё равно, мы...

— Что всё равно?

— Ничего... Милая, мне надо выкупаться, побриться, переодеться. Это займет не меньше получаса. Ты подождешь меня здесь или там, в главном доме, в гостиной?

— Это не особенно удобно, — сказала Наташа, краснея. Он засмеялся.



— «Что они подумают», да? О, чудо природы! Не воспитывалась ли ты в пансионе для благородных девиц где-нибудь в Испании? Ну так вот что. Если неприлично подождать меня здесь, тогда пойди на Пиацца Умберто и посиди в кофейне, на террасе. Там, кажется, несколько кофеен, я тебя найду. Ты знаешь, как пройти к Пиацца Умберто? Это здесь единственная площадь.

— Я уже знаю Капри, как свои пять пальцев.

— А это не неприлично сесть одной за столик в кофейне? Слава Богу! Что же ты здесь делаешь целые дни? Всё читаешь? Кстати, я тебе привез маленький подарок. Нашел у букиниста старое издание Тургенева.

— Спасибо! Ах, как я рада! Я ужасно люблю Тургенева. «Вешние воды» и «Первая любовь» — это самые любимые мои книги! Не слишком дорого стоило?

— Нет, не слишком дорого.

Вырываясь хоть ненадолго из своего мрачного мира разведки, Шелль всегда чувствовал необыкновенное облегчение. Теперь действительно, кроме Наташи, никого видеть не хотел. Люди его раздражали. В поезде соседи по отделению вызвали в нем что-то близкое к отвращению. «Кажется, попал в передовую, просвещенную компанию. Верно, едут на какой-нибудь передовой, просвещенный съезд...» Он ни с кем не обменялся ни одним словом; тотчас, для предупреждения разговоров, развернул газету, но не читал ее. «Так и есть. Этот азиат бранит Соединенные Штаты за их «недуховность», возмущается тем, что они дарят слишком мало денег азиатским странам. Зато, верно, очень восхищается советским правительством, хотя оно отпускает им товары за плату и по высокой цене. Конечно, из сподвижников Неру, так, так... А эта в фиолетовом платье с кружевами, в очках, тоже страшно передовая, вид самый что ни есть идейный и горделивый. И все они, очевидно, пристроились к разным казенным пирогам, получают большие жалованья. Женятся на богатых — разумеется, не из-за богатства, богатство только случайно пришлось, а у них, видите ли, общность идей... И только я один ничего для себя не нашел, дожил до пятого десятка, ничего не добившись, ничего не имея, купаясь в грязи... Я даже и чувствую себя с

ними приблизительно так, как человек, явившийся в грязном пиджачке на вечер, где все во фраках или в смокингах... Так и есть! — почти радостно подумал он, узнав из разговоров соседей, на какой съезд они отправляются. — Всё дело в копеечке, несмотря на необычайно идейный и достойный вид. Пропади они все пропадом! — думал он, утешаясь, как всегда, сознанием своего огромного физического превосходства над этими людьми. «Мог бы каждого задушить как цыпленка».

Он стал думать о Наташе. «Точно свет зажегся в душе!.. «Банальная история!» Да разве любовь всегда не банальна, и в жизни, и в искусстве? И счастье тоже банально, и слава Богу! Кроме нее, у меня ничего нет и не будет. Я как те правоверные мусульмане, которые будто бы когда-то выкальвали себе глаза, увидев гробницу Магомета: выше, чище этого ничего на свете не увижу», — подумал Шелль — по своему обыкновению «литературно». — Совершенно запутался! Оказалось, я не только прохвост, но и болван. Сам не знаю, чего хочу! «Ах, я безумно влюблен! — Ах нет, влюблен, но не безумно!..» Посмотрим, что будет при первой встрече. Будет ли хоть легкое разочарование?»

Он пил в вагоне-ресторане, на вокзалах, пил даже на неаполитанском пароходике. Экзамен сошел прекрасно: не испытывал никакого разочарования.

Всё же теперь, в ванне, неизвестно зачем, он попробовал восстановить мучивший его строй чувств. «В сорок лет человек не может быть влюбленным как Ромео... Да, надо признаться, я всю эту поездку на Капри придумал для того, чтобы *овладеть* ею (и слово какое гадкое и пошрое!). Это не очень трудно, обычные приемы, ложь, хитрости, вино, удаются почти всегда. Но я не *могу*, просто не могу пойти на это. Значит, жениться на ней? Наташа только этого и хочет, только об этом и мечтает, и пытается, бедная, не показывать... Жениться с моим прошлым, с моей профессией, с необходимостью всё от нее скрывать?»

Три месяца тому назад первая мысль о женитьбе на Наташе показалась ему дикой. Потом он примерял себя к этой мысли, сначала, по долгой привычке, с насмешкой над собой, в циничной форме: «Потянуло на *свеженькую девочку*...» «Загадочная история, или Любовь шпиона, трагедия в пяти действиях с прологом...» С первых же дней его раздражала именно *банальность* истории: падший человек с опустошенной душой влюб-

ляется в чистую девушку. Вроде как лермонтовский Демон». В душе он с молодых лет считал себя демонической натурой. «Что ж делать, жизнь так же пошла, как кинематограф».

Понемногу его чувства перешли на другой лад: из цинично-насмешливых стали покаянными. «Да, был опускавшийся, внутренне опускавшийся человек. Но павших людей вообще очень мало, есть падающие и поднимающиеся. Мой путь был от добра к злу, — вдруг с обратным билетом? Меня лет двадцать тяготит моральное одиночество, да и одиночество просто, мы ведь живем как на необитаемом острове... Я иногда на аэропланах думал: хорошо бы, если б он свалился и всё было бы кончено. Может быть, впрочем, перед собой и лицемерил: нет, и жить хорошо, покончить с собой никогда не поздно, разные мелкие радости остаются, шампанское остается... Жениться? Это теперь и практически почти невозможно. Как я женюсь, когда нет денег и получить их можно только оставаясь в разведке?»

Когда-то случалось, что денег у него не было совершенно. Но это было давно, он отвык. «Прежде тысяча долларов казалась почти богатством. Теперь это месяц жизни, в крайнем случае, два месяца, если отказывать себе во всем». В последние годы он много зарабатывал. Спрос на его труд, из-за положения в мире стал очень большим. Кроме того, он обычно играл в карты счастливо. В Берлине же — «как идиот!» — проиграл около сорока тысяч марок. Шелль давно поставил себе правилом не огорчаться из-за совершенных ошибок и не думать о том, что было уже непоправимо. Однако не все правила можно было соблюдать. Воспоминание о проигранных деньгах становилось всё тяжелее.

Полковник предлагал дать аванс в две тысячи долларов. Шелль в самом деле дорожил жизнью меньше, чем ею дорожит громадное большинство людей. Кроме того, поручение было интересное. И, главное, в случае успеха ему была обеспечена сумма, которая, пожалуй, позволила бы бросить давно надоевшую ему, рискованную, изнашивающую человека работу. Он об этом мечтал, хотя совершенно не знал, чем другим мог бы заняться. «Дело заняло бы около трех-четырёх недель. Положим (всё ещё думаю с «положим»), я мог бы придумать для Наташи предлог. Объявлю ей, что должен уехать для ликвидации дел. Оставлю ей пятьсот долларов. Как проклятой Эдде, —

с отвращением подумал он. — Она будет где-нибудь в Италии работать над своим отзовизмом. Какой же адрес я указал бы ей для писем? И как я стал бы писать ей? Можно было бы, правда, оставить для отправки письма у полковника. «Милая, милая Наташа, когда ты получишь это письмо... Помни однако, что я...» — мелькали у него готовые трогательные фразы. — Если же дело удастся, то всё в порядке. Тогда можно будет от нее скрывать и дальше. Ох, не хочется ехать. И страшно... Конечно, боюсь. Вернуться оттуда мало шансов. Я всё-таки не камикадзе. Как же поступить иначе? Если б было хоть немного денег, переехал бы в Южную Америку... Прямо сказать Наташе, что я разорился, что у меня больше ничего нет? Она верно бросилась бы мне на шею и с восторгом сказала бы, что так гораздо лучше, что она будет работать. — Он невольно усмехнулся при мысли, что будет жить на «отзовизм». — А то сказать ей всю правду?»

Об этом тоже он не раз думал в Берлине, даже подробно всё себе представлял: «Обед, водка, шампанское. Слово за слово; «Ты любишь негодяя!». Слова «негодяя» не скажу и после шампанского. «Ты любишь *падшего человека!*» Нельзя! — отвечал он себе и тогда, невольно удивляясь комедиантскому началу в своем характере. — А как поступила бы она? Ушла бы от меня «с расширенными от ужаса и отчаяния глазами»? Нет, это тоже был бы кинематограф, а уж в ней-то пошлости нет и следа. Я подал бы всё как можно благороднее, рассказал бы ей о своем прошлом, о том, почему пошел этой дорогой, дал бы «идейные мотивы», как Эдде. И это тоже ничего не смягчило бы: «Шпион!» Разумеется, нельзя! И не думать больше об этом здесь на Капри. Не портить себе этих двух недель, вырванных у каторжной жизни...»

Несмотря на его мрачность, запас бодрости ему был природой отпущен огромный. После горячей ванны он стал еще под душ, пустил воду только из холодного крана и через минуту вышел, стараясь не морщиться и не вздрагивать. Как почти всегда, полюбовался в зеркале своим торсом. «Ничего, придумаю что-нибудь. Во всяком случае, хоть день да мой! И не день, а две-три недели. Не в этом ли смысл жизни: хоть день, да мой...»

.....

## XI

Джим вышел из гостиницы Эдды на рассвете. Ночной швейцар хмуро принял сто франков и отворил перед ним дверь. «Разве отправить дяде телеграмму? Например: «Пришел. Увидел. Победил». Но телеграммы Джим не отправил. На улице он скоро протрезвился и подумал, что нет никаких оснований шутить.

Проделал же он всё очень хорошо. В час дня зашел в указанный ему дядей ресторан и тотчас узнал Эдду: полковник получил от Шелля ее фотографию. «Действительно, красива!» — Он был очень взволнован: отроду не видел шпионки. Все столы были заняты. Джим прошел по длинной комнате, вернулся, изображая досаду, затем остановился и по-французски попросил у молодой дамы разрешение занять место за ее столиком. Сел, преодолевая отвращение и страх, точно перед ним находилась змея. Немного помолчав, Джим спросил, можно ли взять карту блюд.

Эдда, тоже взволнованная — «вот повезло!» — по-английски ответила, что меню ей больше не нужно, она уже всё заказала. Чуть улыбнулась, всё же сохранила *неприступное* выражение лица. У полковника фотографии племянника не оказалось, но он очень точно описал его Шеллю. «Девяносто шансов из ста, что это он! — думала Эдда. — Ах, как удачно вышло!» Правда, Шелль сказал ей, что американский офицер каждый день завтракает в этом ресторане, — но вправду повезло: сам к ней подсел! Такая счастливая случайность могла бы показаться подозрительной; однако у нее подозрение и не шевельнулось. Действительно, Джим никак на разведчика не походил. У него лицо всегда дышало прямоотой и честностью (особенно же когда он лгал красивым женщинам). «Да, по виду, кажется, дура», — радостно думал Джим. «Да, по виду, кажется, дурак, — радостно думала Эдда. — А вдруг всё-таки не он? Я живо выясню. Но если и не он, то беда невелика. Будет просто приятное знакомство». Оба спешно обдумывали план действий.

— Вы прекрасно говорите по-английски, — придумал Джим.

— Меня учили языкам с детства. Мой дед был владельцем большой гостиницы. Я швейцарская журналистка, — ответила

Эдда. Так ей велел сказать Шелль. «Быть может, с первых же слов сообщать не надо было?»

Джим тотчас объявил, что у него тетка владелица гостиницы в Атланте. Никакой тетки у него не было, но, по его мнению, разведчику полагалось врать возможно чаще и возможно больше: надо только всё помнить.

— Ее зовут Мильдред Рассел. Она чудная женщина.

— Атланта — это, кажется, в Соединенных Штатах? Вы американец?

— Я американский офицер. Служу в SHARPЕ. — Джим тоже подумал, что это сообщать с первых слов не следовало бы. Впрочем, он еще накануне решил вести дело именно в темпе Юлия Цезаря. «Ну, вот, значит, и никаких сомнений нет!» — подумала Эдда. — Вы в Париже давно?

— Позавчера приехала.

— В первый раз?

— О, нет, я хорошо знаю Париж.

— Я тоже. Я здесь служу уже два года (он служил только год). Позвольте представиться...

Он назвал себя. Эдда назвала свою новую фамилию, по паспорту, который получила через Шелля. Лицо у нее становилось всё умнее и всё хитрее, а у него всё прямее и честнее.

— ...Вы похожи на один знаменитый портрет, только я не могу сейчас вспомнить, на какой именно! — сказал Джим. Он это говорил всем женщинам, за которыми ухаживал, и это имело неизменный успех.

— На какой же? Только не говорите, что на Джиоконду! По-моему, она безобразна.

— О, нет, на современный портрет. Ван-Донген? Ласло? — Джим называл первые приходившие ему в голову имена. — Нет, не Ласло и не Ван-Донген... Вспомнил: Тревельян! Габриель Джошуа Тревельян! — радостно воскликнул Джим. Этого живописца он также изобрел, по каким-то бессознательным ассоциациям: Россетти был Габриель, Рейнольдс был Джошуа. — Вы живой Габриель Джошуа Тревельян! Верно, вы знаете его портреты, они теперь завоевывают Америку. Он мой личный друг. («Запомнить: Габриель Джошуа Тревельян.»)

— Да, как же, я много о нем слышала. Я очень интересуюсь американской культурой. Так вы служите в SHARPЕ? Что это

такое? — спросила Эдда. Ее вопрос показался ей очень тонким. Сама Мата Хари не могла бы вести себя умнее. — Я этого слова не знаю.

— Неужели? — спросил Джим и объяснил ей значение слова.

— Вот как? Ах, я так далека от всего этого! А кто здесь американский главнокомандующий?

«Либо она совсем идиотка, либо у нее какая-то очень хитрая комбинация. Но какая же комбинация тут может быть?.. Если все советские шпионы таковы, то Соединенным Штатам большая опасность не грозит?» — подумал Джим и объяснил, что главнокомандующий действительно американец, но он не американский главнокомандующий.

— Он Сакюр.

— Это фамилия?

— Нет, это сокращение, составленное по первым буквам: Supreme Allied Commander Europe, — ответил он. К ним подошел лакей. Джим заказал дорогое вино и самые изысканные блюда из тех, что были в этом второстепенном ресторане. Считал это полезным для дела; кроме того, ему, как всегда, хотелось есть и пить. Перед Эддой стояла только маленькая бутылка минеральной воды. Он попросил разрешения налить ей вина. К концу завтрака они уже весело болтали.

Полной игривости еще не было, но она приближалась очень быстро.

— Хотите, проведем вместе вечер? Умоляю, не говорите, что вы заняты.

— Я и не говорю. Я не занята.

— Поедем в театр. В какой вы желаете? В Фоли-Бержер?

— Ни за что! Я признаю только серьезный театр.

— С вами готов куда угодно, хотя бы на пьесу Корнеля во Французской комедии! Я не думаю, чтобы иностранец, при том здоровый, нормальный человек, мог получать удовольствие от этих высокопарных стихов, но для вас готов и на эту жертву!

— Очень жаль, что вы не любите поэзии. Я сама поэтесса.

— Ради Бога, простите. Я обожаю современную поэзию! Прочтите мне ваши стихи!

— После того, что вы сказали, ни за что на свете.

— Я обмолвился. Я сказал глупость! Это не первая у меня и не последняя. Умоляю, прочтите.

— Нет, вы не стойте. И я не в настроении.

— Что нужно для вашего настроения?

— Любовь и вино.

— Мы проведем вместе чудный вечер.

— Как-нибудь в другой раз.

— Ни за что! Сегодня же! Я этого хочу! Приходите сюда обедать. Вы далеко живете?

— Я живу в этой гостинице.

— А я здесь завтракаю и обедаю. Разве вы не видите в этом перста судьбы?

— Ах, я всегда верила в судьбу!

— И я тоже. Мы будем встречаться каждый день. — Он хотел было добавить: «и каждую ночь», но это был бы уж чрезмерно быстрый темп. Джим теперь почти и забыл, что Эдда шпионка. Разговаривал с ней так, как всегда разговаривал с красивыми женщинами. За ликером вспомнил и изумился. «Слишком много выпил. Не беда. Сегодня же дело будет доведено до победного конца! Или, вернее, до победного начала. «Veni, vidi, vici!»<sup>1</sup> — повторял он себе.

В пьесе изображалась гостиная в стиле Второй Империи. Лакей ввел в нее молодого человека, они довольно долго и загадочно разговаривали. Понемногу создавалось настроение. В гостиной никак нельзя было погасить электрический свет. Звонок то действовал, то не действовал. Книг в комнате не было, но был нож для их разрезания. Была барбедьенновская бронза; оказалось, что она очень тяжела, и молодой человек еле мог ее приподнять. Он хотел получить зубную щетку, но лакей ответил, что зубная щетка здесь не нужна. Затем лакей ушел и последовательно появились две дамы. Одна из них была в голубом платье и поэтому не хотела сесть на зеленый диван. Согласилась сесть только на коричневый, и молодой человек ей его тотчас уступил. Оказалось также, что в гостиной в стиле Второй Империи очень жарко и что нет ни одного зеркала. Это повергло всех трех в тоску. Первая дама думала,

<sup>1</sup> «Пришел, увидел, победил!» (лат., слова Юлия Цезаря).



что молодой человек — палач, но он решительно это отрицал. И понемногу выяснилось, что эта гостиная — ад.

Молодой человек был бразильский пацифист, он был расстрелян и проявил при этом трусость. Обе дамы рассказали о том, что было на совести у них. Первая дама спела парижские куплеты. Молодой человек слушал ее в раздумье, закрыв голову руками. Так как зеркал не было, то первая дама предложила второй в качестве зеркала свои глаза. Затем вторая дама плюнула первой в лицо и целовалась с молодым человеком, а первая дама из ревности доказывала, что нельзя любить труса. Молодой человек объявил, что обе они ему противны. Он отчаянно зазвонил, но звонок не действовал. Он стал ломиться в выходную дверь, молил, чтобы его выпустили, соглашался подвергнуться самым страшным пыткам, лишь бы не оставаться в этой гостиной. Дверь, наконец, растворилась настежь. Наступило долгое молчание. Молодой человек передумал и решил не уходить из гостиной в стиле Второй Империи. Первая дама издевалась над ним. Вторая дама сзади бросилась на нее, хотела вытолкать ее, умоляла молодого человека помочь ей, тот отказался и сказал второй даме, что остается в аду из-за первой. Первая дама была этим радостно поражена, но он назвал ее гадюкой и стал снова целовать вторую даму. Первая же кричала в муках ревности. Молодой человек оттолкнул вторую даму и объяснил, что не может сойтись с ней в присутствии первой. Тогда вторая дама схватила нож для разрезания бумаги и пыталась им убить первую даму, та захохотала и объявила, что убить ее невозможно, так как они все ведь умерли. Вторая дама в отчаянии уронила нож. Первая дама его подхватила с пола и хотела себя убить, однако это было невозможно по той же причине. Затем все опустились на зеленый и коричневый диваны и захохотали.

На этом пьеса кончилась. Она имела большой успех. Публика бурно аплодировала, — особенно многочисленные, странно одетые молодые люди. Из людей же более пожилых некоторые, как показалось Джиму, аплодировали нерешительно и как будто с недоумением. Автор был очень известный и очень модный писатель, вдобавок новатор, прокладывавший новые пути в драматическом искусстве. Эдда восхищалась, при особенно ценных и глубоких замечаниях ахала и подталкивала

Джима. Он тоже аплодировал. Про себя думал, что во всей пьесе не было ни одного умного или хотя бы только остроумного слова, но признавал свою некомпетентность в литературе. Впрочем, Джим слушал не слишком внимательно. Спрашивал себя, не сделал ли в *работе* какой-либо ошибки. «Не надо было оставаться в ресторане до трех часов: она может себя спросить, как же этот американский офицер сидит в ресторане в служебные часы? И не слишком ли много я пил? Она, впрочем, пила не меньше меня. И ничего «змеинового» в ней нет, вздор! Просто... — Он благоразумно захватил с собой плоскую карманную бутылочку коньяку. — Куда же ее потом отвести?»

После спектакля они сидели в кофейне на отапливавшейся закрытой террасе.

— Я закажу шампанского. Хочешь? — спросил он по-французски, чтобы говорить на ты.

— У вас, американцев, всё «чампэнь», — передразнила его она, хотя у него акцент был очень легкий. — Кто же пьет шампанское так, в кофейне на террасе?

— Я хочу! — заявил он тем повелительным тоном, который принес ему немало успехов у женщин. К приятному недоумению лакея, он заказал шампанское с видом богача-туриста, очень к нему шедшим и очень нравившимся Эдде.

— У тебя на лице экстаз! — сказал он, когда бутылка подходила к концу. — Я, конечно, привык вызывать у женщин такие чувства, но старайся их не показывать, это непристойно.

— Ты глуп, очень глуп, потрясающе глуп... А что, если б я в тебя влюбилась?

— Я принял бы это к сведению, — ответил Джим. Собственно *техника* не менялась от того, что он имел дело с шпионкой. Джим рассказал не совсем пристойный анекдот. Эдда рассказала совсем непристойный. Затем он опять потребовал, чтобы она прочла ему свои стихи.

— Но, разумеется, не здесь!

— Так поедem в мою гостиницу.

— У тебя можно?

— This is a free country<sup>1</sup>, — ответила она, смеясь уже почти полупьяным смехом. Эдда была уверена, что все американцы так говорят постоянно, по любому поводу.

---

<sup>1</sup> «Это свободная страна» (англ.).

Номер у нее был угловой, из двух комнат. Соседей не было, и, несмотря на поздний час, можно было не стесняться. Они и не стеснялись. За коньяком Эдда читала ему французские стихи. Читала она, то простирая вперед руки, то поднимая их к небу, грациозно наклоняясь и откидываясь назад. Эти жесты, особенно последний, на него действовали. Действовали и стихи.

Она в рубашке сидела у него на коленях и *вырывала у него тайны*. От нее пахло коньяком, папиросами, хорошими духами. Он подумал, не вырвать ли у нее какую-нибудь тайну, но вспомнил, что это в его задание не входит: дядя велел ни о чем ее не спрашивать, он должен был только — не сразу конечно, — выдать ей свой секрет.

Эдда была в восторге. Теперь она была Далила. В Священное Писание она отроду не заглядывала, это было уж совсем *vieux jeu*; оперу же видела несколько раз. Говорила, что признает только музыку конкретистов, и в Берлине угощала друзей пластинками Вареза и Антона фон-Вернера, но по-настоящему она обожала именно Сен-Санса. В эту первую ночь Эдда еще не пыталась получить секретные документы. «Было бы неосторожно, да и не носит же он их при себе в кармане». Для первой ночи вполне достаточно было только узнать, — «в чем великая сила его». Джим в пьяном виде и сам немного чувствовал себя Самсоном. Хотел было даже для начала выдумать что-нибудь вроде семи сырых тетив, которые не засушены, и потом «разорвать тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь». Но ничего не мог придумать. Задание было простое, и он *выдал* ей, что заведует в Роканкуре печью, где сжигаются самые важные, секретнейшие документы.

## [ XII ]

— Ты спрашиваешь, почему я всё вспоминаю здесь о Тиберии? — спросил Шелль. — Как же не вспоминать о нем на Капри? Он главный благодетель острова. Если б он тут не жил две тысячи лет тому назад, если б не было этих страшных легенд, остров потерял бы половину своего интереса, и туристы сюда не приезжали бы. Его злодеяния кормят каприйцев. Потомки процветают из-за того, кого проклинали далекие предки. Так, верно, когда-нибудь Лубянка будет кормить содержателей

московских гостиниц... Кроме того, я прочел здесь книги о Тиберии. Да и есть у меня сегодня особая причина, чтобы вспоминать о нем.

— Какая? — спросила Наташа. — Ты ешь, кажется, восьмой мандарин, да еще глотаешь с косточками! Это вредно. Напрасно ты внизу купил их так много.

— Это последний, — рассеянно ответил он и подумал, что прежде никто не следил за его здоровьем. «Да, будет мелкобуржуазное существование». — Тебе неудобно сидеть на камне? Не устала? Мы сейчас пойдем вниз, обедать. В ресторане обещали первые мартовские омары... Жаль, что ты не хотела взять осла для подъема на эту гору. К дворцу Тиберия все ездят на ослах.

— Хороша я была бы на том ослике! А под тобой бедный ослик верно подломился бы!

— Почему? В Греции я часто ездил на ослах, там так ездят все.

«Так он жил и в Греции».

— И этот несчастный старичок шел бы пешком рядом с нами?

— Так что же? Он привык.

«Чего-то ему не хватает», — подумала Наташа огорченно. «Бедный ослик», «несчастный старичок», «бедные косточки», — подумал Шелль с раздражением. У них был неудачный день. Он был в этот день настроен странно. Наташа это видела и была грустна. К его изумлению, она накануне плакала и старалась, чтобы он не заметил. Он и делал вид, будто не замечает. Ей самой было непонятно, почему она плачет. «От счастья? Кажется, от счастья не плачут. Я, по крайней мере... Впрочем, какое уж у меня было до сих пор счастье?.. И не сказал он того, что *тогда* хотел сказать. Не буду спрашивать... Просто издергались нервы...»

— Сколько же в тебе веса!.. Ты знаешь, я как-то подумала, что если б ты был головой ниже ростом, то вся твоя жизнь сложилась бы, верно, иначе... Впрочем, я ведь так мало знаю о...

— Мне одна женщина когда-то сказала, что у меня лживо-значительный вид, — сказал он, смеясь, и поспешно вернулся к прежнему разговору. — Ты знаешь, с того обрыва, с Il Salto di Tiberio, после оргий Тиберий велел сбрасывать в море своих

девиц и молодых людей и сам при этом присутствовал. Они разбивались насмерть, а если кто-либо внизу еще дышал, судорожно ухватившись за скалу, то его добивали веслами или дубинками лодочники-убийцы, нарочно для этого приставленные.

— Я всему такому просто никогда верить не могу!

— А я, напротив, всегда всему такому верю.

— Разве народ стал бы это терпеть?

— Народ все терпит, это его специальность. Быть может, утешался там, что распевал какие-нибудь «Бублички». У Тиберия были войска, разведка, всемогущая полиция.

— Просто не могу тебе сказать, как я не люблю все эти полиции и разведки!

«Вот, вот, скажи ей правду! Разумеется, никогда!» — подумал Шелль.

Он уже сообщил полковнику № 1, что принимает его предложение и просил прислать две тысячи долларов. Просить аванс всегда бывало неприятно; это понижало его ранг. И твердо, почти твердо он решил, что в Москву все-таки не поедет. «Хоть лопну, а достану деньги для отдачи!» Но совершенно не знал, где достанет. Не знал даже, где искать.

— Быть может, и Тиберий их не любил, но этот деспот на старости лет стал особенно бояться покушений. Ты помнишь, как он кончил свои дни?

— Не «не помню», а просто не знаю. Я не знаю ни древней, ни средневековой истории. Люблю историю только с шестнадцатого века. Мне кажется, что до этого в мире были не люди, а какие-то звери... Хотя нехорошо так говорить.

— Какие были, такие и остались. У Тиберия всегда бывали политические фавориты, совершавшие вместе с ним всевозможные зверства. Затем, когда они приобретали уж слишком много власти или почему-либо возбуждали у него подозрения, или просто переставали ему нравиться, он приказывал их убить. Он был самым подозрительным из древних тиранов. Последним его фаворитом был Макрон, о котором известно очень мало. Об этом рассказывает Тацит в отрывке «Анналов», начинающемся словами: «Jam Tiberium corpus, jam viros...»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «Уже Тиберия покидали телесные, покидали жизненные силы...» (лат., К. Тацит. *Анналы*, кн. X, 50. Пер. А. С. Бобовича).

— Ты знаешь и по-латыни!

Он засмеялся.

— Нет, не знаю. Уезжая на Капри, я, естественно, захватил с собой Тацита и Светония, в изданиях, где на одной странице напечатан латинский текст, а на другой немецкий перевод. Эти несколько слов запомнил из оригинала — для эффекта.

— Разве для эффекта? По-моему, ты самый естественный из людей, — сказала Наташа не совсем уверенно. — Что же значат эти слова?

— Тацит говорит, что Тиберий в преклонном возрасте стал быстро слабеть. Но скрытность, подозрительность, хитрость у него остались прежние. Раболепство при нем было такое, какого мир с тех пор не видел, — до того, как появился он.

— Кто?

— Безошвили. Чизбиков. Давид. Иванович. Коба. Нижерадзе. Рябой. Сосело. Сосо. Оганес. Вартанович. Тотомьянц. Васильев. Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили, *sympathiquement connu dans le monde*<sup>1</sup>.

— Разве это все его имена?

— Были еще и другие. Всех не помню... И вот, наконец, пришла к Тиберию болезнь, настоящая болезнь, последняя болезнь. Он лишился сознания, лежал в забытьи. Лечивший его знаменитый врач Харикл счел себя обязанным объявить главным сановникам, что часы императора сочтены. Радость была необычайная: он опротивел и тем, кого вывел в люди и осыпал милостями, все имели основания дрожать за свою шкуру, — сегодня любимец, а что будет завтра? Во дворце появился его торжествующий наследник Гай Юлий, перешедший в историю под прозвищем Калигулы. Макрон тоже сиял: рассчитывал, что при новом императоре будет править Римом, то есть миром. И вдруг из спальной прибежали люди: Тиберий пришел в себя, говорит, что здоров, требует, чтобы подали обед. Ужас Калигулы: он не сомневался, что теперь вместо власти его ждет казнь. Во дворце началась паника. Многие в смятении тотчас разбежались, другие делали вид, что ничего ни о чем не знают. третьи выражали притворный восторг по случаю выздоровле-

---

<sup>1</sup> Всеобщий любимец, всемирная знаменитость (*фр.*).

ния императора. Не растерялся только «бесстрашный Макрон», «Macro intrepidus», называет его Тацит. Он бросился в спальную и там придушил подушкой престарелого Тиберия.

— А что стало с Макроном?

— Его надежды не оправдались, Калигула скоро его уколошил. При Калигуле люди стали сожалеть о Тиберии. Теперь же в исторической литературе принято его защищать: деспот, мол, он был, но войны вел победоносные, администратор был замечательный и много сделал для величия и мощи Рима. Так тоже бывает всегда. Историки ведь промышляют оригинальностью во взглядах: какая им была бы цена, если б они повторяли мысли своих предшественников? Некоторые из них склонны даже думать, что никто Тиберия не убивал: это будто бы выдумали Тацит и Светоний.

— Так что, быть может, он умер естественной смертью?

— Всё возможно. Мне иногда казалось, что, если бесчисленное множество людей люто ненавидит одного человека, то эта ненависть сама по себе имеет убийственную силу. Может быть, Макрон только чуть помог Тиберию умереть? Не так трудно было и пошептаться с Хариклом, если тот знал, что императору уже все равно жить недолго. Разве надо непременно душить человека? Можно просто *поправить* подушку умирающему, или чуть усилить дозу лекарства, или, наоборот, не дать его совсем. Вполне возможно, что Тиберий задохнулся в ненависти к нему Рима, в вечном страхе, что его убьют Макроны... Ты знаешь, мне здесь снился Тиберий... Что с тобой? Личико дернулось. Не холодно ли? Мы сейчас пойдем.

— Нет, пустяки. Снился Тиберий?

— Снился и по странной звуковой ассоциации: Тиберий — Берия... Мне снятся странные сны, особенно когда я принимаю снотворные...

— Так ты не принимай!

— У меня иногда выбор: либо не спать всю ночь, либо принять снотворное, и немалую дозу. Вот и сегодня приму. Это, кстати, приятно: проглотил пилюлю, ну, теперь ее дело, пусть на меня работает. Мысли понемногу смешиваются, неприятности, огорчения исчезают. Чувствуешь, что сейчас заснешь, начинается отдых... От всего... А просыпаешься — еще слышишь голоса снившихся людей. Особенно, когда не сон, а

бред. То реальное, то вздор... Ты никогда не думала о динамике снов?

— Вот уж о чем никогда не думала!

— Неужели тебе никогда не снится Россия? Я, быть может, лучше вижу ее, чем живущие там люди. Вижу с ее чудовищной тоской, с ее нестерпимой скукой, от которой должны кончать с собой умные, тонкие люди...

— Я никогда такой скуки не чувствовала, — грустно сказала Наташа. Она больше всего боялась чем-либо ему не понравиться, но не могла не ответить; его слова были ей неприятны. — Ты слишком давно из России уехал, издали судить нельзя.

— Можно и должно. Я не писатель, но разве писатели не судят «издали»: издали и в пространстве, и во времени. Величайшие писатели, Шекспир, Гете, Шиллер, Гюго, Бальзак, Флобер, Стендаль, в России Пушкин, Гоголь, Толстой были и историческими романистами или драматургами, значит, судили издали, значит, не видели половины того, о чем писали.

— Я ведь говорила не об этом, тут ты совершенно прав... Но ради Бога, не злоупотребляй сновтворными.

— Я люблю спать. И это ощущение люблю: то, что снится, кажется совершенно логичным и реальным, даже в первые секунды после пробуждения. А потом просто не понимаешь, как могла представиться такая чушь!

— Да, да, это я знаю, это верно!.. Но, извини меня, ты и слишком много пьешь на ночь, это тоже вредно.

— Надо же иметь и какие-либо удовольствия в жизни! — сказал он раздраженно. Наташа помертвела. Он тотчас поднес ее руку к губам. — Пойми, мой ангел: с тобой это не «удовольствие», с тобой это счастье!

— Не очень большое счастье, — сказала она, еле удерживаясь от слез.

— Я говорил о мелких радостях жизни.

— Я вижу, что Капри тебе уже надоел.

— Без тебя я здесь не остался бы. Я все больше вдобавок боюсь одиночества. Здесь иногда дует ветер трамонтана. Это страшная вещь. У меня когда-то было то, что по-английски называется nervous breakdown<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Нервное расстройство (англ.).



— Как ты сказал? Что у тебя было? Неувус? Что это такое?

— Не волнуйся, не серьезная вещь. Это даже хорошо. «Qui vit sans folie n'est pas si sage gu'il croit»<sup>1</sup>, — сказал Ларошфуко.

— Все ты знаешь! А я, бедная, Ларошфуко и не читала. Да скажи толком, что это было?

— Пустячок. Вроде гриппа... Странно, я всегда колебался между разными группами идей, — вдруг некстати, без отношения к предмету их разговора, сказал Шелль. — Чувствовал симпатии и к монархическому принципу. Вот только к коммунистической группе никогда ни малейшей симпатии не имел и даже ни малейшего интереса: она всегда у меня вызывала зеленую скуку, да еще личную ненависть... А ее удачи и неудачи — это дело совершенно другое. Тут, как в истории вообще, все неожиданно. Когда гибнет аэроплан, публика привыкает к этой мысли постепенно: сначала сообщают, что о вылетевшем оттуда-то аэроплане «нет известий», и лишь потом находят осколки и трупы. А тут... Но почему я об этом заговорил? Ты не удивляйся, Наташенька, я часто без толку перебрасываюсь с одного предмета на другой... А ты могла бы постоянно жить на Капри?

— Я?.. Пожалуй, тоже нет. А с тобой хоть на Северном полюсе. Так это было совершенно не серьезно? Ты что тогда делал? То же, что теперь?

— То же, что теперь. Я часто себя спрашиваю: когда такому-то человеку следовало бы родиться? Мне, по-моему, следовало бы родиться в начале восемнадцатого века. Тогда выбора было больше, можно было даже выбирать себе страну. А ему надо было бы родиться в одиннадцатом столетии.

— Кому?

— Сталину, разумеется... Впрочем, нет. Он родился, когда ему и надо было. В эпоху бреда... Ну, хорошо, бросим такие предметы. Итак, послезавтра мы женимся и уедем. «Свадебное путешествие в Венецию», очень банально. Венеция — город для свадебных путешествий.

— Почему ты боишься банального? Что же такого дурного в банальном? Ты часто об этом говоришь, но...

---

<sup>1</sup> «Тот, кто не совершает безумных поступков, не такой уж разумный, как он о себе думает» (фр.).

— Есть грех. Из-за него я немало сделал ошибок в жизни.

— Расскажи!

— Не стоит, скука. Всякое у меня в жизни бывало. Знал и нужду, хоть недолго.

— Разве ты из бедной семьи? Как я? Знаешь, меня удивляла и твоя фамилия Шелль...

— Фамилия как фамилия, — резко перебил он. — А ты знаешь, о ком я сегодня много думал? Об этом твоём Майкове.

— *Mamma mia!* Это почему?

— Почему? Из ревности. Ты мне описала его наружность, я все стараюсь себе его представить — и не выходит. Я иногда часами себе представляю людей, которых никогда не видел... Ну, довольно об этом. Извини, что я нынче такой скучный.

— Да, ты сегодня не совсем такой, как всегда. Уж не случилось ли что?

Шелль вынул из кармана газету.

— Да. Кое-что действительно случилось. Со мной, с тобой, со всем миром. Гоняюсь, очевидно, и за эффектами; один эффект приберег к концу. Эта газета пришла сегодня из Неаполя. Я, собственно, хотел тебе прочесть, когда спустимся обедать, но могу перевести и сейчас. Слушай:

«Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза и Совет Министров СССР извещают о великом несчастье, постигшем нашу партию и наш народ, — о тяжкой болезни И.В. Сталина.

«Ночью с 1-го на 2-е марта у товарища Сталина в его квартире в Москве произошло кровоизлияние в мозг, поразившее жизненную часть его мозга. Товарищ Сталин потерял сознание.

«Последовали паралич правой руки и ноги и потеря речи. Произошли серьезные осложнения в процессе дыхания.

«Для лечения товарища Сталина привлечены медицинские силы: И. Куперин, Е. Лукомский, Н.В. Коновалов, А.Л. Мясников, профессор Е.М.Филимонов, профессор И. С. Глазунов, профессор П. А. Ткачев, профессор В. И. Иванов-Незнамов и профессор Е.М. Тареев.

«Лечение товарища Сталина ведется под руководством А.Ф. Третьякова, министра общественного здоровья СССР и И. Куперина, главы медицинского и санитарного управления Кремля.

«Лечение товарища Сталина ведется под постоянным наблюдением Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и Советского Правительства»

[ XIII ]

... — Быть может, вы считаете меня шпионом или белобандитом? Между тем, я не белый, не шпион, не бандит — и не русский. Не хочу отнимать у вас время философско-политическим спором. А то я мог бы сказать вам, гражданин Майков, что понятие «шпион» так же неопределенно, как его моральная квалификация. Мисс Эдит Кавелл занималась шпионажем, ее одна из воюющих сторон расстреляла, а другая поставила ей памятник. Она делала свое дело не ради денег. Но вы ведь не знаете, почему я делаю мое. Продался ли я или же у меня есть гораздо более благородные побуждения, это вопрос личный, биографический и малоинтересный.

— Так же малоинтересно и то, кем я вас считаю. Мы все ищем, к чему приложиться в жизни. Многие не находят. И я не нашел. А вы нашли: приложились к международному шпионажу. Ваше дело. А я давно больше никого не сужу. Уж очень большая нужна была бы скамья подсудимых. И мне самому бы на нее и сесть. Ну да, вы продались иностранному правительству. Что ж тут такого? Вас за это еще прославят. «La trahison est une question de dates»<sup>1</sup>, — говорил Талейран. И никакого цинизма тут с моей стороны нет. Мне цинизм вообще чужд. Всю жизнь верил в «разумное, доброе, вечное», не очень верил, но верил. И теперь еще верю, только не дождусь доброго и разумного. А вы, судя по нашему разговору, из циников? Неинтересно.

— Быть может, именно из циников: из людей, уставших от цинизма, обьевшихся цинизмом в моем миреке.

— Неинтересно.

— И все-таки настоящим циником я никогда не был. Мне этот мирок и прежде был чужд.

— Как люди, мы не сходны: я печальный. Но в общественном, в моральном отношении разница невелика. Вы продались иностранному правительству, а мы нашему — и какому!

---

<sup>1</sup> «Предательство — это вопрос дат» (фр.).

— Уж будто и вы продались? За компанию цыган повесился?

— Вот видите, как вы шутите над трагедией. Да, и я продан. Я беден как Иов. Вы видите, как я живу. У меня нет ни гроша. Купить себе книгу, — старую, новых я не покупаю, — это для меня финансовая проблема. Тем не менее я тоже продан. В 1937 году, я, со всем университетским персоналом, подписал горячее приветствие Иосифу Виссарионовичу по случаю очередных казней. С тех пор у меня так называемого «уважения к самому себе» стало гораздо меньше. Говорил себе тогда, что казненные были ничем не лучше Иосифа Виссарионовича. Но позднее приходилось подписывать приветствия и по случаю казней людей, которых я никак подлецами считать не могу. Они только хотели свернуть шею Иосифу Виссарионовичу, то есть хотели того же, что я. Если б я не подписал, я потерял бы свое жалкое место лаборанта. Может быть, меня в концентрационный лагерь и не сослали бы...

— Могли бы и сослать. У вас люди незаметно и быстро испаряются, точно их и не было. И даже имена не остаются в памяти. Вроде как имена разных третьестепенных артистов, объявляемые мелким шрифтом в большом фильме.

— Скорее просто потерял бы место, которое дает мне возможность жить в этой дрянной комнате и не голодать. Значит, проданся.

— Нет, значит только, что сила солому ломит. «Не предали они, они устали — Свой крест нести...» Вы видите, я, «циник» защищаю вас от вас же. Правда, крест несли недолго. Вероятно, одни у вас говорили: «Это пустая формальность», другие утешались «утрызениями совести», быть может, даже и каялись, особенно за водочкой, в очень тесном кругу, да и то редко: у вас ведь, по слухам, на десять собеседников всегда один сексот.

— Издеваясь, вы выдаете диплом себе, а не нам! А я прежде думал, что русская интеллигенция не продается...

— Оказалось же, по-вашему, отлично проданась?

— Многие, очень многие погибли...

— «Почиют вечным сном — Высокородные бароны...» Простите, я все глупо шучу.

— Глупо и гадко.

— Конечно, русская интеллигенция не виновата: есть и пить надо, кормить жену и детей надо?

— Я даже этого оправдания не имею: у меня нет ни жены, ни детей. Но, быть может, не надо было бы *столько* лгать, без прямого давления. А были мы честны и искренни... И литература была честная, искренняя. Теперь я и читать не могу. Открываешь любой роман, любую пьесу, — автор продан. Это, быть может, не мешает ему быть хорошим человеком. Иные авторы стараются под это подвести какие-то якобы искренние убеждения, это наименее честные из всех. Русский народ был одним из самых тонких, духовных в мире. Но тридцатипятилетнего действия самой колоссальной развращающей машины в истории он не выдержал и не мог выдержать. Разумеется, я никак по ставлю ударения на слове «русский». Точно так же или еще хуже продались Гитлеру немцы: писатели, философы, ученые. Верно, наше время так и будет названо: век всеобщей продажности и полного неуважения к идеям.

— Как вы все преувеличиваете! «Мы продались, вы продались, они продались!» И никакого неуважения к идеям нет, да и не все идеи заслуживают уважения... Ну, там, кто-нибудь как-нибудь себе скажет: «*Попробую* думать так-то». Разве вы не замечали этого и за собой: «*Попробую* изменить тональность своих мыслей». И если новая тональность «цинична», то это почти всегда удается.

— Вот вам, конечно, это и удалось: «*Попробую* найти *своих* покупателей». И нашли. Стали иностранным шпионом. Что ж, это скорее утешительно: не только, значит, мы. На Западе, правда, более тонко: от вас работодатели приветственных телеграмм не требовали.

— И не могли требовать, хотя бы уже потому, что на Западе чисток нет.

— Так-с. А наши эмигранты на Западе не продались, эти Чан-Кай-Ши без Формозы?

— Не слышал. Я человек практического дела и ими мало интересуюсь.

— А то было бы как-то странно: в России двести миллионов людей оказались продажными, а все непроданные находятся за границей, а?

— Я никогда такого вздора не говорил! Это вы говорили о всеобщей продажности. Говорили довольно неожиданно для «нециника».

— Не все надо понимать буквально... А может быть, мы все снова станем хорошими, добрыми и разумными? А? Надо будет только подождать каких-нибудь сто лет?.. Здесь очень скверная идея, а на Западе верно и никакой идеи теперь нет. Или the American way of life? Идея недурная, только, на беду, она никого не заряжает.

— Признаюсь, я не ожидал с вашей стороны *такого* подхода к делу. Вы от моего предложения отказываетесь, уехать с вашим открытием на Запад не желаете. Вероятно, все же из патриотизма? «Патриотизм это vieux jeu», говорит Эдда... Вы не знаете Эдду? Ах, да, я смешиваю... Собственно, Герцен говорил то же самое: патриотизм самая ненавистная из добродетелей, я ее всю жизнь терпеть не мог... Это не я говорю, это Герцен... Вы, верно, улыбаетесь: продажный шпион и сыпается на Герцена. прелестно, правда? Но ведь теперь и войны никакой нет, и я приехал в Москву не для шпионажа, а просто для того, чтобы вас вывезти... Позвольте подойти к делу иначе...

— Подходите как вам будет угодно, вы ведь психологический агент.

— Я все о вас знаю...

— Ничего не знаете. Никто о другом ничего знать не может.

— Знаю даже, что вы в родстве с Нилом Сорским. Помните «злосрадие мира сего» или как-то там... Мне о вас говорила Наташа.

— Какая еще там Наташа! Пожалуйста, не гипнотизируйте меня загадочными фразами. Не гипнотизируйте ни психологией, ни вашим колоссальным ростом, ни неподвижными чертами *каменного* лица, вашим нелепым poker face<sup>1</sup>. На меня это не действует.

— Хорошо. В Мертвом море задыхаются и погибают рыбы, в этой Мертвой земле задыхаются лучшие люди. Здесь жить *нельзя*.

— Нельзя.

— Буду исходить только из практических соображений. Отчего вам не уехать? Нам будет приятно, но и вам будет приятно. Если б вы были американцем, то теперь вы были бы директором и, быть может, акционером огромного завода. получали бы тысяч двадцать долларов в год жалованья, да еще

---

<sup>1</sup> Лицом игрока в покер (*англ.*).

с участием в прибылях. У вас была бы превосходная лаборатория, оборудованная под вашим руководством по последнему слову науки. В ней под вашим руководством работало бы человек десять молодых ученых. У вас был бы собственный, прекрасно обставленный дом. Вас знал бы весь ученый мир, газеты присылали бы к вам репортеров за интервью. А вот вы живете в этой убогой комнатухе с продраным диваном, с некрашеным шкапом до потолка, с тремя грязными стульями, с шатающимся письменным столом. Рядом живет семья, которая верно отравляет вам жизнь. Хорошо, что она уехала в дом отдыха, иначе мы и разговаривать не могли бы. Есть ли у вас ванна? Нет и ванны. Разве это человеческое существование? По-моему, человек, не имеющий ванны, не может даже претендовать на чье-либо уважение. И не говорите, что это мешанский предрассудок. Вам, советским людям, хочется всего того же, чего хочется нам: хочется хорошей или хотя бы сносной жизни... В эту сносную жизнь входит и бытовая свобода... Не буду говорить, что большинству из вас так уж необходима свобода политическая. Без нее люди и на Западе могут обходиться отлично, опыт это показал. Но пригодилась бы и она, правда? Особенно таким людям, как вы. Я знаю, что у вас в особенности нет оснований любить и жаловать коммунистов: вы изобретатель, человек свободной мысли, вам важнее всего независимость, свободное общение с другими людьми науки, хорошие условия труда, преданные вам опытные помощники. Повторяю, все это вы на Западе имели бы. Здесь вы работаете вместе с десятками других людей в большой казенной лаборатории, не очень плохой, но и не очень хорошей. Вашим лабораториям, за исключением очень немногих, далеко до американских, как до звезды небесной. Над вами много начальства, которому вы должны подчиняться как школьник. Вы наверное не смеете опоздать на службу хотя бы на пять минут. А ваши товарищи? Между ними наверное есть недурные люди, но у вас, по воле судьбы, они прежде всего завистники и конкуренты. Каждый ваш успех это неуспех для них. Они поневоле ревниво следят за вами. А некоторые, быть может, вас подсиживают и доносят на вас кому следует? Ваше изобретение рассматривается в комиссии. В ней половина членов ничего не понимает в науке. Другая половина, быть мо-

жет, не очень желает, чтобы выдвинулся новый человек. А что такое «выдвинулся»? Если ваше изобретение будет признано ценным, вы получите повышение в ученом чине. Вам дадут квартиру из двух комнат, столь же дрянную, как эта, быть может, вам дадут какой-нибудь завалящий орден, и ваши товарищи будут шипеть, сплетничать и издеваться. Да и уверены ли вы в том, что повышение в чине окажется прочным? При первой, хотя бы ничтожной неудаче вас съедят враги и завистники. Мало ли было таких случаев? Некоторые я мог бы вам напомнить. Да вы все это знаете гораздо лучше, чем я. Вы были в свое время арестованы. За что? Разумеется, ни за что. Верно, кто-нибудь взвёл на вас обвинение, в лучшем случае якобы научное: просчет, ошибка, недостижение обещанного результата. Скорее всего, взвёл по личной злобе, из зависти, из желания занять ваше место. Возможно, что это был просто вздор. Но допустим, что он сказал правду: вы в самом деле сделали ошибку. Это бывает. Это даже в работе неизбежно, что в Америке частным предпринимателям, акулам капитализма известно. Они даже в своих расчетах предусматривают некоторый процент ошибок. Если же ошибка очень велика и стоила предпринимателям больших денег, на Западе инженер может потерять место. Вас же посадили в тюрьму. Я сказал, что обвинение против вас могло быть научным, в лучшем случае. В худшем вас могли обвинить в том, что вы когда-то были кадетом или там меньшевиком, троцкистом, монархистом. Разве я не правду говорю?

— Чистейшую правду, только я не понимаю, к чему вы это говорите? Вот и то, что Волга впадает в Каспийское море, это тоже чистейшая правда.

— И Пушкин сказал: «Черт меня подтолкнул родиться в России с умом и талантом!» «Тшорт», — говорит мой приятель полковник. Ведь прямо о вас сказано. Отчего же вам не уехать? Какая уж там измена! Кому измена? Сталину? Тиберию? Надеюсь, вы, умный человек, не думаете, будто вы работаете на Россию? Так могут думать только дураки или же люди, цепляющиеся за такое суждение, как за соломинку, просто для того, чтобы не превращать свою жизнь в совершенную бессмыслицу. Вы работаете, с одной стороны, на Сталина, с другой — на мировую революцию, то есть на невежественного,



по существу тупого, хотя и хитрого, злодея и на то, чтобы превратить еще миллиарда полтора людей — сколько теперь числится этой породы? — чтобы и их превратить в глупое, быстро развращающееся стадо баранов. Что вам здесь делать? Вашим открытием могли бы здесь заинтересоваться лишь в том случае, если б вам покровительствовал какой-нибудь сановник. А как вы к нему пролезете? Вы и вообще пролезать не умеете. Да это и очень опасно. От Кремля до Лубянки два шага и в прямом, и в переносном смысле этих слов. Логически построенный роман. Композиция прекрасная, как у всех средних романистов. Глава первая: он никто. Глава пятая: он молодой лакей при большой особе. Глава десятая: он сам большая особа. Глава пятнадцатая: он в застенке... Можете ли вы обмениваться научными мыслями с западными учеными? Почти не можете. Можете ли съездить за границу? Только в том случае, если вы совершенный прохвост, всецело продавшийся большевикам. Можете ли вы читать иностранные книги лучших писателей наших дней? Не можете: вашими литературными вкусами заведует начальство, — читай то, что тебе разрешают. В вашем доме в Америке была бы прекрасная библиотека, — какая это радость, иметь у себя то, что пишут умные, талантливые люди! А вот у вас эти жалкие полки с двумя сотнями книг, которые начальством разрешены. Вы читаете только советскую печать, самую скучную и бездарную в мире...

— Вы недурно для иностранца разбираетесь в русских делах. По-настоящему не разбираемся и мы. Пойдем только тогда, когда Макроны напечатают свои воспоминания.

— Вы, кстати, ни на кого из Макронов не ориентируетесь?

— Только на то, что они перервут друг другу глотки. Да еще, и гораздо больше, ориентируюсь на Ваганьково кладбище... Верно, вы часто бывали в России, граф?

— В первый раз был очень давно, еще в восемнадцатом веке. Я ведь принимал участие в петербургских событиях 1762 года. Императрица Екатерина очень хорошо ко мне относилась.

— Да, я было и забыл... О вас писали, будто вовсе вы не французский граф, а португальский еврей... Только все-таки зачем вы говорите общие места? Я отлично знаю, что на Западе все лучше. Достаточно часто там бывал. Разница, прав-

да, лишь количественная, но огромная... Все наши политические понятия неотделимы от личности людей. Диктатура могла бы быть другой, если б диктаторами не были такие тупые звери, как Гитлер или Сталин. Свобода имеет не такой уж соблазнительный смысл, если ее представляет промышленник, составивший себе огромное состояние при помощи некараемого законом мошенничества и пользующийся в мире огромным престижем отчасти именно поэтому.

— Количество переходит в качество.

— Количество переходит в качество, это так... Хотите выпить водки?

— Хочу.

— Она у меня в этом шкапу... Вот...

— Что я вижу? У вас в шкапу виолончель?

— У меня в шкапу виолончель.

— Я тоже играю на виолончели. Тарантеллу играете?

— Какую? Мендельсона? Шопена? Чайковского?

— Шопеновскую. Я кое-как, по-любительски, приспособил ее для виолончели. Вся моя жизнь — готовый фильм, положенный на музыку тарантеллы.

— Очень всё это глупо сказали... Впрочем, не все ли равно? И музыки скоро тоже не будет, число сочетаний звуков не может быть безграничным... За ваше здоровье, граф.

— За ваше, гражданин Майков... Водка недурная. Сами готовите?

— Сам готовлю.

— Какие вина на Западе! Вы любите крепкие вареные вина? У меня был настоящий портвейн, из провинции Трас-ос-Монтес... У вас, кажется, тоже фабрикуют портвейн? Воображаю, каков он! Настоящий портвейн можно пить только в Португалии... За его отсутствием, выпьем водочки. Не люблю, когда говорят «водка», надо говорить «водочка»... Так, может быть, согласитесь со мной уехать? Вы способны пробежать несколько километров?

— Совершенно неспособен. Это через границу-то? Никким образом. И километра не пробегу.

— А какая у вас болезнь?

— По-видимому, дело идет к раку простаты. Видите, что эмигрировать мне поздноато.

— Нехорошо... Сделайте операцию. В Европе отличные хирурги. Это единственная причина, по какой вы не согласны уехать?

— Одна из двух главных.

— А вторая?

— Не дадут визы, а бежать я физически неспособен.

— Даже на аэроплане?

— Если с удобствами, легально, то я уехал бы... Взглянуть бы еще раз на свободный мир, а?

— Там веселее. Ох, скучно у вас.

— Чудовищно. Невероятно. Невыносимо.

— Так, так. Кажется, кто-то сказал, что можно жить без литературы, без философии, без свободы, но нельзя жить без сплетен, особенно политических? А у вас, верно, и их нет: нельзя, сексоты... Но как же говорят, будто у вашей молодежи «горят глаза»? Она ведь и без свободы, при этой невероятной скуке, «радостно строит новую жизнь»?

— Что молодежь! У нее птичий комсомольский разум. Да и не горят у нее глаза. Глаза горят только у служащих Интуриста.

— Они фанатики. Им отлично платят. У гитлеровской молодежи, впрочем, тоже горели глаза... Но нельзя же, чтобы пропало большое открытие, удлиняющее жизнь людей.

— Когда человеку осталось жить несколько месяцев, он несколько охладевает и к науке и к славе. Можете сжечь мои бумаги.

— Сжечь ваши бумаги! В той Роканкурской печке?

— В той Роканкурской печке.

— А долг перед человечеством?

— Я больше не вижу необходимости удлинять жизнь человека. Уж скорее я сократил бы. Да он сам верно об этом позаботится... Может быть, тут и строят новую жизнь, но только всем очень гадко ее строить... Какая скверная погода: холод, ветер, дождь... На Капри не так, а? Я был когда-то. Солнце светится в воде залива? Боже, как хорошо!..

— Все залито потоками солнца.

— Все залито потоками солнца. И пальмы?

— И пальмы. Рай. В Берлине много хуже. Серо. Чистилище.

— А у нас ад... Эти ночные пустынные улицы Москвы! В тишине странный звук странной обуви прохожих. Он меня

преследует уже тридцать пять лет. Это лейтмотив советской России... А вы не боитесь ходить по Москве в кафтане, длинных чулках и при шпаге? У вас верно есть и револьвер?

— В мое время револьверов еще не было. Были только пистолеты... Вот.

— Вас могут арестовать за незаконное ношение оружия.

— Это был бы гротеск в трагедии.

— Мы и сами гротеск в трагедии.

— Нет «социалистического реализма»?

— Нет социалистического реализма... Я уеду, если легально и с комфортом.

— Значит, у вас есть еще желания. Вы были у Сфинкса Желаний?.. Чего вам еще хочется?

— Да вот хотелось бы перед смертью увидеть Италию. Хотелось бы глотнуть воздуха свободы. Но ведь меня не выпустят. Я и заложников не мог бы представить. Да и денег у меня нет.

— Денег я вам дам сколько угодно. А вот разрешение на отъезд это дело трудное. У вас нет связей?

— Никаких.

— Разве мне попросить американского посла? Он мог бы кое-что устроить. Но он, к сожалению, интеллигент. Ничего не сделает. Интеллигенты в век гангстеров просто ни к чему.

— Просто ни к чему. Хорошо, что вы не интеллигент... А все-таки попросите посла. Вы сказали, что вы у него нынче на приеме? Там все будут. Будет и Иосиф Виссарионович.

— Помилуйте, он никогда ни у каких послов не бывает, а у этого всего менее. Он и принять его не хочет.

— Вы ошибаетесь. Теперь они бывают друг у друга запросто. «Ну, что, брат, Пушкин?» — «Да так как-то, брат...» И тот германский фельдмаршал там будет, Рундштедт или Роммель, как его?

— Они оба давно умерли, и никогда их в Москве не было... Вы не бредите ли?

— Я Олеолиукви не принимал... Да в бреду тоже есть настоящая жизнь, разница невелика. Вы еще заедете переодеться?

— Нет, зачем же?

— Вы в Кремле остановились?

— Да, у Иосифа Виссарионовича. Он со мной очень мил.

— Вот и его попросите обо мне. Тогда я с удовольствием уеду. И операцию в самом деле там сделаю.

— Разумеется. Но Иосиф Виссарионович очень занят со своими Штауфенбергами.

— Это еще кто такой?

— Разве вы не помните? Они десять лет тому назад покушались на жизнь Гитлера.

— Ах, да. У меня стала слабеть память. У вас тоже?

— О, нет! Это мои враги говорят, будто я ослабел. Неправда!

— Не сердитесь, я и не говорю, будто вы ослабели. Нет, Рундштедт и не думал умирать. Он здоровехонек. Или это Паулюс?

— Пропади они все пропадом...

...В доме посла был большой прием. Приглашено было несколько сот человек. Перед началом приема посол прошел по парадным комнатам, все было в совершенном порядке. В гигантской столовой красного дерева были расставлены столы, накрытые белоснежными скатертями, уставленные серебром и фарфором. Лакеи вытянулись при входе посла. Ему было известно, что они, как и вся прислуга дома, за исключением китайского метрдотеля — да и за него поручиться нельзя, — состоят на службе у полиции, что они проходят специальный двухлетний курс обучения — учатся и шпионскому, и лакейскому делу, знают иностранные языки и обо всем сообщают куда следует, доносят о том, что в доме говорят, о том, что едят, о том, какие лекарства принимают.

— Так сегодня цыпленок Тетрацини, — сказал он, ни к кому не обращаясь; сказал больше для развлечения: «Запишут: «Он сказал, что сегодня у нас цыпленок Тетрацини». Быть может, на Лубянке еще будут себе ломать голову, какой Тетрацини...»

Посол, очень умный, образованный, даже ученый человек, все время находился в состоянии нервного раздражения, иногда переходившего в бешенство. Нервы его совершенно издербались от вечных неприятностей с властями, от установленного за ним, почти не скрывавшегося наблюдения, от невозможности иметь хоть какие-либо отношения с образованными рус-

скими людьми, — все они сторонились от иностранных дипломатов, как от чумы. Советское правительство, по-видимому, ставило целью отравить ему жизнь, — это выражалось даже в маловажных вещах, хотя бы в том, что посольства всё должны были покупать в Москве по тройной цене. На приемах же с ним были если не любезны, то учтивы, и он обязан был быть со всеми любезен, что было ему тяжело и противно при правдивости его характера (он не был профессиональным дипломатом). Послы других государств тоже, хотя и в меньшей мере, подвергались таким неприятностям, но переносили это много легче: у них все облегчалось усвоенным ими, по уже тридцатипятилетней традиции, общим насмешливым отношением к тому, что творилось в России. В своем дипломатическом кругу (а другого у них и не было) они и говорили о московских порядках так, как говорили бы о порядках у папуасов, с той разницей, что *эти* папуасы были очень могущественны и что с ними надо было считаться неизмеримо больше. Если что еще и удивляло, то разве лишь то, что всего тридцать пять лет тому назад порядки здесь были совершенно другие и мало отличались от западных (тогда как настоящие папуасы всегда были такие же или, быть может, были прежде еще хуже и забавнее). Иностранные дипломаты только и мечтали о скорейшем переводе их на службу в другие столицы. В их кругу считалось общепризнанным фактом, что после двухлетнего пребывания в России нервная система у людей расстраивается и их необходимо заменять другими; между собой они так и говорили: «У меня двухлетний срок кончается через три месяца», — точно речь шла о воинской повинности. Разумеется, все они старались исполнять свои обязанности возможно лучше, старались в мертвящей скуке Москвы проводить время наименее плохо, бывали в опере и в балете, — что ж, и у папуасов могут быть интересные зрелища, вроде своеобразного пения и танцев. Но в большинстве они не слишком близко принимали к сердцу русские дела: им-то в конце концов какое дело? Отслужат года два и будут переведены в более приятные столицы.

Сам посол так к этому относиться не мог. Он испытывал почти физическое страданье от того, что видел, слышал или читал, еще больше от сознания собственного бессилия. Миссию посла он вообще расценивал очень высоко, — только

поэтому и согласился принять ее. От искусства, от познаний, от «умения видеть» послов зависели и осведомленность их правительств, и в значительной, к сожалению все же недостаточной, мере их политика. Он был убежден, что переговоры между разными великими державами идут гораздо лучше и успешнее, когда ведутся через послов, а не на ярмарке Объединенных Наций, лучше и успешнее даже чем в тех случаях, когда съезжаются главы правительств. В громадном большинстве случаев министры знали о делах гораздо меньше, чем послы, а претензий имели гораздо больше. Кроме того, их поездки всегда вызывали шумную рекламу, всеобщее возбуждение, ненужную страстность, которых не было при переговорах, ведущихся через послов. Все же теперь он и не хотел бы, чтобы эти переговоры были всецело поручены ему. Считал положение в мире почти безнадежным. Оно могло только кончиться либо войной с надеждой на победу Запада, но без уверенности в ней, либо бесконечно долгим пребыванием у власти этого страшного правительства, которое уже развратило и испакостило свой собственный народ и ежегодно покупало и развращало миллионы других людей.

Он прекрасно знал русский язык, немало занимался историей русской политики, очень высоко ставил русскую классическую литературу; вначале читал новые русские книги, читал с крайней скукой и скоро убедился, что читать нечего и незачем. С отвращением смотрел бесчисленные антиамериканские пьесы, шедшие в разных театрах Москвы, — их продолжал смотреть больше для усовершенствования своей русской речи и еще для того, чтобы «следить за реакциями публики». Впрочем, и эта реакция была не слишком интересна: зрители аплодировали там, где, очевидно, аплодировать полагалось, — это всегда подчеркивалось и интонацией актеров. Актеры были недурные, хотя и гораздо хуже прежних, стариков; но если бы они были и в десять раз лучше, то им все-таки нечего было бы сделать с бездарными пьесами, с тупыми, неестественными, насквозь фальшивыми ролями и тирадами.

В дипломатическом обществе посол бывал не часто; его немного раздражал принятый там раз навсегда иронический тон. В отличие от своих товарищей, он знал и ценил умственные и моральные качества русского народа, отразившиеся в

его прежней литературе, и думал, что эти качества должны, при советском строе, постепенно слабеть и могут даже со временем исчезнуть. «Конечно, не надо придавать чрезмерного значения разным манифестациям, восторгам по отношению к власти, раболепству, культу хитрого, тупого, совершенно невежественного деспота, понемногу превращаемого в божество, люди делают то, что их заставляют делать, — думал он. — Но разве может пройти бесследно эта привычка к вечной лжи и раболепству? Моральные и умственные качества народа вытравляются из него не без успеха. Россия тупеет с каждым днем, и, если эта власть удержится еще десятилетия, то и вытравлять скоро будет нечего. Люди тридцать пять лет не слышат ничего, кроме лжи. Русскому народу нужен долголетний курс дантоновской «правды без утаек», иначе это гибель. А мы шутим и рассказываем анекдоты! Неужели и дипломатам не ясно, как день, что такое может означать существование в центре мира двухсот миллионов отупевших людей?»

Он говорил об этом и в донесениях своему правительству, но что именно посоветовать, не знал. Выхода не было, ничего сделать нельзя было, можно было только ждать — неизвестно чего. О новой, атомной войне он не мог думать без ужаса и полного отвращения: уж это было бы концом не только России, но и всей цивилизации, — посол выше всего ставил цивилизацию, и служение ей было главным интересом его жизни: о своей карьере думал мало, он не был особенно честолюбив, и во всяком случае честолюбие его никак не сводилось к желанию получить более высокий пост и лучшее жалованье. Теперь он, как и его собратья, но по другим причинам, тоже хотел быть скорее отозванным из Москвы. Иногда боялся, что нервы его могут не выдержать и что он совершит какой-либо поступок, противоречащий всем дипломатическим традициям, и может вызвать мировой скандал.

Он посмотрел на часы и отправился на свой хозяйский пост, у того места, где когда-то до революции произошло убийство, — сам не очень хорошо помнил, кто тут кого убил. И тотчас начался съезд гостей. Иностранные дипломаты были во фраках, дамы в вечерних платьях. Только русские пришли без жен и были в обыкновенных помятых пиджачках, а главный из них, не очень высокий чиновник, счел даже нужным



прийти небритым, с густой щетиной на щеках. Посол привык к таким демонстрациям и старался не обращать на них внимания; лишь вновь назначенные в Москву дипломаты с любопытством и изумлением поглядывали на русских гостей. Хозяева наперед знали, что эти гости пробудут на приеме ровно три четверти часа, ни одной минутой больше, ни одной минутой меньше. Знали также, что главного чиновника надо принимать отдельно в малой гостиной, а всех его спутников — в большой, что через сорок три минуты главный очень холодно простится с хозяином, выйдет в огромный холл, и в ту же минуту в холле окажутся все другие, — часы тщательно сверяются. Маршалы, тяжелые люди в синих мундирах с невообразимым числом орденов, изредка появлялись на приемах у других послов, но американскому послу, в один и тот же день, присылали письма с извиненьями, составленные в одних и тех же выраженьях. Это тоже было одним из многочисленных свидетельств того, что посол милостью в Москве не пользуется. О степени милости дипломатов в иностранных салонах Москвы весело и с любопытством судили по тому, получали ли они аудиенцию у Сталина и сколько минут он им уделял. Предшественник посла — факт неслыханный — оставался в Кремле тридцать семь минут, в два с четвертью раза дольше, чем самый важный из других послов. В свое время дипломатическая Москва только об этом и говорила и делала из этого выводы огромного политического значения. Но нынешнего хозяина посольства Сталин вообще ни разу не принял.

После отъезда русских гостей прием стал веселее и оживленнее. Дипломаты обменивались впечатлениями и всякий раз замолкали, когда мимо них проходили лакеи. Говорили весело о щетине чиновника, об его коричневом пиджачке. Новые гости особенно сожалели, что не было маршалов. Им очень хотелось увидеть Буденного, — приблизительно так, как в зоологических садах они просили показать самого старого, популярного слона.

— ...Говорят, он может выпить бутылку водки, не отнимая ото рта! — сказал дипломат, недавно приехавший в Москву.

— Бутылку шампанского, не отнимая ото рта, выпивал один британский адмирал, не помню, какой именно, — сказал другой гость.

— Одно дело бутылка шампанского, другое дело бутылка водки, — сказал первый дипломат и замолчал: подходил лакей с подносом.

... Люди, работавшие в этом здании, все *обожали* его; но доступ имели лишь очень немногие. Кроме личной секретарши, входили к нему — некоторые даже без доклада — лишь высшие сановники страны: другим и в голову не приходило, что они могут побывать в его кабинете. Комната была очень простая, он не любил роскоши. На большом столе стояло пять телефонов, самых важных в России. На темно-зеленых стенах висели портреты Маркса и Ленина, и это как бы символизировало лживость хозяина: в книги Маркса он не заглядывал, а Ленина терпеть не мог.

*Обожание*, не сходявшее с лица людей, имевших с ним дело, выражалось не совсем одинаково. Одни его выражали неприкрыто, как бы по-солдатски, *по-простому*: эти либо были совсем плохими актерами, либо про себя думали, что чем грубее и беззастенчивее лезть, тем тут лучше. Впрочем, они этого даже не «думали»: эти чувства, эта давняя привычка, не шевелясь, лежали в глубине их души, в самой глубине души, так глубоко, так далеко, как лежат у человека наиболее тайные, никогда — или до поры до времени — не подлежащие высказыванию мысли. Некоторые из этих людей изредка себя спрашивали: «Что, если случится такой ужас, что, если вдруг в пьяном виде или просто непостижимым образом брякну то, что *там* думаю?» Впрочем, этого еще никогда ни с кем из них не было: в этот кабинет они никогда пьяными не входили. Но, случалось, он их приглашал к себе на обед. Станным образом, по атавизму старого кавказского гостеприимства, он был гостеприимен. Любил изредка звать к себе людей и выпивать с ними. Сам много не пил, гостей же потчевал усердно, — иногда именно с тем, чтобы они «выбрякнули» свои настоящие мысли, но чаще, как отцы и деды, просто без умысла, чтобы приятно провести вечер; тогда к этим людям не испытывал никакого злого чувства, даже был искренне к ним доброжелателен, хотя многих из них позднее отправлял в лубянские застенки, причем обычно без особенной ненависти: просто так было нужно или даже просто так было лучше.

Были у работавших в этом здании людей и разные другие чувства. Была гордость от сознания, что они каждый день видят вблизи самого могущественного, самого знаменитого человека на земле. Было и сознание собственного величия. Как они ни были невежественны в громадном своем большинстве, они слышали, что другие, тоже немногочисленные люди, так же, как они, состоявшие когда-то приближенными прежних государственных деятелей, именно поэтому переходили навсегда в историю, оставляли после себя важные мемуары, иногда выводились в трагедиях. Все они тоже подумывали о воспоминаньях, но писать было слишком рискованно: вдруг найдут! Было и искреннее восхищение: этот человек продержался на верху власти тридцать пять лет, из них без малого тридцать был диктатором, успешно губил всех своих врагов, погубил миллионы людей, и никто с ним справиться не мог, от Тухачевского до Гитлера. Было, наряду с этим чувством, у более умных и противоположное: все-таки что же это такое? как же это могло случиться? ведь мы-то знаем, что ничего особенного в нем нет, хотя он умен и опытен: он и говорить по-русски как следует не научился, двух слов связать не может или уж, во всяком случае, не в состоянии сказать хотя бы десятиминутную сколько-нибудь интересную речь, никогда ничего не читает и отроду не написал ни одной интересной статьи. Помимо прочего, с ним всем было невообразимо скучно. В этом всероссийском царстве скуки он, при несомненном своем уме, был ее воплощением. Но над всеми чувствами преобладало одно, самое сильное, самое острое, самое искреннее: страх. Высокопоставленные сановники, то есть те люди, к которым он теперь был как будто особенно благосклонен, испытывали это чувство не в меньшей, а в большей мере, чем другие: именно потому, что занимали высокое положение и что он проявлял к ним особенную благосклонность. Эти хорошо знали, что он органически неспособен говорить правду и никогда ее не говорит.

Секретарша принадлежала никак не к высокопоставленным, но к самым доверенным людям. Она варила для него чай и приносила стакан в кабинет. Все сановники были бы рады делать это для него под видом сыновнего усердия, но он далеко не всем сановникам доверил бы свой чай. Она вошла

на цыпочках в его кабинет, как только он позвонил. На подносе у нее был стакан, а на лице обычное восторженное обожание, так на нем навсегда (навсегда ли?) повисшее много лет тому назад. Это была старая, сто раз проверенная коммунистка, ни к каким уклонам она никогда ни малейшего отношения не имела, была «предана как собака», — все это было так. Но про себя он думал, что если бы дела сложились в свое время иначе, то с таким же видом восторженного обожания она входила бы в кабинет Троцкого или Зиновьева. «Кто знает, что и у этой на уме. Впрочем, ума у нее очень мало».

По некоторым ей известным признакам она тотчас заметила, что он не в духе. Никакой вины за ней не было, но это. разумеется, ничего не значило.

— Спички, — кратко приказал он.

Она подала спички и помогла закурить трубку. Он остался недоволен.

— У моей матери, — сказал он, — была коза. Она была очень на тебя похожа.

Это она, как и многие другие, слышала от него не раз, и у нее лицо в таких случаях расплывалось в приятную улыбку. Такие слова никакой опасностью не грозили. Ей и вообще не грозила опасность — разве уж очень не повезет. По общему правилу, скорее, опасность грозила тем, с кем Сталин бывал любезен и внимателен. Лицо секретарши расплылось в радостную улыбку, хотя руки у нее немного тряслись. Она пододвинула к нему ближе пепельницу и тут тоже не угодила: он сердито поставил пепельницу на прежнее место. Секретарша на цыпочках удалилась из комнаты.

Менее важная работа была им в этот день уже закончена. Он прочел несколько десятков бумаг. Просматривал их одну за другой, тотчас все схватывал и принимал решения, — редко читая одну и ту же бумагу два раза. Некоторые просто подписывал, на других писал несколько слов, обычно грубоватых, почти всегда безграмотных: в прежнее время он еще немного стыдился того, что плохо знает русский язык и не умеет правильно писать (литературные способности Троцкого, Бухарина, Луначарского всегда его раздражали и вызывали в нем зависть); теперь давно не обращал на свой слог никакого внимания. По существу все, что он писал на бумагах, было

умно и хитро, — именно это и должен был писать очень опытный диктатор, хорошо знающий и свое дело, и своих подчиненных. Его резолюции не покрывались для вечности лаком, как когда-то замечания царей на бумагах. Но читались они подчиненными с неизмеримо большим вниманием — и даже с трепетом, которых замечания царей не вызывали; почти по каждой из них тот или другой подчиненный мог предвидеть собственную судьбу, обычно более отдаленную: он редко расправлялся с людьми немедленно. Бывали, впрочем, и резолюции благосклонные; эти порой (далеко не всегда) подавали человеку надежду на быстрое возвышение. Так работали и многие другие диктаторы.

В другой папке были переводы вырезок из иностранной печати. Они составлялись для него добросовестно; все же некоторый подбор был: люди, которым это было поручено, старались не подавать ему того, что было бы ему очень неприятно. Брань по общему правилу ему неприятна не была, но это зависело от характера брани: если иностранные журналисты называли его дьяволом, это доставляло ему удовольствие; однако изредка они писали, что он неумен, невежествен, некультурен, или утверждали, что он не всемогущ, что власть принадлежит Политбюро, тогда он приходил в бешенство. Подбор надо было производить крайне осторожно: риск был и в том, чтобы пропустить что-либо важное, о чем он мог как-либо узнать; но еще опаснее было бы его раздражить: его привело бы в ярость и то, что о нем так пишут западные подлецы и, главное, что это прочли подлецы его собственные (он подлецами считал почти всех своих приближенных). Поэтому обычно вырезки доставляли ему удовольствие: и говорилось в них преимущественно о нем, и было ясно, что иностранные государства не только никакой войны не хотят, но чуть не трясутся при мысли о ней.

Наиболее важным был совершенно секретный доклад: сводка о работе самого важного учреждения в России, которое называлось в разное время по-разному: то личным секретариатом, то Особым сектором Центрального комитета партии, то как-то еще. Оно подчинялось непосредственно диктатору, не делало никаких докладов ни Центральному комитету, ни даже Политбюро, было много влиятельнее этих учреждений и вы-

полняло самые секретные и самые страшные дела, — почти каждое из них было залито потоками крови. Оно же следило за всеми сановниками и докладывало о них Сталину.

В значительной мере сводка теперь была связана с тем же общим основным вопросом, занимавшим весь мир: быть ли войне или нет? Разница между Сталиным и остальным человечеством заключалась в том, что решение этого вопроса именно от него и зависело. Правда, в решении как будто принимало участие еще несколько человек, но он знал, что если он окончательно остановится на войне или на мире, то они в конце концов — и даже очень скоро — к нему присоединятся. Эти люди с ним спорили, но очень точно чувствовали, когда надо перестать спорить.

Сознание того, что судьба мира, участь десятков миллионов людей зависят именно от него, было главной радостью его жизни и даже ее смыслом. Однако *тут* принять решение было и страшно. Начать войну легко, да как она кончится? Тон его верховного командования был бодрый и даже радостный, но такой же тон был лет десять тому назад у германского верховного командования. Гитлер был тоже совершенно уверен, что выиграет мировую войну, он даже *почти* ее выиграл. Сталин понимал, что многие из самых близких ему людей принимают бодрый тон больше потому, что надеются особенно ему этим понравиться: чрезмерный пессимизм мог им повредить или даже погубить их немедленно, тогда как последствия чрезмерного оптимизма были более отдаленные. Между тем в России все жили со дня на день; далеко вперед не заглядывал почти никто. Многие из сановников верно иногда по ночам просыпались в ужасе: видели во сне опалу, ссылку, даже расстрел. Уверенности в близком будущем не могло быть и у маршалов: не один из них в застенках и погиб. Правды, то были заговорщики, а *сейчас* никаких заговоров не было и, *вероятно*, не могло быть. Все же положиться на одно «вероятно» он никак не мог. Никому не верил — отчасти по своей натуре, отчасти по правилу и житейскому опыту: знал, что в случае беды на него первыми набросятся *фанатики*. В его собственной партии главные фанатики, так называемая старая гвардия Ленина, в пору чистки вели себя совсем не фанатически, больше всего думали о спасении шкуры. И так же в пору беды вели себя

главные фанатики Гитлера, — все почти его предали, начиная с Гиммлера.

Некоторые маршалы во сне могли себя видеть победоносными заговорщиками, освободителями, народными героями. Они были смелые люди, хотя никто из них не обладал такими нервами, как он, и не имел *такой* привычки к опасности: его собственная жизнь вся прошла между бомбами и виселицей, и не раз бывали у него такие периоды, когда он, ложась спать, не знал, будет ли еще жить на следующее утро. Все меры принимались, тысячи сыщиков, шпионов, доносчиков охраняли его жизнь. Однако и у Гитлера был хороший аппарат самозащиты.

Его очень интересовала история германского заговора 1944 года. Этот заговор чуть было не удался. Но произошел он лишь на пятый год войны. Меры предосторожности, полицейский аппарат, шпионаж были гораздо действеннее в мирное время, чем в военное. Люди, покушавшиеся на Гитлера, верно тоже его *боготворили*. «Такие есть и в моей своре, но кто?» — думал он. Это чувство — страх перед тайной чужой души — никогда его не покидало. Не покидало даже тогда — особенно тогда, — когда люди в глаза восхищались его гением и превозносили его. Как все до безумия тщеславные люди, он иногда делал вид, будто эта неслыханная лесть претит ему и нисколько ему не нужна и даже неприятна, — разве только полезна для советского строя, ввиду стадности и глупости людей. Но хорошо знавшие его люди и после такого выражения его легкого неудовольствия лестили ему еще больше прежнего. Он на своем неудовольствии не настаивал, однако порою, как очень хитрый человек с громадным жизненным опытом, допускал, что наиболее преданные ученики первыми его и предадут.

Главные внутренние враги были как будто уничтожены, пока больше никого уничтожить не приходилось; если же уничтожить по смутным предположениям о будущем, то пришлось бы уничтожить чуть не всех. Теперь главные его заботы были связаны с внешними врагами, с иностранной политикой, которая когда-то мало его интересовала. Соблазн войны был велик. Он знал, что в два-три месяца может овладеть европейским континентом и стать его неограниченным владыкой. Правда, он и так уже был владыкой полумира, но полувластительные

страны, от Китая до Албании, мало его интересовали. «Однако и Гитлер был владыкой континента...» Эта мысль «и Гитлер тоже» была одной из самых тяжелых его мыслей. Правда, он ставил себя неизмеримо выше Гитлера, но Гитлера ставил неизмеримо выше и тех людей, которых оба они считали демократическими осликами, и своих ближайших сподвижников.

Соблазн был велик, и страшен был риск. Ему было семьдесят три года, — стоило ли ставить на карту власть, престиж, славу, когда можно было кончить жизнь в том, что ему казалось неслыханным в истории величием. Это соображение гораздо больше всего остального работало в пользу мира. Об этом ни он, ни его ближайшие сподвижники никогда откровенно между собой не говорили: считалось, что на первом плане были идеи Маркса — Ленина, задача мировой революции и установление коммунистического строя на всей земле. Однако он знал, что со всем этим можно и подождать. Вдобавок он Ленина терпеть не мог, хотя и превозносил его; к книгам же Маркса был совершенно равнодушен и, раз навсегда извлекая из ученых брошюр то, что ему казалось нужным, больше в них и не заглядывал. Никаких книг, кроме тех страниц, в которых он восхвалялся (а они были почти в каждой русской книге), он в самом деле не читал. Но он очень хотел быть *мыслителем*, и для него, по его указаниям, что-то писали помощники, прекрасно делавшие вид, будто ничего от себя не прибавляют, а только передают его мысли. Чужое мнение ему почти никогда нужно не было. Он мало считался с сановниками, хотя порою внимательно их выслушивал.

Впрочем, и он, и сановники о заветах Маркса — Ленина, о цели мировой революции говорили и думали очень редко: все это было «само собой». Сам же он об этом и вообще никогда не думал. О счастье человечества беспокоился весьма мало, да и не мог беспокоиться, так как терпеть не мог людей. Будущее общество совершенно его не интересовало. Если порою и старался себе его представить, то, должно быть, ясно чувствовал, что ему жить в этом обществе было бы нестерпимо скучно, просто не знал бы, что с собой делать. Он любил только власть и всю жизнь только к ней и стремился. В молодости это была скорее полусознательная мечта, теперь была действительность, расстаться с которой



было бы почти невыносимо: жизнь потеряла бы всю ценность и прелесть.

Для сохранения власти нужно было казнить; он это и делал, равнодушно, без сожаления и без «садизма». Удовольствие это доставляло лишь в тех не очень многочисленных случаях, когда дело шло о личных врагах, — тогда, правда, доставляло большое удовольствие; донесения о подробностях убийства Троцкого, возможно, были величайшей радостью его жизни. Однако личные враги составляли в числе расстрелянных по его приказу людей лишь ничтожное меньшинство. Не знавшие его люди наивно предполагали, будто его по ночам преследуют кошмары, будто перед ним в виденьях проходят бесконечные ряды казнённых, как это описывается в трагедиях разных классических и неклассических драматургов. В действительности он о громадном большинстве казнённых никогда и не думал, — разве просто как-либо кто-либо вспомнится по случайной, иногда и смешной ассоциации. В своем тесном — почти всегда временно тесном — кругу они об этом говорили так же мало и редко, как об общем, основном, о целях социализма, о жизни в будущем коммунистическом обществе. Некоторым из его приближенных было неловко и, быть может, даже тяжело говорить о расстрелянных людях, еще недавно пивших вино рядом с ними в этой же самой комнате: это к тому же наводило на очень неприятные мысли о себе, — «кто знает, что завтра?» — да было то опасно: по лицу могла пробежать печаль (Бухарина, например, почти все очень любили), он мог это заметить, он все замечал. Многим из них иногда очень хотелось узнать, как было организовано убийство Троцкого (его, напротив, все терпеть не могли). Но говорить об этом было уж совсем неудобно, — узнавали, когда можно было, стороной.

Говорили же они за столом чаще всего о простых повседневных делах, и важных и незначительных. Любимым предметом разговора бывали глупость, трусость, ошибки западных правителей, как лучше всем этим воспользоваться? Иногда те, что пили больше — полагались ли на свою выносливость или не могли удержаться, — шутливо замечали, что, право, не стоит рисковать, очень недурно и так, рисковать незачем, все рано или поздно сделается само собой, буржуазный мир обре-

чен. Он хмуро улыбался и заносил в память: что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Про себя же думал, что говоривший, быть может, и прав. Это в пору Фридрихов и Людовиков можно было начинать войны, зная, что и в случае поражения ничто не грозит ни их престолу, ни их жизни. Теперь финал: то, что было в Нюрнберге. Между тем он знал, что Соединенные Штаты очень могущественны и что если война начнется, то они вцепятся в его горло мертвой хваткой. Знал и то, что недовольство в России очень велико и что войска сдавались бы в случае войны полками, бригадами, как сдавались в 1941 году Гитлеру. Огромным шансом было, правда, то, что теперь долго, очень долго и сдаваться будет некому, ибо в первые же недели все небольшие на суше силы врагов будут взяты в плен, уничтожены или сброшены в море. «Но дальше что?» Дальше были атомные бомбы, разрушение русских городов, уничтожение нефтяных источников и запасов нефти. «Остановятся танки, станут тракторы. Бараны взбесятся, все предадут». Круг его мыслей в последние два года был именно таков: никогда не было столь благоприятного момента, но с уверенностью ничего сказать нельзя. Велик соблазн, но велик и риск. Ждать нечего, кое-что станет благоприятней, кое-что неблагоприятней. Велик соблазн, — но велик и риск.

Последним было очередное донесение секретной полиции, доставлявшееся только ему, о незначительных фактах. Сообщалось о частной жизни разных видных людей. Его очень интересовала частная жизнь его приближенных, даже тех, к кому он теперь благоволил. Он был единственным человеком, о котором такие донесения не составлялись, — по крайней мере, он так думал, впрочем без полной уверенности. Ему доставляли удовольствие все полицейские донесения, даже совершенно ненужные, — пока совершенно ненужные. На этот раз ничего интересного не было. В одной заметке сообщалось, что у американского посла вечером будет большой прием, — на следующий день будет доложено все, что удастся услышать. Он знал, что ничего важного не будет, но прочел с неудовольствием.

Он очень не любил этого посла, внимательно за ним следил, даже читал в специально составленном переводе одну давнюю его статью. Посол был очень умный человек и понимал гораздо больше, чем другие слюнвявые демократы. В личных симпа-

тиях и антипатиях Сталина политические взгляды врагов играли второстепенную роль. Больше всего за всю свою жизнь он ненавидел Троцкого. Ненавидел, конечно, и Гитлера, считал его очень выдающимся человеком и порою испытывал нечто вроде профессиональной зависти, значительно уменьшавшейся от того, что Гитлер был иностранец. Среди слюнявых демократов он выделял Черчилля. Считал его самым опасным из всех, но, при всей ненависти к нему, иногда, особенно на банкетах, немного поддавался, как все, его очарованию и пил с ним не без удовольствия. Самым забавным слюнявым демократом был Неру, которого он никогда не видел. Индия была слаба, находилась очень далеко, и политика индийского правительства его особенно не интересовала. Однако, несмотря на некоторую присущую ему от рождения слабость к азиатам, его очень сместила самовлюбленность Неру, то, что он, видимо, совершенно искренне считал себя великим государственным человеком, открывающим миру новые пути, и говорил всякие демократические пошлости и общие места с необыкновенно значительным видом. Отчасти именно поэтому он мог и пригодиться в огромном мировом хозяйстве Сталина, как ни маловажна сама по себе была Индия. Среди американских политических деятелей Сталин никого особенно не выделял (кроме, быть может, этого посла), но внимательно следил за всеми: даже самые незначительные из них в той или другой степени представляли государство, которое, к несчастью, было самым могущественным на земле, было единственным препятствием к установлению во всем мире его неограниченной власти. Читая полицейское донесение, он, без всякого к нему отношения, снова подумал, что надо поскорее как-нибудь освободиться от этого совершенно ненужного в России посла, очень не похожего на всех других дипломатов...

...Но не странно ли, что никто из гостей не обратил внимания на появление французского графа в расшитом золотом кафтане восемнадцатого столетия? Он спокойно, как у себя дома, прошел в далекую комнату, где посол отдыхал от разговора с гостями. Больше в комнате никого не было.

— Пожалуйста, извините меня, что я так нескромно вошел к вам, мне необходимо побеседовать с вами по одному делу, —

странно негромким голосом сказал вошедший. Хозяйская улыбка, несколько часов висевшая на лице посла, стерлась.

— Извините меня и вы: я не знаю, кто вы такой, — сказал посол.

Вошедший человек внимательно рассматривал комнату.

— Я граф Сен-Жермен, — сказал он. — Тот самый. Я опять в России почти через два столетия... Если вам все равно, то нам лучше было бы сесть здесь. Кажется, в этой комнате микрофонов нет, но все-таки всегда благоразумнее разговаривать подальше от столов и кресел, — сказал он. Посол взглянул на него удивленно и машинально пересел на другой стул. Специалисты посольства тщательно осматривали все здание, особенно кабинет посла, и микрофонов нигде не обнаружили. Однако все же не исключалась возможность, что микрофон существует. По их совету, посол при секретных разговорах с ближайшими своими сотрудниками принимал некоторые меры предосторожности: переходил с ними на другой конец комнаты или даже уводил их в одну из ванн. Ему это казалось смешным и диким, но не менее дико было все, что делалось в Москве.

— С кем имею честь?

— Как видите, я получил приглашение на ваш прием, тем не менее вы действительно меня не знаете. Я не дипломат. Я агент вашей секретной службы.

— У меня нет никакой секретной службы, — сказал посол ледяным голосом. «Уж не провокатор ли? Он и говорит с легким иностранным акцентом и, кажется, с русским», — подумал он.

— Я хотел сказать: секретной службы вашего государства.

— Я вас не знаю. Что вам угодно? И каким образом вы у меня в доме на приеме?

— У меня не было другого способа проникнуть к вам. Вам известно, что за подъездом к посольству непрерывно следит полиция. Сегодня у вас сотни людей, все приезжают на автомобилях, следить трудно, да и незачем: открытый прием. Вы смотрите на мой костюм? Я знаю, что в СССР не принято носить шпагу, да еще осыпанную бриллиантами. Полиция меня не заметила. Нас никто не видел, будьте совершенно спокойны...

— Мне беспокоиться не о чем. Что вам угодно, граф?

— Я пришел просить вас помочь мне в вывозе отсюда за границу одного нужного лица. О способах сейчас не говорю, я их могу вам указать, если вы дадите принципиальное согласие.

— Помочь в вывозе одного лица за границу?

— Так точно.

— Очевидно, речь идет об американском гражданине? Почему же он не может уехать без меня? Зачем надо его «вывозить»?

— Этот человек не американский гражданин.

— Тогда ваша просьба, по меньшей мере, весьма странна и даже вызывает у меня некоторые неприятные мысли. Если этот человек не американский гражданин, то его дела не имеют ко мне ровно никакого отношения.

— Он изобретатель, и в его изобретении очень заинтересовано ваше правительство. Мне поручено его вывезти.

— Если это вам поручено, в чем я несколько сомневаюсь, то и вывозите его. Меня это совершенно не касается... Очень печально, что деятельность разведок кое-где соприкасается с деятельностью посольств. Во всяком случае, это совершенно противоречит *нашим* дипломатическим традициям...

— Я этого не думаю.

— Мне это известно несколько лучше, чем вам...

— Этого я тоже не думаю.

— Вы можете думать, что вам угодно. Если вы подосланный провокатор, то верно ваше начальство считает меня совершенным дураком?.. Когда же кончится эта дикая жизнь? Ведь это просто бред!

— Разумеется... Я не имею письма к вам, а если б и имел, то кто носит такие документы в кармане, правда? Даже если б он был зашифрован по словарю. Все шифры расшифровываются. Вы в этом сомневаетесь? Что ж, лет через двадцать вы верно узнаете, известен ли был ваш шифр большевикам.

— Мне нет никакого дела и до ваших документов. Это очень странно. Вы приходите ко мне, отлично зная, что за всеми проходящими ко мне людьми следят, вы не американский гражданин, у вас легкий иностранный акцент...

— Да я вам повторяю, что я граф Сен-Жермен.

— Очень может быть, но это дела не меняет. И вы предлагаете мне вывезти из России одного русского гражданина! И

странно: вам предлагают кого-то вывезти, очевидно, вы мастер этого дела. И тем не менее вы обращаетесь ко мне! Я этого дела не знаю.

— Дорогой мой, где же мне взять аэроплан для Николая Аркадьевича?

— Я не дорогой ваш и у меня нет никаких аэропланов.

— Я почти и не сомневался, что вы мне не поможете. Это против ваших дипломатических правил и особенно против дипломатического джентльменства. Между тем это все *vieux jeu*, как говорит Эдда. Когда имеешь дело с большевиками, надо обо всяком джентльменстве забыть. Ах, как вы отстали! Вы верно человек девятнадцатого века. Ну, хоть родились в девятнадцатом столетии? Это всегда сказывается. Есть, правда, и исключение, есть люди, научившиеся приспособляться. Уинни наверно оказал бы мне эту услугу. Ну, может быть, вы меня с кем-нибудь познакомите? У вас сегодня так много высокопоставленных гостей.

... — Только мы с вами здесь одеты как следует, граф, — сказал фельдмаршал. — Не знаю, были ли вы военным, но вы при шпаге и в костюме, напоминающем старинные мундиры. Такой кафтан наверно носил наш величайший полководец, его величество, король Фридрих II. Остальные гости во фраках, — не говорю, конечно, об этих русских господах. Император Вильгельм, при котором я начал службу, никогда фрака не носил и отлично делал: какой уж монарх в штатском!.. Собственно, мы оба с вами люди восемнадцатого века, вы тогда жили, я принадлежу ему по духу... Да, так возвращаюсь к аэроплану. Разумеется, я охотно дал бы его вам, при условии, что вы вашего изобретателя доставите именно в Германию. По совести, я прежде не верил, что русские могут что-то изобрести. Очевидно, приходится верить. Или, может быть, он немецкого происхождения? С другой стороны, его открытие у меня большого интереса не вызывает: ну, что такое продлить жизнь, зачем это нужно? Порядочный человек должен умереть на поле сражения.

— Ваше превосходительство, очевидно, не излечилось от милитаризма. Я думал, что уроки 1918 и 1945 годов должны были бы кое-чему научить и германских фельдмаршалов.

— Эти уроки ровно ничего не доказывают. Первая мировая война была нами проиграна из-за измены тыла, из-за проклятых марксистов, а вторая потому, что командовал нашими войсками штатский. Он был вдобавок и психопатом, но если бы им и не был, то при штатском руководстве мы все равно проиграли бы войну. Вы, как все, называете нас милитаристами. Что такое милитаризм? Очень лживое слово. Все войны, которые *мы* вели в течение тысячелетий, наверное в общей сложности не повлекли за собой и малой доли тех человеческих жертв, какие повлекли за собой две мировые войны. В применении же к Германии это слово не имеет уж никакого смысла, или же вы должны были бы отказаться от ваших собственных понятий. Объединение по национальному признаку, это хорошо или плохо? Наша это идея или ваша? Конечно, не наша. Мы с этим совершенно не считались, нам национальность была малоинтересна, мы из-за этого никогда войн и не вели. Но уж если объединять непременно людей одной и той же национальности, то как же нам, немцам, не воевать? Ваш пацифизм и общие ваши взгляды пришли в полное противоречие с вашим же собственным основным принципом. Они пришли в противоречие с географией. Вы выдумали национальное самоопределение, — хорошо. Однако что же можно сделать, если немцы есть везде, если во многих государствах они составляют почти однородное меньшинство, занимающее вполне определенную территорию? Отдайте нам эти территории добровольно, и тогда мы воевать не будем. Вы сами создали священную задачу для нашего молодого поколения. Когда в нашу империю войдут Австрия, балтийские земли, Эльзас-Лотарингия, Судетская и Саарская области, немецкие кантоны Швейцарии, мы будем удовлетворены и больше воевать не будем.

— Но ведь вам тогда будет очень скучно, ваше превосходительство?

— Ужасно! Невообразимо! Что ж делать, надо считаться с новыми веяниями, с вашей демократией, с нежеланием рядовых людей воевать. «Народ — это животное, у которого много языков и мало глаз», — говорил король Фридрих Великий. Мало глаз и мало мозгов. Он ничего не видит, ничего не понимает. Я начал службу при его величестве в гусарах. Где теперь гусары? Ах, как прекрасна была жизнь в восемнадцатом столетии! Тогда

все во что-то верили, вы в одно, я в другое. А теперь? Война была благородным делом. Тогда и офицеры, и государственные люди — все принадлежали к одному обществу, к хорошему обществу! А теперь взгляните только, какие люди собрались в этом гостеприимном доме! На них и смотреть гадко. Тогда все говорили на одном языке, по-французски. Его величество король Фридрих II воевал с французами, но другого языка не признавал и обожал Францию. Разве мы, военные, можем ненавидеть французов? Они изобрели мундиры, штыки, понтонные мосты, важнейшие виды фортификации. Тюренн и Наполеон были французами. Быть может, вы «гуманист»? Я тоже, но не так, как профессора и аптекари. Традиции чести созданы нами, офицерами. Господа революционеры усвоили нашу военную словесность — «борьба», «победа», «знамя», — но она у них ничего не значит. И мы из-за чести знамени обязаны были умереть в любую минуту и умирали. И войны мы вели не для социальных переворотов, от которых никому ни пользы, ни радости. А вот не угодно ли воевать для того, чтобы у герцога Мекленбургского было право *de non appellando*<sup>1</sup>! Вы смеетесь и напрасно. Разве дело в том, почему возникают войны? Лишь бы они иногда возникали, давали смелому человеку возможность показать себя, укрепляли традиции храбрости, отвлекали беспокойных молодых людей от дел похуже, поддерживали дисциплину и, что гораздо важнее, любовь к дисциплине. Разве его величеству королю Фридриху II нужна была семилетняя война сама по себе? Нет, он хотел проявить свои таланты. Он сам это говорит в своих воспоминаниях. Вы читали эту книгу? Нет? Тоже напрасно. Он не походил на этих плебеев, на Сталина, на Гитлера. Я его знаю. Его величество чуть не на каждой странице откровенно говорил о своих промахах и ошибках, ни единой похвалы самому себе... И что же было в мире при монархах, до появления всех этих республик? Люди воевали, особенно много крови не проливали, потом мирились и пили вместе шампанское. А злобы не чувствовали ни после войны, ни во время войны. Между государствами были такие же отношения, как между порядочными людьми. Людей восемнадцатого века принято считать скептиками. Я не скептик и, каюсь, скептиков не люблю. Я

---

<sup>1</sup> неоспоримой власти (лат.).



в свои идеи, в наши идеи, верю твердо. Тогда у людей была честь. Она была для нас связана и с воинской доблестью, хотя нынешним господам это может казаться странным и смешным. Что же есть у них? Что они могут нам противопоставить? Чем они хвастают? Может быть, они хорошо устроили мир? И войны их страшные, чудовищные, у нас таких не было. И злобы в мире было неизмеримо меньше. Когда был мир, люди им наслаждались, не боясь завтрашнего дня. А когда была война, побежденных не вешали. У них тоже, как у победителей, способные, храбрые, умные люди могли отличиться и приобрести славу, бывшую тогда дополнением чести...

— Все это, однако, было доступно только дворянам.

— Времена менялись. При Людовике XIV и военная, и политическая карьера были открыты всем французам. Позднее стало иначе. Из-за этого и происходили революции. Они все и погубили. Я не защищаю крайностей старого строя. Наполеон имел всего четыре поколения дворянства. Поэтому он до революции мог стать только ротным командиром. Я предоставил бы ему это право. Его величество король Фридрих II был умнее Людовика XVI, и он изредка принимал на офицерские должности недворян. Делал это неохотно, так как находил, что настоящие традиции чести поддерживаются только в дворянских семействах. Разве он был так не прав? Впрочем, крайностей старого строя я не защищаю, и мы от них понемногу освобождались. Генерал Людендорф вообще дворянином не был. Нет, пожалуйста, не говорите вздора о милитаризме. И не думайте, что я враг России. При царях я стоял за мир с ней, как и князь Бисмарк, кое-что понимавший...

— В военном деле, ваше превосходительство?

— О, нет, это невозможно, он был штатский! В политике. Но князь Бисмарк не дожил до русской революции, иначе он переменил бы мнение. Разумеется, теперь надо начать с России. Все остальное придет со временем. Разве только Саарскую область мы займем раньше, — как только у нас будет армия. Просто займем, и пусть Франция воюет с нами. Посмотрим, как Соединенные Штаты ее тут поддержат, если даже обещают поддерживать: всегда можно найти тридцать тысяч причин и поводов, чтобы не исполнять обещаний. Так говорил и его величество король Фридрих II, величайший из наших политиков.

— Канцлер Аденауэр никакой войны не хочет. Или он обманывает мир?

— О, нет, он не способен обманывать. Мы его назначим обер-бюргмейстером. Он был и будет превосходный обер-бюргмейстер. Мы даже пожалуем ему дворянство и баронский титул. А если он не доживет, то пусть его дочь будет дворянкой, как Берта Крупп... Повторяю, все остальное подождет. Главное, это Россия. И тут нас, разумеется, поддержит весь мир.

— Джим не хочет расчленения России.

— Неужели? Кто такой Джим? Уинни очень хочет, хотя пока, разумеется, не говорит. Все умные и порядочные люди не могут не хотеть расчленения России, хотя тоже пока не говорят. Помилуйте, как же можно допустить, чтобы в центре двух частей света стояло такое колоссальное государство? Это опасность для всего света. Русские эмигранты говорят, что, когда большевики падут, новое русское правительство будет жить в мире со всеми. Мы, однако, не можем положиться на честное слово русских эмигрантов, если даже они не врут. Да и с какой стати Россия должна остаться единой? Демократические принципы повелительно требуют, чтоб были самостоятельны Украина, Грузия, Армения.

— И балтийские земли?

— Нет, балтийские земли должны отойти к нам. В нынешней России двести десять миллионов жителей, разве это можно!

— А сколько будет немцев после их объединения?

— Не более ста миллионов. Это совершенно другое дело. Таков <должен> быть максимум. Вы думаете, что наш гостеприимный хозяин не желает расчленения России? Он этого не говорит, но, разумеется, желает. Как все демократы.

— Во всяком случае, войны он не хочет. Это я знаю наверное.

— Может быть. Однако если война начнется, то он выскажется за расчленение. Впрочем, это неточное слово. Зачем говорить: расчленение? Надо говорить за освобождение народов России, и этого повелительно требуют демократические принципы, следовательно, и принципы нашего гостеприимного хозяина. Надеюсь, так думают и французы, граф?

— Русские так, кажется, не думают.

— Если б так думали и русские, то их следовало бы повесить. Но кто же с ними будет считаться? Может быть, они

хотят, чтобы мы, люди Запада, потеряли несколько миллионов людей, освободили их от большевиков, затем крепко пожали им руку и ушли домой, оставив им империю в двести миллионов жителей? Тогда они просто дураки. Нет, граф, с их разрешения или без их разрешения, мы отберем все, что будет только можно. Мы везде произведем плебисциты. У нас даже будет учебное заведение по производству плебисцитов. Все это детали, и говорить об этом преждевременно... Не нравится мне, что вы все усмехаетесь. Я люблю говорить серьезно. Когда будете расчленять Россию, к нам же обратитесь, правда? Мы о чем-другом еще очень подумаем. А здесь, ясное дело, поможем. Согласимся даже на ваш демократический соус.

— Я хотел бы вернуться к предмету нашего разговора. Ваше превосходительство обещали дать мне аэроплан для вывоза того ученого.

— Я? Обещал? Помилуйте! Я сказал, что охотно дал бы его вам. Если б он у меня был. Но у меня его нет. Откуда у меня может быть аэроплан? У нас и атомной бомбы еще нет! Как только это станет возможно, мы будем строить и аэропланы, и водородные бомбы, и вы можете быть уверены, что они будут лучше советских и даже американских. Но сейчас у нас ничего нет.

— Зачем же вы морочили мне голову, ваше превосходительство! Так и сказали бы с самого начала.

— Почему я должен был сказать с самого начала? Мне интересно было послушать вас. Но отчего же вам не попросить аэроплана у Сталина?

— Как у Сталина? Опомнитесь. Зачем Сталин дал бы мне аэроплан для исполнения поручения американской разведки?

— Очень просто, зачем. У него всегда первая мысль: провокация. Он создаст инцидент. Ваш аэроплан будет сбит, и в нем найдут два трупа. Тотчас будет установлено, кто летел и зачем летел и по чьему поручению летел. Быть может, при вас и при этом русском немецкого происхождения будут найдены и документы. Ведь вы кое-что с собой повезете? А если не будут найдены, то их можно очень хорошо составить, это делается.

— Это, конечно, верно, но мне нет расчета лететь с тем, чтобы превратиться в труп.

— А это благородный риск: они будут вас сбивать, а вы не поддавайтесь. Такова сущность военного дела... Да вот, он как раз входит! Я вас с ним познакомлю. Иосиф Виссарионович, разрешите представить вам американского разведчика, графа Сен-Жермена.

— Да я его знаю! Он у меня и живет. Очень рад встретиться с вами, граф.

— А я как рад! Вы без Макронов, Иосиф Виссарионович?

— Без них. Надоели они мне. И Тиберия не взял с собой.

— Это Берию-то? Я так понимал на Капри, что это вы Тиберий. Держитесь от них подальше, Иосиф Виссарионович, от Макронов: любя вас, говорю.

— Знаю я, как ты меня любишь! Или ты что-нибудь знаешь? Поговорить я вообще не прочь. Заходи как-нибудь скоротать вечерок. Сейчас не могу, должен поболтать с нашим дорогим хозяином. Ты о чем хочешь со мной поговорить? Об аэроплане? Отчего же нет? Надо подумать. У нас есть и американские аэропланы. Это, может быть, очень хорошая мысль... Ей Богу, ты мне нравишься. И я слышал, что ты играешь на виолончели? Тарантеллу играешь?

— Как же не играть, Иосиф Виссарионович! С большим удовольствием для вас сыграю.

— Сейчас тут же и сыграй.

— Нет с собой виолончели.

— Должна быть виолончель, если я приказываю... У моей матери была коза. Ты очень на нее похож...

— ...Значит, не вышло?

— Значит, не вышло.

— Тарантелла кончается?

— Для вас кончается... Вы по-прежнему согласны уехать только с удобствами?

— Только с удобствами.

— Аэроплан ждет. Но будут приключения. Придется стрелять. Вы не в состоянии?

— Я не в состоянии.

— Как же нам быть?

— Никак.

— Не видите логического решения?

— Не вижу логического решения.

— Я вам подсказывать не хочу.

— Не подсказывайте... Хотите водки?

— Хочу. Возьмите сами в шкапу... Эту папку заметили?

— Лгать не буду, заметил.

— Стаканы на полке.

— Мы что ж, стаканами будем пить? Мне-то ничего, но вам при раке простаты?

— Мне и тем более ничего... Да, они в этой папке... Собираетесь меня убить?

— Не говорите вздора... Что же вы намерены делать? Ведь теперь Иосиф Виссарионович о вас знает.

— Этим я обязан вам. Позаботились?

— Так всегда бывает: хочешь одного, а выходит прямо противоположное.

— Да еще хочешь ли «одного»? Очень печально.

— Очень печально. Скорее всего, вас арестуют сегодня же на заре.

— Не все ли мне равно?

— Вам, если хотите, все равно. И то не думаю. Конечно, рак простаты, но...

— Только, пожалуйста, без рассуждений. Надоело.

— Все-таки будем говорить логически. Допустим, вы надеетесь на операцию. Допустим, вы не хотите перелетать границу. Но чем же лучше сгнить в застенке? И потом ваше открытие... Ваши бумаги поступят на Лубянку. Что произойдет *далее*? В лучшем случае их передадут на рассмотрение какому-нибудь ученому, любимчику, надежному прохвосту. Он либо признает их не имеющими никакой ценности, либо выдаст ваше открытие за свое. Вернее, он сделает и то, и другое: сначала объявит, что вы ровно ничего не открыли, а несколько позднее сообщит о своем сенсационном открытии. Быть может, советское правительство даже будет знать правду. Но ему будет очень выгодно поддерживать версию любимчика: гораздо лучше, чтобы автором великого открытия был ученый-коммунист, чем сидевший в тюрьме контрреволюционер. Прохвост объявит, что он сделал свое открытие по совету Иосифа Виссарионовича и руководясь принципами диалектического материализма... И на вечные времена он, а не вы, будет авто-

ром великого открытия... Видите, у вас даже лицо задергалось... Возможно и другое: ваших бумаг не покажут и ученому прохвосту. На Лубянке на них просто не обратят внимания: какое уж там открытие мог сделать жалкий лаборант и неудачник, которого и на службе держали из милости! Я не думаю, чтобы они уничтожили ваши бумаги: на Лубянке верно никогда ничего не уничтожают, все может пригодиться. Ваши бумаги будут лежать в вашем досье.

— Тогда когда-нибудь мое открытие найдут.

— Это очень маловероятно. Допустим, большевики падут лет через десять или двадцать. Перед гибелью они наверное сожгут все архивы, к великой радости бесчисленных сексов. А если даже не сожгут, то для разбора понадобятся столетия. Знаете ли вы, что до сих пор разобрана во Франции только часть архивов, оставшихся от Великой революции? Кроме того, разбирать лубянские архивы будут историки, люди, ничего в биологии не понимающие. Весьма маловероятно, чтобы они наткнулись именно на ваше досье из лежащих там миллионов. Еще менее вероятно, чтобы они им заинтересовались: дело какого-то неизвестного лаборанта, умершего в тюрьме от рака простаты, — что тут интересного? И уж совсем невероятно, чтобы они прочли и оценили вложенные в досье полуистлевшие ученые записи. Нет, Николай Аркадьевич, уж вы не обманывайте себя: ваше имя останется совершенно неизвестным. Награды, почести, слава достанутся прохвосту, своему человеку, он станет знаменит и его, разумеется, пощадят в день расправы: наша русская гордость! В тот день он перекрасится, как все, и, быть может, и сам как-нибудь приложит руку к тому, чтобы от ваших бумаг ничего не осталось: ну, возьмет себе для просмотра и оценки — и, конечно, вырежет, что нужно, скажет, что ничего ценного не нашел.

— Вы это к тому, чтобы я добровольно отдал вам бумаги? Я понимаю, вы предпочли бы получить их без убийства. А то шум, еще сбежались бы люди, а?

— Да как я могу вас убить? Ведь всё бред. Олеолеукви.

— Я и забыл.

— Отдайте мне бумаги, и ваше имя станет известно всему миру. Вы будете благодетелем человечества. За что могут быть

больше благодарны люди? Что они могут ценить выше, чем продление их драгоценной жизни?

— Вы с моим открытием сделаете то же самое: кто-то выдаст за свое.

— Клянусь вам честью, что этого не будет! Вы мне не верите? Конечно, вы вправе не верить чести секретного агента. Но, подумайте, *зачем* нам это делать? Если б нашелся и у нас (это вполне возможно) подлец-ученый, который хотел бы выдать чужое открытие за свое, как он мог бы этого добиться? Ведь мы-то, мы будем знать, откуда это пришло. Мы отдадим ваши бумаги на рассмотрение комиссии ученых. Мы им вашего имени и не скажем, они будут убеждены, что автор открытия на свободе и находится где-либо в одной из западных европейских стран. Мы и никому вообще не назовем вашего имени, пока не узнаем точно, что вас больше нет в живых. О, тогда мы назовем ваше имя! Мы разгласим его на весь мир! И не только по чувству справедливости, которому вы имеете право не верить. Это будет соответствовать вашим интересам. Это будет наш реванш за Фукса, за Понтекорво, за столько других. Открытие гениального русского ученого досталось *нам!* А они этого своего ученого сгноили в концентрационном лагере! Говорю о худшем, и, к несчастью, теперь более вероятном, случае, то есть о случае вашей гибели. Если же вам чудом удастся вырваться из СССР, мы озолотим вас и покроем славой. Вы начнете у нас новую свободную жизнь!.. Ведь прежде вы хотели уехать? Ведь *как* мои работодатели вообще о вас узнали? Неизвестным мне способом вы довели до сведения какого-то западного ученого, что находитесь на пути к большому открытию. Довели до его сведения осторожно, только что-то дали понять... Вот кстати, для вас еще свидетель. Вы *хотели* уехать!

— Тогда я еще не был так болен. Я надеялся вырваться на свободу. Отчего вы вздыхаете?

— Вы не вырветесь. Не буду вас обманывать. Вы человек обреченный, это судьба трех-четырех гениальных людей, которые, быть может, теперь существуют в вашей несчастной, забытой Богом стране... Отдайте мне ваши бумаги... И не смейтесь! Не смейтесь все время. А то я подумаю, что вы близки к помешательству.

— У вас тоже дрожат руки, ваши руки душителя... Вы заметили, полковник в Берлине и в Венеции поглядывал на ваши руки... Давайте выпьем еще водки. Хотите?

— Хочу. Всегда хочу. Возможно, что я стану алкоголиком.

— Не станете. Есть Наташа.

— Без Наташи я пропал бы.

— Вы и с Наташей пропадете... Я отдам вам бумаги.

— В этой папке *всё*?

— Всё. Водки осталось как раз на два стакана... Последняя капля бутылки приносит счастье. Берите ее себе... У меня все равно счастья никогда не было, а теперь оно и не нужно.

— За ваше здоровье.

— Спасибо. Видите, так гораздо лучше: без убийства... Подарите мне ваш пистолет.

— Чтобы кого-нибудь пристрелить из чекистов? Тогда с удовольствием.

— Нет, где уж мне. И не попаду. Да и не стоит руки марать, мелкая сошка.

— Мелкая сошка... Для самоубийства пистолет не очень удобен. Вам не подходит стреляться. Это не ваш стиль. Ученый должен впрыснуть себе какой-нибудь алкалоид. Так покончил с собой знаменитый хирург граф Мартель в день вступления немцев в Париж. А то положите в колбу цианистого калия, подлейте кислоты и вставьте в рот отводную трубку. Так сделал знаменитый химик Виктор Мейер.

— У вас большие сведения по этому вопросу... Сами подумывали, а? Но вы говорите, они придут на заре. Здесь у меня ничего нет, а лаборатория ночью закрыта.

— Тогда откройте газ. У вас есть кухня?

— Общая с жильцами, в конце коридора.

— Как неудобна советская жизнь. Развестись нельзя: нет комнаты для супруги. Отравиться газом тоже нельзя: нет своей кухни. На Западе и это настолько проще. Но теперь ночью кухня пуста.

— Еще взорвется весь дом. Для благодетеля человеческого рода неподходящая смерть. Тоже *не стиль*.

— Что ж, я оставлю вам пистолет. Сыграйте себе на прощанье гарантеллу.



— Это идея. Но моя жизнь не тарантелла, как вы довольно пошло выразились... Да и нельзя ночью играть, соседи придут драться. Можно и без тарантеллы.

— Можно и без тарантеллы... В последний раз: не хотите улететь со мной?

— Не хочу улететь с вами. Берите папку и проваливайте.

— Зачем сердиться?.. И огорчаться особенно нечего.

— Я особенно и не огорчаюсь. Пора узнать *occulta occultissima*<sup>1</sup>.

— Ваш далекий родич ушел от злосмрадия мира сего.

— Не за границу и не на тот свет: в пустыню... Так вы клянетесь, что расскажете обо мне миру?

— Клянусь всем, что у меня есть святого!

— Лучше бы чем-либо другим. У вас и святого ничего нет.

— Клянусь Наташей! Это она мне и сказала, что вы из семьи Нила Сорского.

— Не помню никакой Наташи. Проваливайте. До встречи в лучшем мире.

На улице было тихо. Он постоял несколько минут, прислушиваясь. Выстрела не было.

И тотчас подлетел аэроплан. «Как странно! Он без летчика... Впрочем, теперь есть и такие...»

Тарантелла играла все быстрее. «Кто же играет?.. Не я, не Майков, кто же? Тот оркестр остался на Капри... Я скоро там буду, увижу Наташу... Да, что было бы со мной без нее? У него всегда первая мысль о провокации... Я не поддамся, меня они не собьют... Это атомная бомба, они подсунили атомную бомбу... Истребители ждут около границы... Подождите, голубчики, я поворачиваю назад... Если б он не отдал документов, я отобрал бы силой. Задушил бы? Нет, постарался бы заткнуть ему рот... Хотя все равно он погиб... У меня аллергия к принципам... Кому же я везу документы, если я повернул на Москву?.. Как же я звал Майкова? И мне тоже все равно погибать, уж лучше сбросить бомбу на них... Стреляют? Кто это стреляет? Да, летят аэропланы на Запад. Истребители или бомбовозы? И те, и другие, так... Значит, началась война? Они

---

<sup>1</sup> Сокровенный смысл бытия (лат.).

сбросят бомбы на Нью-Йорк? Посмотреть, как повалится Эмпайр стейт билдинг?.. А истребители палят в меня... И в меня... Их целая туча!.. Да, война. Ну, посмотрим, кто кого!.. Вот опять Москва... Кремль... Там все зло мира... Не все, но главное... Откуда же эта тарантелла?.. Нью-Йорк будет разрушен под звуки тарантеллы... Странно... Они разбудят Наташу! Но ведь она на Капри, а не в Нью-Йорке... Вот, вот, мавзолей!.. Не поспеете, голубчики! Нельзя терять ни одной минуты. Верно уже подорвался Эмпайр стейт... Сейчас рухнет! Так, так... Сию секунду... Опоздали, товарищи! Вот, готово! Прощай, Наташа!.. Попал!» Из мавзолея вылетело тело Тиберия с усами. Эмпайр стейт билдинг дрогнул и повалился. Грохот все рос и стал непереносимым. «А-а-п!» — закричал Шелль.

Вдоль гостиницы проезжал грузовик, но его шум никак на грохот взрыва не походил, домик был довольно далек от каприйской дороги. Никакой музыки слышно не было. «Странно, очень странно», — думал Шелль, все еще дрожа под одеялом кровати. Он и проснулся, и не совсем проснулся. «Наташа... Жива, она здесь!..» В комнате было темно, но за окнами как будто уже светлело. «Какое счастье, что я не поехал в эту страшную страну! Никогда не поеду!.. После «Сеньориты» всегда тяжелая голова... Не случился бы опять nervous breakdown, как тогда... Я и права не имею жениться с моим прошлым, с болезнями!..» Сердце у него стучало так же сильно, как в конце кошмара. Почему-то ему было страшно зажечь лампу на столике. «Совершенно нелепый бред! Хоть был бы какой-нибудь смысл!.. Никакого, ни аллегорического, ни символического. Просто вздор! Ни за что к ним не поеду! Какое счастье, что я на Западе, на свободе!..»

Он с усилием приподнялся, сел на кровати, разыскал ногами туфли и прислушался. Ему показалось, что издали еле слышно в самом деле доносилась тарантелла. «Да, они там живут... Неужто так рано играют? Но тогда хоть понятнее...» На ощупь — так и не зажег лампы — пробрался к окну. Там за что-то ухватился рукой: сильно кружилась голова. Он постоял с минуту и отворил окно. Над Капри всходило солнце. В комнату хлынул морской воздух. Он вдыхал его с жадностью. Стало легче. «Господи, как хорошо!.. Все пройдет, быть может, все будет уничтожено, но это, это останется!..»

## XIV

## XV

У Эдды было намечено два варианта. По первому она искусно похищала у Джима секретные документы, отдавала их для фотографирования (ей было указано, куда надо отдать), он оставался чист, и всё было в совершенном порядке. Трудность была в том, как похитить. Эдда долго ломала себе голову и ничего не могла придумать. «Ведь он прямо со службы увозит их в печь? Мой картежник, верно, придумал бы план. Запросить советского полковника? Но он такой хам, так сухо тогда со мной разговаривал! И это значило бы погубить свой престиж: «Познакомиться ты с ним познакомилась, а больше ничего сама выдумать не можешь!» Она уже послала полковнику указанными ей путями свое первое победное донесение. Тщательно его зашифровала, ей для этого был дан толстый словарь: надо было каждое слово обозначать страницей и порядком слова на странице. Зашифровка заняла у нее часа два; она работала с ужасом и с наслаждением, заперев на ключ дверь своего номера.

Второй вариант был гораздо более драматический; следовало *совратить* Джима. В подробностях обдумала: «Вино, очень много вина. Затем оргия?!» — на тему оргии уже задумала поэму, где говорилось о страстных лобзаниях и безумных объятиях — перечеркнула: страстные объятия и безумные лобзания. Была замечательная аллитерация и совершенно новая рифма: «поблёлка» и «Софокла». «Потом сказать Джиму всё: я шпионка! Мне поручили тебя выслеживать и через тебя узнать тайны Роканкура! Шпионкой же я стала никак не ради денег, а по убеждению: у коммунистов правда, они спасают мир от ужасов новой войны, надо им служить! Но со мной случилось несчастье: я вдруг безумно в тебя влюбилась! Теперь реши всё сам! Если хочешь, убей меня! Если хочешь, сообщи твоему начальству, и меня казнят! Но если ты меня любишь, порви с твоим прошлым, стань моим единомышленником, будем работать вместе!..»

Этот вариант умилял ее до слез. Впрочем, и у него были серьезные недостатки. Джим говорил, что безумно в нее влюб-

лен, да это было и совершенно очевидно. Всё же она не была уверена в том, как он поступит. «Быть может, в самом деле тут же меня убьет! Хотя это маловероятно. И как же он меня убьет? Звонок — над кроватью. Если он схватит меня за горло, я зазвоню, дверь оставлю открытой... Нет, он поднимется на постели — и уйдет. Тогда я тотчас улечу в Германию. Виза есть, деньги есть. Если даже он такой подлец, что пойдет доносить ночью, — нет, ночью нельзя, некому, подождет до утра, — то во всяком случае я улечу вовремя. Денег полковник тогда больше давать не будет, но и я ему остатка не верну Буду в Берлине ждать картежника. Если же Джим согласится — не может не согласиться, он так в меня влюблен! — то все будет чудно. Мы доставим документы, получим деньги и уедем в Италию». Тут, правда, было новое осложнение: она очень рада была бы поехать в Италию с Джимом, но не хотела надолго расставаться с Шеллем: «Оставишь его без надзора — ищи ветра в поле...»

Как бы дело ни сложилось, несомненно была налицо *игра жизнью*, — то самое, что ей больше всего нравилось в литературе и в кинематографе. Решила еще немного подумать. Назначила дату для оргии, на случай второго варианта: 13 марта, это была пятница, — совпадение тяжелого числа с тяжёлым днем, — она бросала вызов судьбе. «Так ему и скажу: *J'ai lancé un défi à la destinée*»<sup>1</sup>, по-английски это выходит хуже...» Долго с наслаждением все себе представляла: он рыдал, затем падал перед ней на колени и клялся ей порвать со своим народом, со своими родителями, с братьями, — «теперь у меня ты и только ты!» Затем они опять пили шампанское и она читала ему стихи. Затем они отправлялись и Венецию и вечером, при луне, обнявшись, плыли на гондоле... «*Gentille gondolière, — dit le pêcheur épris, — je cède à ta prière, — mais quel en sera le prix?..*»<sup>2</sup>

Осуществился именно второй вариант, лишь с самым незначительным отклонением от выработанной программы. Шампан-

---

<sup>1</sup> «Бросаю вызов судьбе» (фр.).

<sup>2</sup> «Любезная гондольерша, — сказал влюбленный рыбак, — я уступаю твоей мольбе, но какова будет цена?..» (фр.).

ского Эдда не купила: слишком *радостное* вино, к такому случаю не подходит, да и где же заморозить ночью? Заменяла его бутылкой коньяку. Так выходило и дешевле, — полковник дал ей не очень много денег. Между тем расходы были большие. Она купила для оргии ночную рубашку из черного крепдешина с черными же кружевами, длинную, в талию, похожую на платье, *très travaillée*<sup>1</sup>, от Лебиго; давно о таких мечтала, это и подходило лучше, чем пижама; заплатила десять тысяч франков. Эдда думала, что шпионкам платят деньги, не считая. Оказалось не так.

Все сошло как нельзя лучше. Он возил ее в Роканкур и показал ей печь. Там отдал толстый пакет, который тут же при них был сожжен. Она видела, что он распоряжается печью, как хочет. К концу же пятой оргии Эдда — правда, не очень кстати — восторженно заговорила о русской музыке и балете. Джим был с ней искренне согласен: любил русскую музыку и балет. Затем она сказала, что на современную Россию клеветуют. Он не спорил и с этим: действительно, клеветы немало. Она ругнула американское правительство. Он поддержал. Минут через десять Эдда объявила ему, что служит советской власти, несущей мир и счастье всем народам, Джим не схватил ее за горло. Еще минут через пять он стоял перед ней на коленях и *восклизал*, что ее народ будет его народом, что для него нет больше ни отца, ни матери, ни братьев (их, впрочем, у него и в самом деле не было). Джим вспомнил фильм «Тарас Бульба», который видел в Париже. Знал, что играет он не очень хорошо, и всё больше удивлялся: «Неужто такая дура может быть шпионкой! Правда, дядя говорил, что в его ведомстве дураков еще больше, чем психопатов».

— ...Я принесу тебе одну очень важную информацию, — сказал он, *задыхаясь*. — Но ее в тот же день надо будет бросить в печь. Пусть твои ее быстро сфотографируют.

— Не «твои», а наши! Ты теперь наш! Мы будем работать вместе!

— Для тебя я предаю родину! Теперь у меня больше никого нет, кроме тебя! Мы вместе бежим!

Он получил письмо от дяди. Полковник поздравлял его с успехом и сообщал, что ему будет дан для дуры важный пакет

---

<sup>1</sup> Превосходной работы (*фр.*).

и что отдать его надо непременно 18 марта. «Вижу, что у тебя угрызения совести. Помни, однако, что ты это делаешь не для себя, а для отечества, — писал полковник, с трудом выдавливавший пышные слова. — Кроме того, дура никакая опасность не грозит. Пусть она уезжает из Франции куда ей угодно. Судя по тому, что ты о ней сообщаем, она нам больше ни для чего не нужна. Постарайся спроводить ее поскорее. Если это необходимо, можешь уехать с ней ненадолго и ты. Отпуск и деньги тебе будут даны. Ты окажешь делу большую услугу. Скажу правду, я предпочел бы, чтобы ты расстался с ней по возможности немедленно. Но если иначе нельзя (слова были подчеркнуты два раза), то поезжай в Италию и расстанься с ней там. Дай ей от себя сколько признаешь нужным, — всё-таки не очень много: казенные деньги надо беречь еще больше, чем собственные. На досуге ты подумаешь, хочешь ли ты и дальше работать в нашем деле. Кстати, скоро буду в Италии и я. Мы могли бы встретиться в Венеции».

Пакет был действительно очень важный. Запершись у себя в кабинете и почти никого не принимая, полковник работал целый день и часть ночи, испытывая чувство, очень близкое к тому, которое называется вдохновением. В его деле преобладала мрачная, злая проза, часто отравлявшая ему жизнь. Но порою он находил в своей работе и настоящую поэзию: так необыкновенно иногда бывали замысел осложнения, комбинации, психологическая игра. Дезинформация относилась к атомным бомбам, к их числу, мощности, распределению по местам. Составлено всё было необыкновенно искусно, особенно письмо из Пентагона Сакюру. Это было *opus magnum*<sup>1</sup> всей жизни полковника

## XVI

Полковнику был дан адрес лучшей гостиницы Венеции. Деньги Шелль просил внести в швейцарский банк, в котором имел с давних лет счет. Теперь на счету оставалось девяносто пять франков, — почему-то вышла некруглая цифра.

В Неаполе вечером, накануне отъезда, когда Наташа ушла в ванную, он вынул бумажник и пересчитал всё, что у него

---

<sup>1</sup> Главным делом (*лат.*).

было. Оказалось: сто два доллара и несколько тысяч лир. Он записал цифры в книжку: несмотря на свою расточительность, все расходы за день записывал; старался делать это в отсутствие жены. Но как раз Наташа вышла из ванной в пеньюаре.

— Забыла вынуть мыло, — сказала она застенчиво и, увидев, что он что-то записывает, догадалась. — Расходы? Я тоже в Берлине всё записывала. Скажи, мы не слишком ли много тратим? Теперь у тебя ведь гораздо больше расходов, чем было до меня. Я тебе много стою, правда? У меня своих пока нет.

Он никогда с ней о денежных делах не говорил; но всякий раз после их женитьбы, когда упоминалось о деньгах, лицо у нее становилось испуганным. В эти минуты ему особенно хотелось стать богатым человеком. Он улынулся, посадил ее к себе на колени и нежно поцеловал.

— У тебя волосы без блеска, я это так люблю... Конечно, ты меня разоряешь. Я истратил на тебя тридцать шесть миллионов золотых франков, как Людовик XV на маркизу Помпадур. Не беспокойся, расходы не имеют значения.

— Ну, вот, ты всегда шутишь, а это мне неприятно. Теперь все женщины работают. Я тоже должна что-то зарабатывать.

— А мне было бы неприятно, если б ты что-то зарабатывала. Это дело мужа. Я человек старых взглядов.

— Допотопных! Но я тебя обожаю!.. А ты меня любишь? Правда? Как кто? Как Лаврецкий Лизу? Как Санин Джемму? Я отлично знаю, что мне до них, как до звезды небесной!..

— Как Шелль Наташу.

— Как Шелль Наташу! Да, это лучше всего!.. Знаешь, ты немного похож на слона.

— Мне говорили, будто я похож на китайского палача.

— Господи! Что за вздор! Скажут же этакое люди! На палайского китача... Видишь, как я глупо острою... А ты сказал, будто я остроумна... Сказал? Я очень глупа, — говорила она, осыпая его поцелуями.

Он часто читал в ванне, Наташа тоже стала брать с собой книгу, — какую-нибудь подешевле, непереpletенную, потертую, — вдруг, задремав, уронит в воду. Но она не читала, все думала. «Конечно, я обожаю его! Может быть, еще больше, чем прежде... Нет, не больше, только теперь по-иному. Наверное,

так бывает всегда? И не прячет он ничего от меня, он просто не говорит, это не то же самое. Но мне так хотелось бы войти в его жизнь, целиком войти, всё знать, всё разделять».

Наташа не могла привыкнуть к тому, что ничего для мужа не делает. Всё осталось как было. Они жили в гостиницах, обедали в ресторанах, никаких забот по хозяйству у нее не было, так как не было хозяйства. Не могла она помогать мужу и в его делах; ничего о них не знала; быть может, у него не было и дел. «Хоть бы письма мне диктовал. У него хороший почерк, но странный: твердый и вместе с тем изменчивый. точно разные люди пишут... И как всё-таки жене не знать точно, чем занимается муж? Такого случая верно никогда не было! Правда, он сказал, «эпизодические посреднические дела», но сказал уклончиво, даже сухо. Что такое «эпизодические посреднические дела»? Спросить? Да, я спрошу, только немного позднее».

Шелль даже свои вещи вынимал из чемоданов сам. Она ему сказала, что недурно штопает белье, он ответил, что всё чуть порванное выбрасывает; и действительно, при ней оставил лакею в гостинице несколько пар носков и шелковую рубашку, в которой было бы очень легко починить еле надорванный воротник. «Разумеется, это вздор!.. За что он полюбил меня, просто не понимаю! Он говорит, будто я остроумна» (она часто старалась придумывать для него шутки, и у нее в глазах тогда бегали лукавые огоньки). «Совсем я не остроумна. Что я делала бы без него? Разве я не знаю, что никто в меня не влюблялся? Я никогда не имела у мужчин *успеха*». Слово это ей не нравилось. Прежде, еще так недавно, предположение, что она мало нравится мужчинам, было одним из самых тяжелых в ее жизни. Теперь она думала об этом почти весело. «Да, я буду работать. И никаких платьев себе заказывать не буду, пока не отложу из своего заработка. И не нужны мне все эти Дьеры или как их там».

Она считала богатство грехом и была убеждена, что *надо* жить бедно. Но были вещи, которые она теперь оценила: прежде всего, собственную ванну с горячей водой круглые сутки — этого у нее никогда в жизни не было. «Хорошо бы, если б *это* осталось. Хорошо еще, что можно иногда путешествовать, вот Венецию увидим. Хорошо, что можно будет наку-



пить книг. А больше мне ничего не нужно. Как жаль, что ему нужно так много... Лишь бы только он меня не разлюбил!»

Наташа и прежде всегда молилась, даже в советской России, даже на немецком заводе. Теперь молилась больше, усерднее, каждый день благодарила Бога за посланное ей небывалое, неслыханное счастье. От Шелля это скрывала, хотя думала, что ему это было бы приятно.

Легко было сказать: «Расходы не имеют значения». Легко было говорить себе, что после той ночи бреда не должны иметь значения и деньги вообще. «Но ведь это именно был бред, бессмысленный бред, никакого Майкова я не видел, ничего он мне не говорил, всё было вздором», — думал он. Однако в мыслях упорно возвращался к тому же. «И ничего нового нет в этой идее возвращения от зла к добру, я сам об этом думал и до того... То есть именно поэтому мне и помешался Майков со своими идеями, что это были *мои* идеи, и не самые интересные даже из моих идей. Нет, верно, негодяя, нет и преступника, который хоть изредка, хоть раз в жизни, не мечтал бы о так называемой честной жизни...» Слова «так называемой» он и теперь, как прежде, еще ставил в иронические кавычки, но знал, что это уже удастся ему с трудом. «Да, да, банальная история: влияние Наташи, «духовное возрождение человека», слышали!» — с досадой говорил себе Шелль. Впрочем, так ли еще моя история банальна? Будут у меня *les hauts* и *les bas*<sup>1</sup>, и без *bas* я выпутаться сейчас не могу, просто не могу. Вся философия Майкова, какова бы ей ни была цена, ничем помочь не может, когда у меня — теперь с Наташей — не остается денег, чтобы заплатить по счету в гостинице...»

Действительно, несмотря на свои новые чувства, он всё тревожнее себя спрашивал: «Что, если полковник денег не послал? Мог решить, что заплатит лишь на месте в Берлине. По-своему он был бы и прав: он не обязан меня знать, хотя, конечно, он слышал, что я в денежных расчетах аккуратен. Если не пришлет аванса, то вопрос кончен: не буду с ним работать... Это тоже легко сказать. А что тогда делать?» По давнему правилу (впрочем, допускавшему исключения), он у

---

<sup>1</sup> Взлеты и падения (*фр.*).

знакомых денег займа не брал. В Венеции же у него и знакомых не было. «Да и в других местах люди не очень раскошелились бы».

Впрочем, если б он и не надеялся на аванс от полковника, Шелль всё-таки остановился бы в лучшей гостинице. По его мнению, для небогатых людей были две манеры существования. Одна, которую он терпеть не мог и называл мелкобуржуазной, заключалась в том, чтобы жить скромно, да еще — предел пошлости — откладывать на черный день. Другая, давно им принятая, основывалась на убеждении, что у настоящего человека деньги всегда, рано или поздно, появляются, а для этого не только не следует их беречь, но надо ими сыпать, всячески показывать, что их есть сколько угодно. Правда, многое тут зависело именно от «рано или поздно»: если появление денег очень запаздывало, вторая манера могла привести к скандалу или даже, при невезении, к тюрьме. Однако в его сложной, путаной, полной приключений жизни этого не случилось: деньги в последнюю минуту всегда появлялись.

Теперь предел «рано или поздно» был точный: две недели. Эффектная внешность Шелля, дорогие костюмы, превосходные чемоданы с наклейками знаменитых гостиниц и пароходов («first class»: наклейки с «cabin class» и «tourist class» — всякое бывало, — были соскоблены) производили впечатление на швейцаров и управляющих. После первого недельного счета можно было небрежно сказать: «Я уезжаю в будущую пятницу, заплачу всё сразу». Но после второго счета дело становилось трудным.

Он и теперь неуверенно говорил себе, что его в той гостинице знают: действительно, он несколько раз в ней останавливался в такие периоды, когда денег было достаточно. Предусмотрительно и тогда платил не очень аккуратно и, расплачиваясь, оставлял огромные на чай: так создавал себе кредит. Однако положиться на это было трудно: управляющие и швейцары менялись, да и старые, несмотря на их профессиональную — как у сыщиков — замечательную память, не всегда помнили его обычаи; были между ними и скептики, на которых чемоданы с наклейками не действовали: через две недели они грустно-почтительно требовали уплаты по счету.

Главное же было не в этом. Он твердо решил в Москву не ехать. Таким образом, аванс полковнику необходимо было бы

вернуть очень скоро. Невозвращение аванса при отказе от поручения было бы гораздо хуже, чем неоплаченный счет в гостинице: оно означало бы бесславный конец карьеры разведчика. Означало бы также переход той не очень ясной, но существующей черты, которая отделяет авантюриста от мошенника. Тогда хоть выдавай чеки без покрытия! Как все *настоящие* авантюристы, Шелль чеков без покрытия никогда не выдавал.

Он по-прежнему совершенно не знал, чем заняться, как обеспечить себе шесть-семь тысяч долларов в год, которые были ему уж совершенно необходимы с Наташей, даже при образе жизни, грозно приближавшемся к мелкобуржуазному. Как-то купил парижскую американскую газету и внимательно прочел объявления: «Help wanted», «Situations wanted». «Есть что-то унижительное в этом робком самохвальстве, во всех этих «dynamic, reliable», «great experience», «fluent French», «good appearance», «first class references»<sup>1</sup>... И хуже всего то, что Наташа считает меня богатым человеком! Не было бы ничего ни странного, ни неделикатного, если б она после свадьбы спросила о его средствах. Он сам удивлялся тому, что она не спрашивает, и заранее что-то придумывал в ответ.

Формальности по браку были проделаны им очень быстро. Шелль сказал о них Наташе наутро после тарантеллы. Ее смятение было так велико, что она его слов почти не понимала. Плохо понимала и то, что происходило в следующие дни.

Они женились в Неаполе: Капри стал почти страшен Шеллю после той ночи бреда. Он сказал Наташе, что они поедут в Венецию, — «свадебное путешествие». Невольно улыбался: так эти слова не подходили, особенно после такой свадьбы, — свидетелем был швейцар гостиницы. Наташа выразила восторг, но в душе была не очень рада. Ей было бы приятнее поскорее устроиться прочно, всё равно где, лишь бы устроиться.

— Чудно!.. Где же мы будем жить? В Берлине? — решила, наконец, спросить она.

---

<sup>1</sup> «Имеются вакансии», «Ищу работу» <...> «динамичен, надежен», «с большим опытом», «свободно владею французским языком», «хорошо выгляжу», «первоклассные рекомендации» (англ.).

— Посмотрим, подумаем. Я сам еще не знаю, это зависит и от моих дел, — ответил он неохотно и, опасаясь, что она спросит о делах, поспешно прибавил: — А ты где хотела бы жить?

— С тобой мне всё равно, где. Но я хотела бы, чтобы у нас уже была какая-нибудь постоянная квартира. Увидишь, как я буду хорошо вести хозяйство. Всё будет чисто как стеклышко!

Он ничего не ответил, и это немного ее огорчило. Узнав, что в Венеции они останутся в одной из самых знаменитых гостиниц мира, Наташа встревожилась: «Как же туда сунуться с моими тремя платьями!» На Капри Шелль купил ей кольцо и сказал, что платья здесь заказывать не стоит, да нет и времени.

— Какие там платья! Зачем? У меня в Берлине остались еще вещи, — робко ответила она.

— Вот побываем в Париже, и у тебя будут платья от Диора.

— От какого Дьера? Это какой-нибудь дорогой портной? Не нужно мне таких платьев. Я в них была бы и смешна.

— Ты будешь одинаково прелестна и в платьях от Диора, и в лохмотьях, — сказал он совершенно искренне. И подумал: «Положительно Ромео!»

Его слова ее кольнули: «Правда, он говорит фигурально, но я, после завода, в лохмотьях никогда не была. За это платье заплатила на распродаже двадцать две марки! Лишь бы он меня не стыдился, — мне все равно».

Они приехали в Венецию поздно вечером. Волшебный город ее поразил, она ахала всю дорогу по Большому Каналу. «Просто и представить себе такого не могла!» — говорила она и сама не вполне понимала, говорит ли о Венеции или о своем счастье.

Управляющий в гостинице оказался прежний. Утром Шелль справился по телефону в швейцарском банке, узнал, что две тысячи долларов на его счет поступили, и почти этому не обрадовался: «Всё равно надо немедленно что-то придумать».

Весь день они осматривали город. Ее восторг радовал его. За обедом он ей рассказывал о Венеции, говорил, что знает «все двести дворцов». Дворцов тридцать или сорок мог назвать

— Этому городу природа не дала решительно ничего. Все создали человеческий гений и труд. Если б я способен был гордиться человеком, то гордился бы именно тут... В моей

жизни был период, когда я приезжал сюда каждую Пасху. Тогда еще мало было пароходиков и моторных лодок на каналах, тишина была совершенная, только те тысячелетние крики гондольеров «Э-эй!», которые ты сегодня слышала. Ничего не было лучше для успокоения нервов, чем эта тишина.

— Наша деревня для этого была бы еще лучше. Я обожаю природу, особенно русскую. А ты?

— Я тоже, хотя я городской житель... Флобер не любил природу и откровенно это говорил.

— Не может быть! Писатель!

— Говорил, что искусство гораздо лучше. А ты хотела бы поселиться в деревне?

— Страшно хотела бы, но где? Ведь в Россию мы не вернемся, — грустно сказала Наташа.

— Кто знает? Ты, может быть, до этого доживешь. А я не надеюсь... Не протестуй, не надо: всё-таки я гораздо старше тебя. Вдруг мы купим себе виллу в Италии, а?

Он заговорил об окрестностях Венеции и опять говорил хорошо, хотя несколько более вяло, чем обычно. После обеда посоветовал ей подняться в номер и отдохнуть:

— При твоём слабом здоровье надо лежать побольше.

— Да вовсе у меня не слабое здоровье! Но в самом деле посиди один в холле или погуляй, а то всё со мной соскучишься, «смерть мухам», — сказала она как бы шутливо и поднялась. В самом деле чувствовала большую усталость.

Он вышел в холл, заказал кофе и закурил. Думал всё о том же, о скучном, и сам этого стыдился: «Деньги. Только одна забота: проклятые деньги! Быть может, вернуться в Берлин уже через неделю? Скажу полковнику, что поехать в Москву не могу, и попрошу дать мне другое поручение? Он пошлет меня к черту. Да и в самом деле так не поступают. Во всяком случае, тогда надо было бы иметь в кармане эти две тысячи, чтобы вернуть ему, если он не согласится. Где же я их возьму? Часть уйдет уже здесь. Допустим, при расставании можно было бы вернуть ему только полторы тысячи и сказать, что последние пятьсот верну очень скоро». Но он представил себе выражение лица полковника и почувствовал, что и этого не скажет: нельзя. «И чем же было бы тогда жить? Останутся карты... Ну, нет, от честной игры я уж, во всяком случае,

никогда не отступлю! — *ответил* он себе на неуточненные чувства. — Хорошее было бы начало возрождения!» Почти с ужасом вспомнил: «В молодые годы иногда, правда редко, допускал, что был бы способен и воровать деньги у богачей, если б можно было это делать тайно и безнаказанно. Был по-настоящему преступной натурой. Но возрождение может быть только постепенным, другого, верно, и не бывает, иначе как в легендах о разных Кудеярах... Остается продать картины, мебель. При спешке дадут гроши. А дальше что?»

В холл, в сопровождении управляющего, спустился по лестнице невысокий экзотического вида брюнет в смокинге. Он что-то сердито говорил управляющему по-испански. Тот быстро кивал головой, видимо плохо понимал и отвечал по-французски. «Уж очень почитителен... Кто такой? Лицо приятное и печальное. Есть что-то первобытное, точно он сейчас схватится за нож. Одет хорошо. Горбоносый, усики чуть светлее волос», — почти автоматически заносил на какую-то ленту в мозгу Шелль, — «Пуэрториканец, что ли?»

— Я не знаю французского языка. У вас должны понимать по-испански, — так же сердито сказал господин и прошел в бар.

— Кто это? — спросил Шелль лакея.

— Миллиардер! — таинственным шепотом ответил лакей. — Миллиардер с Филиппинских островов! Только что приехал, занял самый лучший номер.

— Как его фамилия?

— Не знаю. Он ни на каком языке не говорит. Прикажете коньяку или бенедиктина?

— Коньяку.

Через несколько минут, допив кофе, Шелль встал и подошел к управляющему.

— Я вам дам завтра чек на швейцарский банк. У меня нет счета в банках Венеции. Вы это устроите. Тысячи три швейцарских франков, мне этого пока хватит... А кто этот господин? — вскользь спросил он.— Знакомое лицо. Кажется, я его где-то встречал.

— Быть может, вы видели его фотографию в газетах. Он сказочно богатый человек, — сказал с улыбкой управляющий и назвал длинную, тройную фамилию. — Хочет купить здесь дворец и устроить какой-то грандиозный праздник. Миллиардер!

— Миллиардеров в долларах нигде больше нет, а миллиард лир это меньше двух миллионов долларов, — пренебрежительно сказал Шелль. «Кажется, земля! Вблизи земля!» — подумал он и прошел в бар. Филиппинец сидел, развалившись в кресле, и курил. Вид у него был угрюмый. Шелль занял соседний столик.

— Какой прекрасный вечер! — по-испански сказал он. Человек с тройной фамилией оживился.

— Вы испанец?

— Аргентинец, — ответил Шелль и представился. Брюнет назвал свою фамилию.

— С вами можно хоть говорить по-испански. В этом отеле никто не понимает!

— Я видел, что управляющий вас плохо понимал. Если могу быть вам полезен, я к вашим услугам.

— У нас на Филиппинах все стараются говорить теперь по-английски. А вот я рад, что не говорю. Не хочу подлаживаться к янки.

— Это правильно. Так вам не нравится гостиница?

Филиппинец вздохнул.

— Отчего не нравится? Вероятно, она очень хороша. Говорят, это историческое здание. Должно быть, замечательный стиль? Я ничего в стилях не понимаю, как громадное большинство людей. Но они делают вид, будто понимают, а я вида не делаю, хотя это очень легко. У меня в Севилье есть собственный исторический дворец, все им восхищаются, кроме меня. Не люблю этой европейской погони за стариной. Надо жить новым и по-новому. В Маниле я выстроил себе дом, в нем семнадцать спален, и каждая спальная с ванной, и не стоячей, а вделанной в пол. А здесь у меня номер из четырех комнат, но ванная только одна... Вы уже, очевидно, решили, что я парвеню? И действительно, я парвеню, только откровенный. Я богат и сознаю свои обязанности перед обществом. А вот европейские богачи подделываются под герцогов и никакой пользы обществу не приносят... Впрочем, Венеция прекрасный город. Она ни на что другое не похожа. Я это люблю. Я собираюсь купить палаццо на Большом канале.

— Это прекрасное помещение капитала, — сказал Шелль. — Недвижимое имущество везде повышается в цене. Знаю по

собственному опыту. Я после войны купил себе в Париже небольшой особняк за восемь миллионов франков, а теперь он стоит двадцать пять или тридцать.

— Мне не нужно помещение капитала. Просто я хочу иметь дворец и в Венеции. Буду иногда сюда приезжать. Кроме того, я хочу устроить тут грандиозный идейный праздник и пригласить самых известных людей мира. Богатый человек должен сознавать свои обязанности перед обществом!

— Разумеется. Очень интересная идея.

— Я решил назвать мой праздник Праздником Красоты. Это хорошо будет звучать на иностранных языках?

— Отлично.

— По-моему, Венеция подходящее место. Для этого нужен дворец. Но какой купить?

Шелль назвал наудачу несколько дворцов.

— Я, конечно, не знаю, какие из них продаются. Я здесь ничего не покупаю. Праздник на сколько гостей?

— На три тысячи.

— Тогда палаццо Дездемоны был бы недостаточно велик.

— Какой Дездемоны?

— Это одна местная знаменитость. Палаццо Вендрамин уж подошел бы лучше. В нем умер Рихард Вагнер. Помните, известный немецкий композитор.

— Помню. А вы знаете все здешние дворцы?

— Я знаю в Венеции каждый камень, знаю историю города, его старину, всё. Приезжал сюда сто раз. Теперь приехал отдохнуть с женой, я только что женился.

— Вот как? Я не женат. Вы намерены долго здесь пробыть?

— Еще не знаю. Я свои дела ликвидировал. Просто стараюсь жить возможно приятнее. Если жене здесь понравится, то пробудем месяц или даже больше.

— Это очень приятно слышать. Быть может, даже... Так вы знаете и историю Венеции?

Шелль заговорил о Венеции восемнадцатого века, о праздниках, устраивавшихся дожами. Филиппинец слушал его с интересом.

Когда Наташа часов в десять вошла в бар, они играли в карты.



— Встретил старого знакомого, — весело сказал ей Шелль. — К сожалению, он говорит только по-испански, я буду переводчиком.

Он представил жене богача. Тот сказал что-то необыкновенно лестное и цветистое, — Шелль счел возможным перевести сокращенно. Всё же, как показалось Шеллю, вид у филиппинца стал несколько настороженный, как будто он опасался, что новая знакомая тотчас бросится в его объятия.

— Мне очень совестно: я обыграл вашего супруга на три тысячи лир. Пусть он мне простит, он играет плохо. А мне вдобавок всегда во всем везет. Даже в игре.

— Настоящему человеку должно везти и в любви, и в картах. Иначе он не настоящий... Моя жена привыкла к тому, что я всегда проигрываю.

— Я тебя везде ищу, — сказала Наташа. Она была не очень рада встрече с новым человеком. «Слава Богу, что я по-испански не знаю, не надо разговаривать...» Она посидела внизу недолго и простилась, сославшись на усталость. Шелль ласково поцеловал ей руку, но не выразил желания подняться с ней.

— Я скоро приду, милая.

Пришел он лишь часа через полтора. Она ждала его, скрывая огорчение и досаду. «Так и есть, ему уже со мной скучно! Не показать, что я сержусь... Это пустяки, никакого значения не имеет».

Шелль был очень весел.

— Приятный человек и забавный. Мы с ним встречались в Париже.

— Как его зовут? Кто он?

— Ты всё равно не запомнишь, у него тройная фамилия и пять или шесть имен, сам их не знаю: Хосе? Родриг? Рамир?

— Как же мне его называть? Дон Хосе? Или синьор Родриг?

— Вспомнил: он дон Рамон. Впрочем, можешь называть его и дон Хосе. Я ему скажу, что это из оперы Бетховена «Кармен», написанной по роману Достоевского. Он сам себя называет парвеню, а я таких парвеню никогда не встречал. Им полагается хвастать, одеваться безвкусно, у них пальцы должны быть «унизаны дорогими перстнями», а он одет прекрасно, лишь немногим хуже меня...

— Вот и ты похвастал.

— В кои веки можно. И манеры у него совсем не как у купчины Мордогреева в старых романах, скорее уж как у князя Иллариона Буйтур-Хвалынского. «Охоч был богач Лазарь похвалятися», а он похваляется мало. Есть наивно-тщеславные люди, которых приводит в упоение любой успех, любая статья в газете, любая опубликованная их фотография. Это главная их радость в жизни, они тотчас думают, как этот успех возможно лучше использовать для продолжения. Он не таков, он всё принимает как естественно ему полагающееся. Во всяком случае, он не «хам», как говорит одна моя знакомая дама. И забавно: он сам говорил, что ничего ни в каком искусстве не понимает, между тем в нем сильно эстетическое начало. Это иногда пошлая, но сильная, соблазнительная штука, — сказал Шелль, подумав и о себе, и даже об Эдде. — Его душа «ищет красоты», и притом не иначе, как «грандиозной». Странно. Все эстеты, которых я знал, были физически плюгавые люди. А он, напротив, недурен собой. Разумеется, он мегаломан, но не личный, а, так сказать, «классовый». Он мне сказал, что только частное богатство может спасти мир. Не частная собственность, а именно всемогущее частное богатство! Оно должно, кажется, посрамить большевиков красотой. С необыкновенно значительным видом несет вздор, смерть мухам. Но самое странное у него — глаза: задумчивые, грустные, если хочешь даже прекрасные. А еще говорят, что глаза — зеркало души.

— Глаза как глаза.

— И представь себе, какая у него тут идейная затея.

Он рассказал о празднике, о том, что обещал помогать советами. Наташа слушала с неприятным чувством.

— Тогда, значит, мы здесь задержимся?

— Куда же нам спешить? Посидим немного в Венеции.

— Я хотела тебе сказать, — сказала Наташа, преодолевая неловкость. Глаза у нее стали испуганными. — Я в Берлине за пансион теперь не плачу, только за комнату, и заплатила за месяц вперед. Хозяйка, конечно, знает, что я отдам. Но если мы еще тут остаемся, то надо всё-таки ей послать деньги, а то она продаст мои вещи. Да и неловко перед ней. Я уже ей должна!

— Это ужасно! Ты известная мошенница!.. Не волнуйся, я завтра же переведу ей.

## XVII

Очень скоро был куплен палаццо на Большом канале. В нем было все, что полагалось: atrio, cortile<sup>1</sup>, мозаичные полы, потолки, расписанные знаменитыми мастерами, каминь из греческого мрамора, потускневшая позолота, бронза, старинные диваны, кресла, стулья, баулы. Многого надо было чинить, еще больше докупать. В магазинах Венеции стильная историческая мебель существовала в непостижимом количестве. Рамон был доволен палаццо, хотя предпочел бы купить Са d'Oro. — «Са d'Oro я вам купить не могу, попробуйте сами», — сказал Шелль.

Интересы продавцов никак не расходились с его интересами. Тем не менее он, не забывая себя, отстаивал своего доверителя и торговался. Сам иногда с усмешкой думал о своем необычном кодексе чести. Рамон ценами почти не интересовался и, если иногда требовал и добивался скидки, то, как объяснял Шеллю, лишь для того, чтобы его не считали дураком. С него Шелль никакой комиссии не получал. Он и согласился ведать покупками лишь по настойчивой просьбе филиппинца.

— ...Вы мне оказали услугу, вы тратите много времени и труда на покупки, а всякий труд должен оплачиваться, таково мое правило, — сказал дон Рамон с той силой в голосе, с какой он высказывал подобные мысли. — Я прошу вас назначить себе вознаграждение.

— Это было бы очень странно, — с достоинством ответил Шелль. — Я вам помогаю потому, что заинтересован вашей идеей Праздника Красоты и считаю ее в высшей степени полезной. А деньги мне, слава Богу, не нужны.

Рамон согласился отступить от своего правила. Как все богачи, он был инстинктивно подозрителен в делах и смутно догадывался, что Шелль получает комиссию от продавцов. Впрочем, он ничего против этого не имел: это было в порядке вещей. Оценил, что Шелль от него вознаграждения не принял — чувствовал некоторое уважение к людям, отказывавшимся от его

---

<sup>1</sup> Атриум, внутренний дворик (ит.).

денег. «Кажется, догадывается, — с неприятным чувством думал Шелль, — ну, и пусть. Я не обязан для него работать даром». Оба были довольны друг другом. Скоро между ними установились приятельские отношения. Чуть не со второго дня филиппинец попросил называть его просто по имени. Наташа развеселилась.

— Значит, он тебя будет называть Эудженио или как-то вроде этого? Знаешь, я тоже буду тебя так называть: это лучше, чем «Евгений!» Но, ей-Богу, я не в состоянии называть по имени незнакомого человека.

— Да вы ведь всё равно не можете разговаривать. Он за меня так держится именно потому, что я говорю по-испански.

— Это я понимаю, но вот ты почему за него держишься? — спросила она и смутилась, заметив неудовольствие, проскользнувшее по его лицу. — Я, впрочем, решительно ничего против него не имею и рада, что у тебя нашелся знакомый. Можно называть его дон Пантелеймон? В той книге Тургенева, которую ты мне подарил, героиня называется Эмеренция Калимоновна.

— Да, Тургенев находил, что это очень остроумно... А мне, право, филиппинец нравится. У него есть привлекательные черты.

— Какие?

— Он добр, очень щедр, любит доставлять людям удовольствие и даже не требует за это благодарности.

— Тогда я ему всё прощаю. Главное в человеке доброта.

— Он вдобавок не глуп. Или, по крайней мере, не всегда глуп. Мне иногда интересно с ним разговаривать. Но он слишком болтлив.

— Пожалуйста, бывай с ним побольше и не думай обо мне. Я хочу как следует изучить Венецию, а ты ее знаешь и тебе незачем постоянно меня сопровождать.

— Слишком много разговаривать с ним тоже ни к чему. Всё-таки он совершенно невежественный человек.

Это в разговоре с Шеллем признал с полной готовностью и сам Рамон. Они сидели на террасе гостиницы, Шелльпил коньяк, филиппинец только курил папиросу за папиросой. Табак оказывал на него такое же действие, как вино на других людей.

— ...Я никакого образования не получил. Мой отец нажил свое богатство тогда, когда я уже был юношей. Он был гениальным дельцом.

— Вот как, — сказал Шелль, впрочем знавший, что гениальными дельцами неизменно признаются все очень разбогатевшие люди. — Вы несколько преувеличиваете.

— Вы отлично знаете, что я не преувеличиваю. Я невежда. Имейте в виду, я всё замечаю. Заметил и насчет Дездемоны... Помните, я при нашей первой встрече спросил вас, какая Дездемона. А вы после этого объяснили мне, кто такой Вагнер. Заметил, заметил. Я невежда, но не дурак. Много замечаю и не подаю вида. («Моя комиссия», — с еще более неприятным чувством подумал Шелль.) Действительно, я забыл, кто такая Дездемона. И даже не забыл, а просто не знал. Стыдно? Смешно? А другие только имя и помнят, больше ничего. О Вагнере я знаю и даже слышал «Тристана». Адски скучал, как девять десятых публики. И никогда не отличу Вагнера от какого-нибудь Брамса. Еще слава Богу, если отличу от «Веселой вдовы». Другие от «Веселой вдовы» отличат, но не от Брамса. И «Веселая вдова», наверное, доставляет им больше удовольствия, чем «Тристан». Все врут, а я откровенный человек. И вообще я лучше очень многих. Я сознаю свои обязанности перед обществом. Я кормлю много людей, у меня на содержании находятся люди, мне совершенно ненужные, и я давно к этому привык. Мой главный недостаток тот, что я самодур. Это правда. А Дездемоны это вздор. Я в самом деле мало читаю. Мне книги не доставляют удовольствия, не выработал себе с детства привычки. Дипломы же мне не нужны. Я в любую минуту мог бы стать доктором... Как это называется? *honoris causa*. За крупное пожертвование мне даст степень любой университет...

— Отнюдь не любой, — ответил Шелль. Богач всё же его раздражал.

— Предлагали, предлагали. А зачем мне быть доктором *honoris causa*? И зачем я буду давать деньги университетам, когда я ничего не понимаю в науках и даже не очень их уважаю? Они приносят много зла, особенно в последние годы. Или, скажем, искусство. Картины у меня в Севилье есть, но я и в них не знаю толка. Мне здесь показывали одну картину...

Как его? Джорджионе? Гид говорил, если я его понял, будто это самая дорогая картина на свете. Верно, врал. Какое-то особенное небо! И ничего особенного в его небе нет, настоящее небо гораздо красивее. Впрочем, картины я иногда покупаю. Сам не знаю, для чего...

— Могли бы купить и здесь. У здешних патрициев сохранились настоящие шедевры, их можно купить очень дешево, — вставил Шелль. Рамон слегка усмехнулся.

— Сейчас не собираюсь.

— Тогда и не надо... Вас, вероятно, очень многие ненавидели за то, что вам так везет в жизни.

— Не думаю, — сказал удивленно и обиженно Рамон. Эта мысль, очевидно, никогда ему не приходила в голову. Он наивно огорчился. — Не думаю, чтобы меня ненавидели.

— Я высказал не слишком оригинальную мысль. Я и сам ненавидел богачей, пока сам не стал богат. — Они немного помолчали. — Всё-таки я хотел бы возможно лучше понять задачу вашего праздника. По-моему...

— Вы только что сказали, что уже оценили мою идею! — сказал Рамон с неудовольствием. — Не люблю повторять одно и то же. Теперь идет борьба между двумя мирами. Моя идея в том, что только частное богатство может показать человечеству значение западной цивилизации. Силой вы коммунистов не поразите, наукой тоже нет, они сами додумались до атомной бомбы. Им надо нанести удар красотой! — произнес он с тремя восклицательными знаками в интонации. — Я хочу, чтобы мой Праздник Красоты превзошел все когда-либо виденное миром!.. Я просил вас подумать о сюжете и программе. Надеюсь, вы это уже сделали?

— Да, я *согласился* подумать. Даже кое-что прочел, — ответил Шелль. Его тактика заключалась в том, чтобы держаться вполне независимо и порою свою независимость подчеркивать. — Но поразить мир красотой не так легко. Во всяком случае, при неограниченных кредитах сенсация может выйти большая.

— Шум действительно необходим. Говорю это не из тщеславия. Мне лично шум не нужен. («Действительно, у него тщеславие отстаёт от самодурства», — признал мысленно Шелль.) Главное, это моя идея!

— Я предлагаю вам следующее: мы воспроизведем, с совершенной точностью и с ослепительным блеском, церемонию избрания дожа. Это будет также апофеозом идеи *выборов*. Вы тут, помимо красоты, противопоставите коммунистами демократическую идею.

— Может быть, это хорошая мысль... Да, да... Прекрасная мысль... Значит, придется снять Дворец дождей?

— Нет, его нам не сдадут.

— Сдадут! Это мое дело, вы только будете переводить мои слова.

— Деньги большая сила, но вы всё-таки напрасно думаете, что всё можно купить, — сказал Шелль внушительно. — Дворца дождей вы не получите, да в нем нет и никакой необходимости. Обычно дело происходило так. В городе гремели пушки, звонили колокола, народ неистовствовал. Так будет и у нас. Под звуки музыки новый дож выходит из своего частного дворца. Ваш, как вы знаете, когда-то принадлежал семье одного из дождей. Затем он шел по площади святого Марка. Над ним несли исторический зонтик, *umbrella Domini Ducis*. Сопровождали его патриции, сенаторы и все сословия, вплоть до портных и сапожников. Таким образом осуществляются три идеи: красота, выборное начало, равенство сословий. Я только символически выражаю то, что вы мне намечали. Идеи не мои, а ваши.

— Вы мне льстите, я не всё это говорил, но ваш план нравится мне чрезвычайно. Сердечно вас благодарю.

— Не за что. Мы могли бы даже назвать ваш праздник праздником Красоты и Свободы.

— Нет, не хочу. Пусть называется, как я решил: Праздник Красоты.

— Можно и так. Теперь идейная сторона дела мне вполне ясна. Однако, ведь есть еще и сторона личная, правда? Мне кажется, я правильно понимаю вас, как человека. Вам всё надоело, вы ищете, ну, что ли, новых ощущений, грандиозности в красоте, правда?

— Этого я не отрицаю. Да, новые ощущения. Вы умный человек.

— Вы будете играть роль дожа.

— Я? Дожа?

— У вас и наружность подходящая. Мы только приклеим вам бороду. Дожи носили великолепную раззолоченную мантию. В таком виде ваши фотографии появятся во всех газетах. На вашем празднике будут самые красивые женщины мира, вдруг вы найдете и личное счастье, Рамон, — смеясь, сказал Шелль.

— В чем же будет моя роль?

— Дождь сел на трон над Scala Dei Giganti<sup>1</sup>, помните эту монументальную лестницу в Palazzo Ducale<sup>2</sup>? И оттуда бросал народу пригоршнями золотые монеты. Можно бросать и серебряные, но мы объявим в газетах, что вы бросали золотые. Я знаю, что вы никак не рекламист, однако кто это сказал. «Самому Господу Богу нужен колокольный звон».

Рамон смеялся, хотя и несколько смущенно. Шелль нравился ему всё больше; с ним было весело.

— Я с вами не согласен, но продолжайте.

— Вы будете сидеть на троне в вашем дворце. За вами будут стоять телохранители. Они носили бархатные кафтаны и камзолы разных цветов, короткие панталоны и длинные, тоже бархатные, чулки. Шпаги были прямые, тонкие, длинные. Для вас мы закажем меч с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Это будет большой расход. Впрочем, ведь меч вам останется. После того, как с него снимут фотографию для газет и журналов, вы его повесите на стене вашего кабинета.

— Но каково будет действие? Нельзя же мне просто сидеть на троне.

— Конечно, нельзя. Мы будем опять верны истории. К новому дождю приезжала его жена, догаресса. Ее везли на огромной гондоле с палаткой. Роскошь этой палатки должна быть неопишима. Опять, предупреждая, большой расход.

— Вы, верно, хотите, чтобы догарессу играла ваша жена? — спросил Рамон. — Она, конечно, красавица, но...

— Этого я и в мыслях не имел! — сказал Шелль, внезапно рассердившись. — Ищите себе догарессу сами.

— Я ничего не хотел сказать обидного.

— Я и не позволил бы вам сказать что-либо обидное. Вообще, я готов устраниться в любую минуту. Мне-то что!

---

<sup>1</sup> Лестницей богов-гигантов (ит.).

<sup>2</sup> Дворце дождей (ит.).



— Пожалуйста, не сердитесь, дорогой друг... А что происходило с догарессой?

— Она под звуки оркестра, в сопровождении блестящей свиты, плывет к вашему дворцу. Везут ее буцентавры.

— Какие буцентавры?

— Это были такие мифологические чудовища. Дождь всегда ездил на буцентаврах. То есть не всегда, но на больших церемониях. Например, когда он венчался с Адриатическим морем.

— Где же мы возьмем буцентавров?

— Там же, где их брали дожди: в мастерских.

— Так вы хотите изобразить и мое венчанье с Адриатическим морем?

— Зачем вам, к черту, венчаться с Адриатическим морем? Какой интерес венчаться с Адриатическим морем? И ведь нам надо показать ваш дворец. Итак, догаресса выходит из гондолы, поднимается к вам и садится на трон рядом с вами. Народ неистовствует. Затем в большой зале мы поставим спектакль, как было в эпоху Возрождения. Тогда это называлось *Representazione di ciarlatani*<sup>1</sup>. И в публике будут все знаменитости мира, титулованные особы, писатели, кинематографические звезды...

— Мы им объясним идейное значение Праздника Красоты! Они не могут этого не понять!

— Конечно. Кроме того, это для них реклама. Этого они также не могут не понять. А как только мы опубликуем первый список приглашенных, нас будут осаждать просьбами о приглашениях. Закончится праздник грандиозным историческим ужином. Меню будет такое, какое бывало у дождей. Сначала закуски...

— Икру выпишем прямо из Москвы. Сто кило икры.

— В ту пору икры в Венеции не знали. Но тут можно немного отступить от исторической истины. За закусками последуют три супа, в том числе *zuppa dorata*<sup>2</sup>. Рыб надо не менее десяти.

— Десять рыб?

---

<sup>1</sup> Представление болтунов (ит.).

<sup>2</sup> Золотой суп (ит.).

— Не меньше. Chierra, orada, anguilla, loto, corbetto, girolo, lucino, astesi, cevoli, bamboni, lampedi.

— Как вы всё помните! Я и не знаю, какие это рыбы.

— Я тоже не знаю, но повара должны знать. После рыбы у дождей подавались жареные павлины. Вот тут некоторая трудность. Павлинов действительно достать нелегко, это вам не писатели.

Шелль становился всё веселее. Его больше не раздражал вид удачников, баловней жизни, переполнявших роскошную гостиницу. Теперь он сам был равноправный удачник. Деньги плыли к нему, как никогда до того не плыли; никогда и не доставались так легко, без всякой опасности, почти без труда. По его приблизительному подсчету, праздник мог ему принести около двадцати пяти тысяч долларов. Теперь было еще меньше оснований сомневаться в своей звезде. У продавцов он быстро стал популярен: они видели, что с ним можно иметь дело, — живет и дает жить другим. Он говорил себе, что его дело обычное, законное. Правда, морщась, думал, что возвращается на путь добра посредством сомнительных, хотя и не караемых законом, афер. «Ну, что ж, это в последний раз в жизни. Да и почти все частные богатства в мире созданы такими же способами. А я стремлюсь не к богатству, только к материальной независимости, больше мне ничего не нужно. Имею же и я право на человеческую жизнь».

Взятых у полковника двух тысяч долларов он еще не вернул, хотя это теперь было легко. Придумывал наиболее подходящее объяснение. «Он, конечно, решит: «струсил», или «стал слабеть, кончен». Упрека в трусости я могу не бояться. Генерал Корнилов никогда без необходимости не шел в огонь, знал, что никому и в голову не придет, будто он боится!» — думал Шелль. Несмотря на его решение навсегда уйти из разведки, ему было бы неприятно, если б его бывшие товарищи по ремеслу сочли его развалиной.

Как-то на прогулке с Наташей в гондоле он подумал: «Да отчего же не сказать полковнику правду? Напишу, что неожиданно влюбился, еще неожиданнее женился, оставить жену не могу, вынужден отказаться от поручения, очень прошу извинить, прилагаю чек на две тысячи». Полковник пожмет плеча-

ми, крепко выругается, и всё будет кончено». Его веселило то, что эта мысль — сказать правду — пришла ему в голову последней. «Агония *прежнего Шелля*».

Оставшись один, он принялся составлять письмо полковнику. Без подписи, без имени отправителя на конверте, оно никого скомпрометировать не могло; да и было маловероятно, чтобы его перехватили. Однако правило оставалось правилом: все письма должны зашифровываться. Для менее важных сообщений шифр был простой: словарь, русско-английский, не тот, что дали Эдде. Шелль написал краткий текст по-русски и стал зашифровывать. Слово «неожиданно», — «unexpectedly», «surprisingly», «suddenly» стояло на 320-й странице, двадцать восьмым сверху. Он написал: 320, 28. На странице 56-й было слово «влюбляться, влюбиться» — «to fall in love with», «to be enamoured of...» Шелль хотел было написать соответственные цифры, но почувствовал, что не может: выйдет слишком глупо. Представил себе, как полковник за столом наденет очки, разыщет, прочтет. «Нет, нельзя! Сказать иначе, зачем сообщать ему, что я «влюбился»? На словах в Берлине будет неизмеримо легче, скажу с усмешечкой, посмеиваясь над самим собой: «Представьте, на старости лет случилось же такое: женился! В худшем случае полковник скажет ледяным голосом: «Так не поступают, господин Шелль. Я из-за вас потерял даром много времени, и мне нет никакого дела до ваших любовных романов!» В лучшем случае он пожмет плечами, тоже усмехнется, поздравит с законным браком, «имею честь кланяться».

Вместо письма он послал телеграмму. «Через несколько дней приезжаю». Это было не очень удобно. «Он еще укрепит-ся в уверенности, что я согласен. Не беда».

Предстояло и удовольствие: всё, наконец, соответственно объяснить Наташе. «Она, бедная, просто не знает, что подумать: зачем этот Рамон? зачем я трачу столько времени на идиотский праздник?»

На следующий день он сказал Наташе:

— Что же, решила ты, где нам поселиться? Пора бы решить.

Говорил так, точно много раз задавал ей этот вопрос, а она всё не отвечала. Наташа и смутилась, и обрадовалась: наконец-то разговор, настоящий разговор!

— Я?.. Мне всё равно. Это от тебя зависит. У тебя ведь дела в Берлине?

— Я бросаю свои дела. Они были очень скучны, смерть мухам. А Берлина я не люблю. Выбирай.

— Как же я могу?.. Разве ты можешь жить где угодно? — спросила она испуганно. «Вдруг подумает, что меня интересуют его деньги!»

— Для скромной жизни у нас денег достаточно. И мне почти всё равно, где жить. Я, как старый Людовик XIV, *je ne suis plus amusable*<sup>1</sup>, — сказал он, забыв, что уже ей это говорил.

— Людовику XIV был восьмой десяток, а ты вдвое моложе, — ответила она, тоже не в первый раз. — Сорок второй год это разве только конец молодости.

— Спасибо и на этом, — сказал Шелль чуть холоднее прежнего. — Я всем столицам в мире предпочитаю Париж. Но там теперь нельзя найти квартиры. На старости лет — виноват, в конце молодости — мне очень хотелось бы иметь свой домик с садом. В Париже, при талантливом правительстве Четвертой республики, цены таковы, что собственный угол там может достать только Рамон и ему подобные. Скажу еще раз: что, если б мы поселились в Италии? Нам обоим так здесь хорошо.

— Я была бы счастлива!

— Ты меня ни о чем не спрашивала, я знаю, что ты деликатна до глупости. А я не хотел говорить с тобой раньше, так как мои дела до сих пор были не выяснены. Могу теперь сообщить тебе, что я их продал Рамону. Поэтому я и хочу отблагодарить его, помогая ему в его идиотском празднике.

— Так вот что! А я, каюсь, не понимала... Как я рада!

— У нас с тобой теперь состояние приблизительно в двадцать пять тысяч долларов.

— Господи! Ведь это богатство!

— Это очень небольшое состояние, даже не предместье богатства, но на некоторое время хватит. Я спрашивал управляющего. Здесь, не в самой Венеции, конечно, но поблизости, мы могли бы купить небольшую виллу с садом за пять-шесть тысяч долларов. Что ты об этом сказала бы?

— Я просто лучшего и представить себе не могу!

---

<sup>1</sup> Меня это больше не забавляет (*фр.*).

— А не будешь скучать? Ты могла бы тут и дальше заниматься историей.

— Разумеется! Непременно! Правда, для этого нужна библиотека.

— Книги ты купишь. А если их в продаже нет, будем иногда ездить в Париж. В Национальной библиотеке всё есть, это, кажется, первая библиотека в мире. Квартир в Париже нет, но гостиницы, слава Богу, есть. Ты будешь там делать выписки. Конечно, плюнь и на отзовистов, и на тот университет. Ведь ты и не собиралась серьезно стать профессором и жить в Югославии.

— Отчего же нет? Ты только что сказал, что тебе всё равно, ты ведь как Людовик XIV.

— Людовик XIV тоже не согласился бы жить в Сремских Карловцах.

— Я так счастлива! Так люблю тебя!

— Ты мне это сейчас докажешь. — Она вспыхнула. — О, конфузливое дитя.

## XVIII

.....

## XIX

Комиссионер предложил несколько подходящих вилл на Лидо и в окрестностях Венеции. Шелль отправился их осматривать с Наташей. Первая вилла оказалась неподходящей, но вторая чрезвычайно понравилась им обоим. Недалеко от «Эксельсиора» стоял в садике одноэтажный уютный дом, из пяти комнат, очень удобный, чистый и приятный. Продавала старая итальянка, желавшая переехать в другое место после смерти мужа, который выстроил виллу перед первой войной.

— Ваш муж и умер здесь? — тревожно спросил Шелль.

— О, нет, он умер в больнице в Риме, — сказала хозяйка и продолжала объяснять удобства виллы. Ванна отличная, кухня очень большая, в саду есть фонтан.

— ...Всё-таки современный комфорт имеет преимущества. Если б вилла была исторической, то вместе с историей нам достались бы крысы, — говорил Шелль Наташе, впрочем, не совсем искренне: он предпочел бы виллу, построен-

ную «по рисунку Сансовино». — Увидишь, как нам тут будет хорошо.

— Я в восторге! Но стоит больше, чем ты хотел заплатить. Не слишком ли это для тебя дорого?

— Не для тебя, а для нас. Ты теперь наше состояние знаешь. А я без заработков не останусь.

Покупал он умело, — Наташа удивлялась, хотя и плохо понимала его разговор с хозяйкой. Он отметил недостатки дома, признал цену очень высокой, против своего обычая поторговался, мило, учтиво и даже шутливо. Добился небольшой скидки. Потом говорил Наташе, что можно было бы выторговать еще тысяч пятьдесят лир, но он этого и не хотел: что ж обижать старуху? (Этим тоже бессознательно замаливал грехи.) Когда обо всем сговорились, Шелль, без нотариального договора, предложил хозяйке задаток в двести тысяч лир и тут же дал ей чек.

— А можно у вас теперь посидеть немного в саду?

— Помилуйте, дом ваш! Оставайтесь, сколько вам будет угодно! Я пришлю вам и прелестной синьоре кофе или вина, — говорила хозяйка, видимо им очарованная.

— Спасибо. Тогда вина. Выпьем с большим удовольствием.

— Ты даже и расписки у нее не взял! — говорила Наташа, показывая свою деловитость. Он усмехнулся.

— *«Il lui jeta sa bourse et la brave femme fondit en larmes»*<sup>1</sup>.

— Как?.. Откуда это?

— Из всех самых лучших романов, — ответил Шелль. Его немного раздражало, что Наташа плохо понимает по-французски. — Добавлю, что чек сам по себе расписка. И вообще, не надо все исполнять дословно и слишком формально. Знаешь, есть такой вид забастовки: рабочие нарочно всё исполняют по правилам с совершенной точностью. Общественный порядок, очевидно, таков, что если всё исполнять по правилам, то забавным образом получается хаос.

— Ты скептик.

— Нет, я лжескептик. И лжемизантроп. И лжепессимист.

— Я знаю, всё «лже» и «лже», — сказала она и быстро его поцеловала, оглянувшись на дверь.

---

<sup>1</sup> «Он бросил ей кошелек, и отважная женщина залилась слезами» (фр.).

В садике был стол и плетеные кресла. Погода была чудесная. Хозяйка принесла им графин с вином и тарелочку печенья. Он пододвинул хозяйке кресло и разлил вино по стаканам. «Кажется, она смотрит на его руки», — подумала Наташа. Руки мужа не нравились и ей, она старалась на них не смотреть.

— Винчи, — сказал Шелль. На хозяйку произвело впечатление и то, что он тотчас распознал малоизвестную марку вина. Она говорила, что они могли бы переселиться уже в пятницу, всё будет готово.

— Не в пятницу, это тяжелый день, — сказал он, тоже к полному ее удовлетворению. — Мы переедем верно несколько позднее.

— Тогда я запру дом и привезу вам ключи, дайте мне адрес... Так вы не хотите купить часть мебели? Я дешево продала бы.

От мебели он отказался, сказав (с гордостью, которая его самого удивила), что они молодожены и хотят обзавестись всем новым.

— Какая милая! — сказала Наташа, когда они остались одни. — Что она говорила? Как жаль, что я не знаю итальянского языка. Теперь буду учиться, куплю себе самоучитель. Ты и ее очаровал!

— Спасибо за «и». Она предлагала купить ее мебель, но я отказался. У меня ведь есть мебель двух комнат в Берлине, и недурная. Мы за ней туда скоро съездим. А остальное купим. Старинную или новую?

— Какую хочешь. Я люблю старину, очень люблю, особенно русскую. Но, хоть убей меня, я не сяду в узкое стильное кресло с прямой спинкой и не положу своего белья в «источенный червями баул эпохи Возрождения». — Наташа теперь иногда бессознательно подражала его стилю.

— Купим новую. В большой комнате мы устроим рабочий кабинет...

— Рабочий кабинет? Это отлично. Значит, ты будешь работать?

— Нигде так ни хорошо ничего не делать, как в «рабочем кабинете». Это будет наша living room<sup>1</sup>. В ней есть даже «baie vitrée, en rap soucé»<sup>2</sup>, как во всех светских пьесах французского театра. Рядом будет твой будуар.

---

<sup>1</sup> Гостиная (англ.).

<sup>2</sup> «Эркер в срезанном углу комнаты» (фр.).

— Какой еще будуар! Зачем мне будуар?

— Нельзя без будуара, как мы теперь средняя буржуазия, — весело сказал он. — Картин больше покупать не буду. Цветы Ренуара, «Рыбы» Сезанна изумительны, но мной овладела бы смертельная тоска, если б они у меня висели целый день и целую ночь, на одном и том же месте. Вдобавок, я обжегся на картинах, как обжигается большинство любителей: думал, разбогатею, а на самом деле купил втридорога. Утешился тем, что жена Сезанна затыкала трубы акварелями своего мужа... А те две комнаты рядом, что выходят в сад, будут спальни. Не сердись, я привык спать один.

— Как хочешь, — сказала Наташа, вспыхнув.

— Столовых теперь в новых квартирах часто не делают, но пусть будет и столовая.

— Главное, это твой кабинет. Я не видела твоей берлинской мебели, но тебе нужен большой письменный стол, полки с книгами, и непременно в хороших переплетах, затем большие покойные кресла. Я и свои книги перевезу сюда из Берлина, у меня их мало, но тоже поставим на полки.

— Мы перевезем всё твое, всё, до последнего платья. На память.

— Правда? Как я рада! А та, маленькая, угловая будет «комнатой для друзей». У тебя есть друзья?

— Нет, и пропавши они пропадом, — сказал Шелль. Сказал привычные слова почти автоматически и подумал, что на всем свете ему близко только одно это беспомощное существо, благодаря которому, как это ни обидно-банально, он действительно начинает «новую жизнь».

— Ну, вот! А тебе не будет скучно, Эдженио?

Вместо ответа он обнял ее. Наташа опять конфузливо оглянулась на окна виллы.

— Я всю жизнь прожил в больших городах и, как кочевники-берберы, всю жизнь считал это позором. «Человек создан для деревни». Жаль только, что при этой вилле нет каких-нибудь ста десятин пахотной земли. Мы завели бы, скажем, трехпольное хозяйство. Ты знаешь, что это такое?

— Плохо.

— А я и того меньше, — смеясь, сказал он. — А то еще у Толстого есть «чемерица». Не знаю, какая такая чемерица,



никогда не видел. Но в романах помещиков-классиков всё это так заманчиво описано, и слова такие приятные, уютные: «пахнущие ряды скошенного луга на косых лучах солнца». Просто слюнки текут. Зато мы с тобой здесь в саду посадим фруктовые деревья. Ты умеешь сажать деревья? Нет? Позор! И я не умею.

Она тоже весело смеялась.

— Научимся. Я хотела бы, чтоб была сирень. Она ведь растет в Италии? Мне она милее всяких пальм и кактусов.

— Посадим и сирень.

— Как будет хорошо, особенно весной! Я так рада, так рада! Свой угол, и какой! Но всё-таки скажи откровенно, ты совершенно уверен, что не будешь скучать? Меня только это и тревожит, — сказала Наташа. Это было сокращением: «не будешь со *мною* скучать?» — Еще раз скажу, я на твоём месте стала бы писать роман или повесть. Как ты думаешь?

— Для этого у меня не хватает безделицы: таланта. И притом шутка ли это сказать: быть писателем! Разумеется, я говорю о *настоящих* писателях, баловаться может кто угодно, законом не запрещено. Но писать, учить людей — чему? И это я буду учить! Бюффон надевал кружевные манжеты, когда садился писать: для торжественности. Он священнодействовал, думал, что пишет для вечности. А теперь его никто не читает. Писательская вечность — это еще хорошо, если двадцать лет... Нет, я скучать не буду. Единственное, чего я боюсь: не будет ли климат Венеции вреден для твоего здоровья? Но ты уже с месяц не кашляешь. И притом мы всё-таки будем жить на Лидо, а не на каналах. Кстати, в Венеции есть превосходная библиотека с сотнями тысяч книг. Мы будем ездить в город каждый день, ведь рукой подать. Мне всегда казалось, что это идеал: жить в этом сказочном городе, сидеть на террасе у Флориана, любоваться этой единственной в мире площадью. Я буду там тебя ждать после библиотеки. Если ты напишешь книгу о Ниле Сорском, мы издадим ее на наши деньги.

— Правда? Это можно? Без университета? Я буду работать целые дни!

— Сейчас же начни выписывать книги. И покупай всё что нужно, готовь наш дом... Она назвала тебя «прелестной синьорой». Ты поняла?

— Нет. Я буду писать книгу, а что же всё-таки будешь делать ты?

— Еще не знаю.

— И мы можем так жить, ничего не зарабатывая?

— Посмотрим. Здесь, кстати, жизнь недорогая. У нас будет только горничная-кухарка. Ты любишь итальянскую кухню? Да, ты говорила, что любишь. Я предпочитаю французскую и русскую, но и итальянская хороша. Пить будем вот это самое Винчи. Это то местечко, из которого вышел Леонардо. Очень крепкое и недурное вино. Отлично будем жить. А как будем спать в этой тишине!.. Я по природе очень деятельный человек, но всё-таки скажу: лучшее удовольствие в жизни это спать, хорошо спать. Без снотворных.

— Нет, не это лучшее удовольствие в жизни, — сказала Наташа.

Когда они вернулись в гостиницу, швейцар подал ему телеграмму. Она была от полковника. В ней было сказано:

«Николай умер скоро буду Венеции подождите моего приезда».

## XX

Шелль сидел утром в углу на террасе кофейни Флориана. По давней привычке он всегда в кофейнях садился у стены или же лицом к зеркалу, — надо было видеть и то, что могло происходить позади него. Наташа отправилась в S. Maria Mater Domini, — осматривала все церкви по кварталам, не пропуская ни одной. Он пил кофе и лениво думал, что всё складывается очень недурно.

Телеграмма полковника поразила его. Поездка в Россию отпала никак не по его вине. «Так удачно вышло, что я не послал ему письма с отказом! Я имел бы теперь моральное право не отдавать аванса... С тех пор, как я стал состоятельным человеком, гораздо чаще употребляю слова «мораль», «моральный»... Это тоже мысль *прежнего* Шелля, будь он проклят... Разумеется, я отдам аванс. А на женитьбу можно и не ссылаться. «Извольте получить деньги. Желаете в долларах или в швейцарских франках?» — «Но ведь это никак не ваша вина». — «И не ваша. А я не привык получать деньги даром». Он будет

поражен, в нашем кругу люди так ведут себя редко. То есть, в моем *бывшем* кругу, до которого мне больше никакого дела нет... Поразительна всё-таки эта смерть Майкова, так странно совпавшая с моим бредом. Уж не покончил ли он с собой? Что же я в самом деле буду делать дальше?» Оркестр на площади святого Марка играл что-то бравурное. Туристы возились с фотографическими аппаратами. Шелль вдруг остолбенел: шагах в пятнадцати от него кормила голубей Эдда.

Он смотрел на нее так, точно увидел на площади гиппопотама. Хотел было незаметно ускользнуть, но как раз она встретила с ним взглядом. Эдда как будто не удивилась и, бросив кулек с хлебными крошками, направилась к нему с улыбкой, не предвещавшей, по-видимому, ничего особенно худого. Как всегда, она была одета не хорошо и не плохо, но несколько неправдоподобно.

— Здравствуй, дорогой мой. Давно ли ты из Испании? — саркастически спросила она, садясь за его столик. «Наташа!» — подумал он. Не сказал Наташе, что будет у Флориана: они должны были встретиться в гостинице; всё же она могла зайти и на площадь.

— Здравствуй, кохана. Как поживаешь? — сказал он, целуя ей руку. — У тебя прекрасный вид. Еще похорошела. Я думал, что ты в Париже?

— Была в Париже. Ты, верно, знаешь, что я всё блестяще сделала.

— Я ничего не знаю, но я в этом не сомневался. А зачем ты выкрасила одну прядь волос?

— Это последняя парижская мода.

— Не последняя. Немало дур уже это проделали в прошлом году.

— Что ты понимаешь!.. Теперь я приехала сюда и с радостью узнала, что ты в Венеции: видела с берега, как ты ехал на гондоле с одной девчонкой *fichue comme l'as de pique*<sup>1</sup>, и с одним довольно плюгавым господином.

— Да, у меня тут есть знакомые.

— Она твоя любовница? Я оболью ее царской водкой, — сказала Эдда, впрочем, довольно миролюбиво.

---

<sup>1</sup> Дрянной, как твоя колкость (*фр.*).

— *Cela fera très Cesar Borgia*<sup>1</sup>. Только она не моя любовница.

— Я тебя знаю. Но сначала поговорим о делах.

— Поговорим о делах, дочь моя рожеюя.

Она рассказала, как познакомилась с лейтенантом, очень быстро — «в два счета» — его соблазнила, сделала своим соучастником и получила от него чрезвычайно ценные документы. Говорила вполголоса, хотя рядом с ними никого не было; говорила со скромно-торжествующим видом. Шелль вставлял одобрительные и даже восторженные восклицания. «Врет или не врет, вот в чем вопрос». Он знал, что Эдда иногда лжет почти болезненно. Впрочем, такие припадки случались с ней не часто

— ...По вечерам мы пили шампанское, я ему читала стихи, он в меня влюбился без памяти. *Coup de foudre!*<sup>2</sup> Он очень милый мальчик. Ты знаешь, что я интернационалистка, но я обожаю американцев, они такие непосредственные! Ты врал, будто я работаю под ведьму. С ним я работала под дуру!

— Воображаю, как ты измучена! Но то, что ты сделала, просто поразительно. Пять с плюсом! — сказал он, когда она остановилась в ожидании новых восторгов. — А где теперь этот лейтенант?

— Он завтра сюда приезжает. Джим ради меня навсегда порвал с американцами! Но не могли же мы уехать вместе, это было бы не конспиративно. И представь, он даже и до меня был левый! Джим против раздела России.

— Джим против раздела России. Неужели? Вероятно, ты тоже в него влюбилась? — с надеждой спросил Шелль.

— Нет, он недостаточно для меня умен. Я люблю только умных людей, хотя бы они были такие хамы, как ты. И мне не нравится его имя Джим! Что может быть прозаичнее? Надо называться Бальдур фон Ширах! Вот это чудное имя!

— Чудное. Он хорошо тебе заплатил? Не Бальдур фон Ширах, а американец.

— Ни гроша. Это было по любви, я с него и не взяла бы

— Быть может, у тебя комплекс Федры? Ничего, ангел мой, советский полковник даст тебе много денег. Куй железо, пока горячо! Поезжай в Берлин немедленно, сегодня же.

---

<sup>1</sup> Это будет в стиле Цезаря Борджиа (*фр.*).

<sup>2</sup> Любовь с первого взгляда (*фр.*).

— Зачем же ковать железо так быстро? Нет, я посижу тут с Джимом и с тобой, — насмешливо сказала она. — А твой советский полковник не только хам, но и скупердяй.

— Ты ему уже доставила бумаги?

— Разумеется. В тот самый день, какой мне указали, — ответила Эдда. Это было не совсем точно: Джим велел сдать пакет восемнадцатого, но в этот день у нее было несколько примерок у портных, и она сдала пакет накануне. — И знаешь, сколько они мне заплатили? — Она назвала сумму действительно не очень большую. — Правда, объяснили, что должны установить важность бумаг, дают пока только на расходы. А у меня расходы были огромные. Я не могу быть одета так, как твоя девчонка! Она уже твоя любовница или только будет? Ты и в любви человек двойной жизни.

— Кохана, ты дура. Понимаешь: ду-ра. Дэ как дубина, у как умора, эр как рехнулась, а как ахинея. Говори в виде исключения толком. Помни, Валамова ослица и та однажды заговорила человеческим языком. Тебе нужны деньги?

— Мне всегда нужны деньги! Подумаешь, дали гроши и спрашивают! — сказала она с возмущением, но неопределенно: гроши ей дала советская разведка, а Шелль, как всегда, был щедр, она это признавала.

— Я мог бы тебе добавить, ангел мой. Конечно, немного.

— Вот как? Ты разбогател?

— Получил тысячу долларов. Половину могу тебе дать.

— Приятно слышать. Но что я сделаю на пятьсот долларов? Разве это деньги — пятьсот долларов?

— Я потом пришлю еще.

— Потом? Пришлешь? Значит, ты пока в Берлин не возвращаешься?

— Возвращаюсь очень скоро. Еще не знаю, когда именно.

— Ты хам, — сказала она уж совсем добродушно. Когда сердилась, произносила это слово с тремя «х»: «х-х-хам!». Теперь «х» было одно. — И, пожалуйста, не думай, что я так влюблена в тебя. Ты мне стал индифферентен.

— Это неграмотно, но по существу хорошо, — сказал он, очень довольный.

— Не тебе учить языку поэтессу. Я говорю не по шаблону, а создаю свои выражения, я творю язык. Всё-таки за

пятьсот долларов спасибо. Они очень кстати. Тебе не трудно дать их мне?

— Трудно, но я дам. Так на молодом американце, значит, ты не поживилась?

— Какое хамское выражение!

— «Верх необразования и подлость в высшей степени».

— Я у него не брала денег по тысяче причин. Во-первых, у него их нет.

— Тогда, красавица, остальные девятьсот девяносто девять причин излагать незачем.

— Правда, у него дядя миллионер, но, вероятно, он ему дает очень мало.

— Какой скверный дядя! По-видимому, лейтенант тебя бросит, кохана?

— Меня никто никогда не бросал! Но я скоро его брошу. Он мне надоел.

— Верно он недостаточно инфернален? Что ж, кохана, довольна ли ты своей новой профессией?

— Нет. Совсем недовольна!.. Ты вечно надо мной насмеяешься, говоришь со мной, как с дурой, разве я этого не вижу? «Недостаточно инфернален», ах, как глупо! Я не ангел, но ведь и ты ничем не лучше меня. Попробовал ли ты хоть раз заглянуть в мою душу? Хочешь ли ты, чтобы я тебе рассказала мое детство?..

— Нет, не хочу... То есть, хочу, но когда-нибудь в другой раз.

— Догадываешься ли ты, как мне всё это надоело, все гадости, вся грязь! Я только и желаю жить, как порядочные люди. Разве я не знаю, кто я?.. Мне очень не везло в жизни, — сказала Эдда и вдруг, к изумлению Шелля, прослезилась.

— Я хотел сказать, что ты, по-моему, старалась сделать свою жизнь возможно более поэтической. Тут ничего дурного нет... Чего же ты хочешь? — спросил он другим тоном.

— Я сама не знаю, чего хочу! Сейчас одного, через час другого! Знаю только, что я несчастна. Ты как-то говорил в Берлине о тихой пристани, мне тоже нужна тихая пристань. А о твоей разведке я больше и слышать не могу!

— Ее можно и бросить.

— Но чем я буду жить? Всегда эти проклятые деньги! А ты еще защищаешь капитализм!

— Надо подумать. Где ты остановилась?

Она назвала гостиницу, — к счастью, не ту, где жил он, но тоже очень хорошую.

— Ого! Верно дорого. А я живу у этого, как ты почему-то говоришь, плюгавого господина. Он там с дамой, с той, которую ты видела. Представь, я нашел у него работу, и он оплачивает все мои расходы.

Шелль рассказал ей о Празднике Красоты. Эдда слушала недоверчиво, но внимательно. Название праздника чрезвычайно ей понравилось.

— Всё это очень интересно, если ты не врешь. Так эта девчонка его любовница? И он хорошо платит?

— Сносно, — ответил Шелль. Его озарила мысль. «Надо подсунуть ее Рамону! Но так, чтобы она долго здесь не оставалась. Чтобы не познакомилась с Наташей и чтобы видеть ее возможно реже». — Ты ведь, кажется, говоришь по-испански?

— Говорю. Почему ты спрашиваешь?

— Он филиппинец и знает только испанский язык. Постой, у меня, кажется, гениальный план. Тебе надо сейчас же съездить в Берлин.

— Вовсе не сейчас же. Документы уже у них.

— Кроме документов, надо представить личный доклад. И притом немедленно, это я говорю с полным знанием дела.

— Он может немного и подождать. А если он заплатит меньше тысячи долларов, то я брошу у него службу!

Лицо Шелля приняло гробовое выражение.

— Ты думаешь, это так просто? Скажешь ему: «Больше не хочу у вас служить, до свиданья», да? Моя милая, твоя неопытность просто умилительна! Знаю, что ты любишь играть жизнью и не боишься смерти. Но всему есть пределы. От *них* так не уходят! Они могут отпустить тебя, если повести дело с умом. Однако уйти самовольно!.. Мне тебя жалко. Он, конечно, подумает, что ты перешла к американцам! Я не буду удивлен, если тебя найдут на дне Большого канала.

— Ты что, шутишь?

— Я говорю самым серьезным образом! Я тебя предупредил, что работать с полковником опасно. Он страшный человек... Так лейтенант приезжает завтра? Ты говоришь, он порвал с американцами?

— Решил порвать. Пока он получил месячный отпуск. Он два года не брал отпуска.

Шелль не мог понять, зачем приезжает лейтенант. «Или он в самом деле в нее влюбился? А если нет, то, значит, американцы решили ее использовать и для другого? Тогда это для нее действительно опасно».

— Ты должна уйти от полковника, но непременно похорошему.

— Как же это сделать? Что мне делать вообще? Если ты говоришь правду... Может быть, ты просто хочешь меня сплавить?

— Зачем мне тебя сплавлять? Напротив, я очень по тебе тосковал. Хотел бы, чтобы ты здесь осталась. Мало того, я достал бы для тебя здесь работу, у моего филиппинца.

— Поэтому ты меня спрашивал об испанском языке? Ты хочешь меня определить к нему в секретарши? В секретарши я не пойду, это мне не интересно.

— Нет, я хочу найти тебе роль в его празднике. Очень хорошую роль. Ты будешь еще *ready-to-kill-ьнее*<sup>1</sup>, чем всегда. Платье мы тебе закажем, и после спектакля оно тебе останется. Очень дорогое платье!

— Это уже много интереснее.

— Платье надо заказать в Берлине. В Париж тебе возвращаться нельзя, а здесь в Венеции не достанешь. Тебе он хорошо заплатит, не то, что мне.

— Это страшно важно!

— Но для этого совершенно необходимо, чтобы ты ликвидировала свои дела с полковником, уж если ты на это решилась. На празднике будут тысячи людей, и среди них, разумеется, будут советские агенты. Я не хочу, чтобы тебя закололи вообще, а во дворце моего патрона в частности. Ты должна сейчас же уехать в Берлин. Я объясню тебе, как с ним надо говорить. Постарайся, чтобы он на тебя плюнул.

— Спасибо.

— Ты могла бы, например, ему сказать, что американец тебя разлюбил.

— Я никогда ему не скажу такой чепухи! Да он этому и не поверил бы.

---

<sup>1</sup> Умопомрачительнее (*англ.*).



— Это будет довольно сложно, — сказал Шелль, не слушая. — Нет, ты пока объяснишь ему, что твой лейтенант получил отпуск на месяц. Если он удивится, что дали такой длинный, объясни, что он два года отпуска не брал. Если он пожелает, чтобы лейтенант вернулся раньше, скажи, что это могло бы вызвать подозрения у его начальства: люди добровольно своих отпусков не сокращают. Тогда полковник даст отпуск и тебе. Лейтенанту же вели, чтобы он пока, избави Бог, не порывал отношений с начальством. Затем либо твоя страстная любовь к лейтенанту кончится, — а то его любовь к тебе, — вставил Шелль, — либо его куда-нибудь переведут. В обоих случаях полковник на тебя плюнет. Что и требовалось доказать. Главное, это что делать теперь? Я по долгому опыту заглядываю в будущее не дальше, чем на несколько недель. Теперь ты, значит, должна расстаться с ним в добрых отношениях. После этого приезжай сюда. К самому празднику, чтобы не возбуждать толков. Твой американец может сидеть здесь или уехать, куда ему угодно. А мой патрон даст тебе денег.

— Много ли еще даст? Если он так богат, то почему его девчонка одета как народная учительница в Эстонии?

— Этого я знать не могу, — ответил Шелль с досадой. «В самом деле, пора одеть Наташу, как следует!» — подумал он. — Вот что, предоставь твое дело мне. Я найду тебе хорошую роль, это требует дипломатической подготовки с патроном. Но в принципе ты можешь считать, что роль у тебя есть. И оклад будет не меньше двух тысяч долларов!

— С авансом? — спросила Эдда, на которую эта цифра произвела сильное впечатление.

— Я тебе устрою и аванс. При обязательном условии, что ты получишь отпускную от полковника.

— Будем говорить точно. Значит, аванс я получу до отпускной? Иначе мне в Берлин поехать и не на что. Какой аванс?

— Не менее тысячи долларов.

— Кроме твоих пятисот?

— Хорошо. Настойчиво советую тебе уехать в Берлин тотчас. Разговор с полковником потребует времени, у него и аудиенцию получить не так просто.

— Что-то ты очень спешишь! Тотчас я уехать не могу, ведь Джим приезжает только завтра. Мы должны немного и отдохнуть в Венеции после всего того, что было.

— Но тогда ты не успеешь сшить себе платье в Берлине.

— Как же я могу шить платье, если я еще не знаю, какая у меня роль? И на какие деньги я его буду шить?

— Я пришлю тебе рисунок. Деньги на платье мы переведем в Берлин, как только ты будешь знать точно, сколько всё будет стоить. Ты будешь знатной венецианской дамой, на платье мы денег не пожалеем, и оно, повторяю, тебе останется.

— Что я буду потом делать с платьем знатной венецианской дамы?

— Переделаешь, кохана, или продашь.

— Никто не купит. Разве сделать с кружевами? Я видела в одном магазине на Курфюрстендамме чудные кружева. Но это очень дорого.

— Непременно сделай с кружевами.

— Это всё надо обдумать. Давай пообедаем завтра втроем с Джимом, я вас познакомлю, и мы всё обсудим.

— Ты с ума сошла! Я и то дрожу, что нас здесь увидят, — сказал Шелль. — На наше счастье, сейчас как будто подозрительных людей здесь нет. Но мы никак не можем встречаться дальше, да еще с Джимом. Это было бы очень опасно и для вас, и для меня.

— Я что-то не понимаю. Почему опасно? Джим теперь *наш*, мы все трое служим одному делу. Как же мы можем тебя скомпрометировать или ты нас?

— Ты, очевидно, забываешь, что и у американцев тоже есть разведка и даже очень недурная. У них агенты везде, вполне возможно, что они уже и здесь за вами следят. — Эдда побледнела. — Даже наверное следят: шутка ли сказать, американский офицер, ведающий печью в Роканкуре! Тебе надо немедленно уехать и по возможности замести следы. И я никак не хочу, чтобы установили слежку и за мной. Нет, мы больше тут встречаться не можем, об этом речи нет. А вот показать тебя патрону я хотел бы. Без Джима.

— Так давай пообедаем с ним втроем еще сегодня вечером.

— С тобой надо говорить, гороху наевшись. Повторяю, я *не могу* с тобой афишироваться. Но вот что, завтра в одиннад-

цать утра я с патроном приду сюда к Флориану, — придумал Шелль Наташа должна была уехать на Лидо. — Ты медленно пройдешь мимо нас. Я тебя покажу ему и скажу, что ты известная артистка. Разумеется, я тебе не поклонюсь и ты вида не покажешь, что ты меня знаешь: мы не знакомы, я просто много раз видел тебя на сцене. Пройди до конца площади, затем, если хочешь, вернись той же дорогой. Оденься «с вызовом», это произведет на него впечатление, я на тебя полагаюсь. Я знаю, какой у тебя вкус. Ты должна быть похожа на хищницу. Потом я наговорю о тебе патрону всяких вещей.

— Пожалуй, я согласна. Ты всё-таки друг, — сказала Эдда. Он смотрел на нее и думал, что и у нее, даже у нее есть хорошие черты. «Как у всех, как у меня, как даже у отъявленных прохвостов. А она так глупа, что имеет право на все смягчающие обстоятельства. И действительно, она ничем меня не хуже. Надо, надо и ей устроить тихую пристань. Всем нужна тихая пристань».

— Но помни твердо, что мы с тобой не знакомы. Не вздумай улыбнуться мне. Ты можешь даже окинуть нас высокомерным взглядом, это твой коронный номер.

— Я окину вас высокомерным взглядом, — сказала Эдда с готовностью.

## XXI

Через день в Венецию приехал полковник № 1.

Эта поездка тоже была деловой, но он имел право и на отдых. Несколько человек, знавших о его последнем деле, были в восторге и не сомневались, что в Москве признают документы подлинными; разумеется, через год-два поймут, но сколько ненужных мер за это время примут, сколько вредных распоряжений сделают, сколько миллионов даром потратят! Старый генерал хлопнул его по плечу и назвал «Шекспиром дезинформации». Полковник скромно умалял свою заслугу; всё же, хотя самодовольство было совершенно ему не свойственно, чувствовал себя отчасти так, как, быть может, Шекспир после окончания «Макбета». Во всяком случае, знал твердо, что лучше этого он ничего на службе не сделал и не сделает. Теперь можно было уйти в отставку с честью.

По дороге он опять думал о Шелле и на этот раз вполне благожелательно: тот оказал огромную услугу. «Конечно, недостатки есть: позер, много пьет и, видно, немного ослабел. Собратья очень его не любят, что в порядке вещей». Из тайных агентов полковника многие доносили друг на друга или же незаметно старались подорвать его доверие к другим агентам. Причин, собственно, для этого не было: работы и денег у него было достаточно для всех. Полковник ничему не удивлялся, большого значения таким обвинениям не придавал, тем более что они взаимно уничтожались, но на всякий случай всё заносил в память. Шелль ни о ком в отдельности из собратьев ничего не говорил (хотя относился иронически к разведчикам вообще). «Дьявольски самолюбив. Не идет к его ремеслу. Можно заключить с ним соглашение надолго, такой человек всегда пригодится. В Россию его не отправлю, да он, кажется, и не поехал бы, — думал полковник, вообще относившийся отрицательно к спуску шпионов на парашютах, как к затее, ничего хорошего не обещавшей. — Аванса я с него назад не потребую. Во-первых, он всё равно не отдаст, а во-вторых, его вины нет; и, главное, за услугу с этой дурой он имеет право на вознаграждение». Две тысячи долларов были не слишком большой суммой. В ведомстве полковника деньги тратились широко, иногда выбрасывались с очень малой надеждой на какой-либо полезный результат.

Полковник знал, что в Венеции будет также Эдда. Встретиться с ней он не желал: считал для себя невозможным встречаться с любовницами Джима. Он разговаривал с ним иногда строго, иногда дружески ласково, почти как с равным, но у фамильярности была граница, которую переходить не полагалось. Увидеть же Эдду полковник хотел бы: верил в свое впечатление от людей, хотя знал, что не раз случалось и ошибаться. «Она чрезвычайно глупа, — сообщил ему Шелль при их последнем разговоре. — Я не сказал бы этого другому работодателю, а вам говорю. Вам отлично известно, что разведчиц-идиоток немало». — «Совершенных идиоток у нас не бывает», — нерешительно возразил полковник. «Бывают, бывают, — сказал уверенно Шелль, — она вдобавок не совершенная идиотка».

С Джимом же надо было снова поговорить очень серьезно. Он прекрасно справился с задачей, но от него пришло доволь-

но странное письмо, недовольное, почти резкое, — так он никогда дяде не писал. По-видимому, Джим больше не желал оставаться на службе. «Разочаровался, что ли? Уж! Тогда удерживать его я не буду. Может быть, я неправильно поступил, что дал ему такое поручение. Что же я буду с ним делать? Вернуть его в Public Information? Нет, в самом деле это пустое занятие. Сам он для себя ничего не найдет: слишком горд, слишком легкомысленен, кто-нибудь из начальства что не так ему скажет, и он тотчас уйдет. Лучше всего было бы, если б он вернулся домой и там просто служил в армии. Но, увы, он видимо, всё больше примыкает к *intelligentsia*. От него можно ждать всего. Что еще он мне преподнесет в Венеции? И зачем он туда поехал с этой милой дамой? Может быть, она хочет остаться у меня на службе? Злоупотреблять дурами всё-таки нельзя».

Награды по службе Джим пока получить не мог, хотя его услуга была оценена. Полковник решил сделать ему подарок. Купить новый «линкольн» было слишком дорого. Джим, знавший толк в автомобилях, мог, пожалуй, купить подержанный, в хорошем состоянии, за тысячу долларов. Это были немалые деньги для полковника, но он все подарки племяннику рассматривал как авансы под наследство, не облагавшиеся налогом.

Он несколько раз бывал в Венеции, — всегда с таким же восторгом, как в Париже. Джим как-то ему сказал, что теперь у знатоков искусства начался *renouveau*<sup>1</sup> этого города, еще недавно считавшегося банальным. Так и сказал: *renouveau*, — полковник сначала было даже не понял, — самое слово отдавало *intelligentsia*. Здесь он также всегда останавливался в одной и той же гостинице, — хорошей и не слишком дорогой. Племянник должен был зайти к нему вечером, но он почти не сомневался, что увидит его еще и днем: в Венеции нельзя не встретиться.

Выйдя на площадь святого Марка, полковник сразу почувствовал, что с *renouveau* или без *renouveau* это город единственный, самый прекрасный на земле. «Все как было: волшебный собор, волшебный дворец, волшебная площадь! Какое сча-

---

<sup>1</sup> Возрождение интереса (*фр.*).

стье, что во время войны не погибли эти два чуда: Париж и Венеция!» И Флориан был всё тот же, тоже почти вечный, радость десятка поколений. Оркестр на площади, как сорок лет тому назад, играл «Травиату». Быть может, только публика была чуть менее элегантна, чем до первой войны. Но женщины были так же хороши или казались такими, точно безобразным женщинам было совестно портить собой всю эту красоту. Полковник останавливался перед витринами, хотя ничего покупать не собирался. На стене висела коммунистическая афиша: «Compagni! Il Partito Comunista vi invita...»<sup>1</sup> — прочел он со вздохом. Дошел до Пиаццетты, полюбовался и отсюда дворцом, собором, библиотекой. Навстречу ему шли полицейские в треуголках. Он посмотрел на них благожелательно «Все же нашим сор<sup>2</sup>-ам по сложению не чета».

Полковник вернулся, сел на террасе Флориана, заказал что-то с звучным названием, купил у пробежавшего мальчишки газету и не развернул ее: не читать же на площади святого Марка! Не думал, собственно, ни о чем, — или разве о том, что охотно прожил бы и еще шестьдесят лет, благо те легкие болезни, какие у него были, не назывались страшными именами и, главное, были без болей. Приятели в Америке ему говорили, что в его годы человек должен хоть раз в год ходить на check up<sup>3</sup>, как ходят к дантисту. Он совершенно с ними соглашался; давно знал, что с людьми, дающими такие советы, лучше всего тотчас соглашаться: это их обезоруживает. Про себя же думал, что, если здоровый человек его лет пойдет к врачу на check up, то после десяти исследований и анализов у него найдут десять болезней; вылечить всё равно нельзя, а настроение духа будет отравлено. Он и к дантисту ходил очень редко. Зубы у него были сплошные, здоровые, разве с тремя или четырьмя пломбами, белые, несмотря на то, что он выкуривал по сорок папирос в день, тоже немедленно соглашаясь с друзьями, говорившими о вреде chain smoking<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> «Товарищи! Коммунистическая партия зовет вас...» (ит.).

<sup>2</sup> Полицейским (англ.).

<sup>3</sup> Профилактический осмотр (англ.).

<sup>4</sup> Безостановочное курение (англ.).

У Флориана было чудесно, но он испытывал двойственное чувство. С одной стороны, так бы и сидеть здесь без конца. С другой же стороны, была особенная бодрость и радость жизни от венецианского чуда, — надо что-то делать, жизнь не кончена и на седьмом десятке. Средней линией было то, что он, посидев с полчаса, решил позвонить по телефону Шеллю, встал и пересек площадь. Оркестр теперь играл «Полет Валькирий». «Так и есть, вот он!»

В нескольких шагах от себя полковник увидел своего племянника. У обоих в глазах мелькнула радостная улыбка, но оба и вида не подали, что знают друг друга. Джим сидел на террасе кофейни с Эддой. Полковник бросил на нее взгляд отставного знатока. «Очень красива. Мой-то шалопай не увлекся бы по-настоящему. А владеет собой хорошо. *Bon chien chasse de race<sup>1</sup>*», — подумал он. Как сам себе говорил, «бесстыдно» сел в двух шагах от них, так что мог слышать их разговор. «Да, сажусь и буду здесь сидеть, и ты ничего не можешь сделать», — говорила его усмешка. «Сидите, сколько вам угодно, вы нам не мешаете. И, как бы там ни было, я сижу с красавицей, а вы, дяденька, один, на то вы старик», — должен был бы ответить взгляд Джима. Однако он этого не ответил. Вид у племянника был мрачный. «Дурак, дурак, чего тебе еще? Удовольствие получил, ничего с этой дурой не случилось, вот и в Венецию приехал на казенный счет. Или денег больше не осталось?» — спросил взгляд дяди. Валькирии улетали с вскрикиваниями и с визгом. «Хайа-та-ха!» — радостно подпевал в мыслях полковник. «Хайа-та-ха! Только ничего хорошего нет», — теперь ясно ответило лицо Джима. Они раз слышали тетралогию вместе, племянник с упоением, дядя без удовольствия. Эдда презрительно говорила, что эта музыка *vieux jeu* и что Вагнером могут наслаждаться только дураки, и то старые. «Вот как? Пошли ее к черту сегодня же. Хайа-та-ха!» — посоветовал полковник. «Хайа-та-ха, но денег очень мало», — так он себе объяснил взгляд племянника. «Дурак, дурак, уже нет! Ничего, я дам... Ну, так и быть, уйду. Только сегодня же вечером изволь быть у меня...» Не дожидаясь лакея, полковник неохотно встал. «Не возвращаться же к Флориану. На

---

<sup>1</sup> Яблоко от яблони недалеко падает (*фр.*).

Пиацетте тоже есть кофейня. Оттуда и позвоню Шеллю. Может быть, он дома». Полковник еще раз незаметно-внимательно оглядел Эдду с головы до ног и пошел дальше своей бодрой военной походкой.

## XXII

Шелль был дома и пригласил полковника встретиться с ним у Квадри в половине седьмого. Хотел было пригласить его на обед, но раздумал: теперь обедал с Наташей в маленьком недурном ресторане — не на площади святого Марка и не на Большом канале. Наташа говорила, что этот ресторан очень живописен; на самом деле не могла привыкнуть к тому, что они на обед в гостинице тратят по семь-восемь тысяч лир.

— Вы, конечно, знаете, где Квадри?

— Я старый венецианец, — ответил, смеясь, полковник. «Другой назначил бы мне свидание где-нибудь на верхушке Кампаниллы, они все обожают конспирацию, — подумал он, выходя из телефонной будки. — Значит, за ним слежки нет. Я за собой тоже не замечал. Кажется, обрадовался встрече со мной. У него, быть может, и предложений труда теперь гораздо меньше, чем бывало, и он чувствует себя, как на благотворительных базарах стареющая дама, к которой больше не подходят покупатели».

В это утро Эдда была показана Рамону. Она очень хорошо, в самом неправдоподобном наряде, прошла мимо Флориана и бросила на них высокомерный взгляд. «Лучше и желать нельзя!» — подумал Шелль. Он толкнул богача.

— Не узнаете? — спросил он, когда Эдда отошла. — Это знаменитая артистка, вы верно ее видели на экране.

— Никогда не видел. Кто такая? — спросил Рамон, очень заинтересованный пышной женщиной. Шелль назвал настоящую фамилию Эдды или ту, которую она объявляла настоящей. Риска не было: Рамон никого и ничего не знал.

— Вы ее пригласили ко мне на праздник?

— Нет, еще не приглашал, но могу пригласить. Вы подаете хорошую мысль, — сказал Шелль. «Кажется, клюнуло», — с удовлетворением подумал он.



— Сегодня же ее разыщите, — сказал Рамон и поправился, зная, что Шелль не любит повелительных наклонений: — Пожалуйста, попросите секретаршу найти ее. Она не в нашей гостинице, я ее у нас не видел, уж я обратил бы на нее внимание.

Днем Шелль доложил ему, что Эдду разыскать не удалось, но ее берлинский адрес установлен и ей посылается приглашение.

— Как же не удалось?! — возмущенно спросил Рамон. — Я желаю ее видеть!

— Мало чего вы желаете! — ответил Шелль с обиженным видом человека, подающего апелляционную жалобу на несправедливое решение суда. — Она верно была здесь лишь несколько часов проездом. Но если вы так хотите с ней познакомиться, то ей можно предложить роль в спектакле. Я вас понимаю, она очень красива, именно в вашем рубensoвском вкусе... Послушайте! — сказал он, хлопнув себя по лбу (вышло недурно). — Что, если именно ей предложить роль догарессы? В ее внешности есть что-то венецианское.

— Я именно это имел в виду.

— Это будет стоить довольно дорого. Думаю, что меньше, чем за три тысячи долларов, она не приедет.

— Предложите ей пять тысяч, но чтобы она была здесь!

На этот раз Шелль не счел нужным обидеться. Независимость уже проявил, а слишком часто раздражать Рамона было бы рискованно. И главное, цифра была приятной неожиданно. Он и не думал брать себе комиссию с этих денег. Однако при такой оплате было легко навсегда освободиться от Эдды.

— Будет сделано, — примирительно сказал он.

— ...Так Майков не кончил самоубийством? — спросил Шелль.

Полковник развел руками.

— Не знаю. Мне только известно, что он умер. Почему вы думаете?

— Просто предположение.

— Оно очень возможно.

— А может быть, рак простаты?

— Почему рак простаты?

— Или просто он задохнулся в советской атмосфере. — Шелль хотел было сказать о рыбах, задыхающихся в Мертвом море, но вспомнил, что уже это говорил.

— Как вы можете тут делать какие бы то ни было предположения?

— Ололеукви помогло.

Полковник смотрел на него удивленно.

— Не понимаю. Это, кажется, то ваше снадобье? Снотворное?

— О, нет, не снотворное. Между бредом и сном очень мало общего. Да и бред от этого снадобья особенный. Он вначале почти разумен и логичен, всё часто освещается по-новому, всё ясно, проникаешь даже и в чужую душу. Потом начинаются заскоки, тоже промежуточные, прогрессирующие, с прорывами в бессмыслицу. Кончается обычно полной ерундой, особенно когда *хочешь* прийти в себя... Неужели у вас никогда не было такого чувства: сейчас увижу то, чего другие не видят!

— Не было, — сухо ответил полковник. — Я никаких снадобий не принимаю... Я хотел поговорить с вами о вашей дальнейшей работе. Прежде всего искренне благодарю вас за ту даму.

— Она оказалась полезной?

— Более или менее.

— Ее карьера устроилась, — сообщил весело Шелль и рассказал о Празднике Красоты. — Если б вы здесь пробьли некоторое время, я послал бы вам приглашение. У вас наверное есть с собой фрак или смокинг? Теперь и к английской королеве можно, кажется, приходиться во фланелевом пиджачке, но к нам нельзя. Я буду в маскарадном костюме. Я изображаю одного из телохранителей дожа.

— Одного из телохранителей дожа, — повторил полковник, слушавший внимательно, как всегда, но с всё росшим удивлением. — Извините меня, вы уверены, что вы здоровы?

— Совершенно уверен. Маскарад очень приятное развлечение. Там вы увидели бы и Эдду.

— Мне она больше не нужна. А вот для вас я скоро буду иметь дело.

— Спасибо, но едва ли я могу быть вам полезен, — сказал Шелль и вынул чековую книжку, предвкушая эффект. — Так

как наше дело не состоялось, то позвольте вернуть вам ваши две тысячи долларов. Я их получил в швейцарских франках и в швейцарских же франках вам возвращаю: восемь тысяч пятьсот сорок франков, так? — небрежно спросил он.

— Позвольте... Это не к спеху. В том, что дело отпало за смертью Майкова, никакой вашей вины нет.

— И вашей тоже нет.

— Но я не отказываюсь от работы с вами в дальнейшем. Разве *вы* отказываетесь? Или вы мною недовольны?

— Нисколько. Просто я не привык получать деньги даром. Если вы помните, я вам говорил, что, быть может, брошу разведочную работу. Тогда я всего вам не сказал. Видите ли, я женился, — сказал Шелль, хотя решил было этого не говорить.

— Женились?

— Да. Женился.

Полковник вдруг расхохотался. Это случилось с ним не часто.

— Поздравляю вас!.. Искренне поздравляю... Желаю счастья.

— Спасибо. А почему вы развеселились, если смею спросить?

— Пожалуйста, извините меня... Видите ли, я всё не мог понять, что вы за человек... Вы ведь и на виолончели играете!.. Теперь это понятнее. Быть может, вы пошли в разведку, чтобы устроить себе необыкновенную жизнь, а вдруг ваша жизнь станет обыкновенной? Если вы «раскаялись», то в вас раскаялось, так сказать, виолончельное начало.

— Очень может быть, — холодно ответил Шелль.

— Позвольте выпить за ваше счастье этого зеленовато-желтого вина, почему-то называемого белым.

Они выпили еще по бокалу. Шелль взглянул на часы.

— Вы спешите?

— У меня есть немного времени... Вы, очевидно, прежде считали меня авантюристом по природе?

— Не в худом смысле. Но ведь у вас в самом деле было немало авантур. Если позволите сказать откровенно, я думал, что вас в жизни интересуют только авантюры, женщины и деньги.

— Да ведь это очень много. Всё же можно пройти через большое число авантур, не будучи авантюристом. По природе люди авантюристами бывают редко, их создают обстоятельства.

В СССР, например, авантюристами могут быть только сановники... В былые времена я избрал бы карьеру военного.

— Вы ведь и были летчиком в пору гражданской войны в Испании. Кажется, в лагере республиканцев?

— Так точно. Они платили иностранным летчикам огромные жалованья.

— Отчего же вы лучше не служили в русской армии? Впрочем, я забыл, что вы не русский, а аргентинец.

— Я не русский ни по паспорту, ни по крови. И у меня были очень серьезные причины не служить советскому правительству. Кроме того, когда я был молод, советская армия была еще очень слаба, а я слабых не люблю... В былые времена еще была карьера для людей, любящих авантюры, хорошая, быстрая, никаких достоинств и дарований от человека не требовавшая: революция. Но ее в наше время монополизировали коммунисты, а я их ненавижу. Теперь мне делать нечего.

— У вас *есть*, однако, интересное дело.

— Вы его считаете интересным? Правда, вы в нем, так сказать, поэт. Странно: в разведке трудно не стать циником и мизантропом, а вы циник и мизантроп лишь в меру, в очень небольшую меру.

— Я даже совсем не циник и не мизантроп.

— И еще удивительно: вы не болтун. Как ни странно, у нас огромное множество болтунов.

— Это, к сожалению, верно, — сказал полковник. «Ты первый», — подумал он. — Так, так... Я надеюсь, что на службу к нашим противникам вы ни в каком случае не пойдете?

— В этом вы можете быть совершенно уверены. Кажется, какой-то из английских королей шантажировал папу Александра тем, что грозил принять мусульманскую веру. Я в большевистскую веру не перейду. Если во мне есть хоть что-либо подлинное, то это ненависть к ней... Еще не знаю, что буду делать. Теперь самая опасная из профессий это быть летчиком, пробующим новые аэропланы.

«Ох, вечно рисуется! И храбростью, и цитатами», — с досадой подумал полковник.

— Сильные страсти исчезают у людей с годами или, так сказать, приходят в коллоидальное состояние, — сказал он, и в его тоне скользнула насмешка.

— Да, вы правы. Я не так стар, как вы, но тоже немолод, и мне надоело рисковать жизнью. А от всего связанного с политикой я буду всячески сторониться. Мне нынешнее положение в мире напоминает тот бессмысленный хаос, который бывает в конце старых комических фильмов, когда все куда-то бегут, кого-то толкают, что-то опрокидывают. Публика хохочет, хотя смешного ровно ничего нет. Так теперь и в мире.

— Не вижу этого. А смешного действительно мало... Так вы выходите в отставку? Собственно, женитьба для отставки не причина.

— Я женился на барышне, у которой нет ни души родных, и я ее надолго оставлять не могу. Вы, конечно, предположили, что она богата. У нее нет ни гроша.

— Но если вы небогаты, то тем более, зачем же вам покидать службу и возвращать мне аванс? Я думал всё-таки, что вы любите наше ремесло.

— Терпеть не могу.

— Да, вы мне это сказали. Но люди часто так говорят. Спросите знаменитых писателей, журналистов, политических деятелей. Они вам скажут, что проклинаят день и час, когда избрали свое занятие.

— Не все. Людовик XIV говорил: «*Mon délicieux métier de Roy...*»<sup>1</sup> Вы служите своей стране, а я служил тем, кто больше давал.

— Вы слишком часто говорите такие вещи, для того чтобы они были правдой. Полной правдой... А я и в разведке знавал бессребреников.

— Вам, значит, повезло, я таких ни в каком деле не знал. Во всяком случае, я сам отнюдь не бессребреник. Я люблю то, что дают деньги: «красивую жизнь», как часто иронизируют. Вернее, не столь люблю красивую, сколь ненавижу некрасивую, жизнь бедняков. Большевики, быть может, и погибли оттого, что они дают своим людям мало красивой жизни. По-моему, вам следовало бы тратить миллиарды на подкуп государственных людей во враждебных государствах, это было бы далеко не самым непроизводительным из ваших расходов.

---

<sup>1</sup> «Мое дивное ремесло короля...» (фр.).

— Так и воевать было бы легко: подкупили вражеского главнокомандующего, вот победа и обеспечена, правда? Только я таких случаев в военной истории что-то не помню, — ответил полковник. «Он и в разведку верно пошел отчасти для красивой жизни. И наружность у него такая. Кажется, во французской армии при каком-то из Людовиков был установлен приз за воинственную наружность. Я ему присудил бы, и он был бы очень доволен. Будь он среднего роста, вся его жизнь, быть может, сложилась бы иначе. О таких, как он, говорят: «Похож на хищную птицу». На птицу несколько не похож, а что-то хищное в его наружности есть, особенно в профиле». — Вы не очень понятный мне человек.

— Ничего непонятного. Я человек без рода и племени, вечный повсеместный «*sale étranger*»<sup>1</sup>. И вдобавок предельный эгоист, «со всех сторон окруженный самим собой», как говорил Тургенев. Точнее я *был* таким. А выбор ведь у нас почти у всех ограниченный. Когда человек молод, его жизнь чаще всего отравляет бедность. Когда он стар, ему нет большой радости и от денег. А у меня вкусы менялись. Ребенком я мечтал о том, чтобы стать приказчиком в кондитерской, потом хотел стать шофером, еще позднее военным. Теперь же мечтаю о тихой спокойной жизни.

— Да уж будто вы вправду к нашему делу не вернетесь? Французы говорят: «Кто пил, тот и будет пить».

— Нет, я рецидивистом не стану. Я боксер-тяжеловес, достигший предельного возраста.

— Да им-то верно до самой смерти по ночам снится ринг.

— Однако они на ринг не возвращаются.

— Чем же вы думаете заняться?

— Праздностью. Это самое лучшее занятие.

— Недурное, — сказал неуверенно полковник, вспомнив о своем доме в Коннектикуте. — Куда же вы теперь собираетесь с женой?

— Поселимся где-нибудь в Италии, — ответил Шелль. Ему не хотелось сообщать о покупке виллы.

— Тут на море есть чудесные уголки и недорогие.

---

<sup>1</sup> «Грязный иностранец» (*фр.*).

— Может быть, и тут. Хотя я не люблю моря. Несмотря на мою любовь к авантюрам, я ни одного романа Конрада дочитать не мог. Буду читать книги, мемуары, биографии, это мое любимое чтение. Немного любознательности у меня всё же еще осталось. Когда я был мальчиком, чуть не плакал, что не видел и никогда не увижу Наполеона! — сказал он, засмеявшись. — Так получите деньги.

— Спасибо, — сказал полковник, бегло взглянув на чек. «Надеюсь, что с покрытием». — Я очень сожалею. Добавлю, что в подобных обстоятельствах не все вернули бы аванс. Очень ценю.

Они помолчали, с любопытством глядя друг на друга. Взгляд полковника снова остановился на руках Шелля: «*Всё-таки* это руки убийцы», — подумал полковник. «Верно больше никогда в жизни его не встречу, — с неожиданным сожалением подумал Шелль. — А наш разговор с ним — вроде тех, какими часто заканчиваются детективные романы: гениальный сыщик после поимки преступника «за бутылкой вина» рассказывает своему другу, как он всё раскрыл. А то читатель романа и не понял бы. Если же рассказать раньше, то пропал бы эффект».

— Не знаю, удастся ли это, но я хотел бы остаток жизни прожить просто как рантье. Верно, приятная жизнь. Французские буржуа — мудрые люди.

— Ничего не будете делать до конца жизни?

— Отчего же нет? Много ли осталось? Месяц моей жизни надо считать за год. Успею подготовиться. По-моему, не надо умирать скоростижно: нужно подумать о смерти как следует.

— Дело вкуса. И это хорошо говорить в сорок лет, — сказал с неудовольствием полковник и допил вино. Шелль опять посмотрел на часы.

— Теперь позвольте вас покинуть, меня ждет жена.

— Тогда не смею задерживать. Еще раз поздравляю... А если передумаете, мы всегда будем к вашим услугам, — сказал полковник, крепко пожимая ему руку, на этот раз без всякой брезгливости. «Один из интересных номеров в моей коллекции, виолончелист, — подумал он. — Помнится, Джим говорил, будто кто-то о ком-то сказал: «Он был оригинален, хотя и очень хотел стать им».

## XXIII

— ...Постой, я угощу тебя шампанским, — сказал полковник. «Уж если и шампанское Джима не утешит, то, видно, в самом деле плохо дело», — подумал он. «Dostoevsky mood<sup>1</sup>, просто беда». Джим продолжал свой монолог:

— ...В сущности, и пользы от вашей работы очень мало. В пору войны величайшая армада в истории прошла через Атлантический океан и произвела десант, а Гитлер об этом ничего не знал. В 1939 году Франция и Англия не имели ни малейшего понятия о военной мощи Германии. В 1941 году Германия не имела ни малейшего понятия о военной мощи России, а Сталин не знал, что немцы собираются на него напасть. Между тем все они тратили сотни миллионов на разведку! Так и теперь. Что вам могут сообщать ваши агенты с той стороны железного занавеса? Их сведения либо верны и не имеют никакого значения, либо имели бы значение, но неверны...

— Не говори о том, чего ты не знаешь, — сердито перебил его полковник. — Теперь самое главное это знать, твердо знать, что делается там. И потому, хотя это звучит нескромно и парадоксально, та деятельность, которой я занимаюсь, сейчас самая полезная в мире.

— Вы доставляли, конечно, в Вашингтон множество сведений о советских атомных бомбах. Однако президент Трумэн не так давно сказал, что ему неизвестно, существуют ли в России атомные бомбы или нет. Вот вам теперь удалось одно дело, доставили куда надо важную дезинформацию и радуется. А десять других дел не удаются, только даром выбрасываете деньги наших налогоплательщиков. Да и то, что удаётся, тотчас уравнивается *их* делами, почти всё взаимно нейтрализуется. Мало того, они тут всегда будут иметь огромное преимущество перед вами, так как они ни перед чем не останавливаются, а у вас есть моральные границы, которых вы не переходите. Всё, что делает их разведка, наверное сплошное преступление, и это их нимало не беспокоит. А из того, что делает наша разведка, преступна, скажем, только четверть, и есть ве-

---

<sup>1</sup> Настроение в духе Достоевского (*англ.*).



щи, каких вы вообще делать не можете и не хотите. Значит, все преимущества а priori на их стороне... Вы сердитесь, дядя, это плохой признак. Да и так ли нужна та «правда», которую будто бы вам доставляют ваши агенты? Тайна была бы некоторой, разумеется очень слабой, гарантией против войны. Страх перед неведомым был бы сдерживающим началом.

— Преступники тоже ведут борьбу с полицией и тоже, в отличие от нее, ни перед чем не останавливаются, тем не менее работа полиции бывает успешна. Большевики при помощи своих шпионов получили о наших атомных вооружениях очень ценные для них сведения. Мы были бы совершенными дураками, если б не делали того же, что делают они. Это было бы просто преступлением против родины. Предложи Кремлю, чтоб он прекратил шпионаж.

— Я знаю, это сильный, даже неотразимый, довод, — сказал грустно Джим. — Предлагать большевикам что бы то ни было пустое бесполезно, хотя бы потому, что они обещают и всё равно не выполняют. Однако едва ли и вы тут можете искренне желать соглашения: если б они пошли на соглашение, то вам было бы решительно нечего делать и вся ваша жизнь оказалась бы ошибкой.

— Об этом, пожалуйста, не беспокойся. И наше правительство менее всего считалось бы с этим.

— Пользы от вашей работы очень мало, а вред большой. Если когда-нибудь начнется третья война, то она произойдет скорее всего из-за какого-нибудь инцидента, созданного разведкой, или из-за неверных сведений, которые она кому-нибудь даст. Судьбы мира зависят от пяти или шести полковников на земле! Быть может, один из них сообщит своему правительству, что противник очень слаб, и его правительство начнет наступательную войну. Быть может, он сообщит, что противник скоро станет слишком могущественным, и правительство начнет превентивную войну. Для меня теперь разведочное дело символ мирового зла, в нем кристаллизуется вся эта проклятая холодная война! — сказал Джим и успокоился: отвел душу.

— Очень тебе благодарен. Я этим делом занимаюсь всю жизнь. Оно, кстати, позволило мне дать тебе образование.

— Я этого не забываю, дядя, — ответил Джим, смутившись. Он оглянул скромный номер полковника, и ему стало совест-

но, что дядя, так часто дарящий ему деньги, живет в более дешевой гостинице, чем он. «Но так должно быть: старые люди знали настоящую жизнь до первой войны, а вот наше несчастное поколение видело мало хорошего», — тотчас разжалобившись над самим собой, подумал он. — Дорогой дядя, вы кажетесь, упомянули о шампанском?

— То-то! Сейчас закажу... Но какую чепуху ты несешь, уши вянут!

— Вы иначе говорить не можете. И какой у разведчиков горделивый вид и тон, точно они занимаются необыкновенно важным и полезным делом!

— Ты просто сочиняешь! У меня никакого горделивого вида нет и никогда не было!

— Я говорю не лично о вас, дядя. Вы отлично знаете, как я вас люблю и что о вас думаю. Вы прекраснейший человек, я вам всем обязан. Но, не сердитесь на меня, вы в первый раз в жизни дали мне нехороший совет. Я сделал гадость.

— Говори просто, что ты влюбился в эту дуру!

— А еще вы думаете, что видите людей насквозь! Я не только в нее не влюбился, но она мне противна. Я по-настоящему понял это, когда ехал сюда из Парижа, понял и ее, и себя. Дорога обостряет все чувства, человек в вагоне или на пароходе не совсем такой, как всегда, он всё понимает яснее. И я сам себе стал противен.

— Да что ты такого сделал? Какое несчастье от этого произошло? Она благополучно улепетнула из Франции, ей больше никакая опасность не грозит. Судя по тому, что ты мне о ней говорил, она развратная, продажная баба. Они хотели причинить нам большой вред. Мы это, слава Богу, расстроили и повернули дело против них же: причинили им вред и, надеюсь, немалый. Ты выполнил свою роль отлично. В чем же дело? Чего ты от меня хочешь?

— У вас, вероятно, есть и личный враг? Поручили ли бы вы мне сойтись с какой-либо *его* женщиной, чтобы причинить ему вред?

— Тут нет никакого сходства. Государства постоянно делают то, чего частные люди не имеют права делать. Так всегда было и так всегда будет. Ты можешь прочесть и в Ветхом Завете. Иисус Навин посылал перед походом разведчиков в

Обетованную землю: «И послал Иисус, сын Навина, из Ситтима двух соглядатаев тайно, и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там». Не цитирую дальнейшего. Это в книге Навина.

— Вероятно, все разведчики помнят и повторяют одну эту цитату из всего Священного Писания.

— Ну, хорошо, можешь оставить последнее слово за собой, я ничего против этого не имею... Скажу тебе, у меня в молодости, когда я начинал работу, тоже были сомнения, хотя и гораздо более слабые. Я их быстро в себе преодолел. Ты преодолевать не хочешь, — твое дело. Я не думал, что ты так сентиментален. Что ж, я вижу, ты для моего ведомства не подходишь. Следовательно...

— Подхожу или нет, но я работать в нем не хочу. Повторяю, ваше ведомство становится огромной общественной проблемой или, вернее, огромной политической опасностью! Я, впрочем, отлично понимаю, что никакого выхода предложить не могу. Для отдельного человека, пожалуй, есть, но тоже дурной: он в том, чтобы держаться в стороне от всего зла, делающегося в мире.

— Хорош выход для государства! И довольно об этом!

— Сделали со мной что хотели, а теперь «довольно об этом». Я потерял к себе уважение. Я говорил себе, что если ее арестуют, то я покончу с собой, — сказал Джим. Это, впрочем, только что пришло ему в голову.

— Да ты совершенно сошел с ума. Вот что значит начитаться Достоевского!

— Достоевский тут ни при чем.

— Никто тебя насильно не держит. Уходи на здоровье. Ты можешь в любой день вернуться на твою прежнюю службу. Ты верно еще не забыл тех имен?

— Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда ван Штарненборг Стакхувер? — спросил Джим, засмеявшись. — Нет, не забыл. Но я туда не вернусь.

— Делай, что тебе угодно. Лучше всего переходи в армию. Два твоих предка были военными. Кавалеристами, — добавил полковник со вздохом. — Я нисколько не препятствую и даже тебе помогу... Какие же теперь вопросы? Как расстаться с ней? С Раав. Я знаю, что она завтра уезжает в Берлин.

— Откуда вам это известно?

— Как видишь, разведка всё-таки кое-что знает.

— Вы с ней говорили, дядя!

— Нет. Но, разумеется, я за ней слежу, — внушительно добавил полковник, довольный впечатлением, которое его слова произвели на племянника.

— Кстати, вы могли бы меня похвалить: правда, я в кофейне и вида не показал, что я вас знаю? Я так люблю, когда меня хвалят! И вы тоже верно любите. А понравилась вам Эдда?

— Я пришел в дикий восторг при первом взгляде на нее. И мне так приятно, что ты с ней путешествуешь.

— Во-первых, не забывайте, что я сошелся с ней по вашему же указанию, а во-вторых, вы не можете отрицать, что она красавица. Вы когда-то знали толк в женщинах, говорят, вы в молодости имели у них большой успех, — сказал Джим.

— Это тебя не касается.

— Так вы уже знаете и об этом идиотском празднике?

— Как видишь, знаю.

— Хороши же зрелища, которые Запад противопоставляет коммунистам!

— Уж не становишься ли ты попутчиком? Только этого не хватало!

— Вы отлично знаете, что я ненавижу коммунистов, а попутчиков еще больше. Но именно поэтому я в бешенстве. Такие праздники и такие господа, как этот филиппинец, точно созданы для успеха большевистской пропаганды!

— В этом я с тобой согласен. Забавно, что он это устраивает для пропаганды против большевиков! Комизм усиливается от того, что главную роль в спектакле будет играть советская шпионка... Итак, она уезжает в Берлин. Я не советую тебе с ней ехать, очень не советую. Да она верно и звать тебя не будет. К тому же, ты говоришь, что она тебе противна. Тем лучше. Вопрос верно только в деньгах? Пожалуй, для очистки совести дай ей денег.

— У меня их и нет.

— Так бы и сказал! Вот что, я хотел подарить тебе тысячу долларов. Ты мечтал о хорошем автомобиле. По твоему рангу и возрасту с тебя пока совершенно достаточно «форда» или «шевроле». Года через три ты уже созреешь для «бьюика».

Надеюсь, о «кадиллаке» или «паккарде» ты еще не смеешь мечтать? Но я думаю, что при тысяче долларов наличными ты мог бы на выплату купить и «паккард», если у тебя хватит на это нахальства. Выплачивать остальное ты будешь, разумеется, из своего жалованья... Впрочем, я ничего не имею и против того, чтобы ты подарил часть этих денег твоей очаровательной любовнице. Можешь даже подарить ей все, если ты совсем дурак.

— Я вам страшно благодарен, — сказал Джим смущенно. — Подарок и такой большой! За что?

— Ни за что. Ты его совершенно не заслуживаешь... Ты верно и без того немало на нее потратил?

— Да, конечно, но...

— По-моему, ты можешь ей больше ничего не давать. Она от филиппинца получит немалые деньги.

— Вы и это знаете?

— Я всё знаю.

— Тогда вы изумительное исключение в профессии! Так вы думаете, что я могу ничего ей не давать?

— Не решаю сложного конфликта в твоей сложной душе: Раав или «паккард».

— Дядя, вы жестокий человек. Вы знаете, что я мечтаю о «паккарде».

— Преодолей в себе этот соблазн. Осчастливь эту милую, добрую, хорошую женщину.

— Я всё-таки сделаю ей подарок.

— В какую цену, если я смею спросить?

— Как вы думаете? Пятьсот?

— Нет, этого мало, — сказал полковник, наслаждаясь. — Пятьсот это мало для такой хорошей женщины. — Он засмеялся. — Вот что. Я тебе дам восемьсот долларов после ее отъезда. А сейчас получай двести и делай с ними что хочешь. И перестань на меня дуться. Ты очень недурно провел с ней время, в самом деле она красива. Она большая дура или только средняя?

— Необычайная! Обезоруживающая! — сказал Джим, оживляясь. Дядя обладал способностью всегда его успокаивать.

— С другой у тебя дело так гладко не прошло бы. И она развинтила тебе нервную систему?

— Да. А себе еще больше. Я не знаю, что с ней случилось! Здесь она в полной безопасности, между тем она именно со вчерашнего дня поминутно оглядывается по сторонам и бледнеет при виде всякого прохожего. Представьте себе, заглядывает под кровать: нет ли там убийц!

— И, разумеется, у тебя угрызения совести за то, что ты расстроил душу этого небесного создания! Нет, отдай ей всю тысячу долларов.

— Я ей дам ваши двести, — ответил Джим. Привычные насмешки дяди вызывали у него привычную же реакцию, и он переходил в наступление. — Так и будем знать, что вы сделали подарок советской шпионке.

— Ты глуп, — сказал полковник, вынимая бумажник.

#### XXIV

Наташа каждый день читала немецкую газету, — «надо», — русских эмигрантских не могла в Венеции найти. Пропускала экономические статьи, фельетоны, спортивный отдел, прения в парламентах; с интересом читала о книгах, о театре, о кинематографических звездах, теперь даже, впервые в жизни, о модах; с ужасом просматривала сообщения о разных убийствах, о женщинах, найденных задушенными в ваннах и подвалах; по чувству долга следила за главными политическими новостями, — теми, что печатались на первой странице с большими заголовками. «Лишь бы не было войны! А так все одно и то же: Даллес сказал, Иден сказал, Молотов сказал, и ничего интересного они никогда не говорят, как им только не надоест».

О Даллесе, Идене, Молотове читать было необходимо: Шелль о них иногда говорил, неизменно прибавляя «пропади они пропадом». Ей очень хотелось бы, чтобы он отказался от этой присказки, которую теперь, впрочем, произносил без всякой злобы, просто по давней привычке. Он был гораздо веселее, чем в Берлине. На женщин почти не смотрел, хотя в гостинице были красивые элегантные дамы. Ей было совестно, что она ревновала его к танцовщице на Капри.

Досадно было, что он по-прежнему проводил много времени с филиппинцем. Правда, это объяснилось, но объяснение не

очень ее удовлетворило. «Хорошо, тот у него что-то купил, оказал ему услугу, ну, отблагодари его советами, поработай с ним два-три дня. А то не слишком ли уж много выходит?» Раз даже она осторожно намекнула об этом мужу (с каждым днем, к собственной радости, смелела).

— Да ведь это очень забавно, его Праздник Красоты. А наш дом всё еще чистится и красится. Кстати, Рамон сегодня меня спрашивал, не хочешь ли ты получить роль в процессии?

— Я! В процессии? — воскликнула Наташа с таким ужасом, что Шелль рассмеялся.

— Я заранее сказал ему, что ты не согласишься.

— Даже не понимаю, как он мог серьезно предложить! Хороша бы я была в роли какой-нибудь знатной венецианки! Это после подземного завода!

— Ты была бы лучше всех. И перестань, наконец, вспоминать о подземном заводе!.. Но ты права, это было бы ни к чему, — сказал Шелль. Филиппинец в самом деле опять спросил его, не хочет ли Наташа участвовать в празднике, и даже добавил: «Ее условия будут моими». Шелль только представил себе, как бы это Наташа и Эдда появились в одной процессии.

Когда Шелля не было дома, Наташа работала над диссертацией или читала Тургенева. Почти каждый день ездила на Лидо и кое-как объяснялась с работавшими в их доме малярами. Они были очень ею довольны: все простые люди любили Наташу, чувствовали, что она почти такая же *простая*, как они. Работа шла хорошо и быстро. В двух комнатах уже были выкрашены стены, и можно было бы расставлять мебель. Одна из этих комнат должна была стать спальней Наташи. Другую Шелль называл ее будуаром. Она решила сделать из нее детскую. Страстно хотела иметь сына и дочь, непременно сына и дочь.

Шелль неохотно согласился предоставить ей покупку мебели. Купил немецкую книжку о разных стилях. Наташа внимательно все прочла, узнала особенности стилей — и приобрела кровать, два плюшевых кресла, два таких же стула, большой зеркальный шкаф, гардины, ковер, лампы, ночной столик, — уж не знала, в каком стиле, но всё очень недорого. Мебель утром привезли; маляры ее расставили, хотя это не входило в их обязанности; она им подарила бутылку вина, они очень

благодарили и попросили ее выпить с ними; пили прямо из горлышка, так как стаканов не было, ей первой дали бутылку.

Днем, по ее просьбе, приехал Шелль. Он ничего не сказал об ее покупках. Наташа видела, что он не очень доволен. «Сердится, что я трачу мало его денег!»

— Будуара пока не покупай. Мою мебель скоро привезем. На следующий же день после праздника съездим за ней в Берлин. Люстры я куплю сам. Эту металлическую палку с лампочкой не стоило на потолок и вешать, — сказал Шелль и, увидев, что она огорчилась, добавил: — А белье покупай и, ради Бога, не жалея денег. Это покупки на всю жизнь. «Уже вила стала мелкобуржуазной, — с досадой думал он, — особенно эти гардины!»

— Да чем же плохая лампа? Ну, покупай ты, хотя у тебя выйдет втрое дороже. А книги можно уже сюда перевезти?

— Отчего же нет? Только Мольменти оставь, он еще мне нужен. И, разумеется, не тащи сама, скажи в гостинице, чтобы перенесли на пароходик.

У них скопилось несколько десятков книг, он покупал чуть не каждый день. Наташа удивлялась, как он быстро читает. Было немало дорогих изданий по истории Венеции. Эти покупались на счет Рамона.

Книги Наташа временно поставила в шкаф для белья, полки выстлала белой бумагой. Старательно вытирала каждую книгу тряпкой. Из толстого словаря выпал листок. На нем рукой Шелля написаны были цифры: 320.28... 56.25... Почему-то записка вызвала у нее неприятное чувство. «Деньги? Расходы? Что-то неровные цифры».

Вечером, вернувшись в гостиницу, она передала ему записку. Он взглянул и, к ее удивлению, покраснел, чего с ним никогда не случалось. «Забыл уничтожить! Совсем впадаю в детство! Вовремя бросил профессию!»

— Выпала из словаря. Может быть, это тебе нужно? Верно о каких-нибудь *акциях*? — произнесла она непривычное ей слово.

— Да, кажется, я записывал курс из газет. «И «кажется» не надо было говорить».



## XXV

Эдда почти всегда бывала всем недовольна — и по характеру, и по своему правилу: кто всем доволен, тому ничего и не дают. Но по пути из Венеции в Берлин вышла из обычного состояния. Как Шелль, никогда не была так хорошо обеспечена.

Несмотря на грозившую, по его словам, опасность, он проводил ее на вокзал: «Для тебя готов рискнуть слезкой». Простились — как он сказал, начерно — еще в ее гостинице и довольно мило, хотя в их обычной манере: были и «хам», и «кохана», и «дочь моя рожоная». Эдда больше не любила Шелля (если и любила прежде), но боялась его и в душе ценила. «Достал такие деньги! В денежных делах он врет редко. Заплатят».

У нее было одноместное отделение первого класса. Он сидел там с ней, повторял свои инструкции и переспрашивал, как учитель — для этого и приехал на вокзал: Эдда с одного раза не понимала. Наконец, незадолго до отхода поезда (она уже беспокоилась), вручил ей чек на берлинский банк.

— Три тысячи долларов, — сказал Шелль, и тут подготовивший эффект.

— Три!

— Три. Ты будешь догарессой.

— Догарессой!

— Да. Женой дожа. Рамон дож. Надеюсь, ты понимаешь, кому ты по гроб жизни обязана этой неслыханной удачей? Величайшие артистки мира боролись за эту роль! Можно сказать, в ногах валялись. Я ему сказал, что ты кинематографическая звезда, новая Ингрид Бергман! И я выговорил тебе пять тысяч долларов! Тебе! За что?

— Положим, Ингрид Бергман за пять тысяч долларов в догарессы не пошла бы.

— Дура. Куда лезешь? То Ингрид Бергман, а то ты... Не скажу, кто ты. Значит, тебе дан аванс в две с половиной тысячи. А вот в этом конверте рисунок в красках: платье догарессы. Кредит я тебе открываю на платье неограниченный.

— Что такое значит неограниченный кредит? Я люблю точность.

— Это значит, ненаглядная, что ты можешь покупать самые дорогие материи, шелк, бархат, парчу, не стесняясь их ценой. Разумеется, сохрани счета. Конечно, ты будешь присчитывать, я ничего против этого не имею, но делай это по-божески, надо иметь совесть: не более десяти процентов.

Эдда вынула рисунок из конверта.

— Ах, какая прелесть! Я буду изумительна!

— Ты во всяком костюме изумительна. Даже в костюме Евы. Теперь слушай, кохана. Ты должна вернуться за два дня до спектакля: ни раньше, ни позже.

— Почему такая точность? Вернусь, когда захочу! — сказала Эдда, с чеком чувствовавшая себя гораздо увереннее. Шелль взял ее руку, сжал так, что она вскрикнула от боли, и отобрал чек.

— Дурак! Х-хам! Чуть не сломал мне пальцы!.. Я пошутила, а ты...

— Я тоже пошутил. Ты вернешься за два дня, слышишь? Помни, кстати, что это аванс. Если ты опоздаешь или приедешь раньше, то, даю тебе слово, ты больше не получишь ни гроша! И мы найдем другую... — Он сказал грубое слово, не очень подобавшее *новому* Шеллю. Эдде, впрочем, такие слова нравились. — Вот чек, бери и помни.

— Очень я тебя испугалась!.. Хорошо, хорошо, я вернусь за два дня, отстань.

— На рисунке много драгоценностей. Само собой, они должны быть поддельные. Корону мы тебе дадим здесь. Кружева же можешь покупать настоящие. Если в Берлине чего-нибудь не найдешь, съезди в Вену или в Брюссель: разумеется, не в Париж, тебе туда нельзя.

На прощанье он поцеловал ее. Эдда расчувствовалась.

— В моей памяти ты останешься как Евгений Прекрасный.

— В твоей памяти я останусь как Евгений Прекрасный, — согласился он. — Кроме того, я скоро опять появлюсь в твоей памяти, мы в близком будущем с тобой увидимся. И Рамон Прекрасный, и я.

— Ты хам, но я тебя обожаю!

— В другое время я сказал бы: «Fais voir»<sup>1</sup>. Но поезд сейчас отходит... Помни, что надо сохранять все счета, —

---

<sup>1</sup> «Покажи» (фр.).

сказал Шелль, больше для того, чтобы убавить сентиментальности.

С перрона он помахал ей рукой, отвернулся и ушел, когда она еще посылала ему воздушные поцелуи. Всё же, несмотря на его грубость, Эдда была им довольна. Оценила и то, что он своих пятисот долларов из аванса не вычел.

Она прошла по коридору вагона, подозрительных людей не заметила и успокоилась. Вернулась в свое отделение, вынула чек из сумочки, прочла всё от числа до подписи. «В порядке! Слава Богу. И деньги, и такая роль!» Слово «догаресса» очень ей нравилось. Перед маленьким зеркалом Эдда приняла подobaющий догарессе вид. «Справлюсь! Стану знаменитостью!.. Право, он куда лучше Джима, тот мальчишка». Она очень ясно делила мужчин по разрядам; впрочем, любила все разряды. «Джим не серьезный, шалун. Бедный, у него почти ничего не осталось, всё на меня потратил. Право, дала бы ему, но он никогда не взял бы...» Джиму было сказано, что он не должен быть на вокзале по соображениям конспирации. Он ничего против этого не имел.

В вагоне-ресторане Эдда спросила полбутылки шампанского. Соседи на нее смотрели не без удивления. Она отвечала *гордым вызывающим* взглядом: «Да, пью одна шампанское, я так привыкла!» Шелль не сказал, оплачиваются ли отдельно ее расходы или идут в счет пяти тысяч; она забыла спросить; всё же решила жить «хорошо»: скупа не была даже тогда, когда платила за себя сама. Затем в купе пробовала написать элегию: «Прощание». Но вагон очень трясло. Она спрятала тетрадку и открыла роман Сартра.

Было, однако, темное пятно: переход через железный занавес, разговор с советским полковником.

Отправилась она к нему на третий день с мучительным волнением, — подходя к рубежу, испытывала такое чувство, точно в самом деле сейчас покажется какой-то занавес. На столбе была надпись черными, точно гробовыми, буквами: «Achtung! Sie verlassen nach 80 m. West Berlin». Еще дальше была другая по-английски: «You are now leaving British Sector». Она довольно долго жила прежде в Берлине и эти надписи

видела не раз, всегда с чувством легкой тревоги, хотя в ту пору в восточный сектор ей ездить было незачем.

Прием был любезный.

Бумаги, доставленные Эддой, оказались необыкновенно важными. Полковник тотчас переслал их в Москву. После первого же ознакомления с ними начальство выразило ему благодарность. Как всегда, выразило ее не слишком горячо, сказала, что бумаги будут тщательно изучены, но он видел, что от свалившегося клада там в восторге. Теперь он мог рассчитывать на награды, даже на повышение по службе. Самая идея похищения бумаг из Роканкурской печи своей эффектностью не могла не произвести впечатления.

Эдда оказала делу большую услугу. Но и на этот раз полковника удивила ее очевидная глупость. «Впрочем, тут дело было не в уме. В самом деле она очень красива». Полковник подробно ее расспросил.

— ...Вы исполнили задание быстро. Благодарю вас, — сказал он. Редко говорил это агентам, и это у него прозвучало как «мое русское спасибо». «Гранд кокетт», — определил он Эдду без уверенности. — Рад, что у вас «доброе совершилось»: так когда-то русские люди называли... Ну, вы знаете, что называли.

— Я очень много работала, — сказала Эдда, успевшая немного успокоиться. Как и при их первой встрече, ее что-то испугало в наружности полковника. — Я просто измучена! Вы не можете себе представить, товарищ полковник, как эта работа изнашивает человека!

— Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь ты, — сказал полковник. Говорил это в тех редких случаях, когда бывал весел. — Теперь, пожалуй, отдохните. Этот мерз... Этот американец получил отпуск на целый месяц?

— Да. Он два года не брал отпуска.

— А не мог ли бы он вернуться на службу раньше?

— Боюсь, что это обратило бы внимание его начальства, товарищ полковник. Люди редко отказываются от отпуска, — сказала Эдда. «Всё знает, мой картежник!» — подумала она.

— Да, может быть. Тогда не надо. Разумеется, вы должны поддерживать с ним... тесный контакт. Самый тесный контакт. Вам это нетрудно, у вас большой «секс аппил», — сказал он с

насмешкой. — А для нас это куда как важно в отношении дальнейшей конъюнктуры. Его положение там прочно?

— Не знаю, — сказала Эдда. Этого вопроса Шелль не предвидел. — Он уже давно ожидает повышения по службе, — добавила она, надеясь обрадовать полковника.

— Я вам, спасенная душа, другой директивы пока не дам. При создающейся конъюнктуре оставайтесь при нем... Может, и деньжонок вам от него перепадает? Разумеется, в персональном порядке, в персональном. Он, верно, мужичок кошелястый? Чать, довольны? — спросил он. Эдда изумленно на него смотрела. Это сочетание ученых слов с заволжскими, доставлявшее полковнику удовольствие, вызывало удивление и в Заволжье, и в Разведупре. К ученым словам Эдда привыкла, сама часто и охотно ими пользовалась. Но «чать», «кошелястый», «спасенная душа» ее испугали, как во Франции она испугалась бы, услышав «Tudieu» или «Ventre Saint Gris». — Айда с ним в Италию шампанское лакать. Или он водоглот? У них бывают и такие, пес их ведает. Императив остается прежний. Следите за его акцией внятно. А с ним держитесь как следует, этак руки в боки, глаза в потолки.

— Я держусь с ним гордо, товарищ полковник.

— Фараон гордился и в море утопился... Продолжаете писать стишки-с?

— Вы и это знаете, — сказала Эдда, застенчиво потупив глаза.

— Знаю. «Писано в кабаке, сидя на сундуке». Прошу извинить, я цитирую вашего собрата Ваньку Каина. Разумеется, он был ваш собрат лишь как поэт. Написал замечательную поэму или песню: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка», — сказал полковник, глядя в упор на Эдду. Она не знала, как понять его слова: как будто они были обидны, но говорил он шутивно. «Если шутит, значит, я ему нравлюсь». Да и обижаться на него было неудобно и ни к чему.

— Вы любите поэзию, товарищ полковник?

— Ничего тому подобного, — сказал он, пожав левым плечом. — А что же этот ваш... Как его? Шелль? Больше ко мне не соблаговолил заявиться. Впрочем, черт с ним! Он из плута скроен, да мошенником подбит. Да еще вдобавок психопат, постаринному «сущеглупый», — прибавил полковник, в этот день уж чрезмерно подчеркивавший особенности своего стиля.

— Буду обо всем вам внятно докладывать, товарищ полковник, — сказала Эдда, тоже старавшаяся говорить по-особому; она слова «товарищ полковник» произносила с чисто военной интонацией.

— Согласно общей инструкции и нынешней директиве, — ответил полковник. — Ясно и сжато: только к делу, а не про козу белу.

Выдал он ей всего тысячу марок, но сказал, что окончательное вознаграждение будет определено позднее. «Мог бы, скупердй, дать и больше», — подумала она; впрочем, сумма теперь для нее не имела большого значения, и торговаться Эдда не решилась. «Главное, что я теперь могу быть спокойна!»

— И вот еще что, — сказал полковник внушительно. — Быть может, этот мерз... этот лейтенант дал вам много денег? Меня это не касается, но не думайте об отставке! От нас не уходят. Когда вы перестанете быть мне нужны, я сам вам скажу. А до того вы обязаны работать. У вас есть словарь. Если что будет, пишите тайнописью.

Она была в смущенье и не сразу поняла, что это слово означает шифр. Полковник иногда говорил даже «тарабарская грамота», — так шифр назывался в еще более далекие времена. Слово «тайнопись» ей, впрочем, понравилось. Он сделал вид, будто привстает.

Эдда заказала платье. Хотела было съездить в Брюссель и выбрать там кружева. «Фламандские? Брюссельские? Валансьенские?» Их можно было достать и в Берлине, однако Берлин ей давно надоел, и она всегда чувствовала потребность в частых переездах, особенно теперь, со спальными вагонами, с шампанским. Вышло, однако, так, что в Брюссель она не поехала. Пришло письмо от Шелля, — короткое и без всякой тайнописи. «Хочу тебе еще сказать следующее, — писал он. — Освежи свои познания в испанском языке. Я знаю твои способности к языкам. Ты легко найдешь учительницу в Берлине. Нужна только практика. От этого зависит твое счастье. А bon entendeur salut!»<sup>1</sup> Подпись была: «С истинным уважением и совершенной преданностью, твой Х-х-хам».

<sup>1</sup> Имеющий уши да услышит! (фр.).

Она тотчас наняла не учительницу, а учителя, — очень скучала без мужчин. Учитель, впрочем старый и неинтересный, приходил каждый день на два часа. Теперь уехать было невозможно. Кружева были тоже куплены в Берлине. Общий счет, с прибавленьями на расходы, составил тысячу шестьсот двадцать семь долларов: точные, не круглые цифры всегда производили хорошее впечатление. «А что мой картежник из плута скроен и мошенником подбит, это полковник правильно сказал. Непременно ему передам».

От скуки она начала писать рассказ, где героиня, знаменитая артистка, не «говорила, смеясь», а «молвила, смеючись».

## XXVI

В Венецию она вернулась за два дня до праздника. Шелль встретил ее на вокзале и почтительно поцеловал ей руку. Щелкнул аппарат: на перроне ждал фотограф. Был и один унылый репортер. Эдда дала интервью. Шелль ожидал его со страхом, но сошло хорошо. Она говорила о красотах Венеции:

— ...Я много раз бывала в вашем дивном городе. Что может быть красивее площади святого Марка! А Дворец дожей! А Большой канал! Для праздника я тщательно изучила все материалы...

— Пожалуйста, сударыня, не сообщайте ничего о празднике, — вмешался Шелль. — Послезавтра все всё увидят, а пока это маленький секрет.

— Я подчиняюсь, — сказала Эдда с очаровательной улыбкой.

— Прямо Сара Бернар! — похвалил Шелль, когда они остались одни. — И говорила ты о Венеции чрезвычайно интересно, оригинально и ценно. Пять с плюсом. Для тебя снят номер из двух комнат. — Он назвал одну из лучших гостиниц. — На наш счет.

— Я думаю, что на ваш! Но отчего не у вас?

— Зачем же тебе встречаться с его дамой? Я сегодня вечером тебя с ним познакомлю. Устроился так, что ее не будет. Она ему уже надоела... Твоя прежняя гостиница тоже недурна, но ведь твой американец еще там?

— Там. И я должна буду поддерживать с ним контакт, этого требует полковник.

— Поддерживай с ним контакт, — сказал он так же, как полковник. — Можешь сегодня с ним и обедать. Лучше у него в номере. А как наш дорогой полковник, пропади он пропадом? Еще не совсем сошел с ума?

— Почему сошел с ума?

— Да у него глаза ненормального человека, разве ты не заметила?

— Да что он вообще за человек?

— Он смесь. Пять процентов от Ленина, пять от Суворова, пять от Аракчеева, двадцать от гоголевского сумасшедшего, а остальное вода, aqua distillata.

Вечером он познакомил ее с Рамоном. Успех превзошел его ожидания. В особенный восторг привело филиппинца то, что Эдда говорила по-испански. Шелль одобрительно кивал головой: «Молодец баба!» Вид у него, впрочем, был подчеркнуто сдержанный, почти нейтральный, как у «наблюдателя», который на дипломатической конференции представляет дружественную державу, не принимающую в конференции прямого участия. Рамон изъявил желание увидеть Эдду немедленно в костюме догарессы. Праздник шел без репетиций: «Репетиции убили бы душу спектакля!» — объяснял Шелль Рамону.

— Но отчего же вы остановились не в моей гостинице?

— Оттого, что здесь не было достойного номера, — ответил Шелль.

— Для меня достали бы достойный номер! — сказал Рамон. Он хотел было вспылить, но не вспылит. — Когда я вас увижу?

— Где же я переоденусь? — стыдливо спросила Эдда. — Не могу же я ехать из моей гостиницы в вашу в костюме догарессы. Может быть, вы приедете ко мне?

— С восторгом.

— Плыть в костюме догарессы вы, конечно, не можете, — сказал Шелль. — Журналисты устроили бы за вами погоню на гондолах. Они и так с фотографами осадили сеньору Эдду на вокзале, — пояснил он хозяину. — Но по той же причине не лучше ли будет, сеньора Эдда, если вы приедете сюда? Вы могли бы переодеться здесь, в этом номере четыре комнаты.

— Это в самом деле еще лучше!



— Так вы условьтесь. А теперь я, к сожалению, должен вас покинуть, — сказал Шелль, вставая. — До завтра, мой друг, до завтра, сеньора Эдда. Хотя, быть может, я и завтра вас не увижу, столько дела. Рамон, покажите сеньоре Эдде окрестности Венеции, вы могли бы сделать маленькую экскурсию. Но постарайтесь ускользнуть от репортеров.

— Пойдите, я хочу показаться вам в короне. Вы скажете, всё ли как следует, я сейчас ее принесу, — сказал Рамон и вышел в соседнюю комнату.

— Кохана, теперь твое счастье в твоих руках: он еще глупее тебя, — сказал Шелль по-русски. — Это неподдельный *суп де фондэ*, в Рамоне всё неподдельно. Правда, в Венеции нет женщин, говорящих по-испански. Очень неудобно любить при помощи переводчика. А как сошел контакт с американским мальчишкой?

— Отлично, — ответила Эдда, сияя.

Джим был вначале грустен, совсем не такой, каким был в Париже. Дядя давно уехал в Берлин, Джим никого в Венеции не знал и боялся сознаться себе, что немного скучает в этом городе радости и счастья. Но когда Эдда трагическим тоном сказала ему, что они должны расстаться — «судьба сильнее людей!», — он обрадовался неприлично. Это Эдде не понравилось.

— Во всяком случае, мы должны будем поддерживать деловые отношения. От тебя ждут дальнейших услуг.

— Боюсь, что это невозможно, — ответил он, смутившись. — Дядя пишет, что меня переводят в Соединенные Штаты.

Теперь неприлично обрадовалась она. «Чего же они тогда могут от меня требовать?»

— Об этом мы еще поговорим. Мы здесь будем видеться.

— Разумеется! — сказал Джим. — У тебя прекрасный вид. Ты теперь еще больше похожа на портрет Габриеля Джошуа Тревельяна.

— Спасибо... Как у меня теперь синяки под глазами? Больше или меньше?

— Гораздо меньше.

— Ты очень скучал? — спросила Эдда, глотая какую-то пилюлю. Она всегда принимала разные порошки. — Что ты делал всё время?

— Ты не угадаешь. Я становлюсь писателем!

— Как? И ты!

— Я буду писать не стихи... Ты знаешь имя Монтеверде?

— Не знаю и горжусь этим.

— Это был композитор семнадцатого столетия. Он прожил большую часть жизни в Венеции, здесь и умер. Я случайно наткнулся на материалы и решил написать о нем книгу.

— Да разве ты музыкант?

— Я страстно люблю музыку, но играю на рояле неважно, а композиторского таланта, кажется, не имею.

— Я уверена, что ты талантлив. Я страшно за тебя рада.

— Страшно рада и моя тетка Мильдред Рассел, — сказал Джим. Он испытывал такое чувство, какое испытывают люди, покидая пароход после долгого плавания: «С кем-то временно сошелся, но больше его никогда не увижу, и слава Богу: осточертел!»

Всё действительно вышло случайно. Оставшись в Венеции один, Джим побывал во дворцах, церквях, музеях, осмотрел по путеводителю Тицианов, Веронезов, Тинторетто, Джорджоне. Восхищался добросовестно и вполне искренне, но в меру: к живописи большого влечения не имел. Как-то собрался было поехать в Мурано, где в старой церкви Сан-Пиетро Мартире был важный Беллини; но спросив себя, может ли без этого Беллини прожить остаток жизни, ответил, что может, и не поехал. «Да, кажется, выйдет из меня веселый неудачник. Дядя не прав в главном, в своей работе, в своем понимании жизни. Относительно же меня он во многом прав. Я действительно главным образом спорщик, люблю противоречить и словами, и делами. И сам не знаю, чего хочу. Хочу интересной жизни, а в частности ничем особенно не интересуюсь».

В этот день он попал на концерт старой итальянской музыки. Исполнялась месса папы Марцелла. Она не произвела на него сильного впечатления. Почему-то он думал, что музыка Палестрины необыкновенно мелодична; на самом деле мелодий почти не было или же он не мог их разобрать. Огорченно думал, что настоящего дара к музыке у него нет. «Тогда к чему

же есть? А что, если б написать биографию этого композитора? Кажется, он был певцом, и безголосым, затем его прогнали, он бедствовал, и признание пришло лишь поздно?»

В антракте он купил программу и узнал из нее, что автор мессы, Пьерлуиджи, был прозван Палестриной по названию деревни, в которой он родился. «Тогда для изучения материалов, пожалуй, еще пришлось бы поехать в эту деревню. Там я совсем пропаду от скуки, если скучаю в Венеции. Да верно существуют другие биографии Палестрины».

После антракта исполнялись отрывки из оперы «Орфей». Эта музыка, напротив, его очаровала. Он плохо знал миф об Орфее, смутно вспоминал, что этот герой спустился за какой-то женщиной в ад, вытащил ее оттуда, что он очаровывал людей не то пением, не то красноречием и погиб трагической смертью, кажется, его разорвали на части. Джим слушал музыку и, как большинство людей музыкальных, но не настоящих музыкантов, старался подставлять под нее жизненные положения. Сначала подставлял Орфея, затем, частью серьезно, частью иронически, стал подставлять себя. «Вот и я спустился за Эддой в ее ад. Правда, я еще трагически не погиб. Она тоже нет».

В Париже у него в самом деле были угрызения совести, хоть он их преувеличивал в разговоре с дядей. В тот самый день, когда Джим передал Эдде пакет, ему пришло в голову, что ее могут отправить в каторжные работы. Он провел ночь почти без сна. Сгоряча подумал, что надо открыть ей всю правду, надо умолять ее бросить позорное, страшное ремесло. Впрочем, подумал об этом не очень серьезно и сам назвал себя «дураком, и очень скверным дураком»: «Если б я открыл ей всю правду, то это было бы предательством уже с *моей* стороны! Я, разумеется, никогда этого не сделаю! Зачем только я согласился на предложение дяди? Просто по моему вечному легкомыслию». Угрызения совести у него кончились, когда Эдда благополучно уехала из Франции, не только не причинив вреда Соединенным Штатам, но оказав им невольную большую услугу. Однако очень неприятное чувство у Джима осталось. Разговор с дядей его успокоил, всё же он твердо решил, что на службе в разведке не останется.

Орфей, очевидно, тоже был легкомысленным, непостоянным существом. Джим то раскаивался в своих недостатках, то немного щеголял ими перед собой. «Да, во мне есть Орфеево начало... Под эти звуки он, верно, уходит из ада, как уйду я. Только я уйду без всякой Эвридики, уж очень скверная оказалась Эвридика. Странно, что в первый день я совсем этого не чувствовал. Как хорошо, что она получила какую-то работу!»

Он прочел в программе и о Монтеверде. О нем знал еще меньше. Этот, по-видимому, был, в отличие от Палестрины, удачником. Джим сочувствовал обиженным жизнью людям, но сам никак быть неудачником не желал. «Отчего же мне не написать его биографию? Он, кажется, и известен меньше, и музыка его гораздо лучше». В программе указывались годы жизни Монтеверде. Джим пошарил в голове, собирая свой запас исторических познаний. «Эпоха, кажется, очень интересная. Тридцатилетняя война? *Полчища* Валленштейна? Да верно он Валленштейна в глаза не видал. Всё равно, это должно было отразиться в его музыке. Борьба двух миров, как теперь. Не совсем как теперь, но это неважно. И кардинал Ришелье был тогда... А что тогда было в Италии? Хоть убей, не знаю. Несомненно, эпоха была красочная. Это составит канву, фон для книги».

Он был так взволнован, что тотчас после «Орфея» ушел: больше ничего Монтеверде не исполнялось. Было всего пять часов, магазины еще были открыты. Он нашел у антикара старое издание, партитуру на пергаменте, с квадратиками вместо кружков: Монтеверде! Тотчас — очень недешево — купил партитуру и даже до Флориана не дошел. Сел за столик в первой же маленькой грязноватой кофейне, спросил не вина, а кофе, и принялся читать: довольно свободно читал ноты. «Прелестно!..» Его решение стало твердым. Ясно видел перед собой толстую — не очень всё же толстую, страниц в триста — переплетенную книгу. Наверху титульной страницы была его фамилия, а пониже большими буквами: «Клаудио Монтеверде».

Через несколько дней он получил письмо от дяди. Тот сообщал ему, что его желание исполнено: он будет переведен в Соединенные Штаты. «Там ты можешь осмотреться и выбрать, что тебе угодно. Мой совет тебе в армии и остаться», — писал

полковник племяннику на этот раз не в том шутивно-насмешливым тоне, который оба любили.

Он ходил в библиотеку, купил несколько дорогих книг и партитур. Работа, неопределенно называвшаяся собиранием материалов, шла. Теперь оставалось отделаться от Эдды. Поэтому он и был так рад ее словам: инициатива была ее, разрыв был не враждебный, и Эвридика тоже покидала ад.

## XXVII

Маскарад не очень вязался с избранием дождя, но для большей живописности решено было устроить и маскарад. Впрочем, гости могли являться в масках и стильных костюмах или без них, — кто как пожелает.

Газеты печатали заметки о Празднике Красоты. Их было гораздо меньше, чем ожидал Рамон. В газетах, не пресмыкавшихся перед богатством, появились и заметки презрительные. «Секретариат», уже состоявший из нескольких человек, этого для хозяина не переводил. Неподписывавшиеся «добрые люди» усердно присылали вырезки по воздушной почте, — все бросалось в корзину. Рамона огорчало, что в заметках ничего не говорилось об *идее* праздника. Он и сам теперь меньше говорил об обязанности богатых людей перед обществом. А когда бывал раздражен, то, как князь де Саган, с вызовом объяснял, что тратит миллионы для собственного удовольствия и ничьим мнением не интересуется. Интерес к избранию дождя у него несколько ослабел. Эдда появилась как раз вовремя.

За три дня до праздника в гостиницу принесли костюм Шелля. Наташа увидела что-то красное с золотом и не попросила вынуть костюм из коробки. Шелль был неприятно удивлен. Сама она решительно отказалась от стильного платья:

— Нет, уж меня уволь! Если говорить правду, то мне не особенно нравится, что и ты будешь в костюме.

— Не могу же я изображать телохранителя во фраке.

«Зачем же тебе потребовалось изображать телохранителя?» — хотела спросить Наташа, но не спросила.

— Я ничего и не говорю.

— Думаю, что развлечения необходимы, особенно тебе: ты вышла замуж за человека настолько тебя старше. Как это у

Лермонтова? «А что, скажите, за предмет — Для страсти муж, который сед».

«Это ему необходимы развлечения», — грустно подумала Наташа.

Вечернее платье было ей всё-таки необходимо. Шелль, задевший словами Эдды у Флориана, настоял на том, чтобы платье было дорогое. Добился этого не без труда.

— Просто смешно тратить такие деньги на один вечер! Где же я его еще надену? У нас в домике на Лидо и знакомых не будет, а не то что вечера и балы! Будет скромная трудовая жизнь, — говорила она. Он слушал о скромной трудовой жизни хмуро, хотя и ему балы никак не были нужны.

Платье оказалось еще более «вечерним», чем думала Наташа. На шлейф она не согласилась, — «Было бы курам на смех!» При первой примерке пришла в замешательство, увидев себя в зеркале с голым бюстом без рукавов. «Все скажут: «Не умеет такое платье и носить!» Больше всего, разумеется, боялась того, что подумает он. Шелль хвалил, — разве только чуть холоднее, чем прежде.

После того, как он познакомил Эдду с Рамоном, Шелль признал свою роль законченной. Всё дело перешло к секретариату. Главная секретарша работала целый день и себя не забывала. Шелль это знал, а она знала, что и он тоже себя не забывает. Ладили они отлично. По вечерам секретарша делала ему краткие доклады, в частности о недоразумениях между приглашенными, обидах, местничестве.

— Пусть он идет к черту... Пусть она идет к черту, — равнодушно отвечал Шелль. — Помните, важно только одно: чтобы все были пьяны. Шампанское уже доставлено?

— Ледники не вмещают! — отвечала она с улыбкой. Не совсем понимала, почему он изменился: конечно, праздник глупейший, но ведь так было с самого начала; между тем прежде Шелль во всё входил. Он и сам плохо это понимал и приписывал неврастению.

— Ничего, пусть пьют теплое. А если будут недовольны, то пусть повесятся!

За час до начала спектакля, Шелль зашел к Наташе в раззолоченном малиновом бархатном кафтане. При его росте, костюм очень к нему шел. Он и носил его так, точно всегда так одевался. Наташа ахнула.

— Ты великолепен! Просто великолепен! Как всегда, будешь самый красивый из всех!.. Я прежде не сочувствовала, но это так необыкновенно красиво!

— Уж если валять дурака, то как следует.

— Как жаль, что люди так не одеваются теперь!

— Твое платье очень хорошо, очень, — сказал он, целуя ее.

— Ты говоришь правду? Мне просто совестно спуститься в холл!

— Сегодня это никого не удивит. Вся гостиница будет на празднике. Даже лакеи и горничные. Я велел подарить им билеты. «Плебс» будет пьянствовать внизу, а «элита», во главе с Рамоном, в бельэтаже.

— Пожалуйста, не говори «плебс». Я сама плебс.

— Забавно то, что плебс, наверное, наполовину, если не на три четверти состоит из коммунистов или по крайней мере на выборах за них голосует. Кстати, я, просто из любопытства, спросил Рамона, подавать ли и внизу шампанское или же с народа достаточно Asti, — сказал Шелль. Наташу опять кольнуло: «Точно он приказчик!» Он ответил: «Всем шампанское, и самое лучшее!»

— Да, он добрый человек, я знаю.

— Во всяком случае, один из самых щедрых людей, каких я когда-либо видел. Как ни огромно его состояние, он со временем всё спустит. О своей демократической идее он больше, к счастью, не говорит, но по характеру он кое в чем «демократ». Недавно пригласил к себе на обед всех статистов, они очень оробели.

— На каком же языке они разговаривали?

— Вероятно, всё время молчали. В Англии полтора-два года тому назад считалось неприличным разговаривать на раутах. Всё проходило в глубоком молчании, хороший был обычай... На днях он велел секретарше, чтобы на празднике «все были равны»: «У меня нет принцев и графов!» К слову будь сказано, принцев и графов съехалось довольно мало, это к чести аристократии. Я в докладах Рамону даже должен был многим гостям пожаловать титулы.

«В докладах!..» Хоть бы скорее всё это кончилось! — подумала Наташа. Шелль заметил тень на ее лице, догадался и с досадой сказал себе, что и тут стал говорить лишнее.

## XXVIII

Догаресса плыла на Праздник Красоты в пышно убранной гондоле с большой парчовой палаткой.

Платье Эдды было восхитительно. На нее смотрели с завистливым признанием дамы свиты. Они звездами не были, — звезд тоже приехало немного, — свита состояла из второстепенных артисток, скорбно недоумевавших: «Кто такая? Почему никто о ней не слышал? Почему ей дали роль догарессы?» Шелль пустил слух, будто Эдда только что бежала из Румынии, где пользовалась громкой известностью. Румынские звезды могли быть неизвестны в Западной Европе. Кинематографические дамы должны были признать, что румынская звезда очень красива и что одевается она и красится превосходно. Теперь на свиту произвела сильное впечатление ее корона. «Десять тысяч долларов, если не фальшивая!» — решительно сказала одна дама. «Нет, семь-восемь», — возразила другая.

Всего только накануне бриллианты и рубины короны были поддельными. Секретарша утром принесла ее Рамону. Он взглянул и вспылil.

— На моем празднике корона догарессы не должна быть украшена стеклянными погремушками!

Секретарша его слова поняла, тем более, что они сопровождались сильными жестами. Она успела привыкнуть к его вспышкам. Усвоила не ту тактику, что Шелль, а свою, гораздо лучшую. Всякий раз, входя в номер Рамона, она принимала смущенно-восторженный вид, какой может быть у молодой девушки, желающей попросить автограф у Фрэнка Синатры; когда же происходила вспышка, секретарша изображала на лице страшный испуг. И то, и другое ему нравилось. Так и на этот раз ему показалось, будто она тотчас упадет от ужаса в обморок. Она что-то невнятно бормотала, всё равно он понять не мог.

— Вы еще и на мою собственную корону поставили бы фальшивые камни! — сказал он мягче. Его корона стояла огромных денег. Хотя Рамона уже знали в Венеции, хотя газеты писали об его сказочном богатстве, ювелир, получив



чек, перед отсылкой короны в гостиницу справился по телефону в банке, есть ли покрытие на такую сумму. «Есть и на в десять раз большую», — ответил знакомый директор.

— Положите эту дрянь назад в шкатулку, я возьму ее с собой, — сказал Рамон. Секретарша хотела было понести шкатулку за ним, но он не допустил и со шкатулкой в руке прошел к гондоле, — у него теперь была своя, самая лучшая в Венеции. Люди стремительно бросились его усаживать. Он отправился в гостиницу Эдды. Так было с ней условлено.

— Прежде чем ехать в окрестности, мы заедем к ювелиру, — объявил он. Эдда скромно потупила глаза. Ему и это очень понравилось, хотя он любил «женщин-хищниц». — Те дураки поставили вам на корону фальшивые драгоценности! Вам!

Кольцо или брошка были бы подарком наверное. Относительно же маскарадной короны этого с уверенностью сказать было нельзя. «Может быть, корону придется вернуть? Зато если она подарок, то ведь это огромные деньги!» Эдда взволновалась чрезвычайно. В магазине она переводила его слова и еле дышала. Пробовала за него поторговаться, но он ее остановил: не надо! «Благодарить? Но если он не дарит? За внимание? Разве за внимание благодарят *так*, как за подарок!» — мелькало у нее в голове. Она поблагодарила как за внимание, но *бросила ему дивный взгляд*. Как будто он ждал большего.

За догарессой в двадцати гондолах следовал восторженный народ: были все «ремесла». Люди пели, играла музыка. На подъезде к дворцу Эдду встретил дождь в длинной раззолоченной мантии, в короне, с мечом. Над ним держали золотой зонтик. Эдда взглянула на корону дождя и ахнула: «Миллионы!.. Теперь будет хам, если не подарит мне мою!» Рамон жестом Дандоло или Марино Фальери протянул ей руку и поцеловал ее, хотя это было нелегко при двух коронах. Из всех окон дворца неслись бурные рукоплескания и восторженные крики. Впрочем, кто-то закричал: «Эввива Ленин!» Оркестр играл марш из «Аиды». Процессия выстроилась и двинулась вверх по лестнице. Народ орал всё восторженнее. Уже с полчаса лилось рекой шампанское. Теперь с балкона бельэтажа дождь и догаресса должны были бросать народу монеты. Это очень не понравилось Эдде.

— Не надо... Право, не надо... Всё равно будут падать в воду, — говорила она дождю. Но оркестр и рукоплесканья заглушали ее слова.

Она дала билет и Джиму.

Он никого не знал в толпе, бродил по залам и пил шампанское. В зале Тьеполо он обратил внимание на молоденькую даму или барышню, робко державшуюся за «трельяжем». «Очень мила. Как она сюда попала?» К даме на минуту подошел гигант-телохранитель, поговорил с ней, весело улыбаясь, кивнул ласково головой и отправился опять на свой пост. Дама просияла при его появлении. Затем улыбка с ее лица стерлась.

Из-за обязанностей телохранителя Шелль почти не встречал Наташу на празднике. Она издали видела, как он прошел по залу, видела, собственно, только его возвышавшуюся над трельяжами голову. «Так в кинематографе иногда показывают не всего человека, а, например, его ноги. Это даже всегда страшно, кажется, что он преступник... Прежде становилось светлее, когда он входил в комнату. А теперь? Неужели я люблю его меньше? Конечно, нет! Хороша бы я была без него! Все-таки он мог бы подойти ко мне, ведь я здесь одна и никого не знаю... Господи, зачем этот праздник, где половина людей пьяна, а другая делает вид, будто очень весело. Хоть бы скорее эта комедия кончилась! Он сказал: «Уедем на следующий день». Давно пора!» — думала Наташа.

«Верно ее муж, — огорченно сказал себе Джим. — Хорошо бы с ней познакомиться, но кто меня представит?»

Громкоговоритель на трех языках объявил, что наверху в третьем этаже сейчас начнется спектакль марионеток. Часть публики отхлынула от столов буфета. Дама вздохнула и тоже пошла наверх. Джим нерешительно последовал за ней. Отовсюду доносилась музыка. «...Di te, Venezia, E il sibmol vero»<sup>1</sup>, — пел тенор. «Прекрасно поет», — думал Джим. Ему полагалось бы испытывать отвращение от всего, что происходило во дворце. Но по-настоящему ему тут была противна только Эдда, очевидно продавшаяся этому богачу. Он видел, как она сидела

<sup>1</sup> «Скажи, Венеция, — Это символ истины» (ит.).

на троне, и издали поклонился ей. Догаресса величественно кивнула ему головой и с ласковой улыбкой заговорила с дожем. «Если б и не была шпионкой, — просто неправдоподобно антипатична! А дня три мне почти нравилась!»

Переполненный длинный зал кукольного театра с многими рядами стульев был ярко освещен. Впереди разместилась «элита», а в задних рядах народ, — размещение произошло естественно, само собой. Занавес еще не был поднят. Впереди его на эстраде стоял кукольник, пожилой представительный итальянец во фраке и в белой мантии. Он на не очень правильном французском языке, но в совершенстве передавая все интонации французской речи, рассказывал историю марионеток. Джим окинул зал взглядом и сел с краю у двери. «Куда же она делась?» — спросил он себя и увидел ее там, где сначала и не искал: она сидела с простыми людьми, в последнем ряду и слушала очень внимательно. Прислушался и Джим. Вдруг человек на эстраде заговорил так же хорошо по-английски и женским голосом. Публика не сразу поняла. Послышался смех. Теперь кукольник рассказывал содержание пьесы. Она была о роялистах, заговорщиках и шпионах в пору Французской революции. По его словам, среди полишинелей тогда были роялисты, заговорщики, шпионы, и многие из них были казнены.

«Вот бы у меня была такая жена! Теперь и дело есть в жизни!» — думал Джим, с новой радостью вспомнив о Монтеверде. «Любовь и труд, интересный труд, больше ничего не надо. На военной службе я все же останусь, нельзя в двадцать шесть лет жить на деньги дяди. Бедный дядя! Он думает, что провел мудрую жизнь! Ну что ж, я его переубедить не могу, как он не может переубедить меня. Это не мешает ему быть прекрасным человеком. И, что бы ни говорили мизантропы, на свете преобладают хорошие люди, во всех есть хорошее, может быть, и в Эдде... И не хочу никому мешать, пусть только и мне не мешают... Не буду композитором, так буду историком музыки. И женюсь — вот на такой, как эта! — думал он, почти влюбленно глядя на даму в последнем ряду. — Я не знаю, кто она, но я хотел бы, чтобы меня полюбила такая!»

Кукольник кончил, поклонился публике и взбежал по лестнице на свою закрытую вышку, откуда он управлял сетью проводов. Свет в зале погас. Невидимый оркестр заиграл что-то

старинное, — и неизвестное Джиму, и как будто ему теперь знакомое. «Право, похоже на балет Монтеверде!» Занавес поднялся.

Часам к десяти дисциплина во дворце ослабела. Снизу доносился радостный гул. Весело было и в бельэтаже. Дож и догаресса покинули троны. Рамон переходил из залы в залу, приветливо отвечал жестами на восторженные приветствия и приказывал лакеям откупоривать всё новые бутылки. Отдельно от него, с хозяйски королевским видом, поддерживая левой рукой шлейф, гуляла догаресса. Ей тоже что-то кричали. Она посылала толпе воздушные поцелуи, останавливалась у каждого стола и выпивала полный бокал. Голова у нее кружилась. Останавливалась и перед зеркалами; каждое говорило ей, что она прекраснейшая из женщин.

В одной из зал ей попался Шелль. Несмотря на то, что она была так счастлива, лицо у Эдды чуть дернулось от злобы. Повелительным жестом догарессы она показала ему, что хочет с ним поговорить. «Ничего не поделаешь. Все равно завтра уезжаем... Наташа наверху», — подумал он. Один из салонов не был отведен под праздник. Он почтительно повел туда догарессу. Они сели в кресла.

— Ты великолепна, дитя мое, — сказал он. — Я лучшей догарессы никогда в жизни не встречал!

— Ты тоже великолепен. Но ты подлец из подлецов! — ответила она. Шелль поднял брови.

— За что такая немилость, женщина великого гнева?

— Подлец из подлецов!.. Ты говорил, что я дура, да? Дэ как дубина, а как ахинея, да? Я и умом, и инстинктом почувствовала правду! Твой патрон мне сказал, что ты женат! И эту твою ободранную жену ты выдал мне за его любовницу! Всё-таки есть предел и бесстыдству, и вранью! Я чуть в обморок не упала, когда он меня спросил, знакома ли я с твоей женой!

— «Чуть» не считается, — сказал Шелль. — Тебе было бы и очень невыгодно падать в обморок. «По понятным причинам», как пишут литераторы.

— Если я не упала, то только потому, что ты мне давно опротивел! Но я скажу ему всё!

— И то скажешь, кохана, что ты советская шпионка?

На это она не сразу нашла ответ.

— Ты еще, по-видимому, и шантажист, в дополнение к другим твоим достоинствам?.. Я оболью ее царской водкой!

— Ты всех коварных соперниц обливаешь царской водкой. Это не принято: надо обливать серной кислотой. Всё же не советую, — сказал он, и глаза у него стали злыми и жестокими. Эдда испугалась. — Я имею основания думать, что царская водка потом попала бы на твое собственное личико. Будем говорить серьезно. Ну, да, я женился, что же из этого? Это было мое право: я еще в Берлине заметил, что я тебе опротивел. Это мне причинило тяжкие душевные мученья. И еще больше то, что ты сошлась с молодым американцем. Тебе всё можно, да?

— Кто она такая? Он назвал ее «Натали». Ты был на ней женат еще в Берлине?

— Нет. Ты отлично знаешь, что я любил тебя и одну тебя. Пока ты меня не бросила... Ты величественна как Хо Ши Мин. Имя Хо Ши Мин значит: «Тот, кто сверкает».

— Как мне надоели твои глупые шутки!.. Меня никто не бросал! Я бросила и двух своих мужей. Один, как ты знаешь, был законный, настоящий, а другой почти настоящий.

— Я думал, почти настоящих было больше?

— Х-хам!.. Чем же ты занимался после того, как я тебя бросила?

— Тем, что рвал на себе волосы. Оправившись же немного от потрясения, решил, что насильно мил не будешь. Я и хочу расстаться с тобой полюбовно. Согласись, что я тебя осчастливил. Без меня тебе дожда было бы не видать, как своих ушей. Он уже твой любовник или только станет им в ближайшие часы?

— Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается... У него равнодушные черные глаза, я этого не люблю. Глаза должны быть огненные или стальные, как у тебя.

— У него глаза хорошие. Левый зрачок светлее правого.

— Этого я не заметила. Он не понимает, что такое настоящая любовь! Для него это верно то же самое, что хороший обед. Я сама люблю тонкие блюда и изысканные вина, но разве это то же самое! Разве из тонких блюд и изысканных вин

можно сделать трагедию? Даже Джим лучше! Хотя для меня он слишком чист.

— А я?

— Ты тоже многого не понимаешь, но ты другое дело... Она русская? Просто верно какая-нибудь Наташка-горняшка?

— Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается.

— Она здесь? Я ее не видела. Даю голову на отсечение, что и она тебя бросит.

— Неужели даешь голову на отсечение? Нотариус такого соглашения не засвидетельствует.

— Напрасно ты мне не веришь. Во мне сидит колдунья!

— Сидит, но очень глупая... Постой! Что это? На твоей короне поддельные бриллианты заменены настоящими? Кинжал в грудь по самую рукоятку!

— Ты думаешь, он мне ее подарит? — с беспокойством спросила Эдда.

— Это возможно. Если ты будешь хорошо себя вести, я посоветую ему подарить ее тебе. Вообще он тебя озолотит. И ты этим будешь обязана всецело мне.

— Я знаю, что он тебя ценит. Просто не могу этого понять. Но я ему открою на тебя глаза.

— Тогда и я ему открою на тебя глаза. А какой у тебя теперь комплекс? Клеопатры или Мессалины? Написала новые стихи?

— Теперь я пишу простые, классические. Как Виктор Гюго. Впрочем, я испытала и сильное влияние Ти-Эс Элиота. Он замечательный поэт!

— Но ведь он, кажется, очень правый, роялист?

— Поэзия выше всего этого! И я всегда ненавидела всё срединное, это совершенно не для меня. Я и у средних портних никогда не одевалась. То есть одевалась, но с презрением. Одеваться, так у Кристиана Диора. И как досадно, что именно теперь, когда есть деньги, поехать в Париж нельзя! Это тоже твоя вина... А твои люди монолиты, это так *vieux jeu*<sup>1</sup>! Я начинаю думать, что и в роялизме есть своя прелесть. Ты когда-нибудь слышал: «Oh, Richard, oh, mon roi»<sup>2</sup>?

— Нет. И полковник верно тоже не слышал. Поэтому ему лучше этого не говори.

---

<sup>1</sup> Старомодно (фр.).

<sup>2</sup> «О Ричард, мой король» (англ.).

— Я с ним наладила очень хорошие отношения. Он хамават, но, кажется, я ему понравилась, — сказала Эдда с застенчивой улыбкой. Она вообще смотрела на свое участие в разведке, как на милую, забавную проказу; даже не очень ясно понимала, кому она, собственно, служит.

— Это отлично и даже совершенно необходимо. И мы с тобой, повторяю, должны расстаться по-хорошему. Мы друг друга знаем и любим. Заключим gentleman agreement<sup>1</sup>. Очень советую тебе болтать поменьше. Тогда я о тебе не скажу ничего, кроме самого лучшего. Веди себя с Рамоном вообще тихо. Не устраивай истерик, разве только простые маленькие сцены. Ты, впрочем, не истеричка, то есть ты устраиваешь истерики редко. Но имей в виду, что он первобытен и вспыльчив, может дать тебе и по уху. Против этого ты, вероятно, ничего иметь не будешь, однако и щедрости у него убавится. И у тебя больше не будет тонких блюд и изысканных вин. Что бы он тебе ни говорил, отвечай: «Я именно это хотела сказать!» или «Я именно это хотела предложить!». Восторгайся его идеями. Можешь восторгаться и его элегантностью. Впрочем, он в самом деле элегантен. Ему полагалось бы, например, носить такие галстуки с полосками и с цветочками, от которых колокола начинали бы бить набат. А у него галстуки одноцветные, без рисуночков, очень хорошие. Как у меня... Ну, а теперь, сиятельная догаресса, ты должна вернуться к твоим подданным, на «машкараду», как сказал бы твой шут, полковник. Выйди первая, одна. А почему ты без хари?.. В старину маска называлась харей.

— Ты боишься, как бы Наташка-горняшка не увидела нас вместе? Всё равно я в любую минуту могу тебя у нее отбить. Я полжизни отдала бы, чтобы она от тебя сбежала!

— Неужели полжизни? Я боюсь, как бы нас не увидел вместе дож. Он тогда сбросит меня с балкона в Большой канал. Это, кажется, в «Лебедином озере» два танцора танцуют на высокой скале и на каком-то антраша один сбрасывает другого со скалы в пучину. Кроме того, ты тогда не получишь короны.

— Ну, хорошо, так и быть, я согласна на gentleman agreement. Только в виду моего огромного успеха... Ты на меня всегда

---

<sup>1</sup> Джентльменское соглашение (англ.).

имел влияние. Ты один! Я объясняю себе это тем, что имела неосторожность тебе отдаться в первый же день нашего знакомства. Это страшно важно!

— На какой день вашего знакомства ты отдалась Джиму?

— Тоже в первый день, но это было по долгу службы.

— А Рамону?

— Рамону на второй.

— Держись за него, кохана.

— Постараюсь. Меня не забывают мужчины, которых я бросаю И ты не забудешь. «*Tu ne quitteras plus les hontes triomphales. — Qu'inventa, une nuit, mon vieux démon charnel!*»<sup>1</sup>, — грозно продекламировала она.

— Это твои стихи? Или только тобою исправленные?

— Как у меня теперь синяки под глазами? Меньше или больше?

— Гораздо меньше. Никаких синяков. Только вот что, дочь моя рожоная. У тебя всегда всё в жизни кончалось вздором. На этот раз постарайся изо всех сил твоего небольшого умишки. Глотай всё, что попадетсЯ, с жадностью, как щука. Брать с Рамона деньги — это угодное Богу дело. Тотчас произведи рокировку, как в шахматах. Обеспечь себя. Высоси из него тридцать шесть миллионов золотых франков, как маркиза Помпадур у Людовика XV.

— Я уже от тебя раза два слышала о Помпадур. Ты повторяешься... Теперь скажи мне тридцать раз *le mot de Cambronne*<sup>2</sup>.

— Это еще зачем?

— Разве ты не знаешь, что таков старинный обычай во всех театрах Франции? В случае успеха надо сказать артистке *le mot de Cambronne*.

— Я не могу произнести такое слово на коронации дожа.

— На ухо, — предложила она, подставляя ему щеку.

— На ухо, пожалуй, скажу с удовольствием.

Оставшись один, он закурил новую папиросу, курил теперь непрерывно. «Ах, как скучно! Смерть мухам. Просто сил

<sup>1</sup> «Ты не уйдешь от триумфального бесчестья, / Того, мой старый плотский демон, что родила ночь!» (фр.).

<sup>2</sup> Слово Камбронна (фр.). Наполеоновский генерал Камбронн на предложение сдатьсЯ крикнул англичанам нецензурное слово.



нет! — думал он. — Какой идиотский праздник! За последние годы таких было три или четыре. Левый социолог увидел бы в этом символ обреченности буржуазной культуры. Может быть, но и она лучше того, что может прийти ей на смену. И это в моей жизни еще далеко не самое худшее... Как ужасен тот мир, в котором я прожил почти всю жизнь! Уж если я сам задыхаюсь, «подлец из подлецов», как она сказала. Просто поверить трудно... Ведь есть в мире светлое, есть столько хороших людей, почему мне так не повезло в жизни?.. Но теперь я навсегда вылезу из грязи. Завтра уедем... Что я делал бы без Наташи?..»

В одной из гостиных он наткнулся на Рамона.

— Ну что, как по-вашему? Все хорошо?

— Изумительно. Ваш праздник перейдет в историю.

— Теперь и вы видите, что может сделать частный человек, сознающий свои обязанности!.. Выражаю вам благодарность за помощь и советы.

— Я сдал последние счета и остаток ваших денег секретарше, — сказал Шелль. — Как вы знаете, мы завтра вечером уезжаем. Завтра и я, и, вероятно, вы, будем заняты целый день. Позвольте с вами проститься.

— Я приеду на вокзал.

— Это очень мило, но зачем вам беспокоиться? Как хотите. Тогда простимся на вокзале.

— Вы сейчас уезжаете домой? Неужели не останетесь до конца праздника?

— Нет, у меня сильно болит голова.

Голова у него действительно болела. И никогда еще он к себе не чувствовал такого отвращения, как теперь. Шелль не опасался, что Эдда обольет Наташу «царской водкой», но, как с ним иногда бывало, его вдруг стало мучить неясное предчувствие больших несчастий. «Ни малейших оснований нет, напротив, всё в полном порядке... Где Наташа? Сейчас же домой, сию минуту».

Он поднялся по лестнице и вошел в зал, не обращая внимания ни на марионеток, ни на публику, недовольно на него оглядывавшуюся. В полутьме тотчас разыскал взглядом Наташу. «Она наверное в самом последнем ряду. Да, у нее inferiority complex<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Комплекс неполноценности (англ.).

а у меня острая неврастения, одно стоит другого». Он подошел к Наташе сзади, и, наклонившись над ее стулом, спросил:

— Тебе, вероятно, очень скучно? Поедем домой, а?

— Отлично, поедем, — ответила она шепотом, удивленно на него глядя. — Ведь ты говорил, что часа в три... Хочешь сейчас? Теперь не особенно удобно уходить, люди и то косятся...

— Пусть косятся, сколько им угодно, пропади они пропадом, — сказал он, злобно глядя на публику. — Мы с утра едем на Лидо, надо выспаться. Впрочем, мне надо еще проститься с секретаршей. Я спущусь и вызову нашу гондолу. Через четверть часа буду ждать тебя внизу, у двери. Хорошо? — сказал он и, не дожидаясь ответа, не взглянув даже на сцену, отошел. Наташа с испугом смотрела ему вслед. «Что с ним?».

Пышно одетые большие куклы с размалеванными лицами, с тщательно завитыми волосами бегали по сцене, разговаривали, вращали глазами на неподвижных лицах. Джим просто не мог поверить, что за них говорит и приводит их в движение один, теперь невидимый, человек на вышке. Была и карусель; Робеспьер гонялся за Марией-Антуанеттой. Элита в первых рядах оценила символ и одобрительно кивала. «Это, кажется, последнее слово искусства», — с недоумением думал Джим, вспоминая парижскую драму, которую видел с Эддой. Шпионка с лисьей мордой была, наконец, поймана. При ней нашли бумагу с какими-то цифрами.

Наташа вдруг почувствовала сердечную боль. «Что такое? Что случилось?..» Вспомнила не сразу: тот листок, выпавший из словаря: 320... «Ну, и что же? Какой вздор опять?..»

У нее вдруг полились из глаз слезы. Уже через час после того она и понять не могла, что такое с ней случилось. Но теперь самые странные, самые неожиданные мысли вдруг ею овладели. «Неужто ошибка? Неужто всё было ошибкой! Не может быть! Я просто схожу с ума... А если ошибка, то что же теперь делать? Уйти в монастырь! Сейчас вернуться в гостиницу, собрать вещи, мои прежние вещи, и уехать, ничего не сказав?.. На *его* деньги уехать! В какой монастырь! Нет тут православных монастырей... И я люблю его... Что мне делать?.. Не надо плакать, люди могут заметить... Темно, не увидят. Разве я могу от него уехать, хотя бы он был темный человек!

Нет, мне померещилось, как тогда на Капри во сне. Всё от него скрыть... Конечно, конечно, скрыть... А он говорил, что я не умею лгать... Всё вздор, всё!» — прикрикнула она на себя. Слезы у нее лились всё сильнее.

Джим увидел, что к концу представления к даме опять подошел тот же великан-телохранитель. «Да, конечно, муж. У нее никакого cavalier servant<sup>1</sup> по венецианской моде нет и быть не может, — подумал Джим со вздохом. — Таковую жену я хотел бы иметь, но непременно американку. Жениться нужно на *своей*...»

Куклы плясали на площади вокруг гильотины и страшно кричали хриплыми голосами. Оркестр играл в бешеном темпе. Так же бешено пели куклы: «Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les aristocrates à la lanterne!..<sup>2</sup> Народ в глубине зала бурно аплодировал, но без злобы. Аплодировала и элита. «Самая подходящая здесь музыка!» — подумал Джим. Впрочем, он был настроен не революционно. «Всё это гадко, революции, гильотины, войны, разведки! Нет, моя задача в жизни ясна и чиста: любовь, искусство, труд, больше ничего мне не нужно. И пусть они делают, что им угодно!»

## XXIX

На следующий день они покинули Венецию. Рамон действительно приехал проводить их на вокзал. Привез Наташе огромную коробку конфет, был чрезвычайно любезен. Шелль весело с ним болтал. Предчувствия у него как рукой сняло еще ночью в гостинице, а особенно утром в их домике на Лидо.

— ...Главное, это здоровье! — сказал Рамон Наташе таким тоном, точно высказывал замечательную мысль. — У вас сегодня очень утомленный вид.

Этого Шелль Наташе не перевел.

До отхода поезда Рамон не остался: он торопился домой. Горячо благодарил Шелля, и было не совсем ясно, благодарит ли он его за праздник или за Эдду.

<sup>1</sup> Галантного кавалера (*фр.*).

<sup>2</sup> «Пойдет, пойдет, пойдет! Аристократов на фонарь!..» (*фр., из песни времен Французской революции*).

— Может быть, мы еще с вами увидимся в Берлине. Она сказала мне, что ей надо будет туда съездить, ликвидировать квартиру, взять вещи. Разумеется, я поеду с ней, — сказал он с некоторым замешательством, хотя и не скрывал своих отношений с Эддой. Шелль одобрительно кивал головой и просил кланяться.

— Какая прелестная женщина! — сказал он. — И какая бескорыстная! Представьте себе, она хотела вернуть вам эту корону! Думала, что вы ее возьмете назад! Я едва ее уверил в том, что это был ваш подарок ей. Зная ваш характер грансеньора, думаю, что я не ошибся?

— Разумеется! О чем тут говорить! Теперь понимаю, почему она меня за нее не поблагодарила... Вы пользуетесь у нее большой милостью! Она мне говорила, какой вы замечательный человек. «То-то», — подумал Шелль, впрочем не сомневавшийся, что и Эдда gentleman agreement выполнит. — Я это знал и без нее. А каков был праздник?

— Выше всяких похвал. Я уверен, мировая печать будет трубить о Празднике Красоты еще целый месяц. Вы оказали обществу огромную услугу. И все было совершенно так, как у дождей. Но едва ли они могли тратить на праздники столько денег, сколько истратили вы. Секретарша сказала мне, что одного шампанского выпили четыре тысячи бутылок.

— Предположим, что выпили только половину, а остальное досталось секретариату и лакеям, — сказал весело Рамон. — Но это в порядке вещей. Богатый человек должен понимать, что надо при нем жить и бедным людям.

— Бедным, разумеется. Где же вы остановитесь в Берлине? Я хотел бы предложить вам гостеприимство в своем доме. У меня там есть собственный дом, — небрежно вставил Шелль, всё же смутно надеясь, что Рамон верит в его богатство, — но моя квартира в нем недостаточно велика.

— Что вы! Есть гостиницы. Мы верно туда отправимся недели через три-четыре. — «Тогда всё в порядке. Нас уже давно там не будет», — подумал Шелль. — Мы еще совершим небольшое путешествие. Я ей предлагал съездить в Париж, но она почему-то в Париж не хочет. Вероятно, полетим в Севилью. Наконец-то меня будут понимать без переводчиков.

Как водится, он сказал, что останется на вокзале до отхода поезда; как водится, Шелль ответил, что это совершенно не нужно, — зачем ему терять время, и так слишком мило с его стороны, что он приехал на вокзал. «Одной руки мало, протянем обе. Явно переходим из стадии добрых приятелей в стадию старых друзей. Если б он был русским, пришлось бы и расцеловаться», — подумал Шелль. Рамон поцеловал руку Наташе, которая, скрывая нетерпенье, ждала его ухода, еще раз пожелал здоровья и ушел к своей гондоле.

— Он сто раз говорил мне, что очень занят. Мне всегда хотелось его спросить: «Верно, крестословицы решаете?» Но он, право, милый. И не такой obvious<sup>1</sup>, как я прежде думал. Не удивлюсь, если он когда-нибудь покончит с собой.

— Не говори ерунды. Он очень милый, но слава Богу, что он, наконец, уехал! Хотя нехорошо так говорить.

— Это у тебя тоже такая манера: вставишь «нехорошо так говорить» — и говоришь.

— Совсе нет, все ты выдумываешь, Эудженио... Скажи, как меня зовут?

— Ты не рехнулась ли?

— Меня зовут Наталья Ильинишна *Шелль*. Повтори!

— Наташка Шелль. Очень глупая Наташка Шелль, но необыкновенно милая. В мире, в этом all-hating world<sup>2</sup>, порядочные люди едва ли составляют значительное большинство, однако есть люди, очень удачно прикидывающиеся порядочными. Некоторые этого даже не замечают, у других это входит в привычку, но ты...

Она смотрела на него, почти не слушая его слов, думая о чем-то своем. Потом расхохоталась.

— Вечный вздор! Я уже от тебя слышала эту цитату. Из какого она дурака?

— Из Шекспира... Так ты довольна, что ты Наташка Шелль?

— Не особенно, — сказала она. С нее тоже, непонятным образом, как рукой сняло печаль.

Поездка была необыкновенная. Собственно, это была их первая поездка вдвоем. Из Неаполя в Венецию они ехали днем, в

<sup>1</sup> Здесь: элементарный (англ.).

<sup>2</sup> Море всеобщей ненависти (англ.).

отделении вагона были и другие люди. Теперь они были одни, никто не потревожит. Кондуктор почтительно попросил отдать ему билеты, чтобы больше их не беспокоить. Всё в вагоне было кожаное, бархатное, лакированное, всё было так ярко и уютно освещено. Роскошь показалась Наташе удивительной, но теперь уже не вызывала у нее угрызений совести. На полках были только новенькие, дорогие несессеры, — Шелль в Венеции подарил ей и несессер, — остальное было сдано в багаж.

На границе чиновник вошел в купе, сказал: «Passe, meine Herrschaften»<sup>1</sup>, — в присутствии Шелля она не боялась и немцев. Они пообедали в вагоне-ресторане, — Наташа в первый раз в жизни, — необыкновенная радость, хотя, по ее мнению, *надо* было жить бедно. Он, как всегда, много выпил и шутил очень весело: дразнил Наташу тем, что мог бы жениться на богатой и очень подумывает о разводе. Она опять залилась смехом.

— Припадок беспричинного веселья? — спросил Шелль. Он с неприятным чувством замечал, что эти припадки, так ему нравившиеся, стали происходить с ней гораздо реже со времени их женитьбы.

— Нет, не «беспричинного»: причинного! — ответила она.

В купе они вперегонки ели конфеты, съели чуть не половину коробки. Наташа хвалила Рамона.

— ...Ты не думай, что я его не люблю. Во-первых, я всех люблю...

— То есть никого.

— Тебя меньше всех! А во-вторых, он хороший человек, хоть с недостатками, как мы все.

— Его беда в том, что недостатки у него немного смешные и усиливаются от его огромного богатства. Но он в самом деле недурной человек. На тысячу людей он был бы в первой сотне... Или, скорее, во второй. Достоинства у него отчасти от того, что ему нечего для себя желать.

Он встал, взглянул на себя в зеркало и, как всегда, остался доволен. Наташа следила за ним с ласковым любопытством.

— Хорош, хорош! — сказала она насмешливо; прежде *так* этого не сказала бы. Он усмехнулся и достал из несессера книгу

---

<sup>1</sup> «Господа, ваши паспорта» (нем.).

Тургенева. «Мосье надоело со мной разговаривать», — благодушно подумала она. Открыла книгу, но не читала. Они больше почти и не разговаривали, только сидели рядом, изредка брали друг друга за руку, хотя оба были в перчатках, — Наташа уже не в прежних *suedé*. С внезапным, страшным — точно случилось несчастье — шумом, с адской быстротой, еле успев сверкнуть огнями, пронесился встречный поезд, Наташа испуганно вскрикивала. Шелль, смеясь, целовал ее. Подобного ощущения полного счастья она не испытывала с вечера тарантеллы на Капри.

Остановились они в берлинской квартире Шелля. Мебель очень понравилась Наташе. Кабинет и спальная напоминали ей комнаты в фильмах, в которых изображалась жизнь передовых людей с непонятно откуда взявшимися большими средствами.

— Это немецкое *sophisticated*<sup>1</sup>, то есть нечто еще худшее, чем *sophisticated* просто. Не могу понять, зачем я купил такую. Верно, я тогда «всякую моду подражал», как говорит у Островского купец.

— А мне, напротив, ужасно нравится! — возражала Наташа и высказывала соображения о том, как можно будет расставить эту мебель на Лидо, в их домике (никогда не говорила «вилла»).

— Спальная здесь только одна,— сказала она нерешительно и покраснела. — Кровать широкая, но, если хочешь, я буду спать в кабинете, на диване, он очень удобный...

— Какой вздор!.. Знаешь, ты еще похорошела. Ты теперь похожа на даму бубен.

Его виолончель привела ее в восторг. Она умоляла его поиграть, он отказался, и лицо его дернулось.

— Больше играть не буду, закаялся.

— Отчего «закаялся»?

— Так. Надо будет ее продать. Я когда-то заплатил за нее большие деньги. Говорят, она принадлежала самому Ромбергу.

— Верно ты после выигрыша купил?— спросила Наташа. Она имени Ромберга не знала. И чтобы не притворяться, будто знает, тотчас спросила: — Кто это Ромберг? Какой-нибудь знаменитый виолончелист?

---

<sup>1</sup> Утонченное (англ.).

— Да, после выигрыша купил, — сказал Шелль неохотно. Он купил виолончель после одного из самых тяжелых своих дел.

— И сколько у тебя нот! «Streghe» Паганини... Ведь он был скрипач, а не виолончелист.

— Был гениальный скрипач, но скрипку терпеть не мог. Предпочитал ей гитару! Он и на виолончели играл. Станный и страшный был человек, авантюрист и, говорят, убийца.

— Ты за всем следишь, всё знаешь!

— Всё, что происходило и происходит в мире, и даже гораздо больше.

— А это что? Ноты написаны твоей рукой! «Presto»... «Animato»... — прочла Наташа. — Неужели ты пишешь музыку! И никогда, ни разу мне не говорил!

— Да нет, я ее переписал. Это «Тарантелла» Шопена.

— «Тарантелла»!

— Не та, которая была на Капри. Ритм, конечно, тот же, но это другая. Та, верно, была местного производства. Есть, кажется, три известные тарантеллы: Шопена, Мендельсона и Чайковского. Все три очень хороши. Я переписал для виолончели шопеновскую, которую Шуман называл безумной.

— Даже ее не сыграешь для меня?

— Ни за что!

— Как хочешь. Ужасно жаль, — сказала Наташа, удивленная его словами и изменившимся выражением его лица.

Он скоро отлучился, надо было зайти на почту, достать через агентство уборщицу, Aufwartefrau. Наташа возражала:

— Я все отлично могу делать сама, всего две комнаты, часа на два работы в день.

Оставшись одна, она опять всё осмотрела уже гораздо внимательнее, хозяйским глазом. «Странно, что на стенах нет ни одной фотографии. Неужели у него нет близких людей?.. Какая огромная ванная!» Попробовала воду из горячего крана, через полминуты пошел кипяток. «Как хорошо! Сейчас и выкупаюсь». В большом стенном шкапчике была аптека. Там оказались десятки бутылочек, пузырьков, коробочек. «Это у моего геркулеса-то! У меня ничего, кроме аспирина, нет». К удивлению Наташи, в аптеке было пять или шесть снотворных.

Нашла она и несколько колод карт. Разыскала даму бубен.



Они посещали театры и кинематографы, обедали в лучших ресторанах; Шелль сыпал деньгами еще больше, чем прежде. Он был в хорошем настроении духа. Берлин возбуждал в нем тягостные воспоминания, но это было прошлое, — больше никаких полковников. Всё же он, без особой необходимости, побывал в восточной части города. Настроение там показалось ему не совсем таким, какое было прежде. «Еще, пожалуй, готовятся «события». Тогда надо ускорить отъезд. Ненавижу «события» больше всего на свете: довольно их с меня!» Вернулся он с облегчением и сам недоумевал, как мог туда отправиться. «Риска очень мало, но при Наташе я и права не имел идти хотя бы на небольшой риск».

Теперь он жил именно как «рантье», уже без всяких занятий. Каждый день покупал «Фигаро», «Манчестер гардиан», немецкие газеты, но не очень их читал. О воспоминаниях больше не думал. «Разве я могу рассказать о своей жизни всю правду? Автобиографии — самый лживый и довольно бесстыдный род литературы. Но «перейти в потомство» хочется. Разумеется, в выигрышной позе. Найти позу можно бы, — лениво думал он. — И слава Богу, что никого не видим, что не надо говорить о войне, о намереньях Кремля, о сенаторе Маккарти».

Никак не скучала и Наташа. Ей нужно было сделать выписки в библиотеках. Работа заняла не очень много времени. На этом берлинские дела Наташи заканчивались. Она побывала в своем пансионе, с застенчивой гордостью сообщила, что вышла замуж, хозяйка любезно ее поздравила. Наташа перевезла свои вещи и размещала их с улыбкой: так они тут выделялись. Расставила свои книги на полках с книгами мужа, которые еще в первый день рассматривала с любопытством. На средней полке теперь заметила большой, страниц в тысячу, справочник по медицине. Оставшись одна, она долго просматривала эту книгу. Не знала, на каком месяце появляются первые признаки беременности. Пойти к доктору или к акушерке ей было неловко. Ничего не нашла.

Книг у Шелля было больше, чем места для них, кое-что лежало, к его неудовольствию, поверх равных по росту томов. Когда Наташа вдвигала туго входивший справочник, упала объеми-

стая папка, и на пол вывалились гравюры. «Ничего, сейчас всё подберу», — подумала она. Гравюры были старинные и хорошие. Первой была «Embarquement pour Cythère»<sup>1</sup>. «Эту картину я знаю, это Ватто, знаменитый». Наташа стала просматривать другие гравюры. На большинстве была неизвестная ей подпись: Бодуэн. Она их откладывала в папку, изнанкой вверх. Неприятное чувство у нее всё росло. Все гравюры были очень легкомысленного содержания; строгий человек мог бы даже назвать их порнографическими. «Неожиданно! Должно быть, он собирал их давно, когда был очень молод... Он просто любит искусство. Странно, что собирал только такие. Верно, этот Бодуэн тоже известный, я так мало знаю...» Почему-то, хотя связи не было никакой, Наташа снова вспомнила о листке с цифрами. Она поспешно положила папку на прежнее место.

В контору по перевозке вещей они отправились вместе. Контора взялась перевезти все в Венецию очень скоро.

— Но как мы будем жить здесь, когда вещи от нас увезут, а там их еще не будет? — спросила она по дороге домой. — Придется переехать в гостиницу?

— В Берлине не стоит переезжать. Лучше будем их ждать в Италии.

— В Венеции?

— Что ж всё Венеция и Венеция? И я не так жажду опять увидеть дона Пантелеймона, — ответил Шелль. Наташа вздохнула свободнее. — Ты еще ведь не видела Рима. Поедем в Рим. А когда вещи будут доставлены, тотчас отправимся на Лидо.

— Отличная мысль! Отличная... Мне везде с тобой хорошо, но всего приятнее будет в нашем домике, после окончательного устройства. Боюсь только, еще кое-что придется купить. У нас постельного белья очень мало. Ничего, что я куплю? Мышка в норку тащит корку.

— Ничего, только хорошую корку тащи, дорогую.

— Все дорогую, дорогую! Что мы за герцоги! А заживем мы отлично! Ты этого не думаешь?

— Думаю и даже уверен, — ответил Шелль.

---

<sup>1</sup> «Отплытие на остров Цитеру» (фр.).

Всё же, вернувшись домой, он вздохнул. «Неужто жалко бросать эту квартиру? Много было здесь пережито. С ней уйдет большая полоса жизни. Скверная, но большая. Все-таки никаких несчастий не было, пока я здесь жил, — думал он. Это имело для него значение. — Но я в ней ни к чему не приложился. Главное для человека — приложиться к чему-нибудь, к семье, к службе, к карьере. Теперь приложился, и слава Богу... Вся моя жизнь была бред, с Ололеукви или без Ололеукви, всё бред. И то, что в мире происходит, тоже бред, как только они не замечают? И какой скучный!»

У него в уме скользнули князь Меттерних, вино Иоганнисбергер, папиросы Честерфильд. Довольно долго не понимал, в чем дело. «Ах, да, первый разговор с полковником, он тут сидел. Важный был разговор, я чуть из-за него не отправился на тот свет. Папиросочница с дактилографическими отпечатками... «Тшорт!..» Да, хорошо, что это навсегда кончилось. Теперь тихая пристань, никакая беда и не подкрадется». Он постучал по дереву.

По желанию Наташи они в этот вечер отправились обедать в Грюнвальд, в *тот самый* ресторан. Наташа, очень взволнованная, хотела было занять и *тот самый* столик, — хорошо его помнила, — но он был занят; это было ей неприятно: их столик заняли чужие люди. Пообедали на террасе, заказали те же блюда, то же вино, — помнила всё. Сидели часов до десяти. На столиках давно зажгли лампочки с цветными абажурами. От этого на террасе стало уютно; но вечер был довольно холодный, подул ветер.

— Ты не простудишься? — спрашивал он.

— Никогда в жизни! — слишком горячо, несоответственно вопросу, отвечала она, точно при нем, под его защитой, и простудиться было невозможно. На обратном пути она стала чихать. Очень этого стыдилась: насморк!

Ночью она закашлялась. Подавляла кашель, чтобы не разбудить мужа, но он проснулся. Наташа рассыпалась в извинениях.

— Помешала тебе спать! Хочешь, я сейчас перейду в кабинет?.. И ведь три месяца ни разу не кашлянула! Надо же было теперь!

— Ведь так у тебя уже бывало и прежде? — тревожно спрашивал он.

— Нет, так нет... Да, бывало... Конечно, бывало, — говорила она, кашляя и стараясь незаметно смахнуть слезы.

Больше в эту ночь оба не спали. Под утро у нее оказался жар. Шелль вызвал того профессора, к которому заставил ее пойти осенью. Наташа умоляла не звать врача, а уж если звать, то какого-нибудь дешевого из их квартала.

— Лучше бы просто купить чего-нибудь в аптеке. Ведь это совершенный пустяк. Самая простая простуда.

Профессор нашел нужным впрыснуть пенициллин. Он успокоил Наташу, старательно делавшую вид, будто она нисколько не волнуется. Но в кабинете, в разговоре вполголоса с Шеллем, профессор не скрыл, что левое легкое у больной не в очень хорошем состоянии.

— Конечно, пройдет. Все же больной не следовало бы оставаться в Берлине. Вы имеете возможность уехать?

— Когда угодно и куда угодно.

— Вот через неделю и уезжайте.

На беду, Наташа оказалась аллергичной к пенициллину, и ей вечером стало хуже. Профессор приехал снова, отменил прежнее лечение, назначил новое и опять посоветовал уехать, уже более настойчиво.

— У нас есть вилла около Венеции, на Лидо. Можно туда? Профессор поморщился.

— Море, каналы, — сказал он нехотя. — Нет, я вам посоветовал бы сначала пожить в горах. В хорошем санатории.

— В Давосе? — изменившись в лице, спросил Шелль.

— Зачем непременно в Давосе? Туберкулеза пока нет.

— Наверное нет, профессор?

— Наверное. Есть только опасность, что он может появиться. Анализы все покажут. Не скрою, состояние больной стало хуже, чем было осенью. Но опасности я не вижу. У нее очень усталый организм. Вероятно, жизнь была нелегкая?

— Да, нелегкая! Она в шестнадцать лет оказалась *военнопленной!* — сказал Шелль. Он вспомнил о подземном заводе, и глаза у него вдруг стали бешеные. Профессор на него взглянул и смущенно, ни о чем больше не спрашивая, простился.

## XXX

Были сняты две комнаты в швейцарских горах, в санатории, который бодро называл себя домом отдыха. Врач осмотрел Наташу, проделал все исследования и подтвердил диагноз берлинского профессора: туберкулеза нет, есть только склонность к нему, очень ослабел организм, задето левое легкое. Страшных слов, вроде «каверны», сказано не было. Лечение заключалось в отдыхе, чистом горном воздухе, усиленном питании. Наташе было велено проводить большую часть дня в лежачем положении, либо в большом саду дома, либо на сложно устроенной солнечной террасе. «Что ж, это не так трудно. Часть дня и он будет сидеть со мной, будем читать рядом», — думала Наташа. Еще в Берлине ей приходило в голову, что, верно, она недолговечна. «Может быть, и жизнь так люблю из-за болезни: это у всех чахоточных, вот как румянец. Конечно, лучше, несравненно лучше было бы в нашем домике на Лидо, но что ж делать, и тут можно жить».

Вещи Наташа разложила в первый же день, начала вязать и, как всегда, работа в ее руках кипела. На террасе, когда поблизости никого не было, вполголоса пела «Бублички» или «Уймитесь, волнения страсти», и пела лучше оттого, что он хвалил. Шелль хотел сказать, что ей петь вредно, но не решился. Скоро она приобрела общие симпатии в доме отдыха.

— Ты любишь людей, это редкая черта даже у добрых, — сказал ей Шелль.

— Вовсе не редкая. И мне всех ужасно жалко. Ведь все будут болеть и умрут. Я и книги люблю, и вязанье. Твой pull-over — я правильно говорю: pull-over? — скоро будет готов...

— Правда? Мне он очень пригодится, я так тебе благодарен. Отлично проведем с вами тут лето, Наталья Ильинична!

— Отлично!

— Вот только есть одно английское выражение: «Положить все яйца в одну корзину». Мы с тобой допустили такую неосторожность. Что ты будешь делать, если я вдруг умру, «после непродолжительной, но тяжелой болезни»? Удивительны эти вечные штампы: уж если человек умер, то, казалось бы, ясно, что болезнь была «тяжкая»... А вот я люблю другой штамп: «Прика-

зал долго жить». Выражение хорошее, хотя и странное: умирающий человек едва ли уж так желает долголетия всем другим... Да, смерть... Обычно неизлечимое горе для одного из остающихся, и лишняя *corvée*<sup>1</sup> для всех других: ну, надо выражать сочувствие, ехать на панихиду, на похороны... Прости, что вообще говорю о таких вещах, но я настолько старше тебя. Кто-то, кажется, сказал, что до сорока лет человек живет на проценты от капитала здоровья, а после сорока на капитал.

— Ради Бога, не говори! — Наташа невольно подумала, что такой богатырь, как он, мог бы этого не говорить, особенно ей. — Во всяком случае, не ты первый... Я тоже умирать не собираюсь, но если б моя болезнь стала опасной, то мне всё-таки хотелось бы переехать в наш домик. Я у Гоголя читала, что умирать надо в Италии: в Риме человек целой верстой ближе к Богу. Во всяком случае, не здесь.

— Какую ты чушь несешь! — сказал он. Лицо у него дернулось. — Мы переедем в Италию не для того, чтобы умирать! Стыдно слушать! У тебя «пахондрия», как говорит у Островского Домна Пантелеевна.

— Да ведь я сказала так, на всякий случай. Извини меня, больше не буду. Я знаю, что выздоровлю. Ах, если б только он ясно сказал, сколько именно надо будет прожить в санатории!

— В доме отдыха. Он мне говорил. Правда, тут наши интересы расходятся с их интересами, — сказал Шелль весело. Он теперь обычно говорил с ней очень веселым тоном, и именно это ее немного пугало. — Мы ведь самые лучшие клиенты, им хочется, чтобы мы оставались подольше.

— Но как ты думаешь? Сколько времени мы здесь пробудем?

— Июнь, июль и август, — уверенно ответил он. — В эти месяцы жизнь в горах очень приятна, а в Италии слишком жарко. Осенью же переедем к себе. Будет *чемерица*. Это, кажется, вреднейшая штука, но все-таки приятно: своя чемерица.

— Что? Ах, да, — с радостной улыбкой вспомнила Наташа. — Дай-то Бог! Но как я осложнила твою жизнь! Прямо ее испортила!

— Верно как раз обратное! Ты спасла меня! — сказал Шелль искренне. Наташа вопросительно на него смотрела. —

---

<sup>1</sup> Тяжелая обязанность (*фр.*).

Без тебя я просто не знал бы, что с собой делать. И верно проиграл бы в карты все что имею. Я ведь говорил тебе, что игра была моей страстью.

— Ты говорил, но я не знала, что ты играл так крупно.

— Увы, играл. Кинжал в грудь по самую рукоятку! А больше, верно, никогда карт в руки не возьму. С Рамоном я баловался, да и то редко. Если б я играл с ним по-настоящему, мы были бы теперь много богаче!

«Это правда! — подумала Наташа с облегчением. — Ведь он говорил, что Рамон совершенно не умеет играть... Но теперь, *что бы там ни было*, я, кажется, все бы ему простила! — сказала она себе, с ужасом вспомнив те свои неясные чувства на представлении марионеток. — И никогда больше об этом и не думать, никогда!»

— Каких денег тебе будет стоить этот дом отдыха! А я ничего не зарабатываю...

— Я уже тебе не раз говорил, что мне было бы неприятно, если б ты зарабатывала. Это было бы неестественно. Вот как если бы в балете не танцор поднимал танцовщицу на вытянутой вверх руке, а она его.

— Я не могла бы поднять тебя на вытянутой руке, — сказала Наташа, засмеявшись. — Но в нашем домике мы жили бы совсем дешево. Я, конечно, сама буду стряпать. Мне еще у нас в России говорили, что никто не умеет варить борщ по-малороссийски так, как я. Ты любишь борщ по-малороссийски?

— Обожаю.

— Буду его тебе готовить. Но когда еще это будет? Я думала, что мы с июня совсем устроимся у себя, прочно, надолго.

— Ну, а выйдет только с сентября. Беда невелика. И раз навсегда разделаешься с процессом в легком.

— Ты вправду так думаешь?

— Не я так «думаю», а врачи это утверждают категорически.

— Дай-то Бог! Впрочем, я сама так думаю. Скоро буду так крепка, что просто хоть бычка танцуй!

— Какого бычка? — спросил он, бледнея.

— Разве ты не помнишь? Я тебе на третий день после нашего знакомства читала стихи Державина.

— Какие стихи?

— Неужели не помнишь? «Зрел ли ты, певец тиисский, — Как в лугу весной бычка — Пляшут девушки российски — Под свирелью пастушка? — Как, склонясь главами, ходят, — Башмачками в лад стучат, — Тихо руки, взор поводят — И плечами говорят...»

— Да, да, помню, — перебил ее Шелль.

— А пока что плати этим врачам каждую неделю большие деньги! Они ведь верно за все считают отдельно, за каждое исследование!

— «Богатый человек, сознающий свои обязанности перед обществом, не должен жалеть денег». Это любимая фраза дона Пантелеймона. По-испански она звучит еще глупее, чем по-русски... Не тревожься и об этом, денег у нас достаточно.

Теперь Шелль был особенно рад тому, что имел состояние. «Хорош бы я сейчас был без денег!» Он снял в доме две лучшие комнаты, купил Наташе в Цюрихе очень дорогой радиоаппарат с граммофоном, выписал из Парижа много русских пластинок и русских книг. При доме отдыха была недурная библиотека, но он запретил Наташе пользоваться ею:

— В этот дом отдыха чахоточных не принимают. Ты видела, на террасе ни у кого нет бумажных мешочков. Но всё-таки больные могут быть, и мы еще заразились бы: книги не посуда, их не моют. Скоро придут кучи книг, я выписал для тебя множество советских романов. И о доярках, и о начальниках станции, и о директорах заводов.

— Почему же не писать и о доярках?

— Я решительно ничего не имею против доярок. Только и о них там все врут. А особенно почему-то о директорах заводов. Об этих товарищах уж ни одного слова правды.

— Не говори: «товарищах». Там точно такие же люди, как везде.

— Боюсь, уже не «точно такие же».

— Вот ведь меня ты любишь! А я такая же, как они.

— Нет, ты белая ворона, я тебе это сто раз говорил, ты таинственное чудо неизвестного происхождения, как летающее блюдечко. Ну, хорошо, беру свои слова обратно. И я тебе нисколько не мешаю читать о товарище Федохе, читай сколько угодно... А на Лидо мы и знакомых найдем, в Венеции есть русские. Ты очень мила в обществе.



— Прямо княгиня Буйтур-Хвалынцева. Какие там знакомые, мне они и не нужны. Я буду работать. Видишь, уже все разложила на столе. Но что будешь делать целый день ты?

— Скучать никак не буду. Я и себе купил много романов, английских, американских, французских. Чуть не полное собрание Сименона.

— Это детективные романы? Право, уж тогда лучше читай советские. А книги эмигрантов ты тоже выписал?

— Выписал, кажется, все, что есть. Да есть не очень много. Они ведь все умерли, Чан Кай Ши без Формозы.

— Вовсе не все! Я и их читаю охотно. Лишь бы было русское! Французский язык я знаю очень плохо и просто не представляю себе, как я стала бы читать немецкий роман! Ученые книги — это другое дело.

Иногда по вечерам он читал ей вслух. Тургенева читать решительно отказался; к огорчению Наташи, не любил этого писателя. Но среди ее книг нашелся томик театральные пьес Чехова. Их Шелль читал охотно.

— Лучшая пьеса в русской литературе, по-моему, «Плоды просвещения», особенно первые два действия, — говорил он. — Затем «Ревизор» и одна тонкая, прекрасная пьеса Островского «Не все коту масленица». А уж после этого идут чеховские драмы. Они хороши, особенно «Дядя Ваня». Чехов создал «новый жанр», но эффекты дешевые, такие же милые старые няни, такие же гитары и бубенчики, как в старых пьесах, такие же элементарные люди с «нет, вы подумайте» или с «двадцатью двумя несчастьями». Их, верно, легко писать, и они кажутся живыми именно потому, что пишутся двумя-тремя мазками не очень хорошей краски. А эти чуткие, нежные Сони, Ани, Ирины, Саши. А передовой добродетельный студент Трофимов, — он, кстати, точное повторение передового добродетельного студента Мелузова из «Талантов и поклонников». Никогда таких студентов и не было. И какие провалы: «Проснулся во мне прежний Иванов!» Или Ирина говорит о самой себе: «Душа моя как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян!» А тотчас после убийства ее жениха она начинает что-то болтать о страданиях людей, о каких-то тайнах, о зиме, об осени, о труде. Этим вздором в дореволюционной России всего больше и восхищались, да еще офицерами и неофицера-

ми, будто бы мечтавшими о том, что будет «через двести-триста лет». Этому придавалось «общественное значение», вроде как обличению взяточников и купцов-самодуров в пьесах Островского. «Небо в алмазах» тоже было взяткой критикам, брошенной им костью: «Жрите». В «Скучной истории» профессор видит главную свою беду в том, что каждая мысль, каждое чувство живут в нем особняком и что нет у него общей идеи, — «а если нет этого, то, значит, нет и ничего». То есть будь он либералом, марксистом или народником, то всё было бы в совершенном порядке, история «скучной» не была бы! Критика, разумеется, общественную кость с аппетитом и сожрала. Что ж, теперь у прохвостов в Кремле есть общая идея, кушайте на здоровье... Большой, большой был писатель Чехов. Конечно, он самый правдивый писатель после Толстого, но его мысли... И вышло всё совершенно наоборот. Ах, Боже мой! Неужто он жил на капитал этих дешевеньких, скучных идей!

— То есть они были не оригинальные? А зачем непременно нужна оригинальность? Главное, чтобы мысль была хорошая, добрая... Вот у них у всех, у Толстого, у Тургенева, у Чехова, есть и жестокое, но преобладает доброе. Притом надо же делать поправку на его время.

— «Поправку на его время!» Отличное было время. И никто не «вопил»... Терпеть, кстати, не могу это слово, так оно мне надоело в романах Достоевского. Чеховские герои не «вопили», они «тихо грустили», что нет настоящей жизни. А я не знаю что отдал бы, чтобы жить в *их* время. С жиру они бесились.

— Да, было тихо, спокойно. Мне было бы хорошо. Но... но разве ты так мог бы жить? Ты никогда не мечтал о бурях? — Он поморщился. — Я глупо выразилась, я хотела сказать: ты никогда не мечтал о славе?

— Нет, не очень мечтал, — ответил он хмуро, почти сердито, как никогда с Наташей не говорил. — Не люблю неоновом света, он, верно, и жить мешает. Дай Бог тебе прославиться, ты ведь стала писать и здесь.

— Ради Бога, не говори так. Какое там «прославиться!» Умоляю тебя, не шути!.. Вот ты Тургенева не любишь, а он сказал: «Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти?»

Да, сколько он таких семян оставил! Я — никто, но даже я, быть может, оставлю одно. В тебе... Если я умру, вспоминай меня...

Он хотел было пошутить, но почувствовал, что может и заплакать.

Она действительно снова начала работу над диссертацией и была очень довольна. Кашляла уже меньше. Гулять ей не рекомендовалось. Шелль гулял один. Говорил, что был в молодости альпинистом, часто ходил над пропастями по тропинкам шириной в аршин, у которых были надписи: «Nur für Schwindelfreie»<sup>1</sup>, — она этого без ужаса не могла себе и представить. Взяла с него слово, что он по таким тропинкам гулять не будет. Ему и не очень хотелось: чувствовал, что устал, отяжелел, для альпинизма не годится. Большую часть дня он проводил дома. Свои снадобья окончательно бросил: для новой жизни они не годились и были не нужны. Читал романы или слушал музыку. Граммофон был с автоматически передвигающимися пластинками. Особенно часто он слушал «Патетическую симфонию», хотя Наташа ее боялась и не любила.

«Беспричинное веселье» на нее находило и в санатории. Тогда она становилась особенно мила. Шелль любил ее остроумие, простое, без всяких mots<sup>2</sup>, полное благодушного юмора. Он смеялся, и от этого ее веселье еще увеличивалось.

Все же мысль, что ему с ней скучно, преследовала Наташу. Недели через две она придумала для него развлечение:

— Вот что, наши вещи уже в Венеции. Теперь их надо перевезти в наш домик, — сказала она ему. — Съезди туда на несколько дней и сделай всё это. А то еще на вокзале начальство продаст!

— Ничего не продаст. Все найдем в полной сохранности.

— Да хотя бы и не продало, но если ты всё перевезешь, расставишь, приведешь в порядок, то у меня в сентябре будет гораздо меньше работы. Заодно и немного развлечешься. Где-то теперь твой дон Пантелеймон и его догаресса! — сказала Наташа по не совсем ей ясной и не совсем приятной связи

<sup>1</sup> «Для тех, кто не страдает головокружениями» (нем.).

<sup>2</sup> Здесь: модных словечек (фр.).

мыслей. — А меня ты теперь отлично можешь оставить одну хотя бы на целую неделю. Я чувствую себя отлично. Даже скучать буду не очень: моя работа идет.

В первый раз Шелль не согласился. Она заговорила во второй, в третий. Он загадал: вышло — ехать.

— Так всегда! Женщины делают с нами что хотят. Верно, с самим Наполеоном делали. Он, кажется, говорил, что в любви есть только одна победа: бегство.

— Вот ты можешь и воспользоваться случаем: уедешь и не вернешься, а?

— Это очень может быть. Но не бойся, я тогда заплачу из Венеции по счету в этом доме отдыха: я джентльмен.

— Кстати, надо было бы устроиться так, чтобы не платить за твою комнату, пока ты будешь там. Ты думаешь, они согласятся?

— Согласятся, — ответил он холоднее. Теперь, когда деньги были, Наташа еще больше раздражала его своей бережливостью.

— Ты поговорил бы с директором.

— На что похоже это облако? — перебил ее Шелль, по смутным воспоминаниям из Шекспира. — По-моему, на подвал Лубянки, на «Корабль смерти».

— На что? — изумленно спросила Наташа, взглянув на небо. — Никаких подвалов Лубянки я не видела, да и ты не видел! («А вот мой брат видел!» — подумал он.) И наверное, ни малейшего сходства. Так, пожалуйста, поговори с директором. Зачем тратить зря деньги?.. Я знаю, ты всегда морщишься, когда я думаю об экономии, но ведь это ради тебя: именно ты не создан для бедности. Я к ней привыкла. Иногда почти жалею о ней.

— Знаю, знаю, «голенький ох, а за голеньким Бог», — сказал Шелль. — Нет, я не желаю быть голеньким, спасибо.

О комнате он с директором не поговорил, зато взял с него и с врача слово, что они будут особенно внимательно следить за его женой. Попросил даже об этом кое-кого из новых знакомых по столовой. Все с радостью обещали.

В Венеции он еще с вокзала позвонил в гостиницу Эдды, не сказал своего имени, узнав, что она уехала в Берлин, вздохнул с облегчением: Эдда ему стала так же противна, как Джиму.

Он иногда почти с досадой думал, что благодаря ему она теперь богата.

Остановился он в той же гостинице. Его встретили с почетом. Управляющий, смеясь, рассказывал о Рамоне. Приглашенные на Праздник Красоты остались довольны. Он потратил большие деньги и на подарки.

— Кажется, есть такая восточная поговорка: «Человек уносит с собой в могилу только то, что раздарил при жизни», — сказал управляющий, часто разговаривавший в своей гостинице с писателями. — Тогда ваш друг унесет в могилу много.

— Очень этому рад, хотя он не мой друг, — ответил Шелль и автоматически занес в память «для мемуаров». Он сам часть своей сомнительной эрудиции приобрел таким же способом, как управляющий. «А *всё-таки* он человек не пошлый и почти не смешной, Рамон, скорее уж трагический, хоть не очень», — подумал он.

Работы в домике оказалось немало. Три дня он с рабочими расставлял вещи и книги, вбивал гвозди, кое-что чинил: любил и умел *bricoler*<sup>1</sup>. При этом сам удивлялся, сколько у него оказалось хлама. Много выбросил, даже картины не все повесил, — кое-что надоело или перестало нравиться: «Как только я мог купить такую дрянь! И статуэтки дрянь, хотя будто бы и «подлинные». Черт с ними». Еще больше оказалось совершенно ненужных ему книг. Было многотомное издание «Воспоминаний и писем» князя Меттерниха, — «опять Меттерних!» Ни один том разрезан не был. «Когда же я это купил и зачем? Придется отдать в переплет, не разрезывать же самому. Может быть, и загляну». Поставил на ту полку, на которой им полагалось стоять по формату. Библиотеку в порядок не приводил, — «когда-нибудь позднее, а до того пусть постоит так. Работы было бы на неделю». Нашелся огромный конверт с фотографиями женщин, которые его любили. Он пересмотрел и не без удовлетворения подумал, что теперь совершенно к этим женщинам равнодушен. «Даже почти никогда не вспоминаю. Еще хорошо, что этот конверт не попался Наташе. Удивительно и то, что ей добрые люди до сих пор не сообщили об Эдде».

---

<sup>1</sup> Мастерить (*фр.*).

Теперь вилла, залитая июньским солнцем, была чрезвычайно уютна. Он садился в каждой комнате и выкуривал по папиросе, «чтобы ни одной комнаты не обидеть и не навлечь беды. Да, только бы она выздоровела! Неужто придется поселиться совсем в санатории? А этот домик продать, *наш* домик!» Наташа, к его удовольствию, говорила: *наш* домик, *наши* книги, *мы* проголодались, — только о деньгах всегда говорила: *твои* деньги. «Нет, не может быть! Это для нее было бы страшным ударом. Для меня еще большим». Он чувствовал, что, если с Наташей иногда бывало и скучновато, то без нее было скучно и тяжело. Врачи не очень его успокоили относительно ее здоровья, хотя и не очень пугали. «Да, я правду ей сказал, без нее я пропал бы совершенно. Не выдержал бы того одиночества, в котором проходила моя жизнь! А вот с ней, может, и до глубокой старости дожил бы, чего на свете не бывает! И люди говорили бы со мной восхищенно, как часто говорят с дряхлыми стариками: такой старый и еще не рассыпается! Хочу я этого или нет? Никак не хочу. Странный был бы финал для графа Сен-Жермена. И без того вышло странно. Были в жизни разные комплексы, кончаю же я, очевидно, комплексом Филемона».

Подумал он и об Эдде, — как почти всегда, с отвращением, но теперь еще больше со стыдом. «Поступил с ней бессовестно. Правда, кое-как исправил...» Теперь Шелль, под влиянием Наташи, старался находить хорошие черты у всех. Особенно трудно было их найти у Эдды. «Сама Наташа — ангел. Полковник № 1 просто хороший человек, советский полковник тоже недурной, хоть полоумный, есть немало привлекательных черт у Рамона; быть может, есть они даже у такого прохвоста, как я. Но у Эдды в лучшем случае, кроме ее глупости, только «смягчающие обстоятельства», ну, безвременье, беспочвенность, ужасная среда, в которой она жила чуть не с детских лет, полное отсутствие средств. Да, смягчающие обстоятельства серьезные. Скорее уж можно удивляться тому, что у нее есть какая-то даровитость, правда небольшая и чисто подражательная. Хорошо было бы больше никогда с ней в жизни не встретиться... Да, так буду жить, верно, до конца дней... Но ничего *конкретного* Майков мне не посоветовал, — неожиданно подумал он, морщась от ученого слова. — Сторониться

зла», больше ничего? Маловато. Когда отказывают в милостыне, говорят: «Бог подаст...»

Без причины он остался ночевать в домике, хотя это было очень неудобно: ничего с собой не взял, ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Просто не хотелось уезжать. «Да вот себя примерю к новой жизни. Впрочем, какая же примерка, когда Наташи нет?» Он снова распределял комнаты и мебель в них. Подумал, что вместо ненужной «комнаты для друзей» устроит гостиную, впрочем, тоже ненужную. «Как же ее обставить? Кое-что здесь до отвращения «новенькое». Разве как в старых романах из помещицкой жизни, развешать по стенам, над мебелью из *карельской березы*, пистолеты, старинные ружья, кинжалы? — думал он с улыбкой. — Или это в кабинете? И не поставить ли еще *станок*? Займусь токарным делом. Времени будет двадцать четыре часа в сутки... День да ночь, сутки прочь. Всё-таки другой житейской мудрости никогда не было и не будет».

Он почувствовал голод, подумал, что в этой дыре всё верно закрывается очень рано, и вышел, заботливо повернув ключ в замке, — «инстинкт нового собственника». Кофейня уже действительно закрывалась. Его, однако, впустили и дали ему холодного мяса и вина. Примеривал себя и к этой кофейне: «Вероятно, буду в ней тысячу раз». Примеривал себя также к этим безлюдным улицам, к слабо раззолоченному звездами небу, к деревьям, облитым неярким лунным светом. «Теперь *мое... Моя* «чемерица»... Как несказанно прекрасен мир и тем более жаль, что всё неизвестно, почему и зачем!»

*Дома* он поколебался между креслом и кроватью Наташи. Снял туфли, аккуратно, как всегда, повесил на спинку стула пиджак, расстегнул воротник и лег, положив под голову кожаную подушку из кабинета. Почувствовал, что не заснет. Луна отсвечивалась белым пятном на полу спальни. Тишина была такая, будто не было никакой Венеции, никакой Италии, ничего: стратосфера. Вспоминал самое страшное, самое постыдное в своей страшной и постыдной жизни. «Изменилась душа? Это бывает не чаще, чем меняется пол!» — подумал он и, как с ним бывало прежде, почувствовал, что душа его пуста, пуста, совершенно пуста. Вышел в сад, — теперь это был не *его* сад, не *его* земля. «Всё чужое, а самой чужой, быть может, оказалась

бы нынешняя Россия». Шелль вспомнил, что собирался с Наташей сажать здесь фруктовые деревья. «Не будем сажать», — скользнула у него мысль. Он вернулся в комнаты, испытывая близкое к ужасу чувство. «Неужто всё опять! Нет, есть зацепка».

Он развернул газету. Читал ее странно: несколько строк понимал, затем смысл исчезал, точно терялось на минуту сознание; это повторялось довольно долго. «Кажется, понемногу свихнулся от всех этих снадобий, хотя уже давно их не принимаю». Проснулся он на заре. «О таких ночах люди часто врут: «не сомкнул глаз». Часа три-четыре спал. Вернусь на первом же пароходике, в гостинице будет телеграмма от Наташи». Они условились, что писем писать друг другу не будут. «Никогда у меня не выходили любовные письма. «Я *страстно* люблю тебя». Это чистая правда, но, если я ей напишу это, то мне самому покажется, что я вру... Как странно, что мне многие слова просто действуют на нервы, особенно слова развязные. «Познакомьтесь» при представлении людей друг другу, или «Да-с, так вот какие дела», а то в советских романах: «Даешь», «буза» и сотни других, — уж лучше народная брань, обозначающаяся (чтобы никто не догадался) точками в прежние времена, у еще несоциалистических реалистов», — беспорядочно думал Шелль. От Наташи пока пришла лишь одна телеграмма, написанная по-русски: «Pochti ne kachlaiu. Ostavaisia skolko nuzno. Tseluiu. Lublu». Он обрадовался, даже умилился, хотя русские слова, написанные латинскими буквами, да еще кое-где искаженные, звучали странно-неестественно и хотя в последних двух было сходство с телеграммами из юмористических рассказов. В гостинице новой телеграммы не было. Правда, они забыли условиться, сколько раз будут телеграфировать. Всё же это могло означать, что Наташе стало хуже. Не получив телеграммы и на следующий день, он выехал в Швейцарию.

Еще у дверей дома отдыха он с тревогой спросил швейцара, всё ли благополучно. «Mais oui, Monsieur, Madame va très bien»<sup>1</sup>. «Ну, слава Богу!» — подумал он и почти побежал в их номер. Наташа радостно вскрикнула и бросилась ему на шею. И Шелль, как ни был счастлив, подумал, что они «слились в долгом

<sup>1</sup> «Конечно да, месье, у мадам все благополучно» (фр.).



поцелуе», немного похожем на тот кинематографический долгий поцелуй, которым заканчиваются фильмы.

— ...Прибавила в весе на два фунта, даже скорее на два с половиной! И не кашляю!.. Я сейчас попрошу, чтобы нам дали наш кофе... Твой pull-over готов... Мой Эудженио, мой собственный Эудженио!.. А как наш домик?.. Бедный, ты верно очень устал!..

Вечером Наташа сидела у письменного стола и с пером в руке читала «Шестый помысел уныния» Нила Сорского. Обычно она читала у окна в кресле и пометки делала карандашом; но теперь на столе был расставлен привезенный им ей в подарок великолепный прибор. «Твоим пером, на твоём бюваре я и писать буду лучше!» — говорила она. Шелль, без пиджака, в pull-over'e, лежал на кушетке, задрал на спинку пододвинутого кресла свои не помешавшиеся на кушетке длинные ноги. Он опять — теперь как-то агрессивно — слушал «Патетическую симфонию» и думал о своем, о том, что «никогда не поздно», о Наташе.

«Лют сей дух и тяжчайши есть, съпряжен сушь и споспеваючи духу скорбному, — читала об унынии Наташа. — В безмолвии сущем сия рать зелне належит. Егда волны оны жестокия встанут на душу, не мнит человек в той час избавление от сих приати когда... Яко же бо и той злолютный час не мнит человек, яко претерпеть ему в подвизе жительства благаго, но вся благаа мерзостна показывает ему враг...» «Как верно, как хорошо! Так и буду жить, не поддаваясь, и не будет злолутного часа, — думала она, вспоминая о своей болезни, о подземном заводе, о гравюрах, о листочке с цифрами и отгоняя от себя эти воспоминания. — О чем я думала? Да, что я теперь для себя ничего не могу желать и не желаю: лишь бы всё было так, как теперь, только совсем выздороветь, больше ничего. И людям, всем людям, желаю того же: чтобы никто не знал нужды, чтобы не было неизлечимо больных, чтобы никто из-под кнута не работал на подземных заводах, чтобы везде были сады и вот такие дома отдыха, книги, добрый труд и, главное, чтобы у каждого был любимый, нежно любимый человек, как у меня. Это и будет жительство благое...»

— У каждого из нас есть, конечно, сумасшедшинка. Я знаю, какая у тебя: у тебя патологическая, но не злокачественная правдивость, — сказал Шелль. Наташа оторвалась от книги, взглянула на него и восстановила мысленно его слова. «Обычный его вздор!..» Прежде не решилась бы и подумать о нем такое. — Главное в жизни: это к чему-нибудь «приложиться». Ты приложилась к отзовистам.

— Я знаю, к чему я приложилась. Ах, если б ты мог говорить не в этом тоне! Но я страшно люблю тебя, страшно! И лицо у тебя необыкновенное!

— «Чем не бесподобная партия? Чем не Купидон?» — сказал Шелль и подумал, что она права: ему самому очень надоел этот тон, от которого теперь отделаться было трудно. Он продолжал слушать музыку.

«И проживем с ней до конца дней. Если не на Лидо, то хотя бы здесь, и это не так плохо, — думал он. — Нет, все это не так, Петр Ильич, — мысленно отвечал он Чайковскому. — Через все авантюры прошел граф Сен-Жермен и попал в тихую пристань... Вы ошибаетесь, Петр Ильич, есть в жизни радости, и большие, и малые. Быть может, есть даже и счастье».

### XXXI

В Берлине у Эдды, как у Наташи, была только комната в пансионе. Почти все вещи она взяла с собой в Венецию. Теперь перевезла в огромный номер, снятый Рамоном в лучшей гостинице, то, что у нее оставалось. Нашлась фотография Шелля в халате, с не очень пристойной надписью. Обычно она, обзаведясь новым любовником, сжигала фотографии прежнего, — приписывала этому мистическое значение. Но эту ей сжигать не хотелось: «Вдруг с ним еще не всё кончено? Вдобавок и камина нет. Не требовать же спиртовку!» Она спрятала фотографию в ящик и ключ положила в сумку.

Рамон был несколько удивлен ее предложением съездить в Берлин. «Зачем? Скучный город». Эдда не без труда его убедила. Не очень желала отправиться туда и сама, но считала необходимым побывать у советского полковника и получить от него увольнение, окончательное, навсегда, по-хорошему: слова Шелля ее напугали.

Переходить в восточную часть города ей теперь особенно не хотелось, хотя десятки тысяч людей ежедневно туда переезжали и беспрепятственно возвращались. На этот раз и времени было еще гораздо меньше, чем прежде: она покупала и заказывала всё, что только можно было купить и заказать. Счета посылались Рамону, он их оплачивал без возражений. «Как только он не боится, что подделают его подписи! — думала Эдда, не имевшая привычки к чекам. — Впрочем, подпись у него замысловатая, такой росчерк не легко подделать». Денег он ей не предлагал. «Если попросить, то наверное даст, но напоследок получу больше».

Сама еще не очень понимала, что означает «напоследок». Иногда нерешительно подумывала, не выйти ли за него замуж. «Правда, он говорил, что никогда ни на ком не женится. Ну, они все это говорят! Да еще стоит ли? Есть pro, но есть и contra». «Pro» было достаточно очевидно, «contra» же были разные. Он совершенно ей не нравился, ей было с ним скучно, она хотела сохранить свободу. «Вдруг он еще пожелает увезти меня на Филиппинские острова? Ни за что не поеду так далеко, в этакую глушь! Во всяком случае, поживем и здесь, и в его севильском дворце. А там он должен будет отвалить сумму». Какой именно суммы требовать, Эдда тоже не знала. «Разве положиться на его щедрость, а то еще подешевлю?»

На нее в Берлине нашел припадок истерического лганья. Она рассказывала Рамону о своих сказочных успехах и похождениях. Когда ей было четырнадцать лет, ей предсказал огромное сценическое будущее сам Джон Барримор. Позднее в Риме ею чрезвычайно заинтересовался Муссолини. «Но я слышать о нем не хотела, не буду же я какой-нибудь из этих Петаччи! Я тотчас с мамой бежала из Италии, он был в отчаянье!» Рамон слушал рассеянно и кисло.

По вечерам они ездили в дорогие притоны с элегантными и несколько загадочными названиями. «Будем танцевать до рассвета!» — говорила она. Ей нравились эти слова, в них было нечто *удалое*. Возила его Эдда и в театры. В драме он не понимал ни слова, музыку же не так любил. Зато балетный спектакль очень ему понравился.

— Балет может спасти мир! — с силой сказал он, выходя из театра.

— Балет был дивный! — подтвердила она. — Особенно «Слава герою», где Наполеон под музыку Бетховена танцует в паре с орлом. Это очень глубоко! Но от чего ты всё спасаешь мир? От коммунистов? Да ведь у них-то самый лучший балет.

— Ты не могла бы стать балериной?

— Я чудно танцую, но быть балериной не хотела бы.

— Я создал бы для тебя лучшую труппу в мире... Если мой венецианский праздник пока не имеет исторических результатов, то просто потому, что он неповторим. Красота — могучее орудие, но надо пускать его в ход часто. Балет — это выход. Он мог бы показать трагедию, которую переживает мир. Коммунисты говорят, что личность ничто, а коллектив всё, так? А мы покажем обратное: коллектив ничто, личность всё! Мы покажем в балете страдания личности!

— Всё-таки балет — невысокий сорт искусства, — сказала Эдда, вспомнив, что ей что-то такое говорил Шелль: «Легкая, запоминающаяся музыка, живописные декорации, пляска, голые тела, как это могло бы не завоевать мир?». Но и об этом мы как-нибудь подумаем. «Надоел он мне, Рамон! Скучает, так пусть и скучает. Всё равно скоро его брошу», — подумала она. Как и Шелль, она почти решила, что начнет новую жизнь. «Вот только обзаведусь деньгами, и брошу их всех, и его, и полковника. Буду писать стихи и печатать на свои деньги, если этот заговор молчания будет в печати продолжаться. Не надо больше играть жизнью, а то совсем расстроятся нервы... И картежника с его остротами мне больше не надо. Перееду куда-нибудь в Мюнхен, уж если в Париж нельзя. Устрою у себя литературный салон, буду жить как порядочные люди».

Рамон действительно скучал. В Венеции он был занят праздником, в Берлине же были свободны двадцать четыре часа в сутки. Знакомых не было. Интервьюеры и фотографы не являлись. Газеты даже не сообщили об его приезде. Он не очень интересовался рекламой, но то, что не было никакой рекламы, было ему не совсем приятно. Вдобавок Рамон не понимал, зачем они здесь сидят: везде было скучно, всё же в Париже, а особенно в Севилье было бы веселее. Эдда

старалась ему угодить, придумывала развлечения, за обедом рассказывала анекдоты. Они еще теряли в переводе на плохой испанский язык. Попробовала она как-то рассказать и непристойный анекдот, хотя не знала по-испански нужных слов. Вышло нехорошо: Рамон вспыхнул и сказал, что таких анекдотов вообще не любит и что уж *дамам* они совсем непозволительны.

— Поэтессам разрешается многое из того, что другие дамы, конечно, делать не должны, — сказала смущенно Эдда. Это соображение и ее замешательство его смягчили. Он успокоился и даже попросил извинить его горячность.

— Ты не должна протитуировать такими словами твою личность! — сказал он значительно. У Эдды тотчас на лице появилось такое выражение, какое должно быть у членов парламента, покрикивающих «Hear, hear»<sup>1</sup> во время речи главы партии. — Вот что! Напиши балет на тему «Советская революция». Я найму самых знаменитых артистов и буду возить его по всему миру! Покажем неслыханную историческую трагедию.

— Я никогда не писала либретто, да еще для балета, — ответила Эдда. Его предложение показалось ей несколько обидным, но интересным. «Говорят, авторы получают двенадцать процентов валового сбора».

— Я плохо знаю, что, собственно, ты пишешь. Прочти мне что-нибудь твое.

— Охотно, — ответила Эдда с радостью. Она любила читать стихи, читала всем своим любовникам. Тотчас принесла записную книжку.

— Стихи, впрочем, не совсем мои. Я в Париже на набережной купила книгу одной старой поэтессы. Заинтересовалась эпиграфом из Гете: «Liebe sey von allen Dingen — Unser Thema, wenn wir Singen», «Пусть темой наших песен будет любовь». Поэтесса была неважная, мне всё пришлось исправить, так что, собственно, можно сказать, что это мое. Я тебе потом переведу, а ты в моем чтении оценишь музыку, ритм, напев, — сказала Эдда. Читала она так, как читают плохие

---

<sup>1</sup> «Слушайте, слушайте!» (англ.).

актеры: тщательно скрывая рифму, прилагая все усилия к тому, чтобы стихи казались прозой, но иногда вдруг без причины повышая голос до восторженного крика и так же внезапно и беспричинно возвращаясь к обыкновенному тону:

La trompette a sonné. Des tombes entr'ouvertes  
 Les pâles habitants ont tout à coup frémi,  
 Ils se lèvent, laissant ces demeures désertes  
 Où dans l'ombre et la paix leur poussière a dormi.

Quelques morts cependant sont restés immobiles;  
 Ils ont tout entendu, mais le divin clairon  
 Ni l'ange qui les presse à ces derniers asiles  
 Ne les arracheront<sup>1</sup>.

Он слушал внимательно, думая, что в стихах говорится о любви. Но, когда Эдда перевела, мысли стихов очень ему не понравились. Рамон не любил разговоров о смерти: «Достаточно того, что человек умирает, так еще говорить об этом!» Здесь же были всё могилы и мертвецы. Особенно ему не понравились объяснения мертвецов, — почему именно они не желают выходить из могил. Эти объяснения были совершенно неудовлетворительны: с ним никогда не случалось того, на что мертвецы жаловались. «А если она так ненавидит жизнь, то зачем покупает себе столько всякой дряни!» — Он подумал, что Эдда успела ему надоесть. Одна пышная женщина типа хищницы стояла другой пышной женщины типа хищницы.

«Хорошо было бы, если б он хоть читать стал. Тогда и мне было бы свободнее», — решила Эдда. В книжном магазине поблизости от их гостиницы оказались две книги на испанском языке: «Дон-Кихот» и «Четыре всадника Апокалипсиса». Она купила роман Бласко Ибаньеса, очень ей нравившийся. Находила в себе сходство с Маргаритой Ложье, которая была одно-

<sup>1</sup> Труба прозвучала. Когда могилы открылись, / Бледные их обитатели внезапно вострепетали. / Они поднялись, покинув эти пустынные обитатели, / Где во тьме и мире покоился их прах. / Но несколько мертвецов остались без движенья. / Они все слышали, но ни божественный горн, / Ни ангел, звавший их восстать из последнего прибежища, / Их не подняли (*фр.*).

временно и шикарной и идейной женщиной. Сказала Рамону небольшое вводное слово.

— Обрати особенное внимание на видение этого русского социалиста Чернова! Оно может считаться пророческим!

Рамон прочел роман с удовольствием. Ему особенно понравилась Шиши, тоже очень пышная женщина. От сравнения с ней Эдда потеряла, — никак не могла думать, что подарила книгу на собственную беду. Ему пришла мысль, что и он мог бы кое-что сделать для борьбы с всадниками Апокалипсиса. «Но что именно? Купить яхту и отправиться в голодные страны, встать во главе помощи голодающим?»

Новая идея его заняла. «Продать венецианский и севильский дворцы, на все деньги закупить хлеба? Нет, хлеб все-таки есть и у голодающих, нужны вещи получше. Надо доставить и радость бедным, несчастным людям. Консервы! Всякие, но особенно ананасные. Пусть и бедняки едят ананасы! Это тоже полезно в борьбе с коммунизмом. Если денег от продажи дворцов не хватит, я доложу, сколько бы ни потребовалось!» Рамон был увлечен так, как в тот день, когда у него впервые явилась мысль о Празднике Красоты.

Вечером он получил письмо. Оно было адресовано в Венецию, с «please forward» на конверте. Не подписавшийся добрый человек прислал ему газетную заметку об его празднике. Секретариата больше не было, заметка через цензуру не прошла. Эдда переводила со всё росшим смущением. Рамон, без аллегорий, назывался дураком, говорилось о бесстыдных, невежественных богачах, очевидно, думающих, что им всё позволено, и издевающихся — в такое время! — над нуждой и горем девяти десятых человечества: «Эти господа, очевидно, даже неспособны понять, что их нелепые затеи оказывают большую услугу врагам культуры и свободы, коммунистам».

Рамон был в ярости. Не привык к издевательскому тону; двадцать лет его осыпали похвалами. Кроме того, было ясно, что идея Праздника Красоты осталась совершенно непонятой. «Стоит ли обращать внимание на дураков и негодяев!» — говорила Эдда возмущенно. Но странным образом его раздражение перенеслось на нее, точно она написала эту заметку.

— Верно, этот подлец хотел что-нибудь с меня сорвать! Как все, — сказал он.

— Конечно! Разумеется! Шантажисты! — говорила Эдда.

За обедом он был гневен и, против своего обыкновения, выпил целую бутылку вина. Затем объявил, что пора ехать в Севилью.

— С меня совершенно достаточно Берлина! Очень сожалею, что сюда приехал. Мне нигде не было так скучно, как здесь.

— Мне тоже... Я именно это хотела предложить: уедем, — поспешно согласилась Эдда. — В Севилью есть отсюда прямой аэроплан?

— Вероятно, есть. А если нет, пересядем в Париже.

— Нет, тогда лучше в Мадриде. Я никогда не видела Мадрида. Я поеду в общество и спрошу.

— Зачем? Это сделает швейцар гостиницы. Назначь день.

— Но, может быть, на этот день не будет билетов.

— Для меня будут билеты на любой день!

— Тогда, скажем, в четверг или пятницу... Как фантастична была наша встреча! Ты просто моя судьба! — желая его утешить, сказала она то, что говорила всем своим любовникам.

— Не знаю, почему я твоя судьба, — мрачно ответил Рамон. Он принял решение расстаться с ней в Испании. «Откупиться от нее будет нетрудно. В Севилье скажу, что еду в кругосветное путешествие. Может быть, и в самом деле поехать? Бесполезно работать на людей, они ничего не понимают или не хотят понять! Конечно, не стоит обращать внимание на шантажистов!» — говорил он себе. Но думал, что, быть может, мертвецы Эдды не так уж не правы.

### XXXII

Катастрофа постигла полковника № 2 так неожиданно.

После ответа, полученного им из Москвы, он имел все основания ждать наград. Был почти обеспечен генеральский чин, могли дать орден, денежное пособие. Всё это было чрезвычайно приятно, но вопроса о работе не решало. Оставаться на Западе ему больше не хотелось: всё здесь было ему чуждо и почти всё неприятно. Строевой должности он получить не мог, да и в самом деле для нее больше не годился. На должность в штабах было мало шансов. В том



же ведомстве, в котором он служил, еще более высокий пост означал еще более грязную работу. «Всё-таки остался боевым офицером, к полиции не принадлежал», — в сотый раз повторял он себе. Сам чувствовал, что это у него становится навязчивой идеей: как бы не смешали с чекистами! Смешать было очень легко: люди типа чекистов всё больше переполняли его ведомство, и он с каждым днем яснее чувствовал себя в этом ведомстве белой вороной. Думал, что, пожалуй, лучше всего уйти в отставку.

Перед ним был тот же вопрос, несчастный вопрос пожилых и старых людей: что делать в остающиеся годы жизни? Полковник перебирал всё. На обычной, банальной мысли о воспоминаньях он почти не остановился. «В России воспоминаний не пишут, разве те, у кого есть сейф за границей, да и для них рискованно. И ничего я на войне особенно важного не видел, видел то, что видели все. А о теперешней моей службе и думать лучше поменьше, не то что писать». В свое время он хотел заняться биографией Суворова, но отказался и от этого: «Было бы пересказом старых книг, с расшаркиваниями в сторону начальства и с экономическим материализмом». К тому же, он чувствовал, что, несмотря на орден имени Суворова, правительство не так уж расположено к царскому фельдмаршалу<sup>1</sup>: «Следовательно, издать правдивую книгу будет непросто: Суворов экономическим материалистом не был. Можно, пожалуй, написать историю какой-либо важной операции времен великой войны? Теперь, после смерти Сталина, восхвалять на каждой странице его военный гений незачем, но всё наше командование восхвалять было бы необходимо, то есть опять-таки бессовестно врать: никаких промахов, мол, не было, всё происходило по заранее разработанному плану». Об этом полковник имел определенное мнение: план был плохой, да он в начале войны и не осуществлялся, точно никакого плана вообще не было. Было сделано множество тяжких ошибок, проявилась полная растерянность начальства, и всё спасли храбрость русских войск, самоотверженная выносливость русского народа.

---

<sup>1</sup> Генералиссимус.

В свободное время полковник иногда заходил в книжный магазин. Покупал преимущественно военные книги, иногда исторические. Зашел он в магазин и в июне. Новых военных книг не оказалось. Ему попала старая книга Сергея Аксакова. Она привлекла его внимание переплетом, очень хорошим и превосходно сохранившимся. Переплет был желтый, с очень широким кожаным корешком, с такими же углами. Полковник раскрыл книгу, ему попала фраза: «Кроме описанных мною трех пород в Оренбургской губернии изредка попадаются черные зайцы, обыкновенного склада и величины, мне никогда не удалось их убить». Эти слова поразили полковника: он *должен* убить черного зайца!

Настоящим охотником он считаться не мог. Стрелял влет не очень хорошо, гончих и борзых собак не любил (как, впрочем, не любил их и Аксаков). В молодости охотился в свободное время, которого у него и тогда было немного. Но эта книга была для него откровением: вот что осталось в жизни! Он тут же себе возразил, что с раненой ногой не мог бы ходить по полю, по болотам, по лесу. Книга была, следовательно, ему практически не очень нужна. Однако он почувствовал, что непременно ее купит, сколько бы она ни стоила. Увидел в оглавлении главы о ловле шатром и о капканном промысле. Для такой не слишком утомительной охоты он еще годился. Попался ему и эпитафия из какого-то древнего охотничьего руководства: «Будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие... О славные мои советники и достоверные, и премудрые охотники! Радуйтесь и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими, добрым и веселим сим утешением в предыдущие лета!» «Точно для меня сказано» — подумал он и купил книгу, хотя она была напечатана по резавшей ему глаз старой орфографии.

Вернувшись домой вечером, он заварил кофе, сел за стол и сначала перелистал всю книгу. Под одним переплетом в ней были два тома: «Записки об уженьи рыбы» и «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах». На первом томе он долго не останавливался. В юности пробовал и удить

рыбу, но это дело показалось ему скучноватым и грязноватым: надо было на крючок насаживать живых навозных червей, — на хлебные шарики у него ничего не ловилось. Теперь только пробежал кое-что из «Записок». Ему нравился чудесный, столь простой, бесхитростный слог, — «Да, наши так писать не умеют!» — нравились технические и вместе с тем чисто русские, без «измов», слова: «перекаты», «снулая», «паводки», «верхоплавка», «хребтуг», нравились изумительная наблюдательность, необычайная зрительная память писателя, — он писал о нравах и обычаях рыб, как если б сам прожил всю жизнь под водой.

Скоро полковник перешел к шатрам и капканам. Его поразило сходство этого рода охоты с тем, чем он сам занимался в последние годы. Волков и лисиц ловили так, как он ловил шпионов. «Выбор приманки, правдоподобие, незаметность, всё как у нас!» Охотник искусно подделывал рукояткой лопаточки на снегу волчьи следы для обмана волков и заматал свои собственные. Он должен был даже ходить в свежих незаношенных лаптях, так как запах кожи или ваксы мог спугнуть волка. «Всё это надо так мастерски устроить, чтобы острое зрение зверя ничего не могло заметить и тонкое его чутье ничего не могло услышать», — советовал Аксаков. «Может быть, настоящий разведчик охотником и должен быть. Шелль, кажется, говорил, что тот американец — охотник», — думал полковник, радостно вспомнив о документах из печи в Роканкуре. В капкан мог попасть матерый волк или, еще лучше, черный заяц. «Да, описано на ять, что и говорить. Правда, хорошо ему было описывать, — только с юности и делал, что удил рыбу и охотился, а я был босопляс, питался сеном с хреном», — говорил он себе, борясь с влиянием Аксакова. Но всё больше чувствовал, что его навсегда очаровал этот барин, замечавший то, чего другие не видят.

Книга определила его планы. «Если и предложат новую должность, то стоит ли ее брать? У нас, правда, не предлагают должностей, а назначают на них. Всё же отделаться можно, сославшись на хромоту и увечья. Объясню, что стал неспособным. Настаивать не будут. И вот отставным генералом можно бы поселиться в этих местах, тогда уж по-настоящему

на родине. Родина, конечно, Россия, а всё-таки *настоящая* родина это для кого Москва, для кого Киев, а для меня Верхнее Заволжье. Да, как в старину, нечем платить долгу, так пойду за Волгу. Лошадь куплю, ездить верхом еще могу. Старого леса кочерга. Может, домик удастся выстроить?.. Буду вставать в пять часов утра, буду брать с собой термос с кофе, бутылку крымского вина, беззубому на орехи... Он пишет, что старые, усталые, не очень здоровые охотники караулят зверя неподалеку в шалаше, где сидят в креслах и курят сигары. Ну, я без кресел обойдусь, а вот можно будет брать с собой карманную шахматную доску. Аксаков любил охотиться в одиночку, так буду делать и я. Знакомство буду водить только с крестьянами, из них вышел, к ним и вернусь. Они наши лучшие люди. Примут ли они меня? Кто их души разберет? Может быть, они больше всего хотят, чтобы иностранцы в русские дела не вмешивались, а может быть, именно жаждут, чтобы кто угодно, хотя бы сам черт, свернул шею большевикам? Они главная надежда России, они и еще больше офицерство...»

Он читал до поздней ночи и восхищался всё больше. «Знал разных травников, гаршнепов, чернозобиков, курухтанов, широконосок, вяхирей, клинтухов еще лучше, чем линей, окуней, сомов и налимов!» Полковника приводило в восторг, что собаки бывают вежливые и невежливые, а волки обыкновенные и озорники, что стрельба диких гусей — дело не охотничье, что стрелок благородной болотной дичи не может уважать такую стрельбу, что утка, желая усыпить селезня, долго ласково щекочет ему шею, что народ не признает французских или немецких названий дичи и называет бекаса диким барашком, вальдшнепа лесным куликом, что всё-таки, вопреки общему мнению, первая болотная дичь бекас, а не дупельшнеп, который неправильно называется дупелем, что на севере Оренбургской губернии зимой мерзнет ртуть, а у ее южной границы растут самые нежные сорта винограда. «Это в одной-то губернии! Поистине необъятна Россия!» Он кончил книгу на рассвете.

Благодаря принятому решению и своему огромному служебному успеху, он стал гораздо веселее, чем был прежде.

Стал и снисходительнее к людям; сослуживцы и подчиненные обратили внимание на некоторую перемену в нем и не знали, чему ее приписать. Им был хорошо известен его тяжелый характер. Прежде чуть не половина его труда и времени уходила на расстраиванье интриг, подвохов, козней сослуживцев. Теперь уходило несколько меньше.

А затем стряслось несчастье.

В полученной им от начальства новой бумаге грозно сообщалось, что он доставил дезинформацию, которая уже повлекла за собой вредные, дорого стоившие распоряжения военных властей!

Дезинформация была составлена так искусно, что и начальство в Москве сначала ей поверило. Не сразу и там было замечено одно обстоятельство, которого не заметил полковник. Оно не оставляло сомнений, — все документы были сфабрикованы для введения в заблуждение советского военного ведомства: главный присланный им документ, содержащий сведения об атомных бомбах, был помечен 18 марта. Между тем его шпионка, столь удачно добывшая этот документ прямо из американской печи в Роканкуре, доставила их 17. Улика была неотразимая. Полковник остолбенел.

Вместо блестящего дела оказалось дело постыдное и вредное. Вместо ордена, чина, пособия надо было ждать большой беды. В самом лучшем случае он теперь мог рассчитывать на чистую отставку с последствиями немилости. О том, каков может быть худший случай, были допустимы лишь мрачные догадки. «Чему быть, того не миновать», — сказал себе полковник. Это изречение, часто губившее русских людей, ему помогало. «Широк путь в концлагеря, узок путь из концлагеря... И подумать только, что судить меня будут по одной ошибке! Все труды, все достижения, все заслуги мгновенно забудут, помнить будут лишь об одном промахе! А невежды скажут: в этом ошибся как дурак, значит, и всё дело твое дурацкое!..»

Ему было всего лет десять, когда произошел октябрьский переворот. Тридцать пять лет советской пропаганды не прошли для него даром. Полковник считал всех иностранных правителей фашистами и империалистами, впрочем не вкладывая

особенно обидного смысла в эти принятые обозначения. Он по-прежнему не понимал, зачем нужны еще другие партии, когда и от одной ничего нет, кроме вреда. По-прежнему считал безнравственным все, что было вредно его делу, то есть России. По-прежнему нерешительно считал Сталина гениальным человеком — или же думал, что признание его гениальности очень делу полезно. Прежде говорил себе: «Сталин умрет, а Россия останется». Об его смерти сожалел, тем более, что ждал перехода власти к Берии: «Уж если опять грузин, то лучше бы остался Сталин».

Теперь он думал, что все эти люди губят мир. «Их цель будто бы в том, чтобы облагодетельствовать человечество. Но человечество теперь из-за них, — конечно, из-за них, кому и знать? — тратит непроизводительно сотни миллиардов в год. На такие деньги можно было бы переделать жизнь на Земле без всяких революций, в два счета положить всему конец, и они этому препятствуют». Полковник не мог искренне желать полного разоружения мира. Но ему хотелось бы, чтобы было, как в старину: чтобы существовали армии, гвардии, знамена, чины, отличия, ордена с другими, более приятными, названиями. Ордена Ленина или Красного Знамени очень ценились, однако их названия ему слуха не ласкали. Гораздо приятнее звучали Св. Георгий, Св. Владимир, Св. Александр Невский, с их вековой традицией. Так было и кое в чем другом. Он, например, был очень рад уничтожению «сиятельств», но про себя иногда сожалел, что больше не было «превосходительств» и «высокопревосходительств». А главное, прежде не существовало ни атомных бомб, ни холодной войны. Когда были войны, то горячие и не очень долгие; в остальное же время был мир. Хотя полковник недолюбливал иностранцев, ему было бы приятно поддерживать добрые товарищеские отношения с союзными офицерами. Он отдавал должное их верховному командованию и особенно почитал Эйзенхауэра, который так необычайно быстро из подполковников стал главнокомандующим.

Как-то раз к концу войны, за ужином, его приятель капитан, много выпив, сказал, что без революции он был бы «слуга царю, отец солдатам». Это на ужине вызвало смущенный смех,

однако никаких последствий для капитана не имело: в полку люди друг на друга не доносили. Теперь полковник про себя думал, что эти стишки, быть может, относились бы и к нему самому. Он говорил себе, что было бы очень хорошо, если бы пошла ко всем чертям и единственная партия, еще существовавшая в России. «А при ней что-то еще с нами будет? Неизвестно, куда идет Россия и чем всё это кончится. Темна вода во облацех небесных!»

### XXXIII

— Сегодня я утром буду занята, — сказала Эдда. — Если мы послезавтра улетаем, то надо уложить вещи.

— Для этого есть лакеи и горничные.

— Могут кое-что стащить. В Севилье заметим, так изволь отсюда писать жалобу в берлинскую полицию!

Рамон пожал плечами.

— Как тебе угодно, — сказал он. Ему становилось с ней все скучнее. Разговаривать было не о чем: в отличие от Шелля, она его идей не оценила, да и понимала его всё-таки не вполне хорошо, хотя быстро сделала большие успехи в испанском языке. Теперь разговоры у них были однообразные: «Вечером пойдем в театр». — «Хорошо, но куда?» — «Как жаль, что ты не знаешь по-немецки! С одним испанским языком далеко не уедешь». — «Как видишь, я живу с одним испанским языком, и недурно живу». — «Ты жил бы еще гораздо лучше, если б знал, например, хоть французский язык. Я говорю по-французски как парижанка... Значит, в драматические театры идти не стоит». — «Ты могла бы пойти одна». — «Одна я не хочу. Опера тоже отпадает, я люблю только музыку Антона Веберна, а он опер не писал. Тогда пойдем в оперетку?» — «Хорошо, пойдем в оперетку». — «Какая сегодня погода?» — «Отвратительная. Это ты выбрала Берлин». — «Вчера была прекрасная погода. А где ты хочешь обедать?» — «Мне всё равно. Может быть, здесь в гостинице? Я что-то устал». — «Почему устал? Я, напротив, горю жизнью. Я закажу *сальми* из какой-нибудь редкой дичи. И сегодня выпью много шампанского. Мне что-то хочется забыться».

«Всё в жизни трын-трава», — добавила бы Эдда, но не знала, как перевести трын-траву на испанский язык.

Всё чаще случались размолвки. Как-то он купил ей браслет. Она была довольна, но браслет ей не понравился, и она его переменила на серьги, — на длинных подвязках, огромные, рубиновые, почти страшные. «Они идут к моему стилю, в них есть что-то фатальное. Это немного дороже твоего браслета, ты пошлешь им чек, правда?» Он послал чек, но рассердился, не из-за доплаты, а потому, что она должна была сохранить выбранный *им* подарок. Однако и размолвки казались Эдде благородными; с небогатыми любовниками они тотчас у нее сбивались на денежный спор и переходили в брань.

— Завтра я с утра уйду. Нужно сделать последние покупки, помнишь, я тебе говорила.

— Покупай что хочешь.

Она поблагодарила, не очень горячо, тоже по своему праву: слишком будешь благодарить, меньше будет давать.

— К завтраку я, вероятно, вернусь. Если же нет, то позавтракай один. Будешь скучать? Зато вечером пойдем куда тебе угодно! Я на всё согласна.

Вещи, впрочем, под ее наблюдением, укладывала горничная. Она очень старалась для богачей. Эдда хотела было подарить ей старое недорогое платье, но передумала: «Завтра как раз такое понадобится». Подарила что-то из старого белья.

По Берлину уже ходили тревожные слухи об ожидавшихся будто бы волнениях в восточной части города, но она о них ничего не знала: знакомых у них не было, с прислугой она не разговаривала, а с портнихами и с модистками говорила о вещах гораздо более интересных. Газет Эдда не читала; Рамон два в неделю просматривал испанскую газету, приходившую в Берлин с немалым опозданием.

Вышла она на следующий день очень рано, надела то старое платье, запечатала в конвертик свою визитную карточку, — так в свое время указал Шелль. Велела шоферу остановиться довольно далеко от рубежа. Опять увидела мрачное предупреждение: «Achtung. Sie verlassen nach 80 M. West-Berlin», опять подумала, что, быть может, лучше бы не переходить, опять перешла и дальше направилась пешком. Возбудила в себе мрач-



ные предчувствия, — считала, что это помогает: если заранее ждешь плохого, то выходит хорошее.

Она отдала конвертик дежурному офицеру. Приняли ее тотчас, это ее успокоило. Но, войдя в кабинет полковника, она почувствовала: что-то неладно! Выражение его глаз, испугавшее ее еще при их первом знакомстве, теперь было просто страшно. Он не сделал вида, будто привстает, не подал ей руки, не ответил на ее заискивающую улыбку, только кивнул головой, да и кивнул не как люди, а быстро и резко опустил и тотчас поднял голову, причем угол рта у него дернулся.

— В какой день вы получили бумаги от американского лейтенанта? — не дав ей сказать слова, спросил он ледяным голосом. Эдда очень испугалась. Не сразу могла вспомнить; всё же вспомнила и ответила точно.

— В какой день вы их передали куда вам было сказано?

— В тот же вечер, — ответила она и затряслась: вспомнила, что Джим велел передать пакет 18-го, а она передала днем раньше, из-за примерок.

Полковник смотрел на нее змеиным взглядом. Вид Эдды не оставлял сомнений в том, что уж она-то ни о какой дезинформации не думала. «Арестовать ее и отправить в Москву!» — подумал он в первую минуту. Но его безвинная вина стала бы в этом случае еще более тяжелой: начальство увидело бы, какой дуре он поручил важнейшее дело.

— Сказал ли вам этот лейтенант, *когда* надо передать пакет?

— Нет... Да, сказал... Кажется, он сказал, чтобы на следующий день, 18-го, — пролепетала Эдда, трясясь всё больше. — Но я думала... Я решила: чем раньше, тем будет вернее.

Теперь дело было вполне ясно. «Идиотка!» — подумал полковник. Лицо у него стало почти бешеным. На этот раз ему с особенной ясностью представилась нелепость того, что они делали. «Все ни к чему, всё гадко, скверно, подло. Затягиваем людей в кровавое болото, даже таких дур, как эта... Вот уж именно убил черного зайца! Расставил капкан, надел свежие лапти!..» Он с некоторым облегчением подумал, что зато не убил черного зайца и американец. «Тоже попался, как болван! Я сел в калошу, но и он со мной, хотя и не так, меньше. Конечно, это было *его* дело, это *его* стиль. Хитро, проклятый,

затаял и еще не знает, что сорвалось! Ничего, скоро узнает!.. Ему, впрочем, за это не покажут кузькину мать, не то что мне...»

Он страшным взглядом смотрел на трясущуюся Эдду. И неожиданно полковник сказал себе, что если б *его* агентка *не была* идиоткой, то именно в этом случае американцу удался бы дезинформационный замысел. «Конечно, так! Только из-за ее глупости нам удалось заметить обман». Он вдруг подумал, что незачем губить эту женщину. «Мне пропадать, а она пусть уносит ноги. Никто не может знать, что она опять меня навестила. Карточка была в конвертике, сейчас ее уничтожу. Пользы делу от ареста никакой, мне скорее вред. Пусть она идет к...»

— Я вас прогоняю со службы! Убирайтесь вон! Не смейте показываться мне на глаза! — сказал полковник.

#### XXXIV

В этот день 17-го июня в обеих частях Берлина стали исчезать надписи «Ami go home», которыми берлинцы старались дразнить американцев довольно unsuccessfully: «Ami» к этому привыкли в разных европейских столицах и почти не обращали внимания: понимали, что люди всегда благодетелей не любят и тут ничего не поделаешь. Зато с утра в восточной части города мальчишки, и не одни мальчишки, орали «Uhr! Uhr!»<sup>1</sup>. Так грабители в 1945 году кричали берлинцам, срывая с них часы.

Граница между двумя мирами проходила у Бранденбургских ворот, по улице Эберта, по Потсдамской площади. К ним стекались люди с разных концов Западного Берлина. Говорили, что в восточной части города идут манифестации, что их расстреливают, что пущены в ход советские танки, что повсюду горят дома, что убиты тысячи людей. Где-то вдали поднимался дым. У рубежа было ранено и несколько жителей западных кварталов. Молодые люди перебежали через Бранденбургские ворота и швыряли камнями в Voro: Volks Polizei<sup>2</sup>; она

<sup>1</sup> «Часы!» (испорч. нем.).

<sup>2</sup> Народную полицию (нем.).

отвечала выстрелами. В толпе ахали и спорили: «Да ведь это бессмысленно! Чем могут помочь камни!» — говорили одни. «А по-вашему, ничего не делать и смотреть в бинокли!» — возмущенно отвечали другие. «Союзники не могут этого так оставить! Они сегодня же двинут войска!» — «Какие войска? У них и войск нет!» — «Если здесь нет, то есть в других местах!» Никто в Западном Берлине войны не хотел; напротив, все ее смертельно боялись. Но в этот день почти у всех было смутное желание, чтобы события приняли «грандиозный характер», о котором зловеще-неясно писали газеты.

По ту сторону Бранденбургских ворот, симметрично, на одинаковом расстоянии один от другого, стояли советские танки и грузовики. Вид у советских солдат был очень мрачный. Какой-то смельчак взбирался на верхушку ворот, держа что-то в руке. За ним следили с волнением: «Сейчас убьют! Сейчас начнут стрельбу!». Красный флаг упал, вместо него появился черно-красно-золотой. Толпа разразилась рукоплесканиями.

Эдда сидела в кофейне и тряслась всем телом, как никогда в жизни до того не тряслась.

Выйдя от полковника, она спешила к станции подземной дороги чуть не бегом, хотя это было неблагоприятно. Держалась обеими руками за сердце, прижала к нему и сумку. «Что такое? Господи! Что я сделала? Просто непонятно! Отчего он взбесился?.. Арестуют! Увезут!.. Но он арестовал бы там же? Передумает! Пошлет погоню!»

Станция была закрыта. «Забастовали!» — радостно сказал кто-то. «Только этого не хватало! Такси? Опасно! Да и нет их! Как быть? Господи, лишь бы дойти домой!»

Кто-то пробежал мимо нее, быстро поставил у решетки огромную фотографию Карла Маркса со срезанной бородой и понесся дальше. Эдда из последних сил бросилась бежать. Недалеко на площади была кофейня. «Нет, опасно, здесь меня его люди отыщут! Надо замести следы». Вбежала в другую кофейню, подальше, там было много людей. Повалилась на стул у первого свободного столика, в темноватом углу, далеко от окон. «Здесь не найдут, не могут знать, куда я зашла...»

К ней долго никто не подходил. Она немного отдышалась. Прислушалась, не поворачиваясь, к разговорам за соседними

столиками. До нее доходили слова: «Schluss!.. Schlimm!..»<sup>1</sup> «Что такое происходит? Они говорят о восстании! Здесь восстание? Господи! Зачем только я пошла!» Старалась понять, за что рассердился полковник, и не могла. «Ну, сдала на день раньше. Если б еще рассердился Джим, было бы понятно, а ему-то что, проклятому!»

Подошел лакей и мрачно спросил, чего она хочет. Эдда подумала, что надо бы спросить пива или кофе, так будет беднее, социалистичнее. «Нет, выпить чего-либо очень крепкого». Она без воды проглотила пилюлю. Угрюмый лакей принес ей двойную рюмку Weinbrand'a<sup>2</sup>. «Дать ему на чай марку, а то выдаст!.. Нет, марку нельзя, это вызовет подозрения! И те увидят!» Опять прислушалась к разговорам. «Да, так и есть, восстание! Будь они прокляты! Не могли отложить на два дня! Мы были бы уже в Испании... У Франко порядок, он молодец, он их знает!»

Кофейня была старая, когда-то под что-то поддельвавшаяся, с огромным очагом, с пивными кружками и фарфоровыми тарелками по стенам и на полках, одна из тех разбросанных по всей Германии бесчисленных кофеен, где в свое время уютно пылали и трещали дрова, где бывали Амадей Гофман или Захарий Вернер, если не Альбрехт Дюрер и не Ульрих фон Гуттен. К концу войны кофейня захирела. Эдда, тяжело дыша, думала, что будет, если ее задержат у железного занавеса. «Через день Рамон заявит западной полиции, она примет меры, при его деньгах везде всё можно сделать! Но ведь полиция вскрыет ящик в столе и найдет фотографию, — ту фотографию! Господи, Рамон тогда ничего для меня не сделает. Он просто уедет один! И денег не оставит ни гроша! И увезет все свои подарки!.. Я пропала!»

Она решила пробраться пешком домой. На улицах как будто ничего страшного не происходило, только вид у людей был необычайно мрачный и злой. Вдруг издали слышались выстрелы. Эдда ахнула. Хотела было побежать назад в кофейню. «Да ведь и там могут убить! Кажется, именно с той стороны и

---

<sup>1</sup> «Конец!.. Беда!..» (нем.).

<sup>2</sup> Коньяка (нем.).

стреляют!» Она побежала в прежнем направлении. «Уже не очень далеко... Лишь бы перейти!.. Лишь бы перейти!.. А там я от него потребую, чтобы сегодня, непременно сегодня же, улететь в Испанию или куда угодно! Куда будет аэроплан, туда и улетим!» — думала она. И вдруг ей пришло в голову, что вся ее жизнь была ошибкой, что везде, в самом безопасном месте, с деньгами или без денег, ее существование будет, как всегда было, жалким и постыдным.

Из боковой аллеи на площадь выходила толпа. Манифестанты шли в порядке, чуть ли не в ногу, шли с флагами и с пением. Эдда прислушивалась и могла кое-как разобрать слова: «Ulbricht, Pick und Grotewohl, — Wir haben von euch die Schnauze voll!»<sup>1</sup>. «Значит, это не коммунисты? Разве за ними и пойти?» Толпа с тротуаров бешено аплодировала манифестантам. Вслед за ними медленно выехали грузовики с немецкими полицейскими. У них в руках были пулеметы. Вид у полицейских был тоже очень хмурый, как будто и очень смущенный. Сразу наступила тишина.

— Свиньи! — вдруг истерическим голосом закричала женщина с метлой, стоявшая недалеко от Эдды. И точно этого крика все ждали, — толпу прорвало бешенством:

— Подлецы!.. Убиваете братьев!.. Перевешаем на фонарях!..

Женщина с отчаянным визгом сорвалась с тротуара и, высоко подняв метлу, бросилась к последнему грузовику. Полицейский, побледнев, навел на нее ручной пулемет. — «А-а-а! — бешено завизжала женщина, — стреляй, подлец, стреляй!» Рев стал диким. Какой-то молодой человек в куртке выбежал из подворотни, низко изогнулся, откинувшись на бок, и швырнул камнем в грузовик. В ту же секунду послышались выстрелы. Женщина выронила метлу и, схватившись за живот, продолжала стоя кричать. Позади нее на тротуаре, еле ахнув, повалилась Эдда. Она была убита наповал.

### XXXV

С раннего утра полковник № 1 получал в своем кабинете донесенье за донесеньем. Он был гораздо лучше осведомлен,

<sup>1</sup> «Ульбрихт, Пик и Гротеволь, — мы вами сыты по горло!» (нем.).

чем другие, но и он знал немного. Ему было, во всяком случае, ясно, что «грандиозного характера» эти события сами по себе никак принять не могут: как только вошли в город советские танки, успешное восстание стало совершенно невозможным. «Вооруженные восстания могут теперь удаваться разве только в Азии или в Южной Америке, а это вдобавок не вооруженное, а безоружное восстание». Ему приходили в голову разные соображения, — как, например, события отразятся на положении правительства Аденауэра? Усилятся ли социал-демократы или, напротив, христианские демократы? Он предпочитал вторых, но ничего не имел и против первых. Большого значения это, по его мнению, не имело. «А обвинять будут все равно администрацию: она ничего не предвидела. Так, когда умирает больной, то всегда говорят, что его плохо лечили, что можно было вылечить».

Важнее было другое. «Конечно, коммунисты объявят, что беспорядки устроены нами. Само по себе, и это не важно, но вдруг они хотят предлога для войны?» Несмотря на свою осведомленность, полковник не имел твердого мнения о том, хочет ли советское правительство войны в ближайшее время или нет. Многие говорили в пользу каждого из двух предположений. «Правда, предлог им не очень нужен, могут хватиться за что-либо другое. Но если выбрали это? Перевес в силах у них сейчас еще велик. Что бы ни случилось, он будет понемногу уменьшаться, рискуют упустить момент. Может быть, сегодня, сейчас, в эту самую минуту, у них в Кремле идет бурный спор: воспользоваться ли этим предлогом? Будь Сталин жив, вероятно, воспользовался бы. Нынешние скорее не решатся: еще не утвердились, еще не свели счетов между собой. Всё же возможность не исключается: соблазн велик, fifty-fifty. И от этого зависит судьба человечества! Да, кошмарная вещь холодная война. Хуже, чем она, только война настоящая».

В середине дня ему стало известно, что убитые исчисляются десятками, а раненые сотнями. Полковник сожалел о погибших людях, считал дело безнадежным, но и он не мог отделаться всё от того же смутного, страшного и радостного чувства: что-то сдвинулось! «Восстание! Первое у них восста-

ние!» Это мирило его с немцами. Не понимал, каким образом народ, показавший такую храбрость в двух войнах, без выстрела сдался Гитлеру. «Быть может, и война. То, что происходит, это лишь эпизод — кровавый эпизод — в холодной войне. Не мы холодную войну начали, мы готовы прекратить ее в любую минуту, лишь бы ее прекратили те. И если даже это восстание окажется как бы предисловием к мировой войне, то ответственность несем не мы».

Дела у него было не так уж много. Он принимал донесения, сопоставлял и группировал сведения, отправлял доклады по начальству. Для всего этого лучше было не выходить из своего кабинета. «*На месте*» никто ничего или почти ничего не видит. Здесь картина много яснее». Но ему в кабинете не сиделось. «Туда теперь и не пропустят». Поездка в восточную часть города, да еще на американском автомобиле, была связана с немалым риском. Это не было доводом ни против поездки, ни в пользу ее; как Шелль, полковник знал, что упрека в трусости он может не опасаться. «Но если б и пустили, то именно с провокационной целью: чтобы скомпрометировать и наше правительство, и меня, и восставших».

Проехать же к железному занавесу, к Бранденбургским воротам или к Потсдамской площади, можно было. Полковник велел подать автомобиль. Обычно он правил сам, на этот раз взял с собой шофера. Еще издали он увидел дым, стоявший в разных местах над Восточным Берлином. Стрельба была не очень сильна: всё же это была давно не слышанная им стрельба, в былые времена его оживлявшая. К Бранденбургским воротам валили люди. Вид у них был очень угрюмый и вместе с тем тревожно-радостный.

Оставить автомобиль пришлось на довольно большом расстоянии от ворот: сплошной стеной стояла многотысячная толпа. Другому человеку и не удалось бы пробраться вперед, но полковник был в мундире, перед ним все расступались, он прошел довольно быстро. Видел, что все на него смотрят, точно он сейчас сделает что-то очень важное. «Не хотят же они, чтобы я объявил войну России!» Он ясно чувствовал и то, что ожидание *грандиозного* понемногу слабеет, к вечеру ничего не останется.

Полковник думал о положении в мире не иногда в свободное время или за чтением газет, как громадное большинство людей: он думал об этом беспрестанно, в течение долгих лет, с этим была тесно связана его профессия, об этом говорили получавшиеся им ежедневно многочисленные донесения. Но именно теперь, в гневной, бурлившей, несколько стихавшей при его приближении толпе ему точно впервые стала совершенно ясна трагедия, которую переживал мир. Справа затрещал пулемет. «Расстреливают безоружных, дело нетрудное. Да и вооруженное восстание не имело бы никаких шансов на успех. Люди пошли на безнадежное дело просто от отчаянья... Всё зло в мире от *них*! Когда же и как положить конец их делам? И не только их делам, но и им самим?» — думал полковник. Им овладела ненависть, вообще мало ему свойственная. «Много у нас было ошибок, но от *них* всё зло в мире, от них и почти исключительно от них! В чем другом я могу со временем и переменить мнение, но не в этом: они, именно они несут миру зло и гибель! Так я буду думать до конца моих дней, и ни один честный и неглупый человек не может с этим не согласиться!»

Он остановился у пролета и заглянул в другой мир. На площади стояли хорошо ему известные танки Т-34, грузовики с советскими солдатами и немецкими полицейскими. К воротам с той стороны подъехал открытый автомобиль. Из него вышел советский полковник.

Он тоже в течение всего утра получал сообщения с разных сторон Берлина. Распоряжения и от него зависели мало, этим ведали другие должностные лица. Тем не менее его ответственность была велика: он отвечал за действия иностранных агентов, отвечал даже в случае, если никаких действий не было, но признавалось необходимым, чтобы они были. Полковник пробовал себе говорить: «Семь бед, один ответ», однако понимал, что эта седьмая беда окончательно его погубит. Он вышел из своего служебного кабинета почти в отчаянии, тщательно скрывая его от подчиненных. Многие от него отворачивались. Слухи об его опале уже ходили в этом здании, хотя причины были толком никому не известны.



То, что происходило в Берлине, можно было назвать и «народным восстанием», и «уличными беспорядками». Он знал, что официально будут говорить о беспорядках, вызванных иностранными агентами. Предполагал, что беду наделало кукольное правительство Восточной Германии. По распоряжению разных Ульбрихтов и Гротеволей, которых он уж совершенно презирал, была вдвое понижена заработная плата аристократии труда, называвшейся по-ученому квалифицированными рабочими. «Забавно, что эти олухи действовали «из демократизма»: они хотели, чтобы квалифицированные получали столько же, сколько неквалифицированные. Было бы в нынешней конъюнктуре демократичнее не понижать плату первым, а повысить ее вторым. Так было и у наших: уравниловка по низшему уровню. Дорого обошлось и нашим, очень дорого платит Россия за всё, что они делают! А немцам, верно, забыли сказать, или они решили проявить независимость, вдруг на этом сойдет. Ан, не сошло, будет крепкий нагоняй, если не что-либо гораздо хуже». В другое время полковник очень порадовался бы нагоняю Москвы ее немецким лакеям. Но теперь ему было не до того. Помимо грозившей ему личной опасности, он, при своих менявшихся взглядах, испытывал и чувство, сходное с чувствами американского полковника: это был какой-то реванш немцев. У *них* восстание. «Но и у нас были восстания! — отвечал он себе, — и восстания, неизмеримо более кровопролитные, только их скрывали, и происходили они не в Берлине, на виду у всего мира, а в нашей никому не видной глуши. А *эти* свободолюбцы своего Гитлера приняли с полным удовольствием, им неприятен только *иностраный* деспотизм...»

Его самого удивляло, что он теперь ставил чуть не в заслугу немцам восстание против той власти, которой он служил. «Что ж делать, так оно и есть... Да, моя песенка спета. Буду сир, наг, гладен и хладен... Уж к этому делу меня пришьют наверное; не предупредил, не сообщил, не схватил иностранных агентов. Они ведь сами иногда начинают верить хоть части того, что сами же и выдумают. Не убью черного зайца! Мои наглыши будут в восторге... «Кури Хара сделал себе харакири», — вспомнил он глупую шутку, веселившую людей на Потсдамской конференции, когда покончил с собой

Кури Хара, японский посол в Анкаре. — Чему быть, того не миновать.» У каждого из нас есть мечта о черном зайце, а убивает своего один человек из ста».

Его автомобиль пронесся по улицам, на которых не было стычек, и остановился у Бранденбургских ворот. Полковник еще издали увидел другой флаг и громадную толпу, собравшуюся на окраине того мира. Несмотря на свои новые мысли, он к ней чувствовал только злобу. «Глазеете, господа демократы, в бинокли смотрите? Ну и смотрите. Уж вас-то мне никак не жаль, слишком вы глупы!» — подумал он, выходя из автомобиля, и неторопливо направился к воротам. Он заглянул в пролет и узнал стоявшего прямо против него американского полковника.

С минуту они смотрели друг на друга. Хотели было отвернуться и не отвернулись. Подумали, не отдать ли честь, но не отдали. Да и значились в одном чине.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А.А. Чернышев. «С подлинным верно»</i> . . . . .	5
ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ . . . . .	23
БРЕД. . . . .	409

**Марк Алданов**

А45 Избранное: М.: Издательство «Гудьял-Пресс», 1999. — 696 с.  
(Серия «Гранд Либрис»).

ISBN 5-8026-0024-1

Марк Алданов — эмигрант первой волны, друг Бунина и Набокова. Его «Повесть о смерти» и «Бред» относятся к первой половине 50-х годов. Первая построена на историческом материале, из эпохи революции 1848 года, вторая — на современном — нашла отражение смерть Сталина. Обе повести при жизни автора, были напечатаны только в сокращенном журнальном варианте. Впервые в нашем издании в текст включены пропущенные главы, обнаруженные в архивах Москвы и Нью-Йорка.

УДК 821.161.1-3Алданов  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Серия «Гранд Либрис»

Литературно-художественное издание

Марк Алданов

ИЗБРАННОЕ

Ответственный за выпуск *В. Эфрос*

Художественный редактор *А. Касьяненко*

Технолог *Г. Трушина*

Технический редактор *И. Маханева*

Корректор *С. Артамонова*

Изд лиц № 065333 от 7 08.97. Подписано в печать 26.02.99 Бумага офсетная  
Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>, Гарнитура гарамонд. Офсетная печать Печ л 43,5  
Тираж 7000 экз. Заказ 1599

Издательство «Гудьял-Пресс» 111524, Москва, ул. Электродная, 10  
Отпечатано с диапозитивов в ГУП «Саратовский полиграфкомбинат»  
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59



